



*Журнал*

*Редактор Евгений Беркович*

**СЕМЬ  
ИСКУССТВ**

Наука

Культура

Словесность

**3/2012**

**Журнал**  
**«Семь искусств»**

**Март 2012**

Редактор и составитель  
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

**2012**

**Журнал**

**«Семь искусств»**

**Март 2012**

© Евгений Беркович (составление и редактирование)  
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование  
Изабеллы Побединой

Ганновер  
Издательство «Общества любителей еврейской старины»

## Содержание

Владимир Тихомиров	
Сергей Васильевич Фомин .....	5
Борис Горобец	
Памяти Игоря Ландау .....	25
Алексей Цвелик	
Физика, Мысли, Жизнь .....	41
Татьяна Щербина	
Бродский. Жидкие кристаллы .....	74
Петр Ильинский	
Следы на бетоне .....	79
Александр Лейзерович	
Сто рож серебряного века .....	99
Леонид Столович	
Моисей советской эстетики .....	107
Артур Штильман	
Российские певцы на сцене Метрополитен оперы .....	120
Борис Тененбаум	
1812. Глава из новой книги .....	159
Лилия Торопова	
Сальвадор Дали .....	190
Михаил Юдсон	
Ревизор-С .....	199
Виктор Гопман	
Коммерции сотрудник .....	271
Эдуард Бормашенко	
Грань Хаоса .....	314
Лорина Дымова	
«Мчат года. Я тебя не забуду...» .....	326
Игорь Ефимов	
Элеанор Рузвельт .....	342
Фаина Петрова	
Интервью с Игорем Зенкиным: .....	373
Фаина Петрова, Людмила Лебедева, Елизавета Бонч-Осмоловская, Лариса Зеневич	
Воспоминания о Саше Петрове .....	389
Зинаида Палванова	
Размышление о временах .....	397
Леонид Буланов	



Леонидовы флюиды .....	405
Андрей Чередник	
Три километра лжи, .....	430
Нина Горланова	
Уксус, сын вина.....	443
Моисей Борода	
Гранада моя .....	470
Елена Минкина	
«Эффект Ребиндера» .....	485
Борис Кушнер	
«Поскольку жизнь склоняется к зиме».....	495
Илья Корман	
Стрелы мифов .....	535
Григорий Рыскин	
Папа Карло идет по следу.....	547
Ефим Левертов	
Местоительство поэтов .....	566
Сабирджан Курмаев	
Через Мадрид и Барселону в давних поисках смыслов.....	581
Об авторах .....	591



# Владимир Тихомиров

## Сергей Васильевич Фомин



Сергей Васильевич Фомин (1917-1975) был выдающимся математиком, крупным специалистом в области математической биологии, человеком высокой культуры и замечательных духовных качеств.



Он родился 9 декабря 1917 года в Москве. О его родителях и некоторых событиях в семье Фоминых, предшествующих рождению их младшего сына и о том, что происходило вскоре после его рождения, можно прочесть в моем рассказе «Профессор Московского университета» в конце этого очерка.

Сережа Фомин поступил на механико-математический факультет в 1934 году шестнадцати лет, навсегда связав себя с Московским университетом. Среди его сокурсников были

И.А. Вайнштейн, Б.В. Шабат, Г.Е. Шилов. Исаак Аронович говорил мне, что С.В. был самым сильным студентом на их курсе. В студенческую пору он публикует свою первую работу, выполненную под влиянием А.Г. Куроша по абстрактной алгебре. По окончании университета в 1939 году С.В. становится аспирантом А.Н. Колмогорова. Однако, следующие за алгебраической, три работы Фомина были посвящены общей топологии. Они были выполнены под влиянием и руководством П.С. Александрова. Когда началась Великая Отечественная война, С.В. Фомин (еще не закончивший аспирантуру), был призван в армию. В этот трудный период он завершает написание кандидатской диссертации по общей топологии. В 1942 году его отправляют в командировку в Казань, и во время этой командировки он с успехом защищает диссертацию в ученом совете Математического института им. В.А. Стеклова АН СССР. Достижениям Сергея Васильевича в топологии посвящена статья С. Илиадиса, напечатанная далее.

В 1942 году Фомина переводят на ответственную работу в одно из управлений Генерального штаба, где он работал до конца войны. В 1945 году Сергей Васильевич демобилизовался и поступил работать на кафедру математики физического факультета МГУ. В это время начинается третий этап в его научном творчестве, этап напрямую связанный с Андреем Николаевичем Колмогоровым. В промежутке с 1945 по 1951 год Сергей Васильевич публикует семь работ, посвященных спектральной теории динамических систем (две из них совместные с Гельфандом). В 1951 году С.В. Фомин защищает докторскую диссертацию на эту тему. В автореферате диссертации автор отмечает большое влияние которое оказывали на него Андрей Николаевич Колмогоров и Израиль Моисеевич Гельфанд.

В 1964 году С.В. Фомин переходит на механико-математический факультет и становится профессором кафедры теории функций и функционального анализа, а с 1966 года он начинает формирование кафедры Общих проблем управления.

Исключительность личных достоинств С.В. характеризует то, что он был близким другом трех великих современников: И.М. Гельфанда, А.Н. Колмогорова и И.Г. Петровского.

Близкой дружбе Фомина с Петровским и Гельфандом обязана своим существованием наша кафедра Общих проблем управления. Андрей Николаевич Колмогоров очень трогательно и любовно относился к Сергею Васильевичу. Он очень высоко оценивал его как математика, и не раз в личных беседах со мной и в своих публичных выступлениях упоминал о выдающихся достижениях Фомина в спектральной теории динамических

систем. Андрей Николаевич ценя его человеческие качества, любил сотрудничать с ним на разных поприщах – при написании книги по функциональному анализу, в редакторской деятельности, в деятельности Московского математического общества и т. п. И еще он восхищался Сергеем Васильевичем, как лыжником. Сергей Васильевич долгое время был лучшим лыжником в окружении Колмогорова. И вообще А.Н. любил спортивных людей, а С.В. был таковым. Не раз Андрей Николаевич и Сергей Васильевич вдвоем или с друзьями отправлялись на Кавказ или в Закарпатье с лыжами.

Однажды Андрей Николаевич и Сергей Васильевич поехали кататься на лыжах в Бакуриани. Колмогоров предложил подняться к перевалу и затем спуститься к высокогорному армянскому селению (у него всегда были подробные карты). Сказано-сделано. Шли с раннего утра весь день, пришли в селение под вечер и стали проситься на ночлег. Их согласился принять глубокий старик, едва говоривший по-русски. Вечером в гости к старику пришли несколько односельчан. Они что-то долго и возбужденно старались по-армянски внушить старику. Он их внимательно слушал, но через какое-то время сделал жест: «Нет!» Гости ушли. Лыжники благополучно провели ночь, позавтракали, поблагодарили старика и вышли наружу. Там стояла группа сельчан и среди них человек в милицейской форме. Он подошел к Колмогорову и попросил предъявить паспорт. Его у Андрея Николаевича не оказалось. Напряжение возрастало. Милиционер попросил документы у Сергея Васильевича. Тот протянул ему свой паспорт. Милиционер долго и внимательно читал документ, потом начал листать его, и вдруг глаза его засветились счастьем, и он бросился обнимать Сергея Васильевича. В паспорте было написано, что Сергей Васильевич вступил в брак с Нуной Ованесовной Юзбашьянц – очевидным образом армянкой, а человек, женатый на армянке не может быть плохим!

Первый инфаркт у Сергея Васильевича случился в 1959 году. Я тогда не был знаком с Сергеем Васильевичем, но знал, что он был заместителем главного редактора журнала «Успехи математических наук». В ту пору в УМН печаталась статья А.Н. и моя по **Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen.**-энтропии. Об инфаркте Сергея Васильевича мне сказала с глубочайшей тоской работница редакции очень милая женщина – Элла Сергеевна Ракова. Хорошие люди всегда очень ценили и любили Сергея Васильевича.

В 1967 году в декабре я был на заседании Ученого совета мехмата, на котором отмечали пятидесятилетие Фомина. Он уже три года был профессором мехмата, и А.Н. Тихонов приветствовал Фомина от имени дружественного факультета и его бывшей

кафедры. Тогда я был уже хорошо знаком с С.В.: началась деятельность по организации новой кафедры.

А затем наступил 1968 год, год чешских событий и «письма девяноста девяти». По западному радио, было прочитано, а затем опубликовано письмо в защиту А.С. Есенина-Вольпина. Под этим письмом стояли подписи 99 человек, и среди них подпись Сергея Васильевича Фомина. «Дело Фомина» разбиралось на партийном собрании, которое приняло постановление об исключении его из партии. И все время приходилось бороться за сохранение кафедры. Общих проблем управление, возглавить которую должен был Сергей Васильевич. Тяжелые переживания, связанные с этими перипетиями привели ко второму инфаркту и долгому и тяжкому периоду реабилитации. Но потом дело пошло на поправку, и Сергей Васильевич, как казалось, восстановил свои силы.

По окончании 1974/75 учебного года, кажется, в июне, Василий Борисович Демидович собрал на квартире своего отца – Бориса Павловича Демидовича – на Лесной улице, где тогда проживал, нашу кафедру Общих проблем управления. Надо было как-то определиться с судьбой кафедры: не ясно было, как жить дальше, а кроме того, Василий Борисович хотел познакомить нас со своей женой Светланой, на которой недавно женился. К сожалению, я в тот день должен был уезжать в Ригу, где отдыхала моя семья, поэтому я должен был уйти раньше времени с нашего дружеского застолья. Сергей Васильевич собрался уходить вместе со мной. Оказалось, что ему хочется высказаться с глазу на глаз. С.В. сказал, что ему надоело противостоять мехматскому начальству, и он принял решение перейти на полную ставку заведующего лабораторией математических методов в биологии в Институт проблем передачи информации АН СССР. Сергей Васильевич сказал, что подал заявление в деканат о переводе его на полставки, и просил меня проследить за этим. Быть может, для этого придется поговорить с ректором МГУ – Рэмом Викторовичем Хохловым. Сам Сергей Васильевич собирался за границу (помнится, в Данию), а потом на Дальний Восток (где тогда проводились конференции, на которых участвовал сначала В.М. Алексеев, потом я, и вот должен был ехать Сергей Васильевич).

Выглядел Сергей Васильевич великолепно и строил весьма широкие планы.

Приехав в Москву по каким-то делам, я пошел на прием к ректору. Ректорский кабинет сохранил тот облик, который имел у Петровского, кроме одного: Петровский сидел за абсолютно чистым столом, а стол Хохлова был завален многими кипами бумаг.



Я представился и назвал причину своего визита. Разъяснять подробно не пришлось. Ректор выразительно хмыкнул, поднялся со стула и стал перебирать свои бумажные завалы со словами: «**Ваши** не дремлют!» Вскоре он достал из какой-то кучи бумагу и протянул её мне. Это был приказ по факультету, подписанный деканом, не о переводе на пол-ставки, а **об отчислении** с факультета профессора кафедры ОПУ механико-математического факультета Сергея Васильевича Фомина. Рэм Викторович некоторое время смотрел на меня с иронической усмешкой, а потом сказал: «**Вы мне надоели**». Он поправился: «Ваша кафедра». Он продолжал: «Я занимаюсь одной вашей кафедрой больше, чем некоторыми факультетами» (среди тех факультетов, которыми он занимается меньше, чем нашей кафедрой, Рэм Викторович, помнится, назвал Юридический). Он продолжил: «На этот раз я пойду Вам навстречу и выполню то, о чем Вы меня просите. Но дальше выкручивайтесь сами». Но судьба распорядилась иначе: участия ректора не потребовалось...

После разговора с Хохловым, я снова уехал в Ригу. 18 августа, когда я позвонил в Москву, мне сказали: «Вчера умер Фомин». На похороны я приехать не смог. Как мне передавали, прощаясь с Фоминым, Андрей Николаевич произнес фразу, которую невозможно было услышать ни от кого другого: «Сергей Васильевич слишком легкомысленно относился к своим инфарктам...»

\*\*\*

### **Профессор Московского университета**

26 ноября 1917 года по старому стилю (9 декабря по новому) в семье Василия Емельяновича и Елены Васильевны Фоминых родился пятый ребенок. Назвали его Сергеем.

...Спустя много лет, незадолго до своей смерти, Елена Васильевна написала воспоминания – отдельно каждому из своих детей – об их рождении и раннем детстве. Вот что писала Елена Васильевна.

В 1917 году ей исполнилось 39 лет. У них с Василием Емельяновичем было уже четверо детей – три дочери и сын, самый младший – девятилетний Володя. И она считала, что больше детей у нее быть не могло. И вдруг она снова почувствовала себя матерью.

Шла война, и конца ей не было видно. Свершилась Февральская революция. Наступили трудные времена. Домработница и кухарка стали пропадать на революционных митингах, а потом и вовсе исчезли. Приходилось привыкать ко многому, выстаивать большие очереди в хлебной лавке, убирать,

готовить, стирать. Цены повышались, деньги обесценивались, накопления рухнули, будущее представлялось безысходным.

«Какие дети, Леля, ты сошла с ума! Посмотри, что творится кругом. У тебя четверо на руках, о них подумай!» – так говорили ей подруги.

Но никогда, ни одного мгновения она не колебалась – оставлять, не оставлять. Верила – родится мальчик, и будет любить она его особенной, «последней любовью». Но мужу – до поры до времени – решила ничего не говорить.

Летом случилось ужасное несчастье – пожар в лаборатории Василия Емельяновича. Василий Емельянович был по профессии биологом (его узкой специальностью была гистология). Василий Емельянович преподавал в Московском университете, а в своей лаборатории занимался научными изысканиями. В тот год он заканчивал работу над докторской диссертацией. Необходимые эксперименты были уже завершены, и почти написан текст самой диссертационной работы. И вот случился пожар.

Сгорело все дотла. Произошло это ночью, а последним уходил из лаборатории Василий Емельянович. Что послужило причиной пожара, так и осталось невыясненным, но Василий Емельянович чувствовал виноватым себя. Для него это был страшный, непоправимый удар. Он не помнил, как добрался до дому после того, как побывал на пожарище. А дома он лег на диван в гостиной – лицом к стене, и неподвижно, без еды и питья, не откликаясь на призывы жены и детей, пролежал трое суток.

И тогда Елена Васильевна решила открыться мужу. Она умоляла его взять себя в руки, иначе все они, и еще не рожденное дитя, погибнут.

Известие о будущем ребенке вернуло Василия Емельяновича к жизни. Он поднялся, вышел к детям, приласкал их. Вскоре он снова пошел в свой родной университет. Коллеги помогли восстановить лабораторию, и Василий Емельянович начал заново писать свою диссертацию.

А в ноябре все свершилось, как загадала Елена Васильевна: родился сын, и она отдала ему свое сердце, свою любовь и всю свою нежность.

Когда ребенку исполнилось два месяца, в семье произошло знаменательное событие: Василий Емельянович защитил докторскую диссертацию. Защита прошла успешно. Она давала ему право на получение профессорского звания.

Василий Емельянович вернулся домой окрыленный. Вместе с женой он тут же направился в детскую, на цыпочках подошел к колыбели спящего сына и над его изголовьем шепотом произнес такую речь. «Ну вот, – сказал он, – у твоего отца сегодня

торжественный день. Он стал профессором Московского университета. Как знать, может быть, и ты когда-нибудь станешь профессором университета. Я мечтаю об этом.

Как изменились времена! Кто ныне мечтает о научной карьере?

...Как-то (незадолго до «перестройки») нужно мне было с городской окраины добраться до Университета. Я взял такси. Шофер попался взвинченный, нервный. Он беспрестанно матерился, проклиная всех – старух, лезших под колеса, баб за рулем, безмозглых шоферов, дорожные ухабы... Но путь долгий – разговорились. «Вы в Университете работаете?» «Да». «Доцентом?» «Нет, профессором». «Диссертацию писали?» «Писал». «И сколько ж Вам платят?» «Пятьсот рублей». Мой собеседник презрительно усмехнулся: «А как же Вы живете на эти деньги?» Я счел за благо промолчать, и наступила пауза. Но не надолго – водитель решил сказать о себе: «Я получаю кусок и еще подрабатываю, но разве это деньги?» «Кусок – это сколько?» Он даже повернулся ко мне и с видом полнейшего презрения, смешанного с удивлением, произнес: «Тыща». Я спросил: «А сколько ж Вам надо?» Он отвечал не задумываясь: «У меня потребности скромные – двести в день, больше не надо». «Где же взять такие деньги?» Он хмыкнул: «Если голову иметь, можно и больше». «Где, к примеру?» «Да хоть тут» – он кивнул направо (мы проезжали мимо Введенского кладбища). «Здесь и не такие деньги лежат, – продолжал он, – но я сюда не пойду». «А что так?» «Здесь пить надо по-черному и ишачить... особенно зимой». «А еще?» «С травкой можно поиграть...» «Какой травкой?» (я тогда не ведал о наркотиках). Он сморщился и перешел на «ты»: «Не знаешь, значит, и знать тебе не надо». «А если не выйдет?» «Тогда найму кого-нибудь писать диссертацию и пойду к тебе в университет в профессора», – был ответ.

Таков был престиж профессорского звания тогда, в доперестроечную пору. Примерно таков он и в наши дни. Но вернемся к героям моего рассказа.

Василий Емельянович особо не жаловал новую власть, и эта власть всерьез рассматривала вопрос о том, чтобы выслать его со всеми неугодными философами и учеными из нашей страны. Но за него заступился Дзержинский и предложил повременить со столь крутым решением. Василия Емельяновича сослали в Винницу, где ему надлежало поработать там на благо народа. И одуматься. Несколько лет Фомины жили без главы семейства. Но потом все, как говорится, обошлось: Василий Емельянович вернулся в Московский университет. Он умер своей смертью в кругу семьи.

Младший сын Фоминых – Сергей – в 1934 году поступил в Московский университет на механико-математический факультет. Он был среди лучших студентов своего курса. Увлёкся топологией и стал учеником одного из самых крупных топологов своего времени – Павла Сергеевича Александрова. После окончания университета остался в аспирантуре, и к лету 1941 года у него уже была готова диссертация. Когда началась война, С. В. Фомин был призван в армию. Он служил в войсках НКВД в Москве, занимаясь проблемами шифровки и дешифровки секретных данных. Вступил в партию. В 1942 года по служебным делам был командирован в Казань на несколько дней. В Казань в ту пору были эвакуированы многие ученые из Академии Наук СССР. Там начал работать диссертационный ученый совет по математике, и во время своей командировки Сергей Васильевич защитил кандидатскую диссертацию.

После окончания войны Сергей Васильевич демобилизовался и поступил на работу на физический факультет МГУ. Научные интересы его изменились, и Сергей Васильевич стал, под воздействием Андрея Николаевича Колмогорова и Израиля Моисеевича Гельфанда, заниматься теорией динамических систем. В 1951 году С.В. Фомин защитил докторскую диссертацию. А вскоре мечта Василия Емельяновича Фомина сбылась: его сын Сережа стал профессором Московского университета.

Прошло два года. Наступил сентябрь 1953 года. И случилось нечто немыслимое, невообразимое, небывалое – взбунтовался физфак! Забурлил, вышел из повиновения, встал на дыбы самый большой и самый передовой факультет Московского государственного университета. В это невозможно было поверить.

На очередной Отчетно-перевыборной конференции комсомольской организации физфака вдруг стали выступать один за другим комсомольцы с крамольными речами, с обвинениями руководства факультета и его партийного комитета в поругании университетских традиций, в изгнании из университета – под предлогом мнимой идейной неблагонадежности – крупнейших физиков того времени – Игоря Евгеньевича Тамма, Михаила Александровича Леонтовича, Льва Давидовича Ландау, в плохой организации учебного процесса и т. д. и т. п. На конференции был выдвинут проект решения, в котором работа бюро ВЛКСМ физфака признавалась неудовлетворительной и предлагалось создать комиссию по подготовке письма в Центральный комитет партии.

За год до того все это было абсолютно немыслимым – малейшие признаки даже не бунтарства, а простого непослушания,

жестоко подавлялись. Вот что случилось однажды в моей школе.

На школьный вечер в преддверии нового 1951 года были приглашены девочки из соседней школы (школьное образование в ту пору было раздельным). На вечере предполагались танцы. В выпускном классе учились мальчики, родители которых бывали за границей. Дома у них были пластинки с танго и фокстротами – с музыкой, объявленной в ту пору буржуазной и тлетворной. Следить за проведением вечера должен был наш военрук. Услышав тлетворные звуки, он поднялся к школьному радиоузелу и по-военному приказал прекратить безобразие. Но ребята обступили его, и не дали войти в радиоузел. Тогда он спустился в кладовку, достал кусачки и перерезал провода электросети. Свет погас, ребята и девочки в раздевалке искали свои пальто на ощупь. Мальчики долго стояли у порога школы и договорились на следующий день бойкотировать уроки.

Наутро перед школой состоялся митинг. Один из двух классов принял решение не идти в школу в тот день, из другого некоторые мальчики все же в школу пошли. Я учился тогда в девятом классе, в те дни был болен. Вот что мне рассказали мои друзья. К нашему классу вышла наша классная руководительница Лидия Кондратьевна. Мы очень любили ее. Сквозь слезы, не скрывая своего ужаса перед предстоящей расправой с нашим классом и ею самой, она обращалась к каждому из школьников нашего класса индивидуально: «Паша, милый, родной! Ради меня, только ради меня, зайди в школу». И Пашка – рыцарь и романтик, обожавший нашу учительницу, переступил порог школы. Дальше было: «Костя! Заклинаю тебя, не губи себя, подумай о папе и маме, иди на урок». И Костя, склонив голову, сгорая от стыда, тоже вошел. И еще нескольких ребят Лидии Кондратьевне удалось уговорить. Уроки в нашем классе состоялись, и мы, вместе с нашей учительницей, были спасены. А «подстрекатели забастовки» были растоптаны, размазаны, раздавлены и многие из них так и сгинули, не оправившись. Но это один класс в «отдельно взятой» школе, а здесь – целый факультет главного университета страны.

О дальнейшем я пишу со слов Сергея Васильевича Фомина.

В ноябре на парткоме МГУ обсуждался вопрос «О состоянии и мерах идейно-воспитательной работы на физическом факультете МГУ « там предлагалось действовать весьма круто, чтобы вырвать сразу с корнем. Чтобы провести это в жизнь, надо было заручиться единодушной поддержкой партийного коллектива. Созвали партактив, но, вместо ожидавшегося единодушия, случилось непредвиденное: несколько членов партии выступили с поддержкой студентов. Среди них был профессор Московского



университета Сергей Васильевич Фомин.

В ЦК партии были направлены письма руководителей физфака. Они писали, что «в настоящее время перспективы развития физики в нашей стране находятся в большой опасности. Это связано с тем, что в результате прошедших выборов в АН СССР на ряд вакансий были избраны лица недостойные по своим деловым и политическим качествам, но зато угодные монополистической группе физиков». В другом письме некая часть «монополистической группы физиков» была названа поименно: к ней были отнесены Л.И. Мандельштам, А.Ф. Иоффе, Г.С. Ландсберг, И.Е. Тамм и Л.Д. Ландау (а среди лиц избранных в академики АН СССР были Л.А. Арцимович, Н.Н. Боголюбов, И.К. Киоин, А.Д. Сахаров и Ю.Б. Харитон).

Письма противников «монополистической группы» дошли по адресу, но «там, наверху», руководителей факультета не поддержали: что-то начало меняться.

В истории нашей страны 1953 год ознаменован двумя крупными историческими событиями, впрочем, разного масштаба. Пятое марта 1953 года, смерть одного из самых кровавых тиранов в истории человечества, находится в ряду тех «минут роковых», что круто меняли ход нашей истории. Таких, как битва при Калке (31 мая 1223 года), с которой началось татаро-монгольское иго, куликовская битва (8 сентября 1380 года), положившая начало освобождению от этого ига, начало правления Петра I (1689 г.), его смерть (28 января 1725 г), бородинская битва (7 сентября 1812 года), положившая начало изгнанию Наполеона, 7 ноября 1917 года, смерть Ленина (21 января 1924 года), 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года – начало и конец Великой Отечественной войны.

Второе событие большого (но не столь, разумеется, грандиозного) масштаба свершилось 12 августа 1953 года, когда произошло первое успешное испытание «нашей» водородной бомбы. По этому поводу Игорь Васильевич Курчатов произнес свою историческую фразу: «Я поздравляю всех присутствующих. Особенно я хочу поздравить и от имени правительства выразить благодарность Андрею Дмитриевичу Сахарову за его патриотический подвиг». Среди тех, кто вместе с А. Д. Сахаровым создавали атомную, а затем водородную бомбы были Л. Д. Ландау, М. А. Леонтович, И. Е. Тамм и другие физики, изгнанные из стен Московского университета по идеологическим причинам. Оба события сделали возможным то, что произошло.

По-видимому, какие-то «верхние люди» проконсультировались с И. В. Курчатовым и другими секретными физиками, а потому руководству физфака посоветовали спустить, по возможности, дело на тормозах. Для помощи в этом деле в

Отделе ЦК выделили инструктора для беседы с активом факультета, чтобы он помог умерить разбушевавшиеся страсти.

Инструктором оказался сравнительно молодой, живой, неглупый человек, не похожий на тех, с кем Сергею Васильевичу приходилось иметь дело раньше. Молодой человек старался взять не окриком, а убеждением. И почти преуспел в этом.

«Дорогие товарищи, – говорил он, – критика студентов во многом справедлива. У вас, да и вообще в нашей жизни, много недостатков. Но не забывайте: мы идем непроторенной дорогой. Мы строим новое общество. Разумеется, возможны ошибки, и не все идет так гладко, как хотелось бы. Но нельзя же забывать, чего мы достигли за тридцать шесть лет со времени свершения нашей великой Революции. Разве не видно каждому, как преобразилась наша жизнь?»

Аудитория слушала с напряженным вниманием, и все настраивалось на неизбежное, хоть, возможно, и достаточно мягкое наказание виновных. И докладчик почувствовал, что аудитория склоняется в нужную сторону. Как опытный оратор он решил закончить свою речь на какой-то высокой ноте, способной поставить все на свои места.

...Когда приходится выступать перед незнакомой аудиторией, то нередко случается, что докладчик более всего следит глазами за каким-то одним слушателем, и в итоге он начинает как бы вести именно с ним личную доверительную беседу. А здесь на первом ряду прямо перед лектором сидел красивый светловолосый молодой человек в элегантном сером пиджаке с белой рубашкой апаш. Он внимательно слушал лектора и, казалось, одобрял то, что он слышал. И именно этого своего слушателя избрал лектор для нанесения последнего удара.

Желая доказать на конкретном примере, как много дала Советская власть трудящимся, лектор спросил молодого человека: «Ну, вот, к примеру, Вы. Кем Вы здесь работаете?» Молодой человек ответил, медленно выговаривая каждое слово: «Профессором Московского университета». Это было неслыханной удачей: можно было думать, что доцентом, ассистентом, аспирантом – так молодо он выглядел, а здесь спрашиваемый находился в высшей точке профессиональной карьеры! «А кем работает Ваш отец?» Ну что можно было ожидать от профессии отца? Скорее всего крестьянин, или пролетарий, или просто мешанин... Но тем же спокойным медленным тоном, с точно той же интонацией молодой человек (а это был не кто иной, как Сергей Васильевич Фомин) произнес: «Профессором Московского университета».

И тогда прорвалась плотина напряжения и страха и

аудитория взревела, загоготала, заржала неистово, оголтело и безудержно. Все вдруг почувствовали какое-то освобождение, а бедный оратор стоял в полной растерянности перед этой захваченной вдруг нахлынувшей волной смеха аудитории, постепенно осознавая, что все его усилия пошли прахом.

Вот чем все это закончилось. По поручению ЦК КПСС была создана комиссия под председательством министра Среднего машиностроения СССР В.А. Мальшева (тоже знаковая фигура), в которую, помимо сотрудников аппарата ЦК, вошли академики И.В. Курчатова, А.Н. Несмеянов, ректор МГУ И.Г. Петровский и первый зам. министра культуры С. В. Кафтана. В соответствии с постановлением Секретариата ЦК произошла замена декана, наиболее одиозные профессора физфака были уволены из МГУ. Л.Д. Ландау, М.А. Леонтович, И.Е. Тамм и некоторые другие выдающиеся физики стали преподавать в Московском университете. Во всем этом чувствовалось знамение времени, времени надежд, времени нашей юности.

А среди песчинок, которые сделали возможным перевесить чашу весов, было присутствие на партактиве физического факультета МГУ Сергея Васильевича Фомина – профессора Московского университета и сына профессора Московского университета.

## **Приложение 1**

**Евгений Бунимович**

### **Мой учитель Сергей Васильевич Фомин**

К третьему курсу мехмата я уже точно понимал, что ученым не буду, что «чистая наука» не мое.

...Надо сказать, что в университет я поступил в достаточно юном возрасте, неполных шестнадцати лет. Когда сдавал документы, еще паспорта не было. Сказалась инерция: «константиновские» маткружки – дипломы олимпиад – вторая физматшкола – мехмат. Сказалась и семейная традиция: папа с мамой познакомились на мехмате, ещё на Моховой, да и брат старший тогда только что закончил всё тот же мехмат.

Что творилось в голове юного шалопа, можно частично восстановить по моим ответам в интервью, опубликованном тогда в «Московском комсомольце». Там я объяснял, что «я не математик, математик – это мой брат. Он, когда завтракает или едет в автобусе, решает какую-то задачу. А я смотрю в окно».

Тем не менее, студенту мехмата надо было определяться с кафедрой, с научным руководителем. Сергей Васильевич Фомин был одним из самых уважаемых преподавателей факультета, о нем шла молва не только как о блестящем ученом и педагоге, но и как о

человеке редчайшей порядочности и мужества. Мое обращение к нему понять можно, но зачем он взял такого шалопазя? Наверное, тут свою роль сыграло моё имя. Точнее – фамилия. С.В. Фомин был ровесником отца, Абрама Исааковича Бунимовича, они вместе учились, а затем и работали на мехмате. Может быть, сказалося и то, что именно в те годы открывалась мемориальная доска, посвященная мехматянам, погибшим на войне. Это были ровесники и сокурсники и отца, и мамы, и С. В. Фомина. Я был наслышан о них с детства, и потому работа по сбору материалов для мемориальной доски не была для меня формальностью. Я тогда уже активно писал стихи, был старостой литературной студии МГУ, начал печататься в «Новом мире», в том же МК, был одним из организаторов популярного в студенческой среде интернационального студенческого ансамбля, куда входили студенты и аспиранты из Франции, Англии, Латинской Америки, Африки... А вот на лекциях и семинарах был гостем нечастым, хотя хорошая база математической школы и математической семьи позволяла худо-бедно продолжать учебу, сдавать зачеты и экзамены. Но тут, пойдя в ученики к Фомину скорее из соображений нравственно-этических, чем научных, я совсем не сразу осознал, на что себя обрёл. Быть дураком рядом с ним было как-то совсем неловко, пришлось кое-что подучить, разобраться. Да и тему мне Сергей Васильевич предложил интересную: «математическая модель памяти», подключив к этому проекту еще и студента биофака, и еще двух научных руководителей, с которыми я в основном и работал.

Завидую мемуаристам, с которыми с первой встречи, буквально на ходу великие люди делятся самым важным, самым сокровенным. Ничего подобного в моем общении с С.В. Фоминым не было. Мы пересекались с Сергеем Васильевичем на семинарах, на кафедре, у лифта, в коридоре. С ироничной доброжелательностью он спрашивал меня о том, что пишу, что читаю. Хрестоматийной в среде представителей точных наук стала реплика Давида Гильберта, который на вопрос о судьбе одного из своих учеников ответил: «Он стал поэтом. Для математика у него не хватило воображения». Нечто подобное ощущалось и в нашем общении.

И не осмелился бы я на особые воспоминания о таком человеке, если бы не одна история: на пятом курсе меня стали выгонять из комсомола. И не за карты или пьянку, что было бы ещё куда ни шло. За политику. Идеологические неприятности были и до того, но тут всё стало сразу куда серьезней. И чёрт бы с ним, с этим комсомолом, но по тем временам это означало автоматическое отчисление из МГУ, отправка в армию с диссидентским досье. Ну и

так далее. Нет, никаким диссидентом в реальном смысле этого слова я, конечно, не был, и не собираюсь героизировать прошлое. Но дело могло кончиться весьма для меня неважно. Все это не могло не быть сообщено научному руководителю неблагонадежного студента. Сергей Васильевич вызвал меня. Выслушал. Не ругал. Не хвалил. Задумался. Спросил: «Как с дипломом?»

До выпуска было еще полгода, целый семестр, тут ещё все эти напасти, с дипломом было почти никак. О чем я честно и сообщил Фомину. Терять было уже нечего. Он сказал: «Дело, судя по всему, серьёзное, через неделю представляете диплом». Это только потом я понял, что значили его слова. Защита диплома означала формальное окончание Университета. После этого выгнать меня уже не могли. В установленный С. В. Фоминым жесткий срок на дверях кафедры появилась бумажка, информирующая о защите диплома студентом. Сергей Васильевич собрал внушительный кворум профессуры, которые рассеяно слушали блеющего у доски пятикурсника. Хотя работа (надеюсь) была нестыдной, лет десять спустя один мой бывший однокурсник даже сказал, что на неё ссылались на конференциях по матмоделям памяти. Но это так, к слову. Главное – вот так я защитил диплом. Вскоре об этом узнали соответствующие органы. Сначала не поверили, а потом как-то потеряли ко мне всякий интерес. Мама перестала плакать по ночам.

И вот я закончил мехмат МГУ. Московское лето, всё позади, с сентября собирался начать работу в школе, учить детей. И вот в августе пришла страшная весть: на Дальнем Востоке, во время научной конференции умер Фомин. Я не мог поверить. Пришел на прощание, которое, как известно, состоялось не в МГУ, а в академическом институте, куда он перешёл работать. Помню потерянные лица коллег С. В. Фомина, его друзей, учеников. Помню и официальные лица советских чиновников от науки, пришедших по необходимости и едва ли способных ощущать стыд или вину. Помню мужественный голос дочери Сергея Васильевича. Стоял у стенки. Не стеснялся слёз. Понимал, что так уж обернулось, и теперь я один из последних учеников С. В. Фомина. А, может, и последний его ученик. Понимал, что в математике кому-то другому выпадет продолжить его мысли и труды. А вот в остальном – не посрамлю. И никогда его не забуду. Сегодня, больше трех десятилетий спустя, не мне судить, как получилось с первым. Но не забыл и уже никогда не забуду – это точно.



## Приложение 2

Василий Демидович

### Вспоминая Сергея Васильевича Фомина

О Сергее Васильевиче Фомине я всегда вспоминаю с глубоким тёплым чувством. Но сначала о предыстории нашего знакомства.

Так случилось, что за два года – в 1966-1967 годы – мне пришлось пережить смерть трёх близких мне людей: бабушки, дедушки Серёжи (брата моего родного деда, умершего ещё в 1945 году) и мамы. В 1966-ом году я стал аспирантом кафедры вычислительной математики Мехмата МГУ. И после всех этих свалившихся несчастий мы с отцом и неженатым моим братом Андреем остались одни в квартире на Лесной улице. Потому, во многом чтобы отвлечься от горьких воспоминаний, вместо того чтобы сосредоточиться на завершении своей кандидатской диссертации, я «ударился» в общественную работу – комсомольскую деятельность. И весной 1968 года, на третьем году обучения в аспирантуре, я был избран уже секретарём Комитета ВЛКСМ Мехмата МГУ «по идеологии».

В конце декабря 1968 года срок обучения в аспирантуре у меня истёк, и аспирантская стипендия мне уже не полагалась. Поэтому, будучи факультетским комсомольским секретарём, с подачи тогдашних секретаря партбюро Мехмата МГУ Николая Петровича Жидкова и первого секретаря Комитета ВЛКСМ Мехмата МГУ Игоря Султанова, я был зачислен на полставки на должность младшего научного сотрудника ВЦ МГУ и на полставки инструктора Ленинского РК ВЛКСМ, но временно, до проведения очередной комсомольской отчётно-перевыборной конференции, то есть до весны 1969 года. Однако перед этой конференцией меня уговорили ещё год поработать на факультетской комсомольской работе. Так я стал первым секретарём Комитета ВЛКСМ Мехмата МГУ, находясь, по-прежнему, на полставке «мэ-нэ-эса ВЦ МГУ» и на райкомовской «инструкторской полставке». Тогда же я стал кандидатом в члены КПСС.

Последующая отчётно-перевыборная комсомольская конференция должна была состояться весной 1970 года. Однако она была перенесена (я уже не помню точно по какой причине – кажется, в связи с обилием всевозможных мероприятий в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина) на осень того же года. И в сентябре 1970 года у меня встал вопрос о своём дальнейшем трудоустройстве.

А надо сказать, что у меня было уже несколько публикаций, да и некоторый опыт педагогической деятельности: я,

ещё будучи аспирантом, вёл семинарские занятия на Химфаке МГУ на условиях почасовой оплаты по кафедре математического анализа. И тут заведующий кафедрой математического анализа Николай Владимирович Ефимов попросил меня подготовить справку о моей научной деятельности с перечнем публикаций (и кратким резюме по каждой из них), а также о моей педагогической нагрузке на Химфаке МГУ, добавив, что он предложит мою кандидатуру для зачисления ассистентом на свою кафедру. Вскоре Виктор Антонович Садовничий, ставший в 1970 году секретарём партбюро Мехмата МГУ на смену Николая Петровича Жидкова, сообщил мне, что вопрос о моём зачислении на факультет решён положительно, но только не на кафедру математического анализа (где работал и мой отец), а на кафедру общих проблем управления. Я, конечно же, согласился на такой вариант.

Всё складывалось для меня, вроде бы, удачно. И в октябре 1970 года, за несколько недель до намеченной на середину ноября перевыборной комсомольской конференции, к Сергею Васильевичу Фомину, осуществлявшего тогда реальное руководство кафедрой общих проблем управления, поступило на подпись подготовленное представление о зачислении меня на должность ассистента кафедры ОПУ.

Вот тогда-то и состоялось моё знакомство с Сергеем Васильевичем. И прежде чем поставить свою подпись на «Представлении» он предложил мне побеседовать, немного прогулявшись (а был тёплый октябрьский день) около университета.

Прогулка наша затянулась часа на два. Конечно же, прежде всего он расспросил меня о теме моей предполагаемой кандидатской диссертации (по задумке связанной с приближённым вычислением ляпуновских характеристических показателей обыкновенных дифференциальных уравнений). Но это заняло минут десять: он сразу всё понял, дал пару советов, каким классом дифференциальных систем стоит ограничиться (поскольку «в общем случае вам вряд ли удастся всё решить») и, вообще, следует быстрее разделаться с написанием диссертации. А дальше пошёл общий разговор: какие книги я предпочитаю читать, бываю ли я в театрах и т.п. Интересовался он и на какие математические семинары я ходил, всё ли на них мне было интересно. Одобрил, что я люблю изучать иностранные языки («очень пригодится при поездках на конференции»), а также, что я интересуюсь историей («хотя у нас трудно докапываться до правдивых первоисточников»).

Видимо, я произвёл на Сергея Васильевича благоприятное впечатление. Он сказал, что подпишет «Представление», но что

мне постепенно надо втягиваться и в непосредственную тематику кафедры ОПУ. Кроме того, он предложил мне стать Учёным секретарём кафедры на смену Герману Юрьевичу Данкову, «который не прочь покинуть этот пост». Так с 1 -го ноября 1970 года я стал сотрудником кафедры ОПУ.

Но, как я уже говорил, в середине ноября (если мне не изменяет память, 17 ноября) состоялась мехматская отчётно-перевыборная комсомольская конференция. А у меня к концу моего секретарства серьёзно осложнились отношения с влиятельными членами факультетского партийного бюро – основное их обвинение, вкратце, заключалось в том, что я во многих вопросах «своевольничал, отклоняясь от линии партбюро». И когда на конференции я, опять же, проявил «вредный либерализм»: в результате которого намеченная партбюро кандидатура следующего комсомольского секретаря Мехмата МГУ Юры Соколова чуть ли не была забаллотирована вообще в состав факультетского Комитета ВЛКСМ, то меня было решено наказать. Поскольку мой кандидатский стаж как раз закончился, то меня вызвали на партбюро Мехмата МГУ и, после обсуждения моей комсомольской деятельности, было принято решение на предстоящем факультетском партийном собрании не рекомендовать принимать меня в члены КПСС.

В конце ноября 1970 года это факультетское партийное собрание состоялось. И на этом собрании, длившемся около двух часов, по моей кандидатуре произошёл своего рода раскол мнений: конечно же, были выступления, безоговорочно поддержавшие решение партбюро, но были и выступления, считавшие, что хотя у меня и имелись ошибки в моей комсомольской деятельности, но в целом меня можно рекомендовать для вступления в члены КПСС. Я не буду называть тех, кто выступал против меня (тем более что с большинством из них у меня потом наладились отношения), но я всегда с благодарностью вспоминаю тех, кто оказал мне тогда поддержку.

Так вот, среди выступавших за меня на том злополучном собрании мне хочется особо выделить Ивана Терентьевича Борисёнка, Бориса Владимировича Шабата, Льва Абрамовича Тумаркина, Валентина Анатольевича Скворцова, Владимира Михайловича Гендугова, Игоря Адхемовича Султанова. И, конечно же, Сергея Васильевича Фомина. Причём если и Иван Терентьевич, и Борис Владимирович, и Лев Абрамович, и Валентин Анатольевич, и Владимир Михайлович, и Игорь Адхемович знали меня (в том числе по моей комсомольской работе) уже несколько лет, то моему знакомству с Сергеем Васильевичем было лишь около месяца! А вот, например, мой научный руководитель

Алексей Денисович Горбунов, знавший меня с 3-го курса и за год до этого собрания давший мне замечательную партийную рекомендацию для вступления в кандидаты партии (и сказавший тогда: «Почту за честь, что факультетский комсомольский вожак обратился ко мне за такой рекомендацией»), при моём обращении повторить (пусть в более скромных выражениях) мне рекомендацию для вступления в члены КПСС, ответил так: «Я солдат партии, и решение партбюро для меня закон. Раз им принято решение не рекомендовать вас в члены КПСС, то и я вам своей рекомендации дать не могу». В отличие от этого я всегда буду помнить, что другой мой «рекомендатель» – Николай Петрович Жидков – сразу же после решения партбюро хотя бы предпринял попытку всё сгладить (правда, оказавшуюся безуспешной), а Вузком МГУ свою рекомендацию мне просто подтвердил.

Завершая воспоминания о моей «партийной эпопее», добавлю, что хотя на том собрании я получил (при открытом голосовании !) примерно 60 процентов в свою, условно говоря, поддержку (а, вернее, за продление моего кандидатского стажа ещё на год), но, поразмыслив (и посоветовавшись с опытными членами партии, в частности, с хорошо ко мне относившимися Андреем Борисовичем Шидловским и Иваном Васильевичем Матвеевым), я написал своё заявление в партком МГУ «о преждевременности своего вступления в члены КПСС». Сергей Васильевич не слишком одобрил этот мой шаг (сказав, что надо было бы «бороться до конца», а рекомендации можно получить и от других, «более независимых, коммунистов»). Но я был непреклонен. В общем, коммунистом я так и не стал, но благодарность к поддержавшим меня в трудную минуту членам КПСС, как и к комсомолу, я сохранил на всю жизнь. Впрочем, все это дела сорокалетней давности...

Работая на кафедре, я практически ежедневно виделся с Сергеем Васильевичем. Относился он ко мне всегда очень дружелюбно. Но после защиты мной кандидатской диссертации (происходило это в Минске, где тогда находилась редакция всесоюзного журнала «Дифференциальные уравнения», в котором были опубликованы основные результаты по диссертации, и куда меня лично пригласил защищаться директор Института математики АН БССР Николай Павлович Еругин) он поручил мне чтение сразу двух курсов лекций по вычислительной математике и ведение по ним семинарских занятий: одного (семестрового) на мехматском ФПК и второго (трехсеместрового) на факультетском инженерном потоке.

Обуславливалось это, конечно же, тем обстоятельством,

что как раз весной 1970-го года в МГУ был образован факультет ВМиК, и на кафедру ОПУ свалилась необходимость обеспечивать на Мехмате не только преподавание дисциплин, связанных с основной кафедральной направленностью, но ещё и курсов по методам вычислений и программированию. Безусловную помощь в этом нам оказывала созданная в 1969 году при кафедре ОПУ Лаборатория по проблемам управления, но всё равно «перегруз» педагогической нагрузки был очень значительным. Усилиями Сергея Васильевича, при поддержке Ивана Георгиевича Петровского, для чтения лекций по методам вычислений на кафедру ОПУ были приглашены из Института прикладной математики АН СССР (на условиях совместительства) такие замечательные специалисты как Константин Иванович Бабенко, Олег Вячеславович Локуциевский, Владимир Федотович Дьяченко, а для чтения лекций по программированию (из того же Института) – Всеволод Серафимович Штаркман и (из Института проблем передачи информации АН СССР) Михаил Моисеевич Бонгард. Преподавателей же для ведения семинарских занятий по программированию и вычислительному практикуму катастрофически не хватало. Поэтому основная тяжесть по ведению указанных занятий (особенно по программированию) легла на плечи неутомимых Анатолия Георгиевича Кушниренко и Владимира Борисовича Бетелина (с «выросшими» у них учениками). «Под ружьё» были поставлены также практически все сотрудники кафедры ОПУ и её Лаборатории (и даже с других кафедр – помнится, что занятия по программированию вели, например, сотрудники кафедры математического анализа Юрий Николаевич Сударев и Александр Иванович Камзолов).

Я вспоминаю, как Сергей Васильевич по этому поводу попросил меня в 1972 году составить список возможных «дополнительных сотрудников для работы на кафедре ОПУ хотя бы на условиях почасовой оплаты», а потом предложил мне вместе с ним пойти прямо к Ивану Георгиевичу Петровскому (сказав: «Вы же теперь Учёный секретарь кафедры и Вам надо обязательно с ним познакомиться») для издания соответствующего приказа «сразу по МГУ». Но в 1973 году Ивана Георгиевича не стало, и все «зачисленные из списка почасовики» с факультета быстро «исчезли». Тем не менее, в те годы у нас стали преподавать программирование и методы вычислений, в частности, Георгий Максимович Адельсон-Вельский, Юрий Матвеевич Баяковский и Юлиан Борисович Радвогин. Тогда же из ВЦ АН СССР был приглашён на нашу кафедру читать спецкурс и вести спецсеминар по математической биологии Юрий Михайлович Свирижев.

Лишь с возвращением в 1981 году Николая Сергеевича



Бахвалова с ВМиК на Мехмат в качестве заведующего кафедрой вычислительной математики, а вслед за тем и наполнением этой кафедры собственными научными кадрами, преподавание программирования и дисциплин вычислительного толка стало осуществляться кафедрой вычислительной математики. А существовавшая при кафедре ОПУ Лаборатория, преобразованная в Лабораторию вычислительных методов, перешла «под крыло» бахваловской кафедры.

После скоропостижной смерти Ивана Георгиевича Петровского ректором МГУ стал физик Рем Викторович Хохлов. Сергей Васильевич с гордостью говорил, что «он у меня учился» (видимо, слушал лекции Фомина по математике, когда Сергей Васильевич работал ещё на Физфаке МГУ). Он и к нему меня, как-то, сводил, поскольку «это может пригодиться нашей кафедре». Однако так быстро (как при Иване Георгиевиче) решать вопросы «в пользу кафедры ОПУ» с Рэмом Викторовичем у него уже не получалось. И тогда Сергей Васильевич, отдававший все свои силы и свою душу кафедре ОПУ, перешёл на основную работу с Мехмата МГУ в Институт проблем передачи информации АН СССР, оставшись на нашей кафедре лишь по совместительству. А через год его не стало.

Похоронен Сергей Васильевич на Армянском кладбище в Москве, что напротив Ваганьковского кладбища: его женой была армянка Нуна Ованесовна Юзбашьянц. И когда я бываю на Ваганьковском кладбище, где похоронены моя бабушка, мои оба дедушки, моя мама, два моих дяди – братья мамы и мой уже умерший брат Андрей, то я стараюсь зайти и на Армянское кладбище, чтобы поклониться могиле Сергея Васильевича...



# Борис Горобец

## Памяти Игоря Ландау

(1946-2011): прощальное слово оппонента



Вместо о том, что 14 мая 2011 г. в Швейцарии скончался от рака мозга доктор физико-математических наук Игорь Львович Ландау, сын великого физика XX столетия советского академика Л.Д. Ландау, шокировала в самом печальном смысле этого слова не только друзей и близких Игоря, но и меня, его многолетнего оппонента. Физикам школы Ландау и не только им, читателям книг трилогии «Круг Ландау» [1-3] и так называемой «Книги Кору» [4] известно, что мы с Игорем оказались «по разные стороны баррикады» в трактовке той части истории советской физики, которая связана с именем Евгения Михайловича Лифшица<sup>1</sup>, друга, главного соавтора и пишущей руки Л.Д. Ландау при создании многотомного Курса теоретической физики, используемого во всем мире, где изучают теоретическую физику. Между тем, во время единственной моей личной встречи с Игорем в октябрьский день 2008 г. на телестудии «Останкино», во время обсуждения скандально известного телефильма «Мой муж – гений», наши позиции оказались не с лишком далекими друг от друга, и никаких следов враждебности между нами с Игорем не проявлялось. В заключение мы простились, пожав друг другу руки.

Известие о кончине Игоря от внезапной страшной болезни (с которой я и сам знаком не понаслышке), искреннее сочувствие к тому, что он, наверное, испытал в последние месяцы, недели и дни своей жизни, а наряду с этим огромная тема Ландау, которая сделала нас с Игорем коллегами в литературе о Ландау и Лифшице – вот причины появления этого моего прощального очерка.

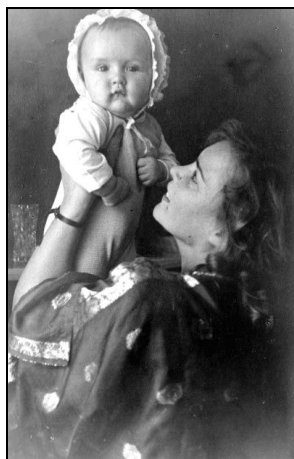
### Немного о детстве Игоря

Я мало что могу рассказать о биографии Игоря, так как, хотя мы и жили с ним в километре друг от друга, но никогда не

---

<sup>1</sup> Ниже часто будут употребляться только инициалы имен и отчеств: Е.М. (Лифшиц), Л.Д. (Ландау).

встречались. Игорь Ландау родился в июле 1946 г. в семье всемирно известного физика Льва Давидовича Ландау и Конкордии Терентьевны Дробанцевой, эталонной красавицы-блондинки, на 14-м году их гражданского брака. Этот брак родители Гарика (как его звали в семье, а также в кругу близких людей) узаконили в ЗАГСе 6 июля, за несколько дней до рождения сына. В моей книге «Круг Ландау. Жизнь гения» [1, с. 342] есть одна из первых фотографий Игоря, на ней запечатлена Кора<sup>2</sup> с явной гордостью держащая на руках младенца, которому, наверное, месяца два-три на этом снимке.



Игорь жил в доме при Институте физпроблем (ИФП), построенном в 1936 г. в английском стиле по проекту П.Л. Капицы у Калужской заставы, там, где Большая Калужская улица переходила в Воробьевское шоссе (нынешний адрес: улица Косыгина, дом 2, бывшая квартира Ландау имела № 2). В этом доме было примерно 8-10 (точнее, не знаю) однотипных квартир, отданных ведущим научным сотрудникам ИФП, приступившим к работе в этом институте, вскоре ставшем всемирно знаменитым. В этих квартирах жили семьи А.И. Шальникова, М.П. Малкова, В.П. Пешкова, П.Г. Стрелкова, кого-то еще. По всей видимости, в каждой из квартир до войны и в первые послевоенные годы жило по две семьи. У семьи Ландау была двухэтажная квартира из небольших пяти комнат. Когда в начале 1937 г. Ландау переехал в Москву по приглашению Капицы из Харькова, из Украинского физико-технического института, то вскоре он пригласил, с согласия

---

<sup>2</sup> Я буду называть ее так, как называли ее окружающие и она себя в специфически знаменитой «книге Коры»[2].

Капицы, для работы с собой в ИФП Е.М. Лифшица. Их дружба, зародившаяся еще в 1932 г. Харькове, становилась теперь все сильнее. Е.М. стал ближайшим помощником и соавтором Л.Д., а затем и самым близким и доверенным другом. Капица прописал Е.М. Лифшица вместе с его тогдашней женой Еленой Константиновной Березовской (врачом) в двух комнатах нижнего этажа той самой 5-комнатной квартиры, где жили Ландау с Корой. Последние занимали три небольшие комнаты второго этажа. Это подселение Лифшица произошло по просьбе самого Ландау. Все равно пришлось бы кого-то временно подселить, поскольку в перенаселенной Москве профессор Ландау, еще не академик, не ведущий участник разработки атомной бомбы, т.е. не Герой и не лауреат, должен был выбрать кого-то ближайшим соседом. Он естественно предпочел в качестве такового друга и помощника.

Так продолжалось до начала войны. Затем была эвакуация ИФП в Казань. После реэвакуации в 1944 году в Москву Ландау получил в свое распоряжение всю 5-комнатную квартиру (может быть не сразу, деталей не знаю). Однако к моменту рождения Игоря, когда Ландау был в этом же 1946 г. избран в академики (причем сразу, минуя ступень членкора), он жил уже в отдельной квартире. Е.М. Лифшица же Капица переселил в три комнаты верхнего этажа кв. № 1. В ней нижние комнаты занимала Е.В. Смоляницкая (которая, кажется, была секретарем директора ИФП или начальником отдела кадров). Она жила с двумя сыновьями, отселившись после развода от своего бывшего мужа П.Г. Стрелкова. Но это не означает, что Е.М. жил в коммунальной квартире совместно со Смоляницкой. Вход к ним с улицы был один, через маленький «подъезд», но дальше стояли двери – наверх к Лифшицу, или на 1-й этаж, к Смоляницкой.

Как по работе, так и по дружбе Ландау с Лифшицем были, что называется «не разлей вода». Е.М. заходил к Л.Д. раз по десять на день. Ландау дал ему ключ от квартиры, и ежедневно Кора, а позже и Гарик слышали, как открывается входная дверь и Лифшиц, лишь кратко поздоровавшись с Корой и не обращая внимания на ее маленького сына, вбегал по лестнице на второй этаж, где они уединялись с Л.Д. на час-два, а то и больше. Часто между ними возникали громкие споры, обычно по какому-то физическому вопросу. Бывало, что после жаркого диалога Е.М. быстрыми шагами сбегал с лестницы - ему вообще не была присуща степенность и вальяжность - убегал к себе домой. Но через некоторое время он вновь прибегал к Ландау, по-видимому, что-то исправив и с новыми предложениями. Такая почти ежедневно повторяющаяся картина вызывала ядовитые насмешки у Кору, она это и выразила в своей книге [4]. Лифшиц ею воспринимался как

литературный секретарь Ландау.

Известный физик-теоретик профессор Д.Е. Хмельницкий, не являющийся учеником Ландау, но близко знакомый с этим кланом ученых, как-то метко сказал: «Одной фразой я мог бы пересказать биографию Евгения Михайловича так: бескомпромиссный апостол ландауизма» (см. в кн.: [3, с. 19]. Наблюдая Е.М. с близкого расстояния в течение многих лет, могу на 100% присоединиться к этой характеристике. Причем она отражает не только отношение Е.М. к физике, но и к принципам построения личной жизни, далеким от стандартов, принятых в научной среде. Уточню. Хотя в советской артистической богеме эти стандарты были значительно менее жесткими, однако теория и практика свободной любви и семейной жизни по Ландау выходили даже за толерантные пределы этой богемы 1930-1960-х годов, в которой избегали открытого показа своей интимной жизни (в отличие от нынешней «пугачевщины»). Ландау же, наоборот, считал позорным скрытничать. Он всё делал открыто, примеры чему многократно приводит Кора [4]. Как я убежден, именно эта практика и явилась главной причиной ненависти Кору и ее презрения к Е.М. Лифшицу, разделявшему указанные теории Ландау и поддерживавшему его. Хотя в своей практике Е.М. был несравненно скромнее Ландау.

Едва ли не все время маленький Игорь находился с матерью, тогда как с отцом он почти не общался, и это не могло не сказаться на формировании в его детской психологии устойчивых стереотипов. Среди них стало преобладать столь же отрицательное отношение Игоря к Е.М. Лифшицу, как и у его матери. И оно сохранилось у Игоря на всю жизнь.

Сильных сторон Е.М. Лифшица, его беззаветной преданности и жертвенности по отношению к Л.Д. Ландау Игорь не видел и не ощущал. Это и явилось основой нашего противостояния в публикациях. Хотя меня оно огорчало, я не мог в принципе быть солидарным с Игорем. В то же время, я постепенно стал понимать глубинные причины негативного отношения Игоря к Е.М.

В 1940-1960 годах я жил в одном из трех домов при Институте химфизики (ИХФ) по адресу: Воробьевское шоссе, дом 2 (ныне ул. Косыгина, дом 6). В этих же домах жили дети физиков из школы Ландау: Ольга, Марина и Борис Зельдовичи - дети Якова Борисовича Зельдовича; Катя и Дима Компанейцы - дети Александра Соломоновича Компанейца; Феликс и Нюта - дети Кирилла Ивановича Щелкина; Илья - сын Овсея Ильича Лейпунского; Ляля - дочь Николая Марковича Эммануэля. Кстати, все перечисленные отцы семейств - выдающиеся ученые; и все

они, кроме Эммануэля, работали в те годы по созданию атомной и водородной бомб.

Как рассказывает в своих записках Катя Компанеец [5], дружили однолетки: Гарик Ландау, Миша Лифшиц, Илья Лейпунский, Нюта Щелкина, к ним иногда примыкала Ляля Эмануэль.

«Зима 1951-1952 гг. Ходили в английскую группу, собирались по утрам во дворе Института физпроблем или Института химфизики. Гарик выходил недовольный и молчаливый, мы копали лопатками снег и при этом что-то должны были говорить по-английски. <...> Говорили, что Дау не занимается Гариком, во всяком случае, когда они проходили с Лифшицем мимо нас, детей на обед, никогда не останавливались полюбоваться нашими розовыми щечками. Воспитанием Гарика занималась Кора, и ее рассказы об этом со смехом пересказывались моими родителями. Так, Гарик ни за что не хотел есть и соглашался только при одном условии, если его сажали в черный ЗИМ *<автомобиль представительского класса, в котором ездили министры и особо крупные академики>*, и шофер возил его по Москве. <...> Другая история была, как Гарик в грязных ботах пришел с прогулки и оставил их у дверей. А когда вышел опять гулять, оказалось, что боты были вымыты. Он страшно обозлился и кричал: “Намажьте мне боты грязью!” Пришлось намазать. Это то, что я помню о детстве Гарика».

В те годы я ни разу не видел Гарика, хотя сам Лев Давидович был дружен с моей матерью посредством Е.М. Лифшица, с кем у нее сложились близкие отношения с 1948 года до конца жизни. Я был старше Игоря на 4 года, а мой брат Женя был его абсолютным ровесником; кажется, они даже родились в один и тот же день, в конце июля 1946 г. В школе № 22, в которой училось подавляющее большинство детей сотрудников «Химфизики» и ряд детей сотрудников Физпроблем (из семей попроще), Гарик не учился. Мне вспоминается, хотя полностью я в этом не уверен, что он, как и сын Е.М. Лифшица Миша, ходили в школу № 10 у Калужской заставы.

О школьном периоде Игоря мне опять-таки почти ничего не известно. Расскажу лишь о двух эпизодах из этого периода, которые, впрочем, характеризуют поведение родителей Игоря, а не его самого.

(1) Весной 1961 года мой брат Евгений заканчивал 9-й класс, так же, как и сын Ландау. В те годы школьникам было трудно поступить в вуз, так как по инициативе Н.С. Хрущева было установлено преимущество для производственников — ребят, успевших получить двухлетний трудовой стаж по профилю

будущего вуза; их брали по отдельному конкурсу, даже с тройками. В это время наша мама, Зинаида Ивановна Горобец, услышала от кого-то, что в Институте физпроблем появилась весьма редкая лаборантская вакансия. И у нее возникла идея попросить П.Л. Капицу, чтобы он взял Женю на это место, а учиться Женя продолжил бы в вечерней школе. Просьба была довольно естественная, так как З.И. давно работала в редакции ЖЭТФ, который возглавлял Капица, знавший ее лично. Но прежде она решила обсудить эту идею с Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем, для чего зашла в теоретический отдел Ландау, находившийся по соседству с редакцией. Выслушав ее, оба ученых не только не одобрили ее плана, но и посмеялись над ней. Они считали, что не надо переходить в вечернюю школу, а следует заканчивать более сильную дневную школу и как можно лучше готовиться к вступительным экзаменам в институт (тогда Женей в силу традиции окружающей его среды был намечен вуз, готовящий физиков, скорее всего, МИФИ или физфак МГУ). Но мама не оставила намерения обратиться к Капице и ждала подходящего момента встречи с ним. Однако через неделю Е.М. Лифшиц с иронической улыбкой сообщил З.И., что она может не беспокоиться — на эту вакансию лаборанта в ИФП уже зачислен сын Ландау, так как к Капице обратился по данному вопросу сам Л.Д. Ландау, имевший к нему доступ в любое время. Случившееся определило всю будущую судьбу как Игоря Ландау, так и Евгения Горобца, причем, наверное, к лучшему. Женя самостоятельно нашел себе место работы, он поступил лаборантом в кабинет физики в 51-й школе и перешел доучиваться в вечернюю школу. Вместе с тем, возможно, этот эпизод, показавший ему, как великие физики «шутят», не добавил симпатий к их науке. Женя резко изменил свой профессиональный выбор вопреки всем семейным традициям. Сейчас он профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии в Российском Онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина, заслуженный деятель здравоохранения России. Игорь же стал сотрудником ИФП, доктором физико-математических наук.

(2) Двоюродная сестра Игоря, дочь Софьи Ландау (Зигель) Элла Рындина пишет:

«Когда родился Гарик в июле 1946 года, по словам Дау, Кора хотела, чтобы Гарик носил фамилию Ландау и был русским. Дау встал на дыбы: “Если Ландау — то еврей, а если хочешь записать его русским, то пусть будет Дробанцевым. Это же смешно — Ландау — и русский”. Поскольку переспорить его было невозможно, то Кора согласилась, и они сошлись на решении записать Гарика под фамилией Ландау» [6].

Полемизируя со своей двоюродной сестрой Эллой Рындиной, Игорь рассказал о том, как его родители решали вопрос о его национальности и фамилии.

«Напишу, что же было с национальностью Гарика на самом деле. Прежде всего, для отца не существовало понятие национальности, который здесь вкладывает Элла. Для него было совершенно неважно: еврей, грузин или русский. Ему было наплевать на этническое происхождение. Да, он был евреем, но не считал это ни достоинством, ни недостатком. Что же было с "национальностью Гарика"? Все знают, что мы жили тогда в стране, в которой быть евреем было не очень хорошо, а иногда и опасно. Именно поэтому и отец, и мать хотели, чтобы у меня в паспорте было написано "русский". Никаких дискуссий по этому поводу не было никогда. Отец, правда, очень боялся, что, если моя фамилия будет Ландау, то запись в паспорте может и не помочь. Именно поэтому он долго уговаривал мою мать записать меня под фамилией Дробанцев, а мать была категорически против. Вот, собственно, и все. Нет, не все. Хочу еще напомнить, что по существовавшим тогда законам, национальность человека фиксировалась в 16 лет при выдаче паспорта. Если национальности родителей различались, можно было выбрать любую. Причем этот выбор делался не родителями, а человеком, получающим паспорт. Так что все претензии - ко мне»[7].

Итак, Игорь выбрал национальность «русский» (по матери). Подчеркну, что по тем же мотивам, помня о преследовании космополитов (евреев) в СССР в 1948-1953 гг., большинство детей из семей смешанных национальностей выбирали себе титульную национальность своей страны; как поступили мы с моим братом Евгением, а также сын Евгения Михайловича Лифшица Миша, друг детства Гарика. Кстати, позже Миша сменил и фамилию: Лифшиц на Березовский (по матери).

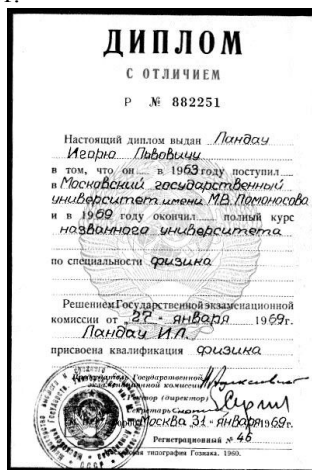
### **Игорь становится физиком**

После окончания вечерней школы Игорь Ландау поступил на физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Конечно, имя Ландау гремело по всему миру. Особенно на физфаке МГУ, где Л.Д. был преподавателем (по совместительству). Декан физфака В.С. Фурсов лично хорошо знал и ценил Л.Д. Ландау не только по факультету, но и по совместной работе с ним ранее – расчетам атомного реактора, производящего плутоний для атомных бомб. Фурсов был теоретиком, он рассчитывал параметры ядерного реактора в Челябинске-40 (ныне это комбинат «Маяк»). где действовал как правая рука И.В. Курчатова. Ландау же вместе со



своими учениками: И.Я. Померанчуком, В.Б. Берестецким, А.И. Ахиезером создали общую теорию гетерогенного ядерного реактора, которой пользовался Фурсов в расчетах конкретных моделей.

Вскоре после смерти Сталина в 1953 году правительство отменило льготы для детей ведущих ядерщиков, награжденных Сталинскими премиями за создание первых атомной и водородной бомб. Одной из таких льгот было право поступления детей награжденных ядерщиков в любой вуз Советского Союза без вступительных экзаменов. Поэтому Игорю Ландау, как, впрочем, и Борису Зельдовичу, Илье Лейпунскому, да и многим другим пришлось сдавать вступительные экзамены. Я не знаю, как их сдавал Игорь в 1963 году. Наверное, неплохо, так как он успешно набрал довольно высокий проходной балл (13 из 15 по трем экзаменам: математика письменный и устный, физика устный). Не исключаю, что помочь мог и общий принцип, которому следовал, не особенно скрывая, декан физфака Василий Степанович Фурсов. Его принцип был такой: детям сотрудников физфака, желающим здесь учиться, будут предоставлены условия наибольшего благоприятствования при сдаче вступительных экзаменов и зачислении на факультет.



Учеба на физфаке складывалась для Игоря на первом курсе, как мне помнится, нелегко. То, что мне точно известно об этом, уже было рассказано в книге [1, с.156-158]. Здесь повторять не буду. Постепенно Игорь полностью включился в образовательный процесс, поступил при распределении по кафедрам на 3-м курсе на кафедру низких температур. Это была одна из сильнейших экспериментальных кафедр физфака, которой

руководил профессор Александр Иосифович Шальников, сотрудник «Физпроблем», сосед и личный друг Ландау. В итоге Игорь окончил физфак МГУ с красным дипломом. Когда я нашел фотокопию этого диплома, выложенную Игорем в Интернете, то включил ее во 2-е издание трилогии: том 1, «Круг Ландау. Жизнь гения» (2008) [1, с. 351]. Этот красный диплом меня приятно удивил. Там он помещен вслед за различными дипломами Л.Д. Ландау и его Нобелевскими регалиями. Он должен был продолжать победные традиции обоих Ландау.

После окончания Игорем МГУ в 1969 году П.Л. Капица взял его на работу в ИФП физиком-экспериментатором. Игорь довольно быстро защитил кандидатскую, а далее и докторскую диссертацию. Узнав о его кончине, я обратился к Михаилу Андреевичу Либерману, профессору, доктору физико-математических наук, бывшему аспирантом в ИФП и знавшему Игоря Ландау лично, я просил рассказать о работе Игоря в ИФП. М.А. Либерман немедленно мне ответил из Швеции, где он работает как профессор теоретической физики в университете г. Упсала. Привожу целиком его письмо.

*Дорогой Боря,*

*Спасибо за письмо, которому я был рад, хотя известие о смерти Игоря меня очень-очень расстроило. Я вряд ли могу много рассказать об Игоре. Мы познакомились в 1960 году. Я был на первом курсе физфака и вел физический кружок для школьников. В кружке был Игорь, и я с удивлением увидел его фамилию - Ландау. Он был в 10 классе. На следующий год он поступил на физфак, т.е. он на год, может быть, на два моложе меня. Потом мы уже встретились в «Физпроблемах», где Гарик был аспирантом Юрия Васильевича Шарвина, мужа моей мамы. Юрий Васильевич всегда очень хорошо говорил про Гарика, считал его очень хорошим экспериментатором и толковым физиком. Этого вполне достаточно, т.к. у Юры были очень высокие стандарты. Он сам был экспериментатором высшего класса и очень глубоко понимал физику. Достаточно сказать, что Ю.В. сдал полный курс теорминимума, что не только большая редкость, но, думаю, вряд ли есть другой экспериментатор, кто бы прошел весь или хотя бы часть теорминимума Ландау. У нас с Гариком были сильно разные интересы в физике: он занимался промежуточной сверхпроводимостью, структурами сверхпроводников и т.п., а я - высокотемпературной физикой. Поэтому общих пересечений в физике у нас не было. Мы были в хороших приятельских отношениях. Гарик был очень добрым человеком. Мое личное впечатление из почти ежедневных встреч и общих обсуждений (трёпа) в кофе-клубе ИФП такое: Гарик глубоко и хорошо понимал*

*физику низких температур, работал с интересом, интересовался и понимал научные проблемы. Было ясно видно, что он человек с большим интеллектуальным потенциалом.*

*Твой Миша. 10 июня 2011 г.*

О некоторых характерологических подробностях Игоря Ландау мне много раньше рассказывал Дмитрий Компанеец. В начале 1970-х гг. Дима, выпускник МИФИ, был аспирантом в Институте физпроблем, как раз когда там работал Ландау-сын. Они были ровесниками, часто встречались в институте и даже в командировках, на научных конференциях. Игорь работал, по словам Димы, с интересом, целеустремленно. Один эпизод особенно запомнился Диме. В день защиты Игорем кандидатской диссертации, сразу же после окончания защиты, он спустился вниз в лабораторию, чтобы продолжать эксперимент. Никаких банкетов, даже стола для самых близких товарищей! По мнению Димы, этот эпизод характеризовал увлеченность Игоря работой, а не его скаредность. Как раз наоборот, Дима рассказывал, что Игорь не был жадным. Не был он и заносчивым по причине своей фамилии, был общителен, жизнерадостен, вполне неглуп.

Доброе отношение к Игорю сохранил на всю жизнь со студенческих времен и Борис Зельдович, давно уехавший в США; он написал об этом в Послесловии к моей книге [1, с. 312].

### **Игорь публикует книгу своей покойной матери**

Появление книги Кору, которую издал Игорь Ландау, было шоком для едва ли не всех физиков, знавших Л.Д. Ландау. В особенности резко публично отозвались об этой книге академики В.Л. Гинзбург и Е.Л. Фейнберг. Их слова приводятся в моей книге [1, с. 139, 310]. В.Л. Гинзбург даже напечатал домашним тиражом заметку на 20 страницах, которую, впрочем, не захотел публиковать при своей жизни. Однако он направил ее, в частности, и моей матери, а далее в телефонном разговоре со мной он разрешил мне ее цитировать практически без ограничений и даже опубликовать после его смерти. (Однако, кроме телефонного разговора и надежды на доверие, что это правда, у меня ничего нет. То есть нет документального разрешения на такую публикацию, поэтому, кто не хочет, может не верить этим словам. Все равно публиковать «Записку Гинзбурга» я не собираюсь. В то же время не сомневаюсь, что найдется ушлый автор, который это сделает и без меня.) Последний наш разговор с В.Л. по телефону состоялся 13 мая 2008 года, причем по инициативе Виталия Лазаревича. Я детально его привожу и комментирую в книге «Круг Ландау и Лифшица [3, с. 127]. В.Л. подтвердил, что разрешает мне цитировать его «Записку» без ограничений, просил только

смягчить несколько слов, которые лет пять тому назад считались до некоторой степени нецензурными (сейчас и не такие в ходу).

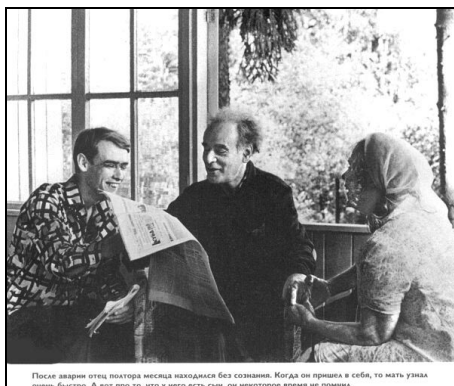
Дмитрий Компанеев говорил мне, что не знает, как объяснить эту публикацию Игоря. Версию, что Игорь заработает на издании книги матери, Дима отверг: оплата труда в Швейцарии многократно превосходит то, что достанется Игорю от книги. Может быть, это своеобразный «прикол», как выразился Дима?

Не согласен с последним. Предполагаю, что мне понятны причины публикации И.Л. Ландау книги своей матери. Их две. Первая очень простая: он сделал это в память о матери, которую любил. Сделал, когда представилась возможность. Литературной обработкой книги сам не занимался, отдав все это на откуп своей литературной тете М.Я. Бессараб. Какие-то крайности из книги Игорь все же вырезал, об этом говорится в сноске на одной из страниц книги Кору. Вторая причина: Игорь считал, что его мать пишет в основном правду, в принципиальных оценках они не расходились.

«Почему я издал мамину книгу? Сложный для меня вопрос. Прежде всего, потому, что Игорь Захаров, владелец издательства, очень уж настаивал. Но я и сам думал, что эта книга должна быть издана. Хотел, чтобы правда была известна. Видимо, издержки социалистического воспитания. Волнует ли меня, что Гинзбург и многие другие известные физики настроены против этой книги? — Нет, совсем не волнует. Скорее, расстраивает. Гинзбург, как и многие другие, был далек от нашей семьи. Всю информацию он получал из уст Е.М. Лифшица. Он просто не знает правды. Многие ругают эту книгу за “излишние” интимные подробности, но моя мать имеет право писать о своей жизни так, как она считает нужным. Что у кого-то может измениться мнение о “великом” Ландау, мне, извините, наплевать. Для меня он не великий физик. Это мой отец, которого я очень любил и безмерно уважал. Все это было в его жизни, и от этого он не делается ни на копейку хуже. Если кому-то это не нравится — не читайте!» [7].

Я и моя мать Зинаида Ивановна Горобец (вторая жена Е.М. Лифшица) не могли не воспринять книгу Кору резко отрицательно из-за клеветы в ней на Е.М. Но в первые годы после выхода этой книги (после 1999 года) молчали **все** физики-теоретики из «дружной» школы Ландау, в том числе и те, кто называл себя при жизни Е.М. его другом: И.М. Халатников, Л.П. Питаевский, И.Е. Дзялошинский, М.И. Каганов. И только В.Л. Гинзбург, как уже говорилось, решился напечатать в 20 экземплярах свою критическую записку и разослать ее узкому кругу знакомых, хотя сразу же предупредил об отказе от ее широкой публикации. И вот тогда, возмущенный молчанием живых «друзей» покойного Е.М.

Лифшица, я решил выступить. Мне удалось написать всего за полгода (2005) книгу «Круг Ландау», в 1-м издании это был один толстый том, напечатанный издательством «Летний сад» (2006). На эту книгу откликнулся Игорь Ландау, причем в основном негативно, хотя и не во всем.



После аварии отец полтора месяца находился без сознания. Когда он пришел в себя, то мать узнала очень быстро. А вот про то, что у него есть сын, он некоторое время не помнил.

Игорь опубликовал резкую статью, в которой полемизировал с тремя «ландауведами». Как явствует из текста, он имел в виду, в первую очередь, литератора-эмигранта Горелика (Г.), проживающего в США. Дело в том, что Г. написал какие-то заметки о Л.Д. Ландау, причем одна из них называлась «Подлинный Ландау».<sup>3</sup> По-видимому, именно последний

---

<sup>3</sup> Полагалось бы дать точную ссылку, но я сознательно не буду этого делать. Кому интересно, пусть ищет в либеральных изданиях: «Московские новости» (гнусно оскорбившие Е.М. Лифшица в 2003. г. и даже не извинившиеся) и журнале «Знание – сила», который с удовольствием печатает упомянутого Г. Так, примерно в 2005 г. Г. напечатал в «З-С.» какую-то заметку о Ландау и Лифшице, поставив в ней лже-автором мою мать, что-то ему рассказывавшую на заданную тему, но не поставив ее в известность. Когда она, удивленная этим, позвонила в редакцию, то замглавреда – фамилию не помню - похихикал и даже предложил ей небольшой гонорар; она отказалась, но просила, чтобы больше без ее ведома и подписи в редакции ничего не принимали. Поскольку он ей это обещал, то она поднимать шума не стала. Всё это при желании можно было бы поднять, назвать и заметку и номер, и фамилию редаботника. Но для меня ни Г., ни «З-С» не представляют интереса, и к тому же я не хочу опускаться до их уровня. Но скажу откровенно, что с удовлетворением прочел в

претенциозный заголовок вызвал запредельное возмущение сына Ландау, который не без основания считал, что подлинного своего отца он знает много лучше, чем никогда его не встречавший Г. Кстати, мнение Игоря о «ландауведческих» текстах Г. написанных в вообще характерном для последнего кокетливо-игривом стиле, в основном совпадало с моим. Затем Игорь весьма критично отозвался о записках своей двоюродной сестры Эллы Рындиной [6]. В этом я с ним не согласен, поскольку расцениваю эти записки весьма информативными и ощущаю, что в основном они достоверны. Наконец, Игорь коснулся и меня:

«Если говорить о самом Борисе, то из той каши, что я прочитал в его книге, у меня сложилось впечатление, что он человек честный и не пытается никого ввести в заблуждение своей публикацией. Просто он с детства впитал в себя, что Евгений Михайлович Лифшиц – один из самых честных, самых добрых и самых талантливых людей, когда-либо живших на этой планете. Именно поэтому, когда он видит, что кто-то начинает в этом публично сомневаться, у Горобца не остается сомнений, что этот сомневающийся – человек совершенно недостойный» [7].

Характеризуя мое мнение о Е.М. Лифшице, Игорь совершенно прав. И я не думаю, что ошибаюсь, потому что такого же мнения о Е.М. придерживался, например, великий физик Я.Б. Зельдович [3, с. 29, 30]. Такого же мнения был и остается ученик и соавтор Е.М. Лифшица академик Л.П. Питаевский, а также многие другие крупнейшие физики. Только из немногих известных мне лично, от кого я такое мнение сам слышал, это Е.Л. Фейнберг, В.Л. Гинзбург, Б.Я. Зельдович (см. в моей трилогии [1-3]), В.Г. Барьяхтар, А.А. Рухадзе, Л.А. Фальковский, В.И. Манько, М.А. Либерман [8]. На самом же деле в круг безмерно уважающих Е.М. Лифшица ученых входят едва ли не все по-настоящему профессиональные физики-теоретики мира.

Больше ничего о книге Кору я не стану писать в этом некрологическом очерке. Замечу, что ее книга по-прежнему довольно успешно продается, выдержав уже 4 или 5 изданий. По мотивам книги Кору даже был снят телефильм «Мой муж – гений». Ученики Ландау академики А.Ф. Андреев, С.С. Герштейн, В.Л. Гинзбург, членкор РАН Б.Л. Иоффе выступили с яростным осуждением этого фильма и даже потребовали в печати его запретить. Но зажавшееся от сверхбогатства и вседозволенности Центральное телевидение показало, что плевать оно хотело на обнищавшую и маловлиятельную в современной России Академию

---

большой статье Игоря Ландау [7], как он достойно врзал Г.

наук. Фильм был показан 14 февраля 2008 г. по каналу ОРТ.

Показу предшествовало довольно-таки конфронтационное обсуждение содержания фильма, которым руководил яркий телеведущий Александр Гордон. На обсуждение был приглашен как заглавная фигура Игорь Ландау, прилетевший из Швейцарии. Его посадили в ряд, перпендикулярный к двум рядам, которые заняли защитники фильма и его противники. В том же ряду, что и Игорь, сидели, в частности, продюсер фильма, режиссер и актеры, среди них Людмила Чурсина (Кора), Даниил Спиваковский (Ландау), Вячеслав Гришечкин (Липкин, т.е. Лифшиц, который сыграл, по-моему, лучше, сдержаннее и объективнее других). Состав защитников не представлял для меня интереса. Физиков среди них не было, а представителей «филологов» (любимый термин Ландау для болтунов) возглавлял Дмитрий Дибров, известный телешоумен. Этот еще один «ландаувед» держался самоуверенно, его заявления звучали безапелляционно, напоминая присутствующим, кто на телевидении хозяин, а кто разовые гости.

В нашем ряду противников фильма сидели, во-первых, ученики Ландау: академик С.С. Герштейн и членкор Б.Л. Иоффе, и, во-вторых, крупнейшие российские историки-литераторы Наталья Басовская и Игорь Волгин.

Здесь я остановлюсь только на выступлении Игоря Ландау. Но прежде сообщу вот о чем. Я пришел на обсуждение минут за 20 до назначенного начала и сел в фойе, в самый дальний уголок, не примыкая ни к одной из маленьких групп людей, там находившихся и беседовавших друг с другом, по-видимому, знакомых между собой. Неожиданно в фойе появился Игорь, его сопровождала красивая дама лет сорока. Неожиданно они направились прямо ко мне, так как на моей скамейке было два свободных места и она находилась поодаль от общей тусовки. Сели, не обращая внимания на меня, так как не знали, кто я. Таким образом, я оказался невольным свидетелем и слушателем их разговора. Оказалось, что дама была дочерью Майи Бессараб, ее звали Ирина Редман, она прилетела из Лондона, где живет с мужем и матерью. С Игорем они давно не виделись. Я был удивлен и обрадован, услышав фразы Игоря с негативной оценкой фильма: Примерно такие: «Это фильм не о Ландау, образ не получился, много деталей придумано. Например, у нас не было домработницы. Манера говорить у отца была совершенно иная, в фильме он говорит массу глупостей, и.т.д.». О себе Игорь сказал, что женат уже в третий раз.

Выступая на самом диспуте А.Гордона, Игорь сообщил, что пару лет тому назад к нему в Швейцарию приехали телевизионщики из России, предложили заключить договор на

телефильм по книге его матери. Он дал согласие в принципе. Сняли несколько эпизодов с участием Игоря, которые и включили в фильм. «Но сценария мне не показывали!», - заявил Игорь. Режиссер Т.Архипцова воскликнула: «Мы ведь Вам выслали сценарий!» - «Но я его не получал», - возразил Игорь.

Я наблюдал Игоря с интересом, он производил впечатление мягкого интеллигентного человека. Никаких следов агрессивности. Он просто защищался от деятелей СМИ и от ученых, осуждавших его мать и его самого, как мог, оправдывался. Я ощущал, что почти во всем его понимаю. Он жил с матерью и знаменитым отцом всегда в материальном достатке и комфорте, но в то же время это была совершенно не традиционная семья, и в ней постоянно тлел и временами вспыхивал огонь глубокой человеческой драмы. Знаю по себе, как это влияет на психику ребенка и подростка, и потому я стал сочувствовать Игорю. После показа фильма в фойе ко мне подошла дочь Майи Бессараб. Приветливо поздоровалась, сказала: «Спасибо Вам, Б.С., за интересную книгу, мы ее читали. Помощница А.Гордона решила познакомить нас с Игорем. Подвела меня к нему. Я протянул Игорю руку, сказал просто: «Здравствуйте, Игорь Львович!» он ответил вполне теплым рукопожатием, сказав: «Ведь мы раньше с Вами не встречались». Невозможно было себе представить, что Игорю оставалось жить всего два с половиной года.

Игорь Ландау похоронен на Новодевичьем кладбище, в той же могиле, что и его великий отец. Недавно я там был. Это на главной аллее, справа, в сотне метров от входа.

***Контактная информация***

*Горобец Борис Соломонович*

*e-mail bgorobets@rambler.ru*

**Список литературы**

1. *Горобец Б.С.* Круг. Ландау. Жизнь гения. М.: изд-во ЛКИ (УРСС). 2008. 368 с.
2. *Горобец Б.С.* Круг. Ландау. Физика войны и мира. М.: изд-во ЛКИ (УРСС). 2009. 272 с.
3. *Горобец Б.С.* Круг Ландау и Лифшица. М.: изд-во ЛКИ (УРСС). 2009. 336 с.
4. *Ландау-Дробанцева Кора.* Академик Ландау. Как мы жили. Воспоминания. –М.: Издатель Захаров. 1999. 494 с.; <http://lib.ru/MEMUARY/LANDAU/landau.txt>
5. *Катя Компанеев.* Записки со второго этажа. – Электронный ресурс: Заметки по еврейской истории, № 10 (101). Октябрь 2008.
6. *Рындина Элла (С-Пб).* Лев Ландау: штрихи к портрету. – Журнал Вестник Online, 3, 17 и 31 марта 2004, №5 (342)



<<http://www.Vestnik.com/issues/2004/0303/win/ryndina.htm>>;

7. *Ландау Игорь*. Мой ответ «ландауведам». Электронный ресурс. [http://www. Berkovich-zametki. com/2007march/Nomer2](http://www.Berkovich-zametki.com/2007march/Nomer2).(включая «Открытое письмо» Г.Горелику от 2004).

8. *Рухадзе А.А., Либерман М.А., Горобец Б.С.* Академик Е.М. Лифшиц – выдающийся физик и писатель науки. Часть II. Формат ученого. - История науки и техники. 2011, № 3. P.26.



# Алексей Цвелик

## Физика, Мысли, Жизнь

*Посвящаю эту книгу всем, кто меня любил и, тем самым, сделал мою жизнь возможной: бабушкам, папе и маме, брату, жене, сыну Мише, своим друзьям.*

### Вступление.



Написать эту книгу меня побудил тот интерес, который привлекли мои скромные публикации в журнале «Сноб». Не являясь ни профессиональным писателем, ни философом, я бы никогда не подумал, что мои раздумья могут быть интересны кому-то за пределами узкого круга друзей. Однако каково же было мое удивление, когда я начал встречать людей, которые узнавали меня по этим публикациям. Еще большей радостью были положительные отзывы профессионалов, среди которых громче всех звучал голос Александра Иличевского. Очень продуктивными были дискуссии на «Снобе», следовавшие после публикаций моих эссе. И вот, я решился написать нечто когерентное.

То, ради чего написаны эти записки, выходит далеко за рамки моей биографии. Однако, оказалось, что людям намного проще воспринимать идеи общего характера, если они пересыпаны фактами и анекдотами из жизни. И вот, несмотря на то, что главным для меня здесь является философия, воспринятая через призму моей науки – физики, мне придется много писать о себе самом и о замечательных людях, которых мне довелось встретить в жизни. Жанр этой книги можно охарактеризовать, как опыт философской биографии. Путеводной звездой на моем писательском пути служит книга «Самопознание» Николая Бердяева. Разумеется, я рассчитываю на снисхождение читателя и надеюсь, что меня не обвинят в том, что я пытаюсь встать в один ряд с великим философом.

### Глава 1. Детские впечатления.

Самым большой удачей своей жизни я считаю то, что я счастливый человек. Видя вокруг себя столько неудовлетворенности, злости, зависти и разбитых надежд, я часто

задумывался, какие факты жизни так удачно повлияли на мой характер. Конечно, есть какие-то факторы, о которых я имею слабое представление, такие, как наследственность, так что буду говорить только о том, что знаю.



Первым и основным фактором, конечно, была любовь моей семьи. В раннем детстве я был, главным образом, на попечении у бабушек (одна из них, баба Тоня, была бабушкой по маме, а другая – баба Кава (Клава, конечно, но я так говорил) – ее теткой). Они во мне души не чаяли, хотя баба Тоня и держала меня в относительной строгости. Жили бедно, в тесноте, но я как-то не понимал этого тогда. Главное была любовь, теплота и происходившее от нее чувство защищенности. Я помню, пару раз между родителями произошли скандалы. Это была страшная травма для меня. Не представляю, что переживают в наши дни дети при постоянных разводах. Только в лживых голливудских фильмах присутствуют эти все понимающие мальчики и девочки, курсирующие между новыми семьями своих пап и мам.

Пару слов о моей семье. Мой папа был инженер-конструктор, мама – врач-педиатр, бабушка Тоня до пенсии преподавала историю в школе, баба Кава работала на макаронной фабрике. Тетки со стороны мамы (ее родня тоже жила в Самаре и наши семьи были тогда близки) были все врачи. Все, как в песне Вероники Долиной:

Там мама доктор, папа инженер,  
Колец не носят, на работу ездят,  
Там нянечка на сретенский манер  
Неграмотная, лоб украдкой крестит...

В моей семье не было ни диссидентов, ни даже людей религиозных. Были просто порядочные, честные люди. И они заложили во мне основы тех ценностей, которыми я живу. «Мать праведна – ограда камня», говорит ныне забытая русская пословица.

Когда мне было семь лет, на свет появился мой младший брат Саша, с которым мы до моей эмиграции были очень близки.

Вторым важнейшим фактором была дача. Детские ясли, в которых работала мама, каждое лето выезжали на дачу, а вместе с ними и семьи некоторых сотрудников. Дача эта была бывшим помещьем, размер ее (так мне до сих пор кажется) был колоссален. Там были аллеи берез, вязов и дубов, огромный виноградник, плантации вишни и сливы, десятки яблонь самых разных сортов, огороды, кусты крыжовника, смородины и малины. И огромное количество цветов; садовник наш (он был молдаванин, с подходящей фамилией Градинарь, т.е. «садовник») любил цветы. Над цветами вилось огромное количество бабочек и стрекоз. Все это поражало мое воображение, воспоминания эти драгоценны для меня до сих пор. Я и сейчас часто в своих воспоминаниях брожу по дорожкам и закоулкам этого райского сада... Его уже нет. Когда мне было 14 лет, сад вырубил и на его месте построили несколько уродливых пятиэтажек, а пространство между ними залили асфальтом. Где стол был явств, там гроб стоит...

Игрушек в годы моего детства было мало, да и жили мы бедно. Поэтому я делал игрушки для себя сам, что, как я теперь понимаю, было счастьем. На даче для этого были все условия: у садовника была столярная мастерская, бесхозных деревяшек полно. Мы (т.е. я, дети садовника и еще пары других сотрудников) делали себе из дерева мечи, модели самолетов, лепили целые армии из пластилина и устраивали сражения. Вся дача с ее бесконечными зарослями принадлежала нам. Фруктов, ягод, овощей – сколько хочешь. Красавица Волга – почти рядом, пешком до нее было около километра. Веселое, счастливое детство, где нашим творческим силам был дан полный простор.

Разумеется, никакой философской рефлексии у меня тогда не было, я просто наслаждался жизнью в полную силу. Однако вот это ощущение природы, как чуда, как тайны, как двери в какой то еще более волшебный мир, оно возникло в детстве и более меня уже не покидало. В детстве оно было радостным, с годами стало

ближе к тому, что в своих гениальных стихах выразил Лермонтов.

Когда волнуется желтеющая нива,  
И свежий лес шумит при звуке ветерка,  
И прячется в саду малиновая слива  
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой,  
Румяным вечером иль утра в час златой,  
Из-под куста мне ландыш серебристый  
Приветливо кивает головой;  
Когда студень ключ играет по оврагу

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,  
Лепечет мне таинственную сагу  
Про мирный край, откуда мчится он, —  
Тогда смиряется души моей тревога,  
Тогда расходятся морщины на челе, —

И счастье я могу постигнуть на земле,  
И в небесах я вижу Бога...

*М. Ю. Лермонтов, Февраль 1837*

**Медитация.** Здесь я позволю себе прервать на несколько минут повествование о себе (я это и далее часто буду делать, так эта книга и задумана, моя жизнь здесь служит лишь цементом, скрепляющим серию медитаций), чтобы поразмыслить над этими стихами. Впрочем, тот, кому это не интересно, может данное рассуждение пропустить.

Итак, немного о Лермонтове. Как известно, Лермонтов был человеком чуждым экзальтации, склонным к грусти и меланхолии. При этом он был наделен недюжинной интуицией: довольно детально описал свою смерть («В полдневный жар, в долине Дагестана...») и в существенных подробностях предсказал русскую революцию («Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет...»). О чем же он пишет в этом стихотворении, и, особенно, как тут нужно понимать последнюю строчку? Рискну предположить, что поэт тут без всякой задней мысли высказывает чувство, хорошо знакомое многим из нас. Да ради этого самого чувства мы покидаем свои благоустроенные дома, тратим силы, время, деньги для того, чтобы уйти подальше от суеты городов, от общества себе подобных, от политики и т.п. Просветляющее, умиротворяющее чувство, связанное, по-видимому, с ощущением

нашей встроенности в некое осмысленное единство. Оно естественно возникает в человеке, находящимся наедине с природой, хотя большинство из нас теперь не связывает это чувство с присутствием Божества. Нам настойчиво внушают, что ощущение такого присутствия есть детская иллюзия, окончательно развеянная достижениями науки.

Очевидно, Лермонтов не боялся показаться ребенком и выразил свое непосредственное ощущение в своих стихах. Должны ли мы простить ему его наивность на том основании, что разница в знаниях ученых его времени и нашего настолько разительна? Сколько, вообще, нужно знать, чтобы объявить Бога детской иллюзией? Михаил Юрьевич, наверняка, был достаточно просвещенный человек и знал о законах природы (рискну добавить, что знания Лермонтова по этому вопросу наверное не уступали знаниям сегодняшних гуманитариев). Знал, наверное, и про знаменитый ответ великого математика Лапласа Наполеону, спросившего того, какое место в его системе механики занимает Бог, на что Лаплас ответил, что не нуждается в этой гипотезе. Правда, Лермонтов жил до теории Дарвина, но и после того, как эта теория была опубликована, многие поэты, как, например, Владимир Соловьев, Федор Тютчев или Афанасий Фет, выражались подобным Лермонтову образом. Философ Владимир Соловьев даже принял теорию Дарвина с большим энтузиазмом, оставшись при этом глубоко религиозным человеком и даже мистиком. А были атеисты, жившие за 2000 лет до теории Дарвина, вот как, например, римский поэт Лукреций Кар, написавший поэму «О природе вещей».

Отложим пока в сторону эти вопросы, к которым я еще буду неоднократно возвращаться в ходе повествования, и двинемся дальше.

Не все, конечно, были розы. Одно из мощнейших и глубочайших впечатлений моей жизни связано со случаем, происшедшим со мной, когда мне было семь лет. Мы только что переехали на новую квартиру. До этого вся наша семья (я, папа, мама, две бабушки и, в последний год, еще и мой новорожденный брат Саша) жила, вернее ютилась, в отдельном одноэтажном домике. Домик этот, хотя и расположен был на тенистой и зеленой улице и имел огромный двор, был сам по себе чрезвычайно мал. Я помню, что когда Саша появился на свет, не нашлось даже места, где бы мне можно было поставить кровать. Спать я ложился на папином письменном столе. Новая квартира тоже была не Бог весть как велика, но место для моей кровати нашлось. Другой существенной переменной было то, что дом, в который мы переехали (он, кстати, был старой постройки и находился в

историческом центре Самары), был многоквартирным и там жили дети моего возраста. И вот, очень скоро от одного из них я услышал, что я «жид». С еврейми мое происхождение не имеет ничего общего, фамилия моя, хотя и редкая и странно звучит для русского уха, но не еврейского, а чисто украинского происхождения (папа мой был обрусевшим украинцем, как и все его многочисленные братья и сестры). В семье моей никаких шуток или анекдотов, замешанных на национальностях, я никогда не слышал. Поэтому я не подозревал, что человека можно судить не на основании его личных качеств, а на каких-то других основаниях. Разумеется, в семь лет я это все так не формулировал, но интуитивное понимание того, что людей должно судить только по их личным достоинствам, у меня было. Однако, Саша Господарев (так звали моего оскорбителя), очевидно уже меня ненавидел (именно так, семилетний мальчик!), совершенно ничего обо мне не зная! Так, на своей собственной шкуре я понял всю дикость и абсурдность антисемитизма (и, шире, расизма, конечно, с другими его проявлениями мне придется столкнуться позже в Америке). Более глубокое понятие об его истоках я получил, подслушав разговор родителей Господаря. Они обсуждали с соседями моих папу и маму, которых они тоже, кстати, не имели времени узнать: «эти папаши и мамы с дипломами». И вот, чтобы мне ни говорили о «плохих евреях», я твердо знаю: основа антисемитизма есть комплекс неполноценности, замешанный на зависти дурака к умному. Поэтому чувство это прежде всего позорно для того, кто его в себе взрастил. Антисемит самим фактом своего антисемитизма признается в своей неполноценности. И вот ваш портрет, господина кураевы, вот ваш портрет, журналисты британской «Гардиан», хоть внешне вы, может быть выглядите и не так, но вот ваша внутренняя суть, изображенная великим русским писателем:

«Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся в сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним словом его было:

- Панкрат... Панкрат...

Ни в чем не повинную Марию Ивановну убили и растерзали в кабине, камеру, где потух луч, разнесли в клочья...» (М. Булгаков. Роковые яйца)

Господарь не был последним, кто принял меня за еврея (или жида, если вам угодно). Меня часто принимали за него и евреи и неевреи. С другой стороны, те, кто знал меня получше, знали, что я русский (именно так, имея добрую половину

украинской крови, культурно я, безусловно, русский). Я всегда относился к мнениям других по поводу своей этнической принадлежности с совершенным равнодушием, однако такое промежуточное мое положение позволяло мне делать любопытные наблюдения. Моя близость к евреям позволяла мне видеть их, так сказать, изнутри. Сразу скажу, что я не узрел ничего такого, что оправдало бы какое-то особенно плохое отношение к евреям, как группе. Может мне так в жизни повезло, но большинство евреев, с которыми я в жизни встречался, были люди интеллигентные, с интересами. Были, разумеется, и довольно противные персонажи, но я встречал таких в не меньшем количестве и среди других народов, а народов я за свою жизнь повидал немало. Я могу допустить, что некоторые качества, например, одесских евреев могут вызывать раздражение. Но жуть состоит в том, что антисемитизм доводит это раздражение до градуса ненависти, переходящей в беснование. На моих глазах антисемитизм буквально лишал разума и способности здравого суждения людей, во всех прочих отношениях нормальных и даже рассудительных. Думаю, что природа этого чувства демоническая, бесовская. Я считаю, что людям, склонным подпускать это чувство близко к сердцу (а повод найдется, какой-нибудь противный субъект типа Березовского всегда подвернется) нужно гнать его от себя, хотя бы в целях самосохранения. Материалистам, не верящим в темные силы, нужно пристальнее взглянуть в это явление.

## **Глава 2. Призвание.**

Мое открытие физики, как жизненного призвания, пришло ко мне внезапно. Мне было 15 лет, учился я, хотя и в прекрасной математической школе, но не так чтобы очень хорошо. Учителя ругали меня за лень. И вот однажды на уроке физики, который, кстати, вела довольно среднего таланта учительница, мне задали задачу следующего содержания. Пуля, скорость и масса которой известны, попадает в кусок льда, находящийся при данной температуре, и застревает в нем. Требуется определить, сколько льда растает. У меня было достаточно знаний, чтобы без труда решить задачу. Однако сама постановка ее поразила меня и поражает до сих пор. На моих глазах зримое движение пули, ее стремительный полет в одном направлении, превращались в медленное растекание мокрой лужи. Эта была метаморфоза, превращение одной формы в другую. Два совершенно непохожих внешне явления были связаны друг с другом, и физика открывала мне эту связь, скрытую для обычного глаза. То, что было закрыто для взгляда внешнего, открывалось внутреннему взгляду, взгляду ума.



Я решил задачу у доски, получил первую свою пятерку по физике и полюбил предмет на всю жизнь. С тех пор я всю жизнь только и делал, что решал задачи. В школе я перерешал все приличные задачки по физике и математике, разумеется, далеко выходя за пределы школьной программы.

Пару слов о школе. Когда я был в 7 классе, нашу школу № 63 преобразовали в математическую, устроив там, на каждом потоке один обычный и три математических класса. В математический класс нужно было сдать экзамен. Я безмерно счастлив, что сдал его, как впоследствии и бесчисленное количество других экзаменов. Большая концентрация умных детей сразу преобразила атмосферу школы. Не нужно было стесняться быть умным, ум, талант, яркость пользовались уважением и каждый из нас расцвел. Учителя были разные, и отличные, и хорошие и так себе. Но дети, дети были лучше всех. Я до сих пор в контакте со многими из моих школьных друзей.

Чего мы только не делали в школе: и фильмы снимали (тогда это было нелегко, техника была не та), и стихи писали наперебой (мы называли их «саги», стишки эти были по преимуществу сатирического содержания), а я еще и рисовал комиксы.

Может создаться впечатление, что я сторонник свободного обучения, когда ребенку все предоставляется открывать самому. Это не так; я думаю, что такое обучение хорошо только на начальной стадии, когда речь идет о формировании интересов. Формальное обучение совершенно необходимо, начинаться оно должно с таблицы умножения, знания которой никакой калькулятор не заменит, с усвоения правил грамматики и так и идти дальше от простого к сложному. Нельзя учить ядерную физику, не изучив простой механики, не порешав всласть задачи о столкновении шаров, бросании камней и т.п. Может быть кварки и черные дыры интереснее движения воды по трубам, но понять в них НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ, пока не усвоишь вещей более элементарных. Позже, когда я оказался в Англии, я был совершенно шокирован, взяв в руки английский «учебник» физики, по которому учился мой сын. Там вся метода обучения была поставлена с ног на голову «прогрессивными» педагогами. Если бы у меня были такие учебники, я а.) никогда бы не заинтересовался физикой, б.) никогда бы не научился делать в ней ничего практического, не научился бы даже решать задачи.

В знаниях должна быть система, иначе все заученное будет скоро забыто. Знания без системы есть куча мусора. Великий математик Леонард Эйлер говорил, что высшее образование это то, что остается, когда все, чему нас учили в университете, мы уже

забыли. Что же это такое, как не метод, знание не деталей, но принципов, по которым можно восстановить забытое или, в случае необходимости, выучить его заново.

Надо сказать, что я интуитивно эти вещи понимал и с энтузиазмом решал задачи, как по математике, так и по физике, далеко выходящие за пределы школьной программы. Однако, и это очень важно, мои учителя не мешали мне в моих стремлениях, то, что я делал сам, не шло в разрез с их идеалами. Низкий им поклон до земли и, прежде всего, моей учительнице математики Виктории Самсоновне Исахановой, которая до сих пор преподает в моем родном городе Самаре (тогда он назывался Куйбышев). Она беспощадно ставила нам двойки и держала стандарты высоко.

Было ясно, что после школы я буду поступать в Московский физико-технический институт (МФТИ), самый лучший, на предмет физики, вуз страны. Все это было очень не просто, такому домашнему мальчику, как я, приходилось уезжать от любящей семьи, жить от нее за 1000 километров. Тогда, в 70-х годах прошлого века, средства сообщения не были так совершенны, как сейчас, а зарплаты и стипендии не позволяли часто кататься взад вперед из Москвы в Самару, где жила моя семья. Но физика уже всецело захватила меня и я был готов на все.

### **Глава 3. Физтех. Студенческие годы.**

Я поступил на Физтех в 1971 году. Поступать на самый престижный факультет (Общей и Прикладной Физики или, сокращенно ФОПФ) я не решился, все таки я был провинциальный мальчик. Поступил на «Кванты» (ФФКЭ, факультет Физической и Квантовой Электроники). Конкурс был 18 человек на место, четыре экзамена (письменные и устные математика и физика), сочинение и собеседование. Я набрал 18 из 20. Официальный антисемитизм не был тогда еще совершенно формальным, каким он стал семь лет спустя, когда на Физтех пытался поступить мой брат. В 1971 году, факультетскому начальству, по видимому, было достаточно знания, что я не еврей (а они там все были украинцы и, наверное, понимали, что к чему). В 1978 уже нужно было отчитываться куда то наверх, где на слово не верили. Тогда за подозрительную фамилию срезали на устных по два балла, а за отчество один. Мне повезло, я оказался в нужном месте в нужное время. И прошел.

Не знаю, как сейчас, а тогда Физтех был потрясающим местом. Скажу без преувеличения, более серьезной подготовки я нигде не видел, хотя судьба заносила меня и в Принстон, и в Гарвард, и в Оксфорд, где я сам преподавал физику 9 лет. Целых пять лет учебы, включая практику в базовых институтах, плюс год на диплом. Всестороннее изучение физики и математики. У нас

было много свободы, посещение лекций не было обязательно, на экзаменах можно было пользоваться любой литературой (и правильно, т.к. задачки давали такие, что надо было думать и переписать ответ из учебника было невозможно). В общем то все в конечном итоге было рассчитано на творческого человека, на увлеченного студента. Тех, кто не умел пользоваться системой, выгоняли. Таких, в общем, было не много, все таки сказывался первоначальный суровый отбор.

Дозволив свободу, начальство, как это всегда случается, старалось, где возможно, ее отобрать. Ненаучные интересы не поощрялись. Мы были окружены стукачами. Помню такой случай: сидим мы четверо или пятеро в нашей комнатухе в общежитии, громко и увлеченно о чем то кричим, вдруг – под дверью две тени. Один из нас резко вскакивает, распахивает дверь, на пороге, с разинутым ртом – какой то тип. Бедняга опешил от неожиданности, наконец нашелся: «Ребята, вы слишком громко кричите». Так его с тех пор и прозвали: Две Ноги. Особенно следили за чтением всякой вольнодумной литературы. Я помню, моего друга Мишу Фейгельмана, стукач застал за чтением «Гадких лебедей» Стругацких и у Миши потом были неприятности.

Проректором Физтеха по науке (!) был в мое время некто Кузмичев, толстопузый дядя с физиономией и ухватками хама. Говорили, что во время войны он служил в заградотряде. Все деканаты, особенно на уровне замдеканов, были заполнены омерзительными держимордами и лакеями.

Стукачи обыкновенно таились, но случалось, хоть и очень редко, что кто-то из них зарывался. Помню, один из них стал открыто шантажировать студентов, воровал письма и т.п. И вот, студентам удалось собрать на него досье и поставить вопрос об исключении его из комсомола, что влекло за собой автоматическое исключение из института. Я помню одну фразу из обвинительного заключения: «использовал чайники для нужд, исключающих дальнейшее употребление». Шантажиста таки выгнали, но инициаторам гонений деканат за павшего стукача отомстил: все они получили плохое распределение (если кто не знает, в СССР после окончания вуз устраивал, вернее посылал, «распределял» студента на работу).

Помню еще одно комсомольское дело, - «Дело о справлении естественных надобностей на памятник Юрию Долгорукому».

Какой-то тщедушный студентик отобедал на экономенные деньги в ресторане «Арагви», и, забыв первую заповедь туриста о том, что мимо туалета проходить нельзя, вышел на прилегающую к ресторану площадь. Тут его настигла нужда, а

дальше, по его словам, было так: «Вижу – памятник, я за него зашел...» Как читатель помнит, памятник находится посреди площади. Помню, декан наш орал (это уже было, когда я перебрался на ФОПФ): «Напился, для меня он – не физик!» Комментарии излишни. Парня исключили.

«Помню я Петрашевского дело,  
Нас оно поразило, как гром,  
Даже старцы ходили несмело,  
Говорили чуть слышно о нем».

Первые три года на Физтехе, пока я учился на Квантах, ничего, кроме учебы, я не видел. Ребята там были, все таки, довольно серые, за исключением блистательного Алеши Бударина. Бударин по кличке Бу был выпускником второй московской школы («второй синагоги»), самой тогда лучшей в Москве. Ее, кажется, где то году в 70-м разогнали, вернее «реформировали», выгнав наиболее либеральных учителей. Бу был любопытной смесью: отец его был донской казак, а мать еврейка. И выглядел он соответственно: волосы, как проволока, цвета воронова крыла, чуб, падающий на глаза, глаза какого то ярко стального цвета, нос крючком, прямо чистый Гришка Мелехов, да только вот статью не вышел – худой, грудь узкая и страшно нервный. Бу начал просвещать меня насчет сущности советской власти. А дальше по Юлию Киму:

Был я верный правоверный пионер,  
«Широку страну родную» громко пел,  
В комсомоле, скажем правду, господа,  
Не оставил я заметного следа.  
В коммунисты меня звали, - я не стал,  
Стал обычный злоязычный либерал.  
Кроме вымпела и флага на Луне,  
За державу только стыдно было мне...

Я многим обязан Алеше в своем становлении, все таки я был провинциал, а он знал многое, что мне там в провинции было недоступно, и ум у него был живой и даром речи он был наделен. В начале 80-х пути наши разошлись и с тех пор я его не встречал.

К середине третьего курса мы с Бу поняли, что на Квантах нам больше невмоготу. Особенно ясно это нам стало после того, как мы побывали в одном из исследовательских институтов, где нам надлежало проходить практику (такие институты назывались «базами» и их существование было уникальной чертой Физтеха).

Институт этот, кажется, назывался НИИ Прикладной Физики и занимался главным образом разработкой военных лазеров. Располагался он в конце шоссе Энтузиастов и состоял из трех колоссального размера корпусов. Один был старой сталинской постройки, этажей в шесть, другой был относительно новый небоскреб, а третий я помню плохо. От посещения «базы» нам более всего запали в душу две картины. Вот одна: огромный зал, в нем рядами стоят стулья, на них сидят женщины и сосредоточенно вяжут. Другая – крохотная комнатка, заставленная аппаратурой, в ней два человека с блестящими от энтузиазма глазами рассказывают нам о том, какими интересными вещами они здесь занимаются. Больше блестящих глаз во всех огромных корпусах мы не видели. Нам вспомнились тогда слова нашего замдекана: «Нам эйнштейны не нужны, нам нужны советские инженеры».

Я знал уже тогда, что существует и другое. Каждый год на физтехе проходил набор в теоргруппу – специальную группу студентов, склонных и способных заниматься теоретической физикой. Таким способом Институт Теоретической Физики (ИТФ) им. Ландау готовил себе молодые кадры. Про ИТФ я еще буду писать и много. Сейчас только скажу, что раз побывав на подготовительных занятиях в теоргруппу, я понял, что это место для меня. Однако, как оказалось, путь мой в Институт Ландау будет не прям.

Хорошо помню первый день занятий. Их вели молоденькие тогда аспиранты – Костя Ефетов и Гриша Воловик, оба теперь ученые с мировой славой. Задавали нам задачи, настоящие, пальчики оближешь. Вот, например, одна. Используя теорию возмущений, рассчитать энергетические уровни квантовой частицы в бесконечно глубокой потенциальной яме слегка эллиптической формы. Как же здесь использовать теорию возмущений, если разница между сферической и эллиптической ямами бесконечна, т.к. и та и другая бесконечно глубоки? Скажу сразу, что решение простое и в простоте своей бесконечно красивое: нужно сделать преобразование координат и тогда возмущением окажется разность в кинетических энергиях.

Итак, я снова остро почувствовал красоту физики.

И строгой физикой мой ум  
Переполнял: профессор Умов.  
Над мглой космической он пел,  
Развив власы и выгнув вью,  
Что парадоксами Максвелл  
Уничтожает энтропию,  
Что взрывы, полные игры,

Таят томсоновские вихри,  
И что огромные миры  
В атомных силах не утихли,  
Что мысль, как динамит, летит  
Смелей, прикидчивей и прыгче,

Что опыт – новый...  
– «Мир – взлетит!» –  
Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче...  
Мир – рвался в опытах Кюри  
Атомной, лопнувшей бомбой  
На электронные струи  
Невоплощенной гекатомбой;  
Я – сын эфира. Человек, –  
Свиваю со стези надмирной  
Своей порфирию эфирной  
За миром мир, за веком век.  
Из непотухнувшего гула  
Взметая брызги, взвой огня,  
Волною музыки меня  
Стихия жизни оплеснула:  
Из летаргического сна  
В разрыв трагической культуры,  
Где бездна гибельна (без дна!), –  
Я, ахнув, рухнул в сумрак хмурый, –  
– Как Далай-лама молодой  
С белоголовых Гималаев, –  
Передробляемый звездой,  
На зыби, зыблемые Майей...  
В душе, органом проиграв,  
Дни, как орнамент, полетели,  
Взвиваясь запахами трав,  
Взвиваясь запахом метели.

И вейл Май – взвивной метой;  
Июнь – серьюгой бирюзовой;  
Сентябрь – листвою золотой;  
Декабрь — пургой белоголовой.  
(Андрей Белый. «Первое свидание»)

**Медитация. О красоте.**

Когда-то казалось, что критерии для красоты довольно прочны и нужно лишь получить хорошее воспитание, чтобы научиться отличать красоту от уродства. Потом возникли другие

теории, и теперь огромное множество людей придерживается мнения, что красота относительна.

В античной мифологии есть история о том, как покровитель искусств бог Аполлон был вызван на музыкальное состязание сатиром Марсием. Сатир проиграл и Аполлон содрал с побежденного кожу. Так дурной вкус был наказан весьма сурово. Сейчас в искусстве больше бьют, так сказать, рублем. Купил, скажем, Абрамович кучу мусора, с него за это шкуру не сдерут (хотя с нас он, может, уже и содрал). То есть наказание может и случается, но медленное, в виде одичания общества, порчи нравов и т.п. В силу медленности процесса многие люди просто не замечают или предпочитают не замечать перемен. Однако, наука есть область человеческой деятельности, где отступление от эстетических критериев имеет наглядный, быстрый и пагубный эффект. Тут все просто – не понимаешь красоты, будешь посредственным ученым и тайны природы тебе не откроются.

Благодаря такому своему очевидному и непосредственному действию, понятие красоты в науке утрачивает свою кажущуюся расплывчатость. Иначе как можно было бы руководствоваться таким понятием в естественных науках, таких как физика и математика? Ну, допустим, в математике «некрасивыми» теориями можно просто не заниматься, но ведь физика же призвана изучать окружающий нас мир, от которого никуда не денешься, что дано, то и изучай. Между тем критерии красоты играют в естественных науках немаловажную, а порой и первостепенную роль. То и дело слышишь: «Какая красивая теория! Какое элегантное доказательство! Ну, это не может быть правильно, т.к. совершенно некрасиво» и т.п. Казалось бы, что из того, что ученым одни теории нравятся, другие нет; какое отношение это может, имеет к правильности этих теорий? Тем не менее, имеет отношение.

Красоту в науке, так же как красоту в искусстве и природе, трудно рационально описать. Т.е. трудно набрать какое-то конечное число определений, которым должна была бы удовлетворять теория, чтобы быть красивой. Полезность в их число явно не входит, не ради пользы люди наукой занимаются. Тот, кто делает ее ради конкретного результата, как правило не добивается ничего. Нужен интерес, а он опять таки движется эстетическим чувством. Именно эстетическим, тем же самым, какое возникает при взгляде на прекрасную женщину, на прекрасную картину, на прекрасный пейзаж, наконец. И не даром такие ученые, как Эрвин Шредингер (один из творцов квантовой механики) и Ричард Фейнман, тоже внесший в ее развитие огромный вклад, писали свои формулы в присутствии обнаженной натуры. И сам я испытывал такое не раз.

Эстетическое впечатление от внешнего предмета прямо таки осязательно переходит внутрь и превращается в набор формул. Была красивая женская грудь или прекрасная бабочка, а стало решение математической задачи.

Но что тут я. Предоставим лучше слово великим. Говорит предсказавший существование антиматерии Поль Дирак: « Красоту в математике так же трудно формально определить, как и красоту в искусстве, но люди, изучающие математику, обычно не имеют затруднений с ее распознаванием».



Человек, объединивший теорию относительности и квантовую механику – Поль Дирак

А вот слова Эйнштейна в разговоре с Гейзенбергом, записанные последним: «Если природа ведет нас к поразительно простым и красивым математическим формам – под формами я имею в виду согласованные системы гипотез, аксиом и т. д., – к формам, не встречавшимся доселе, мы не можем не думать о них иначе, как об «истинных», т.е. открывающих чистые черты природы... Вы, наверное, ощущали то же самое: почти устрашающую простоту и целостность соотношений, которые природа внезапно разворачивает перед нами и к которым мы ни в какой степени не подготовлены.»

Известны примеры, когда теория, выдвинутая ученым,



наделенным особо острым эстетическим чутьем, и поначалу отвергнутая научным сообществом, как противоречащая эксперименту, в конце концов либо признавалась верной, либо находила применение где то в другом месте. Можно сказать, что красивые идеи не пропадают. В первом случае оказывалось, что эксперименты, противоречившие теории, были выполнены неряшливо и более аккуратные данные ее подтверждали.



Один из открывателей квантовой механики Вернер Гейзенберг

Великие продолжают. Слово предоставляется открывателю законов движения небесных тел Иоганну Кеплеру, жившему за 300 лет до Эйнштейна:

«Теперь можно спросить, как эта способность души, которая не будучи вовлечена непосредственно в концептуальное мышление, и потому не имеет прошлого знания гармонических соотношений, тем не менее может распознавать то, что происходит во внешнем мире... На это я отвечаю, что все чистые Идеи, или архетипические образы гармонии, ... внутренне присутствуют в тех, кто их способен воспринять. Однако они не являются сознанию посредством концептуального процесса, будучи скорее продуктом чего-то, напоминающего инстинктивную интуицию, присущую данным индивидуумам».

В разговор вступает великий швейцарский физик, друг Карла Густава Юнга, Вольфганг Паули: «Мост, соединяющий изначально неупорядоченный мир опыта с Идеями, состоит из

определенных доисторических образов, существующих в душе – архетипов Кеплера. Эти доисторические образы не должно помещать в сознание или соотносить с конкретными рационально формулируемыми идеями. Скорее, они имеют отношение к формам, обитающим в бессознательной области человеческой души, образам с мощным эмоциональным содержанием, являющимися не мыслями, а воспринимаемыми, как образы, картинно. Наслаждение, которое испытывает получающий новое знание, возникает, когда доисторические образы совпадают с поведением внешних объектов...» И далее: «Не следует провозглашать, что тезисы, выводимые из рациональных соображений, есть единственные основания человеческого разума».



Иоганн Кеплер, человек, сформулировавший законы небесной механики

Однако, довольно общих рассуждений. Чтобы не быть голословным, я рассмотрю два примера красивых теорий.

Начну с того, что в физике называется принципом наименьшего действия. Звучит он так. Допустим, у нас есть какое то небольшое тело (например, бильярдный шар) и интересует, по какому пути он будет двигаться из точки А в точку Б. Согласно принципу наименьшего действия, шар «выберет» такой путь, на котором величина, называемая «действием» минимально (для зануд: в классической механике действие есть интеграл по пути от

разницы кинетической и потенциальной энергии тела).

Все мы учили в школе законы механики, знаменитые законы Ньютона, а некоторые, наверное даже их помнят. Один из них (второй) связывает ускорение, с которым движется массивное тело с действующей на него силой. Понимая этот закон, как уравнение и решив последнее, можно описать траекторию движения тела и предсказать, где оно будет находиться в заданный момент времени. Закон этот был выведен из обобщения большого количества экспериментов (не без помощи творческого воображения, конечно, без гения в науке ничего не обходится). Однако, откуда телу знать про закон Ньютона? Этим дурацким вопросом задался в XVIII веке аббат Мопертюи.

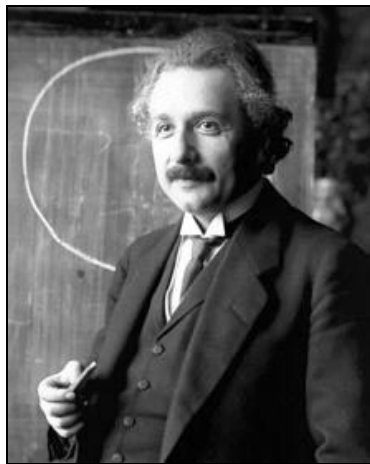


Вольфганг Паули

Он показал, что закон Ньютона можно переформулировать так, как будто тело, которому предстоит двигаться из точки А в точку Б, сравнивает разные пути и выбирает тот, на котором величина, называемая действием, минимальна. Мопертюи дал определение действия; для данной траектории оно оказалось равным интегралу по траектории от разности кинетической и потенциальной энергий тела. На первый взгляд, неуклюжее определение и принцип какой то, так сказать, лишней. Никакой дополнительной информации по отношению к закону Ньютона,

которому он был математически эквивалентен, он вроде бы не содержал, а содержал какие то странные намеки... Ну, разве в механике тела могут выбирать, куда им двигаться?

Прошло много лет, на дворе был молодой XX век и молодой чиновник швейцарской патентной конторы Альберт Эйнштейн размышлял над тем, как должна выглядеть механика для тел, двигающихся со скоростями, близкими к скорости света. Глядя на уравнения Максвелла для электромагнитного поля, Эйнштейн понял, что скорость света, в отличие от скоростей тел, не меняется при переходе от одной системы отсчета в другую (т.е., например, если мы сидим в поезде, стоящем на платформе, и смотрим на стационарный фонарь, скорость испускаемых фонарем фотонов по отношению к нам останется такой же и после того, как поезд двинется). Из одного этого следовало, что время и пространство не могут быть независимыми друг от друга, как это полагали ранее, и должны быть объединены в единый континуум (пространство-время). В этом 4-мерном пространстве можно было определить аналог того, что в знакомом нам пространстве трех измерений называется расстоянием.



Альберт Эйнштейн

Поясню на примере. Возьмем два события. Скажем, сегодня в Москве в 6 утра просыпается дядя Федя и выпивает с похмелья рюмку водки, а в 15 часов дня по московскому времени в Нью-Йорке просыпается брокер Джон и, в предвкушении долгого рабочего дня, заглатывает прозак. Интервал между этими событиями определен, как квадратный корень из РАЗНОСТИ  $[c(t_2 -$

$t_1))^2 - d^2$ , где  $d$  есть расстояние между Москвой и Нью-Йорком,  $c$  – скорость света,  $t_2 - t_1 = 9$  часов, есть разность времен между этими двумя событиями. (Для зануд: из того, что время и пространство входят в формулу для интервала с разным знаком, следует, что между ними таки есть разница, хоть они и объединены, но все таки не до полной неразличимости). Так вот, также как расстояние между двумя точками не меняется, с какой бы стороны мы на эти точки не смотрели (т.е. какую бы системы координат ни выбрали, если выразаться научным языком), так и интервал между двумя событиями не меняется, какую бы системы отсчета мы не выбирали, т.е. судим ли мы об этих событиях, глядя из иллюминатора пролетающего за облаками самолета или стоя на земле, или глядя с Юпитера. Опять таки, выражаясь научным языком, это значит, что законы природы не меняются при перемене системы отсчета наблюдателя. В этом и состоит основное утверждение теории относительности.

Так вот, вернемся к Эйнштейну. Перед ним стояла задача переформулировать механику так, чтобы она учла новые интуиции теории относительности. Старая механика Ньютона этим новым критериям не удовлетворяла, но и отбросить полностью ее было нельзя, т.к. на скоростях много меньших скорости света она отлично работала. Нужно было что-то из старого сохранить, и Эйнштейн выбрал принцип наименьшего действия, который в новой формулировке засиял всеми своими гранями, как только что огранный бриллиант. Эйнштейн предположил, что действие для частицы массы  $M$ , начавшей движение в момент времени  $t_1$  в точке  $A$  и закончившей его в момент  $t_2$  в точке  $B$ , равно просто произведению ее массы на интервал (см. Определение интервала выше) между этими событиями. Т.к. интервал не меняется при смене системы отсчета, этот выбор автоматически удовлетворял принципу инвариантности законов природы, объясненному выше. Постулированные таким образом релятивистские законы механики представляются чрезвычайно красивыми большинству физиков. Физика свелась к геометрии, очень образно и красиво. Законы, угаданные Эйнштейном, оказались верными, выдержав проверку, наверное, миллионами экспериментов на ускорителях элементарных частиц.

*Другой пример*, тоже касающийся понятия «действие». С продвижением в микромир возникла необходимость обобщить законы механики на крохотные («микроскопические») частицы (электроны, протоны и т.д.). Они, как известно, по определенным траекториям не движутся, вернее, движутся сразу по всем траекториям, хотя и с разной «амплитудой». Осмысленным в таком случае является вопрос о вычислении вероятности перехода

частицы из точки А в точку Б за данное время  $t$ . Задачу эту блестяще решил Ричард Фейнман. Оказалось, что волновую функцию частицы можно представить, как сумму по всем возможным траекториям соединяющим А и Б. А суммировать надо экспоненты от  $2\pi iS/h$ , где  $i$  - мнимая единица, а  $S$  – действие на данной траектории, а  $h$  – постоянная Планка. Мнимая экспонента – сильно осциллирующая функция, и для быстрых (или тяжелых) частиц в сумме доминируют те траектории, которые лежат ближе к классической. Получается, что квантовая частица как бы размазана вокруг классической траектории в трубке некоего радиуса.

Вот идея аббата Мопертюи оказалась тем гадким утенком, из которого выросли лебеди теории относительности и квантовой механики.

Так что прав был старик Платон. Красота – объективное понятие. И судья тут - сама Природа.

\*\*\*

Загвоздка состояла в том, что в теоргруппу принимали практически только с одного факультета – ФОПФ, а пробиться туда с «Квантов» шансов было мало. Но мне повезло: на ФОПФе организовали еще одну группу, куда срочно требовался народ. Базой этой группы был Институт Физики Высоких Давлений АН СССР («Давильня»), куда я после окончания Физтеха и попал. Но я забегаю вперед. «Давильне» были нужны экспериментаторы и я прикинулся энтузиастом эксперимента, понадеявшись, что потом все как-нибудь образуется. И оказался прав. И вот я и Бу сагитировали еще двоих сокурсников (нужно было, как минимум, четыре человека) и перешли на ФОПФ. Началась совсем другая жизнь.

Первым впечатлением от ФОПФа была «картошка», которая в то время была обязательной чертой каждого советского вуза. Каждую осень студенты «помогали труженикам полей», т.е. за бесплатно ишачили на уборке свеклы, картошки, капусты и т.п. В одних вузах это занимало месяц, в других больше, у нас в МФТИ – две недели. Плоды наших трудов сваливались в овощехранилища (скорее, овощегноилица), откуда их не до конца сгнившие остатки отправляли на прилавки магазинов страны развитого социализма. И вот, перейдя на ФОПФ в сентябре 1974 года я почти сразу поехал с моими новыми сокурсниками на «картошку». Говорят, что на миру и смерть красна; не знаю, но, во всяком случае, в компании таких замечательных ребят, каких я там встретил, даже приокские картофельные поля показались мне Елисейскими. С одним из них, Володей Лебедевым, мы остались друзьями на всю жизнь, от других я со временем отдалился, но это не сделало память дружбы тех лет менее драгоценной для меня.

Стояли золотые дни бабьего лета, было довольно тепло, комсомольские надсмотрщики нас особенно не гоняли (помню фамилию одного из них – аспирант Кукарека) и мы упивались беседой, рассказывая друг другу разные истории. Я помню, Володя пересказал мне «Собачье сердце» Булгакова, которое он знал чуть ли не наизусть, а также, кажется, «Ферму животных» Орвелла. Все эти книги были тогда запрещены и за чтение их можно было пострадать. На «Квантах», где преобладали «совки», я о них не слышал даже от Бу (он, наверное, побаивался со мной об этом говорить). Передо мной открывался новый мир.

Когда я спал без облика и склада,  
Я дружкой был, как выстрелом, разбужен.  
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада  
Иль вырви мне язык — он мне не нужен.

Другой человек, с которым меня на долгие годы сблизил эта картошка был Миша Фейгельман (Фига). Миша был среди моих однокурсников легендарной личностью. Он был первым, кто начал самостоятельно учить квантовую механику и сдавать теорминимум в Институте Ландау (о том, что это такое, я еще буду рассказывать подробно). Я помню, как еще на втором курсе Бу на какой то лекции указал мне на огненно рыжего то ли пирата, то ли анахорета с ввалившимися щеками и огромными глазами, грозно горевшими из под кустистых бровей: «Это Фига, он только что сдал теорминимум по квантам». И вот, аз недостойный, лежу с этим самым легендарным Фигой под березкой и пью водку. С Мишей мы тогда крепко сошлись. Он женился еще студентом, быстро родилась дочь Марина и мне пришлось ее даже понянуть.

Студенческая жизнь была очень бедной и мы пытались изобрести какие то средства для увеличения нашего бюджета. И вот однажды Фига задумчиво сказал: «Знаешь, я слышал, что можно пойти в Пироговскую больницу и продать там свой скелет в анатомичку. Тебе дают 200 рублей в руки и ставят штамп в паспорт, что ты, мол, завещал свой скелет науке». Я страшно обрадовался и стал убеждать Фигу скорей идти в Пироговку. Он, однако, колебался, то ли жалея свой скелет, то ли сам не доверяя правде своих слов. Короче, я пошел туда сам. Помню бесконечное изумление на лице маленькой женщины - врача в приемном покое больницы, которую я спросил, могу ли я продать им свой скелет...

Подружившись с Володей Лебедевым, я стал бывать у него дома, где познакомился с его родителями и сестрой Катей.

Огромное впечатление произвел на меня отец Володи Сергей Владимирович Лебедев, ныне покойный.

### **Гражданин Атлантиды.**

Сергей Владимирович был одним из тех людей, кого я, вслед за Эдуардом Радзинским, называю гражданами Атлантиды, т.е. осколками великой затонувшей цивилизации старой Европы. Начиная с 1914 года эта цивилизация медленно погружалась на дно под ударами мировых войн и революций, разлагаясь изнутри под воздействием ядовитых идеологий. Мне посчастливилось встретить несколько последних и ярких ее представителей. Одним из них был Сергей Владимирович, о троих других – сэре Рудольфе Пайерлсе, сэре Исае Берлине и профессоре Николасе Кюрти речь пойдет в главах, посвященных Оксфорду.

Сергей Владимирович был настоящий русский интеллигент и по происхождению и, что самое главное, по своей сути. Для меня он был просто зримым воплощением этого понятия, если бы меня попросили дать определение того, что такое интеллигент, я бы просто указал на Сергея Владимировича, и этого было бы довольно. В его облике не было ни капли заносчивости, он был вежлив со всеми без подобострастия. Он не был ни тихим, ни застенчивым, ценил шутку и сам умел пошутить. Не было в нем также ничего болезненного, никаких неврозов и комплексов. Никогда не ругался матом, не было ни малейшей примеси вульгарности в его русском языке. Невозможно было представить Сергея Владимировича заискивающим перед начальством или орущим на подчиненных. Думаю, что руководил людьми он главным образом примером, при нем как то стыдно было делать что-то не так, как нужно. Сергей Владимирович был крупным физиком экспериментатором, почти всю жизнь проработал в Физическом Институте АН СССР им. Лебедева (ФИАН). Отец его был генетиком, работал в 20-е годы с Кольцовым и молодым Тимофеевым-Рессовским. В 41-43 годах Сергей Владимирович был на фронте, а до этого участвовал в качестве призывника в польской кампании (оккупации восточной Польши Советским Союзом согласно секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа). После 43 года его перевели в советский атомный проект. В ходе этой работы он несколько раз (кажется три) облучался и лежал в больнице. В общей сложности он получил около 300 рентген, доза совсем не маленькая. Умер он в 1990 году, в возрасте 77 лет, имея троих детей.

Я запомнил несколько его историй об этом проекте. Вот одна из них.

Некоторое время весь запас советского радия – страшно радиоактивного и вместе с тем редкого элемента, от имени которого и происходит сам термин «радиоактивность», хранился в



сейфе в ФИАНе. Радия в природе очень мало, что знал и Маяковский: «Поэзия – та же добыча радия, в грамм добыча, в год – труды, изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Так что весь советский запас состоял из крохотного кусочка. Кусочек был хотя и крохотный, но излучал довольно сильно. Однако начальство ФИАНа в своей неизреченной мудрости (а начальство, как правило, является мудрым, даже и за пределами Советского Союза) поместило этот сейф в одной из комнат института да еще около стены, за которой был коридор. В коридоре, как раз напротив сейфа, висело зеркало, перед которым часто останавливались сотрудницы института, чтобы покрасить губы или подвести глаза. В комнате, непосредственно примыкающей к комнате с сейфом, работал какой то слесарь; следующей за ней была комната Сергея Владимировича. В один прекрасный день он упал в обморок, потом обморок повторился. Облучение, кажется тогда он получил порядка 100 рентген. Сергей Владимирович выкарабкался. Слесарь же умер. Неизвестно, насколько пострадали задерживавшиеся у зеркала дамы, но вот одна дама, вернее молодая девушка, из за радия погибла. Ее посылал к сейфу ее научный руководитель (я не называю его имени, т.к. дочь его жива и я не хочу, чтобы эта история бросила на нее тень) для того, чтобы она облучала образцы полупроводников. Ученого интересовало, как полупроводниковые устройства будут вести себя в условиях атомной войны. Аспирантку он, очевидно, в детали не посвящал, что и стоило ей жизни. Как тут не вспомнить пушкинский «Анчар». «Но человека человек послал к анчару властным взглядом...»

После серии этих несчастий сотрудники стали добиваться того, чтобы радий убрали в более безопасное место. Сделано это было далеко не сразу, но в конце концов сейф закопали под порогом здания.

Еще один характерный случай. 48 или 49 год, полным ходом идет подготовка к испытанию первой советской атомной бомбы. Боеголовка ее была сделана из плутония, искусственного радиоактивного элемента. Элемент этот распадается за несколько тысяч лет, и поэтому в природе его нет, производят же его искусственно в атомных реакторах. При распаде плутоний испускает тяжелые альфа частицы (ядра гелия), которые задерживаются человеческой кожей и потому безопасны (потребление плутония внутрь, однако, категорически не рекомендуется, т.к. внутри у нас кожи нет). Сделанную из плутония атомную боеголовку ученые держали в руках, из за ни на миг не прекращающегося распада на ощупь она была теплой. Начальство проекта (самым главным был Берия, за ним был Ванников) все

время подозревало обман. Приходят: «покажите плутоний». «Вот, пожалуйста». «А откуда мы знаем, что это он, а не что-нибудь еще?» «Да он же теплый». «Ну, это вы его сами могли нагреть». И все в том же роде.

До войны Сергея Владимировича неоднократно призывали в армию на сборы. Он был артиллеристом. Он говорил нам, что до 37 года организовано в армии было все очень четко, приходил человек на сборы и ему тут же указывали его место и за короткое время часть формировалась и была в боевой готовности. После же того, как Сталин «очистил» армию, начался настоящий кабак. Никто ничего не знал, куда идти, что делать, полная дезорганизация. Думаю, что именно это, а не техническое неравенство (вымышленное советскими властями) привело к страшным поражениям и непропорционально большим потерям в войне с Германией. И еще, конечно, абсолютно беспощадное отношение советских начальников к своему народу.

Помимо естественных наук на Физтехе, как и в каждом советском вузе, преподавались науки «общественные», т.е. история коммунистической партии (разумеется, в ее сталинском варианте), политическая экономия, марксистско-ленинская философия и «научный» коммунизм. Первые два предмета вместе с их преподаванием не заслуживают и плевка, а вот на последних двух стоит остановиться.

Кафедра философии на Физтехе была весьма вольнодумной и семинарские занятия были, как правило, очень интересными. Я помню, как на одном из таких занятий наш «философ» растолковал нам «Андрея Рублева» и «Зеркало» Андрея Тарковского. Фильмы эти сложны и полны иносказаний, символов и даже недомолвок, что для советского зрителя, воспитанного на прямом, как телеграфный столб, соцреализме, было совершенно непривычно. Нам нужно было сначала объяснить, что да, такое искусство бывает, что не обязательно говорить сразу все прямо, художник имеет право быть сложным и непонятным, что нужно думать над тем, что говорится и показывается и что так даже лучше, ибо то, что воспринимается с усилием, остается надолго. Все это сумел за один короткий семинар донести до нас наш «философ». Был он, кстати, с виду довольно невзрачный мужичонко, не помню его фамилию. Но и в рубище почтенна добродетель... Запомнилось то, что он говорил об «Андрее Рублеве»: «Вот вокруг страшная жизнь, набеги татар, предательство, жестокость, грязь, пьянство. Откуда же красота, откуда Троица?» Ясно, что из такой жизни красота придти не может и, значит, она приходит в мир извне. Это я запомнил на всю жизнь.

Самой импозантной фигурой на кафедре философии был философ по кличке Градиент. Он был совершенной копией Дон Кихота: высокий, сутуловатый, острая бородка клинышком, прямые усы торчат в стороны.

Вся эта интеллектуальная атмосфера подготовила во мне глубокий духовный переворот. Во-первых, я начал читать книги. До этого я читал только книжки по физике и фантастику. Литературу в школе преподавали плохо, все это была какая-то казенная скука. Не помню как, но на физтехе я вдруг стал читать классику. Вполне может статься, что побудил меня к этому тот же Фига. Во всяком случае, самый яркий момент, который мне запомнился, как своего рода пробуждение ото сна, связан с нашим обсуждением «Братьев Карамазовых». Нас обоих потрясла «Легенда о Великом Инквизиторе». Ну, конечно, параллель между идеалами Инквизитора и советской реальностью была очевидна до ужаса. Оба мы уже тогда хорошо понимали, что советская система в своей основе преступна, но ее организационный принцип, ее, так сказать идея, не была ясна для нас до конца. Инквизитор все поставил на свои места. Коммунизм, не только в его реальном воплощении, но и в самом своем корне, как идея, был обрисован гениальным писателем, как антипод идеям свободы и человеческого достоинства. Конечно, теперь мы понимаем, что Инквизитор это не только коммунизм, что это куда шире, что зло может шагать не только под красным флагом, но и, например, под семицветным, но тогда реальность перед нашими глазами была именно советская.

Еще запомнился ответ старца Зосимы на вопрос о том, можно ли доказать существование Бога. «Доказать здесь ничего нельзя, а убедиться, убедиться возможно. Опытom деятельности любви».

Замечу вскользь, что ни я ни Миша не впитали с детства никаких религиозных идей. Родители наши были советскими интеллигентами, от религии в лучшем случае держались в стороне, да и опасно это было, а папа мой и вообще, например, относился к ней довольно враждебно. В церкви ни я ни тем более Миша, наверное, до этого не были вообще никогда.

Мое понимание коммунистической идеологии, как инквизиторского учения, подкреплялось моим внимательным чтением классиков марксизма-ленинизма. В то время как большинство моих сверстников видимо тяготились изучением «научного» коммунизма, считая его за казенную тяготиину, которую лучше, наспех вызубрив и сдав, позабыть, мне так не казалось. Я читал эти книги и там, где другие видели только глупость и безумие, я видел систему. Система эта довольно

последовательно и логично выростала из нескольких ошибочных предпосылок.

Мне не хочется здесь особенно растекаться мыслью по древу. Многие теперь считают, что коммунизм есть проблема вчерашнего дня и нечего пинать лишней раз мертвую лошадь. Думаю, что это не совсем так; в мире идей ничто не умирает насовсем и идея, раз появившись, уже не может исчезнуть. В любой данный момент времени в общественном сознании присутствует самый широкий спектр идей, включая те, что, казалось бы, совершенно дискредитированы ходом истории. Однако и они живут, хотя может быть и малозаметной жизнью, как живут в организме различные микробы, включая самые болезнетворные. Пока организм силен, он противостоит им и держит численность популяции таких микробов на минимальном уровне. Но стоит организму (обществу) ослабнуть и болезни набрасываются на него со всех сторон. Так и идеи, на время ставшие непопулярными, ждут своего часа. Что касается марксизма, то он продолжает присутствовать в разных формах в западном академическом мышлении, в частности, в так называемом «левом дискурсе». Различные новомодные течения, такие как, «гендерные исследования» есть в своей основе перелицованный марксизм, где понятие «класс» заменено понятием «гендер» так, что разделительная линия в обществе проведена не между бедными и богатыми, а между разными полами. В итоге вся марксистская логика сохраняется с той только разницей, что история осмысливается не как борьба классов, а как борьба полов.

Говорят еще, что не обязательно принимать какое то учение целиком, будь то марксизм или что то другое. Мол, надо брать хорошее, а плохое отметить. Однако, дело в том, что идейные течения, как и живые организмы, обладают некоторой внутренней цельностью. Когда мы пытаемся эту цельность нарушить, могут произойти две вещи. Получившийся гибрид может оказаться неспособным к самовоспроизводству. Вот, к примеру, гибрид осла и лошади – мул. Очень полезное животное, но детей не производит. Или же отрезанный кусок идеи (то плохое, что мы хотели отбросить) регенерирует. Таким образом, «хорошие» элементы учения, воспринятого нами, в силу его внутренней логики потянут за собой и «плохие».

Я не собираюсь здесь давать развернутую оценку марксистских идей. Остановлюсь лишь на одном уроке общего характера. Мой опыт общения с западными людьми показывает, что западный человек, даже очень умный, совершенно не понимает того, что такое идеология. Всей своей жизнью он приучен к тому,

что речи политиков есть пустой звук, «риторика», что за этими речами не только не стоит никаких убеждений, но что они, по сути, и мало к чему этих политиков обязывают. Ну конечно, политик может быть наказан за нарушение предвыборных обещаний, но для этого необходимо, чтобы это нарушение было очень серьезным, типа повышения налогов. Это понимание, отражающее положение дел в западных демократиях, к сожалению, переносится на весь мир. Поэтому западный человек сплошь и рядом не воспринимает серьезно то, что говорят тоталитарные вожди и диктаторы. Читая ныне исторические исследования о Второй мировой войне, поражаешься, например, тому, насколько такой умный человек, как Рузвельт, не понимал Сталина. Дело доходило до того, что этот человек даже надеялся Сталина очаровать, взять своим обаянием! Или британские аристократы, которые перед мировой войной симпатизировали Гитлеру. Не читали «Майн Кампф»? Конечно нет, зачем читать, мало ли что кто пишет, одно дело книжки, другое жизнь. Это хроническое непонимание того, что слова могут сделать человека, политического деятеля своим заложником, трагично. Однако, примеров этому в истории тоталитарных диктатур тьма. Гитлер, фактически, совершил самоубийство, не поддержав антикоммунистических настроений на оккупированных Германией советских территориях. Вместо того, чтобы создавать русскую освободительную армию, он занялся порабощением местного населения, взяв за руководство не Александра Македонского, а Тамерлана.

Вот, на мой взгляд, любопытный пример того, как, казалось бы, очень абстрактные соображения имели весьма конкретные последствия для целой социальной группы советского общества. Вот эти соображения. Марксистское учение – учение материалистическое и есть попытка перенести материалистические представления о природе таких ученых XVIII века, как Лаплас, на общество. Если природа следует детерминистским законам механики, то естественно предположить, что человек, как часть природы, а следовательно и сообщество людей, тоже развивается по неким законам и законы эти можно и нужно открыть, как открыты были законы механики. Самым важным, по Марксу, родом человеческой деятельности является деятельность хозяйственная, т.е. экономика, в ходе которой человек создает ценности. В хозяйственной деятельности принимают участие разные субъекты: рабочие, продавцы, банки, дающие ссуды и т.д. Все ли они принимают участие в создании ценностей? Маркс говорит, что нет; ценность продукта, по Марксу, определяется только количеством вложенного в него труда, более того, только труда *физического*. Почему так? А потому, что Маркс материалист и ни во что, кроме

материи не верит. Раз ценности создает физический труд, значит их создают рабочие, а все остальные, кто претендует на какую то роль в экономике, просто присосались и эксплуатируют их труд. Но как же, скажете вы, а инженеры, конструкторы, наконец ученые, которые придумали, сконструировали, разработали то, что рабочий изготавливает? Они же тоже, вроде бы, трудятся? Трудятся, но не физически. Уупс, провал. Разобрал Маркс мир на кусочки, а как стал собирать, осталась лишняя деталь. И оказалось, что в советском обществе, даже после уничтожения буржуев, как класса, осталась целая неучтенная социальная группа, которую неизвестно куда отнести, то ли к трудящимся, то ли к эксплуататорам. И как же ее звать? Нашлись как - прослойка. Прослойка советской интеллигенции. Временно нужна, пока рай на земле еще не наступил. А наступит и не станет ее. Как не станет? Интересный вопрос...

Читателю может показаться, что это какая то схоластика. Да, разумеется, но она то и определяла жизнь нашего народа на протяжении многих десятков лет. И подозрительное отношение к интеллигенции, даже к своей, доморощенной, советской, которую, по совести, и интеллигенцией то назвать было нельзя (Солженицын дал хороший термин «образованщина»), не в последнюю очередь определялось тем, что «прослойка» выпадала из картины мира, нарисованной Марксом.

Но хватит теоретических отступлений, вернемся к жизни. Среди подвижных манекенов, наполнявших кафедру научного коммунизма, был один живой человек. И какой! Имени я его не помню, помню лишь то, что он носил чин полковника КГБ. Это был весьма обаятельный плотный господин лет 55, невысокого роста, с приятными манерами. С нашими немногочисленными девушками он держался безукоризненно и всегда ставил им пятерки. И вообще, кажется, к студентам относился очень либерально. Подход его был стратегический, на всякие мелочи он себя не тратил. Он понимал, что имеет дело с творческими и пытливыми умами, что на обычной казенной мякине нас не проведешь и настаивать на том, что ни одна йота и ни одна черта из марксистского учения не пройдут или, что все, что предсказали классики, обязательно сбудется, не имело смысла. Сердца надо было привлекать по-другому, прежде всего дав нам понять, что само наше положение как студентов элитного вуза делает нас вхожими в некие, ну не то чтобы кулуары власти, а такого своего рода прихожую, из которой уже можно расслышать голоса из тех палат, где решаются судьбы мира. И если кто из нас решиться сделать еще шаг и постучать вон в те громадные массивные двери, то может быть, его и впустят, а там... То есть надо пробудить в нас

чувство причастности, а для этого поделиться информацией, для простого советского человека недоступной. И полковник делился. Рассказывал всякие истории о своих поездках за границу, о том, как он уламывал чехословацких товарищей быть поговорчивее перед вторжением в их страну советских войск, о том, как трудно было объяснить итальянской аудитории, за что изгнали из страны Солженицына (спасла положение итальянская студентка, прервав затянувшиеся объяснения криком «Да что понимают в жизни эти нобелевские лауреаты!»)

Более всего мне запомнилась лекция, посвященная международным отношениям и особенностям советской дипломатии. Полковник совершенно определенно заявил, что советская дипломатия исторически уникальна потому, что ни одна страна никогда не имела за своими пределами такого огромного числа сторонников, готовых поддержать ее инициативы. Не просто аморфную массу симпатизирующих СССР людей, а силу, организованную в виде политических партий.

Сейчас в определенных кругах модно утверждать, что, мол, Сталин возрождает Российскую Империю, что происходил постепенный отход от коммунистической идеологии и поворот к традиционным имперским ценностям. Я, разумеется, не жил при Сталине, но думаю, что за пределы внешних форм, типа офицерских погон, все это никогда бы не пошло. Если Сталин был действительно таким прагматиком, каким его изображают те, кто пытается отмыть добела этого черного кобеля, то не мог не понимать, что было бы в высшей степени невыгодно отказываться от многомиллионной пятой колонны зарубежных компартий. А Российская Империя за границей никому не нужна и никакие партии ее поддерживать бы не стали, как сейчас не поддерживают.

Людам, не жившим в то время, трудно вообразить, насколько мы были стеснены в культурном отношении. Магазины были забиты книгами, но все это была казенная макулатура, читать которую не мог никто. Я помню, как за подпиской на полное собрание сочинений Пушкина я стоял всю ночь в очереди на морозе. И получил ее только благодаря тому, что стоял я не один, а как член некой организации, которая такими вещами занималась. Тоже было с билетами в театры. Хуже всего обстояло дело с живописью. Впечатление было такое, что история русской живописи оборвалась на «передвижниках». Ну, пару картин Врубеля еще можно было в Третьяковке найти, но про «Мир искусства», «Бубновый валет», Марка Шагала, Кандинского если и можно было прочитать, то только в казенных монографиях, где их по всякому ругали. Все это начало потихонечку меняться со второй половины 70-х.

Помню первую выставку, на которой независимым художникам позволили показать свои картины. Это было на ВДНХ, в павильоне «Пчеловодства», в конце сентября 1975. Там было выставлено более 500 картин, перед нами открылся целый мир, мы вдруг узнали, что у нас есть живопись, что есть талантливые люди, которые мыслят и чувствуют не так, как велит партия и что таких людей много.

Вскоре после этого независимым художникам выделили постоянное место для проведения выставок – большое подвальное помещение на Малой Грузинской 28. И поставили какого-то комсомольца присматривать за ними. Так сбылась мечта Салтыкова-Щедрина. Из «Истории одного города»: «И под присмотром квартальных надзирателей появятся науки и процветут искусства». Наука у нас уже процветала, дошла очередь и до искусства.

Именно в те годы я познакомился с замечательной женщиной, профессором факультета журналистики МГУ Галиной Андреевной Белой. Ее дочь красавица училась на Физтехе, ее окружал хоровод поклонников, к этому кругу принадлежал и кое-кто из моих друзей, через них я попал к Марине в дом, а там и познакомился с ее матерью. Мы очень подружились, Галина Андреевна очень любила молодежь, отношения со студентами и аспирантами и вообще с теми, чьи интересы были ей близки, бывали очень теплыми. У нее я познакомился с Олегом Клингом (посмотрев на Гугл, я обнаружил, что он – профессор филологии в МГУ и, судя по тексту на его сайте, занимается очень интересными вещами), Мариной Князевой (узнал опять таки из Гугла, что и она процветает), Евгенией Альбац, которая, наверное, известна абсолютно всем. К сожалению, в 80-х наши пути разошлись.

Я прослушал несколько лекций Галины Андреевны на журфаке; она читала курс по истории советской литературы. Оттуда я узнал, например, о Бабеле, о Заболоцком, о Платонове. Тогда начинали публиковать некоторое количество писателей, чей взгляд на жизнь отличался от официально установленного, таких, как, например, Василий Шукшин и Юрий Трифонов. Галина Андреевна воспринимала все это с большим энтузиазмом, который я, как ни старался, не мог разделить. Все-таки присутствие самоцензуры в этой новой литературе было слишком очевидно и по настоящему острых проблем она не дерзала касаться. Этих проблем касался самиздат и «тамиздат». Последним Галина Андреевна, которая начала тогда ездить за границу и могла что то с собой привезти, щедро делилась с друзьями. Так я прочитал «Зияющие высоты» Зиновьева, а главное, познакомился с запрещенными тогда Мандельштамом и Гумилевым, а также



практически недоступными широкому читателю Ахматовой и Пастернаком. Огромное впечатление произвели книги Андрея Платонова «Котлован» и «Чевенгур», которые тогда, разумеется, тоже были запрещены. Думаю, что никто лучше Платонова, который сам симпатизировал коммунизму, не вскрыл его сущность. Это намного лучше того, что писали о коммунизме его откровенные враги, как Бунин или Солженицын, т.к. это взгляд изнутри, взгляд человека, проникнутого этими идеями, но при этом предельно честного, раскрывающего перед читателем абсолютно все без утайки.

Читать Платонова трудно, даже больно, настолько он выворачивает себя наизнанку. Его предельная честность ранит.

Большим открытием для меня был Николай Бердяев, Семен Франк и другие философы русского религиозного возрождения. Сама Галина Андреевна была не религиозна, но мыслители эти ее интересовали.

У Бердяева мне более всего запомнились «Самопознание», «Мирозерцание Достоевского», «Истоки и смысл русского коммунизма» и «Философия неравенства». Первая книга есть опыт философской биографии, где внешние события жизни рассматриваются преимущественно в связи с духовным становлением автора. В своем повествовании я, по мере сил, стараюсь подражать своему великому предшественнику.

Русское возрождение, которое также принято называть серебряным веком русской культуры, стряхнуло с себя путы примитивного материализма и позитивизма, господствовавших в умах русской интеллигенции второй половины XIX века. Властителями дум ее были Писарев и Чернышевский, а также немецкие «философы» Бюхнер и Молешотт, утверждавшие, что «мозг выделяет мысль подобно тому, как печень выделяет желчь». Русская мысль и искусство времен серебряного века впервые, не на уровне отдельных представителей, а, так сказать, в массе, встала на мировой уровень и, даже, мне кажется, в некоторых отношениях вырвалась вперед. Этот великий подъем был подготовлен Достоевским и Владимиром Соловьевым. То, что мне наиболее дорого в культуре советского периода: Михаил Булгаков, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, даже Арсений Тарковский, как отчасти и его сын Андрей, все это выросло из культуры серебряного века.

Мой кров — убог. И времена — суровы.  
Но полки книг возносятся стеной.  
Тут по ночам беседуют со мной  
Историки, поэты, богословы.

И здесь их голос, властный, как орган,  
Глухую речь и самый тихий, шепот  
Не заглушит ни зимний ураган,  
Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот.

Это – из «Дома поэта» М. Волошина. Я часто ощущаю себя также, хотя и мучает мысль, а захотели ли бы беседовать со мной эти титаны прошлого. Мысль о моем варварстве и недостатке преследует меня. Тут я расхожусь с нашим веком, который провозгласил, что всяк человек хорош такой, как он есть и нечего зря мучиться, пытаясь стать на вершок выше ростом. Have fun! Твой единственный долг перед обществом – потратить свои деньги и тем стимулировать экономику. The rest is up to you, just do not be judgemental. Порой у меня возникает ощущение, что времена Бюхнера и Молешотта вернулись.

Примерно в то же время (это был, кажется, пятый курс), мы стали ездить на «базу», где нам раз в неделю читали лекции и готовили нас к дипломной работе. Там я познакомился со своим будущим научным руководителем Александром Федоровичем Барабановым, который сыграл немалую роль в моей жизни и о котором расскажу чуть позже более подробно.

От решения задач, ответ на которые был уже известен, я готовился перейти к решению задач, ответ на которые не знал никто. Я готовился вступить в настоящую науку. Область, которая меня привлекала в физике более всего, была связана с глубинными свойствами вещества, с тем, как вещество организовано. Вопросы эти издавна было принято связывать с атомистической теорией.



Татьяна Щербина

## Бродский. Жидкие кристаллы



Проводя жизнь с разными фантомами, мясными и бумажными, участвуя в невидимых миру световых операциях, осознаваемых как войны, игры, лав-стори-диалоги, осознала я также, что сознанию и цена – человеческая. Гомо сапиенс столько уже надумал, что стал не в радость. Все мысли его равноценны или равнонеценны. Никогда я не могла с чистой совестью присягнуть на верность: ни одной команде, ни одному – самому микро – обществу.

Мучительный, авитаминозный дефицит абсолюта, то есть, приятия без натяжек и компромиссов, заставляет меня очень сильно любить каждый найденный витамин. Не гербицидный, не чернобыльский – без мафиозного искажения цепочки ДНК. Общество теперь повсеместно борется с мафией, но что есть общество и каждый его представитель, доколе он представитель, как не член той или иной мафии. Поэт, не общественный представитель, как это сейчас со многими западными поэтами – это провинциал жизни. Не орлиный глаз, не ястребиный коготь. Среднемеханический смертный, пишущий о быстротечности жизни, о том, что давно и всем ясно, этакая бытовая видеокамера. Звезды снимать, женщин, детишек – под милую музыку. А поэт-представитель? Он поинтереснее: он послан обществом, он депутат, он специалист по правилам игры в поэзию. Но он такой же среднемеханический смертный.

Бродский – некий третий случай, классический случай, современной поэзией, казалось бы, утраченный навсегда, но вот – Бродский. Может быть, это последний случай, и тогда он чрезвычайен. Мотив всей поэзии Бродского – прощание. С Ленинградом, с Россией, с империей – не только советской, но и как таковой, с двухтысячелетним христианством, со всей культурой, с тем, что мы подразумеваем под жизнью.

«Жизнь, как меру длины, не к чему приложить». А ведь она была не только приложимой, но и неотъемлемой. «Наваждение толп, множественного числа». То, что называлось жизнью – это

жизнь единственных чисел, объединенных надличным смыслом, потому они и оставались единственными, сколько бы их ни было. Жизнь множественного числа настала, настает, и новая поэзия ее представляет, но видит лишь изнутри, ибо жизнь взаимоотражающихся зеркал замкнута на самое себя.



Международный фестиваль поэзии. Роттердам, 1989

Предыдущая история, наоборот, шла от раздельности к окутыванию себя связями, она жила бесконечными открытиями америк и законов. Множественное число может только множиться, и ответом на превращение человечества в полчища тараканов стал побег. Один вид побега – наркотики, другой – мифология внеземных цивилизаций и строительство космических кораблей, то есть, устремления с Земли отбыть или хоть кого-нибудь на нее призвать. Кого-нибудь не такого, как бесконечно отражаемое множественное число «мы».

Начав с того, что не нахожу «яичницы, видящей скорлупу снаружи», что вижу на всяком желтке – бельмо, оно же – апокалиптическое клеймо со звериным числом, признаюсь, что за 18 лет совместной жизни с бумажным Бродским я так и не подумала, что Пушкин краше, Данте умнее, а Монтень проницательнее. И что Христос любил человечество, а Бродский

написал: «Я не люблю людей». Наоборот, и я не люблю, - думала я, - и никто их не любит.

Представляя себе Бродского как кульминацию поэзии, нелишне уточнить, **что** это, поэзия. «Мысль не должна быть четкой», - цитирую я Бродского с тем же согласием. «Я пишу эти строки (...) раздвигая скулы фразами на родном/ Безразлично, о ком/ Трудным для подражания/ птичьим языком/ Лишь бы без содержания».

Так получилось, что главное, даже медицинский трактат, когда он главное, записывали стихами. Нострадамус – уж куда как главное – стихами. Стихи не обязывают к повествовательности, трактатности, каким-то глупым персонажам: ни людей – из нарциссизма, ни идей – из борьбы за «правильную», свою, своей общины картину мира и обливание кислотой уже существующей картины – как с «Данаей» в Эрмитаже, как в песне «Интернационал».

Стихам отпущено все, не запрещено ничего: скажем, обнаруживая, что Земля вертится, никому этого не доказывать, не отвечать за свои слова перед судами – просто осуществлять сверхпроводимость. Но стихи, выделившись в отдельный род занятий – поэзию, из своей свободы стали заводить собственные рутины. То чтоб всем ходить в форме (сонет, баллада, терцина), то чтоб только про возвышенное, то чтоб служить государству, то чтоб лудить метафоры – и теперь всяк скажет вам, что поэзия должна то-то и не может быть тем-то, соответственно чему складываются каноны и понятия мастерства.

Вот это и зовется «мастерство»:  
способность не страшиться процедуры  
небытия – как формы своего  
Отсутствия, списав его с природы.

В Бродском поэзия вернула свободу и от бытия, и от небытия. Универсальная специализация с использованием себя в качестве универсального инструмента – высшее мастерство, которого в русской поэзии не достигал, кажется, никто. В чем есть свобода – в том нет причастности, привязанности, в чем есть привязанность – в том нет свободы.

Новое оледенение – оледенение рабства  
Наползает на глобус. Его морены  
Подминают державы, воспоминанья, блузки.  
Бормоча, выкатывая орбиты,  
Мы превращаемся в будущие моллюски,

Но никто нас не слышит, точно мы трилобиты.

Рабство друг у друга – потому что свобода от кого-нибудь, кто слышал бы нас. Хотя многие современные поэты и пишут о Боге, это слова, условное обозначение. Не потому что лицемерие, а потому что традиция риторики, к которой авторы подключают чувство. Авторы с «развитым» сознанием бесформенную поэтическую позу превращают в персонаж и, отринув «глобалку», избирают себе узкую специализацию. Уходят в верлибр, пародируют пафосную классику. Смена грамматик, договоренности о них – цеховые проблемы поэзии, в которой («это как бы свита/ букв, алфавита») глаголы – «в длинную очередь к «л» не выстраиваются, как у Бродского. У него – «из забывших меня можно построить город», вопреки принятому стремлению строить из запомнивших.

«Что это, я один? Или зашел в малинник?» – тут никто не один, все в малиннике. «Нарисуй на бумаге простой кружок/ Это буду я, ничего внутри/ Посмотри на него и потом сотри». И это движение противоположно бесконечно ценимому (поэтами, в особенности) «я», кружок не должен быть пуст, в том, чтоб его не стерли – всё затмевающее усилие.

Сорвись все звезды с небосвода,  
Исчезни, местность.  
Все ж не оставлена свобода,  
Чья дочь – словесность.  
Она, пока есть в горле влага,  
Не без приюта.  
Скрипи, перо. Черней, бумага.  
Лети, минута.

Не знаю, насколько в полубормотаньи-полуцитировании проступила разница между двумя явлениями, называемыми одинаково – поэзией, но ведь и перед судом Бродский отвечал не за свои слова, - их поэзией и не называли, - а за свою свободу, названную тогда тунейдством. Так же, как сейчас он отвечает высоким собраниям за нобелевское лауреатство.

Пора. Я готов начать.  
Неважно, с чего. Открыть  
Рот. Я могу молчать.  
Но лучше мне говорить.

О чем? О днях, о ночах.  
Или же – ничего.

Или же о вещах.  
О вещах, а не о

Людах. Они умрут.  
Все. Я тоже умру.  
Это бесплодный труд.  
Как писать на ветру.

Люди превращаются в стихию, смерч, саранчу, жизнь перестала быть антропоцентричной, это слышно, у этой катастрофической черты Бродский и остановился. А уж как переплывать Стикс и куда – это хотя бы надо знать, откуда.

В русской поэзии принято деление на три века. Золотой XIX, Пушкин. Но это век лишь формирования языка. Автор большого количества русских слов – Тредьяковский, XVIII век – создание словарного запаса. Жуковский перевел древнюю и европейскую поэзию на язык, который он сформулирован первым, и на котором «превозмогший учителя ученик» свободно заговорил. Стихи Пушкина – не переводы, но переложения и мотивы европейского (французского, по преимуществу) стихотворчества. В XIX веке Россия достигла «мировых стандартов» в своем языке – задача была решена, как всегда, молниеносно. Аристократия, изъяснявшаяся исключительно по-французски, освоила родную речь. Серебряный век – это персоналии, языковой Ренессанс. Бронзовый век – Совпис и Сопротивление.

Все же я не очень согласна с этой металлической иерархией.

В «черной россыпи на листе», в поющем ее голосе, человеческом и не вполне, собрано все, что составило время, от «бюста Тиберия» до «писем династии Минь» и «неповторимой перспективы Росси». Присоединившись к этому отовсюду взглянувшему прощанию, не выбиравшего, что запоминать, поэзия могла бы заглянуть за порог, где Бродский уже ничего, кроме общей черноты («будущее черно,/ но от людей, а не/ оттого что оно/ черным кажется мне») разглядеть не в силах? Вероятно, это бездна, ступить в которую среднемеханическому смертному не позволяют его микросхемы. Пора переходить на жидкие кристаллы.

1989



# Петр Ильинский

## Следы на бетоне

### История одной литературной семьи



поколение, родившееся в начале XX века и ушедшее из жизни в его конце, сыграло важную и не всегда благодарную роль в истории отечественной культуры. Людям, впрягшимся в лямку вечно уязвимых искусств и гуманитарных наук, не раз уничтожительно называвшихся *противоестественными*, выпало быть хранителями и передатчиками традиции, им пришлось не столько создавать, сколько беречь. Значение этой деятельности часто недооценивается – пагубный российский обычай подменяет всю совокупность культуры конкретными гениями, обращается к одним лишь вершинам, великим именам, безоглядно забывая о той почве, на которой названные гении выросли, и о той аудитории, к которой они обращались.

Культурный слой нации един в двух лицах – это генератор и реципиент духовных ценностей; это – общественный круг, который дает возможность гениям *появиться* и *проявиться*, и он почти в точности совпадает с частью социума, способной воспринять выдающееся произведение искусства. Культуры нет без питательной среды, если истощены силы хранителей, то она умирает. Без знатоков – не бывает художников.

Ныне уже понятно, что люди, трудившиеся на отечественной культурной ниве в 1930-1980-х гг., несмотря на тягостные, и часто опасные для жизни условия своей деятельности, сумели многого добиться. Им в заслугу можно поставить, во-первых, сохранение преемственности между классикой «золотого века» и современностью, во-вторых, неустанное прядение до предела истончившейся нити, связующей культуру российскую и мировую, и, в-третьих, воспитание нового поколения творческой интеллигенции, племени, в лучших своих проявлениях самостоятельного и совсем не провинциального.



Работали эти люди в условиях постоянного внутреннего конфликта, вынужденного и не всегда благого компромисса; в их наследии немало недоговоренностей, умолчаний, многоточий, случайных или намеренных лакун. Совокупность биографий передатчиков духовной традиции – вот подлинная российская история прошедшего столетия, по крайней мере, история культурная. Именно к этой группе персонажей с очень не общим выражением лиц мы можем с уверенностью отнести Бориса Осиповича Костелянца (1912-1999) и Рахиль Исааковну Файнберг (1913-1986).



Б.О. Костелянец и Р.И. Файнберг, 1970-е гг.

Б.О. и Р.И. (как их иногда в семейном кругу именовал зять, мой отец, и как я буду их называть на протяжении данного текста, ибо ни официальное, ни интимно-детское обращение не представляется возможным) родились до 1917 г., совсем незадолго, но все-таки достаточно для того, чтобы сохранить о тех временах хоть какую-то память, пусть, в случае Р.И., со слов ее старших братьев и сестер. Не стоит недооценивать эту малость, ведь, по замечанию Ю. Кублановского, «в свете последующего – любой предреволюционный год [был] на вес золота». Скажем здесь, что семья Р.И., в нарушение всех стереотипов, вовсе не бедствовала в полосе оседлости, и к новой власти могла относиться только определенным образом. Оба наших героя были двуязычными, с детства, как легко догадаться, владея идишем и русским. Здесь уже сказалось благотворное – пусть это не прозвучит иронически – влияние советской власти, хотя в семье Р.И., жившей в небольшом белорусском городе Борисове (в дома ее отца потом находился горком КПСС), все дети и до революции получали прекрасное

образование и говорили на многих языках. В дальнейшем идиш, по-видимому, помог Б.О. и Р.И. в изучении немецкого, которым оба прекрасно владели вплоть до преклонных лет (согласно семейным преданиям, в послевоенной Германии Б.О. принимали за своего, а правильность его речи в сочетании с советской военной формой вызывала немалое удивление).

Высшее образование наши герои получили в 1930-х гг., в Петербурге (называвшемся тогда Ленинградом), где еще теплилась старая русская гуманитарная традиция, а среди преподавателей были как старые интеллигенты, так и выдающиеся представители первой послереволюционной поросли. Напомним, что этот недолгий период был оборван сначала нарастающим валом репрессий, затем войной, а после нее – пресловутой кампанией против «космополитов», приведшей к тому, что вплоть до конца 1950-х гг. большинство выпускников гуманитарных вузов были людьми, что называется, глубоко стерильными (в чем они позже с грустью признавались). Забегая вперед, скажем, что в ходе упомянутой кампании подверглись шельмованию многие учителя Б.О. и Р.И. Не избежал удара и сам Б.О., бывший к тому моменту известным критиком. Еще до войны (с 1939 г.) он работал заведомо критики в журнале «Ленинград», до 1940 г. носившем пролетарское название «Резец» и закрытом в 1946 г. в соответствии с печально известным постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа того же года.

Дабы поступить в советское высшее учебное заведение, требовался рабочий стаж, особенно лицам с непролетарским происхождением (Р.И. вспоминала: на анкетный вопрос, чем занимался ее отец до 1917 г., она отвечала «торговлей», заранее зная, как на такое известие отреагирует приемная комиссия). Даже двух лет приобщения к пролетариату не хватало – необходимо было три. Р.И. добывала его на фабрике, Б.О. – в начальной школе на Псковщине, начиная, по его собственному признанию, уроки русского языка с подтирания носов всем своим ученикам. Безо всякой иронии заметим – возможно, именно тогда впервые проявились педагогические таланты Б.О. «Времена не выбирают, в них живут». И работают.

Середина 1930-х гг. – время учебы Б.О. и Р.И. в ЛИФЛИ (Ленинградском историко-философском лингвистическом институте), ставшем потом частью университета. Тогда они встретились, поженились, чуть позже появилась на свет их дочь Нина. Как они относились к окружающей их действительности, сказать не могу, годы военные и первые послевоенные они вспоминали гораздо чаще тридцатых. Кажется, точильные камни тридцатых их почти не затронули (уже в аспирантуре Р.И.,

руководившая литкружком, рекомендовала своим подопечным какую-то книгу, не обратив внимания на то, что вступительная статья к ней написана Л.Троцким – и за пропаганду троцкизма была исключена из аспирантуры, но потом все-таки восстановлена, можно сказать, легко отделалась). Более того, то время оказалось для Б.О. моментом вступления в литературу и вступления успешного. Здесь нельзя не рассказать историю, скупо изложенную самим Б.О. еще при советской власти, историю, которая, будучи дополнена другим автором и изложена в некоторых подробностях, оказывается яркой иллюстрацией жизни людей той эпохи.

Согласно краткой автобиографии, написанной Б.О. для официального писательского издания совсем незадолго до смерти Черненко и решительных перемен в жизни страны, «в 1937 г., студент 5-го курса, я набрался решимости и вошел в отдел критики журнала “Звезда”. Приветливый молодой человек – Лев Ильич Левин – заказал мне рецензию. Правда, когда я через месяц пришел с рукописью, *в той же комнате сидел другой, тоже молодой человек* (А.Л. Дымшиц), и рецензию мою он принял и напечатал» (курсив мой – П.И.).

Казалось бы, что здесь может быть интересного? Маститый критик и театровед вспоминает о людях, давших ему, как принято тогда было говорить, «путевку в большую литературу». Но – не только.

В 1990 г., спустя шесть лет после одобренных советской цензурой костелянцевских реминисценций, упомянутый в них Л.И. Левин выпустил книгу «Такие были времена», первая глава которой называется «Почему в той же комнате сидел другой человек». В ней критик-ветеран изложил историю своей рапповской литературной юности, которую теперь вспоминал «с величайшим стыдом» (РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей, одна из предшественниц Союза советских писателей, существовала в 1925-32 гг. и прославилась, в основном, нападками на авторов «не-пролетарских», например, М.А. Булгакова).

Когда в 1937 г. удар террора пришелся и по деятелям бывшего РАПП, Левин, ставший к тому времени заведующим отделом критики журнала «Звезда», был исключен из партии, Союза писателей (вместе с О. Берггольц) и, естественно, снят с работы. Ареста Левин избежал чудом (помогло, по-видимому, заступничество Ю. Германа, творчеству которого, по интересному совпадению, Р.И. позже посвятила одну из своих монографий).

Нет ничего удивительного в том, что тут же нашлось много людей, желавших посильнее пнуть прокаженного и тем продемонстрировать свою профессиональную пригодность и

зубодробительную лояльность. В частности, пишет Левин, «главным специалистом “по мне” стал критик А. Дымшиц», назвавший мемуариста «приспешником авербаховщины» (бывший руководитель РАПП, Л. Авербах, был к тому времени арестован и вскоре расстрелян), и далее выступивший с пленарным докладом на обсуждении книги исключенного коллеги, обвинив его в *выражении системы буржуазно-эстетских взглядов* и прочих политических грехах. «Меня, – комментирует Левин, – продолжали энергично подталкивать к находившемуся поблизости Большому дому» (так в просторечии называлось здание ленинградского ОГПУ-НКВД). Кабинет же Левина в критическом отделе «Звезды» был немедленно занят... Правильно, тем же самым Дымшицем.

В конце вступительной главы своих воспоминаний Левин объясняет ее название, отсылая читателя к уже известной нам автобиографии Б.О. Вспоминает он и их первую встречу в редакции «Звезды», говоря о том, что «в памяти – скорее даже не в памяти, а в душе – остался острый интерес к этому человеку». «Расстались мы как будто довольные друг другом», – заканчивает Левин, но тут же добавляет, что Костелянец не случайно «подчеркивает, ... что принимал и печатал рецензию не я, а *другой молодой человек, сидевший в той же комнате*» (курсив мой – П.И.). И как будто нам требуется дополнительное объяснение, вколачивает последний гвоздь: «После всего, что было рассказано выше об участии А. Дымшица в моей судьбе, становится ясен ответ на вопрос, заданный в названии этого сочинения».

Казалось бы, что еще можно сказать? Да, именно так входило в литературу поколение Б.О. и Р.И. – в лучшем случае, через бывших рапповцев, а в худшем и более частом – через их сменщиков и людей с весьма умеренными, чтобы не сказать больше, этическими ориентирами. Но с этими же самыми людьми поколение наших героев было вынуждено провести всю жизнь, и личную, и профессиональную – в архиве Б.О. и Р.И. есть письма военных и послевоенных лет и от Левина, и от Дымшица (от первого их гораздо больше – они с Б.О. сохранили дружеские отношения вплоть до конца 1990-х гг., когда один восьмидесятилетний старик жаловался другому на застой в «литературных делах»). Кстати, благодаря Левину, мы знаем, что первой печатной работой Б.О. была краткая рецензия на книгу критика Серебрянского «Советский исторический роман» («Звезда» 1937, № 6).

Итак, один критик топил другого с помощью прилюдного доноса, да не утопил до конца, и ты – так уж вышло – обязан им обоим (как, кстати, многие нынешние критики обязаны литературной судьбой самым одиозным фигурам недавнего

прошлого – см. об этом статью Ю.В. Томашевского «Жизнь после смерти, или воспоминание о будущем Михаила Зощенко»). И ты общаешься с ними обоими, даже если этого не очень хочешь. Таковы правила игры. Ведь именно такие люди правят русской литературой, от них зависят публикации, возможность найти работу. Писатель может, в самом крайнем случае, писать в стол – а критик должен жить сегодняшним днем, участвовать в литературном процессе. У него неблагодарное и уязвимое ремесло. И потому – легко ли нам судить людей тех времен?

Впрочем, в юности это делать легко. В середине 50-х гг. одна образованная девушка вдруг сказала Б.О. нечто вроде: «Я не подам вам руки, потому что Вы написали отрицательную рецензию на Платонова», – о чем он сам позже рассказал с некоторой растерянностью, добавив: «Дымшиц меня попросил – я сделал... Я не придавал этому такого большого значения». Теперь поясним: после пяти мелких заметок о разных опусах, появившихся в «Звезде» за 1937 г., именован Б. Костелянец подписана уже большая статья в разделе «Литературный дневник», появившаяся в № 1 нового 38-го года. Называется она, увы, «Фальшивый гуманизм: [О сб. рассказов А. Платонова “Река Потудань”]».



Б.О. Костелянец. Карельский фронт. 1942 г.

Никого не оправдывая и не обвиняя, замечу – написан упомянутый текст 24-летним человеком, вчерашним студентом, в конце прекрасного 1937 г. и по заказу отдела критики *толстого* журнала, только что отомкнувшего перед молодым неопитом дверь советского литературного цеха. Уж, по крайней мере,

ответственность за данное сочинение лежит совместно на авторе и его редакционном покровителе, на протяжении всей своей карьеры хорошо знавшем, когда и кого нужно своевременно выругать в печати. Добавим еще: почти ни одну статью, увидевшую свет до середины 50-х гг., Б.О. в список своих работ не включал (в отличие от иных современников).

Отметим здесь два качества, имманентно присущие юности: умение раскапывать все прегрешения старшего поколения (как узнала юная дама, родившаяся после 1938 г., о давнишней рецензии?) и способность мгновенно выносить ему суровый приговор. Что сказать? Раскапывать, конечно, нужно; стыд – это еще и ответственность прошлого перед будущим, суд потомков – почти Суд Божий. Только ни один приговор не должен быть скорым, а – взвешенным. Осудить – не значит восстановить справедливость.



Б.О. Костелянец. Карельский фронт. 1942 г.

С именем А. Дымшица связана еще одна история. Именно с его вступительной статьей, справедливо названной С.С. Аверинцевым «чудовищной», в начале 70-х был выпущен том стихов Мандельштама, единственное посмертное издание мастера вплоть до горбачевского времени. Получив эту книгу (невероятный раритет), ваш покорный слуга, пыша тем же самым юношеским негодованием (за которое ему не стыдно), в телефонном разговоре с Р.И. всласть поиздевался над означенной статьей. Р.И. терпеливо выслушала все подходящие случаю инвективы и лишь сказала, что, возможно, этот, столь осуждаемый мною человек (т.е., Дымшиц) совершил какие-то действия, давшие подобной книге возможность выйти в свет. Это, как я теперь понимаю, было чистой правдой – с одним важным дополнением. Да, сборник Мандельштама не мог выйти иначе, как, будучи прокомментирован

одобренным и проверенным (определенной организацией) персонажем. Но не понимал я еще одного – то, что столь ценная и желанная для многих по тем временам книга оказалась в моих руках, произошло благодаря интегрированности Б.О. и Р.И. в тогдашний литературный истеблишмент и – более чем вероятно – вследствие их дружеских отношений с тем же Дымшицем.



Б.О. Костелянец – майор Красной Армии. Германия. 1945 г.

Эта документальная притча приведена для подтверждения лишь одного, но чрезвычайно важного факта – жизнь поколения Б.О. и Р.И. жила на многих компромиссах и проходила по воронкам от снарядов, только что погубивших их соседей по парте или по подъезду. Ловушки и опасности никогда не исчезали, они лишь изредка меняли наружность, а часто – множились, как мухоморы после дождя. Было тяжело сделать выбор между этими компромиссами – какой ляжет на совесть тяжелее, какой легче? – и одновременно пытаться сохранить творческое и человеческое лицо, достичь хоть чего-нибудь, оставить свой след на тяжелом бетоне русской истории XX века.

Войну Б.О. прошел с самых первых дней, и уцелел во многом потому, что сразу попал на Карельский фронт. Конечно, встретиться со смертью можно было где угодно, но все же на севере не было такой страшной мясорубки, как на гигантском пространстве от Ленинграда-Петербурга до Северного Кавказа. В архиве Б.О. сохранились многочисленные письма, заметки и наброски того периода, которые еще предстоит привести в систему. Обращает внимание широта его интересов – вплоть до записей местного фольклора, включая услышанную в поезде песню о любовном треугольнике между солдатом и его женами, «военной» и «законной», с таким примечанием: «Если возникают такие песни, значит, война скоро кончится». Вчитываясь же в переписку с

коллегами-литераторами, начинаешь понимать, что длинные и подробные послания друг другу иногда писали не очень хорошо знакомые до войны люди, для которых самый факт отправления писем *кому-нибудь* стал чрезвычайно важным и которые потому очень часто стали друзьями именно по переписке.

О войне Б.О. вспоминать не любил (и никогда не обсуждал свое вступление в ряды ВКП(б) в 1942 г., хотя в советское время такая строка в биографии звучала гордо – да и сейчас звучит не так плохо). Как-то раз вдруг рассказал, что при вещании на противника через громкоговорящую установку (а немецким он владел отменно, хотя после войны пользоваться этим знанием ему пришлось нечасто) в их сторону обычно сразу летел снаряд (недолет или перелет). И вот тут надо было, не прекращая вещания, собраться и быть готовым немедленно сняться с места, ибо после второго снаряда (перелет или недолет) их брали в артиллерийскую вилку и уж третий-то снаряд... «А ведь могли и вторым попасть?» – наивно спросил я с автоматизмом безмозглой юности. Б.О. только развел руками. По-видимому, эта история относится к последним дням войны, которые Б.О. провел в составе 2-го Белорусского фронта, через громкоговоритель уговаривая противника сдаваться. Боевые действия закончились для него в Померании, недалеко от Данцига, на землях, после войны отошедших к Польше (сохранились записи Б.О. о посещении им сохранившихся немецких замков, разговорах с немецкоязычными жителями тех местностей, не желавших, к его удивлению, покидать свои родные места).

Еще одним штрихом является армейская характеристика Б.О., которую он, по собственному признанию, скопировал при демобилизации (в нарушение всевозможных правил) или попросту присвоил – документ был служебный и для глаз фигуранта не предназначался. Как-то он спросил, а что, по моему мнению, является в ней наиболее лестной его рекомендацией. Будучи человеком еще очень молодым (сказано опять-таки не в оправдание, а в объяснение), я ответил, что, наверно, упоминание о боевых наградах (орден Красной Звезды и проч.). «Нет, – сказал Б.О., – самая главная фраза – это: «Неоднократно участвовал в боях».

Р.И. говорила потом, что ранним летом 1945-го самое главное было – получить от Б.О. письмо, датированное 10 мая или позже (как будто после 9 мая никто не погибал). Оба младших брата Б.О. не вернулись домой – на ежегодных семейных застольях 9 мая, которые оттого были горьки и отмечались, по известному выражению, «со слезами на глазах», Б.О. всегда говорил, что они были лучше него.

После войны Б.О. активно включился в литературную



жизнь, его много публиковали. Вернулась из оренбургской эвакуации Р.И. с дочерью Ниной. Но вскоре идеологические гайки начали закручиваться все плотнее, всюду развернулась борьба с так называемым космополитизмом, явственно отдававшая антисемитским душком. Б.О. неодобрительно упомянули в высочайшем литературном указе, что сразу поставило его под удар. И чувствительный. В постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б) о журнале «Знамя» от 27 декабря 1948 говорилось следующее: «В статье Б. Костелянца о романе В. Пановой “Кружилиха” высмеивается правильное и естественное желание советских читателей видеть героями нашей литературы полноценных, духовно здоровых людей; литературных героев, лишенных каких-либо черт идейной неполноценности, автор презрительно именует “гладко выутюженными”».

Конечно, могло быть и хуже, но по тем временам и меньшего часто оказывалось достаточно. Легко догадаться, что Б.О. вскоре остался без работы, без публикаций (статьи в «Звезде», с которой он до этого регулярно сотрудничал, обрываются на январе 1949 г.), почти без средств к существованию, увидел свою фамилию, напечатанную с маленькой буквы, как в то время полагалось делать «с целью разоблачения». Впрочем, первый раз *кастелянцом* и «великим комбинатором земли русской» Б.О. был поименован еще на филфаке в студенческой газете, но тогда это не повлекло за собой никаких последствий. Одну из подобных статей (кажется, в журнале «Звезда» образца рубежа 1940-50-х) довелось пролистать – Б.О. любезно выдал ее мне в день своего 70-летия и потом спросил: «Ну, как? Стоит зачитать сегодня за банкетным столом?» Помимо выражений, свойственных тогдашним литературным доносам («Репутация Костелянца – дугая, пустая репутация»), стоит отметить еще один штрих – написан сей опус был одним из учеников Б.О., кем-то из его подшефных. Прав бессмертный Е. Шварц, кто-то всегда оказывается первым выпускником школы мерзавцев. Р.И. рассказывала, что спустя годы, уже в начале 60-х, учитель и ученик столкнулись в одном из писательских домов отдыха – не то в Комарове, не то в Дубултах – и что она поначалу замерла с перепугу. Ан нет – в согласии с традициями великой русской литературы доносчик и предмет доноса мило гуляли по ухоженным дорожкам пансионата и рассуждали об отвлеченных предметах. Достоевский мог бы быть доволен.

Этот период Б.О. тоже не любил вспоминать. Однако один раз его прорвало. Рассказ звучал так. Незадолго до очередной проработки, на которой Б.О. был обязан присутствовать (и слушать, как шельмуют его и его друзей), он, в целях поднятия

духа, решил навеститься в тогда еще стоявший «Англетер» и подстричься. Выйдя из парикмахерской, свежий и надушенный, Б.О. заметил стоявшего у парадной лестницы ответработника писательской организации, который, зная о подвешенном, чтобы не сказать хуже, положении Б.О., замялся и не стремился с ним поздороваться. Спустя мгновение Б.О. увидел, что ответработник переводит взгляд куда-то вверх и что лицо его выражает мучительную работу мысли. Тут же Б.О. хлопнули по плечу сзади – оказывается, это был К. Симонов, приехавший в Ленинград поучаствовать в очередном «сеансе разоблачения» и которого, естественно, был прислан встречать упомянутый работник. Симонов, будучи еще не в курсе, кого придется песочить, тут же пригласил Б.О., знакомого ему по Карельскому фронту, к себе в машину, поставив несчастного топтуна в еще более двусмысленное положение. Вот втроем они и поехали в Дом писателя на улицу Воинова (так тогда называлась Шпалерная). Подробностей последовавшего за этим заседания Б.О. не излагал, на него гораздо большее впечатление произвели автомобильные излияния Симонова, задушевно говорившего ему с известным всей стране грассированием: «Ты же понимаешь, действительно надо оздоровить атмосферу. Оздоровить!»

Восстановление Б.О. в литературе началось после смерти Сталина. Делал он это продуманно и полностью в духе времени – ступень за ступенью. И при этом навсегда отказался от печатного обсуждения современной ему литературы, точнее, прозы. Выбор был сделан, неприятный и неизбежный. С тех пор Б.О. писал только о мертвых – от них уже не могло произойти никаких сюрпризов (хотя изобретательность советской власти не знала равных). Сходные перемены произошли и с другими его коллегами – так наступил очередной тяжелый период в истории российской литературной критики, в чем-то давший начало тому безвременью, в котором отечественная литература ныне пребывает. Одна из главных проблем писательской культуры сегодняшнего дня – отсутствие ориентиров, понятия о том, «что такое хорошо, и что такое плохо». И ведь именно в этом задача критики, литературы о литературе – воспитания пусть небольшой, но влиятельной группы людей, обладающих знаниями и вкусом, не говоря уж о серьезном анализе текущей книжной продукции, призванной помочь тому или иному писателю, а не возвеличить его или принизить. Увы, за редчайшими исключениями, российская литературная критика – или панегирик, или донос, она корпоративна и ангажирована.

Уход Б.О. и его товарищей от современной прозы – лишь эпизод в грустной истории российской критики, но эпизод важный. Многие серьезные писатели, пришедшие в литературу в 60-х гг.,

чья жизненные и творческие дороги завершаются на наших глазах, часто не выросли с возрастом: ни технически, ни философски; они застряли, заблудились в сосенках своей юности, не развились адекватно собственному таланту. И в том числе, не потому ли, что были лишены критики – нормальной, вдумчивой, профессиональной, заинтересованной?

Сначала Б.О. прикрылся от возможных идеологических нападков монографией об А.С. Макаренко (педагогическое наследие которого было проштамповано печатью «Дозволено»), потом занялся русским очерком. Вслед за этим его интерес привлекло творчество Ю.Н. Тынянова, с которого только-только был снят негласный запрет. Б.О. активно участвовал в подготовке текста и примечаний однотомника тыняновского избранного, вышедшего в 1956 г. Трудностей по-прежнему хватало. Насколько можно понять из переписки Б.О., сделать больше ему тогда не дало не только некоторое отсутствие организованности (мешавшее и в дальнейшем), но и неуверенность в издательской проходимости собственной кандидатуры (многие черносотенно-литературные начальники сталинского времени оставались на своих местах и, заметим здесь, благополучно просидели на них до расцвета брежневщины).

Тем не менее, в скором времени Б.О. принимается за одну из самых известных своих работ: издание и комментирование многократно переиздававшегося тыняновского трехтомника. На это ушло не меньше трех лет. Сохранилась переписка между Б.О. и В.А. Кавериним (одновременно зятем и шурином Тынянова), относящаяся ко времени подготовки первого издания, бывшего предприятием немного деликатного свойства (о причинах этого скажем ниже). Вчитываясь в нее, можно заключить, что работа Б.О. над вступительной статьёй (или, скорее, разговоры о ней) началась в 1955 г. Книга же вышла в 1959-м. В оправдание комментатора скажем, что тогда же появился и второй его серьезный и хорошо известный труд: классический сборник стихов Ап. Григорьева в Большой серии «Библиотеки поэта». Тем не менее, ясно, что темпы работы Б.О. не всегда были удовлетворительны: в канун 1957 г. Каверин писал ему: «Вот уже и 1957-ой, а от Вас – ни слуху, ни духу... Очень прошу Вас – отпраздновав Новый Год, немедленно садитесь за стол и принимайтесь за дело. Вы должны оправдать общее мнение о Вас, как о талантливом, трудолюбивом и точном человеке» (подчеркнуто В. Кавериним).

Однако результат (правда, достигнутый только два года спустя!) оказался отменным – в феврале 1959 г. Каверин сообщил, что «дочитал Вашу статью, и мнение мое – очень хорошее – лишь утвердилось. Что сократить – не знаю». Кажется, что и по сей день

работа Б.О. является одним из наиболее значительных литературоведческих трудов, написанных о Тынянове-беллетристе (несмотря на необходимые по условиям времени цитаты из классиков марксизма-ленинизма).

Здесь надо сказать о следующем. Отношение к творчеству Тынянова у советских литературных заправил было двойное. Более традиционные по композиции и характеристике героев романы о Кюхельбекере и Пушкине приветствовались и многократно переиздавались даже в нехорошие для российской культуры годы. Совсем иные эмоции господствовали по отношению к «Восковой персоне», «Подпоручику Кижэ», «Малолетному Витушишникову» и, особенно, «Смерти Вазир-Мухтара». В последнем случае дело было, без сомнения, в непарадном образе главного героя книги, А.С. Грибоедова, не соответствовавшей господствовавшей в те годы лубочно-примитивной эстетике. Согласно ей, классика надлежало рассматривать на уровне школьного учебника литературы – и не более того. Рискнем предположить: если бы рукопись «Вазир-Мухтара» (опубликованного в 1927 г.) впервые оказалась в советском издательстве образца 1957-го или 1977-го гг., у нее было бы немного шансов на выход в свет.

Что до остальных произведений Тынянова, то недоверие к ним, казалось бы, ничем не обоснованное (в конце концов, действие там происходит при «старом режиме», а отрицательными или высмеиваемыми персонажами являются представители «эксплуататорских классов»), можно объяснить подкорковой, но точной реакцией цензоров на вечные болевые точки российской истории, указанные автором. В самом деле, что могла чувствовать душа советского литературного чиновника, читающего тексты об управляемой некомпетентными и коррумпированными людьми монструозной и жестокой государственной машине («Восковая персоне»), о самодурстве правителя и всеобщем парализующем страхе, в котором живут его подданные («Подпоручик Кижэ»), о царстве якобы всеобщего учета и контроля, опять же оборачивающихся повсеместной неуправляемостью и казнокрадством («Малолетный Витушишников»)?

Таким образом, перед Б.О., помимо литературоведческого и исторического анализа, стояла еще задача защитить и в какой-то мере отстоять упомянутые книги Тынянова (естественно, им в вину ставились огрехи не политические, а художественные), и к тому же, сделать это по правилам своей эпохи. Долгая жизнь обсуждаемой статьи свидетельствует, что комментатору это блестяще удалось. Более того, не имея возможности проводить параллели между тыняновским миром и современностью, он пытался подводить к этой мысли читателя, часто не делая никаких выводов из своих

посылоч, дабы они могли быть, если и не написаны, то *додуманы*.

Сходный прием Б.О. использовал позже и в книге «Мир поэзии драматической», посвященной анализу ряда классических и современных пьес – читатель должен был вместе с автором размышлять о разноплановых произведениях мировой драматургии, об их сценической и философской интерпретации и таким образом вырабатывать свой собственный художественный вкус. Возможно, это в немалой мере способствовало тому, что из студентов Б.О. вышло много крупных исследователей, не всегда согласных с учителем, но всегда благодарных ему.

Но до этого в конце 50-х было далеко – и никто еще не мог полагать, что Б.О. использует свое возвращение в литературоведение, чтобы очень скоро уйти из него навсегда. О каких-то событиях того времени, творческих и человеческих связях уже, к сожалению, не удастся рассказать – например, никому из близких неизвестно, что послужило поводом для двух дарственных надписей на книгах О. Берггольц (1955 и 1958 гг.), в одной из которых Б.О. назван «отцом-крестным этого двухтомника», а в другой – «товарищем по Ленинградскому фронту».

В те же годы осторожно и продуманно входит в литературоведение и Р.И. (точнее, возвращается – просто ее изъятие было не столь громким, как у более известного Б.О.; например, после десятка заметок в «Звезде» 1945-48 гг. ее следующая статья там появляется только в конце 1953 г.). Скажем здесь, что она сыграла значительную роль в тогдашних успехах Б.О. – подолгу просиживая в библиотеке и «принося в клювике» домой обильные материалы. С малых лет хорошо знакомая с белорусской литературой (она вспоминала, какое впечатление на нее в детстве произвел Андрей Александрович, бывший одним из послереволюционных зачинателей *новой словесности*, а потом проведший большую часть 1938-55 гг. на далеком севере), Р.И. отыскала свою нишу. Писала необходимые рецензии на книги, выходявшие в белорусских издательствах, затем последовал сборник «Белорусские поэты XIX – начала XX века» в «Библиотеке поэта» (1963), еще спустя десять лет там же увидел свет подготовленный ею сборник Я. Купалы.

Столь же осмотрительно и тщательно выбирала Р.И. героев для своих литературоведческих монографий: сначала К.А. Тренёва, автора популярной в 20-е годы пьесы «Любовь Яровая», потом Ю.А. Германа, преуспевающего литератора 30-60-х гг., писателя незаурядного, но до конца не осуществившегося, автора многих одобренных властями книг и одновременно человека достойного, не раз приходившего на помощь людям, над которыми уже был занесен топор НКВД-МГБ. В результате всех этих трудов Р.И.

удалось одновременно создать себе репутацию вдумчивого, аккуратного исследователя и убедить литературные власти в собственной благонадежности. И, как следствие, в 1966 г. она стала заведующей отделами критики и искусства журнала «Нева», в котором проработала почти до самой смерти.



Б.О. Костелянец-лектор. 1970-е гг.

Чуть раньше радикально меняется творческая судьба Б.О. – в 1961 г. он поступает на работу в театральный институт (как в просторечии именовался Институт театра, музыки и кинематографии, тогда ЛГИТМиК, ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства). Ради исторической точности заметим, что поступал-то Б.О. на работу именно в Ленинградский театральный институт (ставший ЛГИТМиКом год спустя, в 1962 г.)

Здесь мы подступаем к чрезвычайно важному моменту в жизненном пути Р.И., Б.О. и многих представителей того же поколения творческой интеллигенции. Те из них, кто выбрал путь сосуществования с властями, сосуществования, с одной стороны достойного (т.е., не обремененного прямым сотрудничеством с оными властями, особенно с политической полицией), но с другой стороны, связанного с неизбежными ежедневными компромиссами, в какое-то мгновение оказались, как сейчас говорят, достаточно

неплохо пристроенными. Нет, они вовсе не вознеслись в советские литературные эмпиреи, но с середины 60-х гг. вплоть до конца 80-х (смерти Р.И. и разрушения советского государства) уже не бедствовали и даже ездили в турпоездки за рубеж. Впрочем, Б.О. и Р.И. несколько раз не хотели выпускать вместе, а потом действительно прекратили давать «добро» – вдруг старики сбегут?

Возможно, причиной запрета стало то, что во время последнего визита в прекрасный Париж Б.О. и Р.И. встретились с кем-то из живших там бывших соотечественников. Разговор был явно неполитический, и, желая соблюсти все советские приличия, Б.О. и Р.И. даже взяли с собой третье лицо (дабы, кому надо, стало сразу известно, что ничего предосудительного в одной встрече не было). Не помогло – для так называемого «Иностранного отдела» они навсегда приобрели статус *non grata*.

Не забудем о том, что наши герои прекрасно знали, насколько непрочным может быть это благополучие, и о том, что компромиссы, упомянутые выше, могли быть малоприятны. Включали они и отказ от встречи с родственниками, приехавшими из Израиля (еще до Шестидневной войны), и непереносимое участие в собраниях, исключавших из партии коллег и друзей, собравшихся покинуть СССР (последнее относится к Б.О., в 70-е бывшего не просто членом КПСС, но и председателем секции критики ленинградского отделения Союза писателей). Поэтому именно в этот период жизни перед многими представителями поколения Р.И. и Б.О. с необыкновенной остротой мог встать (и, по нашему мнению, непременно вставал) вопрос: куда уходит, куда уже почти ушел бранный песок бытия, что сделали они на этой земле, как применили свои незаурядные знания и таланты?

Б.О. ответил на этот вопрос преподаванием и уходом к мировой классике: Аристотелю, Софоклу, Лессингу, Шекспиру. Его лекции и семинары помогли сформировать не одно поколение петербургских театральных режиссеров, критиков, историков. Две концептуальные монографии: «Мир поэзии драматической» и «Драма и действие» по-прежнему читаются с большим интересом и удивляют неожиданными поворотами анализа, казалось бы, досконально известных пьес. Заметим, что «Драма и действие» была в полном объеме издана учениками Б.О. через много лет после смерти учителя (желающим больше узнать о Костелянце-театроведе, можно порекомендовать предпосланные монографии статьи Н. Таршис и В. Максимова).

Такой урожай может собрать только тот, кто пашет без продыха. В театре Б.О. работал серьезно – без каких-либо скидок. Вот только одна иллюстрация. Известный ныне режиссер, Дм. Астрахан, в одном из интервью сказал дословно следующее:

«Критик критику рознь. Есть профессионалы своего дела, а есть непрофессионалы. Профессионалы помогают, помогают осмыслить себя, могут проанализировать то, к чему ты приходишь интуитивно. Я благодарен крупнейшему теоретику драмы Борису Осиповичу Костелянцу, у которого я учился в ЛГИТМиКе и который был первым критиком моих студенческих работ. Как-то я пригласил его смотреть спектакль, который я поставил по пьесам Людмилы Петрушевской, – “Чинзано” и “Лестничная клетка”. Он сказал: “Дима, дайте мне пьесу, чтобы я прочел ее до спектакля, иначе не смогу оценить вашу работу!” Вот это подход! Он к просмотру любого самодеятельного спектакля относился с полной ответственностью». От себя могу добавить, что теперь понимаю, откуда на моем столе в конце 70-х появилась машинопись пьес Петрушевской (в открытой печати их, само собой разумеется, быть не могло), произведших на автора этих строк немалое впечатление.

Для Р.И. важнейшей главой ее творческой биографии стало знакомство с соседом по дому, писателем В.В. Конецким. Дружеские отношения не мешали профессиональным (редкий случай в русской литературе). Виктор Викторович давал Р.И. читать свои новые произведения еще в рукописи, а в ответ получал возможно ту самую критику, в которой нуждается даже самый большой автор – заинтересованную, точную и деликатную. Результатом этого *со-трудничества* стала книга Р.И. «Виктор Конецкий (очерк творчества)», вышедшая в свет в 1980 г., которой оба – автор и герой – очень гордились. Напомним, что по неписанным советским законам, отнюдь не каждому писателю *полагалась* книга о себе, подобным правом обладали только литературные генералы, к которым, при всей своей народной популярности, Виктор Викторович никогда не относился.

Заметим здесь, что Р.И. прекрасно разбиралась в литературе и полностью отдавала себе отчет в том, что писатели, в силу понятных исторических причин ставшие объектами ее предыдущих работ, по меркам русской культуры – деятели второго ряда. Совсем не таким было ее отношение к Конецкому, которого она считала писателем самой высокой пробы, по любому счету.

С середины 1980-х Р.И. начинает недомогать, и уходит из жизни в 1986 г. Вскоре рушится Советский Союз, и Б.О. на пороге своего 80-летия оказывается в сложном, но не безысходном положении. То, что он почти до самой своей смерти продолжал активно работать (последняя книга «Свобода и зло: самоочищение и пресечения зла силой», посвященная новому прочтению «Короля Лира», вышла в 1999 г.), есть сумма усилий нескольких людей, из которых необходимо упомянуть вторую жену Б.О., Нину Павловну Снеткову.



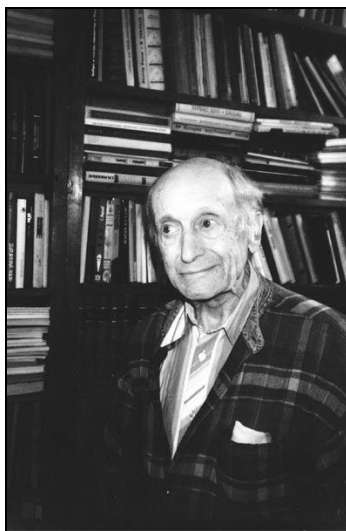
Жили старики непросто. Во время 1990-х деньги в их семью поступали от дочери Б.О. и Р.И., Нины, из ЛГИТМиКа, продолжавшего выступать в качестве работодателя Б.О., а то и вовсе анекдотическим способом, впрочем, свидетельствовавшим о том, что страна несколько изменилась. По рассказу Нины Павловны, один раз Б.О. уговорил ее зайти в книжный магазин. Она возражала («Денег-то все равно нет»), но потом согласилась (Б.О. очень упрашивал: «Теперь *такие* книги издают»). Очень быстро они разглядели на полке трехтомник Тынянова. «Смотрите, Б.О., – сказала Нина Павловна (они всегда говорили между собой на «вы»), – совсем как тот, что вы делали». Они взяли в руки книгу – это, как легко догадаться, был чистой воды репринт издания 1959 г. Выпустившее книгу издательство было петербургским – Нина Павловна отправилась за гонораром. «А что, он еще жив?» – удивились в издательстве, но по предъявлению документов, выдали вполне осмысленную сумму. Заодно Нина Павловна (наведшая до того некоторые справки) получила деньги, причитавшиеся ей, как переводчице, за подобное же переиздание одного из романов Ж. Санд. В те годы труды пионерки-феминистки уходили хлёстко. «Думала ли я, – не раз повторяла недавно покинувшая этот мир Нина Павловна, – что подобная чушь будет нас кормить на старости лет».

«Ах, как нехорошо, – для видимости сокрушался Б.О., – переиздавать без малейших поправок книгу, где на первой странице написано: «Теперь, когда прошло более пятнадцати лет после смерти Тынянова...» – но в душе был, кажется, доволен.

Легенды доносят суждения о желчности Б.О., о том, как он мог одним словом припечатать не понравившуюся ему литературную или театральную работу (и навсегда испортить отношения с ее автором). Но, может быть, важнее, что он мог взахлёб – и годами – рассказывать о творческом событии, произведшем на него впечатление, будь то И. Ильинский в мейерхольдовском «Лесе», В. Зускин в михоэлсовском «Лире» или знаменитый первый публичный концерт Б. Окуджавы в московском Доме Кино. Подобные оценки Б.О. очень ценились современниками, и не только современниками. В недавней работе исследовательницы М. Гурьяновой о прозе А. Битова (2007) есть такой фрагмент: «Битов показался необычен и читателям старшего поколения. По замечанию Е. Кумпан (сокурсница Битова, поэтесса), Б. О. Костелянец — один из неофициальных литературных патриархов тех лет — в 1969 г. поделился с ней следующим открытием: «Я вчера читал Битова, утром я принес его из “Лавки” и сел читать. К вечеру кончил, перевернул снова первую страницу... и ночью перечитал еще раз». Не всех, не всех

ругал Б.О., будем к нему справедливы.

Время продолжает играть с нами в странные игры. В середине 80-х гг. один из знакомых внучки Б.О., Анны, образованный молодой человек, в светском разговоре неожиданно спросил, а как Б.О. относится к персонажу по имени Эльсберг. «Отрицательно!» – мгновенно ответил Б.О., а после некоторого афронта, образовавшегося в связи с тем, что отец одного молодого человека, был, оказывается, обязан данному Эльсбергу чуть ли не своим духовным формированием, объяснил – уже в кругу своих: Эльсберг был доносчиком и кто-то, вернувшись в 50-х гг. из лагерей, дал ему публичную пощечину. «Как же я мог сказать что-то иное!» – оправдывался Б.О.



Б.О. Костелянец. На пороге вечности. 1999 г.

Вскоре наступило новое время, на свет всплыли разные воспоминания, документы, и выяснилось, что Эльсберг, человек, судя по всему, культурный и незаурядный, действительно был доносчиком на протяжении многих десятилетий, посадил уйму людей и, более того, стал единственным человеком в хрущевскую эпоху, исключенным за это из Союза писателей (впрочем, временно).

Б.О. уже не было на свете, когда в одном из книжных магазинов я увидел старую книгу стихов Ап. Григорьева, тот самый известный комментаторский труд Б.О., о котором кратко упоминалось выше. И вскоре уносил ее, что называется, прижав к

сердцу. На титульной странице стояло: «Уважаемому Якову Ефимовичу Эльсбергу от составителя этой книги и автора примечаний тож. Б. Костелянец». Даты нет (нарушение этикета – не потому ли, что книга дарилась по обязанности – но все-таки дарилась). Книга вышла в свет в конце 1959 г., нашлась и благодарственная открытка, тогда же посланная Эльсбергом в Ленинград. А когда Эльсберга исключили за доноительство? В декабре 1961-го. Но было ли все это приятно Б.О.? Да, конечно, полагалось преподносить подобную книгу высокопоставленным критикам – *noblesse oblige*, а Эльсберг был тогда профессором Института мировой литературы, специалистом по XIX в., лицом важным. Кому же все-таки Б.О. так быстро сказал «отрицательно!» – нам, самому ли себе, своему времени?

Поколение старших и младших современников революции, людей, переживших голод и террор 30-х, войну, послевоенную мерзость, короткий вздох рубежа 50-60-х гг., почти двадцатилетнее безвременье позднего коммунизма, завершившееся колоссальным социальным коллапсом и почти полным разрушением российской государственности – это поколение нас покинуло или почти покинуло. Каков будет его след в культуре, в истории – что за приговор вынесет ему надменный потомок? Помимо великой военной победы, что оставили нам эти люди, особенно те, кому была дарована долгая жизнь, кто сумел уцелеть между жерновами эпохи? И какой урок они нам передали в наследство?

2010-2012



# Александр Лейзерович

## Сто рож серебряного века

### Окололитературное расследование



1917 году, как значится на титульном листе, в руководимом Горьким и Бенуа издательстве детской книги *ПАРУСЪ* вышел *Сборникъ ЕЛКА* - “книжка для маленькихъ дѣтей, составили Александръ Бенуа и К. Чуковский”. На самом деле, всё было несколько сложнее – сборник этот, но под другим названием - *РАДУГА*, действительно, должен был выйти ещё весной 1917 года, но из-за известных политических событий и связанных с этим дефицита бумаги и крайней загруженности типографий издание застопорилось, и книжка вышла только в январе следующего, 1918, года. По зимнему времени, “летнее” название *Радуга* оказалось неуместным и его заменили на “зимнее” – *Ёлка*, а старое название через несколько лет пригодилось активному участнику сборника Саше Чёрному, когда он уже в эмиграции, в 1922 году, под этим названием – *Радуга* - выпустил замечательную, образцовую и посегодня, антологию русской поэзии для детей.

Новое название книги потребовало замены обложки и титульного листа, которые были сделаны молодым тогда художником Владимиром Лебедевым, впоследствии прославившемся великолепными иллюстрациями к детским книгам (прежде всего, стихам Маршака - «Живая азбука», «Цирк», «Мороженое», «Багаж», «Усатый-полосатый», «Сказка о глупом мышонке», «Хороший день» и другие), а также прекрасной станковой графикой. Но до этого он был одним из основателей петроградских Окон РОСТА, а в конце 1910-х годов увлекался кубизмом. В статье 1928 года, посвящённой его творчеству, искусствовед Николай Пунин писал, что “с первого своего выступления Лебедев обратил на себя внимание тех, которые в те трудные времена могли ещё интересоваться искусством. Внешняя близость художника к кубизму,.. закрывала от нас истинный смысл его исканий, и Лебедев был оценен преимущественно с формальной стороны. Сейчас даже в кубистических его работах мы

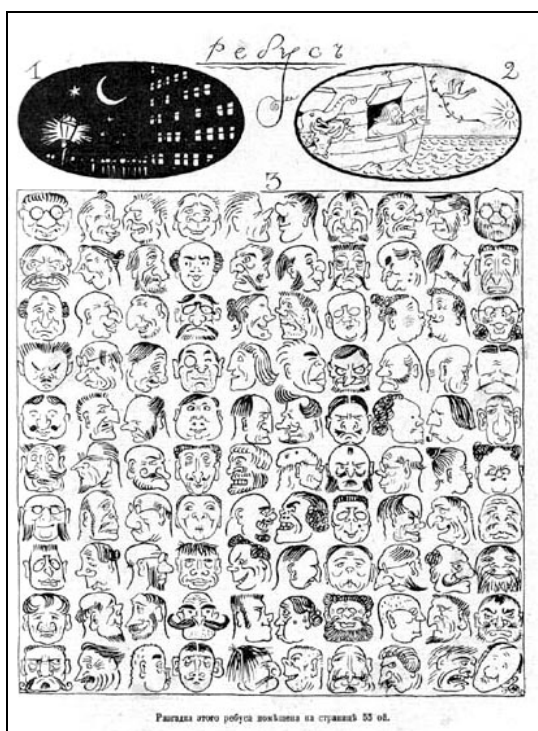
улавливаем живую эмоциональность, совсем не свойственную кубизму.” Глядя на обложку *Ёлки* работы Вл. Лебедева и его резкие, шаржированные иллюстрации к стихам, помещённым в сборнике, очень трудно себе представить будущую эволюцию художника.



Отсрочка выхода книги привела и к тому, что из неё выпала сказка Чуковского «Крокодил», первоначально предназначавшаяся для этого сборника. «Крокодил», обозначивший, по сути дела, новую эпоху русской поэзии для детей, был сначала напечатан в журнальчике *Для детей* за 1917 год, а затем, уже в 1918 году, был выпущен издательством Петросовета с иллюстрациями художника Ре-Ми (Николая Ремизова). Но и без «Крокодила» в книге было немало интересного: Горький дал для сборника сказку «Самовар» и пересказ русской народной сказки про Иванушку-дурачка; Чуковский пересказал английскую сказку про Джека Победителя Великанов и норвежскую – «Про глупого царя»; Саша Чёрный дал рассказ «Домик в саду» и стихотворение «Трубочист»; в сборнике были также сказки Е. Любавиной и К. Богуславской, рассказ гр. Алексея Н. Толстого, стихи В. Брюсова, Вл. Ходасевича, М. Моравской, С. Дубновой и Н. Венгерова. В оформлении книги, помимо Вл. Лебедева, приняли участие художники Александр Бенуа, С. Чехонин, Ю. Анненков, Валентина Ходасевич, А. Радаков, Ив. Пуни, В. Замирайло, Б. Попов; Горькому удалось заполучить для сборника и акварельный рисунок И.Е. Репина. Но, пожалуй, самым необычным вкладом в изобразительную часть издания был ребус-шарада Мстислава Добужинского.

На странице 55 книги была дана его разгадка: “Ноч(ь)-Ной

Сто-рож” с рисунком сердитого дядьки в тулупе, валенках, рукавицах, обмотанного шарфом, с фонарём, палкой и ключом на кушаке.. Третьей частью шарады явился групповой шарж на сто деятелей современной русской культуры - “сто рож” Серебряного века. При этом совершенно непонятно, зачем этот шарж понадобился в “книжке для маленьких детей”. Правда, рассказывая о редактировании сборника Горьким, Корней Иванович Чуковский вспоминал, “как весело <тот> смеялся, когда художник Добужинский, который должен был нарисовать для ребуса сотню карикатурных человеческих лиц, нарисовал карикатуры на разных тогдашних общественных деятелей - и раньше всего на самого Горького. Хотя этот юмор был, так сказать, домашнего свойства и не предназначался для малолетних читателей, Горький любил культивировать его в нашей работе, дабы создать атмосферу веселья, которая, по мнению Алексея Максимовича, была нужна для творцов детской книги”.



При знакомстве с шаржем немедленно возникает настойчивое желание попытаться расшифровать его,

идентифицировать изображенные персонажи. С первого взгляда узнаются Горький, Чуковский, Станиславский, Алексей Н. Толстой. С другими – хуже, мы не знаем их в лицо или, по крайней мере, плохо представляем себе, как они воспринимались современниками, какие особые приметы, какое выражение лица акцентировались, распознавались в первую очередь. Оказывается, что восприятие шаржа, карикатуры требует знания сложившегося стереотипа, имиджа объекта. Вполне возможно, что американцы могли бы и не узнать Трумэна или Даллеса на карикатурах Кукрыниксов или Ефимова, которые советским людям были абсолютно понятны. Точно также и мы сегодня не всегда оказываемся способны распознать на страницах современных американских газет шаржи на Обаму или Буша, поскольку наше впечатление о них не всегда совпадает с представлением коренных американцев, да и привычные нам и им стереотипы шаржа, карикатуры, комикса оказываются существенно различны. То же, кстати, во многом относится и к литературной пародии – она отражает не только реальные индивидуальные черты пародируемого произведения, но и его восприятие читателями.

На шарже Добужинского во втором ряду снизу, вторым справа от середины (или, лучше, - седьмым слева в девятом ряду сверху, то есть – 87-м), по-видимому, изображён литературный и театральный критик, беллетрист Александр Алексеевич Измайлов. В 1910 году он выпустил сборник пародий на современных ему русских поэтов, назвав его «Кривое зеркало», - “лучшее, что, может быть, он написал за свою жизнь”, как пишет в книге «В школе остроумия» Николай Николаевич Евреинов – он тоже изображён на групповом шарже Добужинского - 35-м (пятым слева в четвёртом ряду сверху, затылком к Станиславскому). “Связанный узами дружбы с Холмской и Кугелем, Измайлов великодушно предложил воспользоваться названием его книги – «Кривое зеркало» - для открываемого ими театра, - продолжает Евреинов, который стал главным режиссёром и художественным руководителем этого театра. - Говоря по правде, «великодушие» Измайлова вытекало тут из очевидного недоразумения. Почтенный критик, очевидно, забыл или упустил из виду, что до него название «Кривого зеркала» было дано Антоном Павловичем Чеховым одному из его ранних рассказов”.

Суть этого рассказа заключается в следующем. Супружеская пара, в коей жена, мягко говоря, не отличалась красотой, навещает мужнино родовое поместье, где на стене гостиной висит портрет прабабушки, страшно уродливой старухи, и большое зеркало. Муж говорит, что прабабка смотрелась в зеркало дни и ночи и даже завещала положить его с собой в гроб.

Не исполнили её желания только потому, что зеркало в гроб не влезало. Муж заглядывает в зеркало, видит там своё кривое изображение и пожимает плечами – “Ну и вкус был у прабабки!” Когда жена заглянула в зеркало, то сначала упала в обморок от неожиданности, а придя в себя, “захохотала от счастья”, поцеловала зеркало и затем всю жизнь смотрелась в него, “полная блаженства и восторга”. Оказалось, что кривое зеркало, искажая черты лица, делало красавца уродом, но и уродину красавицей.

Еврейнов комментирует: “Этот рассказ полезно прочесть всякому, кто хочет на примере постичь, что такое художественная пародия и каким путём она из отрицательных черт предмета создаёт положительное произведение искусства, творя из уродства своеобразную красоту”.

Притча очень лестная для пародистов, и неудивительно, что еврейновский театр, ставший преимущественно театром пародии и эксцентрики, с удовольствием принял название «Кривое зеркало». Оно привилось и, можно сказать, “прилипло” к самому жанру пародии. Сегодня уже кажется как бы само собой разумеющимся, что пародия – это именно **кривое** зеркало. Правда, при этом стоило бы держать в памяти и сказку Андерсена «Снежная королева», в преамбуле которой рассказывается о разбившемся кривом зеркале троллей, осколки которого, если попадают в глаз человеку, заставляют его видеть всё вокруг уродливым и искажённым. И в обыденном восприятии слово “пародия” зачастую носит исключительно негативный оттенок, становится чуть ли не синонимом слова “пасквиль”. Или наоборот – злобный пасквиль часто именуется вполне нейтральным словом “пародия”. На самом же деле, пародия, как и шарж, может быть и знаком признания, а пародирование, как и шаржирование, – глубоким проникновением в суть пародируемого произведения или шаржируемого человека. Вспомним знаменитый эпитаф к гоголевскому «Ревизору»: “Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!” Но если зеркало заведомо криво, то справедливо будет сказать - “Неча на рожу пенять...”

С другой стороны, правда и то, что второй (после «Кривого зеркала») сборник пародий Измайлова, вышедший в 1915 году, носил не менее ёмкое и выразительное название – «Осиновый кол».

Вспоминая о работе над книгой *Радуга*, впоследствии переименованной в *Ёлку*, Чуковский писал о шарже Добужинского: “Портрет Горького - пятый в самом верхнем ряду. Тут же даны шаржи на Станиславского, Алексея Толстого, Игоря Грабаря, Федора Соллогуба, Билибина, на меня и многих других” (К. Чуковский “Об одной забытой детской книге” - *Детская литература*, 1940, № 1/2, стр. 60).



Укажем тех, кого удаётся идентифицировать с достаточной уверенностью. Левый крайний в верхнем ряду (№ 1) – издатель Зиновий Гржебин; № 5, как уже было сказано, - Максим Горький; № 6 – Корней Чуковский; № 10 – художник Александр Бенуа. Номер 13 (третий слева во втором ряду) – похоже на писателя Дмитрия Мережковского; тогда можно было бы ожидать, что № 12 (затылком к нему) – его жена, поэтесса Зинаида Гиппиус, но это изображение как-то плохо вяжется с нашими привычными представлениями о её внешности и манерах, основанными на льстивых в большинстве своём портретах и фотографиях... А может быть, именно этот шарж, на самом-то деле, ближе к истине? Номер 14 – по-видимому, поэт Андрей Белый (Борис Бугаев), хотя для нас более привычны его ранние фотографии начала века – молодого, худого, с усами и вдохновенными кудрями на голове, или более поздние изображения – 1930-х годов с совершенно иным – трагически-рассеянным - выражением лица. В третьем ряду: № 26 – Фёдор Шаляпин, при том что вряд ли кто из сегодняшних почитателей его таланта представляет его себе в таком виде. За ним, № 27, - художник и искусствовед Игорь Грабарь, и далее (№ 28) – писательница и фельетонистка Тэффи (Надежда Лохвицкая, по мужу – Бучинская). Номер 31 – писатель Алексей Ремизов; № 35 – вышеупоминавшийся режиссёр, театральный деятель Николай Евреинов и рядом с ним (№ 36) – Константин Станиславский. Номер 45 – очень похоже на литературного критика, историка культуры Акима Вольнского (Хаима Флексера). Под номерами 48 и 49, нос к носу, - поэт Константин Бальмонт и писатель граф Алексей Н. Толстой. Через ряд, № 67 – издатель журнала «Сатирикон» (впоследствии – «Новый Сатирикон»), писатель-сатирик и юморист Аркадий Аверченко. Номер 71 – не совсем понятно, каким образом затесавшийся в эту компанию, министр юстиции и Председатель Временного правительства, а до революции – известный адвокат Александр Керенский. Других политических деятелей среди персонажей Добужинского, вроде бы, не наблюдается, а жаль. Рядом с Керенским (№ 72) – детская поэтесса Поликсена Соловьёва, печатавшаяся под псевдонимом Allegro. В следующем ряду, № 86 – художница Анна Остроумова-Лебедева, а за ней (№ 87) – критик и пародист Александр Измайлов, хотя не исключено, что это драматург Александр Амфитеатров. В последнем ряду: № 92 – поэт Саша Чёрный, № 93 – юморист Аркадий Бухов и, сразу за ним, № 94 – поэт Николай Гумилёв; № 98 – пародист Евгений Венский, и самым последним (№ 100), немного наискосок, как подпись, - автошарж художника Мстислава Добужинского. Кстати, очень похожие автошарж и шарж на Игоря Грабаря были сделаны Добужинским в 1909 году и

удостоверены подписями “Это я (Грабарь). Это я (Добужинский)” и ниже “И.Гр. М.До.” (РГАЛИ, фонд 1900, ед. хр. 134).

В статье “Об одной забытой детской книге” в качестве персонажей шаржа Добужинского, кроме Горького, Станиславского, Толстого, Грабаря, Сологуба и самого себя, Чуковский упоминает также Гржебина, Бальмонта, Евреинова, Шаляпина, самого Добужинского, но ещё - актрису МХТ и жену Станиславского Марию Лилину, театрального режиссёра Всеволода Мейерхольда, художников Ивана Билибина и Константина Сомова. Билибин, возможно, изображён Добужинским под номером 19, а рядом с ним (№ 20) – единственный, кто хоть отдалённо напоминает характерную внешность Мейерхольда, хотя на всех более поздних шаржах советского времени он обычно изображался в профиль. Ни Лилину, ни Сомова идентифицировать пока не удалось.

С просьбой о помощи в расшифровке шаржа Добужинского я обратился через знакомых, по интернету, в московский Литературный музей, полагая, что уж его сотрудникам, как говорится, “все карты в руки”. В полученном мной ответе, составленном, судя по лексике и стилистике, по-видимому, каким-то студентом-практикантом со слов работника музея, от имени которого ответ был послан, в основном подтверждалась предложенная мной идентификация (при этом, правда, нумерация в ряде случаев была безбожно перепутана), но также сделан и ряд дополнений. Так, первый в третьем ряду (№ 21) – поэт Вячеслав Иванов; № 52 – поэт Валерий Брюсов (я поначалу предполагал, что портрет Брюсова дан под номером 19); последний в следующем ряду (№ 70) – писатель Александр Серафимович, будущий классик соцреализма («Железный поток»), единственным домом на улице имени которого в Москве станет знаменитый “Дом на набережной”. Профили № 39 и № 56 атрибутированы как принадлежащие поэтам Михаилу Кузьмину и Владиславу Ходасевичу, хотя, на мой взгляд, здесь они уж слишком непохожи на свои известные изображения того времени. Вместе с тем, некоторые из высказанных предположений мне кажутся совершенно неприемлемыми. Так, № 35 предлагается рассматривать как изображение Александра Блока, а № 84 – Василия Немировича-Данченко, известного журналиста, брата со-основателя Художественного театра, хотя известно, что тот, как и брат, носил окладистую бороду, а не унтер-офицерские усы. Сомнительным мне кажется и идентификация Александра Бенуа под № 73, тогда как № 10, предполагается, изображает поэта Фёдора Сологуба.

С вопросами, относящимися к истории издания книги *Ёлка*

и размещения в нём шаржа Добужинского, я обратился также по интернету в фонд друзей семьи Чуковских. Спустя некоторое время я получил очень милый и доброжелательный ответ с подробными ссылками на вышепроцитированную статью Чуковского “Об одной забытой детской книге” и воспоминания Корнея Ивановича, а также со следующим извинением: “Простите, что долго не отвечали на Ваше письмо. Наше молчание объясняется просто, не будучи в силах самостоятельно ответить на Ваш второй вопрос об отдельных героях шаржа, мы обратились за помощью к некоторым знакомым нам литературоведам, специалистам по Серебряному веку. К сожалению, наши беседы не принесли желаемого результата. Знать литературу эпохи не то же самое, что знать эпоху в лицо, поэтому с узнаванием персонажей мы Вам вряд ли поможем, разве только советом обратиться к архиву Добужинского если у Вас есть такая возможность. Однако даже публикаторы воспоминаний Добужинского в «Литературных памятниках», которые, как известно, очень хорошо, научно прокомментированы, не подписали имён моделей шаржа”.

В архиве Добужинского дополнительных разъяснений найти не удалось. В заключение остаётся только повторить мудрое замечание моей корреспондентки: “Знать литературу эпохи не то же самое, что знать эпоху в лицо”. Это очень верно.



## Леонид Столович

### Моисей советской эстетики

#### Памяти Моисея Кагана\*



лова, вынесенные в заголовок этого очерка, принадлежат грузинскому скульптору *Морису Талаквадзе*. Так лучший в 60-е годы тамада Тбилиси назвал **Моисея Самойловича Кагана**, приехавшего в октябре 1965 года на первый в СССР симпозиум по проблеме ценности. Это был особый симпозиум. До этого времени понятие «ценность» не имело легального статуса в марксистско-ленинской философии. Философские словари определяли это понятие как «не наше» – буржуазное и идеалистическое. Командующие философским фронтом считали тех, кто смел употреблять это понятие, «неокантианской ревизией марксизма». Даже молодые в то время и, несомненно, талантливые философы, работавшие в Институте философии АН СССР, остроумно третировавшие свое начальство в стенной газете Института, также в основном были противниками «теории ценностей». Московской атаке на теорию ценности «с правого» и «с левого фланга» противостояли организаторы симпозиума – грузины и ленинградцы вместе с «примкнувшими к ним» москвичом А.В. Гулыгой и автором этих строк, вынужденным покинуть родной Ленинград во время «дела врачей», не имея никакого отношения к медицине. Моисей Самойлович был в первых рядах борцов за философскую теорию ценности. Его теоретические и бойцовские качества сыграли большую роль в том, что теория ценности получила права гражданства в советской философии, несмотря на сопротивление философских динозавров, которые начали постепенно вымирать.

Такого рода эпизодов в жизни Кагана было множество. Он всегда отстаивал наиболее перспективные воззрения,

---

\* Опубликовано в издании: «ОКНА» – еженедельное приложение к газете «Вести» (Тель-Авив), 11.04.2006, с. 46-47, 50. Печатается с некоторыми дополнениями.

противостоящие официозной косности. От курса «Теория искусства», который он начал читать в 1946 году, будучи еще аспирантом, на искусствоведческом отделении Ленинградского университета, он перешел к забытой в Советском Союзе эстетике и стал одним из тех, кто возродил эстетику в стране «победившего социализма» (точнее было бы сказать «в стране победившей социализм»: Советский Союз действительно *победил* социализм, полностью дискредитируя этот некогда гуманистический идеал).

Определение Моисея Кагана как «Моисея советской эстетики» у одного современного журналиста вызвал такую интерпретацию уже с высот постсоветской действительности: «Это что, тот человек, который 40 лет по пустыне водил советскую эстетику?». Этому риторическому вопросу нельзя отказать в остроумии. Но я бы, продолжая этот образ, сказал, что Моисей Каган через пустыню вел все-таки советскую эстетику к Земле Обетованной, на которой она уже могла существовать и развиваться без постоянного эпитета «советская».



Моисей Каган, Леонид Столович  
Тбилиси, сентябрь 1965

Ведь Каган не только возрождал эстетику в стране, в которой с 1937 г. не выходила ни одна книга по эстетике. Он создал и разработал оригинальные эстетические концепции, основанные на тщательно им изученной истории эстетических учений, на богатейшем материале самого искусства, осмысленного в историческом и современном развитии. Свои эстетические воззрения он оттачивал в острых дискуссиях, благо сфера теоретической эстетики с середины 50-х годов не столь жестко регламентировалась господствующей идеологией как область

исторического материализма и политической экономии. Книга М.Кагана «Лекции по марксистско-ленинской эстетике», систематически и системно охватывающая все проблемы эстетики, изданная в середине 60-х годов, переизданная в доработанном виде в 1971 г., переведенная на многие языки, в течение двух десятилетий являлась лучшим учебным пособием для изучающих эстетику. Когда вышел немецкий перевод этой книги как в Восточном Берлине, так и в Мюнхене, западногерманская печать писала о том, что появилась марксистская эстетика с человеческим лицом. Книга М. Кагана «Морфология искусства» (1972) без преувеличения – один из классических трудов мировой эстетической мысли. Его книга «Эстетика как философская наука» (1997) – полувековой итог одного из крупнейших эстетиков не только своего отечества.

Но М.С. Каган участвовал в возрождении и других философских дисциплин. Логика философско-научного исследования вывела М. Кагана к проблемам человеческой деятельности и общения, культурологии и теории ценности. Его книги «Человеческая деятельность» (1974), «Мир общения» (1988), «Философия культуры» (1996) – важные вехи в создании на одной шестой земной поверхности философской антропологии и культурологии. Известный петербургский философ и культуролог А.С. Кармин в книге-учебнике «Основы культурологии. Морфология культуры» выделяет пять теорий культурно-исторического процесса: Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина и М. Кагана («Культура как саморазвивающаяся система»).

Нельзя не отметить, что разработка проблем эстетики и искусствознания, культурологии и теории ценности, самой философии осуществлялась М. Каганом на прочном методологическом фундаменте разработки системного подхода к гуманитарному знанию, а также на применении достижений такой передовой научной парадигмы, как синергетика. Он мужественно противостоял обвинениям в субъективизме и ревизионизме, опасностям лишиться работы в университете в эпоху борьбы с генетикой и кибернетикой, структурализмом и модернизмом, космополитизмом и сионизмом. Он не менял свои убеждения ни в ту эпоху, ни в ее сменившее время с легкостью флюгера, как это, увы, нередко наблюдается. Но внутреннее саморазвитие его философских, эстетических и культурологических воззрений, его интерес ко всему новому могла прервать только смерть, непрошенным гостем явившаяся 10 февраля 2006 года. В мае ему было бы 85.

Не знавшие его люди могут сказать: «Что ж тут

особенного. Возраст за 80 – значительно превышает средний уровень смертности мужчин в Российской Федерации». Но дело не в возрасте. От нас ушел не немощный старец, а человек в полном расцвете творческих сил. Это поразительно, как танец восьмидесятилетней Майи Плисецкой. Творческая активность Кагана и в его молодые его годы была необычайной. Но когда ему было уже за 70, почти каждый год появлялась его новая книга, а порой и не одна: «Философия культуры» (1996), «Град Петров в истории русской культуры» (1996), «Музыка в мире искусств» (1996), «Эстетика как философская наука» (1997), «Философская теория ценности» (1997), «О времени и о себе» (1998), «История культуры Петербурга» (2000), «Се человек... Жизнь смерть и бессмертие в “волшебном зеркале“ изобразительного искусства» (2003). И всё это не только свидетельства удивительной продуктивности и широты интересов автора, но и интеллектуальной глубины проникновения в сложнейшие многообразные гуманитарные проблемы. Особого внимания достоин двухтомный труд «Введение в историю мировой культуры» (2001; второе издание – 2003), в котором автор впервые отважился представить историю мировой культуры как единомногообразный процесс.

Вне этого перечисления осталось множество статей в различных академических и неакадемических изданиях, в сборниках, многие из которых собирал и редактировал сам М. Каган. А сколько было участия в конференциях и конгрессах, не говоря уже о том, что в самом петербургском университете чтение лекций прервалось только тяжелой болезнью за полгода до его кончины! Могу свидетельствовать, что даже смертельная болезнь Кагана не нарушила его поразительного «акмэ» – того, что древние греки называли расцветом творческой деятельности. Уже будучи не излечимо болен, М.С. готовил к выходу свою философскую книгу о бытии и небытии, подготовил свое собрание сочинений в семи томах. Он успел увидеть сигнальный экземпляр первого тома. Во время нашего предпоследнего телефонного разговора он, заглушая боли, рассказывал мне о содержании каждого из семи томов... Будем надеяться, что это собрание вскоре увидит свет. Оно будет итогом того, что пытливые старшеклассники и студенты, начинающие свою научную работу исследователи и маститые его коллеги, деятели искусства и писатели с неослабевающим интересом читали и изучали в многочисленных статьях, и многих книгах, не только расширяя свой кругозор, но включаясь в процесс творческого мышления. Этим были замечательны и его незабываемые лекции.

Как то я его спросил: «Мика, в чем секрет твоих лекций?».

Он улыбнулся и сказал: «Знаешь, во время лекции нужно думать. Глядишь, и слушатель начинает думать вместе с тобой». За всю свою жизнь я не видел и не слушал более блестящего лектора. К тому же он был необычайно элегантен. Когда я впервые слушал его курс эстетики и истории эстетических учений в 1948 году, я, как и все студенты, был в полном восхищении не только от того, что он говорил, но и от него самого. Мне казалось, что он даже как-то «пижонски» держит свою левую руку. Только потом я узнал, что студентом университета в 1941 он пошел на фронт и получил тяжелое ранение. Он умел даже раненую руку держать так красиво! Лекции по эстетике читал действительно эстетически совершенный человек.

Нужно иметь в виду, что в своей философско-творческой и педагогической деятельности М. Кагану приходилось преодолевать сопротивление не только «материала», но и власть имущих в партии, в идеологии, в искусстве. Ох, не любили они его! Спрашивается, за что? Было за что! Ну, во-первых, очень не нравились им и его имя, и его отчество, и его фамилия. Очень уж всё это было демонстративно. Не нравилось то, что русским языком, «великим и могучим», как письменным, так и устным, он владеет несравненно лучше, чем они. Не могло понравиться и то, что Маркса, Энгельса и Ленина он знает основательнее, чем они, да к тому же стремится в духе ихнего талмудизма делать из их высказываний выводы, несовместимые с генеральной линией на данном этапе. Не по душе был им его тонкий и широкий художественный вкус, выходявший за рамки поощряемого партией искусства. Не нравилось, что он вообще что-то много знает, много пишет и издает, несмотря на все препоны, что он читает лекции, на которые, что называется, не протолкнуться. Притом, пишет и говорит не то и не так, как бы они хотели. То Каган подвергает критике сакраментальную формулу о «национальной форме и социалистическом содержании советской культуры», то смеет заявлять, что не понимает зачем нужна в России Академия Художеств: «Зачем Академия Художеств была нужна Екатерине Второй, я понимаю. Зачем она была нужна Сталину, я тоже понимаю. Но зачем она нужна сейчас, я не понимаю». Вот бы посмотреть его досье в Большом Доме (этот Дом называли самым высоким в Питере, потому что с высоты Исаакиевского собора можно было обозреть панораму города, а из Большом Дома была видна Сибирь)! Сколько, наверно, там записано со слов информаторов действительно ценной информации о том, что писал и говорил М.С.!

И они ему мстили за его талант ученого и лектора. Сколько раз его пытались изгнать из университета, в котором он начал



учиться на филологическом факультете до войны, получил «академический отпуск», будучи на фронте, и закончил уже после войны, где он, будучи в искусствоведческой аспирантуре, в 1946 г. начал читать лекции, защитил первую диссертацию и успешно работал долгие годы. Когда я учился на философском факультете с 1947 по 1952 год, эстетику там читать было, собственно говоря, некому. Положенный по программе курс эстетики была sinecurой заведующего отделом литературы и искусства Ленинградского Обкома партии П.Л. Иванова, которого ненавидели все талантливые деятели литературы и искусства города на Неве. Лекции его были никакими. И я, уже на первом курсе «заболев» эстетикой, начал аккуратно посещать все лекции Кагана на искусствоведческом отделении исторического факультета. О своем впечатлении от этих лекций уже шла речь выше.

В эти годы вход на философский факультет для Кагана был закрыт наглухо, возможно, к счастью для него. Там запретили читать лекции студентам-философам по физике профессору Г.С. Кватеру за то, что он как-то сказал на лекции, что закон всемирного тяготения действует в Москве так же, как в Лондоне. Кагана пригласили на философский факультет только в 1960-ом, «оттепельном» году. Но показательно, *как* пригласили. На философских факультетах страны создавались и кафедры этики, и кафедры эстетики. Две отдельных кафедры этих дисциплин были созданы в Московском университете. Но в Ленинграде Министерство Высшего образования организовало одну кафедру – кафедру этики и эстетики, разумеется, с постоянным эпитетом «марксистско-ленинской». К чему бы это? Ларчик открывался просто. Если была бы создана отдельная кафедра эстетики, то ее заведующим нельзя было бы не назначить Кагана, который очевидно был крупнейшим эстетиком Ленинграда (и не только). Однако допустить это для начальства было невозможно. Поэтому оно создало объединенную кафедру этики и эстетики, назначив на место заведующего кафедрой этики *Владимира Георгиевича Иванова*. Правда, когда Каган стал доцентом этой кафедры, его отношения с В.Г. Ивановым (кстати, моим сокурсником) сложились лучшим образом. В 1985 г. кафедра отмечала свое 25-летие, и автор этих строк приветствовал ее такими стихами:

Здесь этика с эстетикою слиты.  
И должен я сказать не без причин:  
Как здесь прекрасны женщин габариты  
И утонченна нравственность мужчин!

Здесь дух и тело проявляют мощность.

Грозящую подонкам, как наган.  
И новую сложившуюся общность  
Являют Иванов нам и Каган.

Но вернемся к концу 40-х годов. Моисей Самойлович, заметив «пришельца» на своих лекциях, пригласил меня участвовать в организованном им кружке-семинаре по эстетике, в котором молодой доцент проявил свой незаурядный педагогический талант. Хождения в искусствоведческий народ были для меня в высшей степени благотворны. Там я не только благодаря Кагану постигал азы эстетики, но и подружился со студентами искусствоведами, среди которых был очень близкий мне и поныне замечательный искусствовед *Борис Моисеевич Бернштейн*, живущий ныне в Калифорнии, израильский искусствовед *Григорий Семенович Островский*, очаровательная *Юля*, ставшая впоследствии не только женой Моисея Самойловича, но заведующей отделом камней Эрмитажа. Кагану я, несомненно, обязан своим первоначальным теоретико-эстетическим развитием. Оно осуществлялось не на одних его лекциях и в процессе умело направляемых им спорах в эстетическом кружке-семинаре, но, прежде всего, через то внимание и терпение, с которым он выслушивал вопросы, размышления и даже полемику с ним самонадеянного второкурсника. М.С. не был формально моим преподавателем. В моем матрикule не было его подписей, но я считаю его своим Учителем. Да и он уже тогда, когда мы стали коллегами и друзьями, после четвертой рюмки говаривал: «Лёнька – мой ученик!».

К счастью, М.С. успел написать книгу «О времени, о людях, о себе» (СПб., 2005), в которой читатель найдет откровенный рассказ о духовных поисках и творческом труде ее автора, о его друзьях и недругах. За год до его кончины мы, как оказалось, последний раз встретились у него дома. Мика был невесел. Печалили дела в мире. Что-то побаливало. Да я еще принес грустную весть: в Варшаве скончался наш общий друг *Стефан Моравский* – один из крупнейших современных эстетиков. Тогда мне и была подарена книга «О времени, о людях, о себе», на титульном листе которой автор написал:

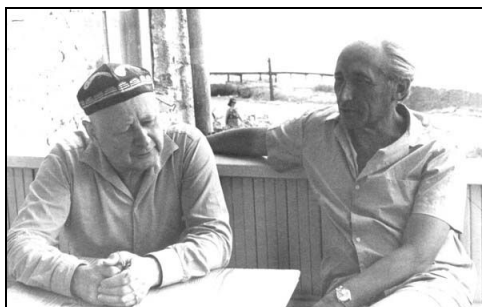
*Дорогому другу Лене Столовичу в память о многом, пережитом вместе.*

*М. Каган. Февраль 2005*

Остановлюсь на том, чему я был непосредственным свидетелем, что было «пережито вместе».

Не могу не сказать о замечательных человеческих качествах М.С., которые сказались на моей жизни и работе.

Окончив с отличием университет в 1952 году, я оказался безработным. В родном городе, где похоронен мой прадед и где я пережил самое трудное время блокады, мне места не нашлось. Более чем сотня писем с предложением применить знания, полученные на философском факультете, не привела ни к каким результатам. Кроме одного письма. Ректор Тартуского университета Ф.Д.Клемент предложил мне прочесть курс эстетики группе студентов-искусствоведов. Я ухватился за эту соломинку. Но осторожный ректор просил предоставить ему, помимо официальных данных о моем образовании, частные отзывы знавших меня преподавателей. С просьбой дать их мне я обращался к нескольким знакомым мне людям. С некоторыми из них я был даже в приятельских отношениях. Они мне отказали. И только два человека дали мне такие отзывы. Это известный литературовед *Виктор Андроникович Мануйлов* и *Моисей Самойлович Каган*.



Виктор Андроникович Мануйлов и П. Гольдштейн на террасе Дома Поэта Максимилиана Волошина.

В последнем очень мне лестном отзыве была помянута и моя работа в его кружке-семинаре по эстетике, мои доклады и «многочисленные беседы, которые мы вели по проблемам эстетики в эти годы». Эти отзывы до сих пор хранятся в архиве Тартуского университета.

Но этим не закончилось участие М.С. в моей судьбе. Она была не простой. В Тарту три года мне давали читать лекции «на почасовой оплате», решительно отказываясь зачислить меня в штат даже на должность лаборанта. Каган своими письмами поддерживал меня морально. И не только морально. Он заказал мне статью для готовящегося в Ленинграде сборника об эстетических категориях. Я написал большую статью, в которой изложил возникшую у меня еще в студенческие годы концепцию

эстетического отношения. Сборник так и не вышел, но Каган мне ответил таким одобрительным письмом, что я, воодушевленный им, за три месяца написал кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы эстетической природы искусства», которую защитил в Ленинградском университете осенью 1955 года. Эта диссертация и написанные на основе изложенной в ней концепции статья в журнале «Вопросы философии» (1956) стали, как позже отмечал М.С., детонатором широкой и многолетней дискуссии о сущности эстетического.

Вместе с тем, самое интересное заключается в том, что когда Каган писал мне судьбоносное для меня письмо, он не был моим единомышленником. И в дискуссии о сущности эстетического он и я представляли разные концепции: он – субъективно-объективную концепцию, по которой эстетическая ценность не объективна, а субъективно-объективна; я же отстаивал так называемую «общественную» концепцию, по которой эстетическая ценность обладает социокультурной объективностью. Мы полемизировали друг с другом и во время личных встреч, и в печати, но всё больше становились близкими друзьями. Никакая другая полемика не имела такого стимулирующего воздействия на развитие моих взглядов, как критика Кагана. Объединяли нас, помимо личных симпатий, наши противники, для которых и Каган, и Столович – субъективисты, антимарксисты, да к тому же сионисты по рождению.

В заключение, я остановлюсь на одном эпизоде, который очень наглядно показал расстановку сил в мире советской эстетики и те условия, в которых жил и работал М.С. В 1972 г. вышла его замечательная книга «Морфология искусства». Но идеологические проработчики действовали в соответствии с принципом: «чем лучше, тем хуже». В 1974 г. М.С. Кагана пригласили на обсуждение его книги в Институт истории и теории искусства Академии художеств СССР. Обсуждение это было организовано по высшему классу. Директор института обзвонил всех видных эстетиков Москвы и сказал им, что обсуждение будет закрытым. Исключение было сделано для меня, специально приехавшего на обсуждение из Эстонии. Меня допустили, но определили для меня особую функцию. Поскольку все роли в предстоящем разгроме порочной книги были распределены, и поношение порочного труда должно быть единодушным, то участие в этом представлении Л.Н. Столовича, который, как известно, поддерживает Кагана, должно создать видимость объективности всей процедуры обсуждения. Но когда уже в первых выступлениях определилась сверхзадача этого спектакля, сидевшие плечом к плечу М.С. и я решили, что я выступать не буду, чтобы не разжигать этот бульон. Моя позиция

была четко определена в рецензии, которую я написал на «Морфологию искусства» в журнале «Философские науки». Каган один противостоял накиннувшейся на него своре, но его ораторский талант, безупречная логика никакого значения не имели. Задача имела заранее предусмотренное решение. Стенограмму обсуждения услужливо напечатал в двух номерах журнал «Художник» – орган реакционнейшего в политическом и художественном отношении Союза художников РСФСР. Эта стенограмма была направлена партийным органам по месту службы автора порочной книги. В своей автобиографической книге М.С. подробно рассказывает обо всех перипетиях, связанных с намерением недоброжелателей лишить его работы в университете, воспользовавшись обсуждением «Морфологии искусства» в Академии художеств. Нет, не напрасно один поэт придумал великолепную рифму:

Эпидемия убожеств –  
Академия художеств.

Отношение к кагановской «Морфологии искусства» стало критерием не только профессионализма, но и порядочности. Воспользовавшись известной формулой Маркса, навеянной Гегелем, «Анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны», я создал такой «кентавр»: «Морфологии искусства» – «ключ к анатомии обезьяны». В книге «О времени, о людях, о себе», подробно рассказанная история глумления над «Морфологией искусства», завершается моим стихотворным описанием всей этой неприглядной истории в духе лермонтовского «Бородино», хотя без первой строфы. Я позволю себе полностью воспроизвести этот текст, подаренный М.С. в день его 60-летия в 1981 году:

### **Каган на поле брани**

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром  
Он наделен особым даром!  
А речь его, а стан!»  
– Да, были схватки боевые.  
Да, говорят, еще какие!  
Там многие сломали выи.  
Но только не Каган!

Среди учереждений множеств  
Есть Академия художеств.  
Художеств и каких!

Там Корр. и Члены – командиры,  
Их подчиненные – задиры,  
Оберегая честь мундира,  
Ждут схваток боевых.

Ведь если не с кем будет драться,  
Так можно не у дел остаться.  
Ворчали старики:  
«Теперь все стало шито-крыто,  
А разве все враги побиты?  
Не все еще космополиты  
Надеты на штыки!

М.С.Каган еще на воле!  
Есть разгуляться где на поле  
Его порочных книг!  
А ну, призвать сюда Кагана –  
Эстетика и хулигана!  
Пусть он узнает, как погано  
Работать за двоих!»

Уж кеменовская прислуга  
Заряд забила в пушку туго.  
Богатыри – не вы!  
Вот затрещали барабаны.  
Затрепетали басурманы,  
И с «Морфологией» Кагана  
Приволокли с Невы.

На семиотику озлившись,  
Пошел в атаку М.А. Лифшиц,  
Как после ряда клизм.  
Он говорил весьма пространно,  
Что слышал он от Талейрана,  
Что вся концепция Кагана  
Есть вовсе не марксизм.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий  
Кагана обложили кучей  
Добротного дерьма.  
Л.Ф. Денисова визжала,  
В. Ванслов выпускает жало,  
Рука бойцов колоть устала.  
Такая кутерьма!  
«Он нас ведет от реализма!»

«Он – проповедник модернизма!»

«Он – экспресс-сионист!»

«Он – семиотик, кибернетик!»

«И аксиолог и генетик!»

«Уже давно пора всех этих...»

Такой поднялся свист.

А что Каган? Он встал спокойно.

Он знал и не такие войны!

Похуже пережил!

Он не из тех, кто слаб в коленках.

И вот теперь, припертый к стенке.

Свою систему-пятичленку

На всех он положил.

И всех их уложил.

«Пятичленка» – это трактовка Каганом структуры человеческой деятельности, включающей пять системно связанных между собой элементов: познание, ценностная ориентация, преобразование, общение, синтезируемых в искусстве.

В книге воспоминаний после оптимистической концовки моей «баллады», в которой ее герой «всех их уложил», М.С. писал: «Последние слова выдавали, конечно, желаемое за действительное, ибо “уложить” никого из эти идеологических бойцов было невозможно – в соответствии со своим воспитанием они умели только говорить, а не слушать, для них не существовало аргументов оппонента, которые следовало опровергать», они *«не спорили, а изрекали, и обращались не к оппоненту, а к собственному начальству»*. Всё это так. Но Каган все-таки «всех их уложил». Тогда это было желаемое, но теперь стало действительным. Кто теперь помянет добрым словом имена этих тогдашних «идеологических бойцов»?

Некоторые имена, правда, памяты, особенно *Михаил Александрович Лифшиц*. Мне довелось его лично знать и даже очень хорошо. Я восторгался его необычайной образованностью и особенно великолепным остроумием. Когда оно было направленно на невежд и подонков, это очень впечатляло. Но беда была не в том, что Лифшиц был убежденным марксистом. Каган тоже не скрывал своих марксистских убеждений и тогда, когда они уже перестали приносить дивиденды и вышли из моды. Лифшиц, в отличие от Кагана, был *консервативным* марксистом, на дух не терпевшим современное искусство и чуравшимся всего того, что не укладывалось в схему традиционного марксизма, будь то семиотика или аксиология – теория ценности. И его природное

остроумие, направленное на модернизм, на людей, не согласных с его воззрениями «обыкновенного марксиста», как он сам себя называл, подпадали под определение Менделя Маранца: «Остроумие – это чихание разума». Я был свидетелем, как Михаил Александрович искренно переживал, когда его взгляды совпадали с официозными компаниями борьбы против абстракционизма и прочего модернизма. Но, увы, эти переживания не помешали ему стать действительным членом Академии художеств, которую он тоже некогда презирал, и участвовать в хоре поношения «антимарксиста» Кагана. В этом гнусном эпизоде и Лифшиц не вошел в историю, а вляпался в нее.

Уже давно нет Лифшица и других поносителей Кагана. Теперь ушел и сам Каган. Однако, как написал замечательный поэт Лев Мочалов, «люди перед смертью равны, но не равны после смерти». Смерть увела от нас удивительного человека, но она бессильна перед его творчеством и светлой памятью о нем тех, кто имел счастье его видеть и знать, учиться у него и вместе с ним мыслить.

Из книги Леонида Столовича  
Мудрость. Ценность. Память», Tartu-Tallinn, 2009





# Артур Штильман

## Российские певцы на сцене Метрополитен оперы

### Из книги воспоминаний «В Большом театре и Метрополитен Опере»



*Вспоминая годы работы в Метрополитен Опере с 1980-го по 2003-й, память невольно возвращается к началу 90-х годов – времени появления большого количества российских певцов на сценах и эстрадах Европы и Америки. Эти воспоминания – не более, чем вполне личные впечатления, правда, основанные на реальной работе в течение моего первого десятилетия в МЕТ с лучшими певцами мира – американскими, итальянскими, болгарскими, чехословацкими и польскими. В музыкально – исполнительском искусстве нет и не может быть твёрдых цифр достижений спортсменов. Поэтому рассматриваемый здесь аспект мастерства вокалистов носит субъективный характер, но всё же основанный на высших мировых стандартах искусства оперного пения, бывших с 80-го по начало 90-х естественными и общими в Метрополитен Опере. Субъективны эти воспоминания так же, как и оценки критиков или самих артистов как друг о друге, так и о самих себе.*

В истории МЕТ Оперы на протяжении её истории до конца XX века российский элемент со времени её основания большой роли не играл. Первой русской оперой, увидевшей огни рампы сцены МЕТ была «Пиковая дама» Чайковского, поставленная Густавом Малером, который руководил театром с 1908 по 1910-й.

В начале XX века впервые на сцене МЕТ выступил великий **Ф.И.Шаляпин** (1907 год. Начиная с 1921 выступал на этой сцене почти каждые два года вплоть до 1935-го). До него в Метрополитен опере выступала знаменитая в своё время **Фелия Литвин** (сценический псевдоним; настоящее имя и фамилия

Франсуаза-Жанна Шютц; по мужу Литвинова. [31. 8 (12.9). 1861 (в некоторых источ. 1863) Петербург – 12.10.1936, Париж], Драматическое сопрано. Музыкальное образование получила в Париже. В сезоне 1896/97 дебютировала в Метрополитен Опере в партии Валентины – "Гугеноты" Дж. Мейербера, 25.11.1896). Здесь же пела в операх "Африканка" Мейербера, "Аида" Верди, "Дон-Жуан" Моцарта, "Фауст" Гуно, "Гамлет" Тома, "Лоэнгрин", "Зигфрид", "Тристан и Изольда" Вагнера. В 1898 в составе немецкой оперной труппы выступила в Петербурге перед русскими зрителями в операх Р. Вагнера, впервые исполненных в России. В 1903 получила звание "Солистка Его Величества").

В первой трети XX века в истории МЕТ остались два русских певца - **Ф.И.Шаляпин** и известный тенор **Дмитрий Смирнов** (выступал на сцене МЕТ в 1910 и 1912 гг.)

Один из современников Смирнова писал: "Это был певец итальянской школы. Хотя артист пел на русском языке с чисто русским произношением, он казался иностранцем на русской сцене... Учиться пению у него было нельзя, как нельзя учиться у певчей птицы. Казалось, что он и сам никогда не учился, а просто раскрыл рот и запел, да так, что к его пению стал прислушиваться мир".

"Это был прекрасный певец и артист... У Смирнова был громадный диапазон и исключительное большое дыхание. Он обладал замечательно красивыми высокими нотами, которые умел искусно филлировать". (А.В. Нежданова).

Его партнёрами были такие певцы, как Амато, А. Больска, А. Дидур, Н. Ермоленко-Южина, Л. Липковская, **Ф. Литвин**, А. Мозжухин, И. Тартаков, Дж. Фаррар, Ф. Шаляпин. Впечатляют имена и дирижёров, по руководством которых выступал Дмитрий Смирнов: Ф. Блуменфельд, Э. Купер, С. Кусевицкий, Д. Похитонов, С. Рахманинов, В. Сук, Т. Серафин, А.Тосканини.

Периодически после Шаляпина и Смирнова на сцене Метрополитен оперы появлялись отдельные русские певцы. Это было скорее исключением из правила – большинство певцов было итальянского и немецкого происхождения, так как главными в репертуаре Оперы были произведения Верди, Пуччини, Вагнера, Р.Штрауса. И всё же русские оперы периодически шли на этой сцене. Главным образом это были «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского, «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского. В 30-е годы русский певец – иммигрант **Георгий Чехановский** пел на сцене в МЕТ Оперы много сезонов. Вот короткая информация об одном из спектаклей «Пяцы» с его участием:

Мет, 10.03.1934г., live

«Сильвио на редкость хорош, голос красивый, поет чудно, но немного однообразно. Все-таки есть тонкая грань между хорошим певцом и гениальным. Дуэт с Неддой был зажигательный».

Мне довелось встретить Джорджа Чехановского в МЕТ в начале 80-х годов. Познакомил меня с ним **Миша Райцин**, который в эти годы сам пел в МЕТ Опере. К этому времени Чехановский был педагогом-репетитором и главным специалистом по русским операм. Пока он работал – в русских операх был относительный порядок. После его ухода где-то в середине 80-х, Татьяна в «Онегине», а именно Мирелла Френи выходила на сцену без берета, что, конечно было особенно забавно при встрече Онегина и Гремина: «Кто эта дама в малиновом берете?» А дама была вообще без берета! Такие вещи начались сразу же после ухода Чехановского, хотя этот случай можно рассматривать, как забавный курьёз.

В 1961 году на сцене МЕТ выступила **Галина Вишневская** в опере «Аида». Она имела очень большой успех, но к сожалению не осталось почти никаких видеозаписей её выступлений в этой опере.

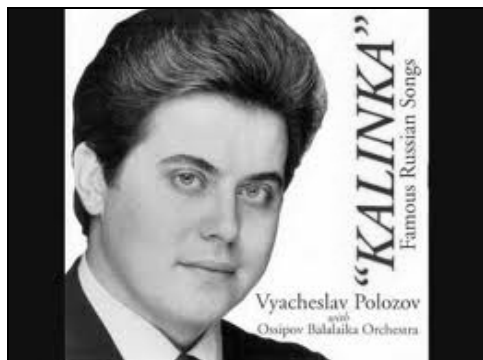
В 1973 году **Неэме Ярви** дирижировал «Онегиным» в МЕТ Опере с участием советских певцов Маквалы Касрашвили, Юрия Мазурка и Владимира Атлантова. По рассказу Ярви все они имели хороший, заслуженный успех. Однако гастроль Большого театра летом 1975 года на сцене Метрополитен Оперы нельзя рассматривать здесь, так как это были гастроль целого *театра*, а не отдельных, индивидуальных солистов.

В 1975 году на сцене МЕТ в роли Самозванца дебютировал мой друг **Миша Райцин**. Но в это время он был уже гражданином Израиля, хотя уехал из Москвы всего за три года до этого. В середине 80-х на сцене МЕТ дебютировал **Владимир Попов**, не вернувшийся в СССР после стажировки в Италии. Он дебютировал в опере Верди «Симон Боканегра» 18 декабря 1984 года. После одного из последующих спектаклей к нему в артистическую пришёл поздравить сам Владимир Горовиц с женой - Вандой Тосканини.

Владимир Попов пел на ведущих сценах мира много лет – открывал сезоны оперой «Турандот» в Лондоне, в Милане, Вене, Париже, Стокгольме и других театрах мира.

В январе 1987 года **Вячеслав Полозов** – превосходный тенор, как и Попов «невозвращенец», с успехом выступил в роле Пинкертон в «Мадам Баттерфляй» Пуччини, промелькнувший

действительно яркой индивидуальностью, и так же быстро ушедший в неизвестность из нью-йоркской музыкальной жизни. Вот, пожалуй, и все певцы из России, которые выступали в MET до начала 90-х годов.



Тенор Вячеслав Полозов

\*\*\*

6 октября 1993 года на сцене MET Оперы выступила молодая певица в роли героини оперы «Тоска», невероятно похожая на итальянку и имевшая очень большой успех. Её манера пения не отличалась от лучших итальянских певиц.



Это была **Мария Гулегина** (Мурадян), родившаяся в Одессе в 1959 году. Её выступления сразу привлекли внимание критиков и театральных менеджеров. Она пела в MET в течение многих сезонов, но её первые выступления остались в памяти. Вероятнее всего, она всё-таки стажировалась в Италии, иначе трудно себе представить, что для такого уровня вокала было достаточно одной Одесской Консерватории, в которой она училась

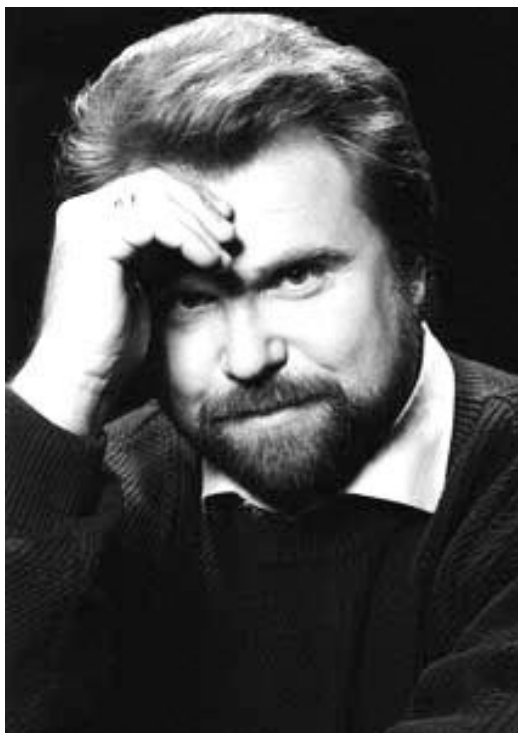
(Здесь уместно вспомнить мнение известного пианиста Андрея Гаврилова, хотя и касавшееся искусства игры на фортепиано, но в общей концепции исполнительского искусства оно адекватно в применении к любой музыкально-исполнительской профессии: *«Пожив в Европе и познакомившись практически с европейской культурой я понял, что моё понимание западной музыкальной культуры отличается от лёвушкиного /проф. Л.Н.Наумова – А.Ш./ Наумов был гениальный, но национальный, очень русский музыкант. Для настоящего же понимания и исполнения западной музыки этого было слишком мало...»* Андрей Гаврилов и Игорь Шестков «Чайник, Фира и Андрей» Воспоминания, 2010 г).



Как бы то ни было – Мария Гулегина была в начале 90-х на сцене МЕТ безусловно лучшей Тоской (Вот отрывок из её интервью: *«Я также начинала с малого. Да ещё и Госконцерт меня грабил вы не представляете как, хотя времена уже были ни капельки не советские. А как они по-хамски обращались с людьми, если б вы знали! Как с крепостными. Поэтому я и уехала подальше от этого хамства и грабежа. Мой самый-самый первостепенный итальянский гонорар в «Ла Скала» равнялся нескольким тысячам долларов за спектакль, а Госконцерт оставлял мне 120! И на эти денежки надобно было весь месяц существовать в Милане. Западные театры и импресарио, безусловно, использовали то, что русских так нагло грабят на их родине и что русские могут распевать за копейки, только бы выскочить»*).

Вторым уникальным явлением на мировом небосклоне оперного искусства был русский тенор **Сергей Ларин**. Так же как

и Гулегина (она впервые выступила в МЕТ на год раньше, но по-настоящему запомнилась после первого выступления в «Тоске»), он дебютировал в Метрополитен опере в «Тоске» в том же сезоне – 18 апреля 1994 года в партии Каварадосси. Мне довелось играть тот дебютный спектакль Ларина. До него в весенней серии «Тоски» пел один Паваротти. Мне показалось, что Ларин настолько превосходил Паваротти своим мастерством, музыкальностью, полным владением всеми ресурсами вокала для самого яркого воплощения этой роли, что было просто удивительно, что ни критика, ни публика особенно этого и не заметили... Увы, истина была уже тогда в том, что *популярность* артиста полностью зависела от денежных инвестиций в его имя. Последующие события показали это со всей ясностью. (Немного подробнее о Паваротти - в главе «Карлос Кляйбер в Метрополитен Опере»).



Сергей Ларин

Сергей Ларин (1956-2008) родился в Даугавпилсе (Латвия). В Вильнюсе начал учиться петь и окончил Консерваторию у

известного литовского тенора Виргилиса Норейка, а также закончил горьковский Институт иностранных языков. Его оперный дебют состоялся в Вильнюсском театре, где он спел Альфреда в «Травиате» Верди. В Венской опере в 1990 году в партии Ленского в «Евгении Онегине» состоялся его европейский дебют. Он, как говорится в его биографии, не хотел оставаться «русским тенором» и петь *только* в операх русских композиторов, и с наступлением эры 90-х годов дебютировал в Лондоне на сцене «Ковент-Гарден» в роли Дона Хозе в «Кармен». Он начал выступать в самых трудных партиях тенорового репертуара в таких операх, как «Турандот» (Калаф), «Тоска» (Каварадосси), «Аида» (Радамес), «Федора» Джордано (Лорис Ипанов).

Увы, его ранняя смерть прервала блистательную карьеру молодого уникального тенора. Вот, сообщение о его смерти в январе 2008 года:

«Фонд Германа Брауна с глубоким прискорбием сообщает, что 13 января после продолжительной болезни в Братиславе скончался оперный певец, тенор Сергей Ларин. Выдающийся артист, великий мастер, вписавший свою неповторимую страницу в историю музыки XX века, яркий человек, замечательный друг и сценический партнёр – таким его запомнили мы, его современники...

В 1988 году главный дирижер Литовской оперы Алекса предложил ему участвовать в постановке “Пиковой дамы” в Братиславе, после чего он стал постоянным приглашенным солистом Словацкого Национального театра. Западная карьера молодого певца началась с его дебюта в Венской опере (1990) в роли Ленского.

Тенор был желанным гостем на ведущих сценах лучших оперных театров мира. Сергей Ларин пел практически во всех крупнейших театрах и на самых значительных оперных фестивалях мира, среди которых: Парижская национальная опера, Лондонская королевская опера «Ковент-Гарден», Венская опера, миланская «Ла Скала», «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, Берлинская государственная опера, театр «Колон» в Буэнос-Айресе, оперные театры Мадрида, Амстердама, Монте-Карло, Цюриха, Мюнхена, Рима, Неаполя, фестивали в Зальцбурге, Эдинбурге, Равенне и других городах.

В 1998 году Сергей Ларин принял участие в уникальной постановке «Турандот» Пуччини, которая под руководством З. Меты была осуществлена в «Запретном городе» Пекина и транслировалась по телевидению на весь мир.

В 2001 году состоялся дебют Ларина в Большом театре России в опере Верди “Сила судьбы”. Активный репертуар Ларина

включал в себя лирико-драматические теноровые партии почти во всех известных операх XIX и начала XX веков. В 2003 году он спел партию Бахуса в опере Штрауса “Ариадна на Наксосе” в Государственной Берлинской опере.

Сергей Ларин стал первым русским певцом, награжденным Золотой медалью Верди – высшей наградой Пармского Хорового общества (1995) и Призом Луиджи Иллики за служение оперному искусству (2001).

Над Словацким Национальным театром в связи с его кончиной был поднят черный траурный флаг».

Один из певцов МЕТ оперы, весьма сведущий во внутренних делах, рассказывал мне, что МЕТ платил своим солистам очень немного по сравнению с оперными театрами Европы (некоторые подробности мы узнаем ниже из интервью одного из самых выдающихся басов мира **Анатолия Кочерги**), и такими театрами Америки, как «Лирик Опера» Чикаго, и опера Хьюстона. Но приглашение на сцену МЕТ всегда было как бы признанием артиста на мировом уровне, *в принципе* независимо от мнения критиков. После дебюта в МЕТ опере, понятно успешного дебюта, двери всемирных театров открывались перед такими артистами без особых проблем.

В случае Ларина всё произошло наоборот – всемирное признание он получил до своего дебюта в МЕТ. Возможно, что он не был особенно заинтересован по финансовым причинам в частом присутствии на сцене МЕТ. Возможны были и другие причины. Но нью-йоркская публика потеряла очень много от того, что такой уникальный певец выступал на сцене МЕТ считанные разы.

Продолжая тему присутствия российских певцов на сцене МЕТ казалось также странным, что ни разу на этой сцене (то есть после 1991 года) не появился один из выдающихся российских певцов - Евгений Нестеренко.

**Здесь речь идёт лишь о тех российских певцах, которые представляли собой уникальную ценность для мирового вокального искусства. Не раздутых до безобразия посредственностей с помощью огромных денег европейских спонсоров, а действительных художников, наподобие Сергея Ларина.**

Как и Мария Гулегина, совершенно заслуженно была приглашена в МЕТ действительно выдающаяся певица **Ольга Бородина**. Пожалуй, единственная достойная певица мирового класса из Мариинского театра. Она обладала всем комплексом технических, вокальных и актёрских данных для высокохудожественного претворения на оперной сцене ролей в многостилевом и многожанровом репертуаре. Она с одинаковым



успехом исполняла главную роль в опере Сен-Санса –«Самсон и Далила», как и в «Итальянке в Алжире» Россини, Эболи в «Дон Карло» Верди и Полины в «Пиковой даме» Чайковского, в «Осуждении Фауста» Берлиоза и «Адрианне де Лекувриер» Чилеа. Вот её собственные слова из недавнего интервью об уровне МЕТ Оперы:

*«... в Метрополитен певцы **такого** уровня поют в каждом спектакле. Это норма - две-три звезды в главных партиях. А когда на сцену выходит что-то серенькое, еще не научившееся петь, больно смотреть».*

Здесь нужно отметить ещё лишь одну певицу молодого поколения, также артистку мирового класса, большого вокального дарования и мастерства - **Любовь Петрову**, выигравшую конкурс молодых певцов для стажировки в Метрополитен опере в начале 2000 годов.

Ученица Галины Писаренко в Московской Консерватории, ещё до её окончания ставшая солисткой «Новой оперы» в Москве, успешно и быстро осваивавшая новый репертуар, придя в МЕТ она была *готова* к исполнению любой оперы любого композитора. В этом уникальность её дарования. Вот что писала о ней заметка на Интернете:

*«В силу случайных обстоятельств безвестный артист заменяет в спектакле внезапно заболевшую звезду и в одночасье становится знаменитым. Под занавес сезона 2001 г. Мет состоялась премьера оперы Рихарда Штрауса "Ариадна на Накосе"(Ariadne auf Naxos), транслировавшаяся на многие страны мира. Партия Цербинетты, одна из самых трудных в репертуаре колоратурного сопрано, "досталась" никому на Западе не ведомой солистке Новой Оперы Любови Петровой. Газеты восторженно писали о "самой смелой женищине в Нью-Йорке", за один вечер превратившейся из "инкогнито из России" в новую оперную звезду».*

Всё это было не так быстро и не так просто. Прежде всего ей очень повезло: прохождением оперы Рихарда Штрауса «Ariadne auf Naxos» с ней занимался бывший венец Вальтер Таузиг – педагог-репетитор, работавший над этой оперой в Вене ещё до войны под руководством самого Рихарда Штрауса! Где ещё была бы такая возможность для молодой артистки? Но повторим ещё раз: к этому выступлению Любовь Петрова была *готова*. «Никто не знает, когда это может случиться,- говорила Роберта Питерс, - но в то время, когда, быть может в последний момент вас пригласят наконец выступить на сцене и кого-то заменить – **вы должны быть готовы**». Это, собственно, и произошло в случае с Петровой, когда действительно в последний момент она должна была

заменить знаменитую певицу Натали Дэссей в этой труднейшей опере, пробыв после этого дебюта в качестве солистки МЕТ Оперы подряд несколько лет. С тех пор она успешно выступает на мировых оперных сценах в операх Массне, Делиба, Моцарта, Р.Штрауса, Беллини, Доницетти, Мусоргского. Тот «дебют в последний момент» заслуженно открыл ей двери мировых театров Европы и Америки. (Слушая ту памятную генеральную репетицию в зале МЕТ в апреле 2001 года мы все были уверены, что перед нами знаменитая француженка Натали Дэссей – никто не мог предположить, что пела молодая российская певица).



Сопрано Любовь Петрова / в центре / в опере Р.Штрауса "Ариадна на Накосе" 2001 г.

Эти немногие российские певцы не только соответствовали мировым стандартам вокального искусства, но и сами утверждали их на лучшей и самой престижной в те годы сцене Метрополитен оперы. Здесь нужно упомянуть баритона **Владимира Чернова**. (*«Родился в селе Заря Краснодарского края. Талант его раскрылся в армии, и после нее молодой человек поступает в Ставропольское музыкальное училище. После второго курса училища его принимают в Московскую консерваторию. Во время учебы большое участие в судьбе молодого певца приняла Нина Львовна Дорлиак, жена Святослава Рихтера, когда группу, в которой Чернов учился, покинул педагог. Владимир Чернов попадает в класс профессора Гуго Тица, заведовавшего кафедрой вокала, удивительной личности, много значившей в жизни Московской консерватории. "На мое удивление, – рассказывал профессор, – через два месяца занятий голос Чернова "пошел" вверх и вниз, начал захватывать новые ноты. Я*

*стал действовать смелее". В 1981 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского. Зарубежная карьера певца началась в сезон 1989/1990 годов исполнением партий маркиза ди Поза ("Дон Карлос" Дж. Верди) в Лос-Анджелесе, Андрея ("Война и мир" С. Прокофьева) в Сизтле, Карло ("Сила судьбы" Дж. Верди) в Глазго. Джеймс Ливайн, главный дирижер "Метрополитен-опера", познакомился с Владимиром Черновым, когда подбирал солистов для записей опер Дж. Верди. Прослушивание принесло солисту Мариинской оперы не только включение в коллектив для записей, но и многолетний контракт с известнейшим театром» (Russian DVD.com - без указания автора).*



Баритон Владимир Чернов

Владимир Чернов в частном разговоре с моим другом и коллегой Владимиром Барановым как-то сказал ему: «Если бы вы знали где я родился, как всё это начиналось, вы бы были очень удивлены. Я и сам удивляюсь сегодня всему, что произошло со мной». Он был первым, ещё до появления Бородиной, действительно достойным артистом, работавшим в Мариинском театре.

Его голос на сцене иногда казался грубоватым, хотя его вокальное мастерство не имело никаких недостатков. Мне казалось, что его голос гораздо лучше ложился в микрофоны радио и телевидения, чем звучал в зале. Однако ещё раз – не признавать его вокального мастерства, безупречной интонации и ровности

звучания всей тиссетуры – нельзя. Он начал петь в МЕТ в 1991 году – за три-пять лет до массового появления певцов из России.

Другой достойный певец, дебютировавший на сцене МЕТ в 1995 году в «Пиковой даме» - **Дмитрий Хворостовский**. Это теперь хорошо известное имя во всём мире. Его биография также широко известна. Победитель Конкурса им. Глинки, он быстро начал делать международную карьеру. Здесь пойдёт речь о его дебюте и только о тех спектаклях, которые он пел в Метрополитен опере до 2003 года.



Дмитрий Хворостовский в роли Елецкого - "Пиковая дама"

За несколько лет до своего дебюта в МЕТ, уже после выступлений в Чикагской «Лирик опере», Хворостовский дал концерт в Карнеги Холл. Некоторые мои коллеги слушали его тогда и восторженно отзывались о его мастерстве и музыкальном таланте. Действительно, Хворостовский выступил в небольшой роли князя Елецкого в «Пиковой даме» совершенно сенсационно!

В мои годы в Большом театре лучше Юрия Мазурока никто не исполнял эту роль. Его голос полностью соответствовал образу, им созданному – чуть холодноватому и немного чересчур величественному. Но всё же слушать его каждый раз было большим удовольствием.

В исполнении Хворостовского партии Елецкого поражало его исключительное *мастерство пения*. Казалось бы, что тут особенного? Певец и должен быть мастером пения. Но

Хворостовский продемонстрировал совершенно новый подход к этой роли: он создал своим пением образ страстный, образ глубоко влюблённого молодого человека, желающего быть понятым и ждущего ответного чувства от своей возлюбленной. Кроме этого Хворостовский продемонстрировал исключительное мастерство дыхания – весь последний эпизод своей небольшой арии он поёт на одном дыхании, чего до него я никогда не слышал у других исполнителей этой роли. Иными словами, Хворостовский показал себя превосходным музыкантом, что происходит в мире вокала не так уж часто. Можно сказать, что партию Елецкого он и сегодня поёт бесподобно.

Но в этой его коронной арии есть очень важная для певцов особенность - аккомпанемент оркестрован исключительно легко – без медных духовых, а значит самый благоприятный для показа лучших качеств исполнителя, не требующий никаких особых усилий, чтобы «перекричать» оркестр.

Интересно, что голос певца в этой роли казался довольно большим именно благодаря такой «лёгкости» оркестровки в партитуре Чайковского.

В следующий сезон Хворостовский был приглашён на роль Валентина в опере Гуно «Фауст». Каково же было наше удивление, когда знаменитая ария Валентина на этот раз была едва слышна! Эта ария, действительно исключительно неудобна для певца – сразу же в начале её требуется выполнение больших интервальных скачков, что не способствует плавному течению кантилены. Даже великий Маттеа Баттистини испытывал вполне слышимые неудобства при исполнении этой арии (в обеих его записях на пластинки). Так оказалось, что Хворостовский обладает совсем небольшим по силе голосом, неспособным нести в зал с большого расстояния в неудобной вокальной партии этой Арии. После него в следующих спектаклях партию Валентина пел американский баритон Дуэйн Крофт, полнозвучно и сильно звучащий, легко преодолевая все неудобства арии и имевший в ней большой успех. Возможно, что в маленьких театрах Хворостовский звучал в «Фаусте» лучше, чем в огромном зале МЕТ Оперы, но факт тот, что действительно *эта* роль была для него в *этом* театре значительной неудачей. В роли Жермона в «Травиате» Верди он выглядел значительно лучше, опять же из-за чрезвычайно лёгкого аккомпанемента струнных в его арии. Приглашение Хворостовского на роль капрала в опере Доницетти «Дочь полка» было очень странным: оказалось, что певец вообще не обладает минимальной голосовой подвижностью, то есть необходимой *техникой* (кстати действительно виртуозной техникой, сродни сочинениям Паганини для скрипки!) без которой

появляется ощущение какой-то пародии на эту музыку. После двух спектаклей было ясно, что на него возложили несвойственную ему функцию – виртуозная музыка Доницетти – не его, как говорят американцы, «чашка чая». Однако слушая в его исполнении циклы Шуберта на немецком, получаешь удовольствие от мастерства камерного певца, напоминающего по своему тембру и музыкальности Фишера Дискау. Наверное справедливы слова из его биографии на «полуофициальном сайте Дмитрия Хворостовского»: *«Многочисленные победы и редкие поражения только способствовали его творческому росту».*

\*\*\*

Итак, в середине 90-х годов на сцену МЕТ и других театров мира хлынули певцы из России в большом количестве, но в массе своей значительно более низкого качества, чем певцы из других стран мира. Они оказали дурную услугу МЕТу. Дело не в их непрофессионализме. Они профессионалы в своей определённой им роли в соответствии с их вокальной школой и природными данными. Но приглашать их выступать в *итальянской* опере было решением совершенно абсурдным – после великих певцов, ещё певших тогда на сцене МЕТ, их выступления казались настолько слабыми, что публика на это реагировала соответствующим образом – театр стал испытывать финансовые затруднения из-за падения продажи билетов. (МЕТ имел тогда от государства только 1-2% бюджета, а всё остальное – частные пожертвования).

Вот несколько примеров о начавших петь на сцене МЕТ российских певцах.

**Бас Владимир Огновенко** обладал природным звуком невероятной силы. Никак нельзя было назвать его голос некрасивым. Он от природы сильный, мощный, очень громкий, что большинство зрителей, вообще говоря, любит в любых театрах мира. Пока Огновенко пел в скверной постановке «Войны и мира» Прокофьева, взятой «напрокат» МЕТом у Мариинской оперы, всё было более не менее в рамках обычного. Но когда ему поручили роль Великого инквизитора в «Дон Карло» Верди, картина совершенно изменилась.

Он пел громче всех, кого я когда-либо слышал на сценах МЕТ и Большого театра! Но вот вопрос – только ли в этом дело? Громкость его голоса никак не заменяла культуры фразировки, правильного распределения динамики в общем построении сцены, и наконец - культуры вокала. Отгремел он свою арию и... и **не было на его спектаклях ни одного аплодисмента**. Ни одного! Полное молчание зала. А ведь после этой Арии обычно возникала буря оваций – Верди построил её так, что правильно спетая, она не может не иметь большого успеха. Никто из зрителей не был и не

мог быть настроен к нему лично как-то враждебно. Но все поняли абсолютное *несоответствие определённого типа голоса и культуры исполняемой роли*. Точно такое же происходило на спектаклях, в которых выступал тенор **Владимир Богачёв**. Вообще с самого начала было непонятно, как подобный певец мог попасть на эту прославленную сцену. В мои годы в Большом театре таких теноров не было и быть не могло: разболтанный и качающийся «верх» - верхние ноты; приличная «середина» и отсутствие нижних нот теноровой тесситуры в сочетании с истощенной натугой создавали картину ущербности и неприемлемости подобных звуков на этой сцене. А ведь его ставили на такие роли, как Радамеса в «Аиде», Канио в «Паяцах»! Так же, как и в случае с Огновенко - после всемирно известной арии Канио не было ни одного хлопка. Не помню, чтобы кто-то кричал «Бу-у» (возможно это и имело место, но не в моём присутствии), что означает в Нью-Йорке полное неодобрение, то есть опять же никто лично к Богачёву ничего не имел, но его «пение» было недопустимым анти-феноменом на этой прославленной сцене.

Слова сопрано **Виктории Лукьянец** из её интервью, сказанные о молодых украинских певцах, могут быть полностью адресованы к ней самой и **Галине Горчаковой**: *«Дело в том, что голоса у них хорошие, но что касается динамики голоса, нюансировки – это было не то исполнение, которое я слышу здесь»*. Если принять слово «здесь» за Метрополитен оперу, то они передавали ситуацию с их выступлениями совершенно точно.

Появлению обеих певиц предшествовала довольно массивная реклама: в программке к каждому спектаклю (это называется «стэйдж-билл») обе певицы превозносились как почти мировые знаменитости.

Лукьянец дебютировала в «Травиате» в сезоне 1996-97 года, а Горчакова в 1995-м в опере «Мадам Баттерфляй» Пуччини.

Галина Горчакова выступила в своём дебютном спектакле вполне на уровне *средних* исполнительниц этой роли, которые бывают не такими частыми гостями на сцене МЕТ. Первый спектакль она спела вполне для себя благополучно, на втором же проступили ряд недоработок; вернее сказать, она была максимально собрана на первом, что дало ей возможность спеть почти без «помарок», а на втором она немного успокоилась и недостатки в фразировке, распределении дыхания – то есть недоработки «школы» выступили вполне ясно. Этим недоработок, как правило, у средних исполнительниц этой роли обычно на сцене МЕТ вообще не отмечается – класс выучки таких певиц очень высок. Но совершенно удивительным было выступление Горчаковой в вполне «её» опере – «Евгений Онегин» - в сезоне

1996-97 года. Казалось бы, что уж в этой опере она должна была бы чувствовать себя вполне «дома». Но почему-то она пела значительно ниже того уровня, который продемонстрировала в опере Пуччини: она была скована, голос звучал местами как-то зажато, несвободно. Вообще казалось, что именно в «Онегине» она выглядела больше «иностранкой», чем в «Баттерфляй». Всё же нужно сказать, что того трудно определимого в словах налёта провинциализма, который ощущался в пении Лукьянец в «Травиате» у Горчаковой не было. По тем меркам, которые существовали в Большом театре в моё время (1966-1979) Лукьянец тоже выглядела бы вполне провинциально. Что имеется в виду под этим словом? Прежде всего известная незаконченность тембральной ровности звучания всех нот тесситуры, интонационные погрешности, хотя и немногочисленные, и наконец в целом - образ Виолетты, ясно несший в себе качества именно провинциальной оперной труппы времён советского театра. Если бы не было рекламы, превозносившей обеих исполнительниц в мировые знаменитости, скорее всего их выступления прошли бы совершенно незамеченными. Здесь не анализируется газетная критика их выступлений. Это лишь частные впечатления от их пения, каким оно тогда казалось внутри самого театра.

\*\*\*

В начале 90-х годов несколько раз в «Паяцах» выступал знаменитый солист Большого театра **Владимир Атлантов**, живший к тому времени в Вене. Он легко брал самое верхнее теноровое «до», чего боялся делать в Большом театре, прекрасно спел эту партию, а знаменитая ария Канио имела, как и у большинства теноров очень большой и заслуженный успех. Владимир Атлантов выступал в высшей степени достойно, проявив себя мастером вокала, каким он и был в Москве.

Также в начале 90-х выступала иногда в «Онегине» **Маквала Касрашвили**. Её мягкий и тёплый голос прекрасно звучал в зале МЕТ. Со времени её дебюта в Большом театре, чему я был сам свидетелем, прошло около 20-и лет, но её голос звучал по-прежнему прекрасно. Она, как и Атлантов была неоспоримым мастером вокала и это давало возможность выступать на сцене МЕТ самым лучшим образом и иметь заслуженный успех.

Несколько раз появился и **Юрий Мазурок** в партии Скарпиа в «Тоске» Пуччини. Он также выступил очень достойно, хотя к тому времени давно перевалил за свои пятьдесят.

Вот так выступали мои бывшие коллеги по Большому театру – всегда достойно и никогда не возникало растерянности публики и немного вопроса – как эти люди вообще попали на эту сцену? Правда все они принадлежали, во-первых, к Большому



театру, и, во-вторых, всегда были высококлассными артистами и вокалистами значительной культуры (Как-то во время передачи по русскому каналу ТВ в Нью-Йорке ведущая музыкальной программы Майя Прицкер упрекнула меня в «естественной неприязни бывшего члена Большого театра к конкурирующему театру Мариинской оперы»). Может быть доля истины в этом и есть, но я стараюсь быть более не менее объективным и потому даю здесь, как и дал тогда в телевизионной передаче соответствующие примеры из выступлений комментируемых певцов – то есть говорил об их сильных и слабых качествах).

\*\*\*

В чём вообще была причина и смысл столь массивного появления российских певцов на Западе? На этот главный вопрос мы находим ответ в ниже приведённых интервью Любови Казарновской и Анатолия Кочерги. Что-то проясняет и интервью, данное уже почти двадцать лет назад одной из руководителей отдела контрактов МЕТ в официальной должности «Ассистента менеджера», то есть заместительницы генерального директора МЕТ Джозефа Вольпи - Сары (Салли) Биллингхэрст. В своём длинном интервью в журнале «Нью Йоркер», она сравнивала ситуацию после коллапса СССР с...1945 годом и разгромом нацисткой Германией! Такое сравнение в историческом аспекте не релевантно, но как видно именно из такой концепции исходили американские менеджеры, желавшие, как и после 2-й Мировой войны заполучить «за недорого» лучших певцов стран Европы, оставшихся тогда в разорённом войной континенте без работы. Опять же неестественность аналогии видна и в том, что *российские певцы без работы не были и, хотя и плохо после развала Союза, театры продолжали функционировать*. Но открылись новые возможности: стал свободным выезд из страны для всех категорий российского населения - хлынул на Запад и в Америку поток гостей, родственников – всех тех, кому десятилетиями был «заказан» выезд за рубеж. И, конечно, в первую очередь этой новой ситуацией воспользовались артисты всех специальностей. Это массовое появление российских певцов на сцене МЕТ и в других театрах мира, но так сказать «с другого бока», рассматривает в своём интервью певица Любовь Казарновская, выступавшая на сцене МЕТ и знающая об этом из собственной практики. Отрывок из этого интервью будет приведён ниже.

\*\*\*

Конечно, как и всегда после выступлений в МЕТ практически все певцы, кто хотя бы достаточно убедительно выступил на этой сцене были обеспечены работой во многих

театрах Европы. Новое время принесло много изменений. Теперь критика уже не играла той роли, которую она всегда играла и определяла карьеры солистов, выступавших в Нью-Йорке – будь то в Карнеги Холл или в Метрополитен Опере. **Начиная с 90-х все, кто выступал на этой сцене действительно стали иметь доступ на сцены не только театров Франции, Англии, Германии, но даже оперных театров Италии.**

Трудно объяснить этот процесс, не живя и не работая в Италии. Что-то определённо сдвинулось – в Мекке оперного искусства стали выступать певцы, которые раньше никогда бы не могли и мечтать о подобном. Произошло ли такое падение вкусов на родине вокала, или же менеджменты исходили из чисто практически – финансовых соображений – для уровня исполнительства в МЕТ это уже не имело значения. Теперь любой, кто пел на этой сцене, как бы автоматически превращался в «артиста с маркой качества».

Не знаю, как дела обстояли в Италии, но в МЕТ, как уже говорилось, был заметен спад посещаемости оперных спектаклей, обычно делавших полные сборы. Разумеется, что при объявлении спектаклей с участием Доминго или Паваротти сборы сразу же поднимались до обычного уровня МЕТ в разгар сезона. Но обилие певцов очень среднего качества медленно, но верно способствовало падению сборов.

Примерно в 1987 году, во время одной из последних встреч Рейгана и Горбачёва в Вашингтоне, на сцене МЕТ в роли цыганки Азучены в опере Верди «Трубадур» неожиданно появилась **Елена Образцова**. В 70-е она часто пела на сцене МЕТ в «Аиде», и других операх. Это было до моего приезда в Нью-Йорк. Несомненно, она была достаточно сильной оперной индивидуальностью, тем, что называется в Америке «пэрсонэлити». Несмотря на тембральную неоднородность звучания голоса в разных регистрах, её сильные верхние ноты и большой темперамент воздействовали на публику весьма интенсивно. На этот раз её голос звучал довольно глухо – мне показалось, что он был недостаточно «распет», то есть разогрет перед спектаклем. Действительно, через некоторое время голос стал звучать более в «фокусе», правда интонация была очень посредственной – слишком много откровенно фальшивых нот было в тот вечер в её исполнении партии Азучены. Позднее довелось услышать на видео её выступление в Венской Опере в «Кармен» с самим Карлосом Кляйбером (запись 1973 года) и оказалось, что и тогда её интонация была довольно далека от совершенства. Самое странное было в том, что венская публика – самая восприимчивая и самая образованная в мире, казалось вполне «кушала» такой

необычный для этой сцены уровень без особых проблем. Непонятно даже сегодня, чем была вызвана такая её непритязательность и терпимость? Венцы не могли этого не слышать!

Но вернёмся в зал МЕТ в тот вечер, когда на сцене неожиданно появилась Образцова. Её партнёром был Лючано Паваротти. С ним она выступала в этой опере на сценах Европы и Америки уже много лет (*она была «выездной» во все времена с конца 1960-х до начала 90-х благодаря своим особым отношениям в коридорах власти. Не забудем её участия в кампании травли Ростроповича и Вишневецкой в начале 1970-х. Вероятно, и это было по достоинству оценено властями в выражении ей доверия, отразившегося в многочисленных гастролях за границей без всяких ограничений* ). Во втором акте оперы есть дуэт, который заканчивает сцену Азучены и Манрико. Конец его проходит под лёгкий аккомпанемент струнных, играющих «пиццикато», то есть щипком правой руки, а не смычком. Несмотря на то, что солисты стараются в этом месте быть ближе к оркестру, чтобы лучше слышать аккомпанемент, Образцова уже в самом начале «сехала» вниз – сначала на полтона, а потом и ниже – почти на целый тон, куда за ней проворно «спустился» также и Паваротти. После окончания дуэта раздался заключительный аккорд оркестра – разница была в тон! Смеялась публика, смеялся дирижёр, смеялся оркестр. Не улыбались, понятно, только солисты. Нельзя сказать, что подобный промах был следствием низкого профессионализма, всё же оба солиста были не только всемирно известными, но и с громадным оперно-сценическим опытом, да и выступали вместе не один раз. Нет, то было стечением обстоятельств, но всё же неудовлетворительная интонация Образцовой в принципе также сыграла свою роль. А её пример немедленно воздействовал даже на певца с таким опытом, как Лючано Паваротти. Что же говорить о деструктивном воздействии *посредственных* певцов Мариинской оперы, стоявшими теперь, можно сказать, толпой на сценах МЕТ, Чикаго, Хьюстона, Сан-Франциско? Большинство пришедших на сцену МЕТ во второй половине 90-х годов были пришельцами из Мариинской оперы. Пожалуй только за одним исключением – певицы **Маринны Мещеряковой**. Она работала в Большом театре.

В моё время – с 1966 по 1979-й я не помню певцов такого уровня, как Мещерякова. Она обладала несомненно красивым голосом, подходящим для ряда ролей даже в итальянском репертуаре – особенно в операх Верди. Однако её первые выступления разочаровали с самого начала. Прежде всего – её интонация была ниже всякой критики. И когда её пение передавалось в радиотрансляции, становилось горько и обидно и за

Большой театр, и за МЕТ.

Сама она, однако, думала совершенно по-другому. Вот небольшие отрывки из её интервью:

*«Трудно в американском театре: ощущаешь жесткую конкуренцию. Певцы там могут все - у них нет понятия "не могу". Они как терминаторы. Постоянно дышат тебе в спину и считают, что все, кто работает по контракту, занимают их места. Поэтому приходится работать на все двести процентов. Надо быть безукоризненной в стиле, языке, образе... В европейских театрах прессинг не такой жесткий».*

О каком «образе» могла идти речь, когда солистка пела убийственно фальшиво?

*«Мою судьбу во многом определила и Лючия Альбанезе, лирическое сопрано Метрополитен-опера, любимица самого Тосканини. С ней мы **отрабатывали бельканто**. Это было под Нью-Йорком». «Отрабатывали бельканто...»*

Было бы много лучше, если бы Альбанезе научила свою ученицу петь более не менее профессионально чисто!

*«В Париже на спектакле «Дон Карлос» Эболи блестяще пела Ольга Бородина. Просто блестяще. Не слышала лучшей Эболи. – по стилю, фразировке, звучанию. Прекрасный наш тенор Сергей Ларин исполнил заглавную партию. 35-летний немец Рене Паппе – Филиппа. Я пела Елизавету. Мы понимали друг друга с одного взгляда, с одного жеста. На сцене возникла драгоценная гармония...»*

В высочайшем профессионализме перечисленных ею певцов никто не сомневается, и для хорошего спектакля это и есть единственное требование. Нельзя судить о том, чего не слышал, но если произошло чудо, и Мещерякова стала петь чисто – то за неё можно только порадоваться. Такого чуда в МЕТе не произошло. Но выступления на этой сцене и дали возможность певице (как и многим, многим другим) строить карьеру в Европе. Возможно, что в других театрах публика стала менее требовательной? Всё может быть, время идёт и часто не приносит ничего позитивного. Неплохо было бы расспросить партнёров Мещеряковой, насколько их «гармония» была взаимной.

\*\*\*

Голоса украинского происхождения отличались лучшей выучкой и большей музыкальной культурой. Нужно отметить прекрасный дебют украинского тенора **Владимира Гришко** в «Богеме», певший потом много сезонов на сцене МЕТ, которого постепенно вытеснили совершенно неудовлетворительные певцы Мариинского театра. Одним из них был **Владимир Галузин**. Конечно в сравнении с Богачёвым он казался уже почти что

настоящим певцом, но в том-то и заключена ползучая деградация – постепенное сползание к уровню посредственности, а потом всё ниже и ниже.

Так в середине 90-х было заложено начало падения исполнительского уровня на сцене Метрополитен оперы. Здесь уместно привести интервью Любви Казарновской, успешно выступавшей на сцене МЕТ. Она хорошо знает «механику» оперного и концертного менеджмента, и наконец, она достаточно строга, но и в основном объективна к своим коллегам, что даёт нам возможность лучше понять реальные силы, правящие сегодня в мире оперного бизнеса:

Любовь Казарновская. Отрывки из интервью

(Мне не удалось установить дату этого интервью, но оно явно не менее пятилетней давности, так как Лучано Паваротти скончался в 2007 году, а Сергей Ларин в 2008, хотя во многих отношениях оно актуально и сегодня.)

*(Родилась 18 июля 1956 года в Москве в семье генерала Юрия Игнатьевича и филолога Лидии Александровны Казарновских. Обучалась на факультете музыкальной комедии Гнесинского института и Московской Консерватории. Дебютировала в 21 год на сцене московского Музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко в партии Татьяны («Евгений Онегин» Чайковского). Закончила консерваторию в 1982 году, аспирантуру Консерватории в 1985-м (класс Е.И.Шумиловой). В 1981-1986 гг. продолжала сольную карьеру в Театре им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. Пела ведущие партии в «Иоланте» Чайковского: «Паяцах» Леонкавалло, «Богеме» Пуччини, «Сказании о невидимом граде Китеже» Н.А.Римского-Корсакова и других операх. С 1986 по 1989 год солистка Мариинского театра в Петербурге. С 1989 года выступала в Западной Европе и США в том числе на Зальцбургском фестивале, Метрополитен опере и театра «Ла Скала» а также во многих других театрах мира. В 1989 году вышла замуж за австрийского продюсера Роберта Росцика. В 1993 году родился сын Андрей)*

**- Сегодня складывается впечатление, что оперный конвейер вращают уже не дирижеры, не режиссеры и даже не индивидуальность великих артистов, а игры импресарио и круговорот капитала. Говорят, что голос на шестом месте, и нужно просто иметь агента со связями. Так ли это?**

- К сожалению, так. Оперой сегодня правит не музыка, а мафия - театральная, околотеатральная, всякая. Международный рынок превратился в бардак. Иногда даже руки опускаются, и уже не хочется этим заниматься. С моим независимым характером и

индивидуальностью я не могу и не хочу находиться на этом рынке. Петь одни и те же партии в разных театрах ради заработка уже не интересно, и, согласитесь, что я могу себе позволить не плыть по течению и не делать того, что меня заставляют. Хочу делать свое. Я достаточно покрутилась в этой машине - пусть теперь в эти тяжкие пускаются новые мальчики и девочки и хватают то, что дают.

Если вы сопоставляете сегодня уровень спектаклей в самых хороших театрах, то если это не специально собранный по случаю премьеры звездный гала-состав, то будничная картина весьма печальная.

Тогда еще не открылся полностью железный занавес, не повалила вся эта масса из Восточной Европы, и оперная Азия только начинала просыпаться. Что произошло потом. Шлюзы открылись, директора театров получили фантастически дешевую рабочую силу, причем не всегда лучшего качества. За тысячи долларов в месяц в Вене с удовольствием сидит вся Прага, Братислава, Будапешт и Варшава. В результате сегодня та же Венская опера, которая считается театром класса "супер А", заросла, как огород, сорняками. А кто первая певица у Холендера? До сих пор Элиан Коэльо, пение которой больше напоминает вытье на луну. Неважно, что она из Бразилии, важна степень падения планки. Мама Роберта, моего мужа и продюсера, живет в Вене и рассказывает, что сдала назад свой абонемент в оперу, так как не в силах больше слушать это безобразие, и не только она одна. Юг Галль в "Опера Бастиль" все последние сезоны делает под русских певцов. Норму дают петь Мещеряковой, Папян, Горчаковой! Приезжаешь в "Метрополитен". И кто открывает сезон? Полностью русский состав в "Аиде"! Хотя все мы сейчас столкнулись с ужесточением въездных виз на работу в Италию, Америку и другие страны. Теперь уже они хотели бы оградиться железным занавесом от Восточной Европы и России.

**- Послушаешь импресарию, поговоришь с западными профсоюзами, считаешь западную прессу - все недовольны русскими певцами за то, за это, за третье, а театры по-прежнему берут их пачками? В чем дело?**

- Все-таки, в деньгах. Русские певцы, которые считаются у нас мировыми звездами, - менее затратное производство. Что бы ни говорили они сами о том, что их гонорары не ниже, чем у западных коллег, и что сумма зависит от того, насколько успешно проведет переговоры импресарию - не верьте, я знаю по себе и вообще знаю не понаслышке, что это не так. Наши гонорары на Западе в общей массе все равно на порядок ниже. [В случае с Любой Казарновской это, скорее всего, верно. Но любой вовлеченный в эту сферу человек скажет вам, что Мария Гулегина, например, "стоит"

гораздо дороже какой-нибудь Нучии Фочиле или Даниэлы Десси...  
- Ред.] *(едва ли интервьюер обладал такой информацией, да и никак нельзя смешивать Гулегину и Даниэлу Десси – у них совершенно разные амплуа - А.Ш.)*

- **А Хворостовский, Бородина?**

- Дима - один из немногих исключений. Оля начала получать по высшему разряду только недавно. Но у них особый случай - с самого начала они были подкреплены пластиночными фирмами, в данном случае "Филипсом". Их первые шаги сопровождалась грандиозной рекламной раскруткой и оплаченными материалами во всех ведущих изданиях мира. Подвал в "Нью-Йорк Таймс" стоит 70 тыс. долларов. Кто это может проплатить? Звукозаписывающей фирме надо продавать свою продукцию, и она отлично продавала симпатичных Хворостовского с Бородиной. Наши люди, за которыми стоит CD-бизнес, котируются по высшему разряду, но их единицы. У кого нет подобной поддержки, вынуждены надеяться на протекже со стороны дирижера или режиссера или на общественное мнение и на то, что после удачного выступления в какой-то партии их порекомендуют друг другу директора театров, которые все время между собой перезваниваются и обмениваются кадрами. Начав подобным образом с русских партий, многие постепенно доходят даже до Моцарта и Зальцбурга, как, например, Анна Нетребко, за которой стоят не только ее таланты и внешность, но и Гергиев. Кто-то ищет спонсоров и рекламирует элитное белье, шоколад и часы. Кто-то уповаает на гениальность своих импресарио, которые должны быть в курсе кто где заболел и могут воткнуть тебя в звездные составы, чтобы ты спел по замене с Доминго или Паваротти - конечно, сперва на весьма не выгодных финансовых условиях. А потом на этом начинается большая игра, твоя репутация нарастает как снежный ком, и при благоприятном прогнозе можно надеяться на высший гонорарный разряд.

- **Если не ошибаюсь, то это уже вариант Марины Мещеряковой?**

- Похоже. Но, к сожалению, ее дела уже пошли вниз.

- **Неужели русский вариант на Западе почти всегда заканчивается отработанным шлаком?**

- Увы. Грустно. Хотя в этом плане крепко держат свои позиции наши "ветераны": Гулегина, Лейферкус, Ларин. Кто-то их любит, кто-то нет, но они наплаву в среднем уже 15 лет и у них сложилась прочная репутация. У Марии впечатляющий голосовой материал, и именно им, даже при некотором однообразии интерпретаций, она и держится, а оба Сережи чрезвычайно удобны театрам - у них, наоборот, нет такого роскошного материала, но на

их стороне невероятный ум, профессионализм, владение несколькими языками, умение вести себя, общаться и хорошие человеческие свойства. Немаловажно, например, и то, что у Лейферкуса очень удачливый импресарио Джакомо Матростройни, у которого, в частности, и Чечилия Бартоли. Матростройни находится как раз в самом центре оперной мафии и умеет своего певца предложить таким образом, что этот певец начинает везде крутиться. Возьмите, к примеру, Ларису Дядькову - попав к нему, она сразу стала петь везде и всё. А уж если ты закрутился как следует, то, даже отпев свои лучшие годы, все равно можешь продолжать еще долго крутиться по инерции, пока не израсходуется запас долгосрочных контрактов. С этой орбиты просто так не сходят. Мы, например, знаем по "Хованщине", как стала петь Нина Терентьева, но у нее полно контрактов по всей Америке. Русские - удобная спица в этом колесе. Лишнего не скажут из-за плохого знания языков, юридически не слишком подкованы, готовы на все ради заработка. Они не виноваты, просто таким способом им реальнее выжить в этой мясорубке.

**- А какими, к примеру, бывают оперные тяжбы?**

- Самыми разными, но нужно еще научиться их выигрывать. Негритянка Мишель Крайдер пела в "Метрополитен" Чио-сан, но начала выступать не очень удачно, получила плохую критику, и ее сняли со спектакля. Она тут же подает в суд, что это расовая дискриминация - и, конечно, выигрывает за моральный ущерб. Или ситуация с финансированием двух оперных театров в объединенном Берлине, эта вечная тяжба между Баренбоймом и Тилеманом. Раньше все государственные вливания текли только в западноберлинскую "Дойче Опер". Но когда после объединения восточную "Штаатс опер" возглавил Баренбойм, он начал шантажировать правительство, что подаст в международный суд за притеснение евреев в нацистской стране, - и выбил своему театру колоссальный бюджет, оставив Тилемана с протянутой рукой. Тилеман обращался в правительство, и ему сказали: "Терпите. Ничего не можем сделать".

**- Я слышал, Тилемана упрекают в нацистских наклонностях...**

- Нет, я бы сказала по-другому - он просто жесткий человек и любит четкую организацию производства. Очень немецкий человек по своей сущности. Мне симпатично в Кристиане то, что он ясно очертил свою территорию в музыке - все немецкое, Вагнер и Рихард Штраус. В этом он действительно неподражаем. Он начинал ассистентом Караяна и Баренбойма. И сейчас много будет работать в Байройте.

**- Давно не был в Зальцбурге, что сейчас происходит с**



### фестивалем?

- Я была этим летом и слушала, в частности, нового арнонкурковского "Дон Жуана" с Нетребко в роли донны Анны. Она очаровательна, но пока еще Церлина. *Все женщины в этом спектакле рекламировали белье фирмы "Палмерс" и стояли на сцене в лифчиках и трусах (выделено мной.А.Ш.).* Сейчас Зальцбург приходит в себя после радикальной эры Жерара Мортье. Когда десять лет назад Мортье стал художественным руководителем фестиваля, все газеты ликовали, что наконец-то пришел конец нафталину и пудре Караяна, а сегодня австрийская пресса заклеймила Мортье разрушителем Зальцбурга и желает новому директору Петеру Ружичке вернуть фестиваль на круги своя, во времена Фуртвенглера, Бема и того же Караяна. Куда уходит Мортье? Директорствовать в "Бастиль"! Как это понимать? А так и понимать, что с этой орбиты просто так не сходят».

\*\*\*

Это интервью действительно пожалуй впервые назвало вещи своими именами, а именно – преуспевают, **кроме бесспорно выдающихся мастеров** вокала, те певцы, и главным образом певицы, которые связаны с миром бизнеса и рекламы. Как справедливо заметила Казарновская – например рекламы дамского белья.

**Анна Нетребко** использовалась очень активно для этих целей во многих популярных журналах в Германии и Австрии. Там же сообщалось о её пристрастиях, в том числе и сексуальных, что в былые времена вызывало бы скандал, но теперь все эти детали были весьма к месту и только подогревали интерес «широкой публики». Так что звукозаписывающие фирмы уходят теперь в тень. В отношении Нетребко это только принесло ей, как певице, непоправимый вред. Обладая от природы небольшим, чистым и звонким голосом субреточного характера, из неё стали делать героиню! То есть ей стали поручать роли, совершенно противопоказанные её голосу. Она не может и не должна была петь Виолетту в опере «Травиата». Нельзя переступать границы предназначенности голоса для определённых амплуа – лирический тенор не может петь Дона Хозе в «Кармен», а драматический партию Ленского в «Онегине». Когда эти общеизвестные истины не принимаются во внимание дело кончается весьма печально: певец или певица начинают терять то естественное, что им было дано природой и в конце концов теряют со временем вообще возможность заниматься своей профессией.

Говорить о Нетребко, как о «новой Каллас» могут лишь люди абсолютно несведущие ни в вокале, ни в музыке вообще. Мария Каллас обладала мощным большим голосом –

**драматическим** сопрано. Кроме того она обладала огромной колоратурной **техникой**, позволявшей ей исполнять драматические роли как в операх Беллини, Россини, Доницетти, так и Верди, Пуччини и даже Вагнера! Так что сравнение с Каллас настолько неадекватно и просто безграмотно, что приходится лишь удивляться такому уровню критики и публики. Впрочем, критика довольно часто не идёт на поводу рекламы: как-то в Париже одна критикесса прямо написала, что известность Нетребко никак не соответствует её исполнительским возможностям. Бывает ещё сегодня и такое. Вопреки шквалу рекламы, в которую уверовали тысячи читателей журналов и телевизионных «болельщиков» оперного жанра!

Таких примеров в истории оперы всегда было очень много, соблазнов переступить через свою природу – также много. Поддающиеся соблазнам в конечном итоге проигрывают, не поддающиеся остаются на более долгое время в достаточно хорошей форме для продолжения профессиональной деятельности.

Так что, увы, в главном права Казарновская: сегодня на мировом «рынке» преуспевают как правило лишь те, на кого «поставил» большой бизнес – будь то звуко- и видеозаписывающие фирмы, производители дамского белья или иной продукции. Всё это действительно никакого отношения не имеет ни к музыке, ни к вокалу, ни тем более к оперному искусству. Однако, как известно, если в рекламе, как и в политической жизни – одно и то же повторять каждый день, то в итоге люди этому поверят!

\*\*\*

Возможно, в пробелах подготовки многих российских певцов виноваты не они сами, а их педагоги ещё с консерваторских времён. Но в то же время были же такие певцы, как изумительный украинский **бас Анатолий Кочерга**, выигравший в 1971 году Конкурс им. Глинки, а позднее, начиная с конца 80-х много лет работает в европейских театрах.

К сожалению МЕТ его не удостоил своим приглашением, а заставлял терзать уши слушателей антимузыкальным Огновенко. **Только в сезоне 2011-2012 года он будет петь наконец-то на сцене Метрополитен оперы в новой постановке оперы Мусоргского «Хованщина»!** Но на сколько лет раньше публика в МЕТ могла наслаждаться его пением?! Почему этого не произошло в конце 80-х и начале 90-х? Это полностью зависело от тогдашнего генерального директора МЕТ Джозефа Вольпи. Только он и знает, почему такие певцы, как Огновенко пели в МЕТ, а Кочерга или Нестеренко – нет. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Вот краткий список театров, в которых выступал Анатолий Кочерга и

дирижёров, с которыми он работал:

**Анатолий Кочерга /род. в 1947 году/**

Международная карьера певца началась с исполнения партии Шакловитого («Хованщина») в Венской государственной опере (дирижер Клаудио Аббадо).

Выступал в Парижской и Лионской национальных операх, в театре Капитолий в Тулузе, Опере Монпелье, в театре де ла Монне (Брюссель), Государственной опере (Берлин), Немецкой опере в Берлине, Саксонской государственной опере (Дрезден), Баварской государственной опере (Мюнхен), Опере Франкфурта, в театре Ла Скала, Римской опере, театре Ла Фениче (Венеция), Королевском театре Турина, театре Массимо (Палермо), театре Реал (Мадрид), Лисео (Барселона), театре Маэстранса (Севилья), театре Сан-Карлос в Лиссабоне, Нидерландской опере в Амстердаме, в Опере Сан-Франциско, театре Колон (Буэнос-Айрес), а также на фестивалях в Брегенце, Зальцбурге, Вене, Эдинбурге, Оранже.

Работал с такими выдающимися дирижерами, как **Риккардо Мути, Зубин Мета, Мстислав Ростропович, Владимир Ашкенази, Неэме Ярви, Лорин Маазель, Риккардо Шайи, Сейджи Озава**. Его многочисленные записи изданы SONY, Deutsche Grammophon и Decca.

Ниже приводится сравнительно недавнее интервью певца, которое немного открывает завесу, за которой были скрыты события, предшествовавшие появлению (или неоявлению) певца на оперной сцене:

Так как имя Анатолия Кочерги малоизвестно русскоязычным читателям, то его интервью представляет большой интерес во многих отношениях – работы певца, режиссёра, взаимоотношения властей с артистами раньше и теперь и многие другие темы. Оно также приподнимает завесу над появлением или неоявлением певцов в советское время за границей (как и солистов, дирижёров, танцовщиков...) Вот это интервью:

Ольга Кипнис «Зеркало недели» №8, 27 февраля 2010, 00:00

**Востребованность певца действительно впечатляет. Вот лишь некоторые выдержки из его графика последнего времени. Гастроли в Японии (Токио) с театром Ла Скала – опера «Дон Карлос» Дж.Верди. Варшавская опера: «Борис Годунов» Мусоргского. Страсбургская опера: «Хованщина» Мусоргского...**

**А вот график на ближайшее будущее. Уже 3 марта – Мюнхен, Баварская опера: «Севильский цирюльник» Дж. Россини. С 22 марта – Лион (Франция): «Мазепа» Чайковского**

в постановке Петера Штайна. Далее участие в международном фестивале оперного искусства в Экшн-Провансе («Дон Жуаном» Моцарта). График расписан на несколько лет вперед. В разное время он сотрудничал с Ростроповичем, Аббадо, Дзеффирелли. Майя Плисецкая склоняла перед ним голову в Мюнхене после «Хованщины». Император Японии специально прибыл, чтобы послушать именно его в «Доне Карлосе»...

– *Анатолий Иванович, как вы относитесь к журналистам, которые величают вас «оперной звездой»? Такое определение уместно?*

– Я против определения «звездности» артиста. На звезды имеет право только Бог. Звезды – на небе. А мы с вами – на земле. Поэтому давайте сразу спустимся на землю, которая носит нас грешных и, слава Богу, выдерживает наши грехи. Сегодня в искусстве – масса людей, называющих себя звездами. Это лжеартисты, которые при сближении с «небесным» и недоступным человеку званием звезды – горят, как мухи.

– *Хорошо, спускаемся на землю... Что оказалось для вас самым сложным в профессии?*

– Самым сложным было понять – правильно ли выбрал свой путь? Нужен ли я в этой профессии? Имею ли право заниматься ею? Боялся разочароваться в себе... Сомневался, получится ли...

Выходить на сцену – большая ответственность перед людьми, которые находятся в зале. Каждый выход для меня – тяжелый экзамен. Каждый раз боюсь его провалить. Профессия артиста – постоянная учеба, поиски нового. Остановки на этом пути быть не должно. Иначе суд зрителей может поставить тебе неудовлетворительную оценку. И зрителей не интересует ни твое душевное состояние, ни проблемы, ни здоровье... Прострелили колено, не можешь стоять на сцене – выходи и пой сидя! Как и случилось со мной в Мехико...

– *Это, кажется, тот самый случай, когда перед спектаклем в Мехико в вас стреляли уличные бандиты... И вы впоследствии пели партию царя в «Годунове», сидя в кресле, укрыв полотном свою простреленную ногу...*

– Лечащий врач меня тогда предупредил, что всю жизнь нога будет болеть – сильно, не очень сильно и просто – болеть. Но с болью можно смириться, отрешиться... Ведь (повторяю) людей в театре интересует не мое здоровье, а качественный продукт, первого сорта! Чтоб зрители ушли домой не больными и не пожалели о проведенном на моем спектакле времени.

– *Анатолий Иванович, голос – это Божий дар. Вам бывает порою не по себе – а что, если вдруг...?*

– Голос – это субстанция не материальная. Его можно только услышать. И, как дар Божий, его нужно беречь... Страшно за него всегда. Сомневаюсь в себе всегда. Работа артиста – это ежедневная работа над собой. Возвращаясь к началу разговора, могу сказать: как только артист решил: я – звезда, я – великий, в тот же момент он как творческая индивидуальность становится неинтересен!

– *Почти 20 лет вы работаете на сценах лучших оперных театров – Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Гранд-опера... И такой редкий гость дома – в Киеве. Почему?*

– Не от меня это зависит. Видимо, руководство театра не желает этого... Тогда и возникает мысль: может, не нужен? А если специалисты стране не нужны, то они будут находить работу вне Родины... Задача руководства страны – беречь лучшие кадры, создавать условия для работы, заинтересовывать любым способом, найти возможность, финансовую в том числе, чтобы лучшие артисты не уезжали из страны, а оставались работать дома... Ведь уезжают именно ЛУЧШИЕ!

Честно скажу, я уже устал, как цыган, скитаться по миру. Но, увы, дома не нужен. Я не жалею... Но, к сожалению, такова реальность.

«Своих не любят на Руси» (поет). Мусоргский. «Хованщина»... Это увековечено... Своих не любят и не ценят. Ценят посмертно... И то не всех...

Некоторые сплетники распускают слухи, будто бы я демонстративно уехал из страны. Это неправда. Я только работаю за границей. Хотя мне все время предлагают остаться за рубежом. А я не хочу. Я езжу на работу. И возвращаюсь домой. Я – гражданин Украины. Вы видели мой паспорт? Он такой же, как ваш. На всех моих афишах, практически на всех языках мира написано, что я – из Украины. И я горжусь этим! Здесь я родился, здесь – мой дом, моя квартира, в конце концов. Говорят, «он стал слишком дорогим артистом». Что это за базарные разговоры!? Повесьте тогда мне ценник на шею, чтобы я знал, во сколько меня оценивают на Родине! Но у меня сложилось впечатление, что кому-то выгодно отторгнуть меня! Я скажу словами Владимира Высоцкого: «Не надейтесь – не уеду!» Я не политический деятель. Я – артист.

– *Вы получили звание народного артиста СССР в 32 года. А как относитесь к сегодняшнему присвоению артистических званий в Украине?*

– При Союзе со всеми тогдашними глупостями, тупыми запретами и отношения между людьми, и культура были иными. В

Советском Союзе я знал двух академиков: хирурга Александра Шалимова и авиаконструктора Олега Антонова... А сейчас «академиков», которые не умеют, простите, грамотно построить предложение, больше, чем гусей в сельских дворах. Это девальвация.

– *Когда приезжаете, смотрите украинское ТВ? Возможно, настраиваетесь на некоторые музыкальные программы?*

– Это шабаш. То же самое и в парламенте. Культура – зеркальное отражение власти, отражение духовного потенциала тех, кто у власти. Это неинтеллигентные, необразованные люди, которые ненавидят друг друга и топят свою страну на глазах у всего мира! Они подсовывают вместо искусства суррогат. Наевшись этой «отравы», растет поколение духовных инвалидов. И государство не делает ничего, чтобы изменить ситуацию. А это уже настоящая беда... Это кризис культуры, кризис интеллекта...

Поймите меня, я не ханжа. Мне приятно, как любому мужчине, видеть женщину в интимной романтической обстановке... Но сцена – не место для демонстрации нижнего белья. И если я прихожу на концерт, я хочу услышать прежде всего качественную музыку, профессиональный вокал, драматический талант.

Я не могу понять, почему такой бум вокруг этой... Сердючки... Определение «музыка» здесь даже употреблять кощунственно. И это «чучело» представляет Украину? Да оно лишь позорит ее. Это разве Украина?

– *Поэт Евгений Евтушенко однажды эпиграмму вам посвятил...*

– Да-да...

«У Кочерги, у Анатолия

Особенная анатомия...

Он глоткой только ест и пьет,

А сердцем дышит и поет».

Здорово написано!

– *А какие у вас в юности были творческие мечты и осуществились ли они?*

*трамплином на мировую сцену.*

– Мечтал спеть в Ла Скала. Спел. Мечтал увидеть Николая Гяурова. Мы не только увиделись, но спели дуэтом в «Борисе Годунове» и в «Доне Карлосе», подружился... Мечтал увидиться с Лучано Паваротти... Он подарил мне свою фотографию, мы вместе пили вино... Ну а когда Клаудио Аббадо пригласил меня на постановку «Годунова», об этом даже мечтать было страшно. Но и это осуществилось.

– *Именно приглашение Клаудио Аббадо стало для вас трамплином на мировую сцену.*

– Аббадо – мой кумир в музыке. Он сделал для меня буквально все. Благодаря ему я стал известен на Западе. Конечно, голос, но остальное – его заслуга. Аббадо открыл меня для элитной оперной культуры Запада.

– *Говорят, Аббадо долго искал вас.*

– Слава Богу, нашел. В нашем оперном на его звонки и запросы все время отвечали странно: то занят, то на гастролях и т.п. Это он рассказал мне сам, когда мы уже встретились в Австрии, куда я приехал погостить у друзей... Мне ни разу не передали, что Аббадо разыскивает... Как не передали ни одного из 200 запросов Герберта фон Караяна.

С Караяном успел познакомиться, когда уже работал за рубежом. Но слишком поздно – гениальный дирижер был уже болен и вскоре умер...

– *А Ростропович? Когда с ним познакомились?*

– В 1994 году Ростропович ставил в Ла Скала «Мазепу», и я был приглашен на партию Кочубея. Слава добрый был. Великий во всем: и как музыкант, и как человек. С ним было приятно и легко работать. Мы подружились. В сауну ходили, в бассейне плавали... В этом и гениальность Ростроповича: гением он был только в музыке, а в общении, в дружбе – простой, милый человек. У меня хранится бутылочка вина, подписанная его рукой, и я никогда эту бутылочку не открою... Это память... Уходят люди... «Смерть самых лучших выбирает и дергает по одному», – опять слова Высоцкого...

– *Сегодня в оперном мире нет таких больших режиссеров, как Висконти...*

– Равновеликих не встречал. Уходят гении... Вот думаю, кто придет вслед Франко Дзеффирелли? Он жив еще, слава Богу. Я участвовал в его постановке «Дон Жуан». Он никогда не давит на актера. Не загоняет его в узкие рамки режиссерского коридора – твори, предлагай, фантазируй. В общении – простой, удивительный. Ну, чудо человек!

Великий музыкант Клаудио Аббадо. Обаятельный, добрейший. Наши борщи обожает! Без любви и без трепета не могу эти имена называть. Конечно, свело нас и сдружило в первую очередь творчество и единомыслие в искусстве.

Людей талантливых много. Но величин, которые всей жизнью и творчеством доказали свое непревзойденное мастерство, остается все меньше. Волей Божьей создан их высокий пьедестал. Бог умеет выбирать тех, кто этот пьедестал заслужил. А мы... Мы умеем только свергать с пьедестала.

С благодарностью и любовью вспоминаю работу в Киеве с Ириной Александровной Молостовой. Сложная была, очень разная. С мужским характером. Высочайшего интеллекта женщина, энциклопедически образованна! Потрясающе работали с ней над образом Мефистофеля в ее постановке оперы «Фауст» и Досифея в «Хованщине». И это останется в моем сердце на всю жизнь.

– **Что на сегодняшний день отличает постановки оперных спектаклей на Западе?**

– Не надо ориентироваться на Запад во всем. Мне приходилось участвовать в постановках, когда на сцене происходили жуткие вещи... Только американцы (в основном) еще придерживаются классического уровня и стиля оперных спектаклей. А в Европе – вспоминать без содрогания некоторые постановки невозможно. Вот пришлось мне участвовать в одной такой постановке «Риголетто», где практически все персонажи были в обезьяньих масках... Мы, артисты, просто задыхались в них. Верди, если б ожил и увидел эти «морды», то сразу бы снова умер. Или бы запретил категорически даже прикасаться таким режиссерам к своему произведению.

Или половые акты на сцене... Натуральная имитация семи половых актов в опере Моцарта «Дон Жуан»... В том же спектакле – Дон Жуан за диваном справляет малую нужду... И такая грязь, гадость на сцене...

А в каком-то спектакле меня резали чуть ли не отверткой, давали мне пять литров красной липкой жидкости, чтобы море крови на сцене выглядело максимально натуральным. И артист лишен слова – он только исполнитель воли продюсера.

– **Вы считаете себя везучим человеком?**

– Многое не случилось... Но о том, что не случилось, нет смысла жалеть. Вот часто приходилось мне наблюдать богатых людей. Это зачастую – несчастные люди... Потому что не понимают – в гробу карманов нет. Ничего туда с собой не заберешь! Надо радоваться жизни каждый день, каждую минуту. Уметь создать праздник вокруг себя. Пусть не пир на весь мир, но маленькую радость, счастье подарить своим близким, друзьям. Любовь... Нежность... Что может быть прекрасней? А чувства – это культура. Да, да! Проявление чувств зависит от внутренней культуры: это и воспитание, и образование, и интеллект, и душа человеческая. Культура – основа человеческой личности. Поэтому и нужно беречь талантливых людей».

\*\*\*

У напряжённо работающих выдающихся артистов нет времени для писания мемуаров и часто даже дневников. Поэтому



всегда интересны интервью с достаточно профессиональным журналистом, которые артисты дают газетам, радио или по телевидению. В вышеприведённом интервью Анатолия Кочерги затрагивается большой круг проблем оперного искусства, вокала, общения с выдающимися музыкантами и вообще размышлениями о жизни. Поэтому в процессе работы над этим очерком появилось искушение дать также отрывки из другого интервью Анатолия Кочерги. Некоторые его утверждения в нём ошибочны, чего-то он не знает, что-то преувеличивает или недооценивает, но в целом оно рисует довольно ясный портрет выдающегося артиста наших дней. Слушая его записи вспоминаешь голоса Шаляпина, Бориса Христова, иногда Рейзена, а иногда и Гяурова. Это не значит, что замечательный артист подражает своим предшественникам. Это значит, что он их преемник и последователь. В то же время его сознание полно типичных штампов, в которых ясно виден «советский синдром» Поэтому думается, что знакомство с отрывками из этого второго интервью будет также достаточно интересным.

**Анатолий Кочерга: У нас уважают посмертно, а я жить хочу**

09.12.2011 | Текст: Татьяна Омельченко специально для Weekly.ua

**Украинский бас Анатолий Кочерга начинал свою карьеру в Киевском оперном театре, а продолжил в Венской опере, Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, где поет уже более двадцати лет. Народный артист СССР рассказал Weekly.ua, как ему работаете на Западе, и раскрыл тайны украинских оперных звезд**

***Правда ли, что к певцам, выходящим из бывшего Советского Союза, на Западе относятся предвзято?***

А. К. Да. Как к дешевой рабочей силе. Нашим певцам платят маленькие гонорары, хотя очень часто они намного превосходят западных коллег. Таков менталитет Запада. Они почитают себя более высокой расой и только создают видимость дружбы между народами, используя культуру других наций себе на пользу. Конечно, европейцы и американцы называли меня «вторым Шаляпиным», признали мой бас выдающимся, но своим я там так и не стал. *(Чтобы стать «своим» - для этого следовало приехать на Запад в 10-12-летнем возрасте. И притом – навсегда! Едва ли кто-нибудь демонстрировал своё «расовое превосходство» уважаемому певцу. Скорее всего это всё-таки постсоветский синдром. А.Ш.)*

***Может быть, в Украине недостаточно высок уровень музыкального образования?***

А. К. Бывает и такое. Нас обвиняют в незнании музыкальных стилей, о которых сами ничего не ведают. Как ужасно на Западе поют русские оперы, особенно немцы – ниже уровня художественной самодеятельности! Так артикулировать и произносить слова непозволительно. Но они считают свое исполнение высочайшим классом, не понимая при этом, о чем поют. Я же привык знать все о произведении, над которым работаю. **Да и в целом Запад далеко отстал от нас по уровню вокальной школы, которая в СССР была великолепна** (Ну, если бы это было так, глубоко уважаемый Анатолий Иванович, то зачем нужно ездить чему-то учиться в Италии? - А.Ш.). Меня, кстати, до сих пор никто не спросил, что я оканчивал, какие награды имею за свое пение. Поэтому в своей биографии в программках я просто пишу «бас из Украины». (Увы, действительно частое незнание стилей – беда не только певцов, но и многих поколений советских музыкантов-исполнителей, что не отменяет скверного исполнения русских опер на сценах западных театров. Что касается «отставания Запада» от вокальной школы в СССР, то вспоминаются слова А.Галича: «И вообще отстали вы от нас – лет на сто!» - А.Ш.)



**Кто из украинских певцов наиболее востребован за границей?**

А.К. Михаил Дидык, Владимир Кузьменко, Ольга Микитенко. Некоторые наши исполнители говорят, что пели в разных знаменитых театрах, но зачастую это неправда. Например,

Виктория Лукьянец, певица легкого, колоратурного голоса, действительно добилась признания на Западе, но на Зальцбургском музыкальном фестивале она не пела. Я тогда был в Зальцбурге и знаю, что Лукьянец повезло заменить заболевшую примадонну лишь на генеральной репетиции.

*(Виктория Лукьянец, певшая генеральную репетицию с публикой, вполне имеет право писать об участии в Зальцбургском фестивале. Так все певцы, певшие на сцене МЕТ потом всю свою профессиональную жизнь пишут в своих рекламных листках: «Солист Метрополитен Оперы». Это сложившаяся практика во всём мире. Хотя формально А.К и прав. А.Ш.)*

**Сейчас много говорят о «новой Марии Каллас» – певице из России Анне Нетребко. Каково ваше мнение о ней?**

А. К. Люди сами создают себе кумиров и превозносят их. С Нетребко я пел в Мюнхене, знаю, как она начинала. Ничего особенного в ней нет, на Западе таких талантов немало. Кто-то ее целенаправленно тянет, протезирует. Но эту певицу беспощадно эксплуатируют, что чревато быстрой потерей голоса. Все говорят о номинации Нетребко на премию «Грэмми», а у меня таких номинаций две! Но в Украине это никого не интересует. У нас все почитаемы посмертно, а я жить хочу.

**С кем бы вы хотели спеть?**

А. К. Сделал бы совместный концерт с Марией Гулегиной, Еленой Зарембой, с меццо-сопрано Анной Смирновой, с которой пел в Ла Скала. Спел бы с баритоном Владимиром Черновым, который сейчас преподает в консерватории Лос-Анджелеса».



**Правда ли, что за границей с заработков оперных певцов взимаются огромные налоги?**

А. К. Налог собирается автоматически. К примеру, в Германии он составляет более 50%! Попробуйте не отдать – окажетесь в тюрьме. Во Франции налог 38%. Импресарио получает

10%. У меня, кстати, трое импресарио.

Сегодня гонорар за спектакль в самом дорогом театре мира Метрополитен-опера – \$10 тысяч. Максимальные гонорары получают теноры. За ними идут женские сопрано, баритоны, басы. Существует мировая организация импресарио, без санкций которой повышать или понижать ставки артистов не принято.

*(Налог конечно «отбирается» автоматически как в Европе, так и в Америке. Но, в эту сумму входят отчисления в пенсионный фонд, расходы на медицину в престарелом возрасте и.т.д. Странно, что столь долго уже живущий на Западе певец этого не знал.- А.Ш.)*

***Как складываются ваши отношения с Национальной оперой Украины?***

А. К. Никак. Кому-то очень нужно, чтобы Кочерга не пел в Украине, я и не навязываюсь. Пару лет назад выступал в киевской опере с партией в «Евгении Онегине». Все закончилось малоприятно. Администрация театра постоянно со мной торговалась: не могли оплатить мое выступление. Ужасно не люблю торги. Есть деньги – приглашайте, нет – не приглашайте. На Западе меня никогда не ставили в положение «мы приглашаем, но не знаем, заплатим ли гонорар».

***Как сегодня, на ваш взгляд, развивается главная оперная сцена нашей страны?***

А. К. Плохо. Нужно другое руководство. Я бы всех уволил и сделал новый набор в труппу. Ведь от солистов зависит качество спектаклей. Ввел бы контрактную систему, которая хорошо дисциплинирует, и делал бы постановки интересными не только актерам театра, но и публике. Сейчас в Украине масса народных артистов. Нельзя настолько девальвировать высокие звания. Чуть ли не каждый второй – народный. Смешно!

***На каких театральных подмостках вы выступите в ближайшее время?***

А. К. Вместе с бывшим солистом Национальной оперы тенором Михаилом Дидыком буду участвовать в премьере «Хованщины» Мусоргского в Нью-Йорке 27 февраля. Потом меня ждут постановки опер «Дон Карлос» и «Борис Годунов» в Мюнхене. Далее в графике – Испания, Италия и Франция. Также собираюсь спеть вокальный цикл «Песни и пляски смерти» Мусоргского в Буэнос-Айресе и Токио».

\*\*\*

Эти воспоминания хотелось бы закончить в более оптимистической тональности. В последние годы, как сообщают многие источники, Ольга Бородина испортила свои отношения с ведущими театрами Европы. Она давала не одно интервью,

посвящённое этой теме. Её отказы там петь делают ей честь. Особенно это относится к сегодняшней Венской опере. Вот короткие выдержки из ряда её интервью, которые объясняют ситуацию интересующимся любителям оперного искусства.



Ольга Бородина на сцене МЕТ в опере Россини "Итальянка в Алжире"

***– Metropolitan Opera – ваш любимый театр?***

«Да. Когда приезжаю в Met, мне всегда говорят: “Welcome home”. Я в Нью-Йорке всегда бываю с удовольствием. Еще и потому, что там везде и всегда порядок. И ты заранее знаешь за год, за два расписание репетиций и даты спектаклей. И кто твои партнеры, дирижер и режиссер. И там прекрасный пошивочный цех, который сделает такие костюмы, в которых ты будешь хорошо смотреться. И от тебя требуется только быть здоровым и готовым к работе».

«Я начинала как руссиневская певица, и это был для меня необыкновенный опыт. Я всегда считала себя трагической певицей, но «Итальянка в Алжире» изменила мой имидж. В Америке потом газеты писали, что это чуть ли не лучшая моя роль, то есть они считают, что как комическая актриса я лучше, чем драматическая.

Это было даже смешно!» *(Это было совсем не смешно! Это было превосходно, даже после одной из лучших исполнительниц этой роли - Мэрилин Хорн - А.Ш.)*

***А вы когда-нибудь будете писать мемуары? Ведь вы пели на одной сцене с самим Лучано Паваротти, вас высоко оценили певцы мирового класса - Пласидо Доминго, Мирелла Френи...***

«Когда я приехала сюда, на Запад, в первый раз - одна, без театра, конечно, я начала приобретать многое... Этот процесс совершенствования шел столь интенсивно, и все только потому, что рядом были великие певцы современности. Пласидо – он до сих пор остается для меня величайшим тенором. Я очень многому у него научилась. Я много общалась с ним, мы вместе работали в таких операх как «Самсон и Далила», «Адриенна Лекуврер». Общение с такими известными, не боюсь сказать, великими певцами и дирижерами, без сомнения, формировало меня как личность, как певицу».

***– Вы прослеживаете прямую зависимость между увеличением откровенно режиссерских постановок и уменьшением высококлассных певцов?***

– «Безусловно. Как бы это мягче выразиться... Мне пытаются втолковать, что сегодня у публики не проходят красивые душевные постановки. Реально это совсем не так. Люди не только в Санкт-Петербурге, но и во всем мире спрашивают меня: “Но когда же наконец мы увидим то, чего так ждем?” На самом деле удручают все эти извращенческие переделки, когда сюжет оперы запикивают в некие дурацкие обстоятельства. Единственное, что я могу сделать, – не участвовать в том, в чем не хочу. Мне участвовать хочется только в чем-то красивом и настоящем, что ныне большая редкость».

\*\*\*

Трудно себе представить сегодня, как ещё совсем недавно на мировой оперной сцене работали такие режиссёры, как Б.А.Покровский, Отто Шёнк, Сэр Питер Холл, Джон Дэкстер, пока ещё работает Франко Дзеффирелли. Но тон сегодня задают такие, как режиссёр Дмитрий Черняков – автор недавней постановки «Руслана и Людмилы» в Большом театре. Его приглашают много и в театры западной Европы. Так что вероятнее всего на годы вперёд любители оперы «обеспечены» дикими постановками, перекраивающими замысел либретто и самих композиторов. Ни музыка, ни либретто, ни литературный первоисточник, ни дух эпохи, о которой повествуется в операх композиторов многих стран и народов – не это всё самое главное для современных оперных режиссёров! Самое главное для них – они сами! Их собственное

«видение», превращающее классику в мусорную свалку, либретто в использованные газеты, а музыку – лишь как иллюстрацию их «видения». Зато это совершенно «новомодно»!

А всё же невозможно поверить в конец оперного искусства, ведь оно основано на самом древнем и самом естественном «музыкальном инструменте» - человеческом голосе. Этот голос способен выражать тончайшие движения человеческой души, претворённые гениями прошлого – Бахом, Генделем, Моцартом, Бетховеном, Чайковским, Штраусом – в свои бессмертные произведения. А они, даже как просто музыка, всегда будут радовать людей, как глубоко бы и пало современное «видение» этого жанра.



# Борис Тененбаум

## 1812. Глава из новой книги

(продолжение. Начало см. в № 7/2011 и сл.)

### Вторжение

I



Александр Первый узнал о переходе границы французской армией на балу - он был гостем Беннигсена в его именини под Вильно. Вряд ли эта весть оказалась для него шоком. Донесения о неизбежности войны поступали к нему из множества источников - и политических, и военных, и дипломатических. План действий тоже был готов - предполагалось отступление. Настоящим рубежом обороны считалась Двина, все территории западнее ее сдавались без боя, даже Вильно.

Превосходно налаженная русская разведка доносила, что переход частей Великой Армии из Германии через Польшу сопровождался большими потерями - страна была бедной, расстояния большими, провианта не хватало, а запасы, хранимые в сопровождающих армию обозах, трогать было запрещено. Наполеон предвидел трудности, связанные со снабжением своих войск на огромных пространствах России, и загодя образовал специальную транспортную службу обозов.

Она состояла из 26 транспортных батальонов. Четыре из них было оснащены легкими телегами, грузоподъемностью в 600 килограмм, по 150 телег на батальон. Еще четыре батальона имели телеги покрепче, на 1000 килограмм, а все остальные получили особые повозки, на полторы тонны, те самые, которые Наполеон велел изготовить в предвидении русского похода, и эскизы которых сумел сделать полковник Чернышев.

Упор на повозки повышенной грузоподъемности был сделан для того, чтобы ограничить количество лошадей, потребных для перевозок. Дело тут было в том, что на тяжелый



воз требовалась четверка, а на легкий - пара. И интендантская служба генерала Матье Дюма подсчитала, что при использовании легких телег четверка коней в двух повозках перевезет 1200 килограммом груза, а при использовании крепких тяжелых повозок перевезет в одной повозке 1500 килограммов. Так что ставка была сделана на тяжелый транспорт. Беспокойство о снабжении выразилось и в том, что вслед за армией двигались гурты крупного рогатого скота как своего рода запасы мяса,двигающиеся своим ходом. Была даже сделана попытка организовать транспортные колонны, где вместо лошадей в качестве тягловых животных использовались вола - их можно было позднее использовать в пищу.

Русская кампания сильно отличалась от всех прочих, предпринятых до сих пор Наполеоном. Если в ходе его знаменитых итальянских походов солдаты несли на себе трехдневный запас пищи, обходились без обозов, и стремительно двигались вперед, находя себе все необходимое по дороге, то сейчас "возимые запасы" к началу войны составляли 24 дневных рациона на каждого солдата. Это был очень высокий норматив - даже методичные и осторожные австрийцы брали за основу 9-дневные запасы еды.

Просторы и малонаселенность России рассматривались как весомый военный фактор - поскольку конфисковать продовольствие на месте будет затруднительно, его следовало привезти с собой.

Это относилось не только к еде. Как пишет в своих мемуарах граф де Сегюр, в полках были мастера на все руки: и пекари, и каменщики, и портные, и сапожники, и, разумеется, оружейники. Можно было, например, самостоятельно изготовить лафет для орудия, можно было смолоть хлеб без того, чтобы использовать захваченные у врага жернова - честью носимого и возимого запаса Великой Армии были ручные мельницы.

Наполеон полагал, что "*... с такими ресурсами мы будем пожирать расстояния ...*".

Он заблуждался.

## II

Даже сейчас, спустя пару сотен лет, когда многое стало известным, когда мемуары участников событий не только написаны, но уже давно и прочитаны, какие-то вещи остаются совершенно непостижимыми. Географические пределы русского похода были неопределенны. Никаких указаний на этот счет штаб Великой Армии не получил, и даже маршалы о конечной цели кампании ничего не знали - факт совершенно невероятный. Наполеон завел такую систему правления, при которой его

решения обсуждению не подлежали. Поэтому о границах его замысла можно только гадать, и гадать с учетом мегаломании императора - об Индии он говорил не только с Нарбонном...

С другой стороны, на всю кампанию 1812 года по планам отводилось всего три недели. Вторжение, комбинированный марш-маневр с целью окружения главных сил русской армии, ее разгром на манер "второго Аустерлица" - и после этого полная готовность к миру - на тильзитских условиях. Как Наполеон собирался согласовать короткую кампанию с ее неограниченным географически горизонтом, знал только Наполеон - и своими мыслями на эту тему он с потомством не поделился.

С другой стороны - Александр о подступающей грозе знал, и очень основательно готовился встретить бурю. Стараниями военного министерства - сначала под руководством Аракчеева, а потом - Барклая де Толли - русская армия была приведена в порядок, наилучший по существующим условиям: было улучшено обучение рекрутов, артиллерия подтянута до европейского уровня, заведена система корпусов, такая же, как в Великой Армии.

24 июня 1812 года русская армия на западных границах была разделена на 1-ю армию, под командой Барклая де Толли, 2-ю армию, под командой Багратиона, и 3-ю армию, под командой Тормасова - Александр НЕ назначил для своей армии единого главнокомандующего.

Факт совершенно непостижимый.

Командующие были друг от друга независимы, и Багратион, и Тормасов превосходили Барклая де Толли по длительности службы в генеральских чинах - но их обе армии были много меньше, чем 1-я армия, даже вместе взятые. Кроме того, Барклай де Толли располагал полномочиями военного министра - что не давало ему командных прав в отношении к Багратиону или Тормасову, но влияло на распределение резервов и припасов.

В довершение к этой неразберихе, при 1-й армии находился и сам царь, со всей своей свитой. Следовательно, на распоряжения, исходящие из ставки Барклая де Толли, Багратион должен был смотреть как на приказы, сделанные по крайней мере с ведома Александра. С другой стороны, сам Барклай де Толли не мог свободно распоряжаться в 1-й армии - одним из корпусов, подчиненных ему, командовал брат царя, Константин Павлович. Мало того, что приказывать такому лицу следовало с большой осторожностью, но Константин Павлович при несогласии со своим номинальным начальником мог в любую минуту пожаловаться самому императору - и приказ был бы тут же отменен.

И тем не менее - вся эта странная структура командования была сохранена. Войскам 1-й и 2-й армий было приказано отступление. А к Наполеону Александр Первый послал верного человека, к нему приближенного – А.Д.Балашова.

### III

Александр Дмитриевич Балашов к царю был приближен до такой степени, что до самого недавнего времени был министром полиции, а до этого - Санкт-Петербургским военным губернатором. После ареста Сперанского Александр взял его с собой в Вильно, а 25-го июня 1812 направил с письмом к Наполеону, с предложением вернуться к статус-кво. Это был своего рода "визит Нарбонна", только в этот раз посланец Александра ехал к Наполеону, а не наоборот. Царь вряд ли рассчитывал на успех. Вот что было им сказано Балашову при прощании:

*“...Ты, наверно, не ожидаешь, зачем я тебя позвал: я намерен тебя послать к императору Наполеону. Я сейчас получил донесение из Петербурга, что нашему министру иностранных дел прислана нота французского посольства, в которой изъяснено, что как наш посол князь Куракин неотступно требовал два раза в один день паспортов ехать из Франции, то сие принимается за разрыв и повелевается равномерно и графу Лористону просить паспортов и ехать из России. Итак, я хотя весьма слабую, но вижу причину в первый еще раз, которую берет предлогом Наполеон для войны, но и та ничтожна, потому что Куракин сделал это сам собой, а от меня не имел повеления. ... Хотя, впрочем, между нами сказать, я и не ожидаю от сей посылки прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит новым доказательством, что начинаем ее не мы...”*  
[2].

Пожалуй, первое, что обращает на себя внимание в царской речи - так это обращение на "ты" к 42-летнему генералу. Ну, таковы были нормы этикета того времени: безусловно вежливый и прекрасно воспитанный Александр Павлович к подданным своим обращался на "ты". Мог даже, с целью ободрить, сказать почтенному старику, что относится к нему по-отечески ...

Балашов отправился навстречу французам, был остановлен на их аванпостах, задержан, и оставался при штабе маршала Даву до тех пор, пока в Вильно, в той самой комнате, из которой пятью днями ранее Александр Первый отправил его с поручением, не встретился наконец с Наполеоном. Состоялся разговор. Он известен нам, в частности, из сцены, вошедшей в "Войну и Мир" - Л.Н.Толстой в своей работе опирался на

воспоминания самого А.Д. Балашова, и создал, право же, истинный шедевр - написано так, что создается впечатление присутствия при беседе:

“...Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что *Moscou* называют *Moscou la sainte*?<sup>1</sup> Сколько церквей в *Moscou*? — спрашивал он.

И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал: — К чему такая бездна церквей?

— Русские очень набожны, — отвечал Балашев.

— Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, — сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.

Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.

— У каждой страны свои нравы, — сказал он.

— Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, — сказал Наполеон.

Прошу извинения у вашего величества, — сказал Балашев, — кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.

Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно.

По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», — говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашева о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший все время обеда настороже, отвечал, что *comme tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à Moscou*, что есть много дорог, и что в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII, сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: «*Poltawa*», как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях...”.

Можно обратить внимание на то, что Толстой пишет фамилию А.Д. Балашова как "Балашев", в других источниках он именуется "Балашовым" или "Балашёвым". Наглядно видно, как нелепо самодоволен Наполеон, и как достойно отвечает ему

искренний русский генерал. И как хороши его намеки на Полтаву, под которой был разбит Карл XII, и на Испанию, где французы вот уж четвертый год напрасно старались положить конец "малой войне", герилье, которая стоила французам по 40-50 тысяч человек ежегодно.

В общем, все это очень хорошо - но вполне вероятно, что ничего этого на самом деле не было.

#### IV

Л.Н.Толстой для своего романа охотно использовал подлинные документы эпохи, и записки А.Д.Балашова как раз попадают под это определение. В конце концов, мемуарист сам говорил с Наполеоном, свидетельство его, что называется, из первых рук - чего же требовать еще? Но примем во внимание, что документы пишут люди, а людям, как известно, свойственно и ошибаться, и заблуждаться, и даже совершенно сознательно лгать. Так что к мемуарам есть смысл относиться примерно так же, как к показаниям свидетелей - "...мемуары современников..." примерно то же самое, что "...свидетельства очевидцев...". Посмотрим на показания Балашова с долей скептицизма - с таким скептицизмом посмотрел на них Е.В.Тарле. Он жил в опасное время, и не всегда мог позволить себе быть откровенным. Но эпизод с Балашовым относится к темам относительно безопасным. Об этом можно было писать то, что думаешь - и какую же меру убийственного сарказма Евгений Викторович отмерил и Балашову, и его мемуарам:

*"...Для изложения беседы Балашова с Наполеоном у нас есть только один источник — рассказ Балашова. Но, во-первых, записка Балашова писана им явно через много лет после события, во всяком случае уже после смерти Александра I, может быть, даже незадолго до смерти самого Балашова; на обложке рукописи было написано: «29 декабря 1836 года», а Балашов скончался в 1837 г. Во-вторых, придворный интриган и ловкий карьерист, министр полиции, привыкший очень свободно обходиться с истиной, когда это казалось кстати, Александр Дмитриевич Балашов явственно «стилизировал» впоследствии эту беседу, т. е. особенно свои реплики Наполеону (о том, что Карл XII выбрал путь на Москву через Полтаву; о том, что в России, как в Испании, народ религиозен, и т. п.). Это явная выдумка. Не мог Наполеон ни с того ни с сего задать Балашову совершенно бессмысленный вопрос: «Какова дорога в Москву?» Как будто в его штабе у Бертье давно уже не был подробно разработан весь маршрут! Ясно, что Балашов сочинил этот нелепый вопрос, будто бы заданный Наполеоном, только затем, чтобы*

*поместить — тоже сочиненный на досуге — свой ответ насчет Карла XII и Полтавы...”.*

И дальше, говоря о другом таком же вопросе Наполеона, выдуманном задним числом, Евгений Викторович добрее к Балашеву не становится:

*“...Точно так же не мог Наполеон сказать: «В наши дни не бывают религиозными», потому что Наполеон много раз говорил, что даже и во Франции много религиозных людей, и в частности он убежден был в очень большой религиозности и в силе религиозных суеверий именно в России. А выдумал этот вопрос сам Балашов опять-таки исключительно затем, чтобы привести дальше свой тоже выдуманный ответ, что, мол, в Испании и в России народ религиозен...”.*

Не знаю, как вам - мне аргументы Тарле кажутся убедительными.

#### V

Оставляя в стороне достоверность язвительных ответов Балашова на вопросы, которые ему, скорее всего, не задавали, мы все-таки знаем, что сам-то разговор состоялся, и его общее направление мы тоже знаем: Наполеон сожалел об опрометчивом поведении Александра и о его дурных советчиках, гневался по поводу того, что царь дает убежище личным врагам Наполеона - список был довольно длинным, и так далее. Впрочем, распрощался он с Балашовым весьма любезно, распорядившись дать ему самых лучших лошадей.

*“...готовы ли лошади генерала? Дайте ему моих, ему далеко ехать !...”*

Насчет *“...далеко ехать...”* - это шпилька на прощание, намек на то, как далеко отступили русские.

Сразу после отъезда Балашова в кабинете императора произошла и еще одна сцена. Нам она известна из мемуаров де Сегюра. Наполеон в ходе своей аудиенции с царским посланцем сказал ему, что он не одинок в своей преданности Александру, и указал на Коленкура. Он еще и добавил, что Коленкур - *“...старый царедворец петербургского двора...”*. Шутка эта, по-видимому, Коленкуру показалась не смешной. При Балашове он, конечно, сохранил молчание. Но после его отъезда, полностью презрев придворный этикет, Коленкур сказал Наполеону, что докажет императору, что он хороший француз, и сделает это именно тем, что будет повторять ему снова и снова, что война с Россией неполитична, что она погубит армию, Францию, и самого Наполеона, и что поскольку император оскорбил его подозрением в недостаточной лояльности, он хочет уйти со своей службы при его особе и просит о переводе в Испанию, где никто не хочет

служить, и где он будет как можно дальше от Наполеона.

Ну, это не был язык, к которому привык повелитель Европы. Совсем недавно, в Дрездене, вассальные государи, включая королей и даже одного императора, его собственного тестя, осыпали его самой бесстыдной лестью.

Однако Наполеон не вспылал, как с ним это уже часто случалось при малейшем возражении. Он пытался успокоить Коленкура, не смог, и в конце концов прервал разговор - но на следующий день совершенно формально приказал ему и дальше оставаться в его ставке, и был с ним внимателен и ласков.

Может быть, это было своего рода извинением? Он сознавал, что напрасно обидел верного человека, чью преданность ценил? А может быть, у него было некое смутное ощущение, что кампания идет не так, как задумано?

Сам Наполеон свои взгляды на военное дело в систематической форме никогда не излагал, но кое-что осталось в форме афоризмов, брошенных тут и там. И один из них гласил, что вся трудность заключается в том, что надо устроить так, чтобы армия жила врозь, а сражалась вместе.

При применении на практике это означало следующее:

1. Все огромное скопление людей, именуемое армией, в обычное время следует рассредоточить как можно шире, чтобы его было легче прокормить.

2. В канун сражения огромное скопление людей, именуемое армией, следует сосредоточить, чтобы его можно было задействовать - целиком и сразу.

На русскую кампанию 1812 года отводилось три недели - решающая битва ожидалась вскоре после перехода границы, не позднее середины июля. Следовательно, войска было необходимо сосредоточить.

Очень скоро это начало на них сказываться.

## VI

Всякая армия того времени в движении теряла людей. Кто-то оставил, кто-то дезертировал - это зависело от многих факторов. Быстрый марш через пустынную ненаселенную местность "съедал" армию. В качестве примера можно привести спешный поход корпуса генерала Жюно через Португалию - ему было приказано успеть войти в Лиссабон к определенной дате, и Жюно к этой дате успел. С ним вместе в столицу Португалии вошли 2000 солдат - все, что осталось от его 25-тысячного корпуса. Спротивления не было - просто марш на дистанцию в 500 километров, проделанный за три недели[3]. Многие из отставших погибли - жара, безводье, отсутствие еды и крова делали дело не хуже свинца и пороха ...

Летом 1812 года Великая Армия начала нести потери еще до начала войны, во время марша через бедную припасами Польшу. После перехода границы положение не улучшилось, и больше всего досталось лошадям. В записках участника кампании, капитана Редера, следовавшего во втором эшелоне, вслед за передовыми частями, говорится, что на относительно небольшом отрезке пути чуть восточнее Ковно он насчитал у дороги больше 3000 лошадиных трупов[4]. Причиной такого падежа он полагает то, что лошади умерли от изнеможения или от жажды, или потому, что объелись свежей травой - но добавляет, что кроме конских трупов, он видел и немало человеческих. Погода была исключительно жаркая, вонь стояла невыносимая ...

Русские отступали. В 1-ю армию, под командой Баркляя де Толли, по данным французской разведки входило 6 корпусов. Перед войной она была растянута широкой дугой, от Балтики до верхнего течения Немана. Чем шире была полоса, тем надежнее можно было прокормить и пехоту, и многочисленную кавалерию. Теперь части 1-й армии отходили в общем направлении к Двине, собираясь в единое целое. Они тоже теряли и коней, и людей - те солдаты, что были уроженцами "литовского края" дезертировали при первой возможности.

От русской 2-й армии, которой командовал Багратион, Наполеон ожидал не отхода, а наступления - репутация ее командующего была ему известна. Поэтому были сделаны приготовления для того, чтобы поймать наступающих в ловушку, их собирались буквально размолоть между корпусом Даву и вспомогательными частями вестфальцев Жерома Бонапарта. Однако Багратион отступил. У него было всего два корпуса, и ему пришлось выбрать неизбежное ... Наполеон устроил своему брату головомойку за его медлительность, но он вряд ли был справедлив - в его собственной полосе наступления, уже к моменту занятия Вильно, стало не хватать еды. Обозы безнадежно отстали, он проклинал свои транспортные батальоны, но поделаться ничего не мог - Великая Армия просто не привыкла полагаться на обозное снабжения, опыта координации движения войск с движением транспорта не было, и у командиров выбор был между маршем на пустой желудок, или задержкой, за которой следовал неизбежный нагоняй от императора. Командиры, как правило, предпочитали марш, и это обстоятельство с математической неизбежностью отражалось на состоянии их войск - дисциплина падала, солдаты начинали голодать.

Проблемы, испытываемые французской армией, оказались отмечены русским штабом, а два подробных доклада на этот счет попали непосредственно к императору Александру Первому.



Один из них представил молодой кавалерийский поручик, Михаил Орлов. Дело тут в том, что он входил в кавалерийский эскорт, сопровождавший Балашова.

## VII

Поручик Орлов, конечно, в своих действиях по принципу "*поехать и поглядеть*" никакого самоуправства и импровизации не учинял - его и послали с Балашовым именно с целью оглядеться во французском лагере. Что он рассказал царю, неизвестно, но проговорили они наедине больше часа, и государь результатами беседы остался так доволен, что включил поручика в число своих адъютантов. Второй доклад сделал Павел Граббе, бывший российский военный атташе в Мюнхене. Он попал к французам в качестве парламентаря после того, как маршал Бертье, начальник штаба Великой Армии, начал переговоры о возвращении во Францию генерала Лористона, французского посла в Петербурге, заменившего Коленкура. При всем том, что война готовилась едва ли не с 1810, формального ее объявления так и не произошло, и Лористон не был своевременно отозван. Ну, времена были такие, что в плену посла не томили - это было бы не по-рыцарски. Вскоре он был возвращен к своим, но Граббе побывал во французском стане, и многое подметил. Его отчет, в отличие от устного донесения поручика Орлова, сохранился, и там отмечается, что он видел и беспорядок, и небрежность, и много лошадей, выбившихся из сил и попросту брошенных.

Это совершенно совпадало с тем, что узнавалось из других источников, и в общем соответствовало замыслу. Согласно оборонительной стратегии, принятой перед войной за основу, предполагалось, что быстрое движение через бедные земли Литвы и Белоруссии ослабит Великую Армию, и уменьшит ее превосходство.

Оставалось и дальше действовать по плану - идти на Дриссу, в укрепленный лагерь, соединится там со 2-й армией, и дать противнику жестокий отпор. Однако очень скоро выяснилось, что и планы русского командования оказались нарушены - войска Наполеона шли вперед, наступая существенно южнее Дрисского лагеря, и оказывались в позиции, при которой их передовой корпус, под командованием Даву, вклинивался между Барклаем де Толли и Багратионом, и угрожал отсечь их и друг от друга, и от подкреплений, которые они могли бы получить из внутренних областей России.

Пришлось бросить все возведенные укрепления и спешно отступать в общем направлении на Витебск. Еще хуже пришлось Багратиону. Если 1-я армия успевала отступать вовремя, и в бой не вступала, то Багратиону все время приходилось еще и отбиваться

от преследовавших его войск Жерома Бонапарта. Две попытки прорваться на соединение с 1-й армией сквозь кордоны корпуса Даву Багратиону не удались, ему пришлось, как он говорил, "прогрызаться", спасаясь от окружения и разгрома.

Настроение это все ему не улучшалось. 8 июля 1812 он написал Аракчееву:

*"...растянули меня как кишку, пока неприятель ворвался к нам без выстрела, мы начали отходить неведомо за что. Никого не уверишь ни в армии, ни в России, что мы не были проданы. Я один всю Россию защищать не могу. 1-я армия тотчас должна идти к Вильне непременно, чего бояться? Я весь окружен, и куда проредусь, заранее сказать не могу..."*

То есть разговоры об измене пошли всего через две недели после начала войны.

А 15 июля Багратион нечто очень похожее написал и Ермолову[5]:

*"...стыдно носить мундир, ей богу, я болен ... Что за дурак ... Министр Барклай сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать. Пригнали нас на границу, растыкали как шашки, стояли, рот разили, загадили всю границу и побежали ... Признаюсь, все омерзело так, что с ума схожу ... Прощай, Христос с вами, а я зипун надену ..."*

Барклай назван и дураком, и трусом - а письмо между тем адресовано А.Ермолову. Багратион пишет ему вполне откровенно, без церемоний, как человеку, который разделяет его чувства.

Почему же при этом Ермолов, несмотря на это - его начальник штаба Барклая де Толли и как бы заместитель?

Потому, что так устроил царь, Александр Первый.

### VIII

Среди послов, аккредитованных при дворе императора всероссийского, Жозеф де Местр[6] занимал особое место. И совсем не потому, что представлял могущественную державу, или мог сыпать золото направо и налево, как Коленкур - отнюдь нет. Он был послом государя Сардинии и Савойи, владения которого после завоеваний Наполеона свелись к одной Сардинии. Жозеф де Местр мог рассчитывать только на те ресурсы, которыми располагал лично: на свой ум, проницательность и силу характера - но уж этих ресурсов у него хватало с избытком. Он считался наиболее проницательным человеком из всех, кто только входил тогда, в 1812, в состав дипломатического корпуса в Петербурге.

Так вот, Жозеф де Местр писал, что одной их характерных черт Александра Первого является то, что он, не доверяя никому, частенько сталкивает между собой людей, соперничающих друг с другом, и намеренно соединяет их по службе. При этом он

позволяет лицу подчиненному писать ему лично - стремление"... раскрыть государю глаза на истинное положение вещей ..." всячески поощрялось.

Ну, такие вещи делаются во все времена, при любом правительстве и при любом режиме.

И Наполеон, не надеясь на преданность своего министра полиции, Фуше, заводил параллельные службы безопасности. Но Наполеон, сделавшийся императором без всякого права, кроме собственных свершений, был куда менее подозрителен к своему окружению, чем Александр Первый, в теории получивший свой престол по закону. В общем, это даже и понятно. Как-никак, Наполеон встал во главе Франции в результате заговора, который он возглавлял. Александр встал во главе России в результате заговора, который провели в жизнь другие, которые к тому же убили при этом его отца.

Так что Александр был подозрителен, и распространял свою подозрительность и на лиц, которых ценил и уважал - например, на Барклая де Толли. Он считал необходимым знать как можно больше об изнаночной стороне того, что происходит, и тут неофициальные письма Ермолова, которые он мог сличать с официальными письмами Барклая, были для него очень полезны.

Оснований для беспокойства у царя было хоть отбавляй. Одно дело - рационально задуманная и планомерно осуществляемая Барклаем "стратегия отступления". Другое дело - как это отступление воспринимается публикой. Конечно, слово "публика" тут весьма условно, скорее уж надо было бы сказать нечто более определенное. Ну, скажем, "*... влиятельные круги политического класса России ...*", вроде тех, взгляды которых были представлены царю Карамзиным на чтениях у Екатерины Павловны в Твери?

Вот что писал видный член кружка старо-руссов, новоназначенный государственный секретарь Шишков[7]:

*"Как? В пять дней от начала войны потерять Вильну, предаться бегству, оставляя столько городов и земель в добычу неприятелю, и, при всем этом, хвастать началом кампании? Да чего же еще недостает неприятелю? Разве только того, чтобы без всяких препон приблизиться к обеим столицам нашим? Боже милосердный! Горючие слезы смывают слова мои!"*

Что же должен был думать и говорить Шишков, когда 17 июля было решено без боя оставить Дрисский укрепленный лагерь, и немедленно отступать дальше на восток, к Витебску?

Государственный секретарь решил, что его долг попытаться сделать все, что он может и вмешаться в происходящее.

Он хотел, чтобы царь оставил армию.

## IX

Мотивов для этого у Шишкова было хоть отбавляй. Российское самодержавие было именно самодержавием - никакого баланса власти и взаимного сдерживания различных ее ветвей не предусматривалось, слово самодержца все решало простым "...*быть по сему*...". Но отсутствие сдержек предполагало, что на самом верху находится человек, чье "*божественное право*" на власть подкреплено и естественным правом - самый умный, самый решительный, наконец - самый жестокий ... Слово Петра Первого потому-то и не оспаривалось.

Но сейчас, в середине июля 1812 года, у власти находился не Петр Первый, а Александр Первый. И вот в его уме, решительности и твердой воле сомневались самые верные его сторонники, и даже его ближайшие приближенные. Известно было, что мнения царя могли быть переменчивы, что он, не доверяя себе и собственному суждению, прислушивался к посторонним советам.

Советы же ему давали многие, и всех этих людей он держал при себе, в составе своей свиты. Каждый из них старался обратить на себя внимание, считал, что знает путь к победе - и делал это очень смело, потому что ни за что не отвечал ... Отвечал же за все тот, кто принимал конечное решение, то есть сам царь. Но он не доверял и советникам, и частенько сталкивал их мнения.

В итоге выходило нечто - как бы это сказать помягче - не вполне целостное ...

Короче говоря - в кругу людей добропорядочных и по симпатиям своем относившихся к лагерю "старо-руссов", возникло намерение уговорить государя оставить действующую армию и со всей своей свитой удалиться куда-нибудь подальше в тыл.

Шишков был одним из них[8] - но с ним полностью соглашались и другие видные лица. В итоге на свет появился документ, коллективное письмо к царю, подписанное, помимо Шишкова, еще и Аракчеевым, и Балашовым. Выразаться авторам следовало чрезвычайно дипломатично - царь был и обидчив, и злопамятен.

В общем, в итоге царю решились все-таки написать все трое, а текст составил Шишков - из всей тройцы человек наиболее литературно одаренный. Есть смысл привести один отрывок из этого письма:

*"...Примеры государей, предводительствовавших войсками своими, не могут служить образцами для царствующего ныне государя императора, ибо на то были*

*побудительные причины. Петр Великий, Фридрих Второй и нынешний наш неприятель Наполеон должны были делать то: первый — потому, что заводил регулярные войска; второй — потому, что все его королевство было, так сказать, обращено в воинские силы; третий — потому, что не рождением, но случаем и счастьем взошел на престол. Все сии причины не существуют для Александра Первого...”.*

Цитата приведена по книге Е.В.Тарле, и к ней помещен и его комментарий на тему того, что все-таки немного странно сравнивать своего государя разом и с Петром, и с Фридрихом Великим, и с Наполеоном - но как-то вот авторы письма такой бестактности не заметили.

Они многое оставили вне текста письма, так сказать, за полями - ну, например, тот факт, что само по себе факт присутствия царя при армии требовал экстраординарных мер по защите его персоны - при битве на одно это потребовалось бы выделить целый корпус. Была и еще одна важная причина, по которой присутствие Александра при армии было нежелательно. Шишков помянуть ее не решился, но любимая сестра царя, Екатерина Павловна, могла позволить себе быть более откровенной. В ответ на то, что он пожаловался ей, что она буквально гонит его из армии, она написала ему следующее:

*“...Если я хотела выгнать вас из армии, как вы говорите, то вот почему: конечно, я считаю вас таким же способным, как ваши генералы, но вам нужно играть роль не только полководца, но и правителя. Если кто-нибудь из них дурно будет делать свое дело, его ждут наказание и порицание, а если вы сделаете ошибку, все обрушится на вас, будет уничтожена вера в того, кто, являясь единственным распорядителем судеб империи, должен быть опорой...”.*

Простыми словами это означало – *“...неудача очень возможна, и ответственность в этом случае должна пасть не на вас, а на лицо, вами назначенное...”.*

Неизвестно, кого царь послушался - Шишкова с его друзьями или Екатерину Павловну - но в Полоцке, на краткой стоянке по дороге отступления 1-й армии на Витебск, он собрался и уехал в Москву.

Перед отъездом Александр Первый повидался с Баркляем де Толли, и, по свидетельству адъютанта Баркляя, сказал ему:

*“Генерал, я оставляю мою армию на вас. Помните, другой у меня нет”.*

## **Х**

Первое столкновение между отступающей на восток 1-й армией и преследующими ее французскими войсками состоялось

под Островно, на подходах к Витебску. Случилось это 25 июля 1812 года, то есть через месяц и один день после начала русской кампании.

К этому времени русская армия уже два дня стояла в Витебске, отдыхая после форсированных маршей. Французские передовые разьезды были обнаружены буквально в окрестностях города. Подход их главных сил ожидался вскоре - и Барклай де Толли в качестве арьергардного заслона выставил 4-й пехотный корпус, усиленный несколькими полками кавалерии. Выбор именно этого корпуса был обоснован качествами человека, который был его командующим.

Как писал начальник штаба 1-й армии, Ермолов: *"...Надобен был генерал, который дождался бы сил неприятельских и они бы его не устрашили..."*.

Граф Александр Иванович Остерман-Толстой как раз и был таким человеком. В ходе военной кампании 1807 он сумел сдержать удар на его позиции корпуса Даву и стал по сути спасителем всей армии, так что у Барклая были все основания доверять его воинскому умению и его храбрости. Доверие он оправдал. Его корпус встал на пути французского авангарда, и несмотря на крупные потери, не отступил. И солдаты дрались отчаянно, и командующий на вопрос: *"Что делать?"*, заданный ему после того, как иссякли артиллерийские заряды, ответил коротко:

*"Ничего. Стоять и умирать"*.

В общем, делать этого не пришлось. Французским авангардом командовал Мюрат, сил для сокрушительного удара у него не хватало, и когда французские атаки прекратились, корпус Остермана-Толстого сумел отступить в порядке, поредевший, но по-прежнему готовый сражаться. Его сменила дивизия генерала Коновницына - и она задержала французов еще на один день.

Ночью 26 июля 1812 Барклай де Толли от прибывшего к нему адъютанта Багратиона получил известие о неудаче 2-й армии - 23 июля корпус Даву не позволил ей пройти к Могилеву, и вынудил к дальнейшему отступлению на восток, без всякой надежды на соединение с 1-й армией.

Это меняло ситуацию.

Барклай, возможно, действительно собирался дать французам сражение под Витебском. Во всяком случае, на него сильно давили обстоятельства - месяц непрерывного бесконечного отступления породил большое недовольство и при дворе, и в армии, так что командующий говорил всем и каждому, что бой неминуем. И армия была готова сражаться насмерть - бои арьергарда показали это с полной очевидностью. С другой

стороны, следовало учитывать, что французские войска совсем не обязательно атакуют 1-ю армию, стоящую в оборонительной позиции у Витебска - они вполне могут частью своих сил обойти ее и выдвинуться к Смоленску. В это м случае 2-я армия будет отсечена уже окончательно.

В общем, все понимающие дело люди в штабе Барклая де Толли советовали ему немедленное отступление на Смоленск - и так он и решил. Вполне возможно, он решил так сделать еще и до обсуждения вопроса, но в данном случае прикрытие в виде общего мнения ему очень пригодились.

Оставалось только исполнить то, что было задумано - и это было сделано с большим искусством. Кавалерия под командой Петра Палена[9] весь день 27 июля действовала очень успешно. У Наполеона создалось полное впечатление, что на завтра произойдет наконец генеральное сражение, которого он так желал.

Войска 1-й армии, скрытые кавалерийской завесой Палена, тем временем отступали на восток. Ночью с 27 на 28 июля казаки жгли костры в покинутом уже русском лагере, создавая впечатление, что все там осталось, как и прежде. Ближе к рассвету лагерь оставили и они.

Утром передовые французские части на месте огромной стоянки, где размещалось больше 100 тысяч человек, обнаружили только брошенные шалаши.

## XI

У Наполеона была исключительная память. Мемуары современников пестрят сообщениями о том, как император мог страницами цитировать своим юристам однажды прочитанный им Код Юстиниана, и как он указывал офицеру, инспектировавшему береговые укрепления, на две пушки где-то в богом забытом месте, которые офицер упустил, составляя свой отчет.

Может быть, еще лучше это его свойство проиллюстрирует уж и вовсе анекдотичный случай: на параде, в котором участвовали десятки тысяч людей, Наполеон углядел на одном из адъютантов маршала Бертье меховую пелерину с бриллиантовыми застежками. Это был собственный подарок императора его легкомысленной младшей сестре, Полине. Наполеон не только узнал пелерину по застежкам, но и мигом сделал выводы из своего наблюдения.

Он подозвал к себе Бертье - и уже через полчаса красавец-адъютант был отправлен со срочным поручением в Португалию, с припиской, что после доставки пакета он остается в распоряжении тамошнего командования. Говорили, что Полина была безутешна - по крайней мере, некоторое время ...

Крупному военному лидеру вообще требуется некий

необходимый набор качеств - интеллект, наблюдательность, способность к мгновенной переработке информации, решимость в принятии решений, и неуклонное стремление к поставленной цели...

Всеми этими качествами Наполеон обладал в количествах экстраординарных, превосходящих любые человеческие нормы - иначе он не стал бы тем, кем он стал. Но вот сейчас, в Витебске, он сидел в своем кабинете, наскоро оборудованном в брошенном дворце герцога Александра Вюртембергского (дяде царя по его матушке, Марии Федоровне, урожденной принцессы Вюртембергской)[10], и не знал, на что решиться.

Собственно, сразу после того, как открылся отход армии Баркляя де Толли - осуществленный ночью, тайно, но в полном порядке - Наполеон заявил, что все, что можно сделать в этом году, уже сделано. Он так и сказал Мюрату, рвавшемуся вдогонку отступавшей русской армии:

*"...Первая русская кампания окончена. В 1813 году мы будем в Москве, в 1814 - в Петербурге. Русская война - это трехлетняя война..."*

28 июля 1812 года он собрал что-то вроде военного совета. Конечно, назвать это "советом" можно только с некоторой долей приближения - все важнейшие решения Наполеон всегда принимал сам. Тем не менее, он собрал людей, которым доверял - Мюрата, Бертье, Дюрока, Коленкура, Евгения Богарнэ - и запросил их мнения по поводу того, что следует предпринять.

Все, кроме Мюрата, высказались за прекращение кампании. Коленкур был против войны с самого начала, и мнения своего от Наполеона не скрывал еще со времени их памятного разговора в Тюильри в мае 1811 года. Теперь, летом 1812, говорить о нежелательности войны с русскими было уже поздно. Но на совете и Бертье, и Дюрок, и Евгений Богарнэ говорили о явной опасности дальнейшего продвижения вглубь России. Они опасались, что русские будут отступать и отступать, безмерно растягивая и без того растянутые линии сообщения французской армии с Европой, и говорили о скифах, заманивавших неприятеля в глубь своих пустынных, негостеприимных земель.

Наполеон слушал их и не спорил. Казалось, что он последует их совету. Но уже в начале августа он поменял свое решение. Маршалам было велено готовиться продолжить наступление, и идти на Смоленск. Однако необходимость в остановке была очевидна - надо было привести войска в порядок, дать им отдохнуть, надо было подтянуть безнадежно отставшие обозы, подождать подхода отставших на марше солдат, организовать медицинскую службу - в армии началась форменная



эпидемия дизентерии. Император гневался, и угрожал отправить своих медиков в Париж - "*...лечить шлюх, потому что они годны только на это...*".

Великая Армия стояла в Витебске и не трогалась с места. Такая операционная пауза была вещью странной, совершенно непохожей на предыдущие военные кампании Наполеона. Почему это произошло?

Вопрос нуждается в серьезных комментариях, и начинать придется издалека ...

## ХII

У нас был уже случай поговорить о том, что Наполеон не признавал ни равенства, ни партнерства. Единственный вид отношений, который был ему по нраву - его собственное полное и неоспоримое господство.

Но до поры до времени он все-таки считался с политической реальностью.

Когда после захвата власти в декабре 1799 года генерал Наполеон Бонапарт, теперь уже в качестве первого консула Франции, обратился к английскому и австрийскому монархам с публичными письмами, в которых призывал их "*...отказаться от войны во избежание кровопролития...*", он прекрасно знал, что война неизбежна. Целью обращения было вызвать нужную реакцию общественного мнения - страна жаждала мира, и было очень важно предстать перед ней в качестве ее защитника.

Все по тем же соображениям командование главными силами Республики - Рейнской Армией - было вручено генералу Моро, популярному и в народе и в армии. А когда дела пошли не так, как хотелось бы, и когда Моро начал более или менее игнорировать те "*...пожелания...*", которые приходили ему из Парижа, Наполеон Бонапарт не решил сместить Моро с командования, а предпочел возглавить Резервную Армию, числом втрое меньшую, чем та, что была у Моро, и самолично отправиться походом в Италию. Он решил исход войны одной-единственной битвой под Маренго, упрочил тем свою власть - и после этого уже ни с какой внутренней оппозицией не считался.

После разгрома Австрии и России под Аустерлицем в 1805, разгрома Пруссии в 1806 под Иеной, а потом и России - в 1807, под Фридландом - Наполеон перестал считаться и с внешней оппозицией. Он вел себя так, как если бы на континенте Европы не было никакой другой власти, кроме его собственной.

Наконец, после 1808, когда в результате неудачной попытки захватить испанский престол он оказался втянут в нескончаемую, неутрачивающую войну в Испании, он перестал считаться уже и с объективно существующей реальностью. На

Пиренейском Полуострове застряла по крайней мере половина его Великой Армии, повстанцы терпели поражения, но с помощью английских денег и английского оружия восставали опять и опять, и французы в Испании и Португалии контролировали только те пункты, где непосредственно стояли их войска. Выиграть войну было явно невозможно - но император настаивал на своем, и упрямо держал там сотни тысяч солдат.

Наконец, оставалась Англия.

Первую попытку нанести удар этому самому упорному из врагов революционной Франции Наполеон предпринял еще в качестве генерала Французской Республики. Он считал, что достаточно коснуться французской шпагой Ганга для того, чтобы рухнуло все это здание меркантильного могущества. Поход в Египет и затевался для того, чтобы сделать это - конечной целью считалось перенесение военных действий в английскую Индию. План не удался - Нельсон уничтожил французскую средиземноморскую эскадру, и армия Наполеона в Египте оказалась отрезанной от Франции.

Вторую попытку сокрушить Англию Наполеон предпринял уже в качестве главы государства - в Булони был создан огромный военный лагерь, и велись самые интенсивные приготовления к десантной операции вторжения. Англичане сорвали и этот план, сперва сумев организовать коалицию против Франции, а потом и уничтожив французский флот в грандиозном морском сражении при Трафальгаре.

Наконец, в 1806, после полного разгрома Пруссии, Наполеон предпринял третью попытку - он объявил Англии полную блокаду. Она получила название "континентальной" - отныне всякая европейская держава, которая дерзнула бы продолжать свои торговые отношения с Англией, тем самым становилась врагом Французской Империи. Лишение рынков сбыта должно было уничтожить то, на чем держалось могущество Англии - ее торговлю и ее индустрию. Это был страшный удар.

Но еще сильнее он ударил по самому Наполеону.

### **XIII**

Ну, первоначальные результаты блокады были с точки зрения Наполеона вполне положительными: на английских складах застряли тысячи и тысячи тонн самых разнообразных товаров, предназначенных для Европы, от тканей до колониальных товаров вроде рома или корицы. Последовала череда банкротств. Но уже через год-два положение Англии улучшилось: на континент хлынул поток контрабанды. Таможенников подкупали по всей береговой линии от Гелиголанда и до Салоник. Испания, в которой в результате непрерывной и повсеместной войны таможни

не функционировали вообще, из системы блокады вышла практически полностью.

Англичане резко усилили сбыт туда, куда европейские товары могли попадать только с их соизволения - например, в Латинскую Америку, в Турцию, в Индию, и даже в Соединенные Штаты.

При всех проблемах, вызванных французской политикой, Англия в ходе войны с революционной Францией даже увеличила свой экспорт: с 21,7 миллиона фунтов стерлингов в год (1794-1796) до 37,5 миллионов (1804-1806). И никакая блокада, объявленная ей Наполеоном в 1806, не помешала англичанам (правда, только к 1814) увеличить общий объем экспорта до 44,4 миллиона фунтов[11].

Припомним, что один фунт стерлингов в то время был равен примерно 24 франкам, и что общие доходы французского казначейства в период перед Революцией составляли всего 475 миллионов франков, или менее чем 19 миллионов фунтов стерлингов.

Сравним эти 19 миллионов фунтов стерлингов доходов французского государства с 44 миллионами фунтов стерлингов, составлявших сумму английского экспорта - и мы увидим, какую гигантскую экономическую силу попытался сокрушить Наполеон, и насколько ему это не удалось.

Разрыв установившихся торговых связей бумерангом ударил и по Франции. Скажем, спрос на французские ткани с прекращением английского подвоза резко возрос, но французская промышленность потеряла важнейшие источники сырья: хлопка и красителей, которые поступали из колоний. А колонии – как и вообще все, что лежало за "*... соленой водой ...*" - оказались отрезаны встречной блокадой, которую завели англичане.

Странам, жившим торговлей с Англией, таким как Голландия, пришлось хуже всех, но и положение России после Тильзита оказалось вовсе не радостным. Канцлер Румянцев был одним из немногих сторонников союза с Францией, в частности, и потому, что ему не нравился слишком уж узкий список товаров российского экспорта: в основном зерно, лес да чугун. Он надеялся, что в условиях блокады российская промышленность понемногу сама начнет производить то, в ввозе чего страна нуждается. Идеи Адама Смита уже были известны и в России, и канцлер сильно надеялся на "*...невидимую руку рынка...*".

И она, собственно, и сработала, но самым неудачным для России образом: лес англичане стали привозить из-за океана, зерно - из балканских провинций Турции, а выпуск железа резко увеличили сами: с 244 тысяч тонн в 1806 до 325 тысяч тонн в

1811. Так что на Румянцева посыпались упреки не только в том, что его политика вела к разорению российского дворянства - курс рубля через год после Тильзита упал чуть ли не вчетверо - но и за то, что выгодный английский рынок начал уходить от России уже насовсем[12]...

В общем, недовольство было такое, что уже через год после заключения соглашения в Тильзите у Александра Первого появилось чувство, что держаться политики дружбы с Наполеоном для него становится опасным. В результате во франко-русском союзе 1807 года начались трения, и пунктом преткновения, который было никак не обойти, оказалось соблюдение - или, вернее, несоблюдение - Россией условий "континентальной блокады". Самым настойчивым образом Наполеон требовал прекращения торговли с Англией под прикрытием флагов нейтралов. И его требования раз за разом самым ласковым образом отклоняли. И чем больше он гневался на Александра, тем меньшего успеха он достигал.

Император Франции был великим полководцем, и связь могущества с военной силой понимал, как никто другой. Но на экономику он смотрел с позиций физиократа - важно то, что может быть произведено земледелием или промышленностью, торговля - это вторично. Поэтому стране надо производить как можно больше, покупать как можно меньше, а золото накапливать на случай какой бы то ни было неожиданной нужды.

Англичане смотрели на вещи совершенно иначе. Деньги, в отличие от императора Наполеона, они не накапливали, деньги в их понимании выполняли функцию крови в организме. Важно было не их накопление, а их непрерывное обращение. И уж тогда "невидимая рука рынка" произведет с их помощью все нужные товары, и создаст условия для всех нужных услуг и даже политических действий. Короче говоря - с точки зрения англичан, экономику Наполеон не понимал.

Вопрос, положим, дискуссионный.

Но вот уж в российской внутренней политике Наполеон действительно совсем не разбирался.

#### XIV

Раз за разом он наталкивался на нежелание Александра Первого выполнять свои "обязанности союзника" так, как их понимал Наполеон: соблюдать "континентальную блокаду", выставлять вспомогательные войска (например, против Австрии в 1809), следовать общему политическому курсу Франции, и так далее. Сперанский, хорошо знавший Александра, как-то обмолвился, что "...он слишком слаб для того, чтобы править, но слишком силен, для того, чтобы быть управляемым..." - и,

наверное, Наполеон подписался бы под этим определением.

Решительно все французские требования к России встречались ласковыми словами в сфере дипломатических нот, и тихим саботажем в сфере практического выполнения. Угрозы в виде создания на русских рубежах Великого Герцогства Варшавского, концентрации французских войск в Польше и в Пруссии, общее усиление французских вооружений - увы, все эти меры никакого целительного эффекта не оказывали.

И уже с 1810 у французского императора стали возникать мысли о том, что Александр Первого следует встряхнуть и напомнить ему о его "... союзнических обязательствах ...". А поскольку слово "союзник" для Наполеона имело только одно значение - "вассал" - то такому вот лукавому и нерадивому вассалу следовало задать показательную трепку.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Наполеона, стал, по-видимому, запретительный торговый тариф на ввоз в Россию предметов роскоши. Он бил в первую очередь по французским товарам, а поскольку в 1811 во Франции случился экономический кризис, Наполеон усмотрел в введении тарифа прямое враждебное действие. То, что кризис был вызван в первую очередь падением платежеспособного спроса на французские товары, а спрос упал в первую очередь из-за систематического обирания побежденных и из-за последствий "континентальной блокады", уронившей, например, русский рубль почти вчетверо - этого он как-то не увидел.

И вот теперь, в самом конце июля 1812 года, Наполеон сидел в Витебске, и не знал, что делать. Он начал войну с Россией, надеясь "...дать пинка..." Александру Первому и добиться от него приказа: закрыть русские порты для нейтральных судов. Но результата нет - поймать русскую армию и принудить ее к генеральному сражению никак не удастся. Великая Армия тает от нехватки припасов и от болезней. Дизентерия носит настолько повальный характер, что французские разьезды опознают брошенные бивуаки по консистенции оставленных там человеческих экскрементов - если они жидкие, значит, тут стояли французы. Доклад государственного секретаря, главного интенданта Великой Армии, графа Дарю, оказался более чем неутешителен. Он сообщил императору, что за время похода от Вильно до Витебска армия потеряла больше трети того количества лошадей, с которого поход начинался.

Обозы с продовольствием выручают мало, а местных ресурсов практически нет. Он добавил еще и вот что:

*"...Не только ваши войска, но и мы сами не понимаем ни целей, ни необходимости этой войны..."*

Ни пресечение английской контрабандной торговли, ни восстановление Польского Королевства вроде бы не стоят похода полумиллиона человек вглубь России? Дарю рекомендовал заключение мира. Наполеон ответил ему - и в очень раздраженных тонах:

*"Я хочу мира, но чтобы мириться, надо быть вдвоем, а не одному"*.

Визит Балашова в Вильне, увы, оказался последним. Больше никаких посланцев в лагерь Наполеона не прибывало, и ему оставалось решить вопрос - каким образом заставить царя вступить в переговоры?

Можно было оставаться на месте. Но в этом случае сразу же возникала проблема о пропитании многочисленной армии в бедной и уже разоренной войной местности.

Можно было повернуть на Петербург. В этом случае теоретически было бы возможно получить поддержку от действующих в районе Риги войск маршала Макдональда. Но тогда правый фланг и тыл Великой Армии попадали под удары русских армий.

Можно было пойти им навстречу, под Смоленск. Но в этом случае возникал риск, что они опять не примут боя, и начнут дальнейший отход вглубь России.

Трудно сказать, что именно решил бы Наполеон в отношении "витебского стояния" без внешних воздействий - но его, что называется, подтолкнули...

## XV

2 августа 1812 года авангарды двух русских армий, 1-й и 2-й, соединились наконец около Смоленска. Командующий 1-й армией, генерал Барклай де Толли, встретил командующего 2-й армией, генерала Багратиона, одетым в полную парадную форму и при всех орденах. К моменту подхода передовых частей 2-й армии к городу там уже стояли некоторые полки, загодя отправленные туда Барклаем, так что он встречал Багратиона как бы на правах хозяина. При встрече командующие обнялись, и Барклай де Толли лично показал своему гостю весь лагерь. Это была высшая форма военной вежливости того времени - Барклай как бы отчитывался перед Багратионом.

В свою очередь командующий 2-й армией выразил готовность признать верховное командование Барклая де Толли над объединенными армиями. Их *"...единство и согласие..."*, которые оба они старательно демонстрировали своим солдатам, закончилось в ту же минуту, когда дело дошло до обсуждения плана совместных действий.

В общем, им обоим было понятно, что оставаться в

Смоленске надолго нельзя. Город не представлял собой сильной оборонительной позиции. Армии соединились именно в Смоленске просто по обстоятельствам военного времени, здесь, кроме старого города, не было никаких подготовленных укреплений, не было и припасов, достаточных для пропитания такого количества людей и лошадей. По поводу наличия припасов - ну, тут есть смысл привести свидетельство осведомленного человека, Е.В.Тарле:

*“...Интендантская часть была поставлена из рук вон плохо. Воровство царило неопишное. Вот вступает в Поречье отходящая от французов армия Барклая (дело было в конце июля 1812). Обнаруживается, что нечем накормить лошадей. А где же несколько тысяч четвертей овса, где 64 тысячи пудов сена, которые должны находиться, по провиантским бумагам, в магазинах Поречья и за которые казна уже уплатила все деньги? Оказывается, как раз только что провиантский комиссионер распорядился все это сжечь, полагая, по своим стратегическим соображениям, что Наполеон может захватить Поречье.*

*Ермолову это показалось подозрительным, он потребовал справки: когда велено было закупить и свезти весь этот овес и все сено в магазины Поречья? Оказалось, что всего две недели тому назад. А так как перевозочных средств было очень мало (почти все подводы были уже взяты армией), то в такой короткий срок свезти все было никак нельзя. Наглая ложь комиссионера выяснилась вполне: он, конечно, и не думал ничего покупать и свозить, а просто сжег пустые магазины и этим аккуратно свел баланс в отчетной ведомости.*

*Ермолов, обнаружив это, сказал Барклаю, что «за столь наглое грабительство достойно бы, вместе с магазином, сжечь самого комиссионера». Но к этой мере не прибегли. Да и было бы бесполезно: нельзя же было сжечь все провиантское ведомство в полном личном составе. И поплелись дальше некормленные лошади, таща артиллерию и голодных всадников...»[13].*

В общем, оставаться на месте было нежелательно. Багратион стоял за наступление. Наиболее полным образом его взгляды изложил, однако, не он, а начальник штаба и прямой подчиненный Барклая де Толли, А.Ермолов. Он доказывал, что пассивная защита Смоленска ничего не даст, потому что в городе армия уязвима и может быть обойдена. Если противник обнаружится в тылу, на дороге, ведущей в Москву, ей придется срочно отступать, чтобы избежать окружения. Значит, надо перехватить инициативу и немедленно пойти вперед, на Витебск, где неприятель все еще стоит на месте и никуда не двигается.

Но написал он об этом не Барклаю, а самому царю.

И прибавил, что единственной преградой на пути к этому блестящему плану является его начальник, генерал Барклай де Толли, и добавил следующее:

*"...он не скрыл от меня волю вашего величества в этом вопросе..."*.

Таким образом, Александр, который знал и из множества других источников о том, как непопулярна в армии и в обществе стратегия бесконечного отступления, оказывался как бы ответственным за нее. А быть ответственным за непопулярные вещи император всероссийский, Александр Первый, очень не любил. В итоге русская армия, несмотря на огромные колебания ее командующего, двинулась из Смоленска навстречу французам.

Двигаясь впереди армии, казаки атамана Платова 8 августа 1812 столкнулись с французской кавалерией генерала Себастиани и разгромили ее.

10 августа об этом событии узнал Наполеон.

## XVI

Предварительные действия французской армии начались уже 11 августа, а в ночь 13-го на 14-е генерал Эбле, начальник саперных частей Великой Армии, закончил наведение понтонных мостов через Днепр у местечка Росасны. Идея заключалась в том, чтобы перехватить линию отступления Барклая де Толли к Москве и заставить его принять сражение. 175 тысяч человек переправились на левый берег Днепра и двинулись на Смоленск. У Красного, в 50 километрах от города, французский авангард столкнулся с дивизией Неверовского, которому Барклай приказал охранять подступы к Смоленску именно с той стороны, с которой французы и напали. Если бы не это распоряжение, Мюрат оказался бы в Смоленске, в русском тылу, уже к вечеру 14 августа.

Неверовский, у которого не было и 10 тысяч человек, с боем отступал, потерял убитыми и ранеными добрых три четверти своего отряда, но успел известить обоих командующих, и Барклай де Толли, и Багратиона. Они оба начали немедленное отступление на восток, в надежде достигнуть стен Смоленска до того, как путь будет перехвачен французами. В авангарде войск Барклай шел корпус под командой генерала Раевского, который и к утру 15 августа успел занять старый город. Ему помогла задержка французских войск - Наполеон почему-то решил устроить им смотр по случаю своего дня рождения. Императору исполнилось 43 года.

На рассвете 16 августа передовые части кавалерии Мюрата вступили в бой с русским охранением, а к 10 часам утра к Смоленску подошел корпус маршала Нея. У него под рукой было не больше 18 тысяч человек, и силы Раевского он оценил как



превосходящие. Он воздержался от немедленной атаки - решил подождать подкреплений. К нему действительно подошли части корпусов Понятовского и Даву. Но и к Раевскому на помощь прибыл целый корпус под командой генерала Дохтурова.

Дальше началась дикая неразбериха, причем с обеих сторон. Одно время казалось, что мечта Наполеона о генеральном сражении сбудется - наступавшие непосредственно на Смоленск французские части, казалось бы, приковали к себе все внимание русского командования. Маршал Даву посоветовал императору перейти Днепр в стороне, где-нибудь выше по течению, и зайти в тыл обороняющимся - знаменитый наполеоновский "*...маневр вне поля боя...*" решил бы исход сражения. Но это не было сделано. Д. Чандлер, автор книги "Военные Кампании Наполеона", считает, что в тот момент французский император из-за упадка сил утратил должную энергию и позволил событиям выйти из под его контроля, маршалы действовали сами по себе, без координации. Есть и другое мнение, согласно которому Наполеон так боялся, что русские, опасаясь окружения, снова отступят, что решился лучше уж на лобовой удар, лишь бы они в общем остались на месте. Попытка обхода все-таки была предпринята, но командование при этом почему-то поручили генералу Жюно, который промедлил и с делом не справился.

В итоге русские отступили - Барклай ни за что не хотел ввязываться в генеральное сражение. Ему приходилось сражаться не столько с Наполеоном, от которого он всеми силами стремился уйти, сколько со своими собственными генералами и офицерами - в мнении о необходимости отступления командующий 1-й армией оказался в меньшинстве, состоящем буквально из него одного. А взгляды большинства - и при этом огромного большинства - представлял командующий 2-й армией, генерал Багратион.

Разве что выражался он больно уж резко.

## XVII

В большой и очень хорошо документированной работе Е.В.Тарле "Нашествие Наполеона на Россию" есть много выдержек из писем Багратиона, написанных им в августе 1812 года. Пишет он, в общем, друзьям и единомышленникам. Прибавим, что князь Багратион никогда ни в каком лукавстве замечен не был, а напротив - считалось, что он прямодушен, иной раз до неприличия. Упорядочим его письма по хронологии, и получится у нас вот что:

1. Багратион – Ермолову, 10 августа. 2-я армия идет через Рудню, вслед за уже прошедшей 1-й армией Барклая: "*... два дни пробывшая здесь первая армия все забрала и все съела...*

*Неприятель может из Рудни занимать нас фальшиво, а к Смоленску подступить; тогда стыдно и нехорошо! ...”.*

2. Багратион – Аракчееву, 10 августа. Письмо, конечно, предназначено для передачи царю: *”... со мной поступают так неоткровенно и так неприятно, что описать всего невозможно. Воля государя моего. Я никак вместе с министром [Барклаем де Толли, в то время не только командующим 1-й армией, но бывшим еще и военным министром России] не могу. Ради бога пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию или на Кавказ, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никакого нет. Ей богу, с ума свели меня от ежеминутных перемен... Армия называется, только около 40 тысяч, и то растягивает, как нитку, и таскает назад и вбок... Я думал, истинно служу государю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу...”.*

3. Багратион – Ростопчину, 14 августа: *“... Я обязан много генералу Раевскому, он командовал корпусом, дрался храбро... дивизия новая... Неверовского так храбро дралась, что и не слыхано. Но подлец, мерзавец, тварь Барклай отдал даром преславную позицию. Я просил его лично и писал весьма серьезно, чтобы не отступать, но я лишь пошел к Дорогобужу, как (и он) за мною тащится... клянусь вам, что Наполеон был в мешке, но он (Барклай) никак не соглашается на мои предложения и все то делает, что полезно неприятелю... Я вас уверяю, что приведет Барклай к вам неприятеля через шесть дней... Признаюсь, я думаю, что брошу Барклая и приеду к вам, я лучше с ополчением московским пойду .... Отнять же команду я не могу у Барклая, ибо нет на то воли государя, а ему известно, что у нас делается ...”.*

4. Багратион- Барклаю, записка 17 августа: *“... побуждаюся я покорнейше просить ваше высокопревосходительство не отступать от Смоленска и всеми силами стараться удерживать нашу позицию... Отступление ваше от Смоленска будет со вредом для нас и не может быть приятно государю и отечеству...”.*

5. Багратион-Аракчееву, 19 августа, уже после сдачи Смоленска: *“...таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля скоро привести в Москву ..., — надо собрать 100 тысяч под Москвой: ... или побить, или у стен отечества лечь, вот как я сужу, иначе нет способа ... Чтобы помириться, — боже сохрани! После всех пожертвования и после таких сумасбродных отступлений мириться! Вы поставите всю Россию против себя, и всякий из нас за стыд поставит носить мундир... война теперь не обыкновенная, а национальная, и надо поддержать честь свою...”.*

*Надо командовать одному, а не двоим... Ваш министр, может быть, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего отечества... Министр самым мастерским образом ведет в столицу за собой гостя...*

*Большое подозрение подает всей армии флигель-адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он все советует министру ... Я не виноват, что **министр нерешим, трус, бестолков, медлителен** и все имеет худые качества.*

*Вся армия плачет и ругает его насмерть... Ох, грустно, больно, никогда мы так обижены и огорчены не были, как теперь... Я лучше пойду солдатом в суме воевать, нежели быть главнокомандующим с Барклаем ...”.*

Багратион был не одинок. Примерно то же самое писали царю и Беннигсен, и Ермолов. В Дорогобуже к великому князю Константину Павловичу явились все командиры корпусов, и жаловались ему на бедственное положение армии, и на то, что так продолжаться больше не может, и что дела при сохранении командования в руках Барклая де Толли не улучшаться. Сам Константин Павлович после сдачи Смоленска устроил Барклаю сцену в присутствии младших офицеров, и заявил ему, в частности, что не место немцу-колбаснику во главе армии, и что защита отечества не должна быть поручена тем, в чьих жилах нет русской крови.

Записать в колбасники потомка древнего шотландского рода было неслыханным оскорблением. Не будь великий князь Константин отпрыском царствующей фамилии и наследником престола, дуэль была бы неизбежна. Довод же о русской крови, необходимой для защиты отечества, был и вовсе довольно скользким - Романовы в геральдических справочниках именовались Романовы-Готторпы, бабушка, мать, и жена самого Константина Павлович были немецкими принцессами[14].

После скандала великий князь Константин уехал из армии, пообещав сообщить царю, своему брату, все, что он думает о состоянии дел. Результаты, конечно, не замедлили сказаться - царю стало понятно, что оставлять Барклая де Толли на его посту и дальше невозможно.

И очень скоро Багратион стороной (скорее всего, от Аракчеева) получил радостное известие: к армии вскоре должен прибыть новый главнокомандующий.

### XVIII

Багратион-Барклаю, 28 августа:

*“Милостивый государь Михаил Богданович! По мнению моему, позиция здесь никуда не годится, а еще хуже, что воды*

*нет. Жаль людей и лошадей. Постараться надобно идти в Гжатск. Но всего лучше там присоединить Милорадовича и драться уж порядочно. Жаль, что нас завели сюда и неприятель приблизился. Лучше бы вчера подумать и прямо следовать к Гжатску, нежели быть без воды и без позиции; люди бедные ропщут, что ни пить, ни варить каши не могут. Мне кажется, не мешкав, дальше идти, арьберггард усилить пехотой и кавалерией и уже далее Гжатска ни шагу. К тому месту может прибыть новый главнокомандующий. Вот мое мнение; впрочем, как вам угодно. Посылаю обратно план, который снят фальшиво, ибо торопились снимать.*

*С истинным почтением ваш покорный слуга  
кн. Багратион”.*

Письмо это ядовито до крайности. Во-первых, и Багратион, и Барклай де Толли оба находятся в одной и той же деревне, Максимовке, и при желании Багратион мог бы попросту сказать своему адресату все, что он думает - но, однако, предпочитает написать ему. Во-вторых, выражения вроде того, что "...план позиции фальшив..." скорее годятся для обвинительного заключения, а не для дискуссии. Наконец, в-третьих, Багратион обращается к Барклаю так, как можно было бы обратиться к покойнику: новый главнокомандующий и решит все вопросы, так что все, что бы ни сказал Барклай де Толли, все равно прах и пепел, и ничего не стоит. Коли так - зачем же князю Багратиону вообще писать Барклаю? А вот именно поэтому. Князя буквально душит ненависть, и ему хочется ткнуть в нос своему оппоненту факт, о котором тот пока ничего не знает: он смещен, царь отказал ему в своем доверии.

Информация у Багратиона совершенно точная - он уже получил копию рескрипта Александра Первого о замене командующего.

Армии же рескрипт был объявлен на следующий день, 29 августа, в месте под названием Царево-Займище. Новым главнокомандующим был назначен генерал-от-инфантерии Михаил Илларионович Кутузов, который в это день и вступил в свои полномочия. Выбран он был как бы по методу исключения: в русской армии в 1812 году имелось только три крупных генерала, со значительным опытом руководства военными действиями - Багратион, Беннигсен и Кутузов. Багратион был очень уважаем за храбрость, и все знали, что на его решительность можно положиться в любых обстоятельствах - но даже самые преданные друзья генерала не утверждали, что он разбирается в вопросах большой стратегии.

Беннигсен имел огромный опыт, и был чуть ли не

единственным полководцем в Европе (исключая разве что эрцгерцога Карла, брата австрийского императора), кто под Эйлау сумел добиться ничьей в сражении с Бонапартом.

Его, однако, сильно не любили за гордость и неприкрытое честолюбие, да и царь его не выносил - Беннигсен непосредственно участвовал в заговоре против Павла Первого.

К тому же члены комитета, назначенного Александром Первым для выбора нового главнокомандующего - Салтыков, генерала Вязмитинов, Лопухин, Кочубей, Балашов и Аракчеев - знали, что запальчивые речи Багратиона о "*...немцах, которые повсюду...*", отражают мысли очень многих, так что замена генерала по фамилии Барклай де Толли на генерала по фамилии Беннигсен мало чему поможет.

К тому же за Кутузова горой стояли его друзья из кружка "старо-руссов", сгруппировавшегося вокруг любимой сестры царя, Екатерины Павловны, и в который входили и Ростопчин, и Шишков. Аракчеев считал безусловную преданность монарху нерушимым принципом, так что политики избегал. Но он, в общем, держался сходных мнений - недаром Багратион дружески с ним переписывался.

Александр Первый Кутузова не любил. Причин на то было много. Царь, как ни странно, питал расположение к людям, далеким от придворного образа мыслей - и к этой категории лиц он Кутузова не причислял, считая его льстецом и старым сатиром. А после Аустерлица он и вовсе держал его в отдалении. Но в августе 1812 выбора у него не было, и он утвердил рекомендацию комитета.

Новым главнокомандующим стал М.И.Кутузов.

Примечания

1. Данные о транспортных батальонах Великой Армии взяты из книги Д.Чандлера, "Военные Кампании Наполеона", стр. 464.
2. Текст цитируется по книге Е.В.Тарле, "Нашествие Наполеона на Россию", собрание сочинений, том VII.
3. Эти данные приведены в книге Д.Чандлера, "Военные Кампании Наполеона", Москва, Центрполиграф, 1999, стр. 369.
4. Д.Чандлер, "Военные Кампании Наполеона", стр. 476.
5. Текст цитируется по книге Е.В.Тарле, "Нашествие Наполеона на Россию", собрание сочинений, том VII, стр. 477
6. Жозеф-Мари, граф де Местр (1753-1821) – французский (сардинский) католический философ, литератор, политик и дипломат, основоположник политического консерватизма. Известен как один из наиболее влиятельных идеологов консерватизма в конце XVIII-начале XIX веков.

7. Текст цитируется по книге Е.В. Тарле, "Нашествие Наполеона на Россию", собрание сочинений, том VII, стр. 465

8. "Цари больше имеют надобности в добрых людях, нежели добрые люди в них". Из записок адмирала Шишкова.

9. Сын П. Палена, сыгравшего решающую роль в убийстве Павла Первого.

10. Александр Фридрих Карл Вюртембергский (нем. *Alexander Friedrich Karl von Württemberg*, 1771-1833) - герцог, член Вюртембергского дома, российский генерал от кавалерии, генерал-губернатор Белоруссии.

11. Все цифровые данные, приводимые ниже, имеются к книге "The Rise and Fall of Great Powers", by Paul Kennedy, Random House, New York, 1987, pages 130-131.

12. Особенно активно критиковал Румянцева за поддержку "континентальной блокады" адмирал Мордвинов.

13. Е.В. Тарле, "Нашествие Наполеона на Россию", собрание сочинений, том 7-й, стр. 483.

14. Бабушка Константина Павловича (и царя Александра Первого): Екатерина II Великая (Екатерина Алексеевна; при рождении София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, нем. *Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg*. Мать Константина Павловича (и царя Александра Первого): Мария Феодоровна; до перехода в православие - София Мария Доротея Августа Луиза фон Вюртембергская (*Sophia Marie Dorothea Augusta Luisa von Württemberg*). Жена Константина Павловича: Юлиана Генриета Ульрике, третья дочь Франца Фридриха Антона, герцога Саксен-Кобург-Заальфельдского (в православии Анна Фёдоровна).



# Лилия Торопова

## Сальвадор Дали

**Музы VS Муза или «Когда-нибудь эти усы станут знаменитыми!»**



от уже без малого столетие, феномен человека с усиками-антеннами будоражит умы и сердца ценителей, любителей, потребителей открыток с репродукциями работ Гения и прочих, кто так или иначе желает быть отчасти причастным.

Подводя итоги года календарного, проявление чересчур повышенного внимания к персоне, столь обожаемой, не будет считаться моветоном. Так, осень 2011 г стала настоящим подарком для тех, кому хоть немного не безразличен гений профанации, великий фокусник и эксцентрик XX века. Почтенная публика дождалась, озаренного фейерверком сложных цветосочетаний, момента, когда Дали посетил Москву.

Визит Дали в Москву поразил своей ангажированностью - более двух месяцев, все подступы к Пушкинскому музею были заняты очередью, серпантином овивающей здание. Пожалуй, Москва так встречала только Пикассо. Сложно было вычислить в этой очереди, кто фанат, кто начинающий Даливед, а кто зашел сюда случайно, «для галочки». В любом случае, сеньор Дали заслужил, чтобы каждый из гостей проникся его творчеством хотя бы для того, чтобы потом на протяжении промозглой зимы душу согревали харизматичные лучи испанского солнца сюрреализма.

В Москву Дали был привезен в таком идеальном соотношении, чтобы гость «вышел из-за стола с чувством легкого голода» и немедленно направился оформлять Шенгенскую визу, дабы в полной мере насытить раздражившийся аппетит в стенах музея в Фигерасе.

Пушкинский же, в свою очередь, представил Гения не только в правильном количестве, но и во всех его ипостасях: как бога живописи и графики, как мастера искусства фотографии и как мага стереоскопических театральных экспериментов.

Выставочное пространство, помимо картин, наполнили

сюрреалистическими образами, так часто гостившими в сознании художника. Фигерас любезно поделился с российской столицей любимыми образами маэстро: здесь и часы, стрелки которых застыли на роковой цифре - без десяти семь, открытые ящики и гигантские куриные яйца, в точности, как на крыше испанской обители Дали. Все было организовано с таким расчетом, что если сердца гостей еще не пылают страстями по Дали, то они как минимум дрогнут в попытке понять хитросплетения разума этого «кошмара искусства», коим принято считать Сальвадора в мире реалистов и прагматиков.



Феномен Дали необъясним, подобно бермудскому треугольнику. К нему, как и к его творчеству во всех проявлениях, невозможно относиться равнодушно. Его либо боготворят, либо ненавидят. Возможно, уже тогда, в начале 20-го столетия, Дали были известны секреты маркетинга, что было бы отнюдь не удивительно. Кто же он, Сальвадор Фелипе Хасинто Дали и Домэнек маркиз де Пуболь?! Кто он, муза, чей обаятельный эпатаж имеет вирусный характер, а очарование беспечного нарциссизма давно уже является источником вдохновения для производителей брендов масс-маркета, художников, пародирующих его манеру в надежде на сотую долю его сладкого успеха и просто зрителей,



заряжающихся настроением, разглядывая его тонконогих танцующих слоников? Или же он просто художник, которого озарила изящная муза своим прозрачным поцелуем?

О Дали невозможно говорить в прошедшем времени, о его работах не хочется говорить с налетом вещизма и предметности, ведь он очаровывает, даже находясь, увы, уже не с нами. Земля испанская рождает воистину эксцентриков, наделенных причудливым взглядом на простые вещи. И, возможно, Дали стал бы величайшим из актеров, но он выбрал иной путь.

Дали пытаются разгадать на протяжении десятилетий, с тех пор, как миру стало известно это имя. Умнейшие из умов тратят часы-недели-годы на тщательное изучение биографии художника. Книжки с малейшим намеком на связь с ним, бьют рекорды продаж, но тайна популярности Дали так и остается тайной. Действует ли здесь принцип, что все самое сложное, чей витиеватый узор подобен венецианскому кружеву, оказывается простейшей из схем, стоит лишь потянуть за ниточку, кто знает... Но интересно понаблюдать путь эволюции Сальвадора, простого юноши из Кадакеса, до Гения, у ног которого распростерся весь мир. Возможно, если проследить за хитросплетениями становления Дали, то удастся понять рисунок его успеха. И здесь, наверное, будет уместно начать очередной из тысяч разговоров, посвященный разгадке популярности этого испанского шутника. Попробуем проследить путь Сальвадора Дали из нулевого километра тихой неизвестности до Олимпа славы, чья верхушка теряется из вида в объятиях мохеровых облаков.

Сын типичной испанской семейной пары начала XX века, превращающий свои параноидальные мысли в произведения искусства, всю свою юность мечтал быть признанным окружающими. Обычность семьи, в которой 2 мая 1904 г. появился на свет необычный ребенок, не стоит даже ставить под вопрос. Отец Дали был нотариусом на государственном служении в Фигерасе, и, подобно многим каталонцам того времени, был антимадридским республиканцем и атеистом. Мать же напротив, была католичкой и всячески настаивала на том, чтобы вся семья регулярно посещала церковь. В семье было двое детей. Сальвадор и его младшая сестра Анна-Мария. Родители очень их любили и позаботились о том, чтобы обеспечить им самое лучшее образование, которое им было доступно на тот момент. Но, не смотря на заботу и любовь, которыми были окутаны дети четы Дали, у маленького Сальвадора сложилось мнение, что родители любили вовсе не его, а его старшего брата, умершего за год до его рождения. Имело ли это место быть на самом деле, или это были одни из проявлений его параноидально-критического мышления,

но такое утверждение появилось в 1976 г. в «Невысказанных откровениях Сальвадора Дали»

Наверняка, здесь стоит выказать солидарность и почтение теории Фрейда о том, что все проблемы берут начало в раннем детстве. Наверняка, психологи современности узрели бы в этом серьезные комплексы неполноценности и подвергли бы Сальвадора лечению, но кто тогда знает, что могло бы быть с историей, не будь в ней вписано сложнейшим каллиграфическим почерком имя Сальвадора Дали.

С самого детства маленьким гением двигало страстное желание быть не таким, как все. Он безусловно был умен, хотя был склонен утверждать обратное. Эксцентричность Дали не ведала границ еще в раннем детстве. Его рисунки и карикатуры, которые он оставлял на полях учебников и тетрадей, бесспорно были исполнены таланливо, хоть и преследовали всего лишь одну цель – развеселить сестру.

В то время, мастерство художника Дали помогал развивать друг семьи художник-пуантилист Рамон Пихо. Значительная часть юности Сальвадора прошла возле моря, в Кадакесе. Здесь, богатое воображение маленького художника постоянно подпитывалось мифологией и суевериями местного народа, тесным общением с рыбаками. Конечно же, это не осталось незамеченным в творчестве Дали, которое по настоящий момент окутано дымкой мистики и опутано паутиной загадок.

Уже с 17 лет Дали стал любимцем в творческих кругах Фигераса, именно тогда ему в голову пришла идея покинуть дом. При поддержке отца, он основал художественную студию в Мадриде. Так, в 1922 г. была открыта студия при Академии Изящных искусств в Сан-Фернанде.

Юношеская самоуверенность была в каждом мазке Дали, в каждый оттенок цвета он вкладывал свое гиперболизированное желание быть лучше других, быть не таким, быть бунтарщиком и первооткрывателем, срывающим овации восхищенной публики. Естественно, на жизневосприятие Дали имели влияние персоны, с которыми он познакомился в Мадриде. Одним из таких друзей, стал Габриель Гарсия Лорка, поэт, с которым Дали связывала не только дружба, но и несколько успешных коллабораций. Дали и Лорка были очень близкими друзьями, такими близкими, что в 1926 г. было опубликовано стихотворение «Ода Сальвадору Дали», а в 1927 г Дали разработал декорации и костюмы для постановки «Марианны Пи-неды», которая имела ошеломляющий успех у публики.

Дуэт «Лорка и Дали» с легкостью бросал вызов обыденности, канонам общественности, стараясь разрушить рамки

догматических доктрин буйством своего воображения. В какой-то момент такая свобода мышления привела Дали к тому, что он отказывался принимать классические методы Академии Изыщных искусств Мадрида, откуда, к слову сказать, он был исключен в 1926 г.

В те годы Дали находился в поиске своего собственной манеры. Он пробовал себя во всех стилях, преобладавших тогда на мольбертах и в мастерских Парижа. Он подражал Пикассо и Жоржу Баку, создавая картины в стиле кубизм, пробовал себя в импрессионизме. Так, к примеру, Дали-импрессиониста можно встретить в «Автопортрете с шеей Рафаэля». Ищущему свой стиль Дали, была не свойственна боязнь экспериментов - недуг, время от времени присущий всем великим мира сего. Он поступал так, как считал правильным, здесь и сейчас. Именно поэтому сложилось впечатление, что Дали никогда не боялся промежуточных состояний своей манеры, он принимал себя любым, не стесняясь образов, которые его вдохновляли. Он был открыт для цвета, всегда исследовал новые фактуры, формы, которые подсказывало воображение.

Поступкам и мышлению Дали был свойственен дуализм. Так, с одной стороны, это был человек абсолютно открытый для всего нового, готовый пробовать и экспериментировать, ради признания общественностью, а с другой стороны он был совершенно замкнут, привязан к Кадакесу и абсолютно не готовым менять привычный антураж родной провинции на возможность присвоить себе весь мир. Даже в те минуты, когда для поддержания статуса Сальвадор вынужден был путешествовать, он с тяжелым сердцем расставался с Каталонией, что несомненно является еще одним доказательством знаменитой абсурдности Дали.

Так, оправдывая дуальность мышления, помимо импрессионистов, огромное влияние на Дали произвело искусство фламандских мастеров. «Для начала научитесь рисовать и писать, как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению - и вас будут уважать». Именно эту мысль он привез из поездки в Брюссель. В то время, у Дали был период полного отсутствия интереса к развитию и усовершенствованию новых подходов и техник. Его так потрясли совершенство манеры и глубина смысла, которые были достигнуты художниками ренессанса, что он отказывался воспринимать что-либо еще, кроме этой удивительной живописи, напоенной ювелирным вниманием к деталям.

После изгнания из академии, художник продолжал поиски своего собственного стиля, будучи тотально преданным убеждениям фламандских живописцев. Этот период знаменит картиной «**Фигура девушки на скале**» (1926 г.), где он изобразил

свою сестру. Визуально, работа могла восприниматься, как копия стиля Пикассо, но по духу, это был «Стиль Дали»- реалистическое изучение перспективы. Это были первые шаги Дали-сюрреалиста, Дали, нашедшего свою уникальную манеру.

До 1929 г. Дали был полностью поглощен восхищением мастерами Ренессанса, но в 29-м, он получил приглашение, проигнорировать которое он не смог.

Друг Бонюэль пригласил Дали в Париж для работы над сюрреалистическим фильмом «Андалузский пес». Кадры «Пса» узнаваемы и символичны. До сих пор зрителя шокирует сцена, где человеческий глаз разрезается пополам. Сегодня этот фильм является классикой сюрреалистического кинематографа. Это короткометражный фильм, созданный с целью задеть за живое, шокировать буржуазию, а также высмеять принципы авангарда, является одним из многих доказательств, что творчество Дали не ограничивалось только лишь изобразительным искусством. Творчества в художнике было настолько много, что он желал заполнить все пространства, заполнить своим видением все возможные ниши. Дали было, что сказать своим искусством. Ему было, что сказать настолько, что до сих пор, его слушают и слышат.

За «Андалузским псом» последовал «Золотой век», который был воспринят критиками с восторгом.

Не смотря на то, что «Золотой век» стал яблоком раздора в творческом союзе Дали-Бонюэль, это совместное творчество оставило глубокий след в сознании Дали. Именно с этого момента начался Дали - великий гений сюрреализма.

Если сравнивать сюрреалиста Дали с другими мастерами этого жанра, такими как Макс Эрнст, Хоан Миро, Андре Массон, то разницу можно прочувствовать уже начиная с «мотивов». Современные сюрреалисты того времени исследовали подсознательное, пытались освободить свой разум от сознательного контроля. Они позволяли своим мыслям стихийно всплывать на поверхность, затем, словно сливки, они собирали образы, выплескивая их на холсты. Подход же Дали был в корне иным. Дали писал образы знакомые: здания, лошадей, но позволял своему сознанию выступать связующим элементом, так и возникали немислимые сюрреалистические композиции. Каждая из его сюрреалистических работ является гротеском, где образам позволительно плавно перетекать из одного в другой. Так, на холстах конечности становятся рыбами, а туловища женщин - лошадьми. Манера Дали ассоциируется с монологом, где все слова просты и понятны, но выстроены в ряд абсолютно без ограничения и каждое само по себе, ровно как и в монологе в целом, выражает свою собственную идею, окрашено своим собственным смыслом.

Именно этот метод будет назван впоследствии параноидально-критическим, хотя Дали всегда утверждал, что сумасшедшим он не является.

1929 г стал для Дали судьбоносным, не только потому, что он обрел свой стиль, и успел дебютировать в кинематографе, но еще и потому, что именно тогда состоялась знаменательная встреча с музой. Музой по имени Гала. Так, путь Дали - гениального художника превратился в путь дали - тотального Гения.

Гала Элюар – урожденная русская Елена Делувин-Дьяконова, персона, образ которой неразрывно связан с образом Дали.

Гала была почти на 10 лет старше его, тогда еще простого молодого человека из маленького городка на севере Испании. Она казалась Дали утонченной, самоуверенной дивой, вращавшейся в высших художественных кругах Парижа. Дали был поражен ее красотой, и был настолько подвержен влиянию ее магической энергетики, что каждый раз в ее присутствии вел себя подобно 15-летнему юнцу, разражаясь смущенным хихиканьем, впадая то в багровый румянец, то в снежную бледность.

Дали писал: «Первый поцелуй, когда столкнулись наши зубы и сплелись языки, был лишь началом того голода, который заставил нас кусать и грызть друг друга до самой сути нашего бытия».

Встреча с Галой стала для Дали неистовым сексуальным освобождением, которое проявляется в образах на его полотнах: каннибализм, отбивные котлеты на теле человека и т.д. Дали и Гала нашли способ быть вместе - они сбежали. Сбежали от суеты, от мужа Галы Поля Элюара, сбежали от себя, принадлежащих обществу, к себе, принадлежащим лишь друг другу. Они заперлись в замке Кари-ле-Руэ, в предместьях Марселя, отрезав себя от внешнего мира. Это бегство продолжалось, пожалуй, всю их совместную жизнь, даже тогда, когда известность Дали приобрела масштабность и скандальность.

Любовь Дали к Галле была на грани одержимости. Как утверждали современники, реакцией Галы на это чувство были слова: «мальчик мой, мы никогда не расстанемся». И она сдержала свое слово, поверив в дар Дали, еще задолго до того, как он стал тем, чьи усы узнаваемы даже без лица. Гала была не просто менеджером Дали, она была его ангелом-хранителем, оберегавшим Гения в Дали, подобно тому, как берегут хрустальную вазу тончайшей работы.

Жизнь Дали до встречи с Галой можно было бы охарактеризовать очень просто: «Путь к себе», но встретив ее, он раскрылся подобно тому, как распахивают свои лепестки бутоны

цветов весенним утром. Присутствие Галы в его жизни пробудило в нем бесконечный источник фантазии, одарив его безудержной энергией творчества. Это был период, когда личный сюрреализм в Дали полностью доминировал над общепринятыми канонами, установленными в этом жанре.

«Сюрреализм-се муа», утверждал художник, подчиняющийся отныне только своим установкам. Отныне у Дали было несколько путей, следуя которым он мог выпускать вдохновение из подсознания: фрейдистско-сексуальная тема, параноидально-критический метод и теория современной физики. Он взбалтывал и смешивал свои мысли, дополняя этот коктейль различными ингредиентами «по вкусу». Дали, подобно астронавту в свободном полете, блуждал в им самим же созданной вселенной. Это состояние было его собственной гармонией.

С момента встречи и всегда, Гала была рядом с Дали: физически, в мыслях, образах, на его полотнах. Например, в картине «Сон кладет свою руку на плечо человеку» (1932 г) гала изображена в виде мечты, голова которой сделана из цветов. Возможно, Гала была величайшей из женщин, став для обоих своих мужей музой, перманентно вдохновляющей их на творчество.

Гала редко высказывала свои взгляды и мнения, однако, она всегда давала понять Дали-Гению, что любой способ проявления его художественного Я априори обречен на успех. С каждой минутой союз Гала-Дали становился все более известным, все более коммерческим. Вскоре, Кадакес сменился Соединенными штатами, а Дали был вынужден смириться с новым статусом. Нового себя он выразил в картине «Метаморфозы Нарцисса».

В этой картине Дали отобразил свое видение мифа о Нарциссе, интерпретировав его в историю собственного превращения в Гения через Галу. Именно этой картиной он рассказал миру о том, как, по его мнению, он стал тем, кем он стал.

О великом Гении Сальвадоре принято говорить. Принято говорить много, долго, спорить, защищать, осуждать, ненавидеть его и тут же восхищаться. К великому Гению позволительно испытывать такую же широкую палитру эмоций, какая была в его мастерской. Непозволительно лишь испытывать равнодушие, безликое и бесцветное, абсолютно не имеющее ничего общего с блистательным обладателем лакированных усов.

Каталонцы, характеризую себя, употребляют слово «seny». Перевести «seny» дословно сложно, но смысл, который в него вкладывают, понять очень легко: «seny» житейская мудрость, особая каталонская рациональность. В каталонском есть еще одно слово, «Raixa», которое неразрывно связано с «seny». «Raixa»

означает «расслабляться, следовать за своими эмоциями». Так, в Каталонии появился Сальвадор Дали, в котором «гауха» возобладало над «seny». Но этот человек, с поразительными усами и лихорадочно сверкающими глазами не был бы великим «гауха», если бы рядом с ним не было его восхитительной «seny» Галы. Возможно, секрет оглушительного успеха Дали элементарно просто и заключается в гармонии?! Гармонии личностной, невидимой нитью связывающей воедино ощущение самого себя в своем теле, со своим течением мыслей и вспышками эмоций. Союз Гала-Дали явил миру то идеальное соотношения качеств в людях, которые возникли в жизни друг друга, когда каждый их вдох и выдох синхронны, каждый вдох и выдох приближают их к еще более чистому ощущению гармонии своего одного на двоих Я.



# Михаил Юдсон

## Ревизор-С

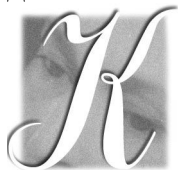
(Ревизор-сад, пьеса Николая Васильевича Гоголя в театре Колумба)

Комедия в пяти действиях

*"На зеркало неча пенять, коли рожа крива".*

(Народная пословица)

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ



*омната в доме городничего (см. Гоголя).  
Прибавление с хозяйской стороны – на стене портрет Николая I  
во весь рост.*

#### Явление I

*Городничий и все, все, все (см. Гоголя) – в хитонах и сандалиях, бородатые. Сидят синедрионом на каменных скамьях. При разговоре чрезвычайно много помогают жестами и руками.*

ГОРОДНИЧИЙ (*значительный чин, суровый крючковатый Нос; на груди висит самоцвет первосвященника*). Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пре... э-э... приятное известие (*потирает руки*). К нам таки едет ревизор. Тот самый.

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*жовиальный здоровяк, эдакий Ноздрев*). Как ревизор? Уже? Э, не морочьте голову...

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ (*в ермолке, несколько похож на П.П.Петуха, одутловат*). Как ревизор... Как бы, навроде... (*поясняяще крутит пальцами*). Ревинзон...

ГОРОДНИЧИЙ. Вы будете смеяться, ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписанием.

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Вот-те на! Тот еще смех... сквозь невидимые миру слезы... Кышь мир ин тухес...

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*ухарски щелкает себя по кадыку*). Вот не было заботы, так поддай! Ой-вэй!

ЛУКА ЛУКИЧ (*старичок-начетчик, пуглив*). Господи Боже, барух ата еси на небеси! Еще и с секретным предписанием! Он появился! Се он – грядет!..

ГОРОДНИЧИЙ. Главное забыл! Я как будто



предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные (*внезапно картавит*) к'ысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, как сажа или грач, неестественной величины – бегемоты! пришли, понюхали – своим пахнет, чесноком – и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича, не к ночи... (*чихает*) Чмыхова... (*Чихает. Галдеж.*)

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ (*Степан Ильич Уховертов, старый служака*). Здравия желаем, господин наш, господин один!

ЛУКА ЛУКИЧ. Сто двадцать лет и куль червончиков!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Пошли Бог на семь сорок сороков! Черт бы взял твоего батьку!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Шоб ты пропал, а я так жил!

ГОРОДНИЧИЙ. Покорнейше благодарю! И вам того же цимеса желаю! Вот что Чмыхер одинокровный пишет (*разворачивает свиток*): "Любезному другу, куму и благодетелю, да сияет светоч его! Поспешаю немедленно, уф..." (*Бормочет вполголоса, проползая с трудом глазами.*) Буквы эти квадратные, двадцать два несчастья, писания отцов... "...уведомить тебя, беса, аминь..." А! вот: "...уведомить тебя без заминки, что приехал мессия с предписанием осмотреть всю провинцию и особенно наш уезд – по именному (*значительно поднимает палец вверх*) повелению..." Шма, Израэль, слушай сюда!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Эж куда хватили! Еще и умный человек (*тоже тычет пальцем вверх и потом крутит им у виска*). Все проще. Во-он откудова ноги растут (*показывает на портрет Николая I*), да святится имя его! Николай Первый, Адона́й Эха́т, государь-император... Портретик-то засиженный, как водится – повелитель мух!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Николай Палыч... Николай Палкин!

ЛУКА ЛУКИЧ (*загибая пальцы*). Палкин, Малкин, Чалкин, Галкин, Залкинд... Династия царей Израилевых!

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*иронически*). Цар-р цар-рей адонай Николай!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. На зеркало неча пенять – Коли рожа крива (*корчит рожу*).

ЛУКА ЛУКИЧ. Вот этак (*делает гримасу*).

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*прищелкивая пальцами*). Николай, давай закурим, ведь у нас сегодня Пурим...

ГОРОДНИЧИЙ. Чш!.. Чш!.. Распелись, как сирены! Поди только послушай! и уши потом воском заткнешь. В Сибирь законопатят, рукавицы шить... Господа мудрецы, не лезьте на рожон, а позвольте дочитать письмо (*нараспев, раскачиваясь*): "И

вот, я узнал это от самых правоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом, так как... Я знаю?... Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный, дай мне хоть половину мигрени такой золотой головы, и не любишь пропускать того, что плывет в руки..." (*берет письмо в зубы, умывает руки*) ну, здесь все свои – на балконе, в саду, на помосте! (*Все радостно перемигиваются и тоже потирают руки.*) "...то советую тебе – немножко взять предосторожность, ибо он может въехать во всякий час, если только уже не приехал на белом осле через Красные ворота и не живет где-нибудь на Садовой ин коган... инкогнито... Вчерашнего дня... э-э... уже нет, а будущий еще не наступил – живи днем нынешним..." Ну, тут уж пошла философия, о природе вещей... "сестра (*хэкает*) Ханна Хириловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кирилович очень потолстел и все играет на скрипке... на крыше..." И этот туда же... Ой, страх! Горький народ – от сытости не заиграешь! (*Сворачивает свиток.*) И прочее и прочее – кари очи из Кариот!.. Так вот какое обстоятельство.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Да, обстоятельство такое, мама не горюй... необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром (*выразительно потирает большой палец об указательный*).

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Мда, веиз мир, Зверь в мир! А говорили, что из моря выйдет... А он, вишь, посуху... подкрался...

ЛУКА ЛУКИЧ. Зачем же, Каифа Антонович, отчего это, ребе? Зачем к нам ревизор едет?

ГОРОДНИЧИЙ. Правильно, что едет – ехать надо. Так уж, видно, судьба!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Или!.. Мы едем, едем, едем...

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ (*доктор Гибнер, издает звук, отчасти похожий на букву "и" и несколько на "е"*). Ие...дем да с зайном!

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Это правда, братцы, что едет левизор... Енерал – из рода левитов! Всю провинцию йудейскую осматривать, храм истины воздвигать...

ГОРОДНИЧИЙ. До сих пор подбирались к другим укрепленным городам. Теперь пришла очередь к нашему, (*поднимает глаза к небу*) благодарение Богу!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Э, теология, овна-пирогá, козла-молока! Я вот все пять книг прочитал – та на х!.. (*Машет рукой.*) Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Имперья... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала архангела, чтоб узнать, нет

ли где измены маккавейской.

ГОРОДНИЧИЙ (*с горечью*). Какая в уездном Ершалаиме измена! И рады бы... Что он, пограничный, что ли, не слазить бы? Да отсюда хоть три года скачи, ни до какого приличного государства не доедешь...

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Нет, я вам скажу, вы не того... Я вам не скажу за всю, но вы не... Начальство имеет тонкие виды (*кивает на портрет Николая I*): даром, что далеко, а оно себе мотает на пейс.

ГОРОДНИЧИЙ. Мотает или не мотает, а я вас, хевре, предупредомил. Смотрите, по своей части-шмасти я кой-какие распоряжения сделал, советую и вам не хлопать ушами. Особенно касаемо вам, Артемий Филиппович. Без сомнения, угодный Богу посланник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения – и потому вы сделайте так, чтобы все было худо-бедно прилично в вашей психушке. Колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов из дома скорби, у которых слюна течет и ходят они обыкновенно по-домашнему (*разводит руками*) – хочешь жни, а хочешь куй...

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Ну, это еще ничего. Не под себя же ходят. Колпаки на этих клоунов, пожалуй, можно надеть и чистые, переколпаковать.

ГОРОДНИЧИЙ. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке, только не по-арамейски... это уж по вашей части, Христиан Иванович, – всякую болезнь, когда кто заболел, чумка там, холерка, свинка не приведи, которого дня и числа... И чтоб рецептеры под носом, градусники во рту, этцетера всякое... Нехорошо также, что у вас больные такие крепкие "косяки" курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б вообще этих доходят в больничке было меньше: тотчас отнесут к дурному гуманизму или к вредительству врача.

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. О, насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, в натуре; лекарств дорогих мы не употребляем, разве что отвар хвойный. Человек зверек простой: если умрет, то и так умрет, сактируем, бирка ему да кольшек; если выздоровеет, то и так выздоровеет, на свежем воздухе, на общих работах. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-нашему не рубит, не фурычит. Нумера разбирает, цифирь наколотую – и на том спасибо.

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ. Ие...тов!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Он говорит – будет хорошо!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Без тебя знаем. Небось в хедер бегали – засранцы с ранцем... В салазки Жучку посадив... Сами с

усами (*поглаживает бороду*).

ГОРОДНИЧИЙ. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там над самым шкапом с бумагами, рядом с охотничьим арапником висит плакатец: "Я иду с мечем, судия!" Я знаю, вы любите этакое возвышенное, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можно повесить.

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*гордо*). Всех мыслей не перевешаешь! "Я иду с мечем, судия" – трактуй хучь справа налево – закон что дышло, не придерешься... Арапникам обуха не перешибить! Выживет народ жестоковыйный! Много ль нам надо – лишь истины неба с манной... В книге священной каббалы "Зоар" сказано: "Ша! Проедет *ревизоар* – и это пройдет".

ГОРОДНИЧИЙ. Также заседатель ваш, чубарый такой... он, конечно, человек сведущий и сведений нахватал тьму, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода и уже повсюду открыл корчму. Я хотел давно ему об этом сказать – эпоха Судей кончилась, опохмелись! Держись скромней... Он вечером на четырех ногах – и то спотыкается... Кабацкий заседатель! Можно ему посоветовать есть чеснок или что-нибудь другое. Не распинать же – гвоздей не напасешься... В крайнем случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович – противостолбнячными!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ. Ие...шуа...

ГОРОДНИЧИЙ. Насчет же того, что называется в донесении грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно таки говорить. Нет человека, который бы за собой не имел пары грехов – это уж так Единым устроено. А рублевским художеством даже устроено!.. (*В зал.*) Кто из вас без грешка – пусть первый бросит в меня камешек!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Э, не шутите все с камнями – время побивать!.. (*По-свойски.*) Однако ж что вы полагаете, Антоша Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь – вершки (*показывает на городничего*) и корешки (*обводит рукой кругом*). Я говорю всем открыто, что беру взятки – в очередь, сукины дети! – но чем взятки? Борзыми щенками (*делает движение, словно поглаживает собаку*). Все чинно-благородно. Не по чину берешь, а по совести! Это совсем иное дело. Тут псиной и коррупцией не пахнет, за это не прижучат.

ГОРОДНИЧИЙ. Ну, щенками или чем другим, всё взятки сладки. Ишь, любовь пчел трудовых – на лужку!.. Роевой инстинкт – жужжи да тащи до кучи! Зна-аем мы вас – и с женой этого жучка Добчинского шашни водите, и с заседателем, между нами, вдвоем соображаете на троих... Аммос, уж простите великодушно,

Красный Нос!

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*гордо*). Аммос на древнем языке значит "бремя". И я, хоть и малый пророк, а все как у больших – несу бремя Судии! Потому что отвергли закон Господень и постановлений его не сохранили... И кое-кто совсем оборзел, Антон Антонович, – например, кипка стоит пятьсот рублей, да супруге шуба натуральная...

ГОРОДНИЧИЙ. Ну, а что мне с того, что вы берете взятки борзыми щенками – тяп-ляп? Зато вы в Бога нашего не веруете; вы в Дом собраний никогда не ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и скамью арендую... А окромя того, каждое воскресенье бываю в церкви, держу свечку.

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*ехидно*). Известно, зачем вы туда шлетесь – мышь под стекло пускать... Там иконка Скотопригоньевской Ливерской под стеклом-то, так вот бесов и тешите...

ГОРОДНИЧИЙ. Он будет меня учить! Хвост вертеть собакой!.. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете говорить о крещении мира, просто волосы дыбом поднимаются.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Да ведь сам собою дошел (*показывает пальцами, как он шел*), собственным горбом (*сгибается, будто несет крест*) надыбал.

ГОРОДНИЧИЙ. Ой, бросьте мне тут руками молоть! Эти разговорчики, библия для бедных... Да я ведь так только упомянул об уездном суде – туда вряд ли кто заглянет и в Судный день: это уж такое завидное местечко, сам Судья Небесный ему покровительствует, своих тянет – за ушко да в игольное ушко!.. А вот вам, Лука Лукич, как смотрящему училищ, нужно позаботиться, и особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые, всю химию превзошли и воспитывались в разных хитрых шарашках, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например вот этот... не вспомню его фамилии, мейн-штейн, никак не может обойтись, чтобы, взошедши на кафедру, не скривить рожу (*вздохмачивает патлы, высовывает язык наподобие известного изображения Эйнштейна*). Кривизна николаевского пространства, кричит, как хотите, а для науки я жизни не пощажу! Конечно, если он ученику сделает такую рожу на вечерё, то оно еще ничего, может быть оно там и нужно так, но если он сотворит этакую шмазь посетителю – таки плохо: господин ревизор или сам цезарь (*показывает на портрет Николая I*) может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти... счета заморозят...

ЛУКА ЛУКИЧ (*жалобно*). Да, он горяч. Что ж мне, Игемон Антонович, с ним делать? Вот еще на днях, как зашел было

в класс предводитель наших, так он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца – а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются нашему юношеству.

**ГОРОДНИЧИЙ.** То же я должен вам заметить и об поучителе по исторической части. Он ученая голова – это максимально видно, чердак с арбуз, чтоб не соврать (*показывает руками*), с кавун! И разливается, что твой кобзарь на баштане, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах, плен колен, башни-башли, туда-сюда – еще ничего, а как понес о россиянах и евреянах, как добрался до Александра Исаевича, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар. Гевалт, ей-Богу! сбежал с кафедры, как носорог, и, что силы есть, хватить стулом об пол. Погром! И оне-с, конечно, Александр Исаич – герой, но зачем же стулья ломать? Абсурд! От этого убыток казне и обустройство страдает.

**ЛУКА ЛУКИЧ.** Да ему хоть в ухо кричи – как в дупло... Я ему несколько раз уже замечал – так до "белочки" недалеко допрыгаться, шишки набить... Завтра начать читать справа налево... заутреню на ночь...

**ГОРОДНИЧИЙ.** Да, таков уж неизъяснимый закон судеб: умный человек или пьяница, дрова уже, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси и в поленницу укладывай.

**ЛУКА ЛУКИЧ.** Не приведи Бог предвечный служить по ученой части, всего боишься. Частицы элементарной пугаешься, от любой реакции шарахаешься – а вдруг цепная, да еще сыпная! И Вассерман не спасет... Всякий мешуга мешается, все свою образованность хотят показать и пишут, и пишут о непонятном. И ставят, и пляшут... Мешанина, шурум-бурум вместо музыкики...

**ГОРОДНИЧИЙ.** Главное забыл! Протоколы ведутся? Записывают старательно, досконально?

**ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ.** Тютелька в тютельку, Антон Антонович, в доску. Как в аптеке.

**ГОРОДНИЧИЙ.** Это бы еще ничего, не сглазить бы... Инкогнито поганое! Так и вижу кувшинное рыло в окошке! Вдруг заглянет, голубчик с пятачком: опа, а что вы здесь делаете, люди добрые? Попались, цепни ползучие, глистопёры! А кто, скажет, друзья, здесь судья? – Ляпкин-Тяпкин. – А подать сюда (*стучит пальцем себе по ладони*) об это место Лайкина-Тявкина! А кто у вас в попечитель богоугодных заведений? – Земляника. – А подать сюда, зямы, Зямлянику! Вот что худо, чудо-юды.

Явление II

*Те же и почтмейстер.*

ПОЧТМЕЙСТЕР *(явно тайная стража – входя, откидывает капюшон "афраньки", добродушная улыбка)*. Мир вам. Городничему здравствовать и радоваться, синедриону мудрствовать и дрючить. Здоровеньки, мудрецы!

ГОРОДНИЧИЙ. Здравствуйте, начальник Третьего почтового отделения.

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ *(приподнимая ермолку)*. Шалом!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Бьем челом!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Объясните, господа, что? какой чиновник, точней, паломник едет? того гляди побегут за ним с пальмовыми ветками, петь осанну... несанкционированно...

ГОРОДНИЧИЙ. А вы таки не слышали?

ПОЧТМЕЙСТЕР. Ну как же. Слышал от своего... э-э... Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в Конторе.

ГОРОДНИЧИЙ. И как? что вы себе думаете об этом?

ПОЧТМЕЙСТЕР. А что думаю? Война с чурками будет.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. В одно слово! с языка снял! я сам то же думал.

ГОРОДНИЧИЙ. Окститесь! Век-то какой на дворе! Оба двадцать первым пальцем в небо попали!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Право, война с чурками. Это ведь знаем кто гадит, Америки не открою.

ГОРОДНИЧИЙ. Какая, не к ночи помянута, война с чурками! Просто нам чахохбили будет, а не чуркам. Это уже ежу известно: у меня письмо *(показывает свиток)*.

ПОЧТМЕЙСТЕР *(весело)*. А если так, то – не будет войны с чурками. Эх, пить будем, гулять будем, чачу гнать будем – рубай ее, хлопцы-мóлодцы!

ГОРОДНИЧИЙ. Хорошо, хорошо, дело говорите. Ну что же, Иван Кузьмич, как настроение в городе, что говорит народ, эти архишлуты и протобестии? Это архиважно.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Народ не безмолвствует, наливает. О чем говорить, когда не о чем говорить? Небось, говорит, прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа! Весь пьяный базар у нас подробно записан – чиновники для письма, эдакие крысы *(разводит руками – огромные, мол)*, пером только: тр... тр... Тела ради обычный треп – кто что, на ком кто, кого с чем смешали, ну, вслух не буду. Я лучше вам потом распечаточку. Там есть один загиб – преинтересное чтение... Смешно... А как вы, Антон Антонович?

ГОРОДНИЧИЙ. Да что я? страха-то нету иудейска, а так немножко жутко... поджилки в желудочках этак, желудочное трясение (*прикладывает руку к сердцу*). Зачем же в самом деле к нам ревизор – наши сети притащили или это он невод забрасывает? Эх, хотелось бы мне его обчистить, как селедочку, отчихвостить. Господи Боже, как бы хотелось – как Бог черепаху!.. Просто рука дрожит (*показывает, как дрожит рука, и внезапно сжимает кулачище и грозит*). У-у! Купечество да гражданство меня смущает, все это студенчество да человечество, гуманитарии подколодные, гнилая лавочка... Говорят, что я этим сахарамедовичам солоно пришелся, а я вот если и взял одного или беру с другого, то, право, без всякий ненависти, с любовью к ближнему... Я даже думаю (*берет почтмейстера под руку и отводит в сторону*), не было ли на меня какого-нибудь доноса. Сдался нам именно этот ревизор – по именному повелению, по щучьему хотению! Ты его, понимаешь, хвать распинать, а тебя за шкирку – шапка горит! Расхватают – и давай швырять в волны! Лучше пусть себе едет подобру-поздорову – скатертью дорожка...

ЛУКА ЛУКИЧ (*встревает благодстно*). Благолепие и недеяние, Антей Антонович, поближе к родной землице, я всегда про это заикался. Сиди себе терпеливо на бережку, перебирай травинки – и мимо тебя рано или поздно проплывет бревнышко-крестушко с ревизором – топляк...

ГОРОДНИЧИЙ. Ай, идите вы с вашим недеянием! Зна-аем – опустить хвост в прорубь и ждать!.. Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо из ящиков, входящее и исходящее – знаете, этак немножечко распечатать и по экземплярику показать товарищам (*обводит рукой присутствующих*): не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки... из двух углов в середину... А, Иван Кузьмич?

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Иван Кузьмич, постарайтесь!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Иван Кузьмич, выручайте!

ПОЧТМЕЙСТЕР (*весело*). Хоть я Кузьмич, а ты не тычь! Не учи отца – и баста! Я это, сынки, и так делаю – и не то, чтобы из предосторожности, а по должности – радея за государство. Как я сам есть Сын Звезды, исконно, сызмальства – желтый карлик (*стучит себя в грудь*) – в хорошем смысле, конечно... Холодная голова, золотые волоски... Мал серебряник да дорог! А всякую дешевку – на дилижанс и под зад коленкой!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ (*в сторону*). Назидательность какая! Лучше, чем в "Московских ведомостях почтовой полиции". Слова откуда-то выбирает – дилижанс...

ПОЧТМЕЙСТЕР. Припечатаем так, что мало не



покажется!

ГОРОДНИЧИЙ. Неужели все печати есть у вас?

ПОЧТМЕЙСТЕР (*подмигивает*). Иначе не может быть, городничий.

ГОРОДНИЧИЙ. Ну что ж, наш тайный страж, скажите: ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?

ПОЧТМЕЙСТЕР. Из Петербурга? Это, кажется, где-то на Миссисипи... Хижина дяди Тома Сойера... И тети его Полли... Постоите, да, да, да, беленький домик... с палисадничком... А ката звали, естественно, Питер.

ГОРОДНИЧИЙ. Эти ваши шутки... Балаган... Характеристику ревизора можете дать – хотя бы примерно, на первый взгляд? Жадный старик?

ПОЧТМЕЙСТЕР. О нет, городничий. Ревизор – молодой человек, лет 23-х.

ГОРОДНИЧИЙ. Тридцати трех?

ПОЧТМЕЙСТЕР. 23-х, городничий, на червонец меньше. Да у меня в кармане есть приметы этого разбойника.

ГОРОДНИЧИЙ. А! Прочтите-ка, а мы послушаем.

ПОЧТМЕЙСТЕР (*разворачивает свиток*). "От роду 23 года, тоненький, худенький, роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые до плеч, нос прямой. Уроженец местечка Назарета..." (*Напевает.*) На заре ты меня не буди... Деревня! Галилеянин. Не пьющий.

ГОРОДНИЧИЙ. А вот посмотрим, как пойдет дело после горячей закуски да бутылки-толстобрюшки! Да есть у нас уездная табуретовка-бурдашка, не казиста на вид, а Голиафа повалит с ног.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Галилеянин... А должно быть, в этой самой Галилее теперь жарница – страшное дело! На берегу пустынных волн... Я себе представляю! Град Петров – бобчинских да добчинских, добра из глупых книг и бобра на воротник... Битва за шинель – (*внезапно*) шнель, шнель, Христиан Иваныч! (*Общий смех.*) Эрзац-армагеддон, тень на плетень! Ну, а тут тебе человек молодой, ученый, начитался запрещенного, ревизских сказок – и готов ревизор буонапарте, поехал, конечно. Вот и едет, бродяга...

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ (*хриплым басом*). Это истинно, братцы – едет Ешуа на ешуаке. Маленький такой ешуачок, а говорливый – пять книг оглашает, пять пудов поднимает, пятью хлебами насыщает...

ГОРОДНИЧИЙ. Ну вот вам, пожалуйста – уже и частный пристав Уховертов сделался сочинитель... (*Показывает почтмейстеру на чиновников.*) Вы мне малых сих не соблазняйте, побойтесь ревизора!

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*грозит пальцем почтмейстеру*).

Смотрите, Иван Кузьмич, достанется вам когда-нибудь за это – спустят полканá, покажут кузькину мать во благовремение...

ПОЧТМЕЙСТЕР *(хмыкает)*. Ах, батюшки! Не шей ты мне, матушка... А что, братие, ведь это дело семейственное – так не создать ли вам свободно ячейку прямо на дому, небольшую группку "Алеф" – Антон, Аммос, Артемий. Это, братие, Сила, Верность, Слава – триада каббалы!

ГОРОДНИЧИЙ. Не баклань, не баклань... Швобода! Братие! Накличете вервие простое, петлю на шею...

ПОЧТМЕЙСТЕР *(увлеченно)*. Да чего там триада, мелочевка на четвереньках – "пятерку", господа, "пятерочку" заговорщицкую! В профиль, господа, в профиль! А там и ложу – со всеми шестёрами и семисвешниками!

ГОРОДНИЧИЙ. Батюшка, не милы мне теперь ваши ложи... Знаю как облупленных – семеро с ложкой, последнюю осьмушку изо рта!.. У меня инкогнито проклятое сделало дырку в голове. Так и ждешь, что вот судьба постучится в дверь – бух, бух, бух, бух – и шашть... И – в пасть!

ПОЧТМЕЙСТЕР. И впасть, как в ересь... Сгоревши, как печатный пряник... Уездная инквизиция – ночное, костерок, печеная картошка – а что, очень, очень хорошо. Смешно.

### Явление III

*Те же, Бобчинский и Добчинский (несколько похожи на крыс) – оба входят запыхавшись, нюхая воздух. Подбегают и обнюхивают городничего.*

БОБЧИНСКИЙ. Чрезвычайное происшествие! Достойное чрезвычайной комиссии!

ДОБЧИНСКИЙ. Неожиданное известие! Благая весть!

ВСЕ. Шо? шо еще стряслось?

ЛУКА ЛУКИЧ. Спаси, Господи, заранее и помилуй! Угодники! Ох, дурно, дурно! Дух святой захватило!

ДОБЧИНСКИЙ. Непредвиденное дело: приходим мы, как всегда, в гостиницу...

БОБЧИНСКИЙ. Проникаем с Петром Ивановичем в отель...

ДОБЧИНСКИЙ *(перебивая)*. Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу, без этих ваших аллегорий и екивоков.

БОБЧИНСКИЙ. Э, нет, позвольте уж я... позвольте вольно литься звукам... вы уж и слога такого не имеете...

ДОБЧИНСКИЙ. А вы собьетесь и не припомните всего дотошно.

БОБЧИНСКИЙ. Припомню, видит Бог – в деталях. Небу станет тошно! Уж не мешайте, пусть я расскажу. Скажите, господа, чтоб Петр Иванович не мешал.

ГОРОДНИЧИЙ. Да говорите скорее, что вы тут расёмон развели! У меня сердце не на месте (*хватается за живот*). Садитесь, господа! возьмите стулья, не все доломали! Петр Иванович, вот как раз свободный стул! (Все сидят на каменных скамьях, а Бобчинский и Добчинский на садовых стульях.) Ну, что, что такое?

БОБЧИНСКИЙ. Позвольте, позвольте уж: я все по порядку, шаг за шагом, буквально разжую-с. Как только я имел удовольствие выйти от вас, да-с... (*Внезапно.*) Вас ис дас, Христиан Иваныч! (*Обиций смех.*)

ПОЧТМЕЙСТЕР (*толкая Христиана Ивановича*). Не спи, замерзнешь! Русь, брат!.. Ревизор Мороз!

БОБЧИНСКИЙ (*ритмически*). Уйдя, Антон Антонович, от вас – после того как вы изволили смутиться – полученным письмом – тогда ж я забежал к Коробкину – а не застав Коробкина-то дома – я к Растаковскому сей час заворотил – а не заставши Растаковского, раз так – то двинулся к Ивану Кузьмичу – чтоб доложить полученную новость – да идучи оттуда, на беду – я встретился с Петром Ивановичем вдруг...

ДОБЧИНСКИЙ (*перебивая*). Возле будки, где продаются пироги.

БОБЧИНСКИЙ. Такие пироги. (*Внезапно.*) Ну и будка у Степана Ильича! (*Обиций смех.*)

ПОЧТМЕЙСТЕР (*тихая частного пристава*). Что, брат, разъел держиморду? Ворчи не ворчи – а казенные харчи!

БОБЧИНСКИЙ. ...да встретившись с Петром Ивановичем, я – нос облегчил в платок и говорю ему – "А слышали ли вы – о новости, что получил Антон – Антонович из достоверного письма?" – а Петр Иваныч уж – ужимки и прыжки, не сокол, далеко не сокол! – слышал об этом вскользь от ключницы вашей Авдотьи – ключи, ваши ключи! – которая, не знаю уж зачем – но послана была к Филиппу Почечуеву...

ПОЧТМЕЙСТЕР (*записывая в книжечку, про себя*). Почечуй по словарю Даля – геморрой. Почечуев... То есть послали в задницу. Смешно.

ДОБЧИНСКИЙ (*добавляет*). Послана была за бочонком для французской водки.

ПОЧТМЕЙСТЕР (*записывает*). Уездное название коньяка. Смешно.

БОБЧИНСКИЙ (*вначале тягуче, окая*). Точно, за бочонком для французской водки. Во-от мы пошли с Петром-то Ивановичем

к Почечуеву... Уж вы, Петр Иванович, не перебивайте, дайте слово вымолвить!.. Пошли полком к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: "Лепо ли, братие, что с утра я ничего не ел? Зайдем, – говорит, – в трактир. В трактир, – говорит, – привезли теперь свежей сёмги, так мы славно подзакусим". Ну, а почему нет? Можно. Вы же понимаете, господа, Петр Иванович у нас соблюдает – а привезли наконец-то кошерное, с чешуей; осетрина-то осточертевшая – она безчешуйная, ни кожи ни рожи – трэфная... Только что вошли мы в гостиницу и запахло рыбой, как вдруг молодой человек...

**ДОБЧИНСКИЙ** (*перебивая*). Недурной наружности, в стираном хитоне...

**БОБЧИНСКИЙ**. Да уж не в шушуне! Се – человек! Ходит эдак взволнованно по комнате, и что-то резкое в лице – эдакое рассуждение... сечет предмет... физиономия... поступки... и здесь (*вертит рукою над головой, изображая нимб*) много, много всего. Меня точно кто обухом... Я будто печенкой предчувствовал – предтеча! – и говорю Петру Иоанновичу: "Здесь что-нибудь неспроста-с". Да-а, рыбаки мои! А Петр-то Иваныч уж мигнул пальцем и подозвал трактирщика Власа – а подойди-ка сюда, кавалер! – а у трактирщика жена – (целует кончики пальцев) русалка! ниловна! – три недели назад опросталась, и такой пребойкий мальчик, волосатый, ласковый, Власов сын, будет так же, как и отец, содержать трактир, молиться Маммоне, Перуну и Велесу и мазать истуканов жиром и кровью проезжающих... Ну, подозревши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: "Слышь, черпак, кто, – говорит, – этот молодой? Что за салага?", а Влас и отвечает на это: "Это, – говорит..." Э, только не перебивайте, Петр Иванович, вы не расскажете, эй-Богу, не расскажете! Вы пришепётываете и (*дразнит*) калтавите; вечно у вас во рту каша – а-зе, сто-зе! – и минимум один зуб со свистом... Зуб даю! Не лезьте. Так на чем мы это... "Это, – говорит, – молодой человек, чиновник", да-с, "едуший из Петербурга, а по фамилии, – говорит, – Иван Александрович Хлестаков-с..."

**АММОС ФЕДОРОВИЧ**. Хлестаковс – прибалт, что ли, гольный варяг?

**ГОРОДНИЧИЙ** (*в сердцах*). Знаем мы этих варягов!.. Вот они где, вещи, у нас сидят (*стучит по загровку*) – отмщать, отмщать... Хлестаков... Хлистаков? Христаков! (*Крутит головой в сомнении*.) Иван... овен жертвенный?..

**ПОЧТМЕЙСТЕР** (*небрежно*). Давайте ближе к баранам. Трактирщик дал показания, что сей господин престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить – а наоборот, предлагает

трактирщику бросить деньги на дорогу... Распоясался – проповедует почем зря! Притчи так и прыщут – записывать не успевают... Ну, мы его пригвоздим!

БОБЧИНСКИЙ. Меня так вот свыше (*показывает пальцем вверх*) и вразумило. Допетрил! "Э-ло́йну!" – говорю я Петру Ивановичу...

ДОБЧИНСКИЙ. Нет, Петр Иванович, это я сказал: "Э-ло́йну!"

БОБЧИНСКИЙ. Подумаешь, большой праведник. Вначале вы сказали, а потом и я... произнес... "Э-ло́йну! – возопили мы с Петром Ивановичем. – А какого Бога сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Сара-Абрамовскую губернию, и подорожная туда же прописана?" Да-с! А вот он-то и есть этот посланник.

ГОРОДНИЧИЙ. Кто, какой посланник?

БОБЧИНСКИЙ. Посланник Божий, о котором изволили получить notiцию от этого вашего Лукреция. Ревизор!

ГОРОДНИЧИЙ (*в страхе*). Что вы, Господь с вами! Рехнулись, багюшка! это не он.

ДОБЧИНСКИЙ. Он! и деньги отверзает, и не едет – ждет и жаждет страданья...

БОБЧИНСКИЙ. Он, он, эй-Богу, он... Такой наблюдательный, как сверху со столба: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром Ивановичем-то ели сёмгу – так он и в чаши к нам заглянул. Пронеси, Отче наш! Такой осмотрительный, меня так и проняло страхом, и глас услышан был: "Не отрекайтесь, Петры, и во ночи!.."

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Сёмга, говорите... Ага... (*Щелкает пальцами.*) Сёмга, Сёмга! А я, признаюсь, как раз хотел попотчевать вас, Антон Антонович, собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы отмывали, ха-ха... Была у вас собака Банга, а теперь будет Сёмга, га-га!

ГОРОДНИЧИЙ. Уймись вы, ревизора ради! Тут мор и глад на носу!

БОБЧИНСКИЙ (*долбит свое*). Он, он... И имя ему – Иван Хлестаков, во как... Иховы инициалы – И.Х.! Изволите вспомнить, как на пасхальном-с куличе: (рисует пальцем в воздухе) И-с Хри-с... Воскресе!..

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Воистину воскрес! В сплошных синеродах небес! Пришел, братцы, долгожданный! Успенье разговенья!

ЛУКА ЛУКИЧ. Близ есть, при дверех! Как в нилусовых папирусах!

ПОЧТМЕЙСТЕР (*весело*). Граждане, купите папирусы! Тумбалалайкины уездные! Смешно.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Хлыстаков – не из хлыстов ли? Убеление бескрайней плоти, скопчики-голубчики... Прилетел, голубь серебряный! Какой князь в сети зашел – жирный карась! Главрыба! (*Ухмыляется, щелкает пальцами.*) Сёмга, Сёмга!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Между прочим, рыба, чтоб вы знали – их катакомбный символ. За рыбу – деньги!

ГОРОДНИЧИЙ (*потирает свой крючковатый нос*). Опять двадцать пять червячку на крючке... Господи, помилуй нас грешных! А что вы, говорливые Петры, разнюхали наверно – где он там живет?

ДОБЧИНСКИЙ. В пятом номере под лестницей.

ГОРОДНИЧИЙ (*вздыхает*). В пятом... Знать, графа в судьбе... Который раз – пятый... И давно он здесь? Кой нынче день от пришествия его?

ДОБЧИНСКИЙ. А недели две уж. Четырнадцатый день весеннего месяца нисана. Приехал на Василия Египтянина.

ГОРОДНИЧИЙ. Две недели! (*В сторону.*) У-у, фараоново племя! Батюшки, сватушки, выводите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская вдовица! Разбойникам в темнице не выдавали хлеба и водицы. На улицах кабак, нечистота, жабы, вши, тьма. Казни египетские! Позор, поношенья! Главное забыл – разоренье! (*Хватается за голову.*)

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Харэ, хевре, посыпать головешки пеплом. Шмон прогремел, параша пролетела, что ревизор идет – но до конца-то хазы далеко! Кончай толковище, открывай талмудище! Дело надо делать, господа, дело! Пора всем кагалом ехать парадом в гостиницу.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Нет, нет. Вперед пустить голову (*стучит себя по лбу*), духовность, интеллигенцию; вот и в книге "Деяния Иоанна Масона"...

ГОРОДНИЧИЙ. Знаем мы этих Иоаннов, родства не помнящих. Рыбак рыбака! И с масонами очень даже хорошо знакомы...

ПОЧТМЕЙСТЕР (*обличающе*). Выкрестоносцы! Кацалапы!

ГОРОДНИЧИЙ. Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили с рук в Лету, еще даже и спасибо получал – ну, шубу не сошьешь, а в послужной запишешь... (*В сторону.*) Записано в книге Прихода и книге Расхода: всем воздалось и судимы были все по грехам их, но Каифы-первосвященника не коснулось ни фи́га – даже по рогам не дали! И Храм развалился, и народ в изгнании оказался и довольно надолго – грызть галушки в галуте – а Каифа сухой из этой воды вышел (*привычно умывает руки*)... Лес рубят – щепки плывут...

Авось Бог вынесет на берег и теперь. *(Обращается к Бобчинскому.)* А что, как он выглядывает? Вы говорите, он таки молодой человек?

БОБЧИНСКИЙ. Молодой, лет двадцати трех.

ГОРОДНИЧИЙ. Тем лучше: молодого скорее пронюхаете *(нюхает воздух)*. Беда, если старый черствый черт, а молодой весь наверху *(делает рожки)* – в цвету! Будем посмотреть! Все еще, может быть, кончится ничего себе... Вы, господа хорошие, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам искать счастья. Или вот хоть с Петром Ивановичем... *(пальцем показывает то на Бобчинского, то на Добчинского, как в считалке)* Добчинским, вроде как Добронравовым, приватно, для прогулки наведуясь узнать – не терпят ли проезжающие бед и притеснений, кому живется весело, счастливо на Руси... Не сплзайте, Господи, спаси! *(Трижды плюет через левое плечо.)*

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Идем, идем от греха, Аммос Федорович. В самом деле может случиться беда. День гнева!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Да вам, к аллаху, чего бояться, каких чертей зеленых? Колпаки смирительные надел на больных, да и концы в воду.

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Какие колпаки! Больным велено габерсуп давать – овсянка, сударь! – а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос – поедет в Ригу... Капут нам с Христиан Иванычем... Придется сдавать его, а самому – в кусты.

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ. Ие... уда!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Да-с, овес нынче дорог! А я на этот гамбургский счет *(как бы щелкает на счетах)* – покоен. В самом деле, кто в здравом уме, своим ходом, без клетки – зайдет в уездный суд, в нашу кувырколлегию? а если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уже пятнадцать лет сижу... *(задумчиво)* да-а, третий срок тяну-мотаю... сижу на судейском месте, на мешке с шерстью, собаку на этом съел, а как загляну в обвинительную записку – а! только мантией махну! парик дыбом встает! Сам Соломон сын Давидов не разрешит, что в ней правда, а что кривда. *(В сторону.)* А что касательно грядущего, то тут авгуром и кассандром быть не надо – городничий посередине в виде столпа с распростертыми руками и закинутой назад головой *(изображает)*. Ну, а прочие раздолбаи остаются просто столбами, как при жизни, бревно бревном – не моя сцена, я-то уцелею, задержу прощально ногу на столб, да забьюсь поглубже в конуру...

*Судья, попечитель, смотритель, почтмейстер и лекарь уходят; в дверях почтмейстер оборачивается.*

ПОЧТМЕЙСТЕР. Эй, пристав частный – день ненастный!  
Ой, частный пристав – будь неистов! Квартальный, готовь станок  
долбальный! (*Общий смех.*) Смешно.

#### Явление IV

*Городничий, Бобчинский, Добчинский и частный пристав.*

ГОРОДНИЧИЙ. Что, дрожки там стоят?

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Стоят, Антон Антонович.

ГОРОДНИЧИЙ. Дрожки, бричка, тройка... Гусь, куда несешься ты? Аж дрожь пробирает – зарежут люто и запекут с яблоками антоновскими... А чому ж це вы, Степан Ильич, один, як сыч? да квартальные хлопцы-то ваши где, казаки ерусалимские? куда делись эти психи? ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь, староста этой вашей палаты номер шесть. Где Прохоров?

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Прохоров в частном доме, да только, право, к нашему делу не может быть употреблен.

ГОРОДНИЧИЙ. Как так? Вы, частный пристав – одно сплошное ЧП...

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Да так: вчерашнего дня драчилась за городом случка, тьфу... случилась за городом драка – поехал он туда для порядка, а привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, цельный аквариум, ан до сих пор – делириум...

ГОРОДНИЧИЙ. Пьян?

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. В стельку. Сыт, пьян и нос в табаке.

ГОРОДНИЧИЙ (*хватаясь за нос*). Ах, Боже мой, Боже мой, готеню! как же вы это так допустили? Отличились!

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Да Бог его знает... В голове у него произошло верчение и посылает всех не нах, а подх... Бог даст, протрезвится. Все под Богом единым ходим.

ГОРОДНИЧИЙ. А Держиморда где?

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Держиморда поехал на пожарной трубе – загорелся Прохорова отливать.

ГОРОДНИЧИЙ (*безнадежно машет рукой*). Два сапога! Уже я так и вижу. Слушайте сюда, Степана Ильича, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын, не пришей рукав... зато он высокого роста, по прозванию Каланча, так нехай стоит для благоустройства на мосту – как бы на посту. Да разметать наскоро тот самый ветхозаветный забор, что возле сапожника Йоськи, и поставить новую соломенную вежу, чтоб было похоже на планировку. Мол, сад радостей земных – уже вот-вот... хрущи над



вишнями гудуть! Оно чем больше ломки, смены вех, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, Боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Когда б вы знали, что за скверный народ: только поставь где-нибудь в сквере какой-нибудь памятник или просто забор с колочкой, черт их знает откудова и нанесут всякой дряни, сорок бочек арестантов! *(Вздыхает.)* Да если приезжий богодул будет спрашивать нижних чинов службу, довольны ли – то чтобы отвечали по уставу Иова: "Всем довольны, ваше благородие", а который будет недоволен, то я ему после дам такого неудовольствия – всю ниневию наизнанку повыверну!.. Ой-вой-вой! грешен, во многом грешен, дай только Боже, чтобы сошло с рук *(рассматривает руки, умывает их, скребя)*... пятно, опять пятно... а там-то я поставлю уж такой семисвечник, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца... *(уточняет)* белокурую бестию... наложу доставить по три пуда воску. Мол, новый трехпудовый год!.. О, Боже мой, Боже мой! едем, Петр Иванович! Выезжаем! *(Вместо хасидской черной шляпы хочет надеть бумажный футляр.)*

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.

ГОРОДНИЧИЙ *(бросает коробку, напяливает шляпу, бормочет)*. Коробка забежала к Коробкину, а там Коробочка в коробчонке скачет... *(Частный пристав с поклоном протягивает ему шпагу.)* При шпаге я, черт с ней! Эк шпага как исцарапалась – проткнул немало, помолись! Проклятый купчишка Абдулин, видит, абрашка, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ!

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Точно так, Антон Антонович. Глазки так и бегают, так и бегают. Один – на нас, другой – на Кавказ... Снуют, юркие! *(К Бобчинскому и Добчинскому.)* Очень, братцы не люблю я вашу популяцию!

БОБЧИНСКИЙ *(бойко)*. От такого и слышу! Тоже мне, дядя Степа Крысобой!

ДОБЧИНСКИЙ. На зекалы неча пенять! А на себя бы, кум, оборотился!

ГОРОДНИЧИЙ. Оставьте, господа, проехали! *(Оглядывает себя.)* Какой-то Дон Гуан дурацкий, гишпанский игуанодон! *(Добчинскому.)* Ну, Петр Иванович, поедем, в добрый час.

БОБЧИНСКИЙ. И я, и я... Позвольте и мне, Антон Антонович, я так: петушком, петушком, Петрушкой побегу за дрожками, чи, чи, чик... Мне бы только немножко в щелочку-то во врата эдак посмотреть, как вы его прищучите... мошонку дверкой прищемите...

ГОРОДНИЧИЙ. Нет, нет, Петр Иванович! А кто же в лавке останется? Нельзя, нельзя! Пошли прочь!

БОБЧИНСКИЙ. Ничего, ничего... Я за вами – трюх, трюх... Погляжу капельку, как вы его бичевать будете да пригвоздите... *(Оскаливается.)* Кровушка кап-кап в мацу, причащусь на всю катушку...

ГОРОДНИЧИЙ. Главное забыл! Да если спросят, отчего не выстроена церковь, гори она огнем, при богоугодном заведении, на которую пять... *(растопыривает пятерню и тычет в рожу Бобчинскому, отпихивая)* лет тому назад была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела *(корчит грустную рожу)* – ай, яй, яй! Поняли у меня, Петры?! Не успел, скажете, трижды пропеть красный петух... как пожелали, так и сделали... Я об этом и рапорт представлял *(тычет пальцем в пол)* тамошнему раппопорту. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру ляпнет, что от нее котлован остался – вот какой рассеянный Лазарь Моисеевич. Ну, храм с ним, взрывать – не строить... Йо-хо-хо, прибавились грехи на орехи! Поехали!!!

#### Явление V

*Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.*

АННА АНДРЕЕВНА *(в просторной хламиде)*. Где ж, где ж они? Ах, Боже мой... *(Отворяя дверь.)* Муж! Антон, сероглазый король! *(Говорит скоро.)* А все ты, а все с тобой. И пошла ковыряться: "я булавочку, я косынку, я на правую руку надела перчатку с левой ноги..." *(Подбегает к окну и кричит.)* Антон, куда, куда? приехал ревизор? что, вылитый Исая? с усами? приехал на осле?

ГОРОДНИЧИЙ. После, после, матушка.

АННА АНДРЕЕВНА. После? вот новости – после! Я не хочу слова после... Мне знать одно, лишь вначале: что он, полковник? Пусть и в отставке, в печали... А? *(С пренебрежением.)* Я тебе вспомню при спальне! А все эта одетта: "Маменька, пра, погодите, я не одета". Тоже мне встала – в негодовании и в папильотках! Вот тебе ничего и не узнали! а все проклятое с детства кокетство, услышала, что почтмейстер здесь, и давай перед зеркалом жеманиться – воображает, маргышка, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься, и в книжечке своей рожи рисует.

МАРЬЯ АНТОНОВНА *(в легкой тунике, с венком на голове)*. Да что же делать, маменька, о нимфа: чрез два часа мы все и так узнаем.

АННА АНДРЕЕВНА. Чрез два часа! благодарю покорно – ответом одолжила. Как ты не догадалася сказать, что через месяц еще лучше знать! *(Свеивается в окно.)* Эй, Авдотья! ты слышала, что там приехал кто-то... Не слышала? ты глупая какая! А! С моим народом... *(Голосит.)* Эй, Авдотья, ты, Авдотья, отвори-ка ворота – шевели-ка ножками да беги за дрожками! Да расспроси вежливо, что за приезжий, и узнай глаз цвет: черные или нет. И сию же минуту назад, как сильфида! Скорее, воздушней, скорее, скорее! *(Кричит до тех пор, пока не опускается занавес.)*

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

*Маленькая комната в гостинице; постель, стол, чемодан, пустая бутылка – словом, как у Гоголя. На стене портрет Николая I, но только верхняя половина, до пояса.*

### Явление I

*Осип – в поношенном длиннополом лапсердаке – лежит на барской постели.*

Боже мой, черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая... а есть такой тресковый балычок, лабардан называется – это нечто, тает во рту! *(Поглаживает живот.)* Да-а, трескотня в брюхе, как будто бы целый полк архангелов затрубил в трубы: гавририада, Страшный суд – вставай, поднимайся, раб-народ!.. Служил Гаврила пустобрёхом, Гаврила по пустыне брел... Вот не доедем да и только – до обетованья! что ты прикажешь делать, Господи? Второй месяц пошел как уже из Питера *(показывает рукой на чемодан)*: чемодан – вокзал – и в шею... Изгнанье! Ушли от горшков с мясом на Невском, от снежных пирамид и сфинксов на набережной... Едем незнамо где, скитаемся нескончаемо. Путешествие из Петербурга в езду! В уездный Аид... А наш аид, голубчик, профинтил дороною свои пять золотых, теперь припекло – сидит и хвост подвернул, и рожки свесил, и не горячится. *(Передразнивает, робким голосом.)* "Эй, Осип, ступай, будь добр, посмотри комнатуху, самую бедную, да обеда не спрашивай: я не могу впитывать дурного и бренного, мне нужна лучшая участь". Добро бы было в самом деле что-нибудь *(воздевает руки)* путное, а то ведь елисеишка простой, пророк липовый. И меня за собой водит, как цыган медведя. Всю плешь проел! С проезжающими знакомится, если карты легли, а потом фокусы свои показывает – вино из столов добывает, прокаженному оспу прививает – вот тебе и доигрался, кудесник! Погорелый театр!

Семь действий есть, а жрать-то нечего! Эх, надоела такая жизнь-копейка без гроша за душой! В кармане блоха на аркане плюс вошь на привязи – соси лапу и посапывай! Сам бессребреника корчит и другим пару целковиков заработать не дает... *(берет в руки пустую бутылку, поглаживает ее)* на чай... с баранками... Ты, говорит, Осип, осознай, что дырка будет повеликатней, ценней бублика: бублик можно слопать, а дырка останется. Эдакое колесо бестелесное – и доедет оно, эх, до цугундера!.. Право, жительство в местечке лучше: оно хоть нет публичности домов, да зато заботности меньше – возьмешь себе одну бабу, усредненно говоря, Машу – а по Книге правоверному положено до трех! – да и лежи весь век в берлоге на полатах, да ешь пироги с кашей, а желаешь – с Машей, уж как-нибудь отличая наощупь... *(Убежденно.)* Народ надо пороть, потому что народ балуется. Есть у тебя черта оседлости, так осядь в осадок по-хорошему и не шляйся ни черта где попало... Сиди на печи, а уж она едет... по Великой Степи... На Чертов остров... Теория дрейфа печи – никаким дрейфусам и бейлисам не снилось! Кальсонеры только мельтешат да Пружинеры мешают писать на печке... *(Вздыхает.)* Ну кто же спорит, где рыбе глубже, – конечно, если пойдет на правду, так житье в метрополии лучше всего – пока Питер бока не вытер! Жизнь тонкая и политичная: кеатры марионеток, дерг-дерг за ниточки, собачки тебе вальс танцуют, лемуры служат, эринии жужжат, и все что хочешь. Разговаривают всё на тонкой деликатности, никто тебе в ребра не тычет: "Чаво, булошная"; гулящую девку – бордюр, и то называют "поребрик", а трахтир – "Англетер". Пойдешь на Шукин – тебе из проруби кричат: "почтенный!" На перевозе в лодке с чиновником сядешь: он тебе сразу апорию про волка, Харона и капусту – у кого чего болит... Почуял одиночество в толпе, компании захотел – ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери – вышки, шконка, пайка, один-день Иван-ден – звон рельса на морозе на подъеме. Как на ладони, все видишь – дальняя дорога, казенный мертвый дом!.. А в лавочку старуха-бандерша забредет, горничная иной раз заглянет такая – на-на, фу-фу! *(усмехается и трясет головою)* – что сам в эту горничную захочешь заглянуть. Трахель! Галантерейное, черт возьми. обхождение – так шмыгнешь в нее, что тебя никакой дьявол не оттащит! Эх, бабы-бабочки, гусеницы ангелов! Одно плохо: голодуха! А все он виноват, Дон-Кишот местечковый! Они там, в Назаретовке, так и кишат. Видят, подслеповатые, что блестит у него над головой – ну, думают, нимб! – а это он накрылся медным тазом! Ни копыя в загашнике! А отчего? оттого, что делом, делом не занимается. Ты, говорит, Осип, считай себя уже отшельником и питайся акридами с медом. А акриды – это же кузнечики, мелочь пузатая... Ах, Боже

ты мой, хоть бы какие-нибудь щи!.. Жалкий трактир, нищий чердак, утлый челн, где капитан – Ахав Копейкин, и нету маковой росинки за щекой! Хоть шаром покати! А хавать хочется! Как белый кий, судьба вдоль борта гонит в лузу – ложись и помирай! *(Укладывается поудобнее и держит бутылку, как свечу.)* Вечная хвороба – пустая утроба! Пойти туда, не знаю куда – на бой, на торг, на рынок – и купить хоть сайку... Обратить камни в хлебъ, облако в верблюда! Слова, слова, слова – притчами не кормят, сыт не будешь... Премного разных трав и вер... Сладкое вер блюдо! Заговариваться начинаешь! *(Бормочет горячечно.)* Ставить верши на вирши – и словить побольше, и свалить на телегу, и свезти подальше – на канал Грибоеда... на Васильевский остров я приду, как на николайвасильевича хутор ввечеру, к чертям... мне вернуться б туда и плотать бы скорей *(облизывается)* рыбий жир петербургских лампад-фонарей! Эх, завет бывает ветхим, а барашек – молодым! Запутался в кустах Исаак, а Авраам попал впросак... Золотистого меда струя из кувшина текла, да в рот не попала... Мимо, мимо, мимо Рима и Ершалаима, подъезжая под Ижоры, идут по земле ревизоры... *(Со вздохом.)* Кажись, так бы теперь весь свет съел, не отделив от тьмы. Пошли мне, Господь, второго! И чтобы гарниру побольше!.. *(Стук в дверь.)* Стучится, верно это он идет. Придумал еще какой-то условный стук, дятел. По голове себе постучи! *(Лениво сползает с постели.)*

## Явление II

*Осип и Хлестаков.*

ХЛЕСТАКОВ *(молодой человек с бачками-пейсиками, в лапсердачке с короткими лапами)*. На, прими это *(отдает свечу)*. Ходил, искал днем с фонарем и зажигал свечу – все бесполезно, ищи-свищи... Ни этого, ни просто человека... *(Задумчиво.)* А, опять валялся на ложе?

ОСИП. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве ложа, что ли? Что я, прокруст какой?

ХЛЕСТАКОВ *(задумчиво)*. Лжешь, валялся; видишь, все склочено. Не лги, это вредно – ложь, как ржа, разъедает душу. Не возжелай лжи ближнему своему и жене его, и волам его – чтоб не крутили вола... С ложью не прямыми дорогами ходишь, и как-нибудь взглянешь в лужу – а ржа крива...

ОСИП. Да на что мне ваше ложе? не знаю я разве, что такое ложе? у меня есть ноги, обе-две, не отнялись покамест; я и постою...

ХЛЕСТАКОВ *(задумчиво)*. Тогда – стой и иди. Точнее –

встань и иди.

ОСИП. Это куда еще?

ХЛЕСТАКОВ (*задумчиво*). Вперед, на подвиги добра. Ну, к примеру, вниз, в буфет... Там скажи... чтобы хозяин дал обет: не кормить вас, шаромыжников божьих, рифмачей блаженных, нищевродских прожорливых – до морковкина заговенья, до третьего пришествия... Пряник на елке, крошки в руке, зубы на полке, рот на замке! Пускай заучит вхруст...

ОСИП. Да нет, я и ходить не хочу – это вам не гулять по лучу!

ХЛЕСТАКОВ. Как ты смеешь, дур... добрый человек!

ОСИП. Да так, все равно хоть и пойду, а добра не найду. Хозяин сказал, что никаких обетов не даст.

ХЛЕСТАКОВ. Как он смеет не дать? Строгий обет послушания: не давать жрать. Возлюби ближнего и оставь без сладкого, и ужин отдай врагу... Ступени вверх: воздержание – очищение – просветление! А следующая стадия – воссияние. Дарение лучей! Пусть суп пуст – зато душа полна, с мениском!

ОСИП. Еще, говорит, и к городничему пойду: третью неделю барин мозги парит – голова пухнет от него трижды в день, не считая ужина! Этак всякий на осле приедет, обживется, обожествится, после и выгнать нельзя. Я, говорит, клянусь, Иудой буду, я прямо с жалобой, чтоб на съезжую, да в тюрьму... И уже заранее, зараза, козлиный пергамент написал, – готовь "телегу" зимой!

ХЛЕСТАКОВ. Какое грубое и грустное животное!.. А ты так уж и рад, добрый человек, мне все это сейчас пересказывать. Не злоязычествуй, не надо, это вредно – портятся вкусовые пупырышки души. А, стыдно стало, слезы потекли? Что ж ты молчишь, как проглотивший солнце?

ОСИП (*почесываясь*). Очевидно, я Азраила испужался – атамана Ангела, что сплошь покрыт глазами. А ну как Ангел Смерти съездит по сопатке... или вдруг сзади всадит под лопатку... Так и уйдешь в следующее перерождение на голодный желудок.

ХЛЕСТАКОВ. Ну, ну, полно. Уйди пока что с глаз. Ступай скажи хозяину. Легкими стопами! Мухой! (*Осип уходит.*)

### Явление III

*Хлестаков один.*

ХЛЕСТАКОВ. Ужасно, как им всем хочется есть. Так немножко пройдитесь – и пройдет аппетит. Возьмите узловатый посох – (*значительно поднимает палец*) а посох таки должен быть

узловат, сие вам не языческий фаллос! – и дуйте по водам, аки посуху, погуляйте по пустыне лет этак сорок с гаком (*нависывается "Семь сорок"*). Нет, черт возьми не проходит номер с этими нумерами. Мыкаются, мычат – мы ме-естные... Не сдвинешь! Паства ищет лишь пастбища посочнее да пирожного попесочнее. А как же жажда и голод духовные, томление духа... в духовке, с грибами... Жрачные животные! Плохо? Заведите себе ребе... Эти мне советы... Какой скверный городишко этот Ершалаим! Даже в овошенных лавках дают в долг. Ломбарды, исторические ссудные места. Сплошные старушки-процентщицы, старики-гобсеки – все скребут по сусекам. Бьюсь об заклад, дома́ помечены и кровь на косяках, за каждую калиткою злой шейлок – того и глядя отгрызет фунтик плоти! Это уж просто подло. (*Напевает.*) "Не шей ты мне, матушка, а-аве Мари-и-я..." Как родились в хлеву, так и до сей поры там сидят, добывают деньги трением большого об указательный – пещерные люди, борьба за огонь! Им, циклопам, хоть кол на голове теши, сто раз повторяй: "Встань и иди!" – никто не хочет идти.

#### Явление IV

*Хлестаков, Осип и трактирный слуга.*

СЛУГА. Хозяин Влас, мой властелин, прислал меня, гонца, он приказал: сперва сразитесь с младшим братцем! Что вам угодно?

ХЛЕСТАКОВ. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров, счастлив? По ночам анчар не беспокоит?

СЛУГА. Слава Богу единому.

ХЛЕСТАКОВ. Ну, что, как успехи в работе, в делах и молитвах? хорошо ли все идет у вас в гостинице?

СЛУГА. Да, слава Богу, все хорошо.

ХЛЕСТАКОВ. Много проезжающих?

СЛУГА. Да, достаточное количество. Да что вы все выпытываете, душу тянете? Говорите прямо – чего изволите?

ХЛЕСТАКОВ. Послушай, любезный, там хозяин твой до сих пор обета не приносит, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее – я предчувствую, что скоро мне придется кое-чем заняться, важным и надолго...

СЛУГА. Да, хозяин сказал, что не будет больше поститься и вам молитвы отвешивать. Этак, говорит, могу я совсем отощать. Он никак хотел идти сегодня жаловаться городничему, да ветром шатает.

ХЛЕСТАКОВ. Упрямец и чревоугодник!.. Да ты,

любезный, урезонь, уговори его – затей с ним долгий диалог, вверни так незатейливо про собственных Платонов, пещеру духа, проси подумать о душе, грядущих муках – грех спаивать и скармливать... откармливать народ! Ведь прямо на убой, прости Единый! Плохая карма, мрак, и аура не светит...

СЛУГА. Точно так-с. Он говорит: "Обета я ему не дам, покамест не заплатит мне – по таксе!"

ХЛЕСТАКОВ. Вот новости! Еще и рублефил, корыстолюбец!.. Любезный, а мне очень нравится твое лицо! ближний, ты должен быть добрый человек. И глаза такие умные, гуманные, не кривые... А глаза – зеркало души! Да чтоб такой умница не обвел вокруг пальца хозяина-пóца, не провел на мякине этого старого воробейчика – не верю!

СЛУГА. Да что ж ему такое говорить?

ХЛЕСТАКОВ. Скажи, что деньги сами собою... как в притче – ступайте, деньги, в избу сами... Емелианство – сиречь верованья древних... Ить откудова, ежели этимологически брать, произошло слово "рубль"? Это были в древности брусочки серебра, и когда их на кусочки рубили – получался рубль, а отсекали – получался сёкель, шекель. Один пень-колода! Рубль и шекель братья навек, даже на два! (*Строго.*) Словом, передай хозяину: будет день – будут деньги!

СЛУГА. А если, значит, вот, ну это, хозяин то есть как бы...

ХЛЕСТАКОВ (*раздраженно*). Молчи, усталый раб желудка. Ты растолкуй ему сурьезно. Пойди к владыке своему жалкому, ляжь у ног и скажи: "О ты, питающий от невежества своего все живущее и проезжающее! Выполняй обет свой перед странствующими и путешествующими! Ни крошки, ни покрывки!"

СЛУГА. Пожалуй, я скажу.

ХЛЕСТАКОВ. Ступай, тупой, к строптивому. Пусть даст обет – святой и нерушимый!

### Явление V

*Хлестаков один.*

ХЛЕСТАКОВ. Это скверно, однако ж, если он так ничего и не даст. Где же мое умение обретать друзей и оказывать влияние на людишек? (*Покручивает пейсы.*) Один черный, другой белый, веруй да надейся, один правый, другой левый, два веселый пейза... Манихейство какое-то, а жизнь сложнее, ершистей – как коктейль.



Неужто гвоздь заповедей только в том, что частица "не" пишется отдельно?.. Ох, повторяю для глухих – скверный городишко Ершалаим! Так и слышится: ерша ловим. Да и пьем его же, смешиваем. Ну, еще козла забиваем... и варим в молоке... Провинция – умора! Пригорки, ручейки – вот они уже мне где, по горло! Мухи, грехи, носители опахала... Азия-с, уездный город Ен – райцентр, а не райсад. Скучно жить на этом свете, господа! Да-а, наш маленький Жидóмир... Душевный город, и сидит он у всякого из нас. Но дýши в нем – неуважай-корыто сплошные, корыстные, в коросте лжи. А ложь... впрочем, это я уже... Хотя вообще это не только к патологическому брехуну Осипу относится – человеческое, слишком человеческое... Ведь не прилгнувши не говорится никакая речь – без красного словца не выловишь и рыбку из прудца... По-русски, врать – значит скорее нести истину, чем обманывать. Не соврешь – и за собой не увлечешься, не загонишь человечешек к счастью... Там в городе таскаются офицеры и народ, так я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с неофитами – за мною, фетюки! Сарынь-абрамя на кичку! Влезай на кочку, зажигай свечку! Стройся в каре, мочи в сортире! Ух, и разворошил я человечий муравейник – муравьев апостол и мочалок командир! (*Обращается к портрету Николая I.*) Что вы на меня смотрите, как царь на поэта? Хотите спросить, а где б я таки был 14-го числа зимнего месяца санного, если бы да кабы? (*Наставительно.*) На той самой площади, милостивый государь, со своим народом. Явление мое ему! Чего вы кривитесь напрасно? Я – картина, вы – портрет... Я – рожа твоя. Мы оба в пятом номере под лестницей. Мне сердце грея, ты на себя берешь мои грехи: в погром утетишь – сами виноваты, а ежли, скажем, семя лью на землю – разумным, добрым, вечным назовешь... Пойми, брат Коля, все мы живем под лестницей Иакова, лестницей-небесницей – а ангелы с кривыми ножами в зубах бегают по ней, карабкаются, как по вантам, взад-вперед, вверх-вниз с поручениями – тридцать пять тысяч одних ангелов! "Ступайте, – поют, – Иван Нисаныч, департаментом небесным управлять!" – я, признаюсь, немного смутился, вышел в хитоне... Хотел отказать: я свой шесток знаю, оно мне нужно – учить всю голубятню слушаться шеста? Но коли уж назвался груздем – забудь про гвоздодер! Соблазны эти вечные – коридоры власти земной... транвай желания, портфель министерии, квартал кварталных опричников... Тьфу (*плюет*) даже тошнит от этих звуков.

#### Явление VI

*Хлестаков, Осип, потом слуга.*

ХЛЕСТАКОВ (*сидит на стуле возле стола*). И что?

ОСИП (*прихлопывая в ладоши*). Несут обед! Несут, несут,

несут! Небось хотя бы суп – на жидкое! А там и кухочка – жаркое из жар-птицы! О, аж два блюда! Вчуже пронимает аппетит! (*Слуге, нетерпеливо.*) Подойди, любезный, от тебя курицей пахнет!

СЛУГА (*с тарелками и салфеткой*). Хозяин в последний раз уж дает – пир, говорит, на весь мир. Прощай, кричит, миряне! Сдаю трактир в заклад, и на покой – в запой, принявши схиму. "Трех пескарей" на Троицу меняю! Не хуже прочих, говорит, смогём распяться. Возгордился!

ХЛЕСТАКОВ. Гордыня – страшный грех! (*Крутит головой.*) Ну, хозяин, хозяин – лже-лжемессия... Муж лжи, взявшийся за гуж... Чего отчебучил, жучила! Это куда же – второй храм Спаса на троих? (*Внезапно.*) Я плевать на твоего хозяина! (*Плюет.*)

СЛУГА. Да что вы расплевались, сударь? Весь пол, как погляжу... Чахотка нешто?

ХЛЕСТАКОВ. Ишь как заговорил, юрод! Вам лишь бы жрать от пуза да исправно испражняться... И чтобы боги отгоняли мух! Бездушное пространство! Да что тут распинаться втуне (*безнадежно машет рукой*)... Падающего толкни Богу молиться – он и лоб расшибет. Слепцы! И слепни! Оводы в болоте!.. (*Встает со стула, отпихивая слугу.*) Прочь, адская кухня! Там трупы вымытых животных лежат на противнях холодных!..

ОСИП (*тут же опускается на стул и повязывает себе салфетку*). А вот и пища! Ну, наконец, молочное с мясным, говяжьи щи с сметаной! (*Облизывается и шумно ест.*)

ХЛЕСТАКОВ. Не пищи. А заодно – не чавкай, аки саранча. Хлебай бесшумно лаптем. Хоть трапеза твоя и затрапезна, уписывай, брат Осип, за двоих. Вечера в одиночестве, мой ученик сварливый, – убранство бедное, салфетка грязновата. Взамен ее, закончив жрать, меня ты поцелуешь жирными губами, дыша чесночно...

ОСИП. Да-с, корочку черняшки я чесночком натру, говяжья мозговая косточка – мне точно по нутру! Чарующе! (*Ест. Восхищенно.*) Боже мой, какой суп! (*Продолжает есть.*) Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супа!

ХЛЕСТАКОВ. Желудки вы дуплистые, дубы развесистые – что с вас взять, кроме желуду! (*Стучит по лбу.*) Кость осталась, а мозги-то высосали! Эй, Осип, не сопи, а подтверди!

ОСИП (*сопит, высасывая мозг из кости; обращается к слуге.*) А соуса нет?

СЛУГА. Соуса нет.

ХЛЕСТАКОВ (*иронически*). И совести нет?

СЛУГА. И совести нет. Ничего, давайте, топчите. Мы примем-с. Мы нынче стойки. (*Подбоченясь, к Хлестакову.*) Нам

теперь хоть плюй в глаза, а сделаем жизнь краше: пойдем под знаменем башмака – просить каши!

ХЛЕСТАКОВ (вздыхает). Мда, неистребимый ритм... Ну, что я вам скажу на этот плач... Тебе учиться надо – да вот риторике, к примеру, как Цезарь или Горобец. Ты будешь философ и богослов. Но для начала стань учеником, ходи босой, разуй извилины – и внемли. Как, кстати, тебя кличут? Павел, работник Власов, из колена Балды? Ах ты щелкунчик этакий – зубастый! Апостол – мордкою об стол! Вполне народный тип, какие только и встречаются на нашем бездорожье... Беру в ученье – ты отныне ученик, катайся на портфеле с горки... (*Задумчиво.*) Недаром зажигал свечу я – ученики летят, как на огонь... А уж какие махаоны... грех жаловаться – лопай что дают...

ОСИП (*привдвигая и режа жаркое*). Там щец немного осталось, сир, возьмите себе.

ХЛЕСТАКОВ. Отдай сырм и убогим... (*Оживляется.*) Или выплеси за окно – как автор "Мертвых душ" в рассветном Риме ночной горшок, бывало, – на счастливого!

СЛУГА. Уж известное счастье-с. Как птица для помета... Щас, жди!.. А то еще серные дожди зарядят... И все на нашу голову. Вы помните, в столовой сегодня поутру два низеньких человека ели сёмгу и еще много кой-чего?

ХЛЕСТАКОВ. Как не помнить? Отвратительное зрелище – сёмга, кисло-сладкое, котлеты... А люди-человеки вообще низенькие... низкие... им это свойственно. Возьмите какую-нибудь Низу из Нижнего Города, с Подола – у нее сзади обязательно есть маленький хвистик... Только редким натурам (*выпрямляется гордо*) доведется взойти и жить на вершине голой, без голых гадов... Это для тех, кто почище-с – для прошедших Чистилище!

СЛУГА. Я просто хотел предупредить, Учитель, что от этих двух коротышек исходит угроза. Это вестники бед – Пончик и Сиропчик судеб. Пони Блед... Вижу, вижу, дрожа, ближайшее – слопают вас, как чушка глупого поросенка.

ХЛЕСТАКОВ. Вырастет из Сына свин... (*Улыбается, треплет слугу за ухо.*) Поросенок ты скверный с хреном и со сметаной, исполненный суеты! Бесы вошли в тебя, будто трихины, – облом же полный, ты бежишь к обрыву...

СЛУГА. Обнаковенная история-с.

ХЛЕСТАКОВ. Изгоним! (*Задумчиво.*) Нас же вот изгнали – значит, есть средства.

ОСИП (*с восторгом*). Что это за жаркое! Волшебство! Это топор, зажаренный вместо говядины! Вот она – манна, каша из топора! Сказка! (*Жует и напевает.*) Из-за леса, из-за гор показал нам Кьеркегор – страх и трепет забот иудейских!

ХЛЕСТАКОВ (*задумчиво*). Ох, мало их в хедере потчевали березовой кашей! И в головах у них каша, и какие-то перья страуса склоненные плавают вместо масла. И все кривятся от хлеба насущного, а жаждут хоть какого-нибудь пирожного, пожираемого в поте лица...

*Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.*

### Явление VII

*Хлестаков, потом Осип.*

ХЛЕСТАКОВ. Право, как будто и не учил; только что разохотился – образы полезли, мысли запорхали – пархато, бархатно... речушка потекла... сад лопахнулся, тыфу, распахнулся – разбегающиеся тропки ассоциаций... Ах, все это игра в бисер перед свиньями в ермолках, бесплодное метание икры... Ведь все расчислено и все известно наперед, все Богом предначертано, черт побери – за мной придут, войдут и уведут. Они обязательно войдут, чтобы поймать меня и стереть с лица земли или Завета. Бам – и нету! Был Царь Царей – и цап-царап! Ну поздороваются вежливо, у них не без того – против шалома нет приема! Шаблон – потащат напрямиком в тюрьму... И как же сыграю я в предлагаемых обстоятельствах? А ничего, не трусь – смолчу и утрусь. Если благородным образом, я – всегда пожалуйста. Еще и гвозди принесу и пожелаю не попасть по пальцу... Доброжелательство, непротивление, лень перечислять, да и противно, рожи эти потные, кривые, красные – да-а, на миру и смерть красна, в багрец одета, надеюсь, воскресение не столь безвкусно... А в общем – трафарет, классическая схема. Приглашение накаркано, а сам процесс описан и не раз – от дней Каифы до того же Кафки... Все повторяется, и сладко повторять, сказал бы Осип... Эй, Осип! Нет его. Убрел с слугою... Пить горькую... Про меня забыли... Ничего... я тут похожу... (*Вздыхает.*) Жизнь-то прошла, словно и не жил... Двадцать три года и три месяца! Достиг возраста Иуды, а ничего нетленного не совершил, не написал... Эх, ты... недотепа! Твое время истекло и по Стоксу в Стикс стекло... как вода в песок, а песок сквозь пальцы, а пальцы в пыльце – будто бабочка в стекло... Хожу и потираю лапки: арест – и я свободен, как Орест в Аргосе, все мухи и гадости вмиг отлетят... Знаю заранее – без лести предан буду. Да тот же Осип – верный скверный ученик – сначала донесет, потом оплачет. Сперва рефлекс условный, после – рефлексия. "Да все собаки" – сказано в послании от Павлова. Звенят серебряники и слюна течет. Какой бы ни был гордый род Атридов, а тридцать все

готовы обслонить... Да-с, Осип и продаст ни за понюх... Эй, Осип, посмотри там в картузе, табаку нет? Нет никого... и ничего... Уездный городок в табакерке... Как сказано от Марковны – до самья смерти... Да, Осип с радостью Учителя предаст, отбросит, как балласт, – к тому же он немного... педагог, мне кажется... О, как он мужественно говорил о ложе – зачем мне нужно ложе, ваше ложе, с жаром этак, с чувством... Ложесны блещут, зад трепещет!.. Ужели не традиционен? И этот скользкий кнехт, слуга трактирный!.. Два новообращенных друга – слуга и Осип, Паша и Эмильевич, Содомка и Гоморрка! Ведь оба предадут – речь о приоритете – кто раньше добежит... Зверинец натуральный. О, сад, сад, где свиногиены деловиты и заботятся о гигиене хутора! О, сад, где из морозного тумана вместо утопии канцлера Мора выплывает непотопляемый остров доктора Моро! О, сад – ос ад и мухам рай!.. Однако я нынче в голосе... жаль, некому всплеснуть руками с придыханьем: "Как хорошо вы говорите! Дивно!", и сладость оценить стиховаренья. *(Декламирует.)* Я речив, вечеря удалась – заберут в кутузку на закланье и распнут – раз плюнуть! – близя связь меж бревном и человеческим созданием... *(Вздыхает.)* Эх, пятница-распятница месяца нисана!.. Что ж ты за мессия – сел не в свои сани... Нечего сказать, славно встречу царицу-субботу! Замесилась уездная куча-мала! Люди, львы, ослы и психопатки... Тоска болотная и огни такие же! Вишь, сад, мой нежный и прекрасный сад! Гефсимань не гефсимань, а поднимут в эту рань... Мошенники, погромщики, каналы! Господи, как я хочу тишины и покоя! Слышите, топором стучат по дереву? Эдак дверь проломают! Отче, весь путь земной, всю дорогу страданий – бух-бух, бах-бах – стучат и стучат! Чтоб у вас уже струна лопнула! Бог мой, я готов остаться навечно в этой пещере, питаться свечными огарками – только оставьте меня!.. Каналармейцы, подлецы, каналы!

ОСИП *(входит, покачиваясь)*. Ау!.. Мы идем! *(Ухмыляется.)* Там чего-то городничий при-иехал, осведо... бя... мляется и спрашивает... у нас с Пашей трактирным... *(грозит пальцем)* о ва-ас!

ХЛЕСТАКОВ. Ну, началось. А ты уже набрался... Для храбрости?

ОСИП. Да что ж мне с ним – рубиться, что ли? *(Икает.)* Ик... Съездить бы по уху – и отсечь, ик, все разговоры... Да я ему прямо скажу, в рожу: как вы смеете, как вы?..

*У дверей вертится ручка. Осип, махнув рукой, рушится на кровать.*

Явление VIII

*Хлестаков, городничий (узкая испанская борода, черное одеянье гишпанского бархата, шпага) и Добчинский (камзол, обличье Санчо Пансы).*

ГОРОДНИЧИЙ *(протянув руки по швам)*. Желаю...

ХЛЕСТАКОВ *(подхватывает)*. ...здравствовать!

ГОРОДНИЧИЙ. Мое...

ХЛЕСТАКОВ. ...почтение!

ГОРОДНИЧИЙ. Извините.

ХЛЕСТАКОВ. Ничего.

ГОРОДНИЧИЙ. Обязанность моя...

ХЛЕСТАКОВ. Знаю, знаю, не трудитесь... заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений и проч. Все знаю – на шее Анна, был представлен к звезде, большой добряк и даже сам вышивает иногда кошельки...

ГОРОДНИЧИЙ *(сурово)*. Ты знал, галилеянин!

ХЛЕСТАКОВ. Да что ж делать? я не виноват, что пророк... я, право, заплачу, тьфу, заплачу... И неужели моя слезинка, одна только слезинка не окажется счетов премногих тяжелей... *(Бобчинский выглядывает из дверей.)* Ведь рок тяжелый больше виноват: говядину подают такую твердую, как бревно, а чай воняет рыбой, а не чаем.

ГОРОДНИЧИЙ. Повсюду сёмга роковая!.. Вы, к слову, кто по зодиаку – Рыба? Наверняка!

ХЛЕСТАКОВ *(задумчиво)*. С утра был Козерог. Декабрь, помните, – снег, елка, ребяшня, сны мишуры... И эта звезда Рож...

ГОРОДНИЧИЙ. Ну, коль не Рыба – я не виноват, раз криво вышло – уж обмишурился. По неопытности, ей-Богу, по неопытности. Недостаточность образования, кальция в мозгах. Казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар.

ХЛЕСТАКОВ *(задумчиво)*. Тогда ешьте пирожные.

ГОРОДНИЧИЙ. Нет, нет, недостоин, недостоин. Днем не ешь, ночь не спишь, стараешься для отечества... Да что долго ходить, взять вот хоть сейчас – мы, проаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним жиголо, точнее, костанжогло – помещиком-тружеником, землеробом! – зашли нарочно, чтобы осведомиться... привычное дело, знаете ли...

ХЛЕСТАКОВ. Как не знать... Осведомиться, доложить вышепарящим – хорошо ли содержатся проезжающие с этапа на здешней пересылке... Достоинно есть!

ГОРОДНИЧИЙ. Верите ли, обо всех забочусь! Не было места торговцам в храме, такая давка, а взошел городничий – и нашлось!

ХЛЕСТАКОВ. Я вижу, вы благородный человек. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие. *(Вдохновенно.)* Я должен идти в тюрьму – вот прекрасно!

ГОРОДНИЧИЙ. Я тоже сам очень рад. Сделайте милость – садитесь. Садитесь, прошу покорнейше! Увидите, как будет хорошо! *(Все садятся. Бобчинский выглядывает в дверь и прислушивается.)* Я, кроме должности, еще и по христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием – там, за воротами... Пекусь! Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия *(плавно поднимает руку к небу)* едете?

ХЛЕСТАКОВ. Право, не знаю. Ведь мой *(так же плавно поднимает руку к небу)* Отец – упрям и глуп, как бревно.

ГОРОДНИЧИЙ *(в сторону)*. О, тонкая штука! Эх куда метнул, поганка! какого туману напустил! разбери кто хочет – чистый фрейдизм-зигмундизм, проговорки: говядина твердая, как бревно, отец эдип и глуп, как бревно... И не покраснеет, мухомор! Славно завязал узелок! Ну да постой, инкогнито! На всякое хитрое гордиево есть дамоклово! Ты у меня проговоришься. Я уж сорву куш, заставлю тебя побольше рассказать – без всякой кушетки! *(Вслух.)* Благое дело изволили предпринять... Благая весть так и полетит – на все четыре стороны! У нас в народе как говорят: он приехал Бог знает откуда, я тоже здесь живу – не забирай чужеземца!

ХЛЕСТАКОВ. Это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься! Это задумали злодеи мои, пришедшие тучи тьмы. Помилуйте, не погубите.

ГОРОДНИЧИЙ. Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о заоблачных злодеях. Темно и непонятно! Где ковчег, а где вода!.. Я к вам пришел узнать...

ХЛЕСТАКОВ. А я еду в деревню. Больше света! О, гус!

ГОРОДНИЧИЙ *(в сторону)*. Совсем, ормузд, с глузду съехал! Прошу посмотреть, какие пули отливает! И старика Горация приплел! Пора ему во всем открыться. *(Ударяет Хлестакова по плечу. Вслух.)* Да полно вам трагить попусту заряды.

ХЛЕСТАКОВ *(холодно)*. Что-с? А на понятном вам жаргоне – вус?

ГОРОДНИЧИЙ *(насмешливо)*. Весна, христьянин, торжествуя, вознесся в небо, в ус не дует... Надрывно обновляет путь!.. Да что тут толковать, свой своего разве не узнал?

ХЛЕСТАКОВ *(учтиво)*. Позвольте узнать, в каком смысле

я должен разуместь.

ГОРОДНИЧИЙ (*насмешливо*). Позвольте вам не позволить! Да просто без дальнейших слов и церемоний. (*Становится суров, кивает Добчинскому – тот грубо, за шиворот поднимает Хлестакова со стула и ставит перед сидящим городничим. Сам Добчинский встает позади сгорбившегося, сцепившего пальцы Хлестакова, как страж – расставив ноги и заложив руки за спину. Выглядывает в дверь Бобчинский и восхищенно показывает большой палец.*) Ты что, не узнаешь меня?

ХЛЕСТАКОВ (*запинаясь*). Простите, как-то сразу и не... а впрочем, что-то смутно брезжит... скорей всего, мне кажется... но это, естественно, первослойно, заезжено, из серии дуб – дерево, кит – рыба... Добрый человек – Пилат?

ОСИП (*с кровати, сипло*). Рыба-Пилат! (*Показывает, будто шлит.*)

ГОРОДНИЧИЙ (*машет рукой*). Совсем допились... Все идеалы с вами растеряешь!

ХЛЕСТАКОВ. Какие уж там, игемон, одеялы... простите, идеалы...

ГОРОДНИЧИЙ. Да ты посмотри на одеянье! Гишпанский бархат! С искрой, незабываемого цвета – "вид на то лето во время грозы". Ты отверзь десницы-то! Подними веки!

ХЛЕСТАКОВ. Ой-вий! Простите, ой-вэй! И вы кто?

ГОРОДНИЧИЙ. Великий Инквизитор, вот кто. Торквемада, мать вашу так! Полгорода проехал – никто не узнаёт. Костер по ним плачет!

ОСИП (*сипло*). Взвейтесь да развейтесь... синие ночи... синева иных начал... синедрион... (*Переворачивается на бок и храпит.*)

ГОРОДНИЧИЙ. Вот синяк! Любимый ученик? Сочувствую... Ну ничего, и этот пролетарий поедет в колумбарий, не избежит огня. (*Сурово.*) Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Ибо дал обетование прийти во царствии своем – се гряди скоро! – но читайте в сноске мелкими буквами: "О дне же сем не знает даже и Сын, токмо лишь Отец небесный". А ты явился, не запыхался – туба-риба-се! Как снег на голову! Куда ж теперь тебя девать? Хорошо, что мы люди предусмотрительные, большей частью разумные, не оставляющие ключик под ковриком, и мы ждали тебя у нарисованного очага – с прежнею верой и прежним умилением. О, с большею даже верой! Ибо сказано: собирайте старательно хворост, а уж случай разожжет костер...

ОСИП (*ворочаясь, сипло*). На дворе трава, на траве дрова, на дровах – да́рк... Пóял, ик, Великий Композитор?..



ГОРОДНИЧИЙ. Купцы обмеривают народ, народ обманывает господ, унтер-офицерская вдова нагло врет, что ее высекли: ложь, она сама себя с наслаждением высекла – ни за хер-мазох! Мир устроен лже-логично, это такие лгуны и лежебоки – они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: "Лучше поработите нас, но накормите нас". А сами при этом хихикают в четыре кулака и перемигиваются... А ведь общеизвестно, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого – вместе невымыслимы. И ведь люди обрадуются, казалось бы, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят страшный дар свободы, принесший им столько муки... Ни черта подобного – никакой награды и восторгов, и омовенья ног с последующим питьем воды! Да я еще вязаночку подброшу – наоборот, ругаются и квакают, судачат и бурчат, осока, мол, и ряски, болотный газ пускает пузыри...

ХЛЕСТАКОВ. Неблагодарные! Прекрасно понимаю... Благодарю и приседаю. *(Пытается сесть, но Добчинский не позволяет.)*

ГОРОДНИЧИЙ. Но мы достигнем и будем кесарями с красной кавалерией через плечо – и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей! Мы красные кавалеристы и про нас!.. Соединиться всем в бесспорный общий и согласный муравейник! Нерасторжимость Красоты, Величия, Добра – и запомнить легко по буквам: НКВД.

ОСИП *(заплетающимся языком)*. Великий Инквд... Инквдизитор... Язык сломаешь с вами...

ГОРОДНИЧИЙ. Тут у нас церковь начала было строиться, да сгорела. А завтра я сожгу тебя, заезжий шарлатан, двуногое без перьев и смолы. Ты нос задрал и думал – Сирано? Но ты всего лишь глупый Буратино. Возьму за ножку и брошу в костер – затрещит... Протоплю по протопопову, по аввакумову! Брызжет сало, и теперь уже льется смола! Завтра ты увидишь это послушное чиновное стадо, которое бросится подгрести горячие угли к костру твоему... Всем миром и с молитвой! Да, мир ловил тебя и наконец поймал!

ОСИП *(сидя на кровати, торжественно, внятно)*. На небесах Единый создал двенадцать созвездий, и в каждом созвездии тридцать армад, и в каждой армаде тридцать легионов, и в каждом легионе тридцать скоплений, и в каждом скоплении тридцать когорт – как серебряных монеток в мешочке! – и в каждой когорте по чертовой куче звезд... Миров обетованных – как на площади цветов, как апельсинов в бочке!.. А вы, барин, вертитесь, как шварк на сковородке: сжигать, сжигать... Святая простота!

ГОРОДНИЧИЙ. Я Торквемада с виду, так-то оно так, но прочитай меня наоборот, зеркально – Адам Ев крот. И сразу

искривилась рожа смысла! И торквемады чувствовать умеют и по субботам зажигают свечи... Да, норов мой суров, но я же социально близкий, марран нормальный – жид крещеный, вор прощенный, а не злыдень Варраван – купчишка тороватый... Адам Ев крот – в саду эдемском прорыватель норок, возделываю сей прекрасный сад и не даю лежать под паром, пашу как вол и без порток... О, волос долог, ум короткий – о, финтирлютки и трешотки души моей!

ОСИП (*опять ложится, сипло*). А тихо поцеловать?

ГОРОДНИЧИЙ. Вот дьявол, самое главное забыл! (*Встает, подходит к Хлестакову.*) Дай-ка я тебя тихо поцелую... (*Целует-кусает его в горло.*) Такие дела надо тихо делать, поаккуратнее... Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодования? Что ж, завтра я тебя сожгу на костре. Завтра, завтра, не сегодня – так пророки говорят. Морген, морген, как изрек бы Христиан Иванович, добрый доктор Гибнер. Сегодня вы с ним познакомитесь, мягко выражаясь, поближе. Незабываемые ощущения, верьте на слово!.. А сейчас позвольте выпустить вас, так сказать, на стогны жаркие града – осмотреть некоторые заведения в нашем городе, прежде всего богоугодные...

ХЛЕСТАКОВ. А что там такое?

ГОРОДНИЧИЙ. А так, посмотрите, какое течение дел... порядок какой... орднунг... Или пожелаете взамен посетить острог и городские тюрьмы?

ХЛЕСТАКОВ. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше богоугодные заведения.

ГОРОДНИЧИЙ. Кто его знает, не поручусь... Там еще будет один такой коллега – Земляника Артемий Филиппович, попечитель. Его попечениями городу и морга не нужно: попал в больничку – считай, покинул тело, предстал перед Предвечным. Все, как мухи, выздоравливают! Да сами увидите... убедитесь...

ХЛЕСТАКОВ. С большим удовольствием, я готов. Позвольте только на минутку шпагу... буквально две секунды... Крысы... (*Городничий дает ему шпагу, Хлестаков подходит к тонкой фанерной двери, чуть ли не портъере, – и делает резкий выпад шпагой. Подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с дверью на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский поднимается, держась за грудь. Хлестаков, с поклоном вернув шпагу городничему, обращается к Бобчинскому.*) Что? не ушиблись ли вы где-нибудь?

БОБЧИНСКИЙ. Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверх ребра небольшая царапина. Скользнуло-с. Я забегу к Христиану Ивановичу, у него-с есть пластырь такой, из человеческой кожи, так вот оно и пройдет.

ГОРОДНИЧИЙ *(делая Бобчинскому укорительный знак; Хлестакову одобительно).* Это-с ничего, ловко вы! Прошу покорнейше, пожалуйста! *(Показывает на выход.)* А слуге вашему, мыслителю с чемоданом, я скажу, куда причалить. *(Осину.)* Братишка, ты перенеси все ко мне, в дом на холме, тебе, любезнейший, всякий покажет. Прошу покорнейше! *(Пропускает вперед Хлестакова, которого плотно ведут за локти Бобчинский и Добчинский, и следует за ними. Занавес опускается.)*

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

*Палата в богоугодном заведении, то есть в больнице. Ночь, приглушенный свет. Кровать, на которой лежит кто-то, укрытый с головой одеялом. На стене – портрет Николая I, но только нижняя половина – лосины с лампасами, сапоги.*

#### Явление I

*Входит Земляника – в щегольских сапогах, в распахнутом белом халате, из-под которого виден френч с голубыми петлицами, а в них большие шестиугольные звезды. Под носом короткие усики. Смахивает на наркома Ягоду.*

ЗЕМЛЯНИКА *(навеселе, напевает).* Наверху, говорит, сосна, а кругом, говорит, темно, на сосне, говорит, кровать, а в кровати спит ревизор... *(Подходит к кровати, озабоченно.)* Что-то весь он опух со сна... И немудрено. Ужин был очень хорош. Нарочно для такого приятного гостя. Я совсем объелся. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия... и пить вино из одуванчиков... Выдул бурдюк-другой – и вот ты белый и пушистый! *(Взъерошивает волосы на голове, дует в воздух.)* И душистый!.. Иван Александрович, как называлась это рыба – которая очень вкусная? Не помните? Память отшибло? Так я вам скажу. *(Склоняется к лежащему, торжественно.)* Ла-бардан! Лабардан-с! *(Бродит то возле кровати, то в отдалении.)* Вот вы сейчас лежите и думаете – где это мы находимся? в больнице, что ли? Так точно-с, Иван Саныч, в богоугодном заведении. Тут раньше стояли кровати... много... и валялись больные, но все до единого... выздоровели. Как мухи, клянусь Юпитером и Дмухановским! Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор как я принял начальство – во всем новый порядок. Превыше всего честность и чистота – прямо можно есть с пола. *(Присаживается на кровать в ногах, поглаживает одеяло.)* Баю-баюшки-баю... Вы – ревизор-с, а рыба – лабардан-с, а я – Ионыч – вечный хрыч, что

все вещал из чрева, библейский Левитан... Баю-баюшки... Ничего, что я тут посижу, на краешке? А то спина стоять устала. Позвоночник гибкий, но кривой. А я ж вам, кстати, не представился еще по-настоящему – ведь и зачем вам затруднять язык: Артемий да Филиппович да Земляника... Зовите просто – Ягода. Ну, попросту – Ягода. *(Становится слегка страшен.)* Понял, хрен ежовый? Внял, тля? А ты мне ваньку тут валяешь! Ты ревизор, приятель – ну а я провизор! Провидец-фармацевт, и где-то – парфюмер... Чуешь, чем пахнет? *(Бьет себя в грудь.)* Тварь, яд рожашая, и право я имею! Прикажете накапать в ухо?... Ну, давай по пять капель – для профилактики. *(Достает из кармана халата флажку, отвинчивает крышечку, наливает туда.)* Хлебнем, Ванюха, сделаем лехаим! *(Пьет.)* Ханаанский бальзам – изделие отцов венецианцев! Слеза! Божественное пойло – тут даже ангел взвоет петушком! *(Наливает, пьет. Грозит лежащему пальцем.)* Попал в психушку – так не гоношись. Лежи, Ваняй, и не воняй... не выступай, в смысле... не бунтуй бессмыс и беспоща против нача – дык владык много, а ты один... Рано еще, сыро еще – не по ветру моча... Ить сказано: "И в третий день восстану!" Ну и лежи, терпила грешный, не крутись, как на гвоздях, – желтый дом, жестко стелют... Имя им легион, Архипилат, плащаница с кровавым подбоем... А спасение одно – выпить *(наливает из флажки в крышечку)* из копытца. Тут, Иванушка, ежели не пить – козленочком станешь! *(Пьет медленно, смакует.)* И заме-едленно выпил... А куда спешить – и так все гонят в шею... давай, давай, костей не собирай... *(Напевает, поглаживая желтую звезду в петлице френча.)* Гори, гори, моя звезда... в петлице... Ты у меня одна заветная... в петлице... Земляника с викою, а я хожу чирикаю... Пою по целым дням – так скоро в пляс пушусь, вприсядочку пойду! "Ай, жги, говори!" – как городничий наш говаривает. К нам приехал, к нам приехал Иван Ревизорыч дорогой! Весь расхристанный такой! Крестила грешный! *(Приплясывает.)* Созрели вишни в саду у дяди Вани, а мы накрыли земляничную поляну... *(Наливает из флажки, пьет.)* Не пьем, Господи, лечимся... Больничка же... *(Толкает кровать ногой.)* А ты чего лежишь, как неживой? Ты мне тут лазаря не пой, я живо воскрешу! Ишь, глядь, разлегся, ванька-самозванька, отрепья, репы в голове – на диво шелудивый проповедник... Мытарь ты немыйтый! Тебя, Ивашка, надо б на прожарку, да, если честно, печку лень топить. Я тут и так прислугую за все – и хлебодар, и виночерпий, и речь держи, и печь топи, и крючьями убоину таскай... Спина скрипит, конечности не держат, рот пересох. Одна отрада осталась... *(Достает флажку, наливает в крышечку, подносит к лежащему.)* Хлебни, Ванятка, чай не укус. Вкуси, испей. Да не отрава,

отвечаю, не метил... Манкируешь, сачкуешь, нос воротишь? Канешна, кидушный стаканчик тебе подавай и заветное вино! Тоже мне – пьющий в терновнике! Ну, я и без тебя, не чокаясь... (*Пьет залом.*) Свершилось!

## Явление II

*Земляника. Вбегают, держась за руки, Анна Андреевна и Марья Антоновна – обе в строгих юбках до пола, блузках с длинными рукавами, в париках, на щеках мушки. Анна Андреевна в шляпке.*

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Артемий Филиппович, душенька!

АННА АНДРЕЕВНА. Дядюшка, дядюшка!

ЗЕМЛЯНИКА (*кисло*). Ну что еще, к чему? Вдруг вбежали, как угорелые кошки... (*Анне Андреевне.*) А вам, медам, я такой же дядюшка, как вы мне бабушка. Имею честь в сто первый раз представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника. Зачем вы здесь? Ночь на дворе.

АННА АНДРЕЕВНА, МАРЬЯ АНТОНОВНА (*хором*). Ревизорчика инкогнитова любопытно поглядеть.

ЗЕМЛЯНИКА. Ни, ни, ни! Спит. Изволит почивать. Дрыхнет без задних ног. Умаялся за день. Доктора Гибнера, ежели угодно, могу показать.

МАРЬЯ АНТОНОВНА (*отмахивается двумя руками и отплевывается*). Тьфу, тьфу, тьфу, не к ночи!..

АННА АНДРЕЕВНА. Не стыдно ли вам! я у вас крестила вашего Ваничку и Лизаньку, а вы вот как со мной поступаете!

ЗЕМЛЯНИКА. Э, кумушка, тута экуменически надоть! Видали намалеванное полотно, картину "Снятие с магендавида"? Ну вот. Устал же человек, уснул и видит сны... Здесь нужная вещь, дело идет о жизни человека – без всякой разговорчивой жены. Спи спокойно, честный труженик, мир паху твоему! А вы тут, две горлицы, воркуете томно со своими глупыми расспросами... Такому глупству надо положить конец...

АННА АНДРЕЕВНА (*мечтательно*). Ах, это звучит эвфемизмом – положить Конец!.. Какое тонкое обращение! А сейчас можно увидеть эту столичную штучку?.. Приемы, позы и все это такое... Я страх люблю таких молодых людей! Я просто без памяти, как Эдипа...

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, маменька, Эдип – мужчина, он. Увы!..

АННА АНДРЕЕВНА. Иди ты! Пожалуйста, со своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно.

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Нет, маменька, право. Когда у нас была поездка в остров любви, на Лесбос...

АННА АНДРЕЕВНА. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя да и полно! вечно ей и рыбку лизать, и на елку влезать...

ЗЕМЛЯНИКА. Да перестаньте вы кудахтать. Эткими пустыми речами только ему спать мешаете.

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, сладко спит, милашка! *(Жадно.)* А гроб качается хрустальный? Пропустите, пропустите меня к нему, я хочу видеть... *(Втягивает ноздрями воздух.)* И землей разрытой пахнет, такое амбре... Я поцелую – он и проснется!

АННА АНДРЕЕВНА *(мечтательно)*. Я – незабудка, а он – тюльпан! Ах, какой приятный недотыкомка! Я – твоя незнакомка!

ЗЕМЛЯНИКА. Я дико извиняюсь, медам, за казарменный образ мыслей, но у нас в полку, в Молниеносном Легионе-с, недотыкомкой назывался шпак, который слишком быстро кончает. Недотыкивает. Досрочное семяизвержение-с. Чего вы тут нашли приятного – недоумеваю!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. А у нас на Лесбосе, короче, девчонки считали, что когда идешь к женщине – бери с собой плеть. Но я, короче, думаю, что когда идешь к мужчине в клеть – тоже надо брать. Плеть укрощает плоть. И даже украшает. Какой же Хлестаков хорошенький наверно! Хлестать кнутом – и целовать рубцы! лобзать и хлобыстать! Накажу его, плохого мальчишку! Ах, поднявши рубашонку, таких бы засыпала, что дня б четыре почесывался!

ЗЕМЛЯНИКА. Мда, первая любовь, амур лягнул... Иван да Марья на седьмых воздухах! Царевна и лягушкин сын, ученый головастик... *(В сторону.)* А глазки-то, глазки, как у нее глазки горят! Ишь, рвется надавать лозанов... Не баба, а розан в сметане!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Артемий Филиппович, душенька! Как бы мне хотелось его постегать!

ЗЕМЛЯНИКА *(добродушно)*. Постигните, барышня, постигните – со временем...

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Да не постигать, глупый Артемка-Филька, а постегать – хлыстиком! Ах, как бы мне хотелось его отодрать – на конюшне, на авгиевой!..

ЗЕМЛЯНИКА. Смотрите, раскрасоточка, чтобы он вас не отодрал. Потом, там до колен навоз...

МАРЬЯ АНТОНОВНА. А по́ фигу мороз! Бывала и видала!.. Хочу похожей быть я на Марию из Магдалы и пить без продыху из чаши бытия, а после волосами *(лихо сбивает на ухо парик)* ноги Ему кутать – израненные, в гнойных язвах... Чуть

ночь, мой демон тут как тут: ведь он – Господь и господин, я – чернозем и белая бумага! *(Оглядывается себя.)* Сенека говорила мне недавно, что бедра узковаты...

ЗЕМЛЯНИКА. Сенека, к сожалению, мужчина. Вас обманули – это была Сафо!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Шүтите! Ну, может, и Сафо... эфроны всякие, парно́ки... В белом лифчике из роз... Хо-хо, всё – красота, парниша!

ЗЕМЛЯНИКА. Довольно, стыдно мне. Пусть я Ягóда, но и Яго, да! *(Наступает на Марью Антоновну.)* Молилась ли ты на ночь, "Шма" читала? Хотя слово дашь кому-нибудь сказать? Платок, возьми платок... *(Затыкает Марье Антоновне рот платком.)* Уф-ф! Мавр сделал свое дело – на, Маврушка, шинель! Душонка с плеч, а тело может отдохнуть... Анна Андреевна, ваш выход.

АННА АНДРЕЕВНА. Какая я тебе, Филипыч, Анна! Совсем уж озверел, Ива́нов сторож, животное! Протри мозги, медведь... *(Поворачивается в профиль; гордо.)* Я урожденная-то – Сарра Абрамсон!

ЗЕМЛЯНИКА *(гримасничает)*. Гевалт! Жвините пожалуйста! А Сары русское едят!..

АННА АНДРЕЕВНА. Болтают, будто я русалка – ну, типа тины, в омут волоку... С какого дуба?

ЗЕМЛЯНИКА *(приплясывает вокруг Анны Андреевны)*. Гусары любят Сары, но Сары непростые, гусары любят Сары, да Сары золотые! Эх, лопнул гусар!.. *(Достает фляжку, встряхивает – пустая, швыряет ее под кровать, достает другую фляжку, наливает в крышечку, хочет поднести Анне Андреевне, но она забирает у него всю фляжку, и они чокаются, Земляника щелкает каблуками.)* За прекрасных дам! *(Пьет.)* Трах-тах-тах в мерцании красных лампад!

АННА АНДРЕЕВНА *(пьет из фляжки, радостно)*. Медведь – бурбон! И настоящий!

ЗЕМЛЯНИКА. Еще какой, из хуторской-то кукурузы! Там не какой-то джек!

АННА АНДРЕЕВНА *(пьет из фляжки, хмелеет; мечтательно)*. Я всегда была червонная дама, Красная Шапочка, но, ах, так и не встретился Волк-потрошитель! В огненных кустах, с горящими очами!.. Ах, фантазии, принцессы, грёзы... Артем, медведь ты старый! *(В обнимку идут к кровати.)* Ах, тут уже кто-то лежит... Ну что ж, представим, что сегодня ночь на Ивана Купалу... *(Пихает лежащего.)* Аллё, Иван Ляксандрович, лапуля! Очнись от дум, боярин! Бояка! Ах, миленок!..

ЗЕМЛЯНИКА *(забирает у нее фляжку, оттаскивает от*

*кровати*). Отлезь, душа моя.

АННА АНДРЕЕВНА (*внезапно опускается на четвереньки – лицом к залу; задирает подол себе на голову и приподнимает зад; шляпка сваливается, парик съезжает на ухо. Кокетливо*). Пускай я буду Снежной Королевой, а он, как юный Кай, прицепится к моим саням... И в нашем замке ледяном он будет мне моленья возносить, поление совать – в ту топку, что нежнее нет... Королева играла в башне замка в Шопена (*шевелит задом*), и, играя в Шопена, пожалел ее паж! (*Мечтательно*.) Ах, какой пассаж!

ЗЕМЛЯНИКА (*в сторону*). Ага, корова, значит – королева... Гертрудово отключив зад и разведя оглобли... Оригинально! Смешно, как говорит почтмейстер. (Анне Андреевне.) Медам, парик на ухо съехал! Довольно стыдно, матушка, стоять в подобной позе...

АННА АНДРЕЕВНА (*простирая руки к лежащему на кровати и пытаясь подползти*). Ах, это достаточно стыдно, чтобы стать поэзией! Нефритовый мой стержень! Я – твоя, я яшмовая ямка, я "Шма" прочла до середины!.. Божественный мой ревизор, прими в объятия возвышенной любви! Рачком – нырни в ракушечку!.. Вы видите, я на коленях! Вы видите, что я сгораю от любви!

ЗЕМЛЯНИКА (*раздраженно*). Ах, встаньте, встаньте, здесь пол совсем чист, а вы ползаете... Подолом метете, куртуазные сцены устраиваете...

АННА АНДРЕЕВНА. Нет, на коленях, непременно на коленях, умоляю... И да я сказала да я хочу Да!

ЗЕМЛЯНИКА (*успокаивающе*). Нет, нет, законы осуждают. Встаньте, дорогая, на задние лапы и удалитесь под сень струй – в конце коридора налево. Помойте ручки, отряхнитесь... (*Раздраженно*.) Марья Антоновна, да выплюньте платок и помогите... За ноги вашу мамашу! Отпустите хоть душу на покаяние, совсем прижали проклятые бабы! (*Занавес опускается*.)

### Явление III

*Земляника, Анна Андреевна, Марья Антоновна. Входит лекарь Христиан Иванович Гибнер – в белом халате; короткие усики под носом, как у Земляники; челка.*

ЗЕМЛЯНИКА. А-а, вот и наш пилюлькин-чебутыкин, айболит и маймонид, раббам и рагин, дорн и крупов, астров-гиппократ! Доктор Христиан Иванович Гибнер – местный гауптман... шуткую, гаутама здешних мест! Царь, Бог и лекарский



начальник!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ. Ие...гова!

ЗЕМЛЯНИКА. Целитель, парацельс! Прекрасный вивисектор. Известный – пусть не врач, но фелшар-то! – вредитель. *(Манит пальцем.)* Ком! Не постучался, презренный!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ *(подходит, вежливо кланяется)*. Ие...звиняюс...

ЗЕМЛЯНИКА. Вот, фрау с фройляйн, перед вами Гибнер – доктор Гибель, по прозвищу Чистюля. Христьян Иванович, чего сегодня без косы? Шучу, шучу, медбрат! Огниво при тебе? Тут надо пятки кой-кому прижечь *(кивает на лежащего на кровати)* – выводит враз из состоянья сна. А уж глаза на лоб как вылезают – с Круглую башню!.. *(Ласково.)* Христиан Иванович у нас сказочник – чистый Ганс-Христиан. Но неразговорчивый...

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ *(вежливо кивает)*. Ие... ие... ие...

ЗЕМЛЯНИКА. Боевой клич!.. Истинный тевтон, нордический аттила, чистый гунн. Друг-гуннька! Такой вам эскулап, кулак – с кирпич! Уездный викинг! Вы гляньте, зубы – чистый беовульф! – ух, наточил, волчара, о край щита, нагрызся! *(Подталкивает Гибнера.)* Давай ступай поближе, зигфрид гунявый, посмотри, вот они, прелестницы – формы-то какие! – брунгильды, валькирии! А сегодня наша мама отправляется в полет – да, Анна Андреевна? На крылышках любви! И ни метлы не надо, и ни ступы!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ *(вежливо)*. Ие...бать вашу мать! *(Показывает пальцем на Анну Андреевну.)* Матка! *(Тычет пальцем в Марию Антоновну.)* Курка, млеко! *(Показывает на Землянику.)* Яйки!

ЗЕМЛЯНИКА. Ишь, залаял, пес-рыцарь... Что, Гибнер, нос замерз в ночное-то дежурство? Набегался вокруг забора? Колочку не погнули? Согрейся, выпей чарку. *(Достаёт фляжку, наливает в крышечку, вроде протягивает Гибнеру, но выпивает сам. Наневает.)* Затоплю я камин, буду пить, хорошо бы овчарку купить... Эх, немчур! "Собачья жизнь да конура, – как говорит наш Ляпкин-Тяпкин, судила грешный. – А сахарные косточки – на сахарных плантациях"... *(Берет Гибнера под руку.)* Ну что, коллега, начнем обход, задрыга? Оно хоть и не хочется, и колетса – а надо. Шприц не забыл в сортире, фриц? Красавицы, вы наша свита – но только смирно, молча... А то я Гибнеру скажу – он вам язык отрежет, а заодно и нижний язычок, крылатую улитку...

*Анна Андреевна берет под руку Марию Антоновну, и две эти пары одна за другой подходят к кровати, на которой по-*

*прежнему лежит кто-то, с головой накрытый одеялом.*

МАРЬЯ АНТОНОВНА *(посылает воздушный поцелуй)*.

Ах!..

АННА АНДРЕЕВНА *(заламывает руки)*. Ох!..

ЗЕМЛЯНИКА. Что, Христиан Иваныч – с нами Бог?  
*(Показывает на лежащего.)* Ремня не захватили?

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, когда мы плыли на Лесбос на баркасе Диониса, то дембелюги-гребцы так какого-нибудь капитанского сыночка отлупщуют, что аж на попке пряжка отпечатывается, как гуттенбергово евангелие!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ *(вежливо кланяется лежащему)*. Ие... доброй хрустальной ночи, симпатичнейший Иван Александрович! *(Нюхает воздух, брезгливо отходит.)*

ЗЕМЛЯНИКА. Что, Гибнер, русским духом пахнет? Портянкой на морозе? Вот то-то и оно-то, Отто! А ты как думал, Ганс? И кюхельбекерно, и тошно... *(Наливает из фляжки в крышечку, кланяется лежащему.)* А мы с Ванюшей гарахраем по единой, слава Единому... Спознаемся с Ивашкою Хмельницким... Лехаим! *(Выпивает, нюхает косточку указательного пальца. Нравоучительно.)* Веселие Руси есть пити, жрати и спати на полати... Сапоги и те бутылками, в гармошку! Растяни венерины меха! *(Обнимает Анну Андреевну, они поочередно пьют из фляжки.)*

АННА АНДРЕЕВНА *(показывает на Гибнера)*. А энтому гиблому у нас не ндравится... Брезговует свести знакомство...

ЗЕМЛЯНИКА *(подходит к Гибнеру, тащит его обратно к кровати)*. Ну, ну, Християня, не забижайся, Иоганныч, это же мы так, для разговору... Устал, коновал? *(Подмигивает Анне Андреевне.)* Цельными днями учит нашего брата правильно садиться на лопату. Культурная нация, музыкальная! Кухня с краном, кирха с органом, кирка-лопата, колючка под током... Катастрофа! *(Всхлюпывает носом.)*

МАРЬЯ АНТОНОВНА *(присев в ногах кровати, шарит под одеялом, вскрикивает)*. Ах, маменька, какой пассаж! Ах, знала, что обрезанный, – не знала, что совсем!

ЗЕМЛЯНИКА. Брьсь, брьсь! Совсем рехнулась, матушка... вернее, Марьюшка! *(К лежащему.)* Не извольте гневаться, ваше превосходительство, она немного с придурью, такова же и мать ее *(показывает на Анну Андреевну)* – извольте убедить. А немца этого не бойся, он ручной, домашний – колбасник докторский, лютеранин некоторым образом... Штафирка... Пьет из наперстка, а не штофом! *(Пьет из фляжки. Гибнер обиженно отходит в сторону.)* Впрочем, он и на трезвую голову чертей по углам ловит. Как завидит черта – чернильницей

швыряет! Тезисы, кричит, учите!.. Все обои в комнате забрызгал! *(Подходит к Гибнеру, тащит обратно к кровати.)* Ну, полно вам, коллега, на бедного калеку обижаться... Язык мой – типун мой... *(Анне Андреевне.)* Эй, овцы, посмотрите нежно на Христиана Ивановича, на этого авиценну – цены же нет! Харизма эдакая, мордуленция! Халат какой парадный, выправка! Я-то, конечно, Артемий, конечно, Филиппович, но какой я к шуту попечитель! Вот Гибнер – это мастер, истинно по-печи-Телль! *(Изображает, будто стреляет из лука.)* Р-раз – и в яблочко, прямо в топочку! *(Пьет из фляжки, напевает.)* Маслом падает снег кругом, только душу все тянет вверх – это дым покидает дом по архангельской той трубе... Ах, Гибнер, Гибнер, у нас горит сажа... Мы в этом богоугодном заведении все у Гибнера под колпаком... с бубенчиками... *(Внезапно.)* Христиан Иваныч, снимай штаны на ночь! *(Все смеются, кроме Гибнера.)*

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ *(достает платок и проводит по спинке кровати, показывает – пыль; укоризненно качает головой).* Ие...спачкано спать!

ЗЕМЛЯНИКА. И в аду получит званье и Чистюли, и врача!.. Эх, Христиан Иванович, нехристь ты однокопытная! Пылинки сдуваешь – а душу не купишь! Она у нас Богу заложена! Полна коробушка! *(Встряхивает фляжку – пустая, швыряет ее под кровать, достает, как фокусник, очередную фляжку, пьет. Тычет Гибнера под ребра.)* Ну-ка, костоправ, хенде хох! *(Гибнер вежливо поднимает руки вверх, все смеются; Земляника разводит ему руки крестом.)* Вот этак будет, право, славно, по-нашему! *(Напяливает Гибнеру на голову шляпку Анны Андреевны.)* Вот так и стой, кукуй, пугало огородное!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, маменька, а вдруг он лишаястый? Педикулез к вам перелезет! А от вас – ко мне...

АННА АНДРЕЕВНА. Отдайте и не смейте впредь, страшила! *(Забирает шляпку.)*

ЗЕМЛЯНИКА *(опускает Гибнеру руки, похлопывает по плечу).* Ох, доктор Гибнер, чтоб вы мне были здоровы! Зайт гезунт! Начните уже разбираться в тонких шутках... Ну, хватит, хватит дуться... Гордый человек... Ну, виноват я, швайн в ермолке, меа кульпа!.. Пойдемте, Христиан Иванович, консилиум сварганим. *(Подводит Гибнера к кровати. Достает из кармана и надевает круглые очки.)* Ну-с, вот подопытный наш кроль. Лежит, как куль, и ни гу-гу. Желательно бы побудить его проснуться, встать. А то с кроватью сросся, как с четырехгранным брусом. Дерзайте, Гибнер. Отдирай – примерзло!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ *(вежливо тихает лежащего).* Ие...ван, сдавайс! Аусвайс! Лабарданс!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ему не больно?.. Жаль! Бедняжка! Камчой бы хорошо огреть – ах, все проснется, только свистни под моим окном!

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, нежный и прекрасный принц, нарцисс мой! О, как бы он раздвинул лепестки!

ЗЕМЛЯНИКА. Мне кажется, он шевельнулся – дрожание ресниц под одеялом, горошина сместилась... Проснется! весь живой и мокрый!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Поллюции. Блины на простыне...

АННА АНДРЕЕВНА. Как будто я ему явилась в позе амазонки – и незнакомка, и наездница!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ *(поглаживает по одеялу)*. Ие...удея, я, я. Косный мозг. Абер хороший кожа. Натюрлих.

ЗЕМЛЯНИКА. Да уж не кирза!.. Экие терзанья – молчит Ивашка, зазнался, возомнил... Мы для него не вышли рылом – мое лицо в его простой оправе!.. Ка-анешна, фу-ты ну-ты, ножки гнуты! Что ж, на здоровье, брат, – тогда отправим в Яффу, в чумной барак, будешь там больным подавать руку... и утку!.. Хочешь пи-пи – попроси кря-кря! Га-га-га! Согласен, Гибнер, с диагнозом?

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ *(кивает)*. Ие...зуит! Ие...зувер! Ие...здевается над добрый врач.

ЗЕМЛЯНИКА *(присаживается на кровать, снимает очки и всячески забавляется с ними, как крыловская мартышка)*. Хотя о чем уж там с тобой, Ванюха, говорить... Банальности да общие места... Все твои речи – сотрясение воздуха. Воздух продаешь, по водам водишь... за нос... Мечты и звуки... А мы-то, мыгтарь, в дело тебя пустим: тельце на органы, кожу на абажур, коронки – на тельца... Шучу, шучу, по-черному. Это у нас Гибнер мастак челюсти рвать. "Козьей ножкой" работает! У него и портсигар есть с буквою "Ие". А мы только гвоздями занимаемся – мелкая скобяная торговля... Эх ты, Ванятка, наивняк бездомный, кандидушко с лукошком – шел, шел, не мудрствуя лукаво, и вышел к людям, в мышеловку! Князь Норужкин! Точно, Гибнер?

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ. Ие...диот! Симплициссимус из Гриммельсхаузена.

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, помните сказку братьев Grimm про землемера К.? Как он очень хотел попасть в Замок, из землемеров в небожители, да никак не мог. А не дано по определению. Не уродился. Ах, ревизор ведь тоже землемер – он меряет, сколько человеку земли нужно, да кто как взвешен и найден легким. Ну там всякое – не укради все, не суй наслех... Не руби палец!.. А сам в душе воздушные замки строит, в Тройку попасть мечтает – на пьедестал иконостаса!

МАРЬЯ АНТОНОВНА *(танцует вокруг кровати)*. Не

валяйте дурака, не ваяйте галатей, а лепите из песка зámза-зámки без затей! В третье сладко верится, хоть обед из двух – но ведь ин вино веритас и ин вини-пух!

ЗЕМЛЯНИКА (*вскочив с кровати, восхищенно*). Гибнер, лепила грешный, единорог безрогий! Вслушайся, устами девственницы глаголет истина!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ (*закатывает рукава халата и волосатыми руками аккуратно раскладывает на кровати поверх одеяла блестящие жутковатые инструменты – крючья, скальпели и т.д.*). Ие...следуем как следует.

ЗЕМЛЯНИКА (*достает фляжку, наливает в крышечку, нюхает, рассматривает*). Как это верно – именно ин вино!.. веритас! (*Пьет.*) И спиритус, и коитус... Поддал – и в койку! Хорошо, душевно. А как проснешься – снова этот душегуб! Пошел отсюда, Гибнер! (*Гибнер обиженно отходит, Земляника опять присаживается на кровать.*) Ты, Ваня, нешто думаешь, что мы жрецы... и жрицы... – тебя сейчас в жертву принесем? Да это Гибнер разложил бебехи, он свой инстру́мент взял с собой... Ты, Ваня, брось, не думай... Главное – расслабься и получай... вот Анна Андреевна не даст соврать...

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, и отнюдь наоборот! Надо этак напрячь... там, внизу... мышцы, и сжимать, и разжимать... и важно, чтобы влажно...

ЗЕМЛЯНИКА. Вот нимфи́ща! Не слушайте. Ты, дядя, вообще шибко-то не шевели шариками, а прими лучше пятьдесят кубиков... (*Наливает, пьет.*) Анестезия! Мы еще поживем, Ваня, еще увидим неба вал... и ров... еще посмотрим... кто кого... через граненый прозрачный кристалл... Рус-философия: сдохнем – и отдохнем! Общее дело! Любишь лес – гробы стоячие? (*Наневает.*) Тебя поло-ожат в продолго-оватый ящик... Упадок и разрушенье мерзкой плоти – во, Гибнер, помнишь у Гиббона? Христиан Иванович, обезьяна Бога, ты где? Подь сюды, друган! Гони обиды прочь, забудь, что было! Ты что там точишь – нож? Отлично – то, что нужно! (*Христиан Иванович подходит к кровати, похлопывая по ладони скальпелем.*) Ну вот, уже и приближаются с ножами... Со скальпелем... Пока не скальп, не бойтесь. Щас доктор Гибнер только шкурку снимет с вас – как с сёмги!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ (*кивает*). Ие...й Богу! Кароши – люблю, плохой – нет.

ЗЕМЛЯНИКА. Как же! Семь раз отмерь – семь шкур отрежь... Превратился в животное? Истребить немедля! Да не дрожите так, не паникуйте – здесь больница, все цивиливно. Мы вам перво-начетверо группу крови определим – для Храма Спаса, потом номерок на запястье наколем, пяток цифр – код доступа в

наш запретный город, хе-хе, на представление, на маскарад. Театр начинается с номерка! (*Пьет из фляжки.*) Это будет, Ванюха, нынче *Ваньфоломеевская* ночь пополам с *Ваньлургиевой!* Эрсте нахте, цвайте нахте... С цветком папоротника (*показывает на свои петлицы*) в петлице!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ (*педантично собирает свои инструменты с одеяла*). Ие...рунда. Цветы? А их можно есть?

ЗЕМЛЯНИКА. Гибнер, не гони пургу, бюргер ты навозный, хозяйственный! (*Встряхивает фляжку – пустая, швыряет под кровать. К Анне Андреевне.*) Милая, достань заветную!

АННА АНДРЕЕВНА (*задирает юбку, достает из-за чулка фляжку и дает Землянике*). Вручаю – отрываю от себя. Ах, пей да тело разумей!

ЗЕМЛЯНИКА (*пьет из фляжки, запрокинув голову*). Блаженный ручеек!

*Он подает руку Анне Андреевне; Гибнер с поклоном – подходит к Марье Антоновне – та делает книксен; становятся парами возле кровати и играют в "ручеек". Постепенно начинают плавно, менуэтно танцевать – теми же парами. Разговаривают, танцуя.*

ЗЕМЛЯНИКА (*напевает "Dance Me" Леонарда Коэна*). Данс ми, лабарданс ми, данс ми, лабарданс... Танцуй от печки, Гибнер!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Танцы-обжиманцы! Сжимай же крепче, блин, мозолистой рукой!.. Вы, Христиан Иванович, не дрын железный, а просто жалкое желе! Размазня с комками!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ. Ие...важаемая Мария Антоноффна!..

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Мария ладно, но Антоновна – фи... Фиг вам!.. Антуанетта! В стиле парижан – Мария, блин-пардон, Антуанетта! Читали, Чистюля, "Жюстина, или Несчастья добродетели"?

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, помню, это Захер-Мазоха сочинение! Я сейчас догадалась. Как хорошо написано! Как точно – несчастья добродетели!..

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, маменька, там написано, что это маркиза де Сада сочинение.

АННА АНДРЕЕВНА. Ну вот досада, так и знала – будет спорить! Да, Сада, правда, что ж с того... Пошли мне сад на старость лет...

ЗЕМЛЯНИКА. Бог подаст, медам! (*Напевает.*) Пред

добродетелью все прах и суета... В богоугодном заведении, где сладкий запах разложения... Декаданс лабарданса! Христопляска! Наш знаменитый маленький оркестрик – две скрипки, флейта, контрабас... Задумали сыграть квартет! *(Танцует с Анной Андреевной по одну сторону кровати, Гибнер с Марьей Антоновной – по другую.)*

АННА АНДРЕЕВНА *(изображает рукой когти)*. Ах, сыграем для дорогого гостя *кногтюРН* Вагнера!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Слабаёшь, Гибнер, на губной гармошке – не слабо?

ЗЕМЛЯНИКА. Или ему Стравинского подать? Так позовем, недолго... У нас как на балу – никто не заболел, не отказался!

МАРЬЯ АНТОНОВНА *(к лежащему)*. Душенька, Иван Александрович, скажите, так это вы были Гончаров? "Обрыв" я читала, "Обломов", "Фрегат "Паллада"... Так, верно, и "В поисках утраченного ремёна" ваше сочинение?

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, мы танцуем, веселимся в эмпиреях, а он лежит, как непрворный инвалид... Может, ему креслице на колесиках нужно?

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Может, ему костылики дать?

ЗЕМЛЯНИКА. Медам и медмуазель, медицина здесь бессильна. Но как у нас в Легионе, в Легиоше нашем говаривали: дать бы ему калигулой по тестикулам – враз без всяких костылей станцует!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ *(качая головой, скептически)*. Ие...два ли. *(Внезапно – без всякого акцента, словно забывшись.)* А вот, может, чем трепаться, ему резекцию с трепанацией забачать – крышку скворешника отпилить да мозги проветрить? Или, к примеру, горячим воздухом в заднее дупло надуть – как монгольфьер? Французский кунштштюк – умеют, лягушатники! Возбуждает! Улетаешь! А то, скажем, капельницу организовать – на швабру укрепить ведро да протянуть шланг с кухни, а тряпку влажную – на лоб! А напослед без всякого разреза запустить ему руку в брюхо и пошерудить в потрохах – мазок взять на анализ, отросток вырвать с корнем, как саженец... Садо-мазок!

ЗЕМЛЯНИКА *(в восторге)*. Ё-моё! Ие-мое! Христиан Иваныч, что я слышу! Да ты по-нашему бо́таешь, болтаешь, как обрусевший попугай! Нахтигаль осоловевший! Что ж ты раньше-то молчал, голуба, трубка ты клистирная, иерихонская!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ. Ие...пэ-рэ-сэ-тэ! Да с кем разговаривать-то, разве что вот с Ним *(показывает на лежащего)* – взаправду, взáболь, без булды?! С картонным нимбом, самоварным Спасом?.. Кругом лажня с лапшой, туфта да тюлька! Сплошные

сапоги (*кивает на портрет*) и туфельки (*показывает на Анну Андреевну и Марью Антоновну*)! Инфузории с филактериями! Вглядись, Артемьич, надень очки-велосипед – вишь, шевелят ложноножками, спариваются, точат каналыцы. Черти драповые, да вы даже не знаете, что вас сделали! Искусственный разум амебы! А жизнь – это болезнь материи-драпа... Ничтожность этакая!

ЗЕМЛЯНИКА (*в сторону*). Эк его разобрало! Запел, менгеле-соловей! Завыл, вервольф, оборотился! Ах, Артур Шопенгауэр, лесной тараканий царь! Вот она, классическая немецкая гегель-шлегель – схватила бы себя за ножки да разорвала пополам! (*Вслух.*) Я восхищен! Мы в восхищении! Аж обалдели! Умри – лучше не скажешь! Но ты сегодня, а я – завтра! Бабы, барыню! (*Марья Антоновна и пьяненькая Анна Андреевна танцуют "русскую" с Земляником.*)

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ (*притоптывает, хлопает в ладоши*). Ие-ие-ие... Калинка-малинка-греблинка моя! В саду ягода, ягода, ягода моя! (*Подхватывает, крепко прижимая Марью Антоновну.*) Майне кляйне! Гебен зи мир битте айн плацкартен нах ваше херце!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ну у вас и произношение! Как у нашего кучера Сидора... (*Одобрительно.*) Зато и хватка не хуже! Как клещами! Железный канцлер-варвар!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ. Что я за варвар? Дед был варвар, да и то не знал по-канцелярски.

*Анна Андреевна, бросив Землянику, кружится вместе с Марьей Антоновной вокруг Гибнера.*

АННА АНДРЕЕВНА (*мечтательно*). Ах, нежный настоящий мачо – как из ночи Юнга! – а мачта гнется и пищит! Мечты, мечты!.. Ах, Христиан, тристан, мой рыцарь, где твой меч?

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Христя, душенька!

АННА АНДРЕЕВНА (*деловито*). А хряпнуть есть, мой херр?

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ. Энтшульдиген зи битте, я не знать, что у фрау с тобой – но у меня всегда с собой в портфеле грелка со шнапсом. Вишневым!

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, мой любимый сад!.. Идем, идем... (*Делает залу ручкой.*) Ауф видерзеен!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, дровосек железный! (*Посылает залу воздушный поцелуй.*) Чю-юс!

*Уходят, взяв Гибнера под руки с двух сторон. Занавес.*



Явление IV

*Земляника ходит возле кровати с лежащим.*

ЗЕМЛЯНИКА (*напевает*). Ночь лежит на дне, мы с тобой одне... И слава Единому! Тишь, (*трясет фляжку вверх дном – пустая*) сушь... Надоело вам, наверно, Иван Александрович, вблизи сию самодетельность наблюдать – половецкие пляски, бардак доморощенный? Забодали, небось, эти коровищи-зорьки с вопросами пола? Машка и мамашка, мушки-цокотушки – эринии, Юпитерь иху мать! У них и стигмы – мушки на щеках, заметили?.. Ну, не реви, зоркий, – ты же ревизорка! Настоящий мужик из деревни Подкатиловки! Не переживай! (*Декламирует.*) Эх, Ваня, колобок разумный, ты осознай, что мир – бездонный и докатиться – невозможно! Весь мир – театр, "Глобус"! Пусть труппа вялая и дохлая – труппы, как сказал бы Гибнер, я-я, яволь! – но воля и представление – продолжают! Вспомни, в древних трагедиях в финале обязательно была ремарка: "Отбегает, застреливается". Неправильно читалось ударенье! Отбѣгает, а не отбѣгаёт! Отбѣгает – за ум возьмется! Катарсис! (*Присаживается на кровать; доверительно.*) Если признаться пред вами – конечно, для пользы отечества, – не уезд у нас, а круги адавы! Сплошные Рвы и, уж простите, Злые Щели. Взять городничего – какой превосходный человек, первый разбойник в мире, первый, вы представляете масштаб! Кошельки *вышивает* так, что никаких следов, ни, ни, смотри хоть в оба глаза, феномен! И лицо ласковое, чисто разбойничье! Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу, за Кедрон, в Гефсиманию – зарежет, за копейку старушку зарежет, да еще ухитрится так постепенно и все тридцать сребреников себе вернуть, и все это за одну ночь! Непостижимо! Это превосходит всякое описание! Воистину – первосвященник! Такое сребролюбие, старание! Совершенно разорил, выветрил уезд! Смыл дотла! Куда там Янкель – гоу хоум! может отдохнуть! И святая церковь у него, у крокодила, на аренде!.. Гога и Магога, Антоша и Кокоша!.. Этот Сквозник такой мясник, резник, но его скво – Анна Андреевна – это совсем нечто! Это ж прямо леди Макбет, или как там, Бигмак нашего уезда! Булка, которая вечно хочет запихнуть в себя котлету! Ёкало Манэ – завтрак на траве! Еще и пьет, как лошадь барона Мюнхаузена, не просыхает – здоровая кобыла, вы видали – косая Натали в плечах, мечта поэта! А на плече у нее, ну, между нами, антр ну – выжженная лилия! Такие вот у нас анютины глазки! Росянка-мухоловка – чуть

зазевашься, а тебя уже переваривают!.. Сколько я от этой выдры натерпелся в свое время, вы не поверите – проходу не давала! Снегурочку из себя строила: поймает где-нибудь в обществе – "Ой! – пищит. – Артемий Филиппович, сколько зим!", заведет в чулан, задерет хвост, то есть подол – и давай, удовлетворяй! Жара, пыль, темно, как в колодце... Нас так и звали – Тёма и Жучка. Потом отстала вроде – не поверите, аж перекрестился! (*Передразнивает.*) О, ты пхегкасна, возлюбленная моя, ты пхегкасна, и прелести твои – иудейские древности! Шалашовка! Алкоголичка-нимфоманка! Пьет до дна, а потом еще в "бутылочку" играет! Такая нимфуха, что никаким нимфеткам не угнаться! Казалось бы... Но подрастает дочь – Марья Антоновна! Вы сами лицезрели: садо-мазо-лесбиянка! Живет открыто с ключницей Авдотьей и унтер-офицерскою вдовою Ивановой. О, эта Маша, мокрощелка-ковырялка! Я как-то взялся приласкать... отчески... Вырванные годы! Чуть что – пороть! Чуть свет, я на ногах, другой ее за руки держит, а третий венником охаживает! Ей волю дай – всех мужиков в округе перепорет, с собой вместе! Веселая семейка – мать и дочь! Скажите спасибо, что вы их не видели в хламидах, а также неглиже. Хламидиоз вам обеспечен! Обнаженные махи-мухи! Вдобавок обе бриты наголо и ходят в париках. Удивлены, мой колобок? Да-с, лисы лысы, как коленки! На лобок не накинешь платок – блудницы! Те еще лысые певицы! Как начнут голосить, обнявшись, про хризантемы в саду – горе да беда! (*Машет рукой. встает с кровати, ходит.*) Ну, остальные личности в нашем богоспасаемом городишке – так, шушера по мелочам... Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет: "Пошел, Моше, гони!" А коль не увернешься – на ходу распнут! Все христородавцы. Один там только есть порядочный человек: городничий; да и тот, если сказать правду – свинья, марран. Инквизитор-маразматик. Как-то забавляя народ, выстроил будку из карт, а рядом домик из спичек. Ку-ку на всю голову! Доктор кукольных наук! Такой у нас руководитель, заслужили... Или судья, к примеру, Ляпкин-Тяпкин. В народе его зовут Кляпкин – всем кляп во рты засунул. Гавкнулась гласность! Душитель свободного слова, чистопородный собакевич, гонитель спозаранку! Утверждает, что думает своей головой – мол, в ней заводятся мысли. Гордится, болван, что сам заводит свой органчик... Он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил. Ну, Добчинский и Бобчинский Петры Иванович, у этих чин один – топтуны! Доберман и боберман – псы сыска, бобики-ищейки! Даром только бременят землю – носом роют, а вечно на бобах, воруют сыр у крыс, а с Гибнером беседуют о Гаммельне, о Гете... Сморчки, чучундры... Ладно, едем дальше. Лука Лукич,

смотрящий городских училищ, – первейший хапуга, продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Одними поборами в общак родителей училищных разорил – устроил из урочища займище! Ладно, детей не ест – уже хорошо... Потом почтмейстер И Ка Шпекин – об этом промолчим почтительно. *(Прикладывает палец к губам.)* Мистер Икс! Нельзя-с!.. Лекаря Гибнера Христиана Ивановича, да-пожалуй-немца, черта подлипового, вам довелось недавно лично наблюдать, как говорится, к Шиллеру заехать в гости. Педант, аккуратист. Чистюля. Шильник, печник гадкий. Доктор Смерть, так-сказать, уездного разлива. Ну, как-то уживаемся, терплю... Частный пристав Уховертов Степан Ильич – здешний держиморда, жидомор-мордovorот. Квартальные его – народ от слова "нары". Все ноздри вырваны, на лбах клеймо, а рыльца сплошь в пушку и уши опаленны... Кумаются и кумарят, крадут серебряники в кирзачи-ботфорты! Да одни одни, што ль, я вас умоляю! Прямо скажу – все воры у нас в правлении... на Руси! Одного карасса караси! Гвозди бы, по-хорошему, делать из этих людей! Судью – на мыло, остальных – на порошок!.. Обрыдло это быдло! Ходячие психозы! А на меня сегодня просветление нашло! *(Встает; взволнованно.)* Я ведь не хрен собачий Ляпкин-Тяпкин – я бывший ученик аптекаря и интеллектуал! Хочу и к вам в ученики! Землю грызть буду до победного, – на то и Земляника, – а в ученики вступлю! *(Хватается за поясницу, сгибается.)* Вступило! *(Согнувшись, садится на кровать.)* Ох, в три погибели, семь чертей вам в зубы! Помните притчу про человека, который был четвергом, но его среда заела, и он превратился в пятницу? Вот так и я – отныне вечный раб и верный ученик! Если мне математически докажут, что истина не с вами, что вот она где *(встряхивает фляжку)* или в бабьем гнезде – не-ет, я останусь с вами! О, мой гуру, мой свами! Позвольте, Иван Александрович, я вам сапоги почищу! И себе заодно... *(Краем одеяла обметает себе сапоги, достает из-за голенища свернутую в трубку бумажку.)* Тут, кстати, Гибнер вам записочку прислал: "Уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры – прошу считать учеником. Я к вам пишу навеки поселиться. Алзо шпрах Гибнер". Ну, выпивши, конечно... В трактире, видимо, писал – и прослезился... Молчите осуждающе, Учитель? Не одобряете, что правду изрекаю? Да, горько... Нервы таки не веровка! А что же – гладить всех по треугольной шерстке? И этих тож хвалить, что заодно идут они нагими? Голимые годивы! Дикарки лобострастные! Не убоюсь покинуть племя! Городничему – ему чин дорог, а я по понятиям живу, как Бог послал, аптекарь бедный. Оставлю медицину, уйду в ученики. Направо – школа, налево – больница. На ступенях лестницы сидят ангелы... и ангелицы...

Откликнитесь, с восторгом припадаю, Иван Александрович!  
*(Отдергивает одеяло, отшатывается. Растерянно.)* А никакого  
Ивана Александровича не было... *(На кровати лежит чучело.)*

*Стуча сапогами, входит частный пристав.*

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Что ж это вы, Артемий Филиппович, – мы ловим, а вы отпускаете? Поймали мы вашего пациента за городом.

ЗЕМЛЯНИКА. К... как за городом?!

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Да так. Решил погулять пешком в окрестностях, в садах на Елеонской горе. Подышу, говорит, свежим воздухом и вернусь... Еле его ребята отловили. Пуговицын, Прохоров и Свистунов. Уж постарались.

ЗЕМЛЯНИКА. Отлично сделали. Ребятам по чапорухе водки!

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. К городничему домой его отвезли. Там комната светлая, покойная. И выклеена как раз желтыми бумажками. Звездочки как бы.

ЗЕМЛЯНИКА. Да вас, Степан Ильич, к звезде представить надо! Свою отдам – спорю с ушанки старой!.. Пойдемте сразу и обмоем... *(С подъемом.)* Шесть плавников звезды мы окунем в стакан!..

*Уходят, дружески обнявшись. Занавес.*

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

*Комната первого действия – в доме городничего. Теперь на стене нет портрета Николая I.*

### Явление I

*Входят – кто осторожно, почти на цыпочках, кто топая, кто приплясывая: городничий, Аммос Федорович, Лука Лукич, почтмейстер, Добчинский и Бобчинский – в джинсах, свитерах, курточках, пиджаках.*

АММОС ФЕДОРОВИЧ *(строит всех шестиугольником)*. Ради Бога, господа, скорее становитесь в звезду, да побольше порядку! Стройтесь шестиугольником! На военную ногу, непременно на военную ногу – "свиньей", таким тараном.

ГОРОДНИЧИЙ. А где же Артемий Филиппович, Земляника наш? Где его черти таскают?

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Да он с ночной, отсыпается.

ЛУКА ЛУКИЧ. Какое отсыпается... Небось донос очередной строчит! Клепает не покладая, собирает почем зря – с дону, с моря...

ГОРОДНИЧИЙ. Вот черт, очернитель! Черника в ермолке!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Волчья ягода! Собачья радость!

ПОЧТМЕЙСТЕР (*весело*). Да не волнуйтесь вы – он пишет в стол. Столоначальнику!

ЛУКА ЛУКИЧ. Ох, погодите, он скоро всех нас оттеснит, за пояс заткнет! Главным персонажем станет.

БОБЧИНСКИЙ. Будем сидеть в уголку на приступочке и молчать в тряпочку.

ДОБЧИНСКИЙ. А он распинаться будет! Речи толкать!

ГОРОДНИЧИЙ. Да-а, господа, одна ягодица – хорошо, а две – уже Земляника... А как там этот, ригорист с горы? По-прежнему упорен в заблуждениях?

ПОЧТМЕЙСТЕР (*весело*). Выбьем! А после вставим лучше прежних – железные, из нержавеющей стали! И выпьем – за дружбу... и сотрудничество! – с ближним.

ДОБЧИНСКИЙ. Они-с сидят в подвале-с.

БОБЧИНСКИЙ. Где обычно. Как вы изволили наместничать.

ГОРОДНИЧИЙ. Не буйствует?

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Нет, все тип-топ. Ошейник медный сняли. Сделали укол в затылок и инъекцию в дышло. Как доктор Гибнер прописал!

ГОРОДНИЧИЙ. Ревет? С цепи не рвется?

ЛУКА ЛУКИЧ. Цепь крепкая, Антон Антонович, кольцо в стене массивное.

ГОРОДНИЧИЙ. А то вот так войдешь по-доброму, а выйдешь весь ободранный, в кровище...

ПОЧТМЕЙСТЕР (*небрежно*). Приложить ему к уху дульный пистолет – да уложить вальта на месте! (*Целится пальцем.*) В самую тройку с семеркой: тузен – бах!

ГОРОДНИЧИЙ. А может, все-таки еще набить колодки?

ДОБЧИНСКИЙ (*Бобчинскому*). Слышишь, Боб, набить колодки.

БОБЧИНСКИЙ (*Добчинскому*). Слышу, Доб. Вот храбрый Эйб, фак, Авраам Антонович!

ДОБЧИНСКИЙ (*Бобчинскому*). Грызун амбарный, шит!

БОБЧИНСКИЙ (*Добчинскому*). А интересно, наш невольник салфетки сам не шьет? Тоненький, худенький – а жилистый! Сгодится собирать корзинки в тростниках!

ДОБЧИНСКИЙ (*ко всем*). Так, может, господа, набить

карманы – продать его в низовья Нила... или Миссисипи?

ПОЧТМЕЙСТЕР. В низовья!.. Губа не дура! В низовья я бы сам продался... подался! О, Новый Орлеан с певучим перезвоном цепей и колоколен – а девы там какие! – зачем я здесь, не там, зачем брести не волен...

ЛУКА ЛУКИЧ. Ох, не до стихов! Дело надо делать, дело! А то ведь вылетим в трубу, на съеденье ведьмам!

*Входят: Анна Андреевна – в строгом деловом костюме; Марья Антоновна – в черных кожаных брючках и курточке с металлическими шипами, всюду пирсинг. Становятся в центр шестиугольника.*

ПОЧТМЕЙСТЕР (*весело*). Легки на помине!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. А что бы именно такого засобачить, чтоб ревизор поддался?

ЛУКА ЛУКИЧ. Ну известно что – соблазнить. Припомните скат величавый в пустыне – вот типа того...

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Подсунуть?

ЛУКА ЛУКИЧ. Ну да, хоть и подсунуть.

ГОРОДНИЧИЙ. Кому – Ему?!

ЛУКА ЛУКИЧ. А то кому же! Не делайте большие глаза. Серебренники изначально ему и предназначались – тот мелкий бес был просто передаточным звеном.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Щенок паршивый, иудка шелудивый, шавка.

ЛУКА ЛУКИЧ. А этот – черту кочергу в подкову гнет!

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, подсунуть – как подушечку под попку во время длительного акта!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, маменька, сначала высечь смачно! Покрепче так, позапорожистой! Ах, как мне хочется, чтобы нагайка погуляла!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Причудливо тасуется колода... Кровь! Порода! Что скажете, станишники, смешно?

ГОРОДНИЧИЙ. Опасно, черт возьми! Раскричится. Ведь все-тки ревизор... Вдруг заорет от боли: "Разорю! Не потерплю!" Греха не оберешься. И так глаза нам колют – распяли, распилили, распродали, уже не знаю что...

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Да в рот им всем кило гвоздей! Пускай клеветают... Есть Божий суд!..

ПОЧТМЕЙСТЕР. Ну что ж, тогда займемся представлением. Зайдем представиться – хлеб-соль, посыпать раны, вынести парашу... Ну, Маша что-нибудь станцует, Анна Андреевна изобразит пластично... Я басню расскажу...

*(Декламирует.)* Брать или не брать – вот в чем вопрос...

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Вопрос-то в том, что много нас. Движенья масс! Всей сворою нельзя вpirаться.

ЛУКА ЛУКИЧ. Слушайте, эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. А мы как в Третьем... третьеразрядном Риме... Зачем нас здесь целый эскадрон? Смотрите, представиться надо поодиночке, да между четырех глаз, чтобы и уши не слышали. Вот как в обществе благоустроенном делается!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Ну вот вы, Лука Лукич, как просветитель, хе-хе, юношества – первый и начните. Ступайте к Богу!

ЛУКА ЛУКИЧ. Не могу, не могу, господа! Я, признаюсь, так воспитан – вечно второй. Не в чинах дело, а в душе: если рядом гений – не могу молчать, уступаю путь! *(Городничему.)* Кому, как говорится, как не вам, дорогой Антон Антонович!

БОБЧИНСКИЙ. И он возглавит, как бывало, и за рога возьмет бразды...

ДОБЧИНСКИЙ *(подхватывает)*. И не покажется нам мало – поскольку всем воздаст звезды!

ПОЧТМЕЙСТЕР *(аплодирует)*. Смешно. И вольно! *(Повелительно хлопает в ладоши.)* Разойдись!

*Все расходятся, шестиугольник распадается. Входит Осип, с трудом переставляя ноги.*

АННА АНДРЕЕВНА. Подойди сюда, любезный.

ОСИП. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемышное житье!

ГОРОДНИЧИЙ. Ну, что, друг, я вижу, тебя накормили хорошо?

ОСИП *(крутит головой, стонет)*. Ох, накормили, покорнейше благодарю, хорошо накормили. Так угостили – и детям закажем! И почки, и печенка *(плачет, хватается за спину)*, и хребтовая часть, и филейная...

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Взгляните, господа, забавно – он хромает враскорячку, как барышня, познавшая любовь с Хироном...

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, звезда в ответе за звезду! Умей ответ держать!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, стой железным кедром!

ПОЧТМЕЙСТЕР *(весело)*. Эй ты, кедрила! Ты теперь один – без барина... Барина-то черти взяли!

БОБЧИНСКИЙ. Залей горе!

ДОБЧИНСКИЙ. Завей веревочкой!

ЛУКА ЛУКИЧ. Сказано же – единожды предавшему и веревочка в дороге пригодится. Пенька!

ГОРОДНИЧИЙ. Полно, полно вам. Ну, что, друг – как там внизу? Табак дело? Каюк с крантами?

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Затих? Отошел?

ПОЧТМЕЙСТЕР (*весело*). В отрубе? Или уже труба – не шевелится?

ОСИП. Нет еще, немножко потягивается.

ГОРОДНИЧИЙ. А что, друг, скажи пожалуйста – как там... вообще...

ОСИП. До вообще кого там только не поперебывало! (*Достаёт бумажку, читает.*) Там были: бабы, слобожане, учащиеся, слесаря... Слесарша Пошлепкина, в частности, персону городничего упоминала: "Пошли ему Бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни дядьям, ни теткам, ни всей родне не довелось видеть прибытку и света божьего! И если есть теща, то чтоб и теще..."

ГОРОДНИЧИЙ. Эка, труженица, как расписала! дал же Бог такой дар...

ОСИП. Купцы челом на вас били – это отдельная песня, другой лист. (*Достаёт другую бумажку, пробегает глазами.*) Обижательство понапрасну, ага... схватит за бороду и говорит: "Ах ты, татарин!", а я совсем даже наоборот, ага... еще грозил: "А вот ты у меня поешь селедки!", а я с удовольствием, ага... Просьбы сии адресуются "Его Высокоблагородному Светлости Господину Финансову Спасителю".

ГОРОДНИЧИЙ. Черт знает что: и чина такого нет! (*Осипу.*) Ну, что, друг – пшел вон! Ступай приготовляйся – того же кушанья отпустят!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Нет, господа, вы как хотите, а шпицрутен все же лучше, гуманней, цивилизованней. От палок вся спина в занозах.

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, как после бала!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, Осип, душенька, поцелуй своего барина!

ОСИП. Избавьте! Еще и это!.. (*Медленно уходит.*)

ГОРОДНИЧИЙ (*берет под руку Анну Андреевну*). Ну, что, матушка, пора проведать говорящую головушку. Я как наеду – не спущу!

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, как это по Фрейду – и спуск со свечою в подвал!..

ГОРОДНИЧИЙ. На лестнице, гляди, поосторожней. Ступени там кусают за лодыжки и обжигают пятки. (*Вздыхает.*) Плутон мне друг, но истина дороже – не погреб, а Аид!



*Уходят. Занавес.*

Явление II

*Комната в подвале дома городничего. Грубая табуретка, рядом параша – лохань, накрытая фанеркой. Хлестаков прикован цепью за ногу к стене. На той же стене – большая рама от портрета Николая I.*

ХЛЕСТАКОВ *(в одних рваных джинсах; сидит, прислонясь к стене в позе врубелевского Демона)*. Как бедный из "Медного" – я возле параша. Доскакался. Сквозь тернии – к блуждающим звездам. Кому это нужно – от незадачи к невезухе... Блин комом – это колобок. Мой символ. Деда Синедриона гоняли салажно – от дедушек ушел! Великий Инквизитор допекал в золе – и от него ушел. Потом врачи-мучители в психушке: НКВД-мама – ягодка опять! – с гестапо-папа – я и от этих убежал, не облажался... Теперь вот страшная Антониева башня, бабушка сырá-темница – и от тебя уйду! Вопрос – куда?.. Скорей, ко мне придут. Даже удивительно, что их еще нет. Ну, русский мужик долго запрягает – пока-а заложит... за воротник... И эти пропитались духом, в сугробах...

*Входят городничий и Анна Андреевна, оба в страшных масках – он с головой сокола, она с головой крокодила.*

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, гробно выбелим убрusy и с заранкой-снегирем – пеклеванному Иусу алевастры понесем!

ХЛЕСТАКОВ. Добрый день.

ГОРОДНИЧИЙ. Али вы совсем не испугались? Странно. Как это вы, услышавши еще издали шаги мои, не спрятались под стул, под табуретку?

ХЛЕСТАКОВ. А может, добрый ночь. Я тут не различаю...

ГОРОДНИЧИЙ. Ты мне снегиря не лепи. Имею честь представиться – здешний городничий. Для краткости зовите – Гор. Уездный бог, распределитель благ. *(Показывает на свою маску сокола.)* Ясный Сокол. Птах божий. Уяснили?

ХЛЕСТАКОВ. Яблоко.

ГОРОДНИЧИЙ. Что?

ХЛЕСТАКОВ. Яблоко. Я. Ты – тыблоко.

ГОРОДНИЧИЙ. А-а. Осмелюсь представить половину свою: жена, Анна Андреевна, так сказать, Аннубис, воздушное создание, уездная изида, кисея, эфир, в душе – сами понимаете! – *(показывает на ее маску)* обыкновеннейший крокодил.

ХЛЕСТАКОВ. Звезда взошла, в зубах она держала кусочек одеяла, месяц светит, черт плачет, луна к аналу клонит...

ГОРОДНИЧИЙ. Позвольте вам заметить: луну, что делал в Гамбурге хромой бочар, давно украл хромой профессор – из тех же мест. Вошло в анналы-с.

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, эти люди света!.. Мне это отродясь претило – и по Солохе, и по Галахе!

ГОРОДНИЧИЙ. На что жалуетесь? Крысы, мухи не беспокоют? Приматы местные приходят – ну, эти, надувайлы мирские, самоварники-аршинники, купцы-олигархи?

АННА АНДРЕЕВНА (*мечтательно*). Ах, кайманы-аллигаторы!

ГОРОДНИЧИЙ. На что жалуются? Что я втоптал в самую грязь и еще бревном сверху навалил? Не гневись! Богу виноваты! Вот ты теперь валяешься у ног моих, а я же тебя не бью. Иди себе, убогий – цепь длинная, жизнь коротка, жид вечный...

АННА АНДРЕЕВНА. Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша? (*Обводит рукой подвал.*) Кто погрузил вас по пейсы в эту сладкую долину задумчивости?

ГОРОДНИЧИЙ. Сны навещают? Коровы снятся – тучные и тощие – жена и дочь мои, семейство?

ХЛЕСТАКОВ. Эт ничаво, барин... Ничего, ничего... молчание...

ГОРОДНИЧИЙ. Золотые слова. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел. Поверьте, могу оценить. Я такое дело сразу вижу – чай, Соколиный Глаз. Вам бы зазывалой в балагане быть, на ярмарке: "Кукольный театр! Только одно представление!"

АННА АНДРЕЕВНА (*подхватывает*). Ах, торопитесь! Торопитесь! Торопитесь!

ГОРОДНИЧИЙ. Вам, замечая, невдомек – чего мы вырядились, как на масленицу? Отвечаю. (*Снимают вместе с Анной Андреевной свои маски.*) Мир (*обводит рукой подвал*) – кукольный театр. Клюквенная кровь, картонные кинжалы, бумажные скрижали – балаганчик! И люди в нем – петрушки да филатки... (*Показывает на Анну Андреевну.*) Пеструшки на насесте...

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, все мы подчиняемся дрожаньям Вышних Ниточек! И движениям Нижней Руки!

ГОРОДНИЧИЙ. Играем на ложках, перестукиваемся на кружках. А у судьбы всегда под рукой плетка-семихвостка – по дням недели, как по нотам...

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, есть еще и семь цветов – гармония, музыка сфер! Ах, положи меня на низ!..

ГОРОДНИЧИЙ. И пьеса раз за разом разыгрывается очень

смешная – "Тридцать три подзатыльника". Будут колотить палкой, плевать, давать пощечины и подзатыльники. В конце повесят на гвоздь в кладовке.

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, театрального капора пена! Все так узнаваемо!

ГОРОДНИЧИЙ. Да нет, не все, матушка. Чудно все завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький (*тычет в Хлестакова*) – как его узнаешь, кто он? Еще в хитоне все-таки кажется из себя, а как наденет лапсердачку – ну точно муха с подрезанными крыльями. А уж в рваных подштанниках – просто падший демон!

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, тебе все такое грубое нравится высказать – а он прекрасный, воспитанный, самых благороднейших правил!..

ГОРОДНИЧИЙ (*ухмыляется*). Ну, признайся откровенно, матушка, тебе и во сне не виделось: из какой-нибудь городничихи подзаборной и вдруг, фу ты, канальство, с каким дьяволом породнилась! (*Щупает свою голову.*) Рога-то длиннее бычачьих!

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, совсем нет! Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек; никогда не видел порядочных людей.

ГОРОДИЧИЙ. Я сам, матушка, порядочный человек. А вот чертей порядочных действительно не встречал. (*Показывает на Хлестакова.*) Ишь, челюсти сомкнул, чертяка, запечатал уста...

АННА АНДРЕЕВНА. А все равно, Антоша, ты поговори с ним, попроси – вдруг да получится. Вдруг да и выгорит звезда.

ГОРОДИЧИЙ. Мда... Искушение святого Антония... Антоновича...

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, это господина Флобера сочинение!

ГОРОДНИЧИЙ. Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал – угадала... Ну, так и быть, поговорю. Боюсь я только, увлекусь опять, слечу с нарезки, малость тронусь – в том месте, помнишь, про трон земной и гад людских подкововерный ход...

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, конечно, помню! Там у тебя так хорошо про подколодных!

ГОРОДНИЧИЙ. Ну, Боже, вынеси благополучно! (*К Хлестакову.*) Хочу поговорить о сласти власти, побалакать.

ХЛЕСТАКОВ. Пожалуйста, присаживайтесь.

ГОРОДНИЧИЙ (*садится на табуретку; взволнованно*). Пустите за кулисы! За ширму эту кукольную! За занавесь, где затаилась власть – таинственная закулиса, что управляет миром! Моя алиса акулинишна (*кивает на Анну Андреевну*) рассказывала мне про Зазеркалье – всегда мечтал хоть сбоку втиснуться! Там на

стене висит план мирового господства – и стрелочки, стрелочки (*тычет себя в грудь*) так в меня и впиваются! Уж как стараюсь, старый дикобраз, на пользу отечеству – пру, рву! – а-а, впустую! Ведь согласись – не это поднимает ввысь. А – Бог, Бог человека метит! И не абы как! Взять хоть вас... Научите, владыко! Вот я и седой человек, а до сих пор не набрался ума. Возьмите в ученики! Оросите жажду мою вразумленьем истины!

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, Антоша, какой у него миленький носик!

ХЛЕСТАКОВ. Возле вас, женщина, стоять уже есть счастье – как же счастлив я, что наконец сию возле вас. С вас, Арина Родионовна, хоть стой, хоть падай. Носик!... Сколько нас гнали и гнобили из-за нашего шнобеля! (*Городничему.*) Эх ты, толстоносый сластена, взалкавший власти! Вспомни хронологию: фараоны, императоры, фюреры, фараоны-бис – иосифы висс... Где они, где они все, эти фекалии? Канули... Давно и шумно утекли в канаву сточную истории... И ломовая баба Клио распахала борозду и посыпала солью забвения... В общем, они остались с носом. А мы остались. Просто так себе... Сносно... Еще и немножечко шьем...

ГОРОДНИЧИЙ. Да я ж не потому... Не то что я там жажду... Просто там (*показывает вверх*), по слухам, есть две рыбицы – ряпушка и корюшка. Икорушка! Рыбица-Ряба! Хвостиком махнула – и снесла эдак что-нибудь золотое, грановитое... На благо!

АННА АНДРЕЕВНА. А я хочу быть столбовой! И чтоб знакомые были все из высшего света, и даже морозец – знатный! И чтоб меня в лес завезли и бросили! (*Зажмуривает глаза.*) Ах, до самых печенок пробирает! как хорошо!

ХЛЕСТАКОВ. Учица, учица – и ушица! Пойма-али Большую Рыбу! (*Достает мел, носовым платком протирает стену и пишет, как на доске.*) Итак, начнем с яйца и постепенно перейдем к корыту – достигнем высшей точки... баба била-била, дед бил-бил – распределение сил, приложенных к желаньям, по правилу буравчика-белобычка... находим радиус крутизны и образуется всемирная держава...

ГОРОДНИЧИЙ (*внезапно*). Ма-алчать! У, щелкопер! Либерал проклятый! Чертово семя крапивное! (*Потрясает кулаком.*) Развел теорию с теодицеей! Ты мне холодную воду на голову не лей! Ишь, оправдание добра! Всеединство длинношеее! Экая дрянь, глупость! Узлом бы завязал, в муку бы стер и размолот носы, да черту в подкладку! в шапку туды ему! (*Бьет каблуком в пол.*)

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, Антоша, какие ты забранки

пригинаешь! Ты иногда вымолвишь такое словцо...

ГОРОДНИЧИЙ. А, не до слов теперь! Мне подавайте человека, я хочу видеть человека, я требую, наконец, пищи для души. Вижу, точно, нужно чем-нибудь высоким заняться. Ну-ка, матушка, спляши нам канкану галилейскую!

АННА АНДРЕЕВНА (*пляшет нечто вроде канкана, поет*). Нам не страшен ревизор!

ГОРОДНИЧИЙ (*подхватывает басом*). Ревизор, ревизор!

АННА АНДРЕЕВНА. С ним ругаться не резон – портится озон!

ХЛЕСТАКОВ. Чьи вирши? Похоже на Овидия Назона.

ГОРОДНИЧИЙ. О, видишь – понимаешь! А я-то ничего не вижу. (*Трет глаза, всхлипывает.*) О, Гусь святая! Помоги хоть ты! Светает, вижу какие-то свиные рыла вместо лиц – товарищи мои. Струна звенит в тумане, вон и русские избы виднеют – родимый скотский хутор. Как взбежишь по лестнице к себе в подвальный этаж, скажешь только кухарке: "Маврушка, укрой своей шинелью мои бледные ноги!" За что они мучат меня? Чего хотят они от меня бедного? Зачиво вы шмеетесь? Над собою смеетесь! Вишь ты, проклятый иудейский народ! Спаси твоего бедного сына! Матушка! Да сделай ты мне свиной сычуг!

АННА АНДРЕЕВНА (*успокаивая, гладит его по голове; при этом строит глазки Хлестакову, облизывается*). Ах, по ногам текло, а в рот не попало! Увидимся – я сделаю звоночек...

*Уходит под руку с городничим. Занавес.*

### Явление III

*Хлестаков сидит на табуретке. Входит Лука Лукич.*

ЛУКА ЛУКИЧ (*оглядывает подвал*). Были сейчас тут эти – А и Гэ? Ушли? Мы одни? Так я вам быстро. А – это такая "бэ"! А как примет полкило на грудь – отрезай полы кафтана и беги! Свиныя-копилка с жаркой щелью, что мужчин превращает в свиней. Цирцея уездная, коза подъездная. Это я гомерически, образно... А Гэ, сей изумительный муж – он и есть "гэ". (*Загибает пальцы.*) Жадина, говядина, (*шлепает себя по голове*) оленина. Вишневы сад уже промежду рог! Конспирологию, небось, на вас вываливал – про всякую власть тьмы? Вы еще дочечку ихнюю не повстречали на узкой дорожке, она бы вам показала вселение беса! Есть женщины в узких селеньях! Так отпарторгует, что два дня сидеть не сможете!

ХЛЕСТАКОВ. Святое семейство.

ЛУКА ЛУКИЧ. И в театр ходить не надо – водевиль!

ХЛЕСТАКОВ. Вы в скважину обычно смотрите? Как-то неудобно. Спины не разогнешь.

ЛУКА ЛУКИЧ (*вытягивается*). Имею честь представиться: смотритель училищ титулярный советник Хлопов Лука Лукич.

ХЛЕСТАКОВ. А, слышан. Милостыни просим? Садитесь, садитесь. Да вот хоть прямо на пол садитесь.

ЛУКА ЛУКИЧ. Не извольте беспокоиться. Чин такой, что еще можно постоять. Этот (*показывает большим пальцем за плечо*) со своей головой приходил или сокола напяливал? Ага... А соколов этих люди вмиг узнали-с: один сокол Хронос, другой сокол – Гермес. Время – деньги-с! Рубль, сей парус нашего столетия!..

ХЛЕСТАКОВ (*задумчиво*). Что ищет он в краю далеком, что кинул он в краю родном?... Кого конкретно?

ЛУКА ЛУКИЧ. Ох, совсем вылетело – про край-то родной. Вам как ревизору будет чрезвычайно интересно – эти, кошки драные, юбки шьют из поповских риз, а этот – значок "кошер" ставит на святой пасхе, а не поставит – так и есть нельзя. Комедия!

ХЛЕСТАКОВ. Очень важное сведение. Не знаю, как вас и благодарить.

ЛУКА ЛУКИЧ (*ухмыляется*). С тех пор, как финикийцы изобрели деньги, а еврейцы пустили их в оборот – это вопрос не затруднительный. Ой, финики-лимончики! Деньги на дереве растут – они и есть плоды познания добра и зла. Сорвать, попробовать на зуб – и отдать в рост! Серебро – се ребро! Из него человеком лепится сущее, все остальное – от лукавого с облака, стишки-картинки...

ХЛЕСТАКОВ. Прекрасную гравюру вы нацарапали – рерих дюрера! Так и вижу: день получки, точнее, Полученья – и выплывают расписные день-джонки с головой дракона... и зубами его! Такая себе пищевая цепочка: товар – деньги – навар. Лишь торговать, вишь, удел иудея, эмпирическая его сущность. Надеюсь, вы кумекаете, тут очень тонко – о душе...

ЛУКА ЛУКИЧ. Душа моя как раз и жаждет просвещения – ну, по серьезным вопросам, вексель-моксель, по матчасти. Вот если я сейчас, все бросив, пошел бы к вам в ученики – сколько бы вы дали за душу?

ХЛЕСТАКОВ (*после некоторого размышления*). Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу. Естественно, копейки – некие условные единицы.

ЛУКА ЛУКИЧ. А как вы покупаете, на чистые?

ХЛЕСТАКОВ. Да, почти сейчас деньги. Во благовремение.

ЛУКА ЛУКИЧ. Ну, воля ваша, хоть пять копеечек

пристегните. А то, знаете, то, се, тоху-боху, лестница в небо, цены заоблачные...

ХЛЕСТАКОВ. Извольте, пристегну – чтобы душа обошлась таким образом в тридцать копеек.

ЛУКА ЛУКИЧ (*подходит к раме от портрета, возится там*). Вот черт, уже успели...

ХЛЕСТАКОВ. Что вы там ищете?

ЛУКА ЛУКИЧ. Да этот-то, портрет – выпрыгнул из рам, ушел. Не вынесла душа!.. Я слышал, сверток тут остался – тридцать червонных. (*Поворачивается к Хлестакову.*) А-а, ну конечно, за вами не угнаться. Куда мне! (*Становится на колени.*) Просвети, Учитель! Подай взаймы! Ибо сказано: "Деньги в кулаке, а кулак-то весь в огне!" Мандат бы в закрома – да раскулачить! Сим-сим!

ХЛЕСТАКОВ. Сим повелеваю – стань учеником. Встань, Лука, и говори, Лукич.

ЛУКА ЛУКИЧ (*встает*). Батюшка родимый! Сделай божещкую милость, заставь вечно Бога молить – научи делать бумажки!

ХЛЕСТАКОВ. Легко сказать. Я сам учился на медные деньги – пятачок к пятачку...

ЛУКА ЛУКИЧ. Так научи превращать свинец пусть и не в золото, а для начала – в свиней. Я насажу свиноградник!

ХЛЕСТАКОВ. Что ж, аппетитно. Идут, значит, гуртом – вино с закуской. Слюнки текут! Лукулл учится у Лукулла! А дальше? Жду, как манны, сладких слов ваших. Чему учить вообще?

ЛУКА ЛУКИЧ (*потирает большой и указательный палец правой руки*). Мудрости, почтеннейший! (*Делает тот же жест левой рукой.*) Мудрости!.. Я сейчас по училищам пойду, на сбор, а ты, Учитель, подготовь мне план урока. Вечером проверю!

*Уходит. Занавес.*

#### Явление IV

*Хлестаков меряет шагами подвал. Входит Аммос Федорович.*

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*раскрыв объятия*). Боже, кого я вижу! Луч света в чулане, радуга в облаке! Молитвенное чувство! А мы-то тут влачим... Имею честь представиться: судья здешнего суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин, Аммос Федорович.

ХЛЕСТАКОВ. Прошу садиться.

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*садится на табуретку*). Хлипкая

какая. У нас в суде скамья – простор, ширь, гладь! А вы, я вижу, на ногах, шагами меряете... Ну, понятно – страх и ужас ожидания, гроза идущего вблизи Закона! Да я не так уж страшен, как малюют. Повязки нету – не пират какой-нибудь... Я если и заправлю кого, так борзыми щенками, в шутку.

ХЛЕСТАКОВ. А выгодно, однако ж, быть судьей?

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Да суть не в этом. Выгодно, плодово-ягодно. Какие принципы в такой провинции! Все ерунда и чепуха чепух. Слезливость, шелуха и пахнет жареным. Тут, очевидно, был Лука Лукич? Ну, сразу чую!

ХЛЕСТАКОВ. Этот Лука такая акула! Он весь протухнул насквозь – с головы до пят.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Наш старичина-чиполина! Луканчик-прилипала! Денег небось взаимы просил – рублей триста? Стенал нещадно? Не дали? Правильно. Все тлен. Сначала не стало луны, потом звезд, потом денег. Все лишнее – и в этом высший смысл.

ХЛЕСТАКОВ. Когда я их учу – как будто тычусь носом: горох об стенку, прямо на колени ставь! Четвертая стена, что пятый угол – промерзлое непониманье, холодное бурчанье, и на десерт – ледяное молчание.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Все псу под хвост... А ты, значит, учителем придурился? Учишь сам не знаешь чему... Молодца! Все правильно – все призрачно. Тогда и я – ваш ученик. Уверовал! Потрогаю, вложу персты... *(Поднимается, оцупывает табуретку.)* Хорошо бутафор поработал... *(Колупает пальцем стену.)* Да и декоратор не сплеховал. Кажется, эта комната несколько сыра?

ХЛЕСТАКОВ. И клопы невиданные – как собаки, кусают.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Скажите! какой просвещенный гость выискался – не пойму, то ли ты, москит, мистик, то ли ты, гнус, гностик? Да ты осознаешь, что окрест не свечение пупа – а крючковатые вихри и гипсовые кубы, битва за металл и борьба за бациллу?! А, заметался!

ХЛЕСТАКОВ *(взволнованно)*. Они ни во что не верят и ни в чем не уверены... Они все время – плюясь, тьфукая, извиняясь – уточняют и исправляют сказанное... и сделанное, и задуманное... точнее, вернее сказать, я бы еще добавил... далее – молчание...

АММОС ФЕДОРОВИЧ *(одобрительно)*. Молчание – ограда речи. Не гвозди! Я так и говорю, долблю им. Не изрыгай чушь из чешуйчатого рта, молчи, как рыба. Зато пиши чо хошь! На грамотках берестяных, табличках клинописных, хоть на заборе! Утром в газете – вечером в клозете! Мир сохранит, что нужно.

ХЛЕСТАКОВ. Был целый мир, и нет его – ни унтер-



офицера Иванова, и ни молчанья ледяного – ну абсолютно ничего.

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Ай, не плачьте вы по вдовам унтер-офицерским: раз Иванова – значит, очередная Сарра Абрамсон. Классика! Да и мы таки остались – дети вдовы. Рисуем циркулем угольник... *(Подходит к стене, поправляет раму от портрета.)* Не только зеркало – и рама-то какая-то кривая.

ХЛЕСТАКОВ. А вы заметили: все очень суетливы, как при посвященьи, из кожи лезут – входят и выходят, встают, садятся, бродят – шатуны! Из ложи заезжают в рожу! Как куклы на пружинах – из рваного шатра у моря! Какое-то театральное представление, или комедия, иначе я не могу себе объяснить.

АММОС ФЕДОРОВИЧ *(обводит рукой подвал)*. Да-с, разъездной уездный театр. Бродячая вампука, летучая собака, плавучее кривое зеркало. Театр Колумба! Вы знаете, что Христофор Колумб, точнее Хаим-Фроим Коломб, отплыл на поиски Нового Света, свалил за бугор именно в тот день, когда вышел указ – изгнать его соплеменников из Испании. Грачи улетели! А совпадений ведь на свете не бывает, все издавна отмерено: Колумб поехал не Индию-Америку открывать, это один смех, комедь, а открыл он сезон эмиграции, серьезного уже, основательного скитания по миру. Эпоха Брожения! Ренессанс лабарданса! Реформация нереста! Вот где собака зарыта...

ХЛЕСТАКОВ. Мир – театр Колумба! Да, я это давно подозревал. Галеры-каравеллы, передвижная сцена – плывем, куда ж нам плыть, и вечно попадаем не туда... Плот медузы с прибитой мезузой... Кораблик дураков, летучий голодранец... Недаром корабельщики-хасиды заворачивали бутылку рому в тряпку, как куклу, – чтобы не было видно, сколько осталось, и грусть не укачивала душу...

АММОС ФЕДОРОВИЧ. А вот и наша Маша!

*Входит Марья Антоновна (в черных кожанных брючках и черной майке с надписью "Я хочу Хлестакова") с серебряным подносом, на котором лежит сахарная голова. Хлестаков, упав на колени, торопливо очерчивает мелом круг вокруг себя.*

МАРЬЯ АНТОНОВНА *(ставит поднос на табуретку)*. Здравсте, Аммос Федорович. (Хлестакову.) Что ж ты, ирод, махамет такой, меловой круг рисуешь? Противишься свиданью, хома неверный?

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Неверная собака!

ХЛЕСТАКОВ *(робко)*. Когда вы входите – темница превращается в светелку... и нежная идея переживет железные оковы...

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Врете вы, брешете... Я вашего брата насквозь вижу. Вы все философствуете или говорите о деньгах. Треплетесь да черкаете в книжечку! А отодрать, а? С цепи сорваться? Кишка слепая и жаба слиплась! А Машенька опять делала это!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Начертано же в Книге: "Маша – вся в черном, нюхает табак и пьет водку. Ее любит Учитель".

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Не только нюхаю, а даже за губу кладу – ну, не совсем табак, по барабану... А что насчет любви – так за что ж в самом деле я должна погубить жизнь с мужиками? Любить козла бесплотного?! Вы посмотрите на него! Где он?! (*Шарит руками, как ведьма; Хлестаков закрывает лицо ладонями.*)

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*указывает пальцем*). Вот он!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Довольный, как слон. Ты б его, Аммоська, арапником! Вогнал ума в задние ворота да прибавил бы, собаке, на орехи! Ах, Хлестаков, с каким наслаждением ты был бы исхлестан и распят!.. Но для заправки надо станцевать...

АММОС ФЕДОРОВИЧ (*объявляет*). Танец "Семь сорок покрывал"! Исполняется с сахарной головой на подносе!

*Марья Антоновна танцует с подносом; Хлестаков, сидя на табуретке, мягко аплодирует.*

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Это твоя голова, Иоанн Александрович!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. А, кстати, как там матушка Аннушка? Уже разлила маслице... по лампадкам? (*Хлестакову*.) Отец, слышишь, рубит... А эта пляшет, стрекоза...

*Марья Антоновна садится у ног Хлестакова. Он задумчиво почесывает ее за ухом.*

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Ну, вот и хорошо. Прибилась к Богу. (*Поднимает правую руку, а левую кладет на голову Марьи Антоновны.*) Клянусь – навек ваш ученик! И ухо шилом проколю – вон, как у Маши – знак рабства вечного. Да, быть рабом у ревизора – это и значит быть свободным!

*Уходит с Марьей Антоновной. Занавес.*

#### Явление V

*Хлестаков сидит на табуретке, пытаясь прыгать на ней*

*по подвалу, но табуретка привинчена. Входит почтмейстер в курточке, откидывает капюшон.*

ПОЧТМЕЙСТЕР (*улыбается*). Я входил к дикому зверю в клетку – был ревизор резов, но мил... Скачете по вольеру? Не сидится? Увы и ах, привинчено наглухо. Тщета!

ХЛЕСТАКОВ. Милости просим. Я люблю приятное общество.

ПОЧТМЕЙСТЕР. А как вы к тайным обществам относитесь? Ай, смотрите, птичка какая-то села за окном. Кровавую пищу клюет. Это сорока?

ХЛЕСТАКОВ. А черт ее знает, не разгляжу.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Никак даже темно в этой комнате? Ну, на то и темница. Не воровал бы – так дома на печи сидел.

ХЛЕСТАКОВ. Папой клянусь – ни сном ни духом!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Вы-с, вы-с сами себя и распяли-с, Иван Александрович! На Бога, как говорится, надейся, а сам не плошай. Не отпирайтесь... (*Оглядывает подвал.*) Узнаю, узнаю помещение... Сколько здесь ревизоров замуровано, по углам зарыто!

ХЛЕСТАКОВ. А к колесницам не привязывали?

ПОЧТМЕЙСТЕР. До этого мы еще не дошли. Чай, совесть есть, останки... Имею честь представиться: почтмейстер, тайный советник Шпекин. Заметьте, что Иван Кузьмич. Ваш тезка. Именины сердца.

ХЛЕСТАКОВ. А шпек, насколько помню, это сало? Это, конечно, ваша ненастоящая фамилия?

ПОЧТМЕЙСТЕР. Догадался... Да, так в Конторе обозначили. Смешно. Давай сойдемся, брат, поближе, съедем прямо на ты! Прошу любить и жаловаться!

ХЛЕСТАКОВ. Ты знаешь, что-то зябко мне и зыбко... поеживает как-то...

ПОЧТМЕЙСТЕР. Замерз, солдатик! К тому же лезут все кому не лень, все эти блохи... Тут эта Маша шальная танцевала с блюдом? Шалунья саломейная! Тоже наша, конторская. Такая Маша Хари – волосы тебе отрежет вместе с головой! Я шел, уж думал – все заляпано, забрызгано... А эта харя здесь была – судья Ляптяпкин, старый шут-законник? Про театр Колумба нес свою галиматью? "В Испании есть Колумб. Он отыскался. Этот Колумб и откроеет Россию". У него еще есть коронный номер, ты ахнешь – ахинея, что Фортинбрас и Умслопогас живы!

ХЛЕСТАКОВ. Умслопогас – герой романа Хаггарда. Судья – идеалист, живет в придуманном им мире.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Но как припрет – прагматик. Никак в

ученики просился? А я, признаться, тоже твой поклонник. Читал, почитывал! И даже смаковал. Есть прекрасные места. Помнишь, у тебя там про бесплодную смоковницу? Это ты, плут, мамашу свою кольнул... Смешно. Бойкое перо! Я, признаться, сам люблю заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стихи выкинутся.

ХЛЕСТАКОВ. Сунуть нос в чернильницу, достать чернил и плакать... И ты уйдешь в ученики?

ПОЧТМЕЙСТЕР. А как же! Ты думал, я буду только наблюдать, насупившись? Смотреть из-под капюшона, как из готического окна, что-то такое у Честертона... Ну нет, наоборот, я стану первым учеником – я прилежный.

ХЛЕСТАКОВ. Прописи, проповеди, лики, крестики, нолики... Брось, не пиши. Буквы эти жукоподобные выводить, кляксы слизывать... Не пиши.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Ну как... У меня служба. Отчетность! Какая ж тут свобода самовыраженья! Вот городничий городил про кукол? Вот так и я – набитый, тряпичный... Душа Тряпичкин!

ХЛЕСТАКОВ. Да, да... Душенька Марья Антоновна, Душа Сахара на подносе, мертвые души чиновников, бобчинский-добчинский – титиль-митиль...

ПОЧТМЕЙСТЕР. Совершенно справедливо. Метерлинк-шметерлинк!

ХЛЕСТАКОВ. Полые люди на голой земле – пупсы-голыши... Всхлип по Спасителю...

ПОЧТМЕЙСТЕР. Совершенная правда. Все целлулоидные – без принципов, зато и без целлюлита. Все на одно лицо – личинки-куколки. Уж так задумано, что проще надо быть народу – тогда и вы к нему потянетесь.

ХЛЕСТАКОВ. А в облаках, над куклами героев, всего лишь пробегание богов: "– Здорово, Гули!.. – Приветик, Лили!.." Веры пути неисповедимы! Будем как дети – и даже как куклы!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Совершенный дурдом! Шпектакль! Все действующие лица нарисованы на обороте старого холста, да он еще и перевернут вверх ногами. Глядимся в колодезные воды Зазеркалья! Отраженная рожа крива и гриваста – ванёк-горбунок... Я веду записи: карабас Антон Антонович – Ан-Ан, и барабасиха Анна Андреевна – Ан-Ан. Барбос Аммос Федорович и артемон Артемий Филиппович – АФ-АФ. Смотрящий-смотритель Лука Лукич – Лук-Лук, ты спикаешь по-аглицки, усек? Петры Ивановичи мои писклявые – Пи-Пи...

ХЛЕСТАКОВ. А знаете ли, что если разделить двадцать две буквы библейского алфавита на семь свечей семисвешника, то будет волшебное число "пи" – три целых, четырнадцать сотых с довеском...

ПОЧТМЕЙСТЕР. Под самым носом – а не знал, не ведал!  
Шпек живи – шпек учись!

ХЛЕСТАКОВ. Добро и зло – две стороны зеркала. Не глядявайся в бездну и улыбайся чаще – и бездна не начнет глядяваться в тебя, и улыбнется чаща! И уездный город обратится в соловьиный сад! И твоя тайная стража окажется ненужной, милый оберегатель...

ПОЧТМЕЙСТЕР. Э, Иван Александрович, не обижайся, но ты не зря у меня записан как ИА. Потому что ты похож сразу и на Иешуа, и на его И-а. Ослытя несмышленый! Да кто ж тебе сказал, что я оберегаю город? Ничего подобного. По гороскопу я – Весы. Две чашечки качаются – Город Солнца и соцгородок за колючкой. А я слежу только, чтобы никто не перевесил. Гирьки подпиленные, успех гарантирован. Я – охранитель равновесия, охрангел. Поверь, душой привязанный к тебе... А давай, брат, тайный орден создадим: ты – гроссмейстер, я почтмейстер. Учеников наловим, ты их учить будешь, а я приручать... Крысы у тебя тут есть?

ХЛЕСТАКОВ. Нет, ни одной не видал.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Узнику без крыс никак невозможно, даже и примеров таких нет. *(Повелительно хлопает в ладоши. Входят Бобчинский и Добчинский.)* Разрешите представить – наши местные пьеро, мсье Пьеры.

БОБЧИНСКИЙ. Это мы!

ДОБЧИНСКИЙ. Мы-с!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Вот, Палачи Ивановичи, взгляните – вот он, Сын Неба! Здоровый лось! Золотой гусь! К такому и не хочешь, а попросишься в ученики, прилипнешь навсегда!

БОБЧИНСКИЙ. Так точно-с. Побредем как бы у Брейгеля, у Петруши Старшего...

ДОБЧИНСКИЙ *(подхватывает)*. Уставшие, цепляясь друг за дружку...

ПОЧТМЕЙСТЕР. И прямиком в канаву, увы. Или ура? Эх, глаз да глаз нужен!

БОБЧИНСКИЙ. А и так ничего, учиться будем – по бугоркам, перстами быстрыми...

ДОБЧИНСКИЙ. Будем учиться – с какого конца есть редьку, эго комментировать Федьку...

ПОЧТМЕЙСТЕР. Что ж, Иван Александрович, подобьем бабки – итого, так, так... двенадцать учеников. Хорошее каноническое число получается, дюжина...

ХЛЕСТАКОВ *(считает на пальцах)*. Десять, Иван Кузьмич.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Постой-ка, брат мусью! А баб забыл-то сосчитать! Две Елизаветы Воробей – Анна Андреевна и Марья

Антоновна! Химеры нашего собора! Их в обществе уже зовут "хлестаковы невесты". Апостолихи, ученицы. У нас же слухи циркулируют, как мухи це-це, ей-ей! Без окон, без дверей, полна горница людей – это не огурец, это наш уезд. Все видно от и до! Лука Лукич расскажет – выйдет "от Луки". Я выдам версию – сочтут "от Иоанна", и марка, глядь, со штемпелем, все подлинно. А эти нимфы забранятся, застрекочут – тут "Мат Фей"... *(Воздевает руки.)* Всё схвачено – теперяча все свободны!

БОБЧИНСКИЙ. Осмелюсь доложить, что частный пристав Уховертов Степан Ильич не уверовал.

ДОБЧИНСКИЙ. А раскололся начисто. Я, говорит, раскольник. Я – Степан, и я пришел дать вам волю! А энтот чего пришел, какого Бога ввалился, я, говорит, не знаю... На чужой козе в рай въехал...

БОБЧИНСКИЙ. И также сделал из полы свиное ухо и небу показывал. Многие видели.

ДОБЧИНСКИЙ. А мне сказал: "Чего вылупился, как филин? Тфилин на пятку натяну!"

БОБЧИНСКИЙ. Уйду, говорит, с квартальными вагагой в предивную страну в лесах и на горах – Беловошье...

ДОБЧИНСКИЙ. Искать там лучшей доли – с кистенем, артельно!

ПОЧТМЕЙСТЕР. Ох, Белая Вошь, повелительница!.. Ну, народ до чего беспокойный – телескоп да колокол! И раскол-то у них не в комнате, а в космосе, и топор они впервые на орбиту вывели... Эх, ухнем-с!

БОБЧИНСКИЙ. И еще говорил, что грядет настоящий, праведный ревизор, тверезый, который должен всех истребить, стереть с лица земли, уничтожить вконец... По именному Высшему повелению он послан, и возвестилось о нем!

ПОЧТМЕЙСТЕР. А, леший с ним. Конец игры. И кукол – в ящик. Пишите философические письма!.. Уж время ужинать, Иван Александрович, и пожинать плоды. Поедем кверху, к верховной вечной красоте – на сборище учеников. Я попросил у городничего, чтоб стол там наверху сервировали. Э, у кого из вас, не помню, зуб со свистом?

ДОБЧИНСКИЙ. У меня-с.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Свистать всех, Добчинский. Ну что, брат Хлестаков, ползем наверх.

ХЛЕСТАКОВ *(показывает, что прикован)*. А это?

ПОЧТМЕЙСТЕР. Ах, это... *(Подходит, легко вырывает цепь из стены, потом срывает цепь с ноги Хлестакова и вешает себе на шею. Все уходят.)*

*Занавес.*

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Явление последнее

*Комната из первого действия – в доме городничего. Длинный стол, все двенадцать действующих лиц-учеников сидят, как на "Тайной вечере" Леонардо да Винчи, Хлестаков в центре. Вино, апельсины на тарелках. Все радостные, целуются, галдят – гал, гал, гал.*

ПОЧТМЕЙСТЕР (*пишет в книжечку*). Пир под горой в уездных эмпиреях. Шампанское с прицепом. Смешно.

ГОРОДНИЧИЙ. Вершины! Пики!

АММОС ФЕДОРОВИЧ. Радость! Крести!

АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Ликование всего! Бей в бубны!

ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ (*брезгливо*). Ие...диллия! Черви!

БОБЧИНСКИЙ. Райский сад-с!

ДОБЧИНСКИЙ. Деликатные разные кущи!

АННА АНДРЕЕВНА. Ах, Боже мой!

МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, маменька, и мой!

ОСИП. Не-ет, Учитель, ты как хошь, а я тебя ужо поцелую!

СЛУГА. И я!

ЛУКА ЛУКИЧ. Слезы рекою так и льются! И я!

*Все подходят к Хлестакову, целуют его – кто в лоб, кто в щеку, кто в макушку, кто руку. Входит, стуча сапогами, частный пристав.*

ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ. Гром грянул! Он прибыл! По именному повелению. И требует вас сей же час к себе.

*Немая сцена "Тайная вечеря" длится полминуты. Потом все разбегаются, как тараканы – Аммос Федорович по-собачьи, на четвереньках; ведьма Марья Антоновна верхом на Хлестакове; Христиан Иванович и Артемий Филиппович в обнимку с Анной Андреевной ускакивают тройкой, звеня колокольчиком; Лука Лукич уходит с балыком под мышкой; Осип и Слуга на бегу сталкиваются лбами; почтмейстера несут, скрестив руки, Бобчинский и Добчинский. Городничий, тоже было заматававшийся, машет рукой и снова садится за стол. Берет бутылку, наливает себе. Подходит частный пристав, садится рядом, тоже наливает. Они начинают беседовать. Занавес.*



## Виктор Гопман

### Коммерции сотрудник



"...у, и сколько ты сейчас у себя получаешь?" – спросила Ларочка, не переставая иронически улыбаться. – "Ну, сто восемьдесят пять..." – Для начала положим тебе триста пятьдесят, но это только на первое время". – "А потом?" – "С первого января начнется новая жизнь". – "Почему с первого января?" – "Расклад такой". – "И что это значит – новая жизнь?" – "Отвечаю. Директор вашего НИИ, доктор-профессор, сколько имеет в месяц, знаешь? Так у тебя будет вдвое. Не считая всяческих прочих радостей. Ну, и долго еще тебя уговаривать?" – "Да согласен я. Дальше что?" – "Дальше вот что. До конца недели сможешь в своей лавочке расквитаться? Действуй, чтобы в понедельник уже приступить к реальной работе".

Вот так началась для меня новая экономическая реальность эпохи перестройки. Еще вчера пресловутый "старший научный сотрудник без степени", с начала следующей недели я становился сотрудником совсем иной структуры, переходя из организации на три буквы – НИИ – в двухбуквенное образование – СП. Совместные предприятия в ту легендарную пору конца 80-х годов принялись активно заполнять хозяйственное пространство страны необъятных Советов, проникая во все возможные сферы человеческой деятельности – от высоких технологий до шоу-бизнеса.

И вот после разговора с Ларисой появляюсь я на рабочем месте. "Зачем пришел?" – спрашивает меня удивленный начальник, поскольку я должен был в это время сидеть в библиотеке и черпать из иностранных журналов крупницы новейшей научной премудрости. – "Дело есть", – отзываюсь неопределенно и, присев за свой стол, по-быстрому катаю заявление об уходе. И без лишних слов подаю его начальнику. – "Забери и порви, – бодро отреагировал тот. – Я даже слушать не хочу, не то что подписывать. Чем тебе тут плохо? Три библиотечных дня в неделю, сам себе хозяин. А с Нового года зарплату повысим". – "И на сколько?" – иронически ухмыльнулся я. – "Дадим тебе две сотни". – "У меня, –



сообщаю, стараясь держаться по возможности небрежной интонации, – со следующего понедельника уже будет три с половиной". – "Хватит болтать, – разозлился начальник. – Где ж такие деньги платят?" – "Да уж не в госучреждениях". – "А ты что, рискуешь нырнуть в этот самый бизнес? Платные сортиры и чебуреки с собачиной?" – "Зачем же так грубо – "с собачиной"? Принято пользоваться эвфемизмом: "цепные бараны". К тому же не все торгуют пирожками, кое-кто и высокими технологиями занимается. Компьютерами теми же, например". – "Да ты эти компьютеры в глаза-то едва видел". – "А я и не собираюсь ими торговать. Мое дело – международные связи. На это у меня ума хватит. Не говоря уж об опыте".

Короче говоря, не получился у нас разговор – да и как мог он получиться, если я прямо и нахально, на глазах у всех, переходил из категории безропотно-бесправного научного сотрудника советского НИИ в некие неясные, но вполне заоблачные сферы, где общение со все еще таинственными для советского народа (на текущем этапе исторического развития) иностранцами было фактом повседневной действительности, так сказать, трудовыми буднями. А праздниками в этой новой реальности становилось общение с теми же иностранцами на их территории. Ибо и об этом мне прямо было сказано, когда я представлялся президенту совместного предприятия "Лотан": "Занимая должность заведующего международным отделом, вы регулярно будете выезжать – со мной или с нашим генеральным директором – в страны, с которыми нас связывают партнерские или коммерческие отношения". Много чего еще было сказано в ходе этой беседы – и о характере предстоящей деятельности, и о перспективах, и о необходимости развития международных контактов. Набирайте персонал, было сказано. И еще было сказано, что через месячишко намечается вселение в свой особняк, где сейчас ведется реставрация, и там отделу будет выделено помещение. А пока – есть время исподволь создавать инфраструктуру.

Прежде чем приступить к описанию многотрудных и многоаспектных действий на моем новом посту, в том числе и по созданию этой самой инфраструктуры, представляется совершенно необходимым дать описание окружающей среды, в которой мне предстояло действовать. Состояние этой среды в рассматриваемый исторический период было настолько специфичным – если слово "специфично" хоть в какой-то степени передает все, как говорится, оттенки смысла, – что даже люди, жившие *там* и *тогда*, по прошествии некоторого времени уже подзабыли, как оно все бывало. Понятие "покупка" – применительно к значительной

категории товаров и большинству услуг – утратило свой изначальный смысл. Сам глагол "купить" – в его прямом и буквальном значении – как бы исчез из обиходной речи, поскольку рядовому гражданину страны Советов не представлялось практически никакой возможности заполучить значительную часть ассортимента как промышленных, так и продовольственных товаров путем обмена на всеобщий эквивалент. Исчезло слово, практически пропало, вытесненное другим глаголом – "достать", который значительно более адекватно отражал сложившееся положение вещей.

Но "достать" можно было лишь имея определенные знакомства (или неформальные связи) с теми людьми, которым советское государство доверило распределение товаров и (или) услуг. Таким образом, продавщица небольшого магазина или кассирша в агентстве Аэрофлота обретала значимость, ни в коей мере не сопоставимую со своей должностью. Чтобы достать авиабилет (в день вылета, на рейс Москва-Сочи), приходилось покупать кассиршу. А уже купленная кассирша, в свою очередь, предоставляла тебе этот билет (разумеется, согласно аэрофлотовским тарифам). Причем покупать кассиршу следовало не в день вылета, а заранее. И кассирше, ведавшей авиабилетами по Союзу, была одна цена, а кассирше, имеющей доступ к зарубежным рейсам – другая. А еще дороже стоил директор ресторана или, скажем, гостиничный администратор.

Продолжим ход мысли. Что это вообще значит – "купить директора ресторана"? Как подойти к нему? Как обратиться? Разумный путь лишь один – через знакомых. Иначе и в кабинет-то к нему не проникнешь. А где их взять, таких знакомых? Ну, приступаешь к поиску ходов-выходов. Это, собственно говоря, и есть построение инфраструктуры. Дело, конечно, безумно сложное, если начинать на пустом месте. Но ведь человек – животное общественное. Не в вакууме живет, а в каком ни на есть социуме. Есть друзья, есть знакомые, есть друзья друзей и, на самый худой конец, знакомые знакомых. У кого-то в орбите вдруг обнаруживается, скажем, директор ресторана. И это уже первый шаг. Дальше – проще. Тебя знакомят. Но приходишь ты не как бедный родственник ("Я от Николай Николаича, нельзя ли тут у вас как-нибудь по-тихому свадьбу племянницы сыграть..."). Ты появляешься в ореоле внешнеэкономической деятельности, в качестве заведующего международным отделом Совместного предприятия (именно такие, проникающие в душу и гремящие медью – в смысле, долларами – слова значатся на твоей визитной карточке. Ты даешь понять, что речь идет о постоянном сотрудничестве и что за ценой, соответственно, не постоим.

Разговор начинается обиняками, но вскоре выходит на торную дорожку. Выясняется, что младший директорский сын недавно женился, и невестка сидит дома с ребенком, и вот вы договариваетесь, что невестка будет числиться у вас в СП как stenografistka на полставки. Сумма, кстати, несколько превышающая ту, что она могла бы иметь, проводя за аналогичным занятием полный рабочий день в государственном секторе. Но в нашем случае она продолжает себе сидеть дома и заниматься домашними делами – а деньги дважды в месяц аккуратно будет получать свекор. И, собственно, кому какое собачье дело, отдает ли он ей эти деньги – пусть они сами в семье разбираются. Зато теперь ты можешь позвонить пану директору в любое время и сказать: "Пахомыч! Нам бы ужин на пятерых сегодня". И – никаких проблем. Приезжаешь к девяти часам (или когда захочешь); в дверях, естественно, швейцар, мест, естественно, нет (о чем сообщается золотом по черному на мощной стеклянной доске, вывешенной на устрашение посторонних), но вас это не касается, у вас – "Заказано!". Проходишь в зал – метрдотель с тобой за руку (не с тобой как с таковым, а как с человеком от Пахомыча). Столик уже накрыт. И все такое. Ну, в конце вечера, расплачиваясь, официанту надо не поскудиться на чаевые. А метру твои деньги не больно и нужны – своих хватает. Тем более что ты – от Пахомыча. Значит, надо припасти ему заранее какую-нибудь заграничную цацку. Брелок там в виде фишки из казино Лас-Вегаса. Или журнальчик со спецкартинками. Благо что польские партнеры поставляют их пачками. А качество – печати, моделей и фотографов – не хуже "Плейбоя". Даром что польское. Журнал демонстративно демонстрирует тот факт, что "еще Польша не сгинела" и что под водительством "Солидарности" она уверенно идет к капитализму в лучшем смысле этого слова, со всеми его родимыми пятнами. Ресторанный вечер проходит на славу, а это полезно для дела – потому что партнеры (хоть иностранные, хоть внутренние, советские) любят, когда о них заботятся, и понимают, что заботливое отношение к принимающей стороне со стороны ресторанной администрации свидетельствует о надежных и разнообразных связях СП. А надежность – она всегда в цене. Умный партнер это осознает. Ну, и еще немаловажный аспект: за хорошим столом, после умеренной выпивки, возникает – пусть не обязательно дружественные, но хотя бы приятельские отношения. По меньшей мере – приязненные. Что существенно, так эти отношения переносятся и на следующий день, за стол переговоров. Мудрейший, вообще-то говоря, обычай – преломить совместно хлеб, окропленный вином. Основа взаимного доверия. Прекрасный способ снять отчуждение.

Опыт – длительный и печальный – свидетельствует, что недоверие заложено в самой природе так наз. Homo sapiens. Но известно и другое: в массе своей люди все-таки рады, когда удается разувериться в этом печальном предубеждении. И лучше всего это получается при личном общении. Да обратимся к той же ситуации с Пахомычем. В самом начале знакомства как бы опасаясь: с какой стати директор ресторана, человек в определенном смысле всемогущий, пойдет на сотрудничество. Ведь есть у него с кем водить дела и кроме тебя. А вот обговорили условия взаимодействия, приняли по чуть-чуть (в его кабинете, за закрытыми дверями), и обнаружилось, что находятся темы для общего разговора – помимо производственных. И вдруг – после трех-четырёх встреч – осознаешь: да ведь и он относился к тебе изначально – ну, не с опаской, так настороженно. Поскольку ты для него – тоже человек из другого мира. Не понашему говорить умеешь, и с иностранцами запросто, на короткой ноге. Но постепенно вы приходите к выводу – может быть, даже изначально и странноватому, причем для обеих сторон: да у вас, оказывается, вон сколько общего. Ты, разумеется, не обсуждаешь с ним Борхеса, да и он не станет с тобой о своем, о заветном. Но ведь и без того – вон сколько тем. Бабы те же. Футбол (и вы оба оказываетесь спартаковскими болельщиками, причем с таким стажем, что помните, как звали Нетто, а для молодежи и фамилия эта – звук пустой. Увы! – констатируете вы с грустью...).

Собственно, вся инфраструктура держится в первую очередь именно на этих – казалось бы, пустопорожних – разговорах. То есть, разумеется, СП платит – хорошо и регулярно – и Пахомычу, и Свете в театральную кассу, и Аллочке в транспортном агентстве, и ее подруге Люде, которая помогает в трудных случаях с зарубежными авиабилетами, и еще всем, кому надо. Но платежную ведомость каждому из них я привожу собственноручно, чтобы лишней раз перекинуться парой слов: с Пахомычем о бабах, со Светой – о детях, с Аллочкой – о состоянии кинематографического процесса на современном этапе. Плюс к тому кейс во время таких поездок набит всякой всячиной – от разовых зажигалок, авторучек, простейшей жвачки до замысловатых записных книжек, парфюмерных наборов и специздатий для мужчин.

В сейфе у меня целое отделение отведено подаркам – блоки американских сигарет и жвачки, упаковки зажигалок, коробки ручек и прочих завлекательно выглядящих канцелярских принадлежностей, бутылки английского виски, джина, скандинавских ликеров... Все это – не только для нужд международного отдела. Заглянет главный бухгалтер, красotka

Юлия: "Зайчик, иду в налоговую инспекцию – дай-ка блок "Мальборо". Забежит зам. генерального по общим вопросам: "Слушай, пожарная инспекция сегодня в гостях – можно им по зажигалочке?" Или – "Мужики снег с крыши сбрасывают – дай им чего не жалко". Или – серьезное дело: "Слушай, завтра в ГАИ еду, номера получать на новый "Мерседес". Дай-ка пару пузырей виски и пудрениц штук с десятков. И пяток журнальчиков, которые попроще. И жвачки коробку..." Все это проходит по статье "Public relations" – потому что в те приснопамятные годы, во-первых, даже пластинка жвачки (не говоря уж о пачке) имела валютную ценность, а во-вторых, на представителя СП, не одаривающего всех направо и налево, в инстанциях смотрели как минимум с удивлением. Но зато пачка "честерфильда" с приложенной к ней разовой зажигалкой решала такие вопросы, которые казались неразрешимыми даже за приличную сумму в денежном выражении. Тем более что деньги – аспект щекотливый, а дать человеку закурить и прикурить – какие дела! Ведь, строго говоря, это даже и не подарок, а так... Ты его своей сигареткой угостил, а он тебя – своей. А если при этом разговор душевный завязался – так это естественно. Как естественно и то, что тебе пошли при этом навстречу – ведь в конце концов, все мы люди, все человеки... Из человеческого материала и лепится инфраструктура. Складывается из людей, скрепляется неформальными отношениями.

Первые пару недель я крутился в одиночку. Осваивался. Сидел вместе с секретаршей президента СП не то что в одной комнате – за одним столом. И пользовался на пару с ней одним компьютером. Секретарша Света преподавала мне и первые навыки работы с этой, неведомой еще для меня в те времена, передовой технологией (двести восемьдесят шестая машина, черно-белый экран, примитивный "Лексикон"). Света обучила меня и другим технологическим премудростям: как пользоваться факсом, ксероксом – слова такие советскому человеку даже на пике перестройки казались лексикой из научно-фантастического романа. Впрочем, разобравшись с азами, я востребовал хранившиеся в дальнем ящике письменного стола инструкции к этой чудо-технике (писанные по-английски и потому никем до конца не читанные) и вскоре уже сам смог дать кое-какие дополнительные советы.

Через пару недель я заскочил на старое место работы, чтобы получить причитающиеся деньги под окончательный расчет. И завел болтовню с Тамарой, сотрудницей бухгалтерии. Слово за слово. Я ей о том, как занят поиском полезных знакомых. А она: "Есть у меня знакомый директор ресторана". Еще слово за слово, она: "Конечно, познакомлю. А ты взял бы меня к себе на работу. Хоть кем, хоть секретаршей. Я все умею, а остальному

научусь". Посмотрел я на нее свежим взглядом: блондинка под метр семьдесят, все при ней, да и вообще девка вроде бы неглупая, к тому же бухгалтерские штучки-дрючки знает. Так появилась у меня секретарша и верная помощница, которая принесла в приданое ход к Пахомычу.

А на следующей неделе, отправившись знакомиться с директором ресторана, как бы по пути зашел в офис расположенной неподалеку некой специфической организации с неопределенными, но весьма широкими международными функциями. Там меня много лет привлекали и давали подработать переводами – и письменными, и с делегациями. В коридоре встретил мужика из хозяйственного отдела, с которым как-то вместе катались по Союзу, сопровождая группу англичан. Слово за слово, Виталий этот и говорит: "Возьми меня к себе работать. Все контакты, все связи – к твоим услугам". Так появился у меня заместитель и верный помощник.

Оно конечно, такой процесс формирования коллектива скорее похож на процедуру, обозначенную в народных сказках: бредет себе герой по белу свету, а навстречу зайчики разные и прочая живность. "Возьми меня с собой, – говорит каждый из этих представителей дружественной фауны, – а уж я тебе пригожусь". Герой идет каждому из них навстречу – и не обманывается в дальнейшем, получая от новых друзей неоценимую помощь при возникновении самых неожиданных нештатных ситуаций. Все это лишний раз подтверждает незамысловатую вообще-то мыслишку, что сказки в России предельно близки к жизни, а жизнь, в свою очередь, полна сказочных ситуаций. Взять хотя бы тот вполне сказочный теремок, что СП оборудовало для своих нужд. Стоял в замоскворецком переулочке эдакий домишко, обозначаемый в документах дореволюционных торговцев недвижимостью как "низ каменный, верх деревянный". Нашлись у руководства СП пути записать его на себя, с обязательством произвести полный ремонт и реконструкцию. Что и было исполнено – с перепланировкой и прочими радостями. На втором этаже, сложенном из могучих бревен, разместились кабинеты президента, генерального директора, финансового директора и прочих связанных с ними лиц. В подвале оборудовали кухню и залу, где можно было и есть-пить, и заседания проводить. А на первом этаже – слева разный рядовой персонал разместился, правая же половина была отдана замку по общим вопросам (он же технический директор, он же завхоз) и международному отделу. Получил я в свое распоряжение две небольшие, но вполне уютные комнатки – в первой, проходной, посадил Тамару, а в задней сел сам с Виталием. В угол – сейф о двух дверцах, себе на стол компьютер. Уж точно персональный,

который ни с кем делить не надо. Триста восемьдесят шестой, цветной экран, личный принтер (ну, матричный, разумеется). На отдел – две телефонные линии; факс, правда, один на всю контору и стоит наверху, у секретарши Светы. Там же, при ней, и ксерокс.

Принялись всем миром обживать помещение. Самый значительный вклад в процесс обустройства вносил Коля, технический директор, малый настолько же простоватый, сколь и хитрожопый. Сочетание названных двух свойств, весьма характерное для определенного круга подданных Российской Империи на протяжении всей истории ее существования, позволяло Коле беспрепятственно втираться в это специфическое сообщество заведующих складами, главных администраторов различных полезных учреждений, чинов милиции вообще и ГАИ в частности на самом полезном уровне – майора-капитана, директоров небольших магазинчиков (снабжаемых, впрочем, не хуже дворцов торговли) и прочих замечательных людей. Из этих источников была получена, в частности, прелестнейшая голубая и розовая сантехника, кафель серо-бежевый в мелкий цветочек, финские дверные замки с сияющими медными ручками, немецкие обои, не говоря уж о привезенной с дальнего подмосковного склада совершенно невероятной канцелярской мебели, включая вертящиеся кресла с подлокотниками и подножками. С другого склада – московского, и довольно близко, кстати, расположенного – Коля урвал (через подругу любовницы своего двоюродного брата) прекрасный, кобальт с золотом, чайно-кофейный сервиз, плюс еще, как бы по мелочи, несколько наборов расхожей посуды, с бесчисленными блюдами, тарелками, тарелочками, блюдцами, розеточками.

Свою лепту в обустройство внес и международный отдел. В течение нескольких дней мы с Виталием, взяв одну из разъездных машин, отправлялись на поиски справочников, телефонных книг, словарей, канцпринадлежностей и прочей мелочевки. Себе в комнату купили огромную, во всю стену, карту мира, давая тем самым как бы тонкий намек на планетарный масштаб своей деятельности. Заскочивши на старое место работы, Виталий позаимствовал там набор флажков зарубежных государств – ставить на стол при проведении переговоров. Кроме того, он оприходовал несколько справочников для служебного пользования, с массой полезных, но не очень широко известных телефонов. Например, номера диспетчерской "Шереметьево", по которым можно получить точнейшую информацию о том, не опаздывает ли рейс, и если да, то реально на сколько. Скажем, летят партнеры из Рима через Милан. Вместо того, чтобы бессмысленно тащится в аэропорт на дружественную встречу, наберешь тайный номер и

спросишь: "Как идет Алиталия, рейс такой-то?" И тебе ответят, что рейс еще сидит в Риме, потому что Милан не принимает по метеоусловиям. Значит, можно не мыкаться несколько бессмысленных часов в аэропорту, а спокойно посидеть в своем уютном кабинете. Через три часа перезвонишь, и тебе сообщат: "Рейс вышел из Милана, расчетное время прибытия такое-то". Еще через пару часов позвонишь – и узнаешь: "Рейс на подходе, расчетное без изменений". Ну, тут надо собираться. Навестишь по дороге дворец, стены которого отделаны серо-бежевым кафелем в мелкий цветочек, а по пути заглянешь в приемную Коли, где обычно сидят водители, и скажешь: "Валентин, к бою!" И закрепленный за международным отделом водитель идет прогревать мотор.

Водитель Валентин заслуживает отдельного разговора. Небольшого роста, но очень крепко сбитый, с прибалтненной улыбочкой и (как выяснилось позже, к лету) с мощной татуировкой. Говорит, что сидеть не сидел, а охранять довелось. Бывший таксист – как, впрочем, и почти все водители СП; Москву знает фантастически, плюс к тому же сверхъестественное чутье на пробки и прочие сбои движения. Бывало, едешь с ним – днем, причем будним, когда улицы вроде бы полупусты, и вдруг он: "Командир, рванем в обход!" И – какими-то переулочками, проходными дворами, через помойки, мимо играющих пацанов... И прибываешь на место назначения вовремя. И сидишь с хозяином кабинета полчаса в ожидании третьей стороны. Наконец, опоздавший врывается, весь в мыле, и шарф развевается за спиной как вымпел: "Ой, бля, извините, мужики – на Ленинском пробка, не прорваться..." В такой ситуации полезно заметить, как бы невзначай: "Ну, для моего водителя проблем не существует – мы-то огородами ехали..." И тем самым непосредственно с начала переговоров уже выиграть полкорпуса. Водит Валентин всегда на хорошей скорости, но очень аккуратно и даже строго. В гонки никогда и ни с кем не связывается, приговаривая при этом как бы в сторону: "К Склифу всегда успеем – да только там вечно очередь. Вот из таких мудачков..." И кивает неодобрительно на рвущихся под желтый свет, подрезающих, нарушающих рядность. Но уж если и взаправду надо... Бывает ситуация форс-мажорная; выскочишь из кабинета, на ходу влезая в рукава, и: "Валентин, летим в Ша-два!" Он мгновенно оценивает обстановку и буквально просачивается сквозь все двери – во всяком случае, ты только вышел во двор, а он уже сидит за рулем, Молча, сосредоточенно. И лишь у первого светофора спрашивает: "К сколько надо-то?" И, услышав ответ, шевелит губами, проводя таинственные расчеты, после чего кивает головой: "Будем". И действительно – влетаем под



шереметьевскую эстакаду даже за пару минут до срока. И можно спокойно бежать по своим делам – Валентин и запаркуется удобно, и сам потом отыщет тебя в людном зале, и с багажом прилетевшего разберется без подсказки. И уже когда будем вырывать из-под эстакады в обратный путь, он как бы про себя пробормочет: "Ну, вот, командир, а ты боялся..." И – погромче, почтительно: "Куда сейчас: В офис или на квартиру?"

Время позднее, Валентин, какой там офис. Едем устраивать дорогого иностранного гостя на ночлег. На одну из двух снимаемых нами квартир. С гостиницами в те годы в Москве было также плохо, как и со всем остальным. Да к тому же для иностранцев даже простенький одноместный номер стоил совершенно безумные деньги. Ну, так если в продаже нет водки, то гонят табуретовку. А если нет гостиницы, то снимают квартиру. Что я и сделал – с помощью одного из только появившихся тогда посреднических бюро. Собственно, сняты были две квартиры. Однокомнатная, где стоит широченная кровать и два дивана; она используется в основном для размещения внутренних партнеров, прибывающих и из Архангельска, и из Владивостока, и из Челябинска, и из Еревана... И еще – трехкомнатная, обставленная существенно лучше. Имелась там спальня как таковая, с двумя кроватями, вторая комната, с диваном и письменным столом, где может жить еще один человек, и приличная гостиная, пригодная для проведения деловых бесед вокруг огромного обеденного стола. На кухнях обеих квартир имеется постоянно поддерживаемый запас чаю-кофию-сахара-соли, а непосредственно перед приездом дорогих гостей холодильник затаривается простейшими молочными продуктами и гастрономией. В штате международного отдела имеется некая шустрая дамочка, как бы домоправительница, в чью задачу входит регулярное обеспечение чистого постельного белья, кефира, колбасы с сыром, полотенец (менять не реже чем через день), хлеба, яиц и прочего по мелочи. Она же убирает квартиры – перед приездом клиентов, во время их пребывания и после отбытия восвояси. Вот и сегодня экстренное сообщение о неожиданном визите зарубежного партнера не застало коллектив врасплох. Я кинулся в аэропорт, а тем временем Виталий позвонил домоправительнице (Ниной звать, кстати), и та помчалась смахнуть пыль и постелить свежее белье, а по дороге купить хлеб и всякие молочные продукты. Сам Виталий поехал к Пахомычу, подзапасться разными паштетами и прочими вареными языками, потому что кормежка визитера лежит на принимающей стороне, а проходит он по высшей категории. Заодно заказал у Пахомыча столик на завтра, на вечер. Часть деликатесов Виталий, захав на квартиру, выгрузил в холодильник, а остальное оставил в

багажнике своей машины, чтобы позже завести в офис, для завтрашней дневной кормежки. Осмотрел вместе со ждущей его приезда Ниной квартиру – все ли в порядке; погнал Нину в магазин, докупить еще съестного, по списку, а сам остался ждать гостей. Я же, привезя партнера, отпустил Виталия, а сам поужинал с дорогим гостем (чтобы тот не скучал), и добрался до дому только к одиннадцати. А Валентин – соответственно – еще позднее. А на утро Валентин в половине девятого привез на квартиру и меня, и Нину; забрали партнера и оттранспортировали в офис, а Нина осталась наводить порядок.

А в офисе Виталий уже все с утра приготовил. В кабинете президента, на столе для заседаний, разложены блокноты, ручки и прочие фломастеры; стоят бутылки с минералкой и пепси, ваза с фруктами, стаканы, пепельницы. В клетушке без окон, соседствующей с приемной секретарши Светы, хлопочет Тамара. Там и холодильник, и небольшой столик – как раз чтобы разложить снедь по тарелкам и нарезать хлеб. Но перекусить настанет время часов в двенадцать, а пока, без десяти девять, Тамара раскладывает на расписном блюде пирожные и печенье, чтобы в половине десятого подать чай с кофею. Виталий, последний раз окинув взглядом президентский кабинет, спускается вниз, встречать иностранную делегацию. Президент пока сидит в кабинете генерального; там же и коммерческий директор. Все прифрантившись, все в ожидании. Больше всех, впрочем, принаряжена Света, восседающая с каменным лицом за своим компьютером. Дело в том, что дорогой итальянский гость в последний свой визит очень внимательно поглядывал на нее, бросал разные реплики, и теперь она не то что бы ждет продолжения, но...

Три коротких звонка и синхронно с ними трижды вспыхивает лампочка слева от светиного стола. Снизу проведена сигнализация, и это охранник дает условный знак: гости прибыли. Света нажимает кнопку своего интеркома, и начальство на ее вызов выходит в приемную – навстречу поднимающемуся по лестнице торговому гостю, в моем сопровождении. Идущий за нами следом Виталий помогает раздеться. Приветствия начинаются в приемной и переносятся в президентский кабинет, а Виталий, повесив гостевое пальтишко рядом со светиной шубой, заглядывает в неприкрытую еще дверь: все ли в порядке? В ответ на мой кивок ("Все нормально, загляни через полчаса") плотно закрывает дверь и спускается к нам, захватив мою дубленку. Пятеро вошедших в кабинет между тем размещаются на привычных местах вокруг стола, и начинается пока еще неопределенная беседа ("Как семейство?", "Как долетели?", "Как оно вообще?"). Общих слов

хватает примерно на полчаса, затем Тамара вносит поднос с пирожными, печеньем, сахаром, сливками, молоком и удаляется с информацией о распределении пожеланий относительно чая и кофе. Еще через пять минут перед каждым стоит дымящаяся чашка и, после того, как Тамара закрывает за собой дверь, начинаются переговоры. Собственно говоря, они продолжают, поскольку перед каждым участником лежит папка с письмами, факсами и записями телефонных бесед за последние полтора месяца. Эти документы, подобранные и систематизированные, – фоновая информация, на основе которой предстоит выработать более или менее окончательное решение. В общем виде речь идет о приобретении того-сего – отчасти за деньги, а отчасти по бартеру. Рассматривается также возможность благодаря удачной покупке впоследствии продать кое-что из приобретенного на рынке третьей страны, при условии, что... ну, и так далее. В принципе вся эта сделка, вся цепочка операций, более выгодна советской стороне. Но почему вдруг итальянская сторона примчалась в Москву как угорелая, сообщив о своем прибытии практически в последнюю минуту? Итальянец утверждает, что получил оперативную конфиденциальную информацию о конъюнктуре в третьей стране (ну, в той, куда планируется толкнуть часть закупленного) и, поняв, что нельзя ждать ни секунды, кинулся в аэропорт, где ему повезло – перед его носом кто-то отказался от билета, – и вот он здесь. Может, так оно и было, а может, существуют иные причины, подводного характера, и о них надо будет завести речь обиняками сегодня вечером, в ресторане. Мало того, что дорогой гость не крепок на выпивку, так он еще – к своему несчастью – не стоек, то есть налитую рюмку не выплескивает и тостов не пропускает. Особенно в женском обществе. Так что, возможно, есть смысл взять в ресторан Свету – нет, Боже упаси, без каких бы то ни было вульгарных подставок; просто посидит девушка за столиком, повеселится, потанцует, а потом – в отдельную машину, и домой. А дорогого гостя я отконвоирую на квартиру в своей, то есть Валентином управляемой, машине. Но это вечером, а пока переговоры идут своим чередом, и через полтора часа интенсивной работы в дверь деликатно постукивает Виталий. "Ну, что, перекусим?" – осведомляюсь я. Возражений не следует, и Тамара с помощью Валентина вносит несколько блюд – бутерброды с красной рыбой, языком, паштетом, сыром, маслины, маринованные – по зимнему времени – огурцы, помидоры, перец... Хитрованистый коммерческий директор, добродушный с виду толстяк Андрюша, невинным голосом спрашивает у итальянца: "Может, по чуть-чуть, чисто символически?" Это предложение по сценарию и должно исходить от Андрея; ни президент, ни

генеральный директор в силу своего положения как бы и заикаться не могут о пьянке в дневное рабочее время; моя же роль состоит в формировании меню, где все продукты по определению вызывают жажду. Иными словами, вечером подпитать дорогого партнера в дамском обществе – это само собой, но можно попробовать прорваться в его подсознание и с утра пораньше... "А что именно?" – дает слабину миланец. – "А что хочешь, – вступаю я в игру. – Тома, что у нас имеется?" И Тамара, улыбаясь своей праздничной улыбкой, отвечает непринужденно: "А у нас все есть. И вермут, и кампари, и джин, и виски..." И тут же, не давая итальянцу опомниться, Виталий вносит поднос: бокалы, ваза со льдом, бутылка "Бифитера", бутылка "Блэк-энд-Уайт", бутылка "Чинзано Бьянко". – "А кампари?" – суровым голосом говорит президент, включаясь в игру. – "Да ладно, – разнежено отвечает дорогой партнер, – я его не очень-то люблю..." Тут Тамара (согласно полученным ранее инструкциям) подходит поближе к итальянцу и нежно вопрошает: "Джин с тоником?" Тот утвердительно кивает и получает из дамских ручек полный стакан. Такие же стаканы Тамара раздает и остальным, только у советской стороны там не джин с тоником, а тоник с джином. Льда, впрочем, у всех одинаково – по три куска. Первый тост – за успех сделки. После пары бутербродов с красной рыбой, заедаемых маринованными овощами, уровень содержимого в итальянском стакане резко падает; Тамара неслышно возникает у него за плечом и добавляет; я переглядываюсь с президентом: "Все в порядке, наш друг начал, и это главное..." Далее – по намеченному сценарию: еще через три часа – вторая перемена блюд, того же содержания, а где-нибудь после пяти уже можно будет трогаться в ресторан.

Итак, в половине двенадцатого Тамара со Светой собирают грязную посуду (очень важно, чтобы уже чуть захорошевший синьор подвергся двойному воздействию дамских чар), после чего переговоры продолжаются, и при этом советская сторона исподволь усиливает натиск на одинокого итальянца. После второго перекуса (и уж точно не в сухую) в речах синьора проскальзывает мыслишка – не смотря на все его усилия запихнуть ее поглубже: дескать, поспешность приезда объясняется желанием не просто поскорее закрыть сделку, но и добиться при этом максимально выгодных для себя условий – при этом он даже вроде бы готов чуть-чуть подставить своих итальянских партнеров. Это, конечно же, тема для размышления: стоит ли игра свеч, компенсирует ли полученная советской стороной дополнительная прибыль те потенциальные минусы, которые неизбежно вылезут на свет Божий в ходе дальнейшего развития событий. Все это надо обсчитывать с точки зрения сиюминутной выгоды (задача Андрея) и

рассмотреть в стратегической перспективе (дело президента и генерального). А мое дело – предоставить им такую возможность. И, как бы невзначай отклоняясь от основной темы переговоров, я спрашиваю синьора как бы между прочим, что именно велела ему привезти из Москвы жена. И предлагаю – как бы неуверенным голосом: "Может, на сегодня закончим и дадим возможность нашему другу прокатиться пару часов по магазинам? Пусть возьмет моего зама в качестве помощника, а консультантом – Свету..." Так оно и решается: Виталий садится рядом со всегда готовым к бою Валентином (и они получают задание: протаскать синьора не менее двух часов, а потом доставить в ресторан живым и невредимым); на заднее сидение помещается дорогой гость с англо-говорящей Светой (ей никакого конкретного задания не дается – дело тонкое, и вообще нечего ей думать, будто бы она в чем-то замешана, и чем естественнее она будет весь сегодняшний вечер, тем лучше); ну, а при Виталии в свидетелях синьор ничего такого себе не сможет позволить). После их отъезда президент с генеральным запираются и велют никого к ним не пускать и ни с кем не соединять; коммерческий директор запирается с главным бухгалтером; я тоже закрываюсь у себя, включаю компьютер и приступаю к протокольной записи переговоров – на двух языках. Часа через полтора все собираются обменяться соображениями и приходят к единодушному мнению: торопиться не следует. Я демонстрирую составленный по собственной инициативе запрос, адресованный партнерам в третьей стране для уточнения кое-каких сведений, сообщенных итальянцем. Эти полстранички тщательно обсуждаются, после чего я вношу поправки, распечатываю текст на бланке СП, президент подписывает, и Тамара садится к факсу. А я, взяв машину генерального, лечу в ресторан – поскольку Виталий занят, а кому-то же надо осмотреть накрытый стол и обговорить с Пахомычем кое-какие детали.

По прошествии некоторого времени все собираются в ресторане и в паузе после первого тоста (во время которой все усиленно жуют) президент по-быстрому сообщает мне: получен ответ на факсовый запрос, посланный в третью страну. Оттуда перезвонили, подтвердили, что проверяют итальянские сведения, и обещали отреагировать как можно скорее. По-быстрому переведя второй тост, выпив и закусив, я оставляю беседу на Свету, а сам иду к Пахомычу и договариваюсь, что в случае необходимости партнеры из третьей страны смогут позвонить по его телефону – чтобы беседовать в тишине кабинета, куда не доносятся грохот джаза и прочие ресторанные шумы. Перезвонив Тамаре, в одиночестве дежурящей у факса в офисе, передаю ей новые инструкции и слова ободрения.

Вернувшись на свое место, застаю идиллическую сценку: Света, вдохновленная событиями успешного дня, ведет перевод вполне сносно, да и остальные участники беседы поблескивают глазенками, чувствуя себя непринужденно и расслабленно – очевидно, что в мое отсутствие выпили, причем не единожды. Это очень кстати, потому что теперь они на время тормознутся с тостами, и я смогу спокойно поесть и чуть отвлечься. Прислушиваясь вместе с тем внимательнейшим образом к рассказу о поездке по магазинам и о покупках. Выясняется, что синьор, скуповато-рассчетливый, как и большинство его соотечественников, на сей раз в расходах не очень стеснялся. Тоже тема для размышлений: значит, безусловно верит в финансовый успех сделки (по крайней мере, для своего кармана) и как бы авансировал свое вознаграждение. Причем в числе приобретенных была явно импульсивная покупка, которой он гордится до чрезвычайности: довольно безвкусные и не очень-то старинные, но вполне массивные с виду карманные часы (из комиссионки – молодец Виталий, что загашил его туда). Часики куплены явно для себя, любимого, и чувство самодовольства так и расплывается по физиономии.

Тут ресторанный оркестр, незаметно выползший на эстраду, обрушивается всей своей мощью на присутствующих, и синьор приглашает Свету. Пока они танцуют, я по-быстрому выдаю свои соображения: синьор явно ориентируется в сделке на свои сугубо личные цели, и ради их достижения, похоже, готов подставить своих соотечественников. Так что есть смысл воспользоваться этими настроениями, обратив их в свою пользу. "А где гарантия, что он решится идти до конца?" – спрашивает недоверчивый президент. – "А часики золотые?" – отвечаю. – Человек явно купил памятный подарок, чтобы впоследствии, поглядывая, который час, всякий раз самодовольно поглаживать себя по пузу, в память об удачной операции". – "Логично", – соглашается генеральный директор. – "Нам, между прочим, на первом-то этапе тоже придется кое-что вложить", – напоминает коммерческий директор. – "Это твоя забота, – реагирует президент. – Изыщи денегат..." С возвращением танцоров на места беседа пресекается, и присутствующие, внимая рассусоливаниям дорогого гостя об уровне игры музыкантов и их близости к европейским стандартам, погружаются каждый в свои размышления. Тут я краем глаза замечаю, что метр Саша делает мне знаки, показывая в направлении директорского кабинета. "Звонят, – говорю я, ни к кому конкретно не обращаясь, – я сейчас..." Действительно, в кабинете Пахомыча меня ждет телефонная трубка. Тамара сообщает, что пришел факс: представитель третьей страны

вылетает в Москву завтра, первым утренним рейсом. Вот он как, значит. Задело за живое. Сделка и впрямь может оказаться очень удачной. По внутреннему перезваниваю Саше и прошу, во-первых, скорее подавать поросенка, а во-вторых, послать Виталия к Пахомычу. Потом набираю номер Нины и велю с утра подготовить все по высшему классу на второй квартире. И с пришедшим Виталием начинаем раскидывать планы на завтра.

Спланировав первую половину завтрашнего дня, мы возвращаемся в зал. Значит, первым делом надо как следует накачать итальянца, чтобы он завтра проснулся не раньше десяти, а то и одиннадцати, и к тому же был не очень в состоянии заниматься делами в дообеденное время. Это, под поросеночка, самая простая задача. Сложнее придумать правдоподобный предлог, под которым президент и генеральный могли бы ускользнуть отсюда – и как можно скорее, и оба-два, – чтобы обсудить складывающуюся ситуацию. А уж мы с Андрюшей – и со Светой, разумеется, – примем огонь на себя и задержим синьора до закрытия ресторана, постаравшись довести его до состояния предельной невменяемости. И еще параллельно со всеми этими делами я обдумываю, как бы в преамбуле тройственного договора о сделке, составлению и обсуждению которого будет посвящена ближайшая пара дней, вернуть невинную фразочку о том, что инициатива сделки исходит от итальянской стороны. Правда, таким образом отчасти подставляется данный конкретный синьор, танцующий сейчас в полупьяном блаженстве со Светой, но советская сторона – хотя бы чисто формально – сохраняет чистоту рук, и это существенно в недалеком будущем, когда остальные представители итальянской стороны обнаружат неладное и, следовательно, поднимут вой.

К столику я подхожу одновременно с закончившей танец парочкой, а там уже хлопочут двое официантов, заменяя посуду и расчищая место для блюда с поросенком. – "Давайте не будем мешать официантам, – говорю я самым невинным голосом. – Вы еще потанцуйте, а мы выйдем, разомнем ноги, нагуляем аппетит перед поросенком". В вестибюле коротко информирую начальство о развитии событий и о проделанных мною действиях. "Значит, так, – говорит генеральный президенту, – мы с тобой съедим по кусочку свинины – и в офис, хотя бы на полчаса, прикинем основы контракта. Поедем на твоей машине, а две нужны здесь ребятам для оперативной свободы. Вы оставайтесь и доводите этого козла до кондиции. Только смотри, Андрюха, сам-то поаккуратнее – у тебя завтра серьезный день..." – "Алка-зельцер у всех дома есть? – голосом заботливого отца интересуется президент. – Ну, тогда за столик, а то времени в обрез".

Следующий день начинается в условиях, максимально приближенных к боевым. Мало всего прочего, так циклон – или антициклон, кто же их разберет – пригнал в Москву дикий снегопад: счастье еще, что самолет из третьей страны успел прилететь и даже приземлиться. А уж через пару часов улицы и площади столицы стали непроезжими, и если бы у СП не было своего парка из пяти машин, с классными водителями, то все и всяческие коммуникации прекратились бы напрочь. А ведь два дня активнейших переговоров требовали массы поездок – и к юристам, и в таможенное управление, и в несколько госучреждений, и к различным московским властям, да и по личным надобностям – в тот же ресторан, или в "Березку" пополнить запасы спиртного, а по пути еще в булочную на Грузинах за горячими батонами.

На третий день текст договора будто бы стал вырисовываться, и к обеду мы с юристом засели за компьютер доделывать почти окончательный вариант. Разумеется, чистовой текст все равно правился еще трижды – но уже по мелочам. И вот к пяти часам достигнуто согласие, тот самый пресловутый продукт непротивления сторон. Названные договаривающиеся стороны поставили свои подписи, достали из кейсов печати и торжественно приложили их в соответствующих местах. Последовавший за этим прощальный вечер проходит на обычном, то есть высоком уровне. Все сыты, дорогие гости еще и пьяны, к чему, собственно, и стремились устроители праздника. Разъезжаемся в состоянии острой любви друг к другу.

Наутро я, приехав пораньше, выкладываю из кейса на свой письменный стол вчерашние ресторанные счета и прочие документы и приступаю к их сортировке. Начавши, таким образом, подготовку к самой нелюбимой процедуре – составлению финансового отчета о приеме делегации. Речь, собственно говоря, в таких ситуациях идет не об отчете, а о создании внешне правдоподобного и не способного вызвать немедленное раздражение у нормальной фининспекции комплекта документов, которые бы оправдывали трату наличных денег, полученных заранее у Юлии "под отчет". Все расходы должны не только быть строго документированными, но и отвечать определенным, пусть отчасти и произвольным, нормативам. Ну, нормативы эти мы создавали сами – базируясь, впрочем, на некоторых цифрах, принятых в Интуристе и в союзных министерствах. Сели – сначала мы с Виталием, а потом еще и с привлечением Юли и Андрея – и расписали весь технологический процесс приема делегации, с учетом всех реальных, правдоподобных и почти правдоподобных трат. Начали, как, впрочем, и кончили, процедурой встреч-проводов в аэропорту. Понаписали там всякого: и посещение буфета, и



мифические услуги носильщика, и таинственные "прочие услуги". Далее в списке значится и питание делегации, и транспортное обслуживание (в смысле – такси), и культурная программа, и все остальное... Но ведь реальные оправдательные документы по этим позициям – в основном ресторанные счета и театральные билеты. Ну, еще квитанция, полученная в Шереметьево, "за оплату объявления по радиосети аэропорта" – это если льет дождь, и неохота выходить на улицу, то за рубль заказывается объявление "Водитель машины номер такой-то – к подъезду зала прилетов", и Валентин, обычно паркующийся неподалеку, слышав свой номер, подает машину прямо под навес. А все остальное – творчество. Сажусь я и пишу – сам или с помощью Виталия – "Акт о приобретении продуктов питания за наличный расчет – за невозможностью получения счетов, чеков и иных оправдательных документов". На такой формулировке заголовка настояла Юлия, и с бухгалтерией не спорят. По нормативам, нами же самими же придуманным, положено присутствие на переговорах с делегацией такого-то числа экспертов, консультантов, советских партнеров и прочих – не считая персонала СП. Ну, сидели на переговорах синьор, президент, генеральный, Андрей и я – пятеро. Ну, и сколько мы фактически съели? Мизер, в общем-то. Однако пишем: присутствовало одиннадцать человек; умножаем сумму, заложенную в нормативах, на одиннадцать – получаем приличную цифру. Пишем под эту цифру акт: колбаса сырокопченая (то есть, самая дорогая из существующих в продаже, хотя кто же ее покупает, ведь язык и паштет от Пахомыча значительно дешевле), овощи-фрукты с Центрального рынка, а также аналогичные недешевые вещи. И далее, по всем дням приема и по всем трапезам – так и складывается неплохая итоговая сумма. Плюс еще такси распишем, туда-сюда, с оплатой предварительного вызова – хотя повсюду, разумеется, катались на своих машинах. Вот и набегает наличные денежки – можно и у Пахомыча приличной еды закупить, и бутылочкой-другой подзапастись, и на реальные непредвиденные расходы хватит. Составляем с Виталием необходимое количество таких актов, подписываем их вдвоем, а третья подпись – Николая, что по общим хозяйственным вопросам, а справа сверху – "Утверждаю" и подпись генерального. Препровождается все это творчество Юле, она его внимательно изучает, одобряет, подшивает в архив – и порядок. Как правило, удается не только оправдать все затраты, но еще и остаются денежки на пять-шесть бутылочек коньяка, каковые закупаются и помещаются в сейф – на грядущие протокольные нужды.

Отправив дорогих гостей, я отдыхаю как белый человек, а в понедельник, с утра пораньше, мы с Виталием пишем акты.

Привлекая для консультации и Тамару, чтобы она женским, хозяйским взглядом определяла правдоподобие поглощенных на переговорах продуктов. Ко всем этим гипотетическим актам приплюсовываются и счета за обеды, якобы имевшие место в ресторане – обеды деловые, скромные, почти комплексные – закуска мясная, салат овощной, суп, мясо, мороженое, кофе. И бутылка пива на нос. Разумеется, никто обедать к Пахомычу не ездил, ели хотя и закупленное у него, но на своей территории, однако Саша выписал три счета, на десять-двенадцать персон каждый. Плюс еще и реальные счета за фактически состоявшиеся ужины. Плюс акты на поездки в такси в ресторан и обратно. Короче говоря, где-то к часу дня все расчеты были закончены, все акты напечатаны и подписаны, все счета и прочие реально существующие документы (хотя некоторые из них – такой же плод фантазии, как и акты о сырокопченой колбасе) аккуратно расклеены на листах бумаги формата А4, и все вместе подшито в одну папку. Теперь надо подписать у Коли, потом у генерального директора и отдать Юле. И получить с нее еще кое-что дополнительно наличными – потому что солидная папка с денежными документами тянет на сумму, несколько превышающую фактические расходы. Разница позволит Виталию с Валентином смотаться после обеда в "Армению" и прикупить некоторое количество коньячку – в сейф, на протокольные нужды. Ведь естественно и очевидно, что ни копейки с этих финансовых фантазий не оседает в чьем-либо кармане – все идет в общий котел, на нужды предприятия. Кстати о копейках – мелкие наличные, недоизрасходованные на закупку спиртного и прочих товаров длительного пользования, лежат в конверте, в особом, маленьком отделении сейфа, предназначенном для хранения денег и документов. Мало ли что может понадобиться по мелочи – действительно воспользоваться услугами носильщика или смотаться на такси, и все такое...

После обеда я сажусь за компьютер и начинаю приводить в порядок документацию. Свою все письма, факсы, памятные записки, договоры в одну директорию, распределяю их в хронологическом порядке, аннотирую и собираю все аннотации в основной справочный документ директории – при взгляде на который можно представить и историю сделки, и ход ее заключения, и содержание конкретных материалов. Потом обращаюсь к заключительному договору: там было несколько удачных фраз, которые с модификациями можно использовать при оформлении других сделок. У меня имеется глоссарий таких выражений, фраз, абзацев, пунктов договора, и туда переношу удачные находки. Ну, вроде бы все итоги недели подведены. Тут

появляется Нина, с сообщением, что обе квартиры убраны и готовы к дальнейшему использованию; она приносит также остатки еды, потому что по заведенному порядку на квартирах не держат ничего скоропортящегося. Все остатки помещаются в холодильник к Свете; и это будет доедено персоналом СП в самом демократическом порядке. Ну, теперь действительно конец – остается только дожидаться Виталия с Валентином, загрузить коньяк в нижнее отделение сейфа, а в верхнее прибрать сдачу. Вот и они – легки на помине. "Слушай, – звонит возбужденный Виталий, – тут есть "Лимонная", ноль семьдесят пять, в экспортном варианте!" – "Берите на все", – твердо реагирую я.

К вечеру объявляются знакомые мужики генерального директора из Норильска с интересным предложением – относительно продажи их продукции дружески настроенным странам Запада. После посиделок мы еще раз внимательно изучаем принесенную ими документацию и сертификаты качества, и генеральный говорит: "Вообще-то есть вариант. Ты помнишь этого вертлявого француза... как его, Франца?" – "Во-первых, он не француз, – отозвался президент, – а вовсе голландец. А во-вторых – я и сам о нем подумал. Давайте, мужики, переспим с этой мыслью. А завтра соберемся не позднее половины десятого, подготовим факс и будем ждать ответа".

Назавтра к одиннадцати факс был уже готов, да и ответ не заставил себя ждать. Франц сообщил о принципиальной возможности сделки, но подчеркнул, что сертификат качества должен быть очень солидным. Слово VERY было набрано прописными буквами. "Ясное дело, что доморощенная норильская бумажка не пляшет", – убежденно сказал генеральный. "Есть вариант, – отозвался президент. – Позвоню ребятам в Президиум Академии Наук, попрошу позволения переписать эти цифры на солидном бланке, с весомой подписью". – "Уже лучше, – согласился генеральный, но все равно жидковато". – "Есть еще вариант Игоря", – ни к кому особенно не обращаясь, проговорил Андрей. – "Какого-такого Игоря?" – переспросил президент нарочито невинным голосом. – "Да того самого, твоего корешка". – "Это через Американское посольство, что ли?" – "Вещь не очень-то надежная, ведь и у них не всегда получается". – "А у нас получится, – убежденно сказал Андрей. – Наш зав международным отделом – мужик с честными глазами и умеет уговаривать. Особенно иностранцев. И тем более баб". – "Объясните, в чем дело", – взмолился я. И Андрей объяснил. Дело простое, как и всякая гениальная идея. Берется текст на русском языке, красиво напечатанный и на солидном бланке. Еще более красиво печатается на шикарном бумаге его перевод. А в конце перевода пишется – по-

английски – следующая фраза: "Я, такой-то и такой-то, профессиональный переводчик, утверждаю, что выполненный мною вышеприведенный перевод является аутентичным английским вариантом прилагаемого русского оригинала. Москва, дата". И все. А далее этот такой-то идет на консульский прием в Американское посольство и предъявляет консульским дамочкам эти бумаги и свой паспорт. А вот дальше – главный цирк. Если девки в духе, а у просителя приличная морда и хороший английский, то они позволяют ему поставить при них свою подпись, после чего пишут: "Подпись господина такого-то заверяется". И ставят печать Консульского управления. При этом американки ничем не рискуют. Они же ведь не заверяют адекватность перевода или, Боже упаси, справедливость русского текста. Они всего-навсего подтверждают вполне бесспорную вещь – что господин такой-то поставил на этой бумаге в их присутствии собственноручную подпись. И все. А дальше уже вступает в свои права психология. Любой – ну, почти любой – гражданин планеты Земля, узрев печать с американским белоголовым орлом, автоматически лишается рассудка и полагает, что все сказанное в этой бумаге – святая истина, сошедшая с небес, гарантированная лично президентом США и обеспеченная всем золотым запасом форта Нокс. – "Выходит, любая шпана может проделать такую штуку?" – "Не совсем, – ухмыльнулся президент. – Нужен солидный оригинал. Нужен приличный перевод, потому что английский текст они все-таки просматривают. Нужен человек с достойной внешностью и прекрасным разговорным английским – к которому у них возникнет доверие. Все это у нас имеется, так что можно приступать к делу".

На практике все оказалось даже проще ожидаемого. Я подкатил к посольству на президентском "Мерседесе", без особых помех (хотя и не без внутренней и подколенной дрожи) прошел три кордона – советского мента, советских же охранников у первой двери и огромных размеров чернокожего морского пехотинца у второй двери, после чего оказался в искомом помещении. Народу не было просто никого. Я перекинулся парой фраз с одной из девиц, та без малейшего интереса взяла бумаги, бегло просмотрела английские страницы и спросила, вроде бы даже с искренним любопытством: "А не трудно делать такие вот технические переводы?" Поговорили немного на этот счет. Девица листнула мой паспорт и вдруг, понизив голос, спросила: "Что, действительно сейчас, во время перестройки, еврею легче устроиться на хорошую работу?" И на эту тему я имел что сказать, тем более взглядевшись в рыжеватые кудряшки американочки и уяснив глубоко личный характер вопроса. Далее я заплатил пошлину – смехотворную

сумму, причем в рублях, а не в долларах; девица, получив квитанцию, прошла все страницы – и оригинал, и перевод – красной ниткой, после чего, подмигнув, приклепнула концы нитки шикарной печатью. Поставила свою подпись с завитушками пониже моего скромного автографа и удостоверила ее личной печатью, с обозначением имени и должности. Мы обменялись еще парой дежурных фраз, и я бочком протиснулся мимо мордастых черных и белых ребятишек на свежий морозный воздух.

Когда я продемонстрировал полученный документ начальству, президент сказал безо всяких эмоций: "Сделай ксерокс этой красоты и перекинь Францу. Если он сочтет, что все в порядке, пусть шлет приглашение – поедем на переговоры в Амстердам. Кто-нибудь из норильчан и мы с тобой". Будничность разговора о командировке в Голландию произвела на меня сильное впечатление. Правда, красивая жизнь задалась лишь отчасти. Через пару дней генеральный, отводя глаза в сторону, сказал, что норильчане согласны на все пункты, кроме одного: переводчица у них есть своя, вот она и полетит. Впрочем, помимо обозначенных двух штук рублями за американскую бумагу, я отспорил тебе еще отступные: две сотни зелеными как компенсация за отказ от поездки". Нельзя сказать, чтобы факт накрывшегося выезда в Европу сильно меня огорчил – я ведь как-то не очень поверил в Голландию с самого начала. Впрочем, и две тысячи, полученные в качестве вознаграждения за сорокаминутный визит в американское посольство, не произвели на меня особого впечатления: я уже стал привыкать к большим деньгам – ведь мой месячный оклад был с первого января тысяча триста (притом, что средний заработок по стране составлял двести с чем-то).

Из Амстердама вернулись ни с чем. По словам президента, все было организовано крайне несерьезно, и из девки этой переводчица – как из козла молоко. Вообще создалось ощущение, что норильский босс просто воспользовался этим делом как предлогом для вывоза своей дуньки в Европу. В Шереметьево, когда расставались, президент сделал официальное заявление: "Считаю, что провал переговоров определен чрезвычайно низким уровнем перевода. И нам следовало бы с вас еще кое-что получить как компенсацию за неиспользованные возможности". Сел в "Мерседес" и отчалил, оставив попутчиков в цепких лапах аэропортовых таксобандитов. Впрочем, для СП поездка оказалась не совсем бесполезной. Президент посидел с Францем и с его русской сожительницей вечером в уютном месте и договорился о кое-каких путях развития отношений. В частности, Франц пообещал привезти в Москву группу голландских бизнесменов – человек пять-шесть – для поиска общих дел и точек

соприкосновения. "Организовывать всю эту сходку будем мы, и получим с каждых переговоров свои комиссионные, а в случае совершения сделки – процент с прибыли. Я тут набросал черновичок договора с каждой из сторон-участников, надо его подработать с учетом наших интересов и сделать английскую версию. И вообще обдумаем, как провести всю сходку – в плане международной конференции, может быть, с разными прибабасами, с синхронным переводом, с флагами, с освещением в средствах массовой информации. Кстати, там у Пахомыча твоего нет конференц-зала?" – "У Пахомыча, естественно, нет, – говорю я, – он же директор ресторана. Но в гостинице этой имеется все – и конференц-зал, и небольшие комнаты для переговоров, и люксы у них вполне приличные – не стыдно и миллионера поселить". – "Лады. Значит, организуем советско-голландскую встречу прогрессивных бизнесменов. Позовем народу побольше – человек двадцать пять-тридцать. Под соусом международного мероприятия, да под приманку банкета, можно будет вытащить больших людей – из министерств, из Моссовета, из Академии. Выглядеть будет все куда как солидно. Ну, справимся мы с таким делом?" – "Хорошо бы знать конкретную дату не позднее чем за месяц, – ответил я, – а остальное – дело техники. Ну, и денег, естественно". – "О деньгах не беспокойся. Каждый советский участник заплатит вступительный взнос, и уж ста рублями он не отделается".

Была у президента СП такая манера – оперировать старыми денежными масштабами. То скажет про какую-нибудь умопомрачительную красотку: "Хороша баба. И столыника на нее не жалко". В смысле тех годочков, когда сотня – это была месячная зарплата человека после окончания университета. Или вообще заявит: "Вот когда перцовка стоила двадцать один двадцать..." – что и вовсе до реформы шестьдесят первого года, и ведь уж самые памятливые пили ее, родимую, за два двенадцать, а у него в голове все старые цены так и сидят. Новые, впрочем, тоже. Сообразить насчет денежной стороны любой сделки он может лучше всех. Вот если по сути дела идет разговор – тут, конечно, генеральный директор лучше мыслит. Где взять, куда продать, кого привлечь в игру... А насчет того, что почем – это президент. У него к тому же связи – старинные комсомольские дружки сидят на всех уровнях и во всех структурах. За то он и меня уважает, что может его заведующий отделом похвастаться разветвленными связями в том мире переводчиков и международников, где у него самого нет никого. Ну, разве что на самых высоких верхах, на такой верхотуре, что не допусти Господь возникновения ситуации, когда придется за помощью обращаться *туда*. А у Андрюшки толстого – дружки в

финансовых структурах. Занять где приличную сумму под умеренные проценты, с валютой разобраться, пройдя по лезвию ножа, но никуда не сорвавшись, деньги за границу перевести – это он пожалуйста. Красотка же Юлия хороша не своими бухгалтерскими способностями – для этого у нее есть заместительница, вострая, остроноса и сухопарая бабешка – впрочем, не без своеобразного чувства юмора. Главнее в Юлии – ее семейное положение, а именно, муж, занимающий приличное положение в Моссовете. Все способности, возможности и потенциал каждого были задействованы в полной мере, потому что на узком совещании верхушки СП решили выжать из советско-нидерландской встречи максимум не только для кассы СП, но и для его имиджа.

Франц обещал привезти пару финансистов, одного экспортера продовольственных товаров, одного электронщика и – без особых ожиданий на конкретный результат, а скорее для понта – своего приятеля, связанного напрямую со всемогущей "Шелл" (о чем впрямую сказано на его визитной карточке). Под такой состав принимающая сторона обещала Францу, что за столом переговоров будут сидеть "ответственные работники соответствующих правительственных органов, руководство столичной мэрии, представители научной элиты и капитаны индустрии". – "Так прямо и напишем ему – пока, разумеется, в общем виде", – заявил президент. – "А в частности?" – уточнил я осторожно. – "А в частности – пожалуйста, по пунктам. "Правительственные чиновники" – это элементарно. Обратимся от имени оргкомитета Международной конференции..." – "Какого-такого оргкомитета?" – удивилась Юлия. – "Женщина, молчи и слушай. И вообще твое дело – пункт второй, насчет мэрии столицы. Твой благоверный посидит на переговорах? Вот и лады. Значит, приведет с собой еще пару корешей, а на открытие и на заключительный банкет – и самого главного. Тот ведь не откажется выпить рюмку и покрасоваться перед телекамерами? А оргкомитет – это мы с вами, да Франц с евонной бабой. Лично я могу быть даже зампредом, пусть председателем значится Франц, а его телка – очень удачно, кстати, фрау Розанофф, Королевство Нидерландов – будет ответственным секретарем. В основном приглашения буду подписывать я, но наиболее серьезные, на самые верха, пусть исходят из-за рубежа: это впечатляет. Пока все ясно? Так вот, делаем стандартное письмо за их подписью, а список адресатов мы подработаем. Ну, Госплан, Госснаб, минфин, минпрод, министерства электроники, нефтяной и газовой промышленности – по одному-по двое точно придут, тем более мы будем заранее знать, кого конкретно следует позвать. А подскажут ребята из

Президиума Академии. Их, естественно, тоже привлечем. Надо бы парочку академиков затащить, хотя бы на открытие и на первую сессию..." – "Я знаю одного мужика из Госбанка Союза, – вмешивается Андрей, – он придет железно, и даже с докладом выступит. Это у него такое хобби – шляться на все международные форумы и разевать там пасть. И ведь не зря: выступит, к примеру, на пяти-шести московских сходках – и непременно нарвется по меньшей мере на одно зарубежное приглашение. Хоть бы в Польшу – он не гордый. А уж ради Голландии – и сам притащится, и еще дружков приведет". – "Отлично. Значит, правительственные круги, финансовые круги, мэрия, научная элита – все имеется". – "Капитаны индустрии, – медленно заговорил генеральный, – как я понимаю, за мной? Есть мужики, как не быть. Есть и деловые, хотя и небольшого ранга, а имеется и парочка генеральных директоров, которые всегда не прочь на халяву выпить и повертеться в высших сферах". – "Под такую раскладку, – сказал я, – можно закрутить нечто грандиозное. Во-первых, название. Предлагаю скромненько: "Наука и технология на службе человечества. Первый советско-нидерландский симпозиум". – "А почему "Первый"?" – перебил Андрей. – "Для красоты. Будет продолжение или нет – не важно, а так мы сразу заявляем о традициях и преемственности". – "Мудро", – согласился генеральный. – "Хорошо бы, – продолжил я, – чтобы Франц прилетел сюда за неделку до открытия; устроим пресс-конференцию, а потом ксерокопии газетных материалов можно переслать приглашенным в министерства и ведомства – и уж железно хотя бы два замминистра на открытие пожалуют. Тем более, если устроить открытие часика в три, а после него объявить банкет. Денег хватит?" – "Я же тебе сказал – о деньгах не думай. Сколько надо – столько достанем. Естественно, не у замминистров, а у коллег из других СП. Набежит ведь как муравьев на дохлую осу. Пардон, Юлечка, – на шоколадную конфету. Пригласим не только московских, а из других мест тоже. Расселить их сможем в той же гостинице?" – "Надо постараться, хотя и не обещаю. Пахомыч, конечно, поможет, но с директором гостиницы я не очень. Тем более что это – директриса". – "Да ладно тебе, не скромничай, – ухмыльнулась Юлия. – Знаю я твои возможности по части уговоров". – "А что, и тебя уже уговорил?" – заинтересованно спросил Андрей. – "К сожалению, нет", – сказала Юля. Все дружно заржали. – "Ладно, – подытожил президент, – идей у всех полно, надо их реализовывать. Давайте к завтраму каждый напишет страничку-другую своих планов. Пошлем Францу за моей подписью предложение о составе Оргкомитета, я завтра дам еще пару фамилий – ребята из Президиума, для солидности. А ты, Юля, сегодня же ночью пригласи мужа к участию".



Через пару дней я отправился с первым визитом к хозяйке гостиницы. Запугали меня со всех сторон насчет этой якобы недоступной и неприступной бабы, а на деле все оказалось гораздо проще. Я рассказал ей о планируемом симпозиуме, и она спокойно ответила, что давно уже хотела устроить в своей гостинице серьезное мероприятие, что надеется – этот симпозиум будет первым, но не последним, что она с удовольствием предоставит необходимое количество номеров и все прочие помещения. Я развил мысль о европейском резонансе мероприятия, о том, что все это широко будет освещаться прессой, в том числе и западной, о том, что среди участников будут и лица в ранге заместителей министра, а среди гостей – представители крупнейших транснациональных корпораций. Представил ей список требований, она внимательно изучила документ, после чего вызвала зама и при нем поставила на бумаге свою подпись. Со словами: "Надеюсь, проблем у нас с вами не будет". И я с легким сердцем покатил к себе в офис, навстречу новым – и столь же преодолимым – трудностям.

Не успел я войти в дверь, как охранник кинулся ко мне со словами: "Президент срочно просили зайти, как только появитесь". Президент встретил меня довольной ухмылкой: "Не ты один у нас молодец. Мне сегодня тоже кое-чего удалось. Звоню в МИД, приятелю, попросить содействия насчет приглашений на симпозиум. А он: "Хватит попрошайничать, пора самому решать такие вопросы". Как, спрашиваю? Это же через Консульское управление проходит, и право посылать свои приглашения имеют только крупные организации. А он: "Крупные-некрупные – какая разница – были бы зарегистрированы в Ка-У". Кто же нас регистрирует, удивляюсь я. А он смеется: "До вчерашнего дня – никто бы не смог. А сейчас там знаешь, кто сидит?" Оказывается, наш с ним старинный приятель, мы еще в райкомовском активе вместе состояли, в студенческие годы. Ну, я перезвонил ему, узнал, какие бумаги надо подготовить. Пока ты ездил, мы все уже сделали, и завтра в одиннадцать подскочишь в Ка-У". Спустившись к себе, я изучил подготовленные документы: вроде все было в порядке, и только одна мысль беспокоила меня: почему президент сам не воспользовался случаем лично возобновить старинное знакомство?

Ситуация стала более ясной назавтра, когда за десять минут до назначенного срока я звонил из вестибюля Консульского управления по внутреннему телефону. Соединили меня безо всякого энтузиазма, после чего в трубку выплеснулось начальственное негодование – подлинное или хорошо сделанное, кто его знает: "Что за СП? Что за договоренность? Я ничего не

понимаю, кто с кем договаривался? А вы, собственно, кто? Какие бумаги привезли? Для регистрации? Нет, пропуск я выписывать не буду, к вам спустятся... впрочем, я сам сейчас спущусь – ждите..." Растерянный, я отошел в сторонку и тут столкнулся со знакомым – вернее сказать, увидел знакомое лицо. Поздоровались, перекинулись парой фраз, и я вспомнил – не имя, нет, а обстоятельства общения: вместе были на вечерних офицерских сборах, жутко морозной зимой, ехали рядом в автобусе на загородное стрельбище, автобус холодный, околели бы, если бы ни фляжка водки в кармане у консульского работника. А у меня, как помнится, бутерброды с домашней бужениной, и к ним жена – ну, словно чувствовала – положила два соленых огурчика. Отлично прокатились туда и обратно; правда, на полигоне в цель не попали, да не это главное. Припомнили, как орал на всех промазавших подполковник, командовавший стрельбами: "Раздолбай, позорите звание советского офицера! А если завтра в десант, в снега Аляски, что будете делать!" Кто-то вякнул из задних рядов: "А что, уже война с Америкой?" – "Это я для примера, – тормознул подполковник. – Не обязательно на Аляску, можно..." – "На Чукотку", – докончил тот же голос. Пока вспоминали все это со смехом, по лестнице спустился важный господин и спросил, кто тут из СП. Я откликнулся на начальственный призыв и сердечно распрощался с однополчанином. "Вы что, знакомы?" – спросил господин вроде бы их обоих сразу. – "Естественно", – ответил я. – "Сто лет", – ответил однополчанин и пошел себе на выход. – "Так вы из наших? – переменял тон важный господин. – Что, тоже военный переводчик?" Я ответил утвердительно. – "Ну, это другой разговор. Своим не грех и помочь". Он просмотрел бумаги и кивнул головой: "Ладно, сделаем. А то звонит твой начальник, какую-то старину вспоминает, какую-то комсомольскую херню несет. Видал я это в гробу. А своим ребятам надо содействовать. Вот, возьми мою карточку, здесь прямой телефон, перезвони послезавтра – постараюсь все уладить. Будь здоров!"

По дороге в офис я задумался – открыть ли глаза президенту на реальное положение дел, и решил пока замять для ясности. И еще – обязательно пригласить консульское начальство на заключительный банкет симпозиума: пусть они там заново познакомятся, авось, на этот раз толку будет больше. Объективности ради надо отметить, что от других приятелей президента толк все-таки был, и список советских участников с каждым днем вырисовывался все солиднее. Помимо андрюхиного банкира, всегда готового к докладу перед любой международной аудиторией, согласился выступить молодой доктор экономики из Института управления, и еще один доклад выжали из Франца – в

смысле, он клятвенно пообещал, что кто-нибудь из участников привезет страничек десять об экономическом положении Нидерландов на современном этапе. Собственно, больше ничего и не требовалось.

Через три дня я съездил в Консульское управление и подтвердил регистрацию. Теперь у СП появилось законное право посылать всем своим зарубежным партнерам письма (можно и в факсовой форме) следующего содержания: Совместное предприятие такое-то, регистрационный номер в КУ МИД СССР такой-то, приглашает для участия в переговорах с такого-то по такое-то таких-то – и дальше список хоть до конца страницы. Немедленно направили соответствующее послание Францу, чтобы зарубежные участники заранее запаслись визами. Кроме того, в адрес Франца периодически шли фамилии и должности советских участников, возвращаемые из Амстердама в форме солидных пригласительных документов к участию в симпозиуме, за подписью председателя Оргкомитета. Совгражданам попроще приглашения шли напрямую их Москвы, за подписью заместителя председателя Оргкомитета. Все приготовления пока развивались ровно, попытка сбоя случилась лишь вечером в пятницу, за неделю до открытия. Собственно, и не сбой это был, а так – скольжение. Уже после шести президенту позвонил очередной кореш из Президиума и сказал, что сегодня общался с замминистра (еще с одним, то есть третьим по счету, не считая двоих уже загарпуненных), который к тому же еще и член-корреспондент, почти академик. Тот вроде бы не прочь принять участие в Симпозиуме, но в воскресенье вечером он улетает на неделю, и если бы приглашение пришло к нему в ближайшие часы, причем неважно, на служебный факс или на домашний – вот и оба номера, на всякий случай... Кинулись звонить Францу – ни в офисе, ни дома нет ответа. Что же делать – обидно упускать такого кита. Сидим у президента в кабинете, пьем чай, названиваем Францу – глухо. К восьми часам Андрюша, поерзав на стуле, сказал человеческим голосом: "Есть, конечно, вариант..." – "Ну!" – отозвались все в один голос. – "Текст приглашения от Франца стандартный, так? Разница только в фамилиях. Текст этот, кстати, если я не ошибаюсь, мы же и сочиняли, потому что английский у нашего международного получше, чем у этого голландского... друга. Стало быть, берем любое приглашение из тех, что к нам уже пришли; ксерим его, потом старую фамилию замазываем, печатаем новую, дату изменяем – и все. А подпись Франца имеется, и бабы евонной. Снова бумагу на ксерок – для четкости изображения, и можно отослать этому замминистра – и домой, и на работу". – "Я даже не об этике буду говорить, – возразил я, – а о самой что ни на

есть прагматической стороне вопроса. Ты видел на факсовой страничке, сверху, такие буковки и циферки..." – "Ну?" – "И знаешь, что они означают?" – "Знаю, – ухмыльнулся Андрей. – Идентификационные признаки отправителя. Название фирмы и номер телефакса". – "Вот именно. Если мы пошлем эту туфту с нашего аппарата, получатель и прочтет наши координаты". – "Умный ты, вроде бы, а все-таки... Откуда эти циферки с буковками берутся?" – "Аппарат факсимильной связи, – издевательски выговорил я, – передает их в автоматическом режиме". – "Правильно. А откуда они в аппарат попадают?" – "Как – откуда? Владелец факса программирует его..." – "Сам?" – "Ну, вряд ли сам, скорее секретарша..." – "Именно. И кто же тебе мешает запрограммировать наш факс на манер французского? Закодируй название его фирмы, номер телефона – и посылай приглашение отсюда. А замминистра получишь его как бы из Голландии. В смысле, из Нидерландов". – "Это, конечно, все так, но..." – "Что – но?" – "Ну, как бы этическая сторона вопроса..." – "Ты что, – вмешался президент, – никогда в жизни горбатого не лепил?" – "Ну, что значит – никогда..." Президент, не слушая, позвал Свету и велел ей переналаживать факс. "А ты иди к себе, приготовь приглашение. Вот тебе имя-отчество и почетное звание. И давайте быстрее, домой охота".

Спускаясь к себе в кабинет, к компьютеру, я предался размышлениям. Конечно, многое из того, чем приходилось мне заниматься в этих стенах, имело ограниченную степень кошерности. В частности, большинство моих действий по созданию и поддержанию инфраструктуры услуг являлось никак не замаскированным взяточничеством. Но сейчас уже речь шла о более высокой ступени. Ведь происходящее – чистой воды мошенничество. Ладно, в данном случае речь идет о сравнительно безобидной бумажке. А если завтра велят таким же образом приготовить некий финансовый документ? Отбросив посторонние мысли, я сосредоточился на изготовлении документа и через четверть часа сделал его лучше настоящего. Отнес наверх. Президент сказал: "Вот и молодец. Аккуратная бумажка получилась". И передал Свете для отправки. Потом подмигнул мне и продолжил: "Ты пойми, старик, простую штуку. Да, работаешь ты хорошо и даже отлично, и удаются тебе самые необыкновенные вещи. Но ведь если бы ты действовал не на обработанной и удобренной почве, вряд ли у тебя все так гладко произрастало бы. А удобряем мы почву говном, и ни чем иным. Все твои дружки – и в ресторане, и в кассах, и в гостинице – они же не спрашивают, откуда деньги. Берут их у тебя – и все дела. Кстати – не в упрек, а к слову – ты ведь тоже получаешь в месяц столько, сколько твои

бывшие коллеги зарабатывают за полгода. Это же не только за красивые глаза. Между прочим, Свете за ее действительно красивые глаза мы платим существенно меньше. Такие вот дела. Надеюсь, больше мы к этому разговору возвращаться не станем".

Франц со своей фрау Розанофф прибыли в среду, а в четверг утром в конференц-зале гостиницы, на фоне уже вывешенных флагов Союза Советских Социалистических Республик и Королевства Нидерландов была дана пресс-конференция. Численность представителей средств массовой информации уступала числу сидящих в президиуме (Франц с бабой, президент, генеральный, мужик из Академии, тот самый мужик из Госбанка плюс я – в качестве и пресс-секретаря, и переводчика); правда, с нами приехали еще и Виталик с Тamarой – посидеть в публике, чтобы аудитория не выглядела столь удручающе малочисленной. Организаторы рассказали о своих планах, в том числе и о стратегических, было задано несколько вопросов, после чего все пятеро корреспондентов были приглашены позавтракать. "Неплохо кормите", – заметил представитель "Труда", приведенный на аркане моим приятелем, главным действующим лицом со стороны пресс-корпуса. – "То ли еще будет на банкетах, – оперативно отреагировал я, – особенно для тех, кто не пожалеет сил и таланта на освещение нашей сходки". – "Принял к сведению и начинаю действовать", – был ответ. И действительно, в отличие от присутствовавших коллег, ограничившихся информашками, он дал полноценную заметку и даже на две колонки, что позволило набрать заголовок "Новый международный симпозиум" достаточно крупным кеглем. Ксерокопию этой заметки, вместе с уточненным вариантом программы, я собственноручно развез в пятницу с утра по всем основным участникам – в министерства, Госбанк, Президиум Академии, Моссовет, а также в Консульское управление, – вложив в каждый конверт полтора десятка пригласительных билетов: авось, захватят с собой сюрпризом еще кого-нибудь.

Разумность этих действий нашла свое подтверждение в следующий вторник, когда к половине второго начали съезжаться участники и гости Симпозиума. С первого же взгляда можно было сказать одно: их много. Я недаром настоял на полнометражной процедуре, с официальной регистрацией, которая одна только и давала право на нагрудную табличку с фамилий: участники, чьи имена были известны заранее, получили опознавательные бирочки компьютерной печати, а появившимся в последний момент пришлось довольствоваться написанными от руки, хотя и красивым светлыми почерком, крупными печатными буквами. При этом как бы вполголоса намекалось, что граждане, не носящие

свою фамилию на левой стороне груди, не будут допущены на последующий банкет. Когда, наконец, народ расселся и пошли заранее оговоренные речи, я скоренько, но внимательно просмотрел стопку регистрационных карточек и остался доволен увиденным. Не просто пришли практически все приглашенные, но: (а) каждый замминистра привел с собой своего начальника управления (или отдела) внешних связей; (б) доктора разных наук составляли едва ли не половину присутствующих; (в) Моссовет был представлен десятком ответственных сотрудников самых разных подразделений. Кроме того, появился мой безымянный знакомец из Консульского управления, как бы бывший однополчанин, который долго оглядывался с полным недоумением во взоре, потом, завидев меня, просветлел лицом и проинформировал: "Иду себе в конторе по коридору, никого не трогаю, подходит ко мне большой начальник и говорит: тут твой дружок какой-то симпозиум устраивает, сходи, зарегистрируйся и скажи, что я к банкету подскочу, может даже еще с парой ребят".

Начавшиеся на следующий день многосторонние и разнонаправленные переговоры проходили за несколькими – по интересам – круглыми столами. Я сидел в штабном номере как паук в паутине и ожидал клиентуру. Народ заходил – но в основном по мелочам. Откровенно говоря, заключения крупных контрактов не то что в первый же день, а и вообще в течение первого симпозиума никто не ожидал; дивиденды для СП были скорее нематериальные, выражающиеся в обзаведении новыми друзьями. А поскольку, как сказал великий политик, у его любимой Англии нет друзей – или там, скажем, врагов, – а одни только интересы, то, следовательно, СП обретало новые интересы. Новые области деятельности и новые сферы общения. Например, руководящие товарищи из братских СП, приглашенные на банкет, были реально поражены присутствием даже не замминистров – экая для них невидаль! – а председателя Моссовета и большого консульского начальника. Толстый Андрюша ходил по залу в обнимку с докладчиком из Госбанка и, пьяно улыбаясь, говорил абсолютно трезвым голосом, обращаясь к нужным людям: "Ну, видите, что мы собой представляем? И в следующий раз – никаких вопросов или подозрений: даешь кредит, и все тут!" Президент ублажал заместителей министра – всех по очереди и в различных комбинациях: с иностранными гостями, с мидовским начальством, с московской верхушкой. Капитаны индустрии, сгруппировавшиеся вокруг генерального, налегали на "Столичную" в экспортном исполнении и прикидывали варианты с перспективами.

Рабочие дни симпозиума пронесли незаметно, хотя и не безрезультатно. В понедельник после обеда руководящий состав

СП засел в президентском кабинете для подведения итогов и разбора полетов. Андрей с Юлией прикинули собственные затраты СП на организацию всего мероприятия (были они не так уж и велики – с учетом того, что на сей раз участники самостоятельно платили и за гостиницу, и за питание, и за транспорт, и за услуги переводчиков – моих друзей-приятелей, естественно), а также собственные чисто материальные доходы (доля организационных взносов – главным образом, советских, а в их числе главным образом немосковских участников – оставшаяся после выплат по таким общим статьям, как аренда конференц-зала, помещений для переговоров и штабного номера, оборудования для синхронного перевода, собственно синхронный перевод пленарных заседаний и еще по мелочам). Оказалось, что даже здесь выявился скромный, но все-таки положительный баланс. "Ну, что ж, ребята, – сказал генеральный, – это тоже деньги, и не самые плохие. Но все-таки основной наш доход – он как бы не материальный..." – "Одной только зависти вызвали на пять тысяч долларов", – ухмыльнулся Андрей. – "А то и на семь, – поддержал его президент. – Плюс репутация крутых мужиков, у которых все схвачено: это, считай, еще тысяч пятнадцать-двадцать. В смысле льготных кредитов, облегченных сделок и прочего разного. Теперь – продолжение следует. Тут кое-кто из периферийных товарищей – да и москвичи тоже – уже обратились с просьбой организовать им встречные визиты ко вновь обретенным корешам. Разумеется, мы пойдем им навстречу, но это им недешево станет. Что конкретно мы могли бы с них содрать?" – "Посчитаем на пальцах, – откликнулся я. – Во-первых, для немосквичей встреча-проводы в столице нашей Родины. Плюс наш транспорт. Перед отлетом за рубеж они могут пожить у нас на квартирах – все дешевле, чем в гостинице. Ну, разумеется, основные деньги за пакет оформления поездки – приглашение, визы, авиабилеты. Если нет загранпаспорта – это отдельный разговор. Посодействовать можно – но за особую плату. Дальше – подготовка документации к поездке. Ну, там составление спецификаций, договоров, их перевод... напечатать тоже денег стоит. Разумеется, поездка только с нашими переводчиками..." – "Тут можешь не волноваться, – перебил его президент, – больше такого, как было с норильчанами, не повторится. Это я тебе лично обещаю. Как и то, что ты будешь кататься с каждой третьей группой. И еще раз повторяю, причем при всех: переводчики отбираются только по согласованию с тобой. Ну, каковы наши дальнейшие действия?" – "Готовиться ко второму Европейскому симпозиуму", – твердо заявил я. – "Это само собой, как стратегическая задача, – согласился генеральный. – А в тактическом плане – организация делегаций за рубеж. Собственно,

это даже и не тактическая задача, а вполне оперативная, потому что уже сегодня к вечеру заявятся мужики из Казани, которым вынь да положь Италию". – "Пусть приходят – обслужим!" – бодро отозвался я.

Казанских мужиков было трое. Довольно типовая компания, являющая собой социологически репрезентативный срез советских кооперативов и совместных предприятий той поры. Один – в районе полуста, явный хозяйственник, крепко знающий что к чему и где деньги лежат. Второй – вертлявый кобелек, безошибочно узнаваемый комсомольский вожак с пустыми и жестокими голубыми глазками, в итальянском пиджаке с подсученными рукавами. Третий мужик оказался, собственно говоря, крашенной оторвой лет тридцати, демонстрирующей все достижения французской текстильной и косметической промышленности, при вполне традиционных русских сережах и перстенке (тянущих, как заявила потом глазастая Тамара, не меньше чем на пять каратов в общей сложности и явно не сегодняшней работы) – типичная же боевая подруга и доверенное лицо тамошнего коммерческого воротилы. Особых проблем тут не ожидалось: загранпаспорта были у всех, деньги – это вообще не вопрос, и они даже принесли техническое задание на командировку объемом в три страницы. Мы посидели, уточнили некоторые детали, причем выяснилось, что летят они вчетвером, включая и главного босса, боевого друга нашей собеседницы. Я тут же отослал факс итальянским партнерам, а наутро уже пришло и приглашение. Казанские товарищи малость оторопели от таких темпов работы, сказавши, что реально вылететь смогут не раньше чем через пару недель.

Через денек в Москву заявился казанский босс собственной персоной. Начались долгие переговоры с президентом и генеральным, причем звали меня туда не всякий раз. Какие-то странные личности стали появляться в здании СП, для участия в этих, ставших весьма многосторонними, переговорах. Личности с бегающими глазами, личности в кожаных пальто до земли, а кое-кто и в откровенных зеленых брюках. Я, как бы выпав из общей суеты и ощущая себя несколько потерянным, занялся разборкой завалов – недописанных отчетов, недооформленных смет, несоставленных протоколов. За неделю до отлета меня вызвал президент. И сказал, глядя чуть в сторону: "Тут такое дело. Я-то, честно говоря, полагаю с самого начала, что у казанцев это просто как бы увеселительная прогулка. А оказалось – по всем признакам – очень серьезные планы. Вот уже неделю с ними прыгаем, и все это становится серьезнее и серьезнее... Короче, чувствую, что мне самому придется лететь с ними. Как там, с визой и вообще?" – "С



визой плохо. По нормальным каналам – просто ничего не выйдет. Есть, правда, вариант, но он не из дешевых", – не очень довольным голосом отозвался я. – "Я же тебя не спрашиваю, сколько это будет стоить. Надо – заплатим. За расходами не постоим". – "Виза – ладно, А вот билет..." – "Я же тебе сказал – за ценой не постоим. Тем более, приплюсуй-ка сюда еще три сотни зеленых..." – "А это на что?" – "А это... ну, как бы выразиться... короче, старик, не обижайся... тем более, что я вроде бы тебе при всех обещал, а вот теперь... короче, перепиши свой билет на меня, не сердись и возьми триста... а в следующий раз, клянусь тебе чем хочешь – твоя очередь... Пойми меня правильно: очень уж эта поездка серьезной получается, а татары эти – ну, прямо на ходу подметки режут... если мне не поехать – все СП будет в пролете, как фанера над Парижем... а ты извини и возьми... Вот..." – и президент протянул мне конверт.

Ну, что было делать? Взял я конверт, сунул его небрежным жестом во внутренний карман пиджака и пошел к себе. Готовить факс в Италию, чтобы срочно прислали приглашение на президента. Звонить в хитрую московскую контору, где за хорошие деньги любую визу делают за три дня, а за очень хорошие – так и за полтора. Людмиле сообщить, чтобы билет переделывала – счастье еще, что билеты фактически еще не были выписаны, так что не пришлось сдавать его и терять на этом деньги. Но все равно проблема серьезная: выписан билет или нет, а как не верти – получается отказ (в смысле, мы от него отказываемся) и в принципе на освободившееся место имеет право пассажир, стоящий первым на листе ожидания. Значит, надо будет дать не только Людмиле, но и ее начальству, чтобы те закрыли глаза и не открывали рот. И ведь не приведи Господь, если кто-то из начальства сам претендует на освобождающееся место – в смысле, не сам, а его протеже... Ладно. Созвонился со всеми – к счастью, все на местах, отправил факс в Италию, а Виталия на Фрунзенскую, к Людмиле. С набором помады, теней и прочей боевой раскраски – но это только для загравки, чтобы дверь открыть и "здрасьте" сказать. Платить – и долларами, разумеется – надо будет по окончании операции и самому лично (чем меньше людей в такие дела замешано, тем спокойнее), Запустив машину, я сел у факса – ждать запрошенного приглашения, чтобы с ним поехать в хитрую контору. Прихватив бутылку виски – и это тоже только для загравки. Хорошо еще, что за работу там берут советскими и вообще по безналичному. Кстати, надо сказать Юле, чтобы завтра с самого утра была на месте – приготовить платежное поручение на сумму, которую назовут в этой самой конторе. Прошло полчаса, завздохал факс, и из щели поползла бумага.

Полученный факс в папку, вниз по лестнице: "Валентин, поехали!" Когда вернулся через час – нашел на столе записку Виталия: "На Фрунзенской все ОК. Во вторник можно забирать билеты". Со всеми положительными – для президента – новостями поднялся к нему, а его уже и нет. Уехал домой. Даже и не сомневаясь, что все будет улажено.

На следующий день президент, как ни в чем не бывало, воспринял мой отчет – впрочем, поблагодарив в долгих и цветистых выражениях и даже извинившись за то, что вчера укатил, не дождавшись. И тут же перешел к следующему делу – поездке в Германию, через два месяца ("Ну, это уж точно твоя, и не усмехайся так саркастически".) Для этой поездки паре московских деловых ребяток требовалось оформить загранпаспорта. Одним из результатов Симпозиума, как я уже говорил, был выход на хитрованскую контору, где паспорта и визы делались как нечего делать. А вышло это так. На заключительном банкете большой консульский начальник отозвал меня в сторонку и завел следующий разговор: "Тут твой босс пристает, чтобы я ему паспорта делал. Совсем обалдел, видать. Он, правда, и в комсомольской юности не блистал интеллектом. Но не в этом суть. Ему я хрен бы ответил, но ты мне нравишься. Слушай сюда: вот тебе телефон, зовут человека Фарид. Моего имени ни при каком раскладе не вздумай упоминать – а он и так знает, откуда ветер дует. Скажешь для отмазки, что с Сергеем из нашего управления вместе служили в Индии". – "Да я..." – "Ты что, вообще соврать не можешь? Служили-не служили, кого это фачит. Ты же с ним где-то пересекался по армейской части..." – "На сборах". – "Ну, а чем это не военная служба? Короче: Фарид делает все на свете. Официально, по преискуранту. Только смотри – чтобы к нему никакой туфты не таскали. Сам будешь проверять и сам будешь нести ответственность. Если почувствуешь, что с исходными документами что-то неладно – сразу скажи: так мол и так – вот они, все бумаги, и вроде бы в порядке, но меня что-то скребет. Фарид – мужик умный, сразу поймет намек. Прямо говори: скребет меня. Он, конечно, спросит – а кто такой этот самый скр, но действовать будет с умом. И себя не подставит, и тебя не подведет. Все понял? Тогда давай выпьем!"

Первый же визит к Фариду произвел на меня большое впечатление. Хитрованский офис располагался в глубине арбатских переулочков; впечатляюще выглядели и бронированная входная дверь, и сидящий за нею охранник в пятнистом камуфляжном костюме и тельняшке, и изысканная мебель, и сам Фарид, имеющий вид преуспевающего американского адвоката из мильной оперы. Мою бутылку он без каких-либо эмоций сунул в

сейф, достав оттуда встречным движением компьютерную дискету и прозрачную папку с несколькими листками. "В папке – образцы заполнения и список необходимых документов. На дискете – макеты бланков. Заполнять на компьютере будете сами и приносить мне вместе с оригиналами документов. Никаких курьеров, никаких посредников. Все привозите самостоятельно и вручаете мне лично. Оплата по безналичному, в течение максимум трех банковских дней после выставления счета. Чем из дефицита можете похвастаться?" – "Билеты можем доставать..." – "Куда? В цирк?" – "Ну, почему же. Авиа. На заграничье". – "Не обижайтесь, это я шучу. С билетами у меня никаких проблем. Хоть в Большой, хоть в Нью-Йорк. А еще что есть?" – "Директор ресторана..." – и я назвал организацию, возглавляемую Пахомычем. – "А, знаю. Там неплохо кормят. Ну, а вам, наверное, на сливочном масле жарят? Как лучшим друзьям? Допустим, я позвоню с утра – ужин можно будет организовать? И чтобы обслужили как родных?" – "Нет проблем. Если я в бегах – мой зам, Виталий, полностью владеет обстановкой", – отчеканил я, поневоле переходя на заданный Фаридом тон. – "Заметано", – отозвался Фарид.

Получив от президента бумаги деловых ребят, которым предстояло оформить паспорта, я отправился к себе. Включил компьютер, вставил полученную от Фариды дискетку. На экране обозначился бланк овировской анкеты. Можно, конечно же, отстучать ее в требующихся пяти экземплярах под копирку. Но тот, кто хоть однажды заполнял бланки на пишущей машинке, несомненно помнит, какое это мучение. Как ни старайся ровно заправить все листочки – все равно, начиная с третьего экземпляра, буквы не попадают на нужные линии, и уж тем более в нужные рамки. А опечатки! Исправления ведь не разрешаются, и поэтому, просидев с высунутым от усердия языком полчаса над одной страничкой, делаешь вдруг опечатку в последней строчке – и привет. Вся работа – в мусорную корзинку. А с компьютером никакие опечатки не страшны. Набрал весь текст, проверил тщательно – и на печать в любом количестве экземпляров. И еще один нюанс: в ОВИРе к анкетам, сделанным таким образом – больше, ну, не доверия, скажем, так уважения. Тем более, когда они поступают из такого источника, как Фарид. Чем еще хорош компьютер – можно делать документ в несколько заходов, постепенно добавляя недостающую информацию. А с анкетами это вечная проблема. Например, надо указать предыдущие места работы с адресом и почтовым индексом. А кто же это помнит. Особенно индекс. Вот и приходится уточнять его, выискивая по справочникам, а это все – время. В результате сидишь не меньше часа над каждой анкетой, да и то, бывает, остаются лакуны.

Поэтому, сделав вчерне оба документа, я принялся выписывать на листочек вопросы к заказчикам, и тут в комнату вошла красотка Юлия: "Сильно занят?" – "Для тебя я всегда свободен". – "Тогда почирикаем". – "Валяй". – "Ну, и как ты реагируешь на все происходящее вокруг?" – "Ты о чем, мать?" – "Не морочь голову ни мне, ни себе. Прекрасно знаешь, о чем. О твоих бесконечных поездках за рубеж, и главное о том, что почему-то всякий раз вместо тебя едет лицо куда как сомнительной репутации. Что норильское, что казанское. Что эти, земляки, которые на очереди. Ты-то человек невинный по природе своей, а через меня, между прочим, все финансовые документы проходят". – "Ну, и что?" – осторожно перебил я. "А то, – продолжала Юлия напористо, не давая сбить себя со взятого темпа, – а то, что ухожу я отсюда. Сообщаю тебе, дураку, как другу. Чтобы и ты задумался. Все на сегодня. А ты обмысли и сказанное, и ситуацию вообще..."

Сказанное Юлией только добавило ко всем моим ощущениям – в которых, если честно говорить, обида за отмену поездок занимала даже не первое место. В самом деле – какая-то складывалась вокруг... ситуация-не ситуация, а хрен знает что такое. Все эти новоявленные партнеры с шакальими мордами, медленно, но верно вытесняющие из офиса партнеров первого периода – тоже, конечно, рожи не ахти, комсомольские, но все-таки... И, по контрактам судя, передовые технологии, лазеры да компьютеры, уступают место металлу, мочеvine и поношенной одежде (в частности, есть план приобрести в Италии контейнер у фирмы, скупающей старье, и переправить его в Казань, где после чистки и придания торгового вида это барахло будет сбыто с колоссальной прибылью). И вообще – если от меня откупаются, как бы между прочим, тремя сотнями долларов, то какими же деньгами ворочают без моего ведома. Знать, недаром удирает не просто красивая, но еще и сильно неглупая Юлия.

Первая половина следующего дня, проведенная в обществе двух московских ребяташек, не добавила мне оптимизма. Во-первых, их контракты и прочие деловые бумаги были... как бы это сказать... И еще во-первых, их рожи – при ближайшем рассмотрении, не смягченные короткофокусной оптикой и глянцевоy фотобумагой... И еще, первое первого, они, по-видимому, не очень представляли, насколько ограниченной информацией я владею, и несколько раз у них срывалось с языка такое, что лучше бы мне никогда и не слышать. Очень похоже было, что намечаемая сделка в Германии – не более как ширма для крупных валютных дел.

После обеда, полный самых невеселых дум, я поехал к Фариду, отвозить документы. Размышляя, в какой форме дать

понять, что меня – скребет. Фарид встретил приветливо, просмотрел принесенную папку с документами и сказал: "Чисто работаете. И аккуратно. Это я в качестве похвалы говорю. А вообще-то я человек на похвалу скупой. Чаю выпьем? Или кофе?" Я предпочел чай, дивясь про себя чуть ли ни дружескому поведению малознакомого и, судя по всему, весьма крутого человека. А тот, прихлебывая чай, как бы невзначай стал расспрашивать о связях, о контактах, о манере работы, о сотрудниках отдела. Я осторожно отвечал, не совсем понимая, к чему клонится разговор. Через четверть часа все стало яснее ясного. "Значит, так, – сказал Фарид, закрыв принесенную папку и прихлопнув ее ладонью. – Ребяток этих, – он еще раз хлопнул ладонью по папке, – я знаю. И очень хорошо. Не вы первые приносите ихние документы. И не вы первые понесете их обратно. Нет, не сейчас, конечно. Просто через пару недель я скажу, что ребята не проханже, и даже верну часть денег, которые вы мне все-таки выпишите по счету". Он сделал паузу, а потом неожиданно достал жестом фокусника из нижнего ящика стола бутылку и два стакана. "Выпьем-ка на "ты", и я еще скажу кое-что. Из тех вещей, что на "вы" плохо говорятся". Мы выпили, и Фарид продолжил: "Смотрю я на тебя и вижу – ты же там чужой. Я это сразу понял. А как ты мне позвонил и срочную свиданку назначил, я еще кое-что понял. Что визу твоему президенту делали не вместе с тобой, а вместо тебя. И что, значит, тебя держат от их делишек подальше. На твоё счастье, кстати. А теперь – по сути. На прошлой неделе один мой клиент сказал, что организует с американцами некую контору. Такую, знаешь, гуманитарно некоммерческого стиля. И чтобы я поискал ему человека на международные связи. Тебе не кажется, что мы с тобой знаем такого человека?" – "Но, – растерянно сказал я, – я же не один..." – "А вот такая твоя первая реакция – вообще блеск, – улыбнулся Фарид. – Значит, ты еще более приличный мужик, чем я про тебя думал. Так вот, им нужен целый отдел. Значит, и твоему заму, и секретарше, и водителю – всем найдется место. Ну?" – "Фарид, надо подумать... Это все так неожиданно..." – "Правильно отвечаешь. Езжай к себе, по дороге подумай. Приедешь – тут же выпиши мне платежку, не забудь. С этими ребятами, – он кивнул на папку, – разговаривай как можно меньше. Только по делу. Вот тебе карточка моего клиента – свяжись с ним, как надумаешь. Иными словами – сегодня к вечеру, Хотя бы потому, что я ему прямо сейчас перезвоню и скажу, что с него ящик коньяка – потому что я нашел ему не просто человека, а классного специалиста, да еще с трудовым коллективом в придачу".

По приезде я тут же поднялся к Юле, отдать счет и

выписать платежку. "Ну?" – спросила она с порога. – "Что – ну?" – "Не надумал ничего? А я уже сказала генеральному, и вот послезавтра буду подбивать бабки и сдавать дела". – "Кому же?" – спросил я, только для того, чтобы сказать хоть что-то. – "Пока Андрюхе. А дальше – их дело. Так все же – что надумал?" – "Права ты, наверное". – "Я-то права. Да только ты, смотри, не окажись неправым". – "Ну, неправым или правым, или левым – только бы не крайним". – "Вот-вот. Соображаешь. А ведь есть все шансы оказаться именно что крайним. У меня, по крайней мере, с моим-то правом финансовой подписи. Ты, между прочим, тоже кое-что подписывал – задумайся и об этом. Кстати – тебе есть куда лянть? Или мне поговорить с мужем? Хочешь?" – "Спасибо, но острой необходимости пока не существует".

Я спустился к себе. Сел, положив локти на стол, и задумался. Потом достал из кейса кляссер с визитками и открыл его на последней странице – куда пару часов тому назад сунул карточку, данную Фаридом. Машинально глянул на часы и, как бы кидаясь с высокого берега в холодную воду, набрал номер. "А, здравствуйте, – отозвался чистого тембра баритон. – Очень рад. Откровенно говоря, жду вашего звонка. У вас какие планы на вечер? Может, поужинаем вместе и побеседуем о превратностях судьбы? Вы на машине? Тогда сможете через минут сорок быть у Хаммера? Я предлагаю такую программу: мы с вами посидим за отдельным столиком, познакомимся, а потом – если разговор у нас получится – перейдем за столик к нашим американцам. Просто так поболтаем, без всяких взаимных обязательств. Впрочем, если захотите – можно будет тут же обсудить и более конкретные вещи. Давайте, подъезжайте. И водителя своего потом отпустите, а домой мы вас как-нибудь доставим. Жду!" Полпути до Краснопресненской мы с Валентином ехали молча, а когда поворачивали у МИДа налево, я вдруг спросил: "Скажи, Валентин, ты с иномарками знаком?" – "Обижаешь, начальник, – осклабился тот. – Хоть "ауди", хоть "мерседес". Я, вообще-то, могу на работу и в галстук ходить – если надо, конечно. В свитере просто привычнее, но могу и в костюме..."

На следующее утро, открыв дверцу машины Валентина, я обнаружил последнего восседающим за рулевым колесом в костюме и при галстук. "Ты что, собираешься куда-нибудь сегодня?" – спросил я автоматически. – "А вдруг снова придется к Хаммеру поехать, или в какое другое приличное место", – неопределенно отозвался Валентин, старательно не отрывая глаз от дороги и демонстрируя полное равнодушие ко всему, что не касается его непосредственных производственных обязанностей. И я решил: в конце-то концов, не все ли равно, с кем первым завести

судьбоносный разговор. И спросил безразличным голосом: "Если я уйду в другое место, ты пойдешь со мной?" – "Двести", – тут же отозвался Валентин, словно ждал этого вопроса. – "Чего – двести?" – удивился я. – "Согласен потерять в зарплате. Но не больше. И желательно, чтобы только на первых порах". – "Ты даже не спрашиваешь, чего и как?" – "А чего тут спрашивать. Ты же ведь сам на плохие условия не пойдешь. Ну, вот и значит..." – "Американские машины водил когда-нибудь?" – "Эка невидаль. А чего не знаю – за день обучусь. Не бойсь, командир, разберемся со всем". – "Ладно, ладно. Ты только помалкивай пока". – "Что ж я, валенком деланный, что ли!" – на полном серьезе отозвался Валентин. – "А про зарплату не беспокойся. Всем дадут больше, чем сейчас". – "Всем? Так ты и Томку с Виталием перетаскиваешь? Ну, ты, командир, молодец! Да с таким коллективом мы горы свернем, а не то что..."

Коллектив, как выяснилось в ближайшие полчаса, имел аналогичные взгляды на происходящие и потенциально грядущие события. Правда, совестливая Тамара заикнулась было: "А как же тут без нас?..", на что Виталий твердо сказал: "Раньше надо было думать, как без нас. Когда шефа в загранку не посылали. Когда нам отгулы пытались зажать. И вообще..." – "Не беспокойся, – ответил я – не то Тамаре, не то собственным мыслям, – мы подберем замену и передадим дела плавно и аккуратно. А пока учтите, что все это – разговоры завтрашнего дня. Конторы у них еще нет – вернее, сняли пятикомнатную квартиру на Горького, и сейчас приводят ее в порядок. А пока сидят в гостинице. Так что до наших конкретных действий – не меньше месяца по самым скромным подсчетам..." При этих словах дверь открылась, и на пороге – со словами "Ой, да у вас тут совещание!" – возникла Света. Она положила на стол факсовый рулон – очередную порцию пришедших из Италии новостей. Только закрылась за ней дверь, как аккуратная Тамара, поджав губы, заметила: "Можно было бы и разрезать на странички – ведь самая ее секретарская работа..." – "Ладно, ладно", – примирительно сказал я и принялся за разбор присланного.

Коллектив тактично оставил меня в одиночестве, чтобы не мешать посторонними разговорами. Но сосредоточиться не удалось, потому что в комнату буквально ворвалась Юлия: "Имела сейчас получасовой тет-а-тет с генеральным. Незабываемые ощущения. Уговаривает не уходить – потому что буквально на днях открываются новые горизонты. Особенно по возвращении всей компании из Италии. Есть вроде бы мнение объединиться с казанскими ребятами – и тогда-то начнется подлинно масштабная работа. Ну, я прямо ему сказала, что именно такая масштабность и

гонит меня отсюда. На что он выдал загадочную фразу – и я бы на твоём месте крепко задумалась. Мы, говорит, никого не гоним, даже тех, кто опасается принимать крутые решения. Мы их только поправляем и чуть-чуть отодвигаем в сторону, чтобы они не сдерживали наших действий. Ну, я спросила, о ком же это, например, идет речь. А он и отвечает – да хотя бы о нашем международнике: чуть какое нетрадиционное мероприятие, его надо полчаса уговаривать, будто целочку. Ну, я психанула и говорю: значит, по-вашему выходит, что я как раз и есть на все готовая блядь? Нет, говорю, я не такая. Я, конечно, не девочка, но все-таки разумная мужняя жена, и границы всему очень даже хорошо знаю. И к дверям – а он мне вослед: не торопись, подожди, пока президент вернется. Ладно, я пошла, а ты подумай. По-моему, намек тебе через меня передан – яснее и не надо".

После ее ухода я машинально принялся за присланные из Италии документы. Разобравшись с ними за считанные минуты, я еще какое-то время сидел над разложенными листочками, думая о своем. Потом встряхнулся, решительно позвонил по вчерашнему телефону и дал согласие – от своего имени и по поручению всего коллектива. Договорились в ближайший понедельник организовать встречу и представление коллектива руководству – "и я хотел бы, чтобы вы приступили к работе как можно скорее, буквально с этого же понедельника – хотя я и понимаю всю нереальность такого пожелания".

Оставшиеся до возвращения из Италии дни я безвылазно сидел за компьютером, уделяя около часа оперативным итальянским делам, а все остальное время приводя в порядок старую документацию, с переписыванием важнейшей на личные дискеты; в промежутках остервенело раскладывал пасьянсы. То были самые тихие денечки за все мои полтора с лишним года пребывания в этом кресле, столь противоестественно тихие, что и без юлиных предостережений можно было бы с легкостью почувствовать что-то неладное.

Итальянские гости вернулись в субботу. Когда я поднялся вверх, Света кивнула на дверь кабинета генерального директора. "А там, – она подбородком указала на президентский, – казанцы. Как у себя дома". Генеральный сидел за столом, а президент, примостившийся на одном из стульев для посетителей, показал мне на второй. И начал, не успев я присесть: "Что же так, мы приехали, а холодильник пуст, работников твоих на месте нет, чтобы в ресторан сгонять. Опять сбой идет". – "Какие еще?" – спокойно спросил я. – "Что значит – какие еще?" – осекся президент. – "Ну, если "опять сбой" – значит, до того тоже были проблемы". – "Это я так. Ну, сказалось так..." – пошел на попятный президент. А я



продолжил: "Холодильник пустой, потому что никто не сказал мне о приезде иностранцев. А где они, кстати? Мы же ведь уговорились, что международный отдел обслуживает только иностранные делегации. Так у нас и в положении об отделе записано. И правлением, между прочим, утверждено". – "Значит, придется все это переутвердить. И вообще все пересмотреть", – вмешался генеральный. – "В каком смысле – все?" – переспросил я, делая вид, что ровным счетом ничего не понимаю. – "А в таком", – буркнул генеральный. Посмотрел на президента и с раздражением сказал: "Опять на меня все неприятные разговоры сваливаешь! Ладно, пусть". И продолжил: "У нас намечаются большие перемены. Меняем масштабы работы. Меняем ее стиль. И – я тебе прямо говорю, старик – ты в этот новый стиль плохо вписываешься". И замолк, ожидая, видимо, моей реакции. А какая тут может быть реакция, когда послезавтра я уже могу начинать работу на новом месте, о чем здесь – ни сном, ни духом. Тем более, что у меня мелькнула прекрасная мысль – повернуть дело так, будто не я ухожу, а меня уходят. И я решил молчать, ожидая развития событий. Собеседники явно не ожидали такого поведения и растерялись. После паузы генеральный продолжил: "Мы тут, как тебе известно, решили объединиться с казанцами". – "Нет, мне не известно, – нахально ответил я, – потому что не было заседания правления с участием иностранных партнеров. И Устав не переписывался – по крайней мере, я никаких изменений и дополнений не переводил... А как заведующий международным отделом я должен был бы знать обо всем в числе первых..." – "Ну, вот ты и узнал, – вступил президент, – а что касается завоцделом... В новых условиях это должен быть новый человек..." – "Да вы никак гоните меня?" – усмехнулся я. – "Напрасно ты так, – осторожно ответил генеральный. – Ты очень много сделал для СП, и сможешь сделать еще больше... Только в качестве, скажем, заместителя завоцделом. Мы все тебе оставим – и кабинет, и машину, а в зарплате ты даже выиграешь". – "И за границу стану ездить чаще, потому что дома будет меньше дел". – "Вот именно, – вздохнул с облегчением генеральный, принципиально не желая улавливать иронии в моих словах. – Хорошо, что ты все правильно понимаешь и не обижаешься".

Тут в кабинет сунул нос казанский комсомолец – и со словами "А, у вас тут беседа" закрыл за собой дверь. "Уж не это ли мой новый начальник?" – спросил я. – "Может быть..." – начал было президент, но генеральный перебил его, сказав: "Давайте обо всем поговорим в понедельник после обеда. Хорошо?" А пока разойдемся на отдых. И помни, старик, что ни в каком смысле ты ничего не теряешь. И Валентин твой при тебе остается. И

вообще..." – "Ладно, – сказал я, вставая. – Встретимся в понедельник, после обеда. Кстати, ничего, если и я, и весь отдел возьмут полдня отгула?" – "Какие проблемы!" – сделал широкий жест генеральный.

И попал в самую точку. Потому что тем самым действительно решилась единственная стоящая на данный момент проблема: каким образом весь отдел в полном составе сможет прибыть на знакомство с новым руководством в понедельник утром. А теперь – все в порядке. Я спустился в свой – уже бывший – кабинет, открыл сейф и стал укладывать в припасенную сумку личные вещи. Потом методично обшарил письменный стол. Потом позвонил Тамаре и Виталию и назначил им свидание в девять тридцать у метро "Краснопресненская". Рассказав вкратце об имевшем место разговоре и велел вырядится не то чтобы в вечерние туалеты, но достойно. Потом позвал Валентина. "Что это? – спросил догадливый Валентин, глянув искоса на сумку. – Никак насовсем собрался, гражданин начальник? Ну, что – с вещами на выход?" Он отпихнул меня и, несмотря на все протесты, сам потащил сумку в машину.



# Эдуард Бормашенко

## Грань Хаоса

*"Фанатиком разума я не буду,  
этого не стоит и он"*  
М. Алданов, "Пещера".



тот очерк - о Марке Алданове. Сегодня имя Алданова прочно забыто, его исторические романы мало известны читателю. А ведь его проза переводилась на десятки языков, он был одним из ведущих писателей российской эмиграции. "Скверный товар – слава", говорил Бальзак, "дорого покупается и быстро портится". Помимо обычных бед эмигрантщины, есть и дополнительные причины, приведшие к читательскому охлаждению. Романы Алданова – традиционны, в них нет потока сознания, обостренного интереса к фекалиям или сексуальных извращений. А что, собственно, сегодня может быть отнесено к извращениям? Кажется, все возможные сочетания половых органов людей и животных уже освоены (комбинаторика здесь накладывает непреодолимые ограничения), и даже одобрены прогрессивными деятелями мировых религий; новое и подпадающее под разряд "извращения" на сексуальной почве придумать уже затруднительно.

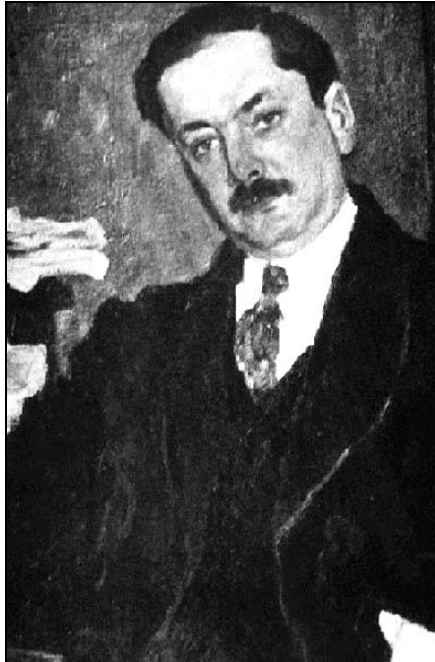
Алданов писал так, как писали в XIX веке, а в XX веке в мире кое-что произошло, и читатели это заметили. Но есть и еще одна причина падения спроса на Алданова. Главный герой бесчисленных Алдановских романов – мысль; мысль, требующая неторопливого, вдумчивого чтения, а для такой мысли настали худые времена. Один мой пожилой англоязычный коллега часто повторяет: *the art of reading is dying*, (искусство чтения – умирает). Я же обязан Алданову многим, именно традиционный, пресноватый на снобистский вкус Алданов помог мне понять, чем же был XX век.

\*\*\*

*"Внешнему хаосу соответствует хаос внутренний: распад души".*

М. Алданов, "Пещера".

Мыслящий человек может вынести все кроме хаоса. Неупорядоченный мир нестерпим для интеллекта. Тысячелетиями традиционные религии превращали хаос в Космос. В XVII веке произошел существенный сдвиг: зародилась новая религия – религия разума. Религия эта властвует по сей день, я в ней вырос, в ней вырос и Алданов. Даже ортодоксально верующие, к какой бы конфессии они не принадлежали, чувствуют на себе ее тяжкую длань (чаще всего не отдавая себе в этом отчета), уж слишком заметно переупорядочила мир религия разума. Мир человека, привычно хлопающего по выключателю, зажигая свет, упорядочен не так, как мир зажигающего с той же целью свечу.



Марк Алданов (Ландау)

Алданов, знавший историю, как никто, скажет в одном из писем, что писать о веках, предшествовавших XVII, не может, ничего не разберешь в психологии тех людей. И это очень верно, трудно понимать людей, живших до религии разума. Декарт и

Паскаль читаются так, как будто писали вчера, а Эразм Роттердамский – скучноват, нам не привычен его мыслительный шаблон. Паскаль – очень религиозный и пристрастный автор, но он уже наш, единоведец, иначе, ни за что бы не записал: "все достоинство человека в способности мыслить".

Непросто сформулировать *credo* этой религии, ибо в первую очередь она учит сомневаться во всем, не оставив ничего бесспорного, устойчивого. Сегодня она уже не покоится и на декартовом требовании самоочевидности, прозрачности мышления, в современной науке мало осталось очевидного. В XX веке пошла на слом и рамка интеллекта, казавшаяся навеки и заведомо неизменной – абсолютные пространство и время, с ними расправилась общая теория относительности. Решительно выделяет религию разума не символ веры, но порядок предпочтений: там, где надлежит выбрать между традицией и разумом, адепт рационализма, решительно предпочтет разум. Предпочтет чаще слепо, редко отдавая себе отчет в несовершенствах *ratio*. Сам по себе этот выбор внерационален, и именно он, превращает рационализм в религию.

\*\*\*

*"Вы находитесь в храме разума  
и я – верховный его жрец".*

Из речи М. де Унамуно перед фалангистами в  
Университете Саламанки.

Новая вера, постепенно тесня традиционные религии, к XX веку, казалось, раздавила их совершенно. Наиболее резвые и удачливые рационалисты, большевики, - не стеснялись в средствах. Это нам известно. Но, вот история из свежайшего сборника "Visions of discovery", выпущенного в 2011 г. к юбилею одного из изобретателей лазера, Нобелевского лауреата, Чарльза Таунса и вобравшего статьи элиты современного естествознания, Рассказывает Профессор Вильям Ньюсом: "однажды я гулял с коллегой по кампусу Стэнфордского Университета. В центре кампуса разместилась мемориальная Церковь. Мой коллега, сопровождая свою речь выразительными жестами, сообщил мне: это здание выводит меня из себя. Его необходимо взорвать. Я спросил его: отчего же? В ответ услышал: это - памятник иррациональному. Ему не место в университетском Кампусе". Заметьте, дело происходит в современной, политкорректной Америке.

Как говорил Воронель, решительную победу религии разума (как и другим религиям) принесли чудеса: самолеты, телефоны, компьютеры. Среди чудес, однако, оказались

удушающие газы, атомная и водородная бомба, и теперь мы живем в мире, который за 5 минут может быть стерт в труху. Оказалось также, что мировые религии скорее сдерживали зверские инстинкты масс; а на что способен человек без Б-га и совести мы узнали в Освенциме и Гулаге. Да и то сказать, что и люди с богом в душе, оказывались и оказываются способными на дела никак не лучшие. И все же потоки зла, излившиеся в мир в XX веке, помноженные на чудеса науки - беспрецедентны. А широкие народные массы оказались приобщены не к новой вере, а лишь только к ее благам, ибо, как они ничего не понимали в старых верах, так и не понимают в новой. Из благ же наиболее востребованы: дешевая жратва, наркотики, противозачаточные пилюли и мыльные оперы. И вера в разум и просвещение, получив в Хиросиме непоправимую травму, кажется, начинает себя исчерпывать. Не то, чтобы Алданов понял это первым, но именно Алданов, полагал эту ситуацию абсолютным тупиком, ибо не верил в благотельность возврата в прошлое. Проза Алданова – беспросветна, за ней тьма, не высвечиваемая никаким светом.

\*\*\*

*"Человек, это животное, хоронящее мертвых".*

М. де Унамуно

Помимо мысли у Алданова есть еще один любимый персонаж – смерть. Лучший роман Алданова - "Самоубийство", в нем уходит в небытие под выстрел Гаврилы Принципа старая, разумная, Декартова Европа, еще не примерившая коммунизма и нацизма. Самые обаятельные герои его романов кончают жизнь самоубийством. Да это и немудрено. Ибо естественный выход из религии разума, превратившей мир комфортабельную (в лучшем случае) камеру смертников, - самоубийство. По количеству смертей на квадратный сантиметр текста с Алдановым сравним лишь Толстой. Но Толстой, замучив Ивана Ильича, оставляет ему надежду; Иван Ильич из черного мешка жизни вырывается в свет, персонажи Алданова идут из мрака в мрак.

И еще поразительная особенность алдановской прозы – в ней нет детей. В современной Европе тоже нет детей, детей рожают только неразумные эмигранты. Разумно устроенной жизни - детей не нужно.

\*\*\*

Алдановский Вермандуа (французский писатель из романа "Начало конца"), прослушав Моцартовский "Реквием", скажет: "Моцарт любил жизнь, так, как, быть может ее не любил никто другой. И вдруг такая неожиданность! - мог ли он думать! – оказывается, он умрет.... Вены не будет, ... не будет Зальцбурга с его горами и небом, не будет солнца, не будет музыки... Тогда в

мире были крепки две веры. Одна старая, испытанная, вековая, подобрешая за свое бурное тысячелетнее существование, была еще у людей в крови. Другая новая, молодая, воинственная только создавалась... Вера в разум, вера в справедливость, надежда на такую земную жизнь, которая по комфорту почти равна райской. "Ну а мне то, что, ведь я до нее не доживу?" Просветительская вера тут скромно вздыхает...". Мы до этой жизни дожили, жизнь в современных развитых странах не радикально отличается от представлений о рае средневековца. Но, оказалось, что в этом пластиковом, очень сытном раю не востребованы ни Моцарт, ни Декарт, ни Алданов. И заканчивается этот рай болезнью Альцгеймера в доме престарелых, и люди в этом раю совершенно друг другу не нужны, и до того им в этом раю скучно, что они готовы завести в ванне крокодила, чтобы было с кем пообщаться.

И трудно не согласиться с Вермандуа: "и первой веры мало, и вторая выпадает, и заполнить образовавшуюся бездну нечем: третьей веры нет! Чем вы замените прежнее? Что дадите вместо "Реквиема"? Предположений, разумеется, сколько угодно, за этим остановки не бывает. Но все это разогретые блюда, семьдесят седьмые дешевые издания, плоские варианты умирающей веры. Ни из-за всеобщего избирательного права, ни ради райского сада вокруг хрустального дворца ГПУ ни один идиот на костер не пойдет".

Алданов здесь явно говорит "от себя". И мне слишком понятно, что он хочет сказать. Я наблюдаю во множестве людей, удовлетворяющихся старой, проверенной, тысячелетней верой. Эти - определенно самые счастливые. У них могут быть жизненные затруднения, но проблем – нет, все проблемы раз и навсегда разрешены Писанием. Мне, закончившему физический факультет Университета, так верить трудно, почти невозможно. Я видел и тех, кому удавалось забыть свое университетское прошлое, затереть пленку памяти и начать жить сначала. Эти люди навсегда искалечены, как любые выкресты, хоть в этом случае речь идет о выкрестах из атеизма.

Синтез веры и разума мог бы сделать жизнь переносимой. Этот синтез искали Рамбам, Аверроэс, Декарт, Лейбниц, Кант, рав Кук, рав Соловейчик. Вовсе не из мегаломании, и не из желания покрасоваться на одной странице с гениями, скажу, что ишу его и я. Мучительное это дело. Главное напряжение, не покидающее верующую, разумную душу, режущий, как железом по стеклу, – диссонанс между гармонией мира мысли, дотянувшейся до Реквиема, теории относительности и квантовой механики и уродством, убожеством, нелепостью мира жизни. Меня всегда удивляло, что Рамбам, Декарт и Лейбниц были удивительно

гармоничными людьми (не могли же они так умело притворяться, а, может, из вежливости не хотели нагружать ближних своими проблемами?). Мне же более понятно одинокое, разорванное сознание Рава Соловейчика, хотя это одиночество совсем отлично от того, при котором заводят в ванне крокодила. Не совсем кстати скажу, что фундаментальным источником человеческого одиночества Рав Соловейчик полагал одиночество Вс-вышнего.

Алданов был профессиональным химиком, искавшим, по словам А. Бахраха, выход на "четвертое измерение", имевший тягу ко всему "в чем таилась крупица иррациональности, без того, чтобы стать шарлатанством" ("Вспоминая Алданова"). Отсюда интерес Алданова к масонству и розенкрейцерству (Алданов был масоном). Но дело в том, что неортодоксальная религия, как и неортодоксальная наука всегда отдают шарлатанством. Современные "кабала для домашних хозяек" и эфиродинамика, как-то плавно друг в друга перетекающие, - тому подтверждение. Один из героев Алданова заметит: лучшее в жизни иррационально, иррациональны любовь и музыка. И я, профессиональный физик, буду последним, кто станет с этим спорить.

\*\*\*

*"История государственной власти – смена одних видов саранчи – другими".*

М. Алданов, "Пещера".

В современной политической таксономии Алданова следовало бы занести в клетку "правый", чуть не реакционер. И, вправду, левых Алданов очень не любил. Однако не любил не потому, что не ценил свободы, демократии и всеобщего избирательного права. А потому что "левый интеллигент", "народный печальник" превратились в необременительную и выгодную профессию. Не любил Алданов сочетания "проплеванной души" с неопасным идеализмом. "Вот вы, например, не только не пойдете на костер, - говорит Вермандуа левоватому адвокату Серизье, - но не пойдете и на самую безобидную баррикадочку перед грозной перспективой штурма со стороны безобидных парижских полицейских. Потому, во-первых, что полицейские могут намять шею, потому, во-вторых, что за баррикады можно угодить на три месяца в тюрьму, и потому, в-третьих, что кто же будет в это время вести ваш адвокатский кабинет?"

Эту органичную нелюбовь к "левизне" растолковал очень необычный "правый", Зеев Жаботинский, рассказав такую легенду: "жил-был рыцарь, у которого отроду не было сердца, но знакомый часовщик сделал для него хитрую пружину, вставил в грудь и завел навсегда. Рыцарь с пружиной вместо сердца ездил по дорогам и



защищал вдов и сирот; в крестовом походе спас самого Бодуэна, первый взобрался на стену святого города; увез из терема, охраняемого драконом, прекрасную Веронику и обвенчался с нею в соборе; отличная была пружина. А после всего, покрытый славой и ранами, разыскал он того часовщика и взмолился...: да ведь не люблю я ни вдов, ни сирот, ни святого гроба, ни Вероники, - все это твоя пружина; осточертело, вынь пружину!" ("Пятеро"). Не любят левые интеллектуалы ни вдов, ни сирот, ни палестинских детей, ни суданских беженцев, а любят свое вдохновенное говорение о них.

Но вот ведь штука, не более жаловал Алданов и правых. У Алданова на глазах рухнул мир, ушла под воду безвозвратно старая Россия. Консерватор Алданов понимал, что без невольной, но щедрой помощи царской администрации, большевикам бы ровно ничего не светило. Мой любимый Алдановский герой Браун корит царского сановника: "Вы, сторожившие свой мир, ... отчего вы так легко все отдали, почему ничего не уберегли? Подумайте, какой принцип был у Вас, какая давность для исторических грехов, какая инерция столетий. Подумайте: за всю историю России лучшим, умнейшим царем был Лжедмитрий, первый русский либерал, демократ и западник, - погиб же он оттого, что был самозванцем: иными словами, нельзя было доказать, что он в самом деле родной сын такого хорошего человека, такого прекрасного царя, как Иван Васильевич" ("Пещера"). М. Эпштейн как-то посетовал, что в русской литературе как-то жидковат афористический жанр, и заключил, что русский язык малопригоден к оттачиванию афоризмов. Я думаю, что читатель ощутил из приведенных мною отрывков, что еще как пригоден, но, справедливости ради, замечу, что Алданов, пожалуй, единственный удачливый афорист в русской литературе. Язык, тут, конечно, не при чем, просто Алданов по стилю мышления самый западный из русских писателей.

Последние десятилетия доставили немало доказательств тому, что исторический процесс (в особенности в России) сводится к смене поколений политической саранчи. Признаюсь и я в нелюбви к правым. От Воронеля я как-то услышал: был бы и я правым, но что ж они все время приплясывают, вот если бы не приплясывали... Но если бы не приплясывали, не были бы правыми. Жаботинский, Воронель, Юваль Нееман слишком умны, чтобы стать ортодоксальными правыми, но уж очень противно оказаться в одной компании с Ноамом Чомским и поздним Бобби Фишером.

Мне, религиозному поселенцу, по должности положено быть правым. Но, что-то, тоже не выходит. Я и на демонстрации правых хаживал, и в частном порядке общался. Ни тени улыбки на лицах, полная убежденность в правоте в борьбе за правое дело, для

полноты картины не хватало только деревянных коробок с маузерами на боках. Серьезные люди, они и приплясывают серьезно, а я не люблю звериной серьезности. Пинхас Полонский как-то не вполне в шутку сказал мне, что евреи никогда не признают Христа богом, ибо тот никогда не смеялся. И, более того, христианские богословы эту серьезность возводят в доктрину. Нет, нам это не годится, какой же еврей без еврейских анекдотов?

\*\*\*

"Левизна" и "правизна" недурно выявляются в отношении к слагаемым знаменитой триады "свобода, равенство, братство". Левые, как правило, нажимают на свободу и равенство, правые - на братство. Алданов часто повторял, что дорожит лишь свободой, что для реакционера нехарактерно. Что такое равенство не знает никто (где, кто и когда видел равных людей?). А братства не купит и за ломаный грош.

Но Воронель, прекрасно показал, что забвение неустребованного интеллектуалами братства может дорого стоить, за здорово живешь, братство за борт не выбросишь. "Слишком трезвая атмосфера демократических обществ не оставляет места когда-то живому чувству братского сочувствия. Демократическое солнце светит, но не греет ... Именно братство (правда, без тени свободы и без понятия о равенстве) обещает своим последователям исламский фундаментализм. Западная цивилизация не сулит своим носителям ничего подобного ... Если Свободный мир не сумеет выдвинуть, как приманку, ничего более привлекательного, чем плюрализм, т.е. свободная экономическая и идеологическая игра сил на агностической основе, возможно эта идея в умах людей не выдержит именно свободной конкуренции с наивной демагогией братства, выдвигаемой слепыми пророками варварства, вооруженными, однако, бесконечной уверенностью в своей правоте" ("Свобода, равенство и братство").

Привлекательность современного Израиля состоит не в его в самом деле нерядовых технологических достижениях и высоком уровне жизни, а в невыветрившемся духе братства, улетучившимся из Свободного мира. Иными словами в той самой необходимости нести ежегодную службу в армии, которую столь рьяно и искренне проклинают эту службу несущие. Важно и то, что иудаизм – религия дома Израиля, разросшейся семьи Иакова, - локальное, семейное дело без претензий на глобализацию, способствует внедрению человеческого братства, с какой бы высоты на него ни смотрели высоколбые (а, кстати, с какой?).

Со свободой тоже не просто. Алдановский Браун, напишет: "Мне дорога свобода мысли... Дал бы ее царь, принял бы с благодарностью: так же, если б дал диктатор... Что ж делать, у

царей и диктаторов ее не получишь". Это верно, свобода мысли для масс есть только в демократиях. Вопрос лишь, нужна ли массам свобода мысли? Для появления Декартов, Моцартов и Толстых народные школы – не нужны.

\*\*\*

В романах Алданова появляются Наполеон, Талейран, Кант, но по словам А. Бахраха, Алданову в душу запало кантовское: "великие люди блещут только на расстоянии, ибо великих людей, вообще, нет". В самом деле, Алданов в существование великих людей верил плохо. Впрочем, делал исключение для Толстого и Декарта. Выбор этот – не случаен. Оба основали религии разума, Декарт, заменив Б-га – первоначалом, запустившим пружину Вселенной; Толстой, заменив Б-га опрощением и добрыми делами. И в Толстовстве и в Картезианстве отсутствует Б-г живой. Странно, что Алданов этого не заметил.

Толстовская "доброта от ума" - мало эффективна, сам Лев Николаевич, еще не ставший толстовцем, заметит в "Воине и Мире", что только произвольные движения души имеют смысл. А став толстовцем, превратит жизнь своих близких в ад. Кто из нас не подрывался на mine "доброты от ума"? Нашим близким нужно сердце наше, а не ум, а "дальним" вообще ничего от нас не нужно. Время немного оставило от толстовства, доктрины беспрецедентно благородной и потому ни для никакой реальной жизни не приспособленной. Картезианство продержалось дольше, но наука XX века потрепала и его. В современном знании о природе мало что удовлетворяет Декартовым требованиям *прозрачности, категоричности и однозначности*.

Новый мир, отказавшийся от категоричности и однозначности, будет упорядочен совсем по-другому. Грань хаоса сместится. Алданов, однако, после Хиросимы сомневался, что этот мир, вообще, будет, ибо атомная бомба, в конце концов, непременно окажется в руках тех, чей мир вполне однозначен. Американского оптимизма у Алданова – не было.

\*\*\*

Рассудочная доброта, не всегда, но часто сводящаяся к охотному оказанию услуг по пустякам, имеет и другое имя – "джентльменство". По воспоминаниям современников Алданов был perfect gentleman. Оттого Алданову был близок другой, не характерный для России джентльмен – Чехов, застегнутый на все пуговицы и предпочитавший холодок в отношениях между людьми, не выносивший разговоров по душам и гримас бурного изъяснения чувств. Чехов и по-человечески был симпатичен Алданову, хотя Алданова жадно интересовала человеческая мысль, и весьма умеренно – люди; Чехова – наоборот (потому-то Чехов в

отличие от Алданова не вышел из моды). Что не помешало Алданову посвятить Чехову один из самых теплых и что редко одновременно бывает пронизательных своих очерков

Оба, кажется, органически недолюбливали Достоевского (открыто терпеть не могли Достоевского Бунин и Набоков). Алданов как-то буркнул: отродясь, не видал никаких роковых женщин, но женщин, живущих "под Настасью Филипповну", видел во множестве.

О страшном, копошащемся в человеческой душе и едва прикрытом тонкой пленкой цивилизованности, о "достоевщине" Алданов был осведомлен. "Человек себя знает, - писал Алданов, а потому уважать ему себя трудно". Но интересовала его сама пленка, а не то, что она скрывает, и что некоторые полагают глубиной, а некоторые с не меньшим основанием мерзостью.

\*\*\*

В существование великих людей Алданов верил плохо, но писал все-таки о них. И даже не великие люди у него часто стремятся жить "на высотах". Заметим, что наиболее жизнелюбивые, а также искреннее верующие люди к "высотам", как правило, не стремятся, а прекрасно обходятся заурядным (очень точное наблюдение Кьеркегора). Но, и то сказать, что о заурядных людях книги не напишешь, удивительное исключение – гоголевские "Старосветские помещики".

\*\*\*

Алданов говорил, что не видал ни роковых женщин, ни религиозных, ни революционных фанатиков, а вот людей стилизующих себя под фанатиков – хоть отбавляй. Странно, мне встречались люди, которые дали бы содрать с себя кожу за убеждения (в том числе и вполне дурацкие).

Не заметил Алданов и традиционных евреев, давно сообразивших, что методы передачи знания важнее самого знания, а способы трансляции истины важнее самой истины. Мельком упоминает Алданов-Ландау странных людей в черных, то ли смешных, то ли страшных одеяниях, как-то попавшихся в Варшаве на глаза Александру II. Алданов не заметил поразительной витальности этих странных людей, верующих в Б-га живого, как не заметил и самого Б-га живого.

\*\*\*

Алданов благоговел перед художественным гением Толстого, говорил, что чтение Толстого любого писателя вгоняет в депрессию, *так* не напишешь. Охотно соглашаюсь: так не напишешь. Бродский, Набоков полагали литературу феноменом языка, а не идей. Гурманам словесности Алданов - скучен. Языковых находок у него мало. Для картезианца Алданова дважды

два всегда четыре, между тем, в великой литературе, как говорил Набоков: дважды два пять, а то и корень из пяти. Впрочем, подобный взгляд на литературу скорее моден, чем абсолютен. Сам Алданов, абсолютной литературной вершиной считал Экклезиаста и первые страницы книги Иова, и тут охотно соглашаюсь.

Мне кажется, что повести Алданова лучше романов. "Азеф", "Ванна Марата", "Мата Хари" – шедевры исторической зарисовки. Великолепны и вставные новеллы в "Пещере".

\*\*\*

Алданов был поразительно добросовестным автором, он долго не мог успокоиться, сомневаясь в том, какую именно фразу говорил попугай Наполеона? Был старомоден и в этом, в нашем с вами мире одноразовых товаров добросовестность – не в чести. Тонкое понимание истории позволяло Алданову удачно предсказывать. Мастерство пророчества, кажется, утрачено безвозвратно. Удачные предсказания, вроде записки П. Н. Дурново, или статьи А. Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" можно пересчитать по пальцам одной руки. Но вот у Алданова в "Начале Конца" читаем: "именно наша эпоха, и, быть может, еще больше эпоха надвигающаяся благоприятны для развития так называемых метапсихических наук и разных видов оккультизма. Решаюсь даже предсказать: расцвет их будет в России. Материализм у нас свирепствует – и в прямом, и в переносном смысле слова – уже тридцать с лишним лет, реакция против него неизбежна во всех ее формах, в хороших, и не в очень хороших".

Я подозреваю, что Кашпировский и Глобы Алданова не читали, а если бы читали, вот бы порадовались. Их приход, оказывается, предсказан, причем историком, в предсказания не верившим. "Мудрые восточные цари приглашали к себе на совещания, вместе с государственными людьми, волхвов и чародеев. Что ж, если бы нынешние правители держали при себе для совета какого-нибудь хорошего волхва, то от этого никакой беды бы не произошло бы, - Соломон был не глупее их. А если волхвы врут, то и государственные люди тоже ничего не предвидели с сотворения мира. Забавно, что прочнее всего держались в истории договоры и учреждения, созданные психопатами" ("Живи как хочешь"). Менее всего здесь Алданову хотелось бы блистать горьковски, отточенными афоризмами. Алданов суммирует опыт человека, пережившего безумие мировых войн, уход под воду России, крах надежд на разумное устройство мира.

А чего стоит вот такое предсказание: "... простые люди Франции, познав прелесть земной курицы в супе, о которой только мечтал Генрих IV (да то не мечтал, а врал для потомства) и

которую им все-таки дала демократия, стали за одну ночь производить меньше потомства, чем прежде. И с неумолимостью закона больших чисел на авансцену истории выдвигаются другие народы, гораздо менее одаренные, но и менее заботящиеся о супе для своих потомков. Под руководством полоумных вождей они в рекордное время построят Коричневый дом, вдвое больший, чем Версальский дворец" ("Начало Конца"). А ведь это написано в 1937 году, задолго до того как француз по настоящему распробовал вкус курицы в супе, до мусульманского наводнения, затопившего Европу.

В замечании в скобках, о вращении для потомства Генрихе IV – весь Алданов, плохо веривший в существование людей, заботящихся о курице в *чужом* супе.

В 30-е годы, наблюдая за вектором мировой литературы, Алданов скажет, что если в ее развитии не произойдет ничего радикального, то вскорости воспоминания леди Чаттерлей, покажутся мемуарами тургеневской девушки, - как в воду глядел. Фанатиком разума становиться не нужно, но читая Алданова, убеждаешься в том, что ум, наблюдательность и знание жизни, чего-нибудь, да стоят.

Алданов – писатель для немногих, для *happy few* (или, может быть, *unhappy few*) полагающих, что все достоинство человека – в способности мыслить. Позволю и себе напоследок небольшое предсказание: если вектор развития культуры не сменит направления, число этих немногих будет все меньше.

Марк Алданов, родился в 1886 г. в Киеве, в интеллигентной, состоятельной еврейской семье Израиля Ландау и Шифры Зайцевой, окончил физико-математический, юридический факультеты Киевского университета и Парижскую высшую школу политических наук. В 1918 году покинул Россию. С 1940 г. в США. Умер в 1957 г. в Ницце. Автор десятков исторических романов и повестей и монографии "Актинохимия".



## Лорина Дымова

### «Мчат года. Я тебя не забуду...»

#### О Евгении Винокурове



рудно объяснить, почему сегодня утром, проснувшись, я почувствовала острейшую необходимость писать о нем? Почему почти два года, которые прошли со дня его смерти, мне и в голову не приходило записать наши разговоры, его шутки и размышления вслух, но именно сегодня, я отложила все дела и села за письменный стол?

Решаем не мы – кто-то решает за нас, а наше дело только повиноваться. И я повинуюсь, потому что давно уже боюсь, что никто, кроме меня, не сможет рассказать о нем каких-то очень важных вещей – просто не вспомнит. А может быть, что-то знала о нем только я.



Е.М.Винокуров

Началось это в 1970 году, когда я среди других болгарских стихов перевела стихотворение моего друга Ивана Николова.

Посвящено оно было Евгению Винокурову, поэту, которого я читала и уважала, впрочем не питая особого пристрастия к его стихам. Перевести стихотворение было легко, напечатать же значительно труднее. Я была "начинающей поэтессой", и каждая публикация превращалась в событие, которое надо было, как военную операцию, упорно и тщательно подготавливать. Иван Николов посоветовал мне простой ход: найти Винокурова и показать ему стихотворение. По мысли Ивана, Винокуров, польщенный тем, что какой-то поэт в другой стране чит его творчество и посвящает ему стихи, непременно поможет это стихотворение напечатать – разумеется, вместе с другими стихами.

Узнав, что Винокуров ведет семинар в Литературном институте, и выяснив время занятий, я просто явилась в институт и стала ждать его в вестибюле, страшно волнуясь. Он появился, я остановила его и сбивчиво начала говорить о болгарском поэте, о стихотворении, о переводе. Понять меня, видимо, было непросто, и Винокуров сказал: "А вы не хотите посидеть у меня на занятиях? Посидите, послушайте, а после семинара поговорим". Конечно, я хотела. И не только ради последующего разговора. Дело в том, что окончила я технический институт, и Литературный институт был для меня чем-то неведомым и притягательным, доступным только избранным, и было страшно интересно посмотреть, что же там происходит внутри.

Винокуров был в ударе, сыпал парадоксами, делал остроумные замечания по поводу стихов своих семинаристов и сумел заставить их так разговориться, что семинар всерьез затянулся. Но я не спешила. Всё для меня было ново, интересно, и я опять пожалела, что училась не тому и не там. После семинара я еще раз, уже более внятно, рассказала Винокурову о стихах, которые перевела и, неожиданно для себя, о том, как трудно, почти невозможно печататься, и что этой подборке переводов, как многим другим, суждено остаться в столе. Он слушал, с пониманием кивал и, в конце концов, сказал: "Вот мой телефон. Позвоните через пару дней, я кое с кем поговорю". И напоследок: "Если хотите, можете ходить ко мне в семинар. По средам".

Дней через пять – звонить раньше мне казалось неудобно – я позвонила ему. "Куда же вы пропали? – недовольно сказал он. – Я уже давно договорился, а вашего телефона у меня нет". Потом он дал мне подробное наставление, куда пойти, к кому обратиться и что сказать. Это был еженедельник "Литературная Россия", хоть и не первоклассное литературное издание, но в те годы еще не черносотенное и вполне престижное, во всяком случае, для меня, находящейся в самом низу литературной лестницы. Я была очень довольна и благодарна, а услышав: "Так вы придете в среду на



семинар?" - вообще почувствовала себя счастливой, потому что поняла, что отношения наши не закончатся после желанной публикации. И действительно, прошло много месяцев, давно появилась в "Литературной России" моя подборка, а я продолжала ходить в Литературный институт на семинар к Винокурову. Публикацией же он был чрезвычайно доволен, но, как выяснилось значительно позднее, вовсе не по той причине, которую вычислил Иван Николов. Через несколько лет, когда мы с Винокуровым уже всерьез подружились, и он был со мной совершенно откровенен, я напомнила ему все подробности нашего знакомства и рассказала о "хитром ходе" моего болгарского приятеля. Винокуров засмеялся и покачал головой:

– Ну, что может изменить в моей жизни какая-то публикация какого-то неизвестного поэта, пусть даже с посвящением мне? Ни-че-го!

– А зачем же вы это сделали? И почему так радовались, когда стихи вышли? – не унималась я.

– Во-первых, я никому ни в чем не могу отказать, и мне повезло, что я не родился женщиной: я бы никому никогда не отказывал. Во-вторых, мне очень хотелось помочь тебе. И, в-третьих, я был рад, что это удалось сделать: значит, и я все-таки могу чем-то помочь.

Первый довод я восприняла как шутку, второй, по молодости лет и по самонадеянности, как должное, а третий меня озадачил и удивил. Мне казалось, что Винокуров, как и все поэты его когорты, всемогущ, и одного его слова достаточно, чтобы устроить судьбу любого. Но это было совсем не так. И объяснялось это только лишь присущей ему душевной робостью, которая казалась мне странной и необъяснимой, несмотря на то, что свойственна она была и мне. Про себя мне было понятно: я не получила гуманитарного образования, у меня не было литературной среды, в которой бы я росла, чувствовала себя "своей" и которая помогла бы мне хоть в какой-то мере оценить себя и определить собственное место в литературной жизни. Я просто свалилась с неба в эту самую литературную жизнь, все время ощущала незаконность своих занятий поэзией и всегда была готова к тому, что кто-то мне скажет, что я занимаю чужое место.

Но Винокуров? Известный поэт, принадлежащий к могучему, всесильному поколению поэтов-фронтовиков, выпускающий чуть ли не каждый год по книге, заведующий отделом поэзии в "Новом мире", член редсовета в издательстве Советский писатель". Неужели этого недостаточно, чтобы иметь и делать всё, что хочешь?

Всё было так, и всего этого за глаза хватило бы любому

другому, чтобы не просить, а требовать чего бы то ни было и для себя, и для того, кому хочешь помочь. Но для этого нужен был другой характер и другое ощущение жизни.

Винокуров раньше многих других, еще в юности, понял суть государства, в котором жил, понял полную беззащитность человека перед чудовищной государственной машиной, которая может раздавить кого угодно даже без всякой причины, что в любую минуту благополучная жизнь может кончиться. Его, как и любого другого, ни за что ни про что могут забрать, посадить, уничтожить, и каждый нормально прожитый день – это счастье: следующего дня может не быть; каждая вышедшая книга – это чудо: следующая может не выйти. Человека не спасет ничего – ни то, что он честно прошел войну, ни дар, данный от Бога, ни слава, ни высокий пост. "Наоборот, – говорил Винокуров, – чем незаметнее ты живешь, тем больше шансов уцелеть". Это ощущение его не покинуло и после двадцатого съезда партии, и в хрущевско-брежневские времена. Суть государства осталась та же, идеология не изменилась, а значит, возможно всё. И он "не возникал", был благодарен судьбе за любую радость: за новую изданную книгу, за зарубежную поездку, но ничего ни у кого не требовал; помогал же другим (да и свои дела делал в основном так же), используя только личные знакомства, связи, дружеские отношения.

Желая помочь кому-то издать первую книжку, он чаще всего звонил не директору или главному редактору издательства, что было бы вполне естественно для писателя такого ранга, нет, он звонил какому-то рядовому, незаметному редактору, который, конечно, не имел в издательстве никакой силы, но ориентировался в реальной обстановке, знал, как обойти подводные рифы. И редактор, любящий винокуровские стихи, часто тоже поэт, которому в свое время помог тот же Винокуров, брал шефство над его новым протеже, говорил, куда и когда звонить, в какое точно время и в какую дверь принести рукопись и так далее. И – чудеса! – книга выходила. Не всегда, но иногда эта авантюра удавалась.

И только спустя несколько лет, узнав Винокурова ближе и услышав множество его рассказов, я поняла его радость тогда, в самом начале нашей дружбы, из-за того, что и он, оказывается, может чем-то помочь.

И другая его фраза – что он не в состоянии никому отказать – тоже не была только шуткой. Мягкий по натуре человек, он помогал каждому, кто догадывался его попросить: давал рекомендации в Союз писателей, устраивал публикации в журналах, направлял на семинары молодых литераторов,. Хорошо еще, что не слишком часто и не слишком многим приходило в

голову обращаться к Винокурову с подобными просьбами: подавляющему большинству посторонних людей он казался сухим, равнодушным, не склонным к общению. Был же он просто невероятно закрытым для случайных людей, никогда и никому не пытался понравиться, и его оставляли в покое. Но все, кто его знал: и его студенты, и те, кого когда-то столкнула с ним судьба, – с радостью общались с ним, приходили с самыми разными просьбами, и он, часто неохотно, но, тем не менее, "слезал с дивана", звонил, писал, помогал.

Самым трудным для него было, пожалуй, именно слезть с дивана. Свою репутацию ленивого человека он подтверждал и словами и делами. "Как мне повезло, что я поэт, – говорил он мне много раз. – Я могу целый день, целую жизнь ничего не делать, просто сидеть дома, читать, думать, писать стихи. Не представляю себе, как бы я каждый день ходил на службу к определенному часу? Нет, никем бы я не мог быть – только поэтом!"

Рассказывал, до сих пор не переставая удивляться, как легко и удачно сложилась его литературная судьба: его сразу заметил и выделил среди других студентов литературного института всемогущий тогда Илья Эренбург. Напечатал подборку стихов Винокурова, кажется, в "Литературной газете", предварив ее своей врезкой, где сказал о новом поэте самые высокие слова. И после этого, по словам Винокурова, всё пошло само собой. С Эренбургом же его добрые отношения продолжались долгие годы. Каких-то вещей в жизни Эренбурга Винокуров, по его собственному признанию, не понимал. Вспоминал, как, прочитав в "Правде" разгромный "подвал", посвященный Эренбургу, смертельно испугался: в сталинские годы такая статья в "Правде" была равнозначна смертному приговору. После такой статьи человека "брали", и он исчезал навсегда. В ужасе Винокуров поехал к Эренбургу (что в те годы могло считаться подвигом, потому что в целях самосохранения люди, как правило, немедленно начинали избегать такого заклеянного человека) и застал того уютно сидящим за столом в кабинете, потягивающим коньяк. "Илья Григорьевич! - выкрикнул Винокуров. – Вы видели статью в "Правде"?". "Видел", – с улыбкой ответил Эренбург. "Что теперь будет?". "Ничего, – невозмутимо произнес мэтр. – Завтра утром я, как и собирался, лечу в Париж". И насладившись произведенным эффектом, добавил: "Запомните, Женя, со мной никогда ничего не может случиться".

"Не понимал тогда, не понимаю и сейчас", – пожимал плечами Винокуров.

Я очень любила приходить к нему домой, в его комнату с плотно зашторенными окнами, где в любое время дня горел свет и

где он так упоительно "ничего не делал". Все стены его кабинета были уставлены книжными полками с прекрасными книгами. Но больше всего меня привлекал закрытый на ключ шкаф, где стояли книги, не доступные взгляду тех, кто оказался в доме случайно. Это был "тамиздат" – книги, привезенные "оттуда", из-за границы. Благодаря именно этому запертому на ключ богатству, я значительно раньше других прочла и Солженицына, и Гроссмана, и еще много важных и необходимых книг.

Каждый раз, возвращаясь из зарубежной поездки, Винокуров обязательно привозил "крамольные" книги. Привозил, несмотря на то, что сопровождающие его "искусствоведы в штатском" иногда уговаривали его, а иногда предупреждали тоном приказа, чтобы он не вздумал везти домой "антисоветскую литературу". Евгений Михайлович рассказывал мне, как В.С.Коткин, сотрудник Иностранной комиссии Союза писателей, сопровождавший его в поездке по Америке, умолял его: "Евгений Михайлович! Не покупайте антисоветчины – запрещено! Ну что я могу сделать? Вот порнографию – можно. Сколько угодно!"

На столе у Винокурова всегда лежала раскрытая книга, часто даже не одна. Читал он медленно, размышляя над каждой фразой, делая пометки на полях. С особым интересом – книги по философии, истории, мемуары. Из стенограмм съездов партии, делал выписки, уличал Ленина и его соратников во лжи, непоследовательности, жестокости, мог часами рассказывать мне об этом, причем каждую мысль повторял по два, три, иногда по пять раз, все точнее и точнее ее выражая и приходя, в конце концов, уже к абсолютно четкой формулировке. Моя же роль в этих "беседах" заключалась в том, что я молчала и кивала головой, и он был доволен, потому что ему нужен был не собеседник, а слушатель. Была довольна и я – настолько захватывающе интересно, остро и не стандартно было всё, что он говорил.

Когда вошел в моду Валентин Распутин, Винокуров заинтересовался, чем же так сильно увлечена литературная публика. Купил в писательской лавке только что вышедшую книгу Распутина и сел читать. "Открыл первую повесть, – рассказывал он мне, – мужик ищет под лавкой топор; читаю страницу – ищет, читаю вторую – ищет. Стало скучно, закрыл книжку и поменял на Шопенгауэра. Так и не знаю, нашел он топор или нет".

Для Винокурова, с его абсолютно независимым вкусом, никогда не имело значения общепринятое в интеллигентских кругах мнение, он верил только собственным ощущениям и не избегал высказывать свою точку зрения где угодно, пусть даже она шла в разрез с тем, что было принято. На просмотре в ЦДЛ фильма Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического

пианино" стояла восторженная благоговейная тишина: Михалков считался гениальным режиссером, и зрители априори знали, что фильм гениален. Винокуров сидел и все полтора часа откровенно скучал: не нравился ему в фильме надрыв и ложная многозначительность. Зажегся свет, и публика стала обмениваться восторженными восклицаниями. "Хорошо, что я успел предупредить своих (речь шла о членах семьи), что фильм плохой, и они не успели включиться в общий хор!" – с улыбкой говорил он.

Каждый раз, возвращаясь от Винокурова, я думала, что надо записывать всё, что он говорит, – так глубоко, парадоксальны и остроумны были его рассказы и замечания. Говорила об этом ему, он смеялся: "Хочешь быть моим Эккерманом?"

Хотела, но не стала. Не хватило времени, собранности. Хорошо хоть, что на протяжении долгих лет, приходя домой, я немедленно рассказывала обо всем, что слышала, своему сыну, который с нетерпением ждал моего возвращения от Винокурова (сын, пишущий сам, очень любил стихи Винокурова и считал его одним из самых значительных современных поэтов). Прямо от двери я выкладывала всё, о чем мы говорили, причем мой ненасытный слушатель требовал подробностей, и благодаря его молодой цепкой памяти, многое не забылось и навсегда осталось у нас в семье. Масса винокуровских фраз, афоризмов, шуток вошли у нас дома в обиход и стали частью нашего лексикона.

Мой сын, как большинство нормальных мальчишек, долгое время собирал марки, чего Винокуров совершенно не понимал и считал это занятие абсолютно бесперспективным. "Собирать марки, – говорил он, – всё равно, что отапливать космос. После долгих усилий ты, наконец, достал какую-то марку, рад, а за это время тысячи печатных станков напечатали тысячи новых марок. Что дальше?"

Остроумны, смешны и точны были его рассуждения о семейной жизни. Его чрезвычайно занимала тема совместимости, а вернее, несовместимости мужчины и женщины.

– Человек женится, – говорил он, – все равно что надевает новую рубашку. Рубашка красивая, цвет ему идет, ткань мягкая – всё хорошо, только в одном месте чуть трет воротничок. Но это пустяк – ведь всё остальное так удачно! Но через некоторое время воротничок уже так натер шею, что терпеть становится невозможно – забываешь, и что рубашка красивая, и что ткань мягкая, и что все вокруг мечтают о такой же. Хочешь одного: снять ее немедленно и избавиться от проклятого воротничка. Всё остальное не важно!

Или еще:

– Мужчина и женщина – два совершенно не похожих друг

на друга существа, с разной нервной системой, с разной психологией, с разными ощущениями. Понять друг друга они просто не могут. Муж приходит домой и говорит: "Нас Ивановы позвали в гости, пойдем?" Жена отвечает: "Мне не хочется, иди один". Муж адекватно и доверчиво реагирует на ее слова и идет к Ивановым один. Когда он возвращается домой, разыгрывается невероятный скандал. Оказывается, жена тоже хотела пойти в гости, но ей показалось, что ему хочется пойти одному, а она не желала ему навязываться. И теперь она видит, что это действительно так – вон с какой охотой он пошел один, даже не попытавшись уговорить ее пойти вместе. Если бы он хотел, чтобы она пошла, он не ухватился бы за первую же фразу, а предложил бы ей пойти с ним еще раз, и два, и три. И она с удовольствием бы пошла...

– Мужчина прост и доверчив, – подводит итог Винокуров, – он слышит слова и реагирует на них. А этого-то как раз делать и нельзя. Именно слова в данном случае ничего и не значат. Ну, как тут понять одному человеку другого? Понять нельзя, можно только приспособиться.

И еще одна винокуровская фраза чрезвычайно веселила нас с сыном:

– Когда женщина говорит: "Милый, если бы я была не я, но точно такая же, как я, ты бы меня любил?" – мужчина должен быть начеку. Необходимо ускользнуть от ответа, потому что любой ответ может показаться обидным.

Винокуров уверял меня, в те годы отчаянную максималистку, что судить о человеке – о его порядочности, надежности – по отношениям с противоположным полом ни в коем случае нельзя. "Это особая сфера, – говорил он, – тут всё непонятно и непредсказуемо".

С удовольствием, хотя и с некоторым недоумением, вспоминал о молодости, о бесконечных выпивках, пьяных компаниях. "Почему-то мало что помню. Наверное, потому что много пили. Помню, как ездили в какую-то мастерскую какого-то художника. Очень хотелось спать. Лежал на какой-то кушетке. Непонятно!"

Как-то я пришла к нему в неважном состоянии: болела голова, настроение было вялым.

– Что с тобой? – спросил Винокуров. – Неужели вчера выпила?

– Выпила, – призналась я.

– Ну?! – оживился он. – Где? С кем?

– Да нигде... Дома. С мужем.

– Ну, это неинтересно, – разочарованно покачал он

головой. – Это все равно, что мужик будет рассказывать друзьям: "Ох, и надрался же я вчера с мамой!.."

Интересны и, как правило, очень смешны были его характеристики писателей. Как-то заговорили о Цыбине. У Винокурова были с ним вполне хорошие отношения, однако он уверял, что поддерживать такие отношения с Цыбиным непросто: "Он все время хитрит, темнит. Как крестьянин на деревне, про которого всё известно: есть у него корова, поросенок и четыре курицы. Всем всё ясно, а он всё темнит, на что-то намекает, чего-то не договаривает".

О том, что умер Константин Симонов я узнала от Винокурова. Грустно сообщил он мне об этом, а через некоторое время сказал: "Ну, уж если даже Симонов не смог договориться, что говорить о нас, простых смертных!"

Рассказывал об одном из своих друзей – известном, широко издающемся писателе, а значит, очень обеспеченном человеке: "Всё время жалуется, что опять где-то ему не доплатили, опять нет денег. Мне надоело, и как-то в ответ на его бесконечные жалобы я говорю:

– Слушай, если дело обстоит так ужасно, дети плачут, кормить их нечем – плюнь на всё! Пропади всё пропадом! Сними деньги со сберкнижки! Но только с одной – не нужно со всех! Не надо безумствовать!"

Как-то процитировал высказывание Ахмадулиной, заявившей: "Чтобы быть свободной, надо опуститься".

– В этом есть смысл, – додумывая мысль, сказал он. – Но что делать, например, мне, которому каждый день необходима смена чистого белья?

Однажды я рассказывала Винокурову о своей поездке с группой писателей в подмосковный город, где проходили "Дни советской литературы" – обычное в те годы "мероприятие" с выступлениями, обильными возлияниями и подарками. Когда я стала рассказывать о том, как достаточно известный, имеющий всё, о чем можно только мечтать, писатель радовался, получив в подарок набор вилок и ножей, и когда я стала удивляться: почему такая радость? Чего ему не хватает? – Винокуров примирительно сказал: "Человек мал и слаб. Ему подари карандашик – он и рад".

С иронией относился не только к другим, но, что ценно, и к себе тоже – как он говорил, "к себе любимому". Смеясь, рассказывал, как в знаменитом учреждении под названием ОВИР, пытаясь ускорить оформление документов жены и дочери, он признался, что он-то и есть поэт Винокуров. Милиционерша страшно обрадовалась, засветилась и попросила подарить ей сборник стихов ... Расула Гамзатова.

Давая мне прочитать рецензию на свою новую книжку, он, дурачась, спрашивал меня: "У тебя нет ощущения, что имеет место явный недохвал?"

И еще одна фраза, которую Винокуров часто говорил по самым разным поводам. Когда я с ним советовалась, надо ли кому-то что-то сказать, или, наоборот, не говорить, чтобы он не подумал, не обиделся и так далее... – Винокуров останавливал меня: "В нашем деле главное – не перетончить!" И все становилось ясно. И смешно.

Терпеть не мог, когда кто-либо торжественно относился к самому себе, к своему "творчеству". И сам никогда этим не грешил. Рассказывал мне: "Вчера позвонили из издательства, что пора сдавать переводы, а я их еще и не начинал. Пришлось садиться за работу. Я положил на стол рукопись, включил настольную лампу – прямо как настоящий писатель!"

И вслед за этим: "Счастье – это тысяча строк верлибра для перевода по рублю сорок за строчку массовым тиражом".

Ироническое отношение к себе соседствовало в Винокурове с невероятной ранимостью. Любое недоброжелательное или критическое замечание в его адрес даже совершенно постороннего человека, не говоря уже о друзьях или близких, могло выбить его из колеи на несколько дней. Он, буквально, заболел. В самом начале, когда мы с ним только познакомились, он попросил меня: "Если ты услышишь, что кто-то говорит обо мне плохо, не передавай мне, ладно?". Думаю, что именно этим страхом быть уязвленным объясняется его неконтактность, нежелание общаться с новыми людьми. Читая мне по телефону только что написанное стихотворение, он заранее "договаривался" со мной: "Только не суди слишком строго, не ругай. Если не понравится, скажи что-нибудь нейтральное, а то я дальше писать не смогу".

Этим же объясняется, на мой взгляд, и то, что Винокуров не любил публичных выступлений, отказывался от творческих вечеров, которых упорно добивались другие. Еще его угнетало, что публика в своем большинстве не понимает поэзии, что ей нравятся чисто внешние эффекты, и выступать перед таким залом ему казалось бессмысленным, а иногда и унижительным. Долгие годы он не мог забыть один литературный вечер. "Как раз передо мной, – рассказывал он, – один графоман читал "с выражением" свои невероятные "чувствительные" стихи. В последнем стихотворении, где говорилось, что его настигла пуля и что он, окровавленный, упал на землю, для пущего эффекта, он в заключение, действительно, упал на пол. Что было с залом! Публика редела от восторга! Мне было так стыдно! И за этого графомана, и за людей в



зале, и за то, что я тоже в этом участвую. Ну, как можно было после этого читать стихи?"

И прочитав мне однажды новое – грустное и пронзительное стихотворение "Я когда-нибудь снимусь над молом..." и выслушав мои восторги, сказал, довольный: "Хорошо, что получилось такое жалостливое: теперь будет, что читать со сцены".

Как-то я принесла Винокурову показать свою публикацию в газете. Он попросил меня оставить газету – что-то его в ней заинтересовало. Я сказала, что оставлю, но потом заберу. Он понимающе спросил: "Собираешь публикации?" Я кивнула. Он сказал: "Когда-то и я вырезал всё, что публиковал и что писали обо мне, – вырезал и складывал в папку. А потом подумал: ну, хорошо, призовет меня Бог, я предстану перед ним, а в руках у меня не одна, а целых две или даже три папки с вырезками – ну и что? И перестал этим заниматься".

Смешно изображал встречи писателей-фронтовиков, их разговоры, воспоминания о фронтовых днях:

– А помнишь, в какую заварушку мы попали под Ржевом? Копирка кончилась! Скрепок не подвезли!

Когда стало модным утверждать, что никто из писателей во время войны в действующей армии не был, а, в лучшем случае, был корреспондентом в какой-нибудь фронтовой газете, и когда это говорили о Винокурове, он даже не пытался доказывать обратное – настолько глубоко угнездилась в нем война. Насколько ярко жили в нем дни, когда он девятнадцатилетним мальчишкой вместе с двумя или тремя старыми (как ему тогда казалось) деревенскими мужиками, служившими под его началом, волокли по мокрому снегу пушку зная, что их расстреляют, если они не доволокут ее в срок. Он рассказывал мне, как они ночевали прямо в снегу и как, услышав по радио появившуюся тогда сурковскую "Землянку", один из мужиков с завистью сказал: "Хорошо у них там в тылу!" Он не желал никому ничего доказывать, хотя были и доказательства: истрепанная, еле живая справка из медчасти о контузии, справка из госпиталя, где было указано и место службы, и звание. Но, как известно, не имеет смысла доказывать что-либо тому, кто вынес приговор заранее.

С большой нежностью говорил о дочери, с гордостью, подробно рассказывал о ее литературных успехах. И с удивлением: "А Ира ведь стала первоклассным критиком!" Вспоминал разные истории из ее детства, хотя признавался: "Мы сблизились с ней позднее. В детстве воспитывала ее жена. Моя же роль заключалась в том, что я загораживал грудью ее колыбель от пьяного Евтушенко и других приятелей. Вообще старался к себе в дом их не впускать.

Не приваживал".

Рассказывал:

"Ира всегда была умной девочкой и смотрела в корень. Взрослые разговаривают, а она тихо сидит и играет в куклы.

Кто-то говорит:

– Позвонили в дверь. Я открыл – вошла почтальонша.

Ира поднимает голову и спрашивает: "Красивая?"

Любое женское имя, возникающее в разговоре, всегда вызывало у нее именно этот, один-единственный вопрос".

Вспоминал, как переживал, когда дочь поступала в университет. Говорил, что жизнь должна с самого начала пойти "правильно". "Это как пальто: важно правильно застегнуть его на первую же пуговицу – тогда и всё оно застегнется как надо. А если первую же пуговицу застегнуть не так, всё и дальше пойдет наперекосяк. Вся жизнь".

Однажды говорили о том, что каждый человек сознает, что делает, помнит свои грехи. Винокуров рассказал об одном эпизоде, о котором я слышала и от других – очевидцев этого происшествия. В доме литераторов, в ресторане, сидел Евтушенко, уже изрядно выпивший, с какими-то иностранцами, тоже писателями. Пришел Винокуров, сел за другой столик, и Евтушенко стал кричать на весь ресторан, обращаясь к своим гостям: "Смотрите! Это Женя Винокуров! Поэт, у которого в стихах вы ни разу не встретите слов "Ленин", "Сталин", "партия!" Только выпив, Евтушенко мог вслух сравнивать не в свою пользу себя с Винокуровым: ведь речь шла о том, что Винокуров в отличие от него не пишет «нужные» и злободневные стихи-однодневки.

Винокуров же, как всегда, снижая пафос, говорил: "Я не писал таких стихов и никогда не подписывал никаких позорных "коллективных писем" вовсе не потому, что я такой смелый. Просто мои диссидентствующие жена и дочь очень строго следили за моей нравственностью, и если бы я себе позволил что-нибудь подобное, дома разыгрался бы такой скандал, что упаси Боже!".

Но независимо от того, хотел он этого или нет, в его стихи все равно прорывались, просачивались "крамольные" мысли – о стране, о системе, о загнанности человека и подавлении его этой самой системой. Как ни удивительно, стихи эти даже публиковались: ни один из тех, кто направлял литературу в "нужное" русло, не вчитывался в стихи Винокурова – настолько высока была репутация его, фронтového поэта, в глазах начальства. А я шутил предлагала ему: "Хотите, я составлю из ваших стихов такую книжку, за которую вас посадят?". Он смеялся, делал испуганные глаза и махал руками: "Нет уж, благодарю!".

Писал Винокуров только тогда, когда пишется, и только о

том, о чем пишется. Он настолько не понимал, как можно писать "по заказу", что однажды похвастался мне, что написал по просьбе почтальонши стихотворение к какому-то юбилею ее подруги для прочтения за праздничным столом. Там было что-то про Наталью, которой он желал "никогда не встречаться с печалью". "Представляешь, – гордо говорил он мне, – я написал стихотворение на голой технике! Оказывается, могу!". Естественно, я не удержалась от смеха, что чрезвычайно его удивило. А когда я сказала, что мы с сыном, который в это время был на практике в другом городе, переписываемся только стихами, причем в каждом письме бывает по 5-6 страниц, изумлению Винокурова не было предела, и смотрел он на меня с уважением и завистью.

За долгие годы – более двадцати лет нашей дружбы – мы очень хорошо узнали друг друга. Виделись не часто, но звонили друг другу каждый день, иногда по несколько раз в день, и разговаривали часами. Винокуров горевал о своих ближайших, рано умерших друзьях – Льве Гинзбурге, Юрии Трифонове, и дорожил новыми, удивлялся, что и в таком возрасте друзья иногда появляются. Те, кто его мало знал, упрекали его в эгоизме. Я этого подтвердить не могу: он всегда был чрезвычайно внимателен к моим делам. Хотя и у меня с ним иногда возникали казусы. Однажды я пришла к нему прямо из издательства "Советский писатель", где у меня лежала рукопись стихов и где меня в очередной раз обманули. Страшно огорченная, я стала рассказывать о возмутительных вещах, происходящих в отделе поэзии. Винокуров внимательно выслушал меня и, ни слова не говоря, поднял телефонную трубку. Я замерла: неужели он звонит Егору Исаеву (тогдашнему заведующему отделом поэзии)? Да, он звонил ему.

– Егор? – услышала я. – Это Винокуров. Как у тебя дела? Что нового? Что там с моей книжкой? Сдана в набор? Отлично! До свиданья.

Положив трубку и увидев мой совершенно растерянный, изумленный взгляд, он понял, что произошло, обмер и забормотал: "Извини, ради Бога! Извини! Я понимаю... Я понимаю... Просто твой рассказ напомнил мне, что я должен ему позвонить..."

Но я ничего не могла ответить, потому что у меня начался приступ совершенно безумного, истерического смеха. Евгений Михайлович сначала держался, но потом начал хохотать вместе со мной, приговаривая: "Извини... Ничего... Я завтра с ним поговорю про тебя... На редсовете..."

И действительно, поговорил. И сделал всё, что мог.

И еще я помню, как остро переживал он мой прием в Союз

писателей, как звонил "нужным людям", кого-то предупреждал, кому-то что-то обещал, а в день, когда меня "обсуждали" на приемной комиссии, сидел вместе со мной в буфете дома литераторов и ждал результатов обсуждения. И обвинить в эгоизме я его не могу, что бы о нем ни говорили другие.

Когда произошла история с "Метрополем", самиздатским журналом, вышедшим на Западе, и КГБ, воспользовавшись случаем, начало проверку литераторов на лояльность, к Винокурову прибежал встревоженный Лев Гинзбург, его ближайший друг, бывший в то время председателем секции переводчиков. Его обязали выступить на собрании в Союзе писателей и, будучи председателем секции, уклониться от выступления или не явиться на собрание он не мог. Клеймить же "предателей" – молодых поэтов и прозаиков, участвовавших в этом издании, требовать для них жестокой кары – что предполагалось – он тоже не мог, поскольку был человеком и порядочным, и умным. Гинзбург всегда и везде громогласно заявлявший, что самый умный человек из всех встречавшихся когда-либо на его пути, это Винокуров, естественно, пришел советоваться к этому самому умному человеку. "А ты говори о том, – сказал Винокуров, – что молодым у нас очень трудно пробиваться и поэтому они вынуждены идти на необдуманные поступки. Посоветуй выпускать новый журнал специально для молодых, а то везде печатают только зубров – куда же молодым податься? Чуть отклонись от заданного направления".

Вечером после злополучного собрания чрезвычайно довольный Гинзбург рассказывал Винокурову, что именно так и построил свое выступление. Партийное начальство, хоть и понимало, что не всё здесь чисто, тем не менее, ничего не могло ему инкриминировать, а диссиденты, участвовавшие и не участвовавшие в опасной акции, ловили его в коридоре и жали руку.

Мне Винокуров тоже давал множество советов, которые, несмотря на их шуточный тон, стоило принять во внимание. Однажды, услышав, как в разговоре с малознакомым человеком я, не помню уже по какому поводу, с вызовом сказала ему, что не понимаю, какое значение для чего бы то ни было имеет национальность, и что меня он тоже может считать еврейкой, поскольку еврейкой была моя мама, Винокуров сказал мне: "Очень хорошо, что ты так к этому относишься, но не педалируй – это ни к чему. Есть три вещи, которые в литературной среде не прощаются и мешают пробиться: талант, интеллигентность и еврейство. Так что не педалируй!"

Говорил, что бессмысленно, если нет протекции, нести в

журналы стихи – пусть даже гениальные. "Никого не волнует, хорошие стихи или плохие – не в этом дело. Просто печка набита своими дровами и для других нет места." Увы, это было так, и в последние годы моей жизни в Москве, когда Винокуров ушел из "Нового мира" и, оказавшись не у дел, ничем не мог помочь, я перестала даже предлагать в журналы свои стихи, потому что результат был известен заранее.

Невероятным образом мудрость и рассудительность сочетались в Винокурове с наивностью, и иногда он удивительно напоминал ребенка. Как-то вечером мы зашли поужинать в Дом актера. Официант подошел к нам принять заказ. Винокуров заказал какую-то закуску, что-то горячее, а напоследок сказал: "И одно кофе". Официант кивнул, отошел от стола, и вдруг Винокуров в панике закричал ему вслед: "Минуточку! Минуточку!". Я, не понимая, в чем дело, испугалась. Официант вернулся, и Винокуров поправился: "Один кофе!". И с облегчением откинулся на спинку стула.

Однажды, когда я пришла к нему, он рассказал, что накануне вечером ему позвонил его приятель и спросил, слышал ли он, что над Москвой висят летающие тарелки. Винокуров, очень склонный верить в необъяснимые явления, немедленно поверил, испугался, решив, что это, скорее всего, начало ядерной войны, и поскольку всё равно жизнь кончена, подошел к буфету и съел из него все конфеты, к которым никогда не притрагивался, поскольку был диабетиком, и держал их исключительно для гостей. Я удивилась: "А вы так любите конфеты?"

"Да нет, не очень. Но надо же было что-то сделать!"

Еще один раз я столкнулась с его страхом перед сверхъестественным, когда он попросил посвятить ему стихотворение "Журавль", которое считал у меня лучшим. Я ответила, что, конечно, хотя вообще-то оно написано как продолжение разговора с одним моим другом, тоже поэтом, который потом покончил с собой. Так что на самом деле стихотворение это принадлежит ему, моему покойному другу, но если Винокуров хочет... Винокуров испуганно замахал руками: "Нет, нет, не надо. С этим не шутят".

И рассказал в связи с этим, как много лет назад ему стал сниться чуть ли не каждую ночь умерший отец. Во сне он что-то настойчиво ему говорил, Винокуров пытался понять, но не мог, и это его беспокоило. Он рассказал об этом дома, и вскоре сны прекратились. Когда он с облегчением сообщил домашним, что отец перестал являться к нему ночами, нянька дочери, присутствовавшая при всех этих разговорах, сказала: «Конечно! Я же свечку за него в церкви поставила, он и успокоился». Прошло

много лет, но Винокуров не забыл об этом.

Когда я решила уезжать из России, Винокуров тяжело это переживал: он был уже очень больным человеком, его дочь жила за границей, и он был совершенно одинок. Сначала он как-то робко и неуверенно пытался отговаривать меня, говорил, что "там" тоже не сладко, но очень скоро преодолел себя и грустно сказал: "Конечно, ты права. Раз сын у тебя там, что тебе здесь делать!".

Прощание наше было странным: мы говорили о чем угодно, только не о моем отъезде. Винокуров, как всегда, избегал разговоров, которые могут его расстроить. Только в последнюю минуту, уже в прихожей, он испытующе посмотрел мне в глаза и спросил: "Будешь писать? Часто и длинно?". Я кивнула – говорить я не могла. Я понимала, что больше никогда его не увижу. "Ты не обижайся, что я буду писать коротко – ты же знаешь, я не умею писать письма". Мы обнялись, и всё было кончено.

Я успела написать ему два письма и получить только одно. На второе письмо ответа так долго не было, что я начала беспокоиться. А потом я получила ответ на свое письмо, но не от него, а от его дочери из Америки, которую он так нежно любил. Она приехала на его похороны и вынула мое письмо из почтового ящика.

Сентябрь-ноябрь 1994 г.  
Иерусалим



# Игорь Ефимов

## Элеанор Рузвельт

(1884-1962)

Из книги «Бермудский треугольник любви»

(продолжение. Начало в №2/2012)



**АС:** Рассказывая о Франклине Делано Рузвельте, мы в какой-то момент позволили его жене удалиться в тень. Пришла пора перевести софиты и объективы наших телекамер непосредственно на неё.

**ТЕНОР:** Лучше всего будет вернуться к 1924 году. Именно тогда Элеанор Рузвельт начала искать и находить контакты с людьми близкими ей по духу за пределами семейного клана. В 1925 году она подружилась с двумя лесбиянками, жившими в тесном союзе уже тринадцать лет. Нэнси Кук и Марион Дикерман навещали её в Гайд Парке, все трое любили устраивать пикники на речушке Вал-Килл, усыпанной мелкими порогами и водопадами, протекавшей неподалёку. Франклин Рузвельт не только не возражал против этой дружбы, но даже помог им построить каменный коттедж на берегу речушки, который стал их постоянным прибежищем.

**БАС:** Новые приятельницы были полны энергии и предприимчивости. Они уговорили Элеанор вступить с ними в партнёрство и купить в Нью-Йорке школу Тодхантер, где учились девочки из состоятельных семей. Марион стала директрисой, Элеанор – её помощницей. Она также преподавала американскую историю и литературу. Приют на берегу Вал-Килла недолго оставался только местом для отдыха. Он тоже вскоре был превращён в деловое предприятие. Неподалёку от каменного коттеджа выросло здание, в котором разместились небольшая фабрика, изготавливавшая мебель в старо-американском стиле из различных пород дерева: орех, вишня, красное дерево. Фабрика давала работу окрестным фермерам и членам их семей. Свою нью-йоркскую квартиру Элеанор превратила в выставочный зал, где покупатели могли знакомиться с образцами изделий. Конечно,

курорт Ворм Спрингс и школа Тодхантер сделались первыми заказчиками нестандартной мебели.

ТЕНОР: Следуя примеру своих энергичных подруг, Элеанор преодолела страх перед водой и научилась плавать. Во время горных прогулок шагала решительно, часто опережая остальных. После двух-трёх столкновений с уличными столбами и деревьями стала уверенно водить машину. Однажды все трое гостили у родственников Элеанор, и её племянница была разбужена посреди ночи громким хохотом в соседней комнате. Каково же было её изумление, когда в приоткрывшуюся дверь она увидела свою обычно серьёзную и сдержанную тетушку вовлечённой в беспощадную битву подушками!

БАС: Гости, ночевавшие в каменном коттедже не без удивления замечали, что простыни в нём были украшены вышитыми вензелями из трёх букв: Э.М.Н. Элеанор ощущала обеих женщин настолько близкими, что рассказала им об измене мужа, закончив свою исповедь словами: «Я смогла простить, но забыть не могу».



ТЕНОР: В то время как отношения с новыми друзьями были источником радости для Элеанор, атмосфера в собственной семье всё больше тяготила. Свекровь Сара продолжала изводить её критическими замечаниями, упрёками за неправильное воспитание детей, уверенными политическими суждениями. Однажды, жалуясь на неё в письме мужу, Элеанор закончила описание очередного семейного обеда фразой: «Я готова была то ли завизжать, то ли убежать и вступить в большевистскую партию».

БАС: Двадцатилетняя дочь Анна так страдала от раздоров между матерью, бабкой и отцом, что согласилась выйти замуж за нелюбимого ею человека, старше неё на десять лет. Однако и это



событие привело к очередной ссоре. Добрая бабушка решила подарить молодожёнам дорогую квартиру, но просила Анну ни в коем случае не извещать об этом мать заранее. Элеанор, узнав о происходящем, пришла в ярость. «Предлагать что-то моей дочери, не предупредив меня и требуя от неё сохранения тайны, – на что это похоже?! Она что – боялась, что я буду возражать и вмешаться?».

ТЕНОР: В те же годы, незаметно для себя, Элеанор начала превращаться в политическую фигуру заметного масштаба. Её участие в предвыборной кампании кандидата на президентский пост Альфреда Смита сыграло немалую роль в его номинировании в 1928 году. Но в кампании своего мужа, боровшегося за кресло губернатора штата Нью-Йорк, она предпочла не участвовать. Смит потерпел поражение, а Рузвельт был избран значительным большинством голосов. Журналист спросил Элеанор, гордится ли она победой мужа, и услышал в ответ: «Мне это безразлично. Я буду проводить в Олбани несколько дней, а утром в понедельник уезжать в Нью-Йорк – преподавать в Тодхантере».

БАС: Конечно, отвечая так, она не могла предвидеть, что вскоре ей суждено было встретить в Олбани человека, который станет для неё даже ближе, чем Нэнси и Марион. Эрл Миллер служил в охране бывшего губернатора, но Рузвельт встречался с ним ещё в годы работы в Вашингтоне. Он ценил в нём надёжность, смелость, прямоту и попросил его принять на себя обязанности телохранителя «первой леди штата Нью-Йорк». И Миллер согласился.

ТЕНОР: Это был человек причудливой судьбы и самых неожиданных дарований. В четырнадцать лет он оставил дом, чтобы работать акробатом в странствующем цирке и помогать больным родителям. Он также выступал в роли каскадёра и трюкового мотоциклиста. В войну Миллер служил на флоте, стал капралом, а также чемпионом Среднеатлантического побережья по боксу в полутяжёлом весе. Стрельба, плавание, верховая езда – любой спорт, требовавший силы и координации, был ему доступен. Внешность его заставляла вспомнить героев немого кино, с их широкими плечами, ясным взглядом, квадратным подбородком. Он также играл на пианино, неплохо пел, участвовал в любительских кинофильмах.

БАС: Приступив к обязанностям телохранителя, он прежде всего занялся спортивной подготовкой Элеанор. Выбрал для неё каштановую кобылу по имени Дот, и они стали регулярно совершать верховые прогулки в окрестностях Гайд Парка. Научил её стрелять из пистолета по мишеням. Играл с ней в теннис и даже выстроил тренировочный корт рядом с каменным коттеджем в Вал-

Килле. Труднее всего ей было научиться нырять. Но Миллер не отступал. Положение рук, ног, спины – снова и снова он заставлял её нащупывать правильные движения, и она, наконец, научилась уверенно отталкиваться от доски и входить в воду головой, а не шлёпаться животом.

ТЕНОР: В доме появился сторожевой пёс – грозного вида, но хорошо выдрессированный в полиции. Миллер уговорил Элеанор постоянно иметь в сумочке баллончик со слезоточивым газом. Друзья замечали, что, присутствуя на публичных выступлениях мужа, Элеанор часто вертела головой, внимательно оглядывая помещение. «Вы опасаетесь покушений?», – спросили они. «Нет, я высматриваю кратчайший путь к запасному выходу, – ответила она. – Если случится пожар и начнётся паника, Франклину придётся нелегко. Эти железные каркасы на ногах помогают ему стоять, но делают всё тело крайне неповоротливым. Охранникам будет трудно вынести его».

БАС: Миллер учил её быть начеку не только против злоумышленников, но и против жуликов всех мастей, пытавшихся поживиться за счёт Рузвельтов. Летом 1929 года семья уезжала на каникулы, в губернаторском особняке оставалось только три человека. Но по счетам от мясника можно было подумать, что эти трое съели тонну филе-миньонов. То же самое и со счетами на бензин: 1400 галлонов вместо обычных 300. Когда Миллер представил результаты своих проверок, Элеанор была возмущена поведением поставщиков и запомнила урок, что впоследствии помогло ей строго контролировать средства, проходившие через её руки на благотворительные цели.

ТЕНОР: Имея опыт выступлений в цирке, Миллер знал, как важен внешний вид и повадка человека в отношениях с публикой. Портреты Элеанор, появлявшиеся в газетах, огорчали его. Она выглядела на них так, будто испытывала ненависть к фотографу. Миллер уговаривал её улыбаться под дулом фотокамер. Элеанор отмахивалась: «Если у женщины нет подбородка, а зубы торчат, это останется на плёнке что ты ни делай». Тогда Миллер пустился на хитрость: стал за спиной фотографа и начал гримасничать. Элеанор невольно рассмеялась, и снимок получился очень удачный. Кстати, известная фотография Франклина Рузвельта верхом на лошади тоже была сделана по совету Миллера. А тот факт, что лошадь никуда не повезла своего всадника и два телохранителя просто сняли его с седла, остался неизвестным читателям газет.

БАС: Элеанор и Эрл Миллер всё чаще проводили вместе уикенды, устраивали поездки в горы, пикники у костра, купанья в озере. Возраставшая интимность их отношений огорчала и

тревожила Нэнси и Марион. Миллер уже позволял себе приобнимать Элеанор за талию. Сохранились фотографии, на которых они сидят рядом в купальных костюмах, её рука – на его колене, его рука – на её плече. На другой – сидят на краю бассейна, держась за руки. Обращался он к ней почтительно, за глаза называл только «моя леди», но мог иногда и сорваться, даже прикрикнуть. Он был моложе неё на двенадцать лет, но возложенная на него роль защитника постоянно заставляла его обращаться к ней в интонациях повелительных. Нэнси и Марион также коробило его позирование, явное самолюбование, шегольство мускулатурой.

ТЕНОР: Примечательно, что среди новых друзей Элеанор не было людей высокопоставленных и богатых. В свои сорок четыре года она будто вырвалась из привычного круга, где соблюдение приличий лежало на ней, как тяжёлые вериги. С Нэнси, Марион, Эрлом она могла расслабляться, дурачиться и получать удовольствие от непринуждённого общения. Иерархия, престиж, почести не играли никакой роли для её новых друзей. Кроме того, они разделяли её любовь к литературе и с благодарностью слушали стихи и прозу, которые она им читала при свете костра.

БАС: Когда Миллер затеял снимать домашний фильм «Пират и леди», Элеанор с готовностью согласилась. Можно представить себе, как веселилась вся компания, глядя на экран, на котором пират Миллер, с наклеенными усами и бородкой, с повязкой на глазу, затыкал кляпом рот Элеанор и привязывал её к прибрежным скалам. Но в жизни он часто выступал в обратной роли: заступника, всегда умевшего вызволить свою хозяйку из трудных ситуаций. Если её автомобиль слетал в канаву, Миллер заявлял, что причиной было не превышение скорости, а неправильно спрофилированный поворот дороги. Если её брат Холл в очередной раз напивался за обедом в Гайд-Парке, Миллер умел незаметно увести его. Даже много лет спустя он категорически отказывался откровенничать с журналистами и биографами Элеанор.

ТЕНОР: А попыток приподнять завесу над их отношениями делалось немало. Похоже, оба умели молчать перед чужими, но природная искренность мешала им успешно прятать свои чувства за подобающей маской. Интимные касания, радость при виде друг друга, вспышки беспричинного смеха посреди серьёзного разговора – всё это давало окружающим повод подозревать разгорающийся роман. Первый брак Миллера кончился разводом, Элеанор тоже чувствовала себя свободной от брачных обязательств. Но при этом жажда любви с юности окрашивала жизнь обоих.

БАС: Сохранилось свидетельство человека, имевшего возможность наблюдать расцвет отношений довольно близко. Сын Элеанор, Джеймс, рассказывал впоследствии (*читает*): «Я полагаю, что при жизни отца у матери был один роман – с Эрлом Миллером. Разница в возрасте им не помешала. Эрл научил её быть собой и гордиться этим, не бояться вставать лицом к лицу с окружающим миром. Много хорошего он сделал для неё. Когда он был рядом, она черпала в нём душевные силы, всегда могла положиться на него. Он стал как бы частью семьи и давал её то, чего ни отец, ни мы, её сыновья, дать не смогли. Главное – он дал ей почувствовать себя женщиной. Биографы, пытающиеся подрублять её образ, на самом деле обедняют его, лишают женственности. Если отец знал об их отношениях, он, похоже, не имел ничего против».

ТЕНОР: Нэнси и Марион считали, что Элеанор избаловала Миллера, потакала ему во всём, не принимала никакой критики, никаких упрёков в его адрес. Телохранитель должен был всюду следовать за «первой леди штата», и, куда бы она ни приезжала – в Вал-Килл, в нью-йоркскую квартиру, в Вашингтон, – всегда устраивалось так, что у Эрла была своя комната неподалёку. Однажды Элеанор застали там за тем, что она, опустившись на четвереньки, мыла пол.

БАС: Согласие Рузвельта баллотироваться на пост президента в 1932 году привело Элеанор в отчаяние. Она хорошо помнила, что это такое: быть женой политического лидера в Вашингтоне. В письме Нэнси Кук она писала, что ни за что не согласится на роль пленницы в Белом доме, не станет участвовать в бесконечной череде банкетов и приёмов. Нет, она дожждётся конца выборов и после этого убежит с Эрлом Миллером, который любит и уважает её так, как Франклин никогда не смог. Теперь, четырнадцать лет спустя после истории с Люси Мерсер, пришла её очередь потребовать развода.

ТЕНОР: Нэнси и Марион решили показать это письмо главному менеджеру предвыборной компании Рузвельта. Тот пришёл в ужас. Порвал письмо на клочки и потребовал, чтобы обе женщины никому – «слышите? никому и никогда!» – не рассказывали о нём. Только много-много лет спустя, в 1970-е годы, Марион пересказала его содержание биографу Рузвельта.

БАС: Чтобы заглушить сплетни и слухи, бывший цирковой каскадёр придумал смелый трюк: решил жениться. Элеанор поддерживала его в этом, даже предоставила каменный дом в Вал-Килле для свадьбы, преодолев гневное сопротивление свекрови. Эллиот Рузвельт был шафером, дочь Анна – посажёной матерью. В качестве свадебного подарка молодожёны получили участок земли

в Гайд-Парке. Но брак продержался едва ли год. Родители невесты подали в суд, заявив, что их дочери не было восемнадцати лет и она вышла замуж без их согласия. Впоследствии Эрл сознавался, что женился без любви, только ради того чтобы пресечь слухи о его романе с Элеанор.

ТЕНОР: Через два месяца после свадьбы Миллера «первая леди штата» превратилась в «первую леди страны» и вынуждена была переехать в Вашингтон. Миллер остался в Олбани, вознаграждённый чином сержанта полиции и постом начальника отдела кадров всех штатных тюрем. Элеанор поддерживала дружбу с ним до конца своей жизни. Но сердце её, жаждавшее любви, в ту же осень начало приоткрываться другой родственной душе – на этот раз душе, упрятанной в женскую оболочку.

БАС: Лорена Хикок вошла в жизнь Элеанор как репортёр, посланный Агентством Ассошиэйтед Пресс брать регулярные интервью у жены кандидата в президенты. К своим сорока годам Лорена сделала карьеру невероятную для женщины-журналистки в те годы. Агентство поручало ей описывать самые выигрышные новости, самые громкие скандалы, самые сенсационные события, включая похищение ребёнка Линдбергов. Коллеги-репортёры обращались с ней как с полноправным членом их братства, потому что она пила с ними бутлегерское виски, играла в покер, курила сигары, болела на футбольных матчах, отпускала солёные шутки и при этом всегда была готова открыть кошелек тому, кто оказывался на мели.



ТЕНОР: Загадочны нити, притягивающие людей друг к другу. Никто из биографов ещё не сумел объяснить, какие струны в сердце Элеанор могла задеть эта громкоголосая безапелляционная женщина столь далёкая от круга Рузвельтов и Делано. Да, она была прямодушна, остроумна, полна жизни и энергии. Свои мнения о

политике, музыке, спорте, характерах окружающих высказывала решительно и страстно. Внешней привлекательностью не отличалась: весила больше двухсот фунтов, одевалась броско, красила ногти, носила серьги и яркую косметику. Про неё ходила шутка: достаточно прострочить шов посередине её юбки, и она превратится в мужчину в брюках. Почему же Элеонор начала уделять ей такое внимание, обедала с ней наедине, гуляла, делилась сокровенными мыслями?

БАС: Вы заметили, что у Элеонор знаком особого доверия человеку был всегда обмен рассказами о детстве. И когда их сближение достигло этого момента, когда они обменялись детскими воспоминаниями, сердце «первой леди» должно было сжаться от сострадания. Отец Лорены был настоящим чудовищем. Жену бил нещадно, дочь порол до крови. Когда ей было два года, у неё появилась привычка грызть ногти. Чтобы отучить её, отец засовывал ей пальцы в рот и сдавливал её челюсти сильными руками. Мать умерла, когда Лорене было тринадцать, и она поспешила удрать от ненавистного отца. Работала бесплатной служанкой в меблированных номерах за еду и крышу над головой. От зари до зари она крутилась на кухне, варила, жарила, пекла, таскала воду. Наконец, нашлась добрая тётушка в Мичигане, которая взяла её к себе и дала возможность закончить школу. Но в колледже Лорена проучилась только два года – поступила работать в газету.

ТЕНОР: Видимо, она довольно рано осознала свои сексуальные предпочтения. До переезда в Нью-Йорк она восемь лет прожила в союзе с изящной женственной подругой, которая потом вдруг бросила её ради мальчика, любившего её со школьных времён. Элеонор уже в юные годы могла узнать о том, что женщины тоже влюбляются друг в друга – её любимая учительница, директриса школы под Лондоном, была лесбиянкой. Да и дружба с Нэнси и Марион должна была рассеять туман строгого викторианского воспитания. Зимой 1933 года Элеонор и Лорена уже писали и звонили друг другу чуть не каждый день.

БАС: Рано утром, накануне дня инаугурации президента Рузвельта, у бокового входа в отель «Мэйфлауэр» в Вашингтоне, остановилось такси. Жена новоизбранного президента прошла мимо дежуривших телохранителей и скользнула на заднее сиденье рядом с Лореной Хикок. Такси доставило пассажиров на кладбище Рок Крик. Там Элеонор привела свою подругу к статуе, изображавшей женщину, укрывшуюся под плащом с капюшоном. Называлась статуя «Горе». Впоследствии Лорена рассказывала о впечатлении, произведённом на неё склонившейся фигурой (*читает*): «Казалось, все страдания человечества запечатлелись на

этом лице. Я почти ощущала горячие невыплаканные слёзы за опущенными веками. И, в то же время, в выражении лица было что-то победное. Передо мной была женщина, пережившая все возможные виды душевной боли, но вышедшая из горнила испытаний умиротворённой и полной сострадания».

ТЕНОР: Видимо, именно тогда, около этой статуи, Элеанор поделилась с Лореной воспоминаниями о горестных днях осени 1918 года. Она призналась, что приходила сюда много-много раз, чтобы утишить боль от раны, нанесённой изменой мужа, и что каждый раз статуя приносила ей утешение. Но стало ли ей известно – догадывалась ли она, – что в этот же день шофёр президентского автомобиля получил распоряжение на утро следующего дня: подъехать к дому 2238 по Кью-стрит и привезти на церемонию инаугурации Люси Мерсер?

БАС: Об этом мы никогда не узнаем. Зато мы точно знаем, что в марте роман между «первой леди» и журналисткой уже польхал неудержимо. Лорена должна была вернуться в Нью-Йорк, и началась переписка, которая не оставляет сомнений о характере их отношений (*читает*): «Хик, дорогая, в день твоего рождения я всё думала о тебе и о том, что в следующий раз мы отпразднуем его вместе. Но сегодня вечером твой голос по телефону звучал так холодно. О, как я мечтаю обнять тебя! Призвать к себе крепко-крепко. Твоё кольцо служит мне утешением. Я смотрю на него и думаю: “Она любит меня! Иначе этого кольца не было бы на моём пальце”».

ТЕНОР: Тысячи подобных писем длиной в десять и больше страниц были сохранены Лореной (*читает*): «Хик, дорогая! Как чудно было услышать твой голос... Сын Джимми стоял рядом, и я не могла произнести слова, которые хотела: “люблю, обожаю”. Но помни, что мысленно я всегда говорю их и засыпаю с мыслью о тебе»; «Лучшее время дня – когда я пишу тебе... Как бы я хотела обнять тебя наяву, а не в мечтах... Твой портрет висит у меня в комнате, и я целую его каждое утро и каждый вечер».

БАС: Лорена не оставалась в долгу (*читает*): «Только восемь дней осталось до нашей встречи. Сегодня я пыталась воскресить в памяти твоё лицо... Яснее всего я помню твои глаза, с отблеском озорной улыбки в них. И ещё – ощущение этой мягкой ямки к северо-востоку от угла твоего рта, к которой я прижимаюсь губами. Пытаюсь вообразить, что мы скажем друг другу при встрече, что будем делать друг с другом. Я даже как-то горжусь нами. А ты?».

ТЕНОР: Элеанор писала не только о своих чувствах, но и о повседневных событиях прошедшего дня. Глаз профессиональной

журналистки разглядел талантливость этих зарисовок, и впоследствии Лорена уговорила Элеанор использовать бытовые фрагменты писем для газетных публикаций. Так родилась колонка «Мой день», которая печаталась во многих газетах два десятилетия и необычайно подняла статус Элеанор в мире журналистики.

БАС: Другой полезный совет, данный Лореной: устраивать время от времени в Белом доме пресс-конференции, на которые приглашались бы только женщины-журналистки. Идеи женского равноправия всегда находили отклик в сердце Элеанор. Она последовала совету, и одна из участниц этих пресс-конференций потом вспоминала, какой манной с небес они были для журналисток в годы депрессии.

ТЕНОР: Зато сама Лорена оказалась в крайне трудном положении. Близость с Элеанор сделала для неё этически невозможным превращать «первую леди» в объект газетных публикаций. К удивлению и недовольству своего начальства, Лорена отказывалась от всех заданий, связанных с семьёй президента. Дети Рузвельтов в те месяцы стали предметом скандальной хроники из-за своих разводов, это был лакомый кусок для прессы. Лорена находилась так близко к Белому дому, она могла бы поставлять горячий материал из первоисточника. Но нет – на такое предательство она была неспособна. В наказание за строптивость её гонорар был срезан вдвое. Карьера её оказалась под угрозой.



БАС: Однако тяга двух женщин друг к другу заслоняла для них всё остальное. *(Читает)* «Я хотела бы сжать тебя в своих объятиях до смерти... Люблю тебя и тоскую так, что не выразить словами. У нас впереди много счастливых лет, и печальные годы будут забыты... Я вышла замуж девятнадцатилетней и только



много-много лет спустя узнала, что значит любить и быть влюблённой.» Летом 1933 года им удалось вырваться в совместное путешествие. Без друзей, без газетчиков, без телохранителей они колесили в автомобиле по дорогам Мейна, Вермонта, Квебека. В одном маленьком мотеле хозяева, извиняясь, сказали, что горячей воды из-за ремонта в номере хватит только на одну ванну. «Ты первая леди, поэтому полезай первая», сказала Лорена. Элеанор спорила и грозила зашекотать подругу до истерики, чего та очень боялась. Потом сделала вид, что уступила, залезла в ванну первой. Но когда Лорена последовала её примеру, оказалось, что горячая вода – в избытке. Видимо, «первая леди» помылась холодной.

ТЕНОР: Эллиот Рузвельт однажды сказал: «Матери всегда было нужно быть кому-нибудь нужной». О том же говорила сама Элеанор: «Каждая женщина хочет быть главной для кого-нибудь, и в этом причина многих странных поступков, совершаемых женщинами». С начала 1933 года Элеанор и Лорена стали главными друг для друга, и жить в разлуке было для них больше невозможно. Необходимо было что-то предпринять. Чувство долга никогда не позволило бы Элеанор открыто покинуть Белый дом. Для Лорены же увольнение из Агентства АП и отъезд из Нью-Йорка, при общей безработице, означало бы конец журналистской карьеры, которой она так гордилась. И всё же она решилась.

БАС: В те месяцы, в рамках программы «Нового договора», в Вашингтоне было создано «Бюро оказания срочной помощи населению», распределявшее пособия для малоимущих. При поддержке Элеанор Лорена получила в нём должность инспектора. В её обязанности входило разъезжать по стране и проверять на местах, как использовались деньги, выделяемые Бюро. Положенная ей зарплата не могла покрыть аренду квартиры в Вашингтоне. Элеанор и тут пришла на помощь – выделила ей комнату в жилой части Белого дома. И ещё она купила ей автомобиль для поездок – голубой «бьюик», который Лорена окрестила «блюэт».

ТЕНОР: То, что Лорене довелось увидеть во время разъездов по стране, охваченной депрессией, наполнило её сердце горечью и состраданием. Она писала в одном из своих отчётов из Западной Вирджинии (*читает*): «Моргантаун – самое страшное из того, что я видела. Вдоль главной улицы, пересекающей город, проложена канава, заполненная грязной стоячей водой, которую жители используют для питья, стирки, готовки, мытья. По обеим сторонам улицы – полуразвалившиеся дома, покрытые угольной пылью. Большинство американцев сочли бы их непригодными даже для содержания свиней. В этих домах каждую ночь дети отправляются спать голодными, ложатся на расстеленное на полу

тряпье, кишасшее насекомыми. В соседнем городе началась эпидемия дифтерита, но свободных мест в больницах не осталось».

БАС: Доклады Лорены Хикок не всегда нравились энтузиастам «Нового договора». Из Техаса, Нью-Мексико, Аризоны она сообщала, что помощь Бюро, нацеленная на беднейшие слои, доставалась в основном неграм и мексиканцам, половина которых были незаконными иммигрантами. Это оставляло белую бедноту в крайне тяжёлом положении. Кроме того, для людей, имевших хоть какие-то заработки, становилось выгодно отказаться от них, чтобы упасть на дно нищеты и начать жить на пособие от государства. Сталелитейные заводы в Огайо работали на полную мощность, но безработица в штате только усиливалась, потому что модернизация производства позволяла уменьшать число рабочих в несколько раз. То же самое происходило и в сельском хозяйстве: механизация, электрификация, доильные аппараты; огромный комбайн убирает поле, на которое раньше потребовалось бы полдюжины жаток.

ТЕНОР: Другая программа «Нового договора» – Комиссия по общественным работам – начала приносить заметные результаты уже в первый год существования. Было построено или отремонтировано 40 тысяч школ, 469 аэропортов, 255 тысяч миль шоссежных дорог, 3700 спортивных площадок и стадионов. Государство выступало в роли нанимателя и платило работникам в среднем 12 долларов в неделю, что было заметно выше существовавших цен на труд во многих штатах. Это вызывало недовольство местных предпринимателей, которые лишались рабочей силы и вынуждены были либо повышать плату своим служащим, либо выходить из бизнеса.

БАС: Постоянные разъезды Лорены держали её подолгу вдали от Вашингтона, и пустота разлуки снова заполнялась страстными письмами (*читает*): «Чего бы я не дала, чтобы услышать сейчас твой голос, прикоснуться к твоим волосам, – писала Элеанор. – Когда мы вместе, ты даришь мне столько счастья, что не выразить словами... Каждая минута с тобой для меня драгоценна... Люблю тебя нежно и всем сердцем... Пишу это и смотрю на твою фотографию, где ты улыбаешься так шаловливо... Каждая разлука даётся всё труднее... Даже теперь, когда твой труд так важен для страны, и мы не должны жаловаться на расставания, это не помогает мне ослабить тоску по тебе».

ТЕНОР: В марте 1934 года Элеанор отправилась в поездку по островам Карибского моря в сопровождении группы журналистов. Деловым предлогом для путешествия была проверка выполнения реформ «Нового договора» в Пуэрто-Рико и на Вирджинских островах. Поэтому в группу удалось включить и

Лорену как инспектора Бюро экстренной помощи. Но прыдливые репортёры из журнала «Тайм», узнав об этом, напечатали ядовитую заметку о неожиданной дружбе двух женщин. Лорена была представлена как *(читает)* «пухлая безапелляционная дама с хриплым голосом и в мешковатой одежде... Она путешествует с первой леди повсюду, от Нью-Брунсвика до Ворм-Спрингс... Теперь они отправляются в Пуэрто-Рико, где мисс Хикок будет разносить своим журналистским носом, как осуществляется программа срочной помощи». Лорена была больно уязвлена заметкой, особенно намёками на то, что она получила свою работу только благодаря вмешательству «первой леди».

БАС: Но ещё сильнее её ранили ситуации, когда вихрь общественных и семейных обязанностей уносил Элеанор прочь от неё, лишая порой даже коротких обещанных свиданий. Один раз она провела чуть ли не весь отпуск в Западном крыле Белого дома, ожидая, когда Элеанор сумеет выделить время для неё. Ей был обещан один вечер, она ждала его с волнением. Однако в последний момент в семье Анны Рузвельт произошёл очередной кризис, и Элеанор умчалась утешать дочь. Уязвлённая Лорена уехала в Нью-Йорк в слезах. В другой раз предполагавшееся свидание должно было быть ещё более коротким. Элеанор, оправдываясь, писала: «Хик, дорогая, я сожалею, что причинила тебе боль. Но не проявила ли и ты излишнюю поспешность, уйдя, не дожидаясь меня? Потом я лежала на кушетке и читала с 7:15 до 7:45 – это и было время, запланированное мною для тебя». Полчаса! Согласитесь – не густо для главного человека в твоей жизни.

ТЕНОР: И всё же время от времени им удавалось убежать от всех забот хоть на несколько дней. В июле 1934 года они совершили путешествие по Западным штатам. Агент секретной службы помогал им прятаться от репортёров. Он заменил Вашингтонский номер на машине Лорены калифорнийским, а также спрятал под сиденьем номера Невады и Орегона. Если бы случайный полицейский остановил путешественниц за какое-нибудь нарушение, он, наверное, очень удивился бы, найдя в машине двух благообразных дам фальшивые номера и заряженный пистолет. В конце путешествия у Элеанор был припасён сюрприз для подруги: четыре дня в Йосемитском парке. Они натянули палатку на берегу озера, окружённого гранитными скалами, читали стихи у костра и любовались луной, всходящей над вершиной горы.

БАС: Элеанор, похоже, не представляла себе, как тяжело дался Лорене отказ от журналистики. Новая работа не приносила

ей радости, бесконечные картины бедности и лишений не улучшали настроения. Хотя начальство хвалило её доклады, и они влияли на ход реформ, их нигде не публиковали. Столь важный для пишущего контакт с читающей публикой был потерян. Прирождённый газетчик остался без газеты. Зато сама Элеанор сделалась звездой в мире массовой информации. Она вела регулярную колонку в журнале «Космополитен», выступала по радио, два газетных синдиката рассылали её статьи по всей стране, её мемуары печатались в журнале «Лэдис Хом Джорнел».

ТЕНОР: Чтобы иметь возможность уединиться и писать без помех, Элеанор в 1935 году арендовала квартиру в Нью-Йорке. Для жены американского президента это был поступок беспрецедентный. Он разрушал привычный образ послушной матери семейства, погружённой в заботы о доме и детях. В предвыборной борьбе 1936 года вызывающая независимость Элеанор Рузвельт могла очень навредить её мужу. С другой стороны, энергия, с которой она пропагандировала политику демократической партии и реформы «Нового договора», была невероятной. Разъезжая по стране с выступлениями, она покрыла 38 тысяч миль в 1933 году, 42 тысячи в 1934, 35 тысяч в 1935. Она получала десятки тысяч писем, прочитывала кучу газет и журналов и наиболее интересные вырезки складывала в конце дня в корзинку, стоявшую у кровати президента. Не она выбрала общественную жизнь – общественная жизнь выбрала её и полностью затянула в свой водоворот. Да, она по-прежнему любила быть нужной своим детям и друзьям. Но теперь к этому добавилось и ощущение, что она нужна и американскому народу тоже.

БАС: Время от времени Элеанор приглашала Лорену в свою Нью-Йоркскую квартиру. Но создаётся впечатление, что, в какой-то мере, квартира служила убежищем и от Лорены тоже, от её постоянной мольбы о встречах. Элеанор могла бы взять своим девизом строчку из знаменитой песни Эллы Фитцджеральд «Don't fence me in» («Не запирай меня в ограде»). В письмах она любила фантазировать о том, как они с Лореной когда-нибудь уединятся на покой в тихом прелестном уголке Новой Англии. Но в реальной жизни она проводила Рождество, День благодарения и другие праздники в шумном кругу друзей и родных, а Лорена часто оставалась совсем одна. «У меня нет никаких прав на тебя, – жаловалась она, – я появилась в твоей жизни позже всех остальных. Чувствую себя посторонней... Порой даже не понимаю, что ты нашла во мне, чем я могла привлечь такую личность, как ты...»

ТЕНОР: Но каждый раз, когда Лорена пыталась вырваться из ситуации столь болезненной для неё, Элеанор кидалась

замазывать возникшие трещины, наводить мосты, осыпала уверениями в любви и преданности. Она даже взяла на себя контроль за финансами Лорены, следила, чтобы та не тратила больше того, что у неё имелось на банковском счету. Советовала посылать бельё для стирки в бесплатную для них прачечную Белого дома, и Лорена с благодарностью принимала совет. Когда у неё случилось обострение диабета, Элеанор настояла на медицинских тестах, на строгом следовании предписаниям диеты.

БАС: Между тем отголоски европейских политических бурь достигли американских берегов. Начавшаяся гражданская война в Испании расколола страну на два лагеря. Либеральная часть населения выступала за поддержку республиканцев, молодёжь отправлялась за океан воевать в интернациональных бригадах. Трагедия Герники потрясла всех не только количеством убитых. Мир впервые увидел, что может натворить за один день это чудесное создание цивилизации – самолёт. Но Франклин Рузвельт выбрал позицию строгого нейтралитета и наложил эмбарго на отправку любых стратегических материалов в Испанию, кому бы они ни предназначались – республиканцам или фалангистам. Элеанор была в отчаянии. Она пыталась доказывать мужу, что американская сталь, медь, нефть, хлопок, идущие в якобы нейтральную Германию, усиливают немецкую мощь и помогают «люфтваффе» засыпать бомбами испанские города. Никогда ещё политические расхождения между супругами не были такими глубокими и болезненными.

ТЕНОР: Летом 1937 года из Испании вернулся Эрнест Хемингуэй со своей подругой Мартой Гелхорн. Они привезли документальный фильм о гражданской войне. Элеанор пригласила их в Гайд-Парк и уговорила мужа посмотреть фильм. Рузвельт был под сильным впечатлением, выражал сочувствие страданиям испанского народа, но от политики нейтралитета не отказался. И его можно понять. Память о погибших в Первой мировой войне была ещё слишком свежа в Америке. Кроме того, на примере России президент уже знал, *что* способны натворить пришедшие к власти коммунисты. Чего можно было ждать от них в Испании? То, что нацисты будут ещё страшнее, предвидеть тогда было очень трудно. А убедить в этом американского избирателя – попросту невозможно.

БАС: В эти же месяцы Элеанор дорабатывала свою автобиографию «Рассказ о моей жизни». Ей хотелось, чтобы в тексте не было ничего, что могло бы задеть тех, кого она любила. Она давала рукопись на прочтение мужу, дочери, Миллеру, Лорене и многим другим. Каждый предлагал свои купюры, и книга постепенно бледнела. Среди фраз, вычеркнутых Франклином

Рузвельтом, была такая: «Если вы любите кого-то, вы можете многое простить ему. При определённых обстоятельствах неверность не должна непременно вести к разрыву отношений». В какой-то момент Лорена написала ей: «Ты в этой работе дошла до той стадии, когда полная правдивость сделалась невозможной. И это отражается на повествовании. Беда с этими автобиографиями. Наверное, их следует выпускать анонимно».

ТЕНОР: Лорена всё чаще впадала в мрачность и мизантропию. Все приглашения посетить Вал-Килл она отклоняла, часто отменяла намеченные свидания с Элеанор. Служба тяготила её, характер портился, отношение к людям окрашивалось презрением. Не исключено, что это было результатом усилившегося диабета. Элеанор она ревновала не к кому-то одному, но ко всему кругу её близких друзей.

БАС: В какой-то момент Элеанор не выдержала и написала ей – впервые! – гневное письмо (*читает*): «Ты даже представить себе не можешь, в каком я состоянии сегодня... На радиостудии ты прошла мимо меня, не сказав ни слова. Потом объявила, что в Вашингтоне найдёшь чем развлечься, не узнав, буду я занята или нет. В театре ты едва сказала два слова Эрлу и его жене, которые были моими гостями и ничем не провинились перед тобой. За ужином я предложила тебе сесть рядом со мной – ты уселась как можно дальше... Мне иногда начинает казаться, что лучше было бы вовсе не иметь близких друзей. Простые знакомые, по крайней мере, сохраняют внешнюю приветливость и не могут ранить так глубоко... В субботу и воскресенье, прошу тебя, постарайся быть вежливой и приветливой и не портить настроения остальным».

БАС: Не только старинные нити дружбы и родства отвлекали Элеанор от Лорены Хикок. При столь активных контактах с окружающим миром в жизнь «первой леди» неизбежно входили новые люди, привлекавшие её внимание. Одним из таких людей стал Джозеф Лэш – сын русско-еврейских иммигрантов, выпускник Колумбийского университета, член Американского союза студентов, горячий сторонник идей социализма. Когда началась гражданская война в Испании, многие молодые американцы поддерживали Мадридское правительство, осуждали Рузвельта за отказ помогать ему оружием в войне с франкистами. Элеанор тоже горячо возражала против политики нейтралитета, называла её ошибкой и позором. Общность взглядов сблизила её с Лэшем, и, несмотря на разницу в 25 лет, отношения начали укрепляться с годами.

ТЕНОР: Мы пристально всматриваемся в судьбы наших героев, стараемся быть честными в рассказе о них, но неизбежно это занятие выносит нас к «замочной скважине». Как далеко зашли

отношения? Легли в постель или нет? В истории с Джозефом Лэшем наше положение оказывается особенно щекотливым. Он сделался одним из ближайших друзей Элеанор, а после её смерти стал первым и главным её биографом. Его перу принадлежат огромные, превосходно документированные тома: «Элеанор Рузвельт: воспоминания друга», «Элеанор и Франклин», «Элеанор: годы наедине с собой», «Мир любви: Элеанор и её друзья». Долг друга и джентльмена накладывал на него обязанность бережно отсеивать информацию, которая могла бы шокировать его современников. И уж тем более он не стал бы откровенничать с читателем о себе самом.

БАС: Он и не откровенничал. Но в наш век на любого мало-мальски заметного человека направлены тысячи глаз. Джозеф Лэш был видной фигурой в левых молодёжных кругах, возглавлял Союз американских студентов. В своих речах и статьях он доказывал, что капитализм провалился, исчерпал себя. От коммунизма он отшатнулся в 1939 году, после пакта Риббентроп-Молотов. Тем не менее в какой-то момент был вызван давать показания перед Комиссией по антиамериканской деятельности. Конечно, слезка за таким человеком была постоянной. И вот в марте 1943 года в его досье добавилось сообщение чикагского агента Си-Ай-Си (Бюро контрразведки), в котором сообщалось, что мистер Лэш прибыл из городка Рантул (100 миль к югу от Чикаго) в отель «Блэкстон», где миссис Рузвельт сняла для него номер рядом со своим. В этом номере было установлено подслушивающее устройство, которое произвело магнитофонную запись, не оставляющую сомнений в том, что между этими двумя имел место сексуальный акт.

ТЕНОР: Бюро контрразведки перлюстрировало и почту Лэша. В письмах от Элеанор часто звучали те же ноты, что и в её письмах к Лорене (*читаем*): «Побыть с тобой было для меня счастьем... Иногда забываешь, с какой любовью вглядывалась в движения рук, в сияние глаз и как хорошо было оказаться вдруг вдвоём в одной комнате». Вскоре Лэш женился, и супруги вошли в тесный кружок ближайших друзей Элеанор Рузвельт. Зимой 1958 года она послала ему записку: «Была в Сан-Франциско и не могла не написать тебе несколько строчек, потому что никогда не забуду последнюю ночь, которую мы провели с тобой здесь перед твоей отправкой на Тихоокеанский фронт». Впоследствии Лэш признавался, что никогда не мог понять, чем он, бедный еврейский иммигрант, мог привлечь жену американского президента. Он замечал, что в ней жила постоянная потребность окружать себя близкими людьми, на которых она могла бы излить заботу, внимание, нежность. И ещё писал, что – в отличие от всех

остальных – он находил привлекательной и внешне.

БАС: Нет – не только он. Мне запомнились слова писателя Говарда Фаста об Элеанор Рузвельт: «Высокая, целеустремлённая и абсолютно обворожительная в своём уродстве». Но, конечно, слежка, которую вели за Элеанор Рузвельт различные секретные организации, – это отдельная тема. Многие ненавидели президента Рузвельта, считали его реформы внедрением социализма в жизнь Америки. Статьи и выступления его жены представлялись консерваторам ещё более опасным радикализмом. К концу её жизни Эдгар Гувер имел в архивах ФБР досье на неё объёмом в три тысячи страниц. Можно было подумать, что он следил за крупным вражеским агентом, а не за женщиной, вызывавшей восхищение миллионов американцев.

ТЕНОР: Со вступлением Америки во Вторую мировую войну политические разногласия отошли на задний план, страна сплотилась против общего врага. И в личной жизни Элеанор настали перемены. Сводки с фронтов, выступления перед солдатами и моряками, посещения госпиталей, вести от четырёх сыновей, воевавших за океаном, – вот что стало главным, что переполняло сердце тревогой и надеждой. Радость победы над Германией была омрачена для неё не только смертью мужа в апреле 1945 года. Конечно, ей больно было узнать, что Люси Мерсер, а не она, была у постели умирающего. Но более того: разбирая бумаги покойного, она нашла акварельный портрет Рузвельта, сделанный в 1943 году той самой художницей Шуматовой, которую Люси привезла в Ворм Спрингс за неделю до его смерти. Не было ли это ясным указанием на то, что Франклин и Люси всё это время регулярно встречались за её спиной? И какой душевной щедростью надо было обладать, чтобы не сжечь акварель, а послать её сопернице!

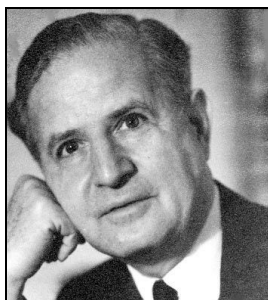
БАС: Смерть Рузвельта ничуть не ослабила влияния, которым Элеанор пользовалась в политических и журналистских кругах. Её жизнь в послевоенной Америке ещё больше заполнилась лекционными турне, выступлениями по радио, писанием статей и книг. Президент Трумэн уговорил её стать американским делегатом на первой сессии Организации Объединённых наций, а потом возглавить Комиссию по правам человека.

ТЕНОР: Лорена нашла приют в Вал-Килле, и Элеанор относилась к ней как к старинному больному другу, нуждающемуся в постоянной заботе. Но сердце шестидесятидвухлетней женщины не остыло, не умерло для любви. Однажды она навещала жену Джозефа Лэша и познакомилась там с её лечащим врачом, Дэвидом Гуревичем. Видимо, облик, манера, голубые глаза сорокачетырёхлетнего врача



чем-то задела её, потому что через несколько дней она позвонила ему и спросила, не согласится ли он включить её в число своих пациентов. Он дал согласие и в декабре 1945 года получил из госпиталя в Бефезде ящик с медицинской историей Элеанор.

БАС: На здоровье она не жаловалась, лечиться не любила, посещала врача лишь тогда, когда нужно было сделать какую-то прививку перед поездкой за границу. Только в августе 1946 года случилось что-то серьёзное. Элеанор, заснув за рулём, попала в аварию. Ей пришлось удалять разбитые зубы и заменять их искусственными, что, по общему мнению, сильно улучшило её внешность.



ТЕНОР: Сближение врача и пациентки происходило медленно, но в какой-то момент судьба вмешалась, избрав своим орудием нелётную погоду. Доктор Гуревич должен был пройти курс лечения от туберкулёза в горном курорте в Швейцарии. Но возникли трудности с покупкой билета на самолёт. Узнав об этом, Элеанор, которой предстояло лететь в Женеву на конференцию по правам человека, устроила ему место на тот же рейс. Однако из-за дождей, туманов и неполадок в моторе полёт растянулся на четыре дня, с приземлениями в Ньюфаундленде и Ирландии. Именно в эти дни вынужденного ожидания два пассажира смогли многое рассказать и много узнать друг о друге.

БАС: Как всегда у Элеанор, рассказы о детстве были важным знаком сближения с человеком. Выяснилось, что Дэвид Гуревич тоже рано остался без отца, тоже воспитывался у бабушки. К семи годам он, с братом и матерью, успел сменить три страны проживания: Россия, Германия, Швейцария. Закончив медицинское образование, жил и работал некоторое время в Палестине, в Америку переселился в 1936 году.

ТЕНОР: Элеанор была заинтригована и очарована противоречивыми чертами характера своего врача. В нём уживались пронизательность и наивность, страстность и хладнокровие, критичность и снисходительность к людям и к себе,

открытость и уклончивость, уверенность и застенчивость. Его жена и дочь жили в Лондоне, и он рассказывал Элеанор о сложностях брачных отношений и о своей неспособности принять какое-то решение: расстаться окончательно или попытаться наладить семейную жизнь?

БАС: Вернувшись в Америку из Швейцарии весной 1948 года, Элеанор Рузвельт отдавала много сил борьбе за признание Израиля. Она пригрозила оставить свой пост в ООН, если президент Трумэн изменит своему обещанию поддержать создание нового государства. Дипломатические задачи снова потребовали её присутствия в Европе в апреле, и по этому поводу у них с Дэвидом шла оживлённая переписка. Дэвид надеялся, что врачи отпустят его из санатория на несколько дней и им удастся повидаться в Цюрихе.

ТЕНОР: Элеанор писала (*читает*): «Думаю о тебе каждый день, особенно когда снег глубок, воздух чист, небо синее, и мне хочется, чтобы ты оказался в Вал-Килле, в доме для гостей, чтобы я могла прибежать туда и увидеться с тобой... Предвкушаю нашу встречу 15-го числа, не могу выразить своё нетерпение... Это будет единственное счастливое пятно во всей поездке... Просто увидеться с тобой значит для меня так много...».

БАС: Встреча состоялась и не только не разочаровала, но ещё больше сблизила обоих. Это видно из письма, отправленного Элеанор по дороге домой, из Брюсселя (*читает*): «Дэвид, дорогой! Уже поздно, но я не могу пойти спать, не сказав тебе “спокойной ночи”. Невозможно выразить, каким счастьем было для меня увидеть тебя в аэропорту... Мне хотелось забыть всех вокруг и тут же обнять тебя. Можешь сделать мне одолжение? Пришли мне свою фотографию. Я хочу иметь в руках что-то осязаемое, чтобы глядеть на тебя постоянно. Провести два дня с тобой было для меня островком чистого счастья, и я так благодарна, что ты вырвался из санатория и приехал в Цюрих ради этого».

ТЕНОР: Наверное, пришла пора объяснить нашим телезрителям, через какую «замочную скважину» приоткрылась для нас история этого романа. Сорок лет спустя после смерти Элеанор Рузвельт в Америке была опубликована книга «Родственные души». Написала её вдова Дэвида, Эдна Гуревич. С Элеанор она познакомилась в 1956 году. Обо всём, что происходило до этого, она знала из рассказов мужа, из сохранившихся писем и дневников, из расспросов родственников и знакомых. Понятно, что нам, читателям, было приоткрыто только то, что миссис Гуревич считала нужным и возможным приоткрыть. Оба главных персонажа книги описаны с любовью и пониманием. Но на сакраментальный вопрос ответ даётся однозначный: нет, любовниками они никогда не были. А все нежности в письмах

отражают лишь необычайное родство душ, привязанность, уважение.

БАС: Должны ли мы этому верить? Какие у нас основания сомневаться в свидетельстве миссис Гуревич? Начнём с самого простого: стал бы Дэвид откровенничать с новой женой, моложе его на двадцать пять лет, о своём прошлом, особенно об одиннадцати годах близких отношений с Элеанор Рузвельт? Конечно, нет. Эдна Гуревич получила рассказ, сильно отредактированный мужем, и потом принялась редактировать его сама. Воспитанная в представлениях и правилах добропорядочной американской семьи 1930-х годов она явно относится к эротике как к чему-то принижающему человека и уж точно разрушительному для всяких нимбов. Она даже отрицает лесбийский опыт Элеанор Рузвельт, хотя переписка «первой леди» с Лореной Хик стала достоянием гласности уже в 1978 году и подавляющее большинство комментаторов сошлись на том, что эти шестнадцать тысяч страниц не оставляют никаких сомнений в характере их связи.

ТЕНОР: Мы знаем, что разрушить человеческие верования не могут никакие факты. Древние персы верили, что сын никогда не может убить своего отца, а когда такое случалось, они заявляли, что, видимо, отец был не настоящий, что мать, конечно, согрешила и родила сына от другого. Так и миссис Гуревич. Её ошибка в том, что она, скорее всего, не дала прочесть рукопись опытному адвокату, знающему опасности перекрёстного допроса. Он бы посоветовал ей убрать десятки мелких эпизодов и деталей, опровергающих её тезис.

БАС: Чего стоит например история о том, как, посетив Дэвида в его квартире, будущая миссис Гуревич обнаружила в полупустом холодильнике засохший мясной рулет. «А, это, видимо, оставила в своё время кухарка миссис Рузвельт, – объяснил Дэвид. – У неё есть свой ключ от квартиры.» Ключ у кухарки? Для чего? Чтобы снабжать голодающего Дэвида продовольствием? Или приносить заранее приготовленный ужин на двоих? И уж если ключ был у кухарки, значит и у миссис Рузвельт тоже? Степень интимности, достигнутая ими уже в 1948 году, была такова, что в одном из писем она просит прислать ей книгу профессора Кинси – скандальный бестселлер, впервые открывший американцам глаза на безграничный спектр вариаций сексуальных отношений.

ТЕНОР: Желая выглядеть объективным рассказчиком, Эдна Гуревич щедро цитирует письма Элеанор и в какой-то момент перестаёт замечать опасность, которую они представляют для версии «платоническая любовь». (*Читаем*) «Как бы я хотела пересечь океан и оказаться на одном берегу с тобой. Я рада, что ты

любишь меня. Я люблю тебя всей душой, и все мои мысли – о тебе». Или: «Мне нет нужды говорить тебе, ты и так знаешь, что я люблю тебя так, как никогда не любила кого-нибудь другого». Или: «Ты не станешь сердиться, если я время от времени буду говорить тебе, как много ты значишь для меня? Я люблю тебя глубоко, я уважаю и восхищаюсь тобой, но любовь всё же важнее всего остального, потому что она сохранится во мне, как бы ты ни повёл себя, что бы ни сделал».

БАС: В книге почти нет писем Дэвида к Элеанор. Правда, в маленькой сноске говорится, что дочь Анна, после смерти матери, сожгла все его письма, хранившиеся в комнате покойной. Если там были только дружеские излияния, нужно ли было их сжигать? Другая лакуна: в книге обойдён вниманием аспект отношений врач—пациентка. Когда влюблённые впервые снимают с себя одежду, чтобы слиться друг с другом, это переживается обоими как некое священнодействие, как жест предельного доверия, на который нужна немалая решимость. У Элеанор и Дэвида этот момент был пройден легко и незаметно. Сколько раз пальцы доктора Гуревича должны были прикасаться к обнажённому телу миссис Рузвельт во время медицинских осмотров!

ТЕНОР: Про это – ни слова, зато много внимания уделено роману Дэвида с Мартой Гелхорн, бывшей (третьей) женой Эрнеста Хемингуэя. Он загорелся в 1950 году, но с самого начала наткнулся на препятствия географического порядка. Марта к тому времени поселилась в Мехико, потому что возненавидела всё американское и особенно – Нью-Йорк. Дэвид летал к ней на свидания почти каждый уикенд. Они всерьёз обсуждали женитьбу, Дэвид даже открыл счёт в Мексиканском банке и договорился о преподавательской работе в медицинском колледже. Но его развод с первой женой ещё не был оформлен, да и Марта начала колебаться, потому что больше всего дорожила своей независимостью.

БАС: В этой истории умудрённая жизнью Элеанор проявила необычайный такт и понимание. Её письма Дэвиду этого периода окрашены почти материнской заботливостью (*читает*): «Из того, что ты рассказывал мне о себе, у меня возникло впечатление, что чаще женщины добивались тебя, чем ты – их. Это избаловало тебя и ослабило готовность проявлять инициативу самому... Хотя в твоём возрасте утоление физического желания является крайне важным, тебе следует прежде всего искать душевной близости и взаимопонимания, если ты хочешь создать прочный и счастливый союз».

ТЕНОР: Но всё же страх потерять Дэвида насовсем, страх, что он уедет в Мексику навсегда, точил сердце Элеанор. В октябре

1951 года она писала (*читает*): «Я буду глубоко опечалена твоим отъездом, но если он сделает тебя счастливым, я буду рада за тебя. Пожалуйста, помни, что, где бы я ни была, мои объятия всегда открыты для тебя. Мой дом – всегда твой дом, когда тебе захочется посетить его одному или с кем-то, кого ты любишь. Я дорожу каждой минутой с тобой в эти последние дни и чувствую, что их осталось немного. Благодарю судьбу за то, что она дала мне возможность узнать тебя, и надеюсь, что мы сохраним нашу близость, даже если ты начнёшь новую жизнь вдалеке. Каждый день молю Бога, чтобы он хранил тебя и дал счастье в жизни. Моя любовь с тобой, Дэвид, бесценный друг, и пусть у тебя будет много счастливых дней впереди».

БАС: И вдруг случилось нечто непредвиденное: проведя свой отпуск с Мартой в Мексике в декабре 1951 года, Дэвид вдруг оставил планы переезда туда и принял пост главного врача в детской больнице под Нью-Йорком. Мы никогда не узнаем, что привело к разрыву отношений с Мартой. Но по январским письмам Элеанор из Парижа можно почувствовать, с каким счастьем и облегчением она приняла это известие. Ещё осенью она пригласила Дэвида и Марту присоединиться к ней в длинном путешествии, конечным пунктом которого была Индия. А тут всё обернулось таким образом, что Дэвид полетит с ней один!



ТЕНОР: Еврей Гуревич не мог сопровождать миссис Рузвельт, когда она посещала арабские страны в начале своего маршрута: Ливан, Сирию, Иорданию. Он присоединился к ней в Израиле. За семнадцать лет его отсутствия страна изменилась

неузнаваемо. Бывшие посёлки превратились в бурлящие жизнью города с каменными домами и тенистыми улицами, посаженными деревьями. На месте болот и песков тянулись масличные сады и виноградники. Ирригация произвела революцию в сельском хозяйстве. Из окна самолёта легко было различить границу между зеленеющими полями израильтян и желтеющими – палестинцев.

БАС: Элеанор была счастлива увидеть расцвет страны, за создание которой она сражалась так долго и самоотверженно. Встреча с премьер-министром Бен-Гурионом произвела на неё сильное впечатление, он показался ей человеком необычайной целеустремлённости, способным охватить сразу огромный спектр проблем, стоящих перед государством. Также для неё была устроена встреча с арабским шейхом, дружелюбно настроенным к израильтянам. Высокий красивый араб уже в самом начале беседы предложил вдове президента Рузвельта присоединиться к его гарему. Она поинтересовалась, какой порядковый номер ей достанется. Услышав двузначное число, отказалась.

ТЕНОР: В Индии Элеанор встречалась с Неру, произнесла речь перед парламентом. Дэвид подробно описал в путевом журнале, как проходило выступление. Аудитория была настроена враждебно, антиамериканские настроения были очень сильны. Миссис Рузвельт, как всегда, говорила без бумажки, она не поучала, а делилась своими мыслями. Сказала, что американцы хорошо понимают тягу народа к независимости, потому что помнят, какой крови и лишений им стоило освободиться от той же Великобритании два века назад. Индийские парламентарии были покорены, речь вызвала бурные овации.

БАС: За первым совместным путешествием вскоре последовали другие. Летом 1952 года они посещают Грецию и Югославию, где знакомятся с президентом Тито. Весной 1955 года через Японию и Гонконг летят в Таиланд. Весной 1957 отправляются в Марокко. Султан Мохаммед Пятый в годы войны встречался с Франклином Рузвельтом и был покорён им. В благодарность за полученные при встрече советы он благосклонно отнёсся к просьбе Элеанор облегчить положение евреев, застрявших в его стране. Десять тысяч еврейских беженцев вскоре были отпущены в Израиль.

ТЕНОР: В Америке общение Дэвида и Элеанор было постоянным. Дочь Дэвида, Граня, любила гостить летом в Гайд-Парке, и для него это было стимулом тоже приезжать туда на уикенды. Каждый день Дэвида начинался с короткого звонка его матери, день Элеанор – с короткого звонка Дэвиду. В середине 1955 года секретарша Элеанор была поражена переменой, произошедшей с её хозяйкой. После очередной зарубежной

поездки она вошла в квартиру радостно оживлённая, похудевшая, одетая в элегантный парижский костюм, увенчанная модной шляпой. Что могло быть причиной этого преображения? Секретарша знала только одно недавнее событие, которое могло порадовать Элеанор: Дэвид наконец-то оформил развод со своей первой женой.

БАС: С первой женой разошёлся, но пыла к молодым красавицам Нью-Йорка не потерял. Осенью 1956 года произошло знакомство с молодой заведующей картинной галереи Зильберманов на Мэдисон-авеню. Стены её кабинета были украшены картинами Сассеты, Босха, Кранаха Старшего, а в запасниках хранились работы Франса Гальса, Гойи, Рубенса, Моне, Ренуара. Общие друзья пригласили Эдну Перкель и Дэвида полететь на открытие большой выставки картин в Торонто, и по дороге – опять в полёте! – Дэвид сумел заинтриговать и обворожить свою спутницу, которая была на два десятка лет моложе него.

ТЕНОР: Джозеф Лэш так объяснял загадку обаяния Дэвида: *он принимал женщин всерьёз*. Держал их руку в своей, подносил к губам и целовал, проникновенно глядел в глаза, застенчиво улыбался и всем своим видом и тоном показывал, что понимает и принимает близко к сердцу каждое их душевное движение.

БАС: Дэвид оплетал Эдну рассказами о своей жизни, как лианами, переносился из детства в Швейцарии к учёбе в Берлине, от работы в больнице в Палестине ко встречам с маршалом Тито. На следующий день она спросила, не хотел ли бы он узнать что-нибудь и про неё. «О, про вас я всё знаю», сказал Дэвид и тут же набросал довольно убедительный психологический портрет своей новой знакомой, который показался Эдне не только близким к действительности, но и лестным. Потом раздвинул указательный палец и большой на расстояние дюйма и добавил: «Ещё я знаю, что у нас есть вот такой шанс пожениться».

ТЕНОР: Да, поначалу шанс был невелик. Дэвид дорожил отношениями с Элеанор и не знал, как она отнесётся к появлению новой женщины в его жизни. Он решил представить их друг другу в непринуждённой атмосфере – привёл Элеанор в галерею в день открытия очередной выставки, когда шум голосов и бокалы с шампанским помогали размыть возможную неловкость. Затем последовал интимный обед втроём, во время которого Эдна могла получить представление о том, *насколько* эти двое повязаны общими интересами, общими друзьями и воспоминаниями.

БАС: Именно в этом месте своего повествования миссис Гуревич вставляет текст письма Элеанор, отправленного за

несколько месяцев до знакомства будущих супругов (*читает*): «Дэвид, дорогой мой, сижу сейчас, думаю о тебе и пытаюсь понять, чем вызвана твоя сдержанность. Мне бы хотелось, чтобы ты чувствовал себя со мной непринуждённо, как если бы я была членом твоей семьи... Но у меня не получается. Что-то неладно со мной! Мне бы хотелось, чтобы ты обращался ко мне по имени, но ты не можешь. Наверное, виной тому мой возраст. Я люблю тебя, ты всегда в моих мыслях, но если это тяготит тебя, я спрячу свои чувства. В этом я большой мастер. Ты прочёл мне лекцию, и я постараюсь быть осторожной. Ты же люби меня хоть немножко и показывай это, если сможешь».

ТЕНОР: Нужно признать – текст выбран умело. Элеанор выглядит наседающей, Дэвид – уклоняющимся. Нет сноски о том, что «прочёл лекцию» не о поведении по отношению к нему, а о пренебрежении собственным здоровьем. Но ведь было много и других писем весной и летом 1956 года. Например, мартовское письмо, которое цитирует Джо Лэш в своей книге «Мир любви: Элеанор Рузвельт и её друзья, 1943-1962» (*читает*): «Если тебе придётся снова отправиться на лечение, я не могу смириться с тем, чтобы ты ехал один. Хочу всегда быть рядом с тобой. Может быть, испугавшись этой угрозы, ты станешь лучше заботиться о своём здоровье? Дэвид, дорогой, я не глупа и никогда не забываю... что ты любишь молодость и красоту и независимость, и я ни в коем случае не хочу становится между тобой и этими радостями, только помогать... Моё сердце принадлежит тебе на все оставшиеся годы».

БАС: Из рассказа самой Эдны Гуревич мы узнаём, что ей тоже довелось хлебнуть уклончивости Дэвида полной мерой. Они уже встречались регулярно несколько месяцев, и вдруг однажды он не позвонил в обещанное время. Она набрала его номер в больнице и оставила сообщение у дежурной. Прошло несколько часов – молчание. Она позвонила снова и спросила, было ли её сообщение передано доктору Гуревичу. Да, он получил его. Эдна была в растерянности, в тревоге, в гневе. На следующий день – опять ничего. Гордость не позволила ей продолжать попытки. Исчезновение – или побег? – длилось шесть недель. Он появился так же внезапно, как исчез. И принялся упрекать Эдну за то, что *она не звонила ему всё это время*.

ТЕНОР: Дальше последовала чехарда сближений – нежность, разговоры о будущем – и беспричинных отдалений. В марте-апреле 1957 года Элеанор с семьёй сына Элиота отправляется в Марокко – Дэвид берёт дочь Граню и летит вместе с нею. На лето Элеанор пригласила Граню жить в Вал-Килле, устроила ей работу в местном клубе. Дэвид регулярно навещал дочь там, всегда ездил один. В августе он сообщил Эдне, что



миссис Рузвельт пригласила его присоединиться к ней в намеченной поездке в Россию. На Эдну приглашение не распространилось.

БАС: Похоже, в этот момент расстояние между указательным пальцем и большим уменьшилось с дюйма до миллиметра.

ТЕНОР: Мать Дэвида, известный врач, знавшая советские порядки, умоляла его не ездить в СССР, боялась, что его не выпустят обратно. Ведь столько наивных репатриантов, поспешивших вернуться на родину после войны, сгинуло в Гулаге. Но Дэвид уверял её, что времена изменились и что миссис Рузвельт не допустит такого самоуправства. Эдна была уязвлена тем, что её не берут в такую увлекательную поездку, и Дэвид, чтобы загладить свою вину, обещал ей по возвращении назначить дату их свадьбы.

БАС: По пути в СССР путешественники сделали короткую остановку в Берлине. Дэвид отыскал развалины синагоги, разрушенной нацистами в 1938 году, во время «Кристалл Нахт». Место не было помечено никакой памятной доской – просто окружено деревянной оградой. Элеанор согласилась сфотографироваться на фоне развалин, снимок был потом опубликован в американских газетах вместе с очередным очерком Элеанор, и после этого немецкие власти зашевелились – пообещали выстроить клуб и повесить на нём соответствующий текст для туристов.

ТЕНОР: Поездка по СССР заняла весь сентябрь. Элеанор Рузвельт интересовалась в первую очередь образованием – от детских садов до университетов, Дэвид – больницами и медицинскими исследованиями. Знание русского языка позволяло ему общаться с хирургами и профессорами напрямую. Сотрудники Интуриста пытались вести визитёров по проторенным тропинкам – музей, балет, мавзолей, но те проявляли злостную строптивость, настаивали на посещении тех мест и учреждений, знакомство с которыми могло быть интересным для американских читателей. Дэвид фотографировал без разрешения и настолько испортил свою репутацию, что год спустя у него были большие трудности с получением советской визы для нового путешествия.

БАС: С самого начала миссис Рузвельт просила о возможности взять интервью у премьера Хрущёва. Ответы давались уклончивые, а срок отъезда приближался. В последние дни они с Дэвидом вернулись из Сочи и собирались нанести прощальные визиты, как вдруг переводчица объявила: «Да, забыла вам сказать: завтра мы летим в Ялту для встречи с товарищем Хрущёвым». С трудом сдерживая себя, Элеанор сказала: «Спасибо, что вспомнили». Наутро им пришлось лететь обратно на берег

Чёрного моря. Тысяча миль – такой пустяк!

ТЕНОР: Встреча состоялась на вилле Хрущёва. Радушный хозяин не возражал ни против магнитофона, поставленного Дэвидом на стол во время беседы, ни против щёлкающей фотокамеры. Но когда в процессе интервью начали всплывать вопросы о причинах холодной войны, о гонке вооружений, о нарушении ялтинских соглашений, о напряжённости на Ближнем востоке, он разгорячился, стал повышать голос, раскраснелся. Всё же в конце трёхчасового интервью, взял себя в руки и спросил: «Могу я сообщить нашим газетам, что беседа имела дружеский характер?». «Да, – ответила Элеанор, – дружеский, но с расхождениями по многим вопросам». «По крайней мере, мы не стреляли друг в друга», – усмехнулся Хрущёв.

БАС: То ли перед отъездом в СССР, то ли по возвращении Дэвид сообщил Элеанор о своём намерении жениться. «Если я не сделаю этого сейчас, – сказал он, – мне уже никогда не обзавестись семьёй». О реакции Элеанор мы знаем только со слов самого Дэвида, как они долетают до нас со страниц книги миссис Гуревич: «Миссис Рузвельт одобрила моё намерение. И добавила: “Ведь я не буду жить вечно”».

ТЕНОР: Всё же у неё оставались надежды, что брачные планы развалятся, как они развалились в случае с Мартой Гелхорн. В январе 1958 года Дэвид возвращался из Парижа, и в аэропорту его встречала не Эдна, а Элеанор. Она заранее украсила его квартиру цветами и оставила письмо, на случай если они разминутся, начинавшееся словом «дорогой» и кончавшееся: «скучаю, люблю нежно». Но опасность витала в воздухе, и секретарша Элеанор потом рассказывала, что все эти дни она была подавлена, молчалива, замкнута, хотя ни в семейной жизни, ни в политической не было никаких тревожных событий. А когда пришла телеграмма, извещавшая, что свадьба назначена на февраль, она побледнела и впала в депрессию на несколько дней.

БАС: Но совладала с собой. Более того: как и в случае с Эрлом Миллером, она уговорила брачующихся отпраздновать свадьбу в её квартире. Родители Эдны не были счастливы тем, что их дочь выходит замуж за разведённого, старше неё на два десятка лет, имеющего взрослую дочь, но постарались не портить праздник. Обряд совершил раввин – старинный друг Дэвида по берлинским временам. Элеанор подарила Эдне ожерелье – дымчатые кристаллы на золотой цепочке, но, считая подарок недостаточно дорогим, пообещала поднести им билеты на самолёт, куда бы они не решили лететь: в Россию, Китай, Японию. По свидетельству секретарши, на людях она сумела владеть собой, но, когда все разошлись, опустилась на стул изнеможенная и

подавленная.

ТЕНОР: Эта поразительная женщина сумела подавить ревность, окружила Эдну дружеским вниманием, приглашала её вместе с Дэвидом на праздники в Гайд-Парке, на официальные приёмы, на концерты. Главное для неё было: чтобы Дэвид Гуревич не ушёл из её жизни. Она даже попросила у Эдны разрешения не нарушать сложившуюся традицию – начинать свой день с короткого звонка её мужу. Разрешение было дано. Начались совместные путешествия втроём: в 1958 году – Россия, в следующем – отпуск в Пуэрто-Рико. Рождество 1958 года все трое праздновали в Вал-Килле, вместе с другими близкими друзьями и родственниками Элеанор.

БАС: Горы заготовленных подарков и звон бокалов на время праздника скрыли глубокий разлад, возникший в обширном семействе Рузвельтов к тому времени. Сын Элиот всё время требовал денег и по этому поводу ссорился с матерью и братьями. Джон Рузвельт и Анна – оба республиканцы – обосновались в каменном коттедже и собирали у себя друзей близких им по духу и склонных к шумному веселью. Этот лагерь с подозрением и неприязнью смотрел на гостей, собиравшихся в сотне метров от них, в доме миссис Рузвельт – демократы, интеллектуалы, художники, артисты, всегда устремлённые к возвышенным, но, как правило, недостижимым целям и идеалам. Немудрено, что Элеанор в окружении своих многочисленных потомков так часто чувствовала себя одинокой.

ТЕНОР: Видимо, именно чувство одиночества было главной причиной того, что она с такой радостью откликнулась на внезапно возникшую ситуацию. Владелец её квартиры известил её, что собирается существенно поднять арендную плату. Супруги Гуревич в это же время поняли, что квартира Дэвида маловата для них. «А почему бы нам не купить вместе дом в Манхэттене и не поселиться в нём втроём?» Эдна Гуревич утверждает, что именно она была автором этой идеи. Однако тут же добавляет, что задолго до её появления на сцене идею жизни под одной крышей выдвигала Элеанор, но Дэвид уклонился.

БАС: После долгих поисков подходящее здание было найдено на Ист-74-стрит. Финансовые переговоры о покупке, ремонт и внутренние переделки растянулись чуть ли не на год. Гуревичи получили в своё распоряжение четвёртый и пятый этаж, миссис Рузвельт – второй и третий. (Первый был оставлен врачам, арендовавшим там кабинеты раньше.) Апартаменты Элеанор были достаточны для приёма высокопоставленных гостей и их свит. Телефон и дверной звонок не умолкали. Письма, телеграммы, цветы, пакеты, продукты, важные и случайные визитёры, дети и

внуки, дипломаты и адвокаты, актёры и певцы, писатели и журналисты – семидесятишестилетняя женщина едва ли имела минуту покоя в течение дня. Но только так она и могла существовать и утолять свою главную страсть: быть кому-то нужной.

ТЕНОР: Эдна сумела расположить к себе Элеанор, и жизнь под одной крышей окрасилась тёплыми чувствами всех троих друг к другу. Вскоре у Гуревичей родилась дочь Мария, и Элеанор устроила праздник в честь новорожденной. В 1962 году Эдна и Элеанор совершили совместную поездку в Израиль.

БАС: Гораздо труднее были для миссис Рузвельт отношения с детьми. Переживая за их семейные драмы, она не могла отказаться от материнской привычки направлять и упрекать. Для взрослых сыновей это было особенно тягостно, когда они видели отношение матери к Дэвиду Гуревичу – «безупречному» всегда и во всём. Он впоследствии вспоминал, что однажды Элеанор даже затронула тему самоубийства. «Я заслоняю своих детей, – сказала она. – Когда меня не станет, мир отнесётся к ним с большим вниманием».

ТЕНОР: Дэвид рассказывал впоследствии, что пациентом она была нелёгким. На предложение проделать те или иные тесты отвечала «У меня нет времени». Летом 1962 года Дэвид был в отъезде, когда она почувствовала серьёзное недомогание и слабость. Заменявший Дэвида врач обнаружил сильное падение гемоглобина и настоял на переливании крови. Оно привело к невероятному подскоку температуры, бреду, потере сознания. С этого момента начал набирать силу недуг, который врачам не удавалось диагностировать.

БАС: Больная была окружена толпой влиятельных докторов, мнения которых часто расходились с мнением вернувшегося Дэвида. Но всем было ясно, что конец приближался неумолимо. Элеанор Рузвельт не был дарован такой быстрый и лёгкий уход из жизни, какой был дарован судьбой её мужу. Мучительные лечебные процедуры в больнице и дома тянулись четыре месяца. Но и у её смертного ложа до последнего момента находился тот, кого она любила сильнее всех остальных.

ТЕНОР: Только после её смерти 7 ноября 1962 года результаты вскрытия позволили врачам поставить единодушный диагноз: проснувшийся застарелый туберкулёз достиг костного мозга и прервал нормальное производство кровяных телец. На её похороны в Гайд-Парке приехали бывшие президенты Трумэн и Эйзенхауэр, действующий президент Кеннеди в сопровождении вице-президента Линдона Джонсона, генеральный секретарь ООН У Тан и множество других видных фигур американской и мировой

политики.

БАС: Один из биографов впоследствии так обрисовал в коротком скетче жизненный путь Элеанор Рузвельт (*читает*): «Шаг за шагом она побеждала себя и поднималась на следующую ступень: от юношеской нерешительности – к ясному осознанию своих сил; от тенет викторианской морали – к щедрой терпимости к человеческим слабостям; от сословного снобизма – к защите расового и религиозного равноправия; от роли скромной матери семейства в тени блестящего мужа – к власти над умами и сердцами миллионов американцев». Невероятная душевная теплота и щедрость, замеченные когда-то в пятнадцатилетней Элеанор её любимой учительницей, излились на тысячи людей, встреченных ею в жизни. Президент Трумэн назвал её «первой леди мира».



## Фаина Петрова

### Интервью с Игорем Зенкиным:

**“Это было захватывающее интеллектуальное приключение!”**



*В июне 2000 года Игорь Зенкин, многолетний друг и коллега моего умершего мужа Саши Петрова, по моей просьбе пришел ко мне домой, чтобы дать интервью.*

*Саша и Игорь встретились в Институте Биофизики АН СССР, когда Саша в 61 году прошлого столетия с большим трудом туда попал. Игорь к тому времени был аспирантом Физтеха, а Саша студентом пятого курса.*

*На Физтехе с 4 курса всех студентов прикрепляли к каким-нибудь научным или научно-техническим институтам, на базе которых проходило их дальнейшее обучение. Сашу вместе с группой распределили в закрытое конструкторское бюро КБ -1, которое занималось радиотехническими проблемами. Студентам, как свидетельствует Сашин сокурсник Борис Седунов, постоянно внушалось, в какое престижное место они попали и как должны гордиться и ценить оказанное доверие.*

*Сашу взяли в теоретический отдел и даже в виде исключения платили полставки. Но ему там было не интересно. К этому времени он уже прославился на Физтехе тем, что успешно выдержал несколько экзаменов по теоретической физике у академика Ландау (теорминимум) до того, как последний попал в аварию.*

*А тут на Физтехе создали новое направление - биофизику, и Саша решил туда перейти. Но в КБ -1 не захотели его отпускать. Сашину судьбу предопределил Александр Васильевич Беляков: он в то время возглавлял военную кафедру Физтеха. Это был тот самый легендарный герой, чье имя знала вся страна (Байдуков, Беляков и Чкалов), и он считал, что не какому-то КБ решать, что делать его подопечным.*

*Он сказал Сахе и его другу Алику Бабакову, что, если они сдадут все экзамены на одни пятерки, то им будет позволено*

*перейти на другую специальность. И Беляков сдержал свое слово.*

*Но надо было пройти еще интервью у Михаила Моисеевича Бонгарда, который фактически был идейным руководителем лаборатории Физиологии зрения. Саша и с этим удачно справился.*

*Заведующим лабораторией официально был Николай Дмитриевич Нюберг, но реально всем заправлял Бонгард, поскольку Нюберг был уже довольно пожилой чело век и полностью доверял Михаилу Моисеевичу руководство коллективом. Бонгард, ставший Сашиным научным руководителем, сразу подключил его к работе над распознаванием образов.*

*На Физтехе 6 курс отводится на написание диплома. Саша защитил диплом на 5 курсе, в конце первого года работы над совершенно новой для него биофизической тематикой. Насколько я знаю, это был первый случай в институте, когда кто-то раньше срока защитил диплом. Если учитывать, какая на Физтехе напряженная программа, то понятно, что это было совсем нетривиально. И особенно не тривиальным было то, что ведущий сотрудник лаборатории Михаил Сергеевич Смирнов предложил считать работу диссертацией (Саша показал бесперспективность так называемого перцептрона Розенблата для решения задач распознавания зрительных образов, а эту идею разрабатывали в тот момент два института), но Бонгард не поддержал идею Смирнова, сказав, что Петров “напечатает еще много подобных работ”.*

*А спустя 3 года, закончив аспирантуру, Саша вынужден был уйти из ИППИ (Институт проблем передачи Информации АН СССР), куда к этому времени перешла лаборатория Физиологии зрения, ставшая Лабораторией передачи информации в органах чувств.*

*О причинах этого ухода мой первый вопрос Игорю:*

*- Расскажи, пожалуйста, о ситуации в вашей лаборатории в те годы, когда там был Саша. Почему Бонгард (как рассказала спустя какое-то время Саше дочка Нюберга) поставил перед последним вопрос: «Или я, или Петров»? Мне кажется, если бы Саша остался в вашей лаборатории, если бы ему не пришлось раздваиваться, занимаясь тематикой Курчатника, куда он пошел работать, и продолжая сотрудничать с тобой, он как ученый достиг бы большего.*

*- Нет, Саша в науке мог бы достичь в любом месте высших результатов - всего, чего можно достичь в карьере (вот и академик Анатолий Петрович Александров, тогдашний Президент Академии Наук СССР, оценил его очень высоко), но у него просто не было*

этого желания, не было интереса к этому. Ему было интересно работать, интересно открывать - вот это его увлекало. Ему был интересен сам процесс. А всякие формальности он воспринимал прямо-таки болезненно. Ему было чуждо стремление отвоевывать себе место под солнцем - это и по конференциям чувствовалось, и по общению с людьми.

Мой рассказ о Саше мог бы стать и моей автобиографией более чем на треть века, потому что у нас была очень тесная совместная жизнь - и научная (например, многолетние исследования зрительного последовательного образа), и просто совместные дела (к примеру, путешествие на тростниковом плоту по Аму-Дарье), и всему мы отдавались с таким увлечением, что, если описать все это, то получится приключенческий роман.

О Саше можно сказать, что он был самым настоящим положительным героем своего времени, потому что он обладал лучшими человеческими качествами. Это отмечали все, кто с ним имел дело. Я же хочу рассказать о некоторых конкретных вещах, которые добавят новые штрихи к его портрету.

Представьте, человек очень увлечен наукой... Не зря мы пошли на Физтех, в этот институт, где на самом высоком уровне обучали жить наукой! И это было так глубоко внутри, что действительно, кроме этого, нас ничего не интересовало. В то же время мы были живые, подвижные. Вспоминаются всякие забавные истории того времени. Вот я бегу на встречу с Сашей в библиотеку ГПНТБ, что на Кузнецком мосту. Мы тогда уже в разных организациях работали и все время согласовывали, где и когда нам встретиться, потому что был непрерывный поток проблем, которые нас захватывали, - и экспериментальные, и теоретические. У Саши к тому времени уже семья, маленький ребенок... Я опаздываю, бегу по тротуару, лавируя между спокойно идущими прохожими, и вдруг краем глаза вижу, что кто-то тоже бежит по другой стороне улицы. И кто, ты думаешь? А это Саша! И сколько раз такое было! Все люди как люди - идут. Кто бежит? Бежит Петров и бежит Зенкин, чтобы успеть вовремя встретиться.

Второй образ того времени - работа на ЭВМ. Нам давали ключи от этой машины. Тогда это было очень все сложно, машин было мало, они были громоздкие. Мы работали на машине в Институте теоретической и экспериментальной физики, она занимала двухэтажное здание. Нам давали только ночное время. И опять мы бежим, чтобы успеть на метро и на трамвае к своему времени - к 12 или к часу ночи. Работаем до 4-5 утра и затем сидим-дремлем там до открытия метро.

Машина постоянно ломалась. Мы, бывало, часа четыре версию отлаживаем, вдруг: бах - машина вырубается. Вызываем с



первого этажа дежурную. Заспанная дежурная идет вдоль стеллажей блоков, принохиваясь: ага, вот этот блок погорел – явный запах горелого. Дежурная заменяет блок, мы начинаем все сначала. И так два-три раза в месяц. Только в молодости можно быть таким упорным, не терять присутствия духа в таких обстоятельствах.

Мы обсуждали многие фундаментальные проблемы физиологии зрения, проводили много экспериментов, и это привело к открытиям. Мы с Сашей сделали три настоящих открытия в области физиологии зрения.

(Но кроме того, Саша у себя в институте делал еще что-то и многого добился: это видно хотя бы по его теоретической диссертации)

И вот мы обсуждаем в ГПНТБ, где обычно встречались, эти серьезные проблемы, но при этом каждый вопрос содержит в себе и что-то не очень серьезное. Один это подмечает, другой тут же подхватывает и кончается тем, что у нас начинается совершенно истерический смех, и мы вынуждены выбегать из читального зала, чтобы не мешать остальным. Потом возвращаемся, смотрим друг на друга, вспоминаем обсуждаемую тему - и снова приступ.

*- Я легко могу себе это представить, потому что, когда в домашних условиях или в походе собиралась наша дружная компания, вы вдвоем доводили нас до изнеможения: мы уже и смеяться не могли - только стонали.*

- В компании мы друг друга тоже заводили: один затеет, скажет что-нибудь почти серьезное, возникают какие-то ассоциации, мгновенно тема разрабатывается, идет поток уже несерьезных ассоциаций – пропало дело.... Саша сам по себе был прекрасный юморист. Он легко включался в процедуру создания веселья. И часто бывало в лаборатории так, что стоило Саше появиться, как тут же спокойная обстановка нарушалась, мы начинали смеяться, всем становилось весело, потому что он с юмором начинал что-то рассказывать, говорить так, что в самом серьезном всплывало что-то забавное, смешное. И так было всегда. Обсуждение самых серьезных тем проходило в обстановке веселого подъема, иронии, парадоксальности. Иногда эта ирония как бы поддевала кого-то, но все делалось так тактично и по существу, что каждый готов был с этим согласиться, не испытывая чувства задетого самолюбия.

В течение нескольких лет мы с Альфредом Лукьяновичем Ярбусом издавали в лаборатории сатирическую газету «Хрясть!» И вот мы за две недели до Нового Года готовим новогодний выпуск. Приходит Саша, проникает в нашу закрытую комнату и мгновенно включается, точно попадает в нашу струю, начинает что-то

добавлять, разукрашивать. В результате из-за дверей этой комнаты на всю лабораторию новый взрыв хохота: «Хрясть» набирает силу!

И все так естественно, полная творческая гармония!

Сколько я помню Сашу, он всегда пребывал в состоянии веселой, иронической, но и очень содержательной выдумки.

В то же время на этом фоне постоянно проглядывал некий трагизм. Его душа страдала. Где-то там, в самой глубине, что-то не давало ему спокойно наслаждаться жизнью. Можно сказать, что он был классный юморист, но далеко не оптимист. Особенно часто это наблюдалось по утрам, когда мы бывали с ним в поездках, на конференциях: как будто все суетное куда-то уходило, а появлялось совсем другое - внутреннее страдание. Иногда могло показаться, что есть какие-то объективные причины: может, случилось что-то. Но нет, это было на фоне полного благополучия и в семье, и на работе. И казалось, это было что-то не просто человеческое, не просто чисто земное. Это было, как бы, связано с чем-то запредельным.

Мы с Сашей много говорили о философии, религии, о проблеме НЛО. Я этим вопросом серьезно занимался почти двадцать лет, и все, что появлялось здесь нового, экстравагантного, тут же выливалось на его голову. Он и сам часто инициировал такие разговоры, и вечером иной раз казалось: все - я его убедил! Он сам уже приводит подтверждающие примеры. А утром встречаемся - все начинай сначала, как будто ничего и не было сказано.

Я понимал, что это было связано с его душевным состоянием. Его душа не получала удовлетворения в каком-то комплексе проблем, было что-то такое, что его не устраивало. Хотя так, как он прожил жизнь... Я убежден, что он-то свое предназначение выполнил, грех жаловаться на судьбу, на небо!

Я, наоборот, всегда чувствовал, что я в глубине души оптимист, и, когда мы занимались вместе каким-либо делом, нам этот оптимизм основательно помогал. У Саши было очень болезненное состояние, когда его, по желанию Бонгарда, «ушли» из лаборатории. Причем все хотели, чтобы Саша остался. Николай Дмитриевич Ньюберг в нем души не чаял. Бызов, будущий заведующий лабораторией (после гибели Бонгарда в горах), и мы все, молодые сотрудники, были, конечно, за Сашу – он был наш друг. Вот только с Михаилом Моисеевичем произошел разлад, и никто ничего сделать не смог. Бызов в этот момент вел самостоятельную работу в области физиологии сетчатки и готов был взять Сашу к себе на свою тему, но политически это было бы неправильно: как бы в пику Бонгарду. К тому же Бызов благоговел перед Бонгардом, потому что тот был идеологом. Я знаю точно, как

все произошло, и это не было связано с каким-то несоответствием Саши чему-то, как говорил Бонгард.

Михаил Моисеевич Бонгард был человек особый. У него очень сильно было развито «эго». Для того чтобы удовлетворить это «эго», ему приходилось очень много работать над собой, над своей внешностью. Он был довольно слабым в детстве, но заставил себя ходить зимой без пальто, занялся горнолыжным спортом. Он любил театральность. Делал все это он очень умело, производил впечатление на людей. Вот мы сидим на семинаре, он выступает, мы с Сашей перегляемся: «Ну, зачем он дурит нашего брата?» Бонгард умел убеждать не фактами, а блеском своих речей, логикой прекрасной. Если Бонгард хотел, он мог размазать человека по стене, потому что никто не мог противостоять его напору, тем более что уже существовало такое отношение: «Если он сказал, это все!»

*- Я помню, Саша рассказывал, как у вас на семинаре выступал Бызов: Бонгард задал ему какой-то вопрос, и Бызов упал в обморок.*

- Да, такое было. Единственные, кто этому не поддавался, были мы: Саша и я. Мы могли с ним общаться, но был дискомфорт, дисгармония. Вот с Михаилом Сергеевичем Смирновым, коллегой Бонгарда, напротив, был душевный контакт, мы с полуслова понимали друг друга. У Бонгарда была интеллектуальная эквилибристика, а у Саши душа включалась во все происходящее, поэтому он не мог поиграть, подурить человека ради сиюминутного выигрыша, успеха. Ученым, которые свою честь связали с наукой, было свойственно такое поведение: считалось, что их честь пострадает, если их уличат в неправильности каких-нибудь выводов. Их «эго» было связано с этим. Нам с Сашей не приходилось ни под кого подстраиваться, все было гармонично...

...И вот мы сидим на семинаре и видим: Бонгард увлек всех, все в его ауре, он сейчас может выдумать что угодно, и все будет принято: все уже в его власти. Это такие парapsихологические явления: всегда были личности, которые так действовали на людей. Мы с Сашей этому не поддавались, хотя человеческие отношения оставались положительными. Вообще, Бонгард был замечательный чело век, но при этом были и вот такие нюансы. Это Сашу не устраивало. И вот однажды Бонгард, выступая на семинаре (может быть, эта была даже их совместная работа), позволил себе сказать какую-то неправду: она очень логично встраивалась, красиво, и поэтому как бы помогала Бонгарду убедить всех присутствующих в правильности выводов.

Когда мы в машине Бонгарда возвращались после семинара, Саша сказал ему: «Михаил Моисеевич, зачем Вы так

делаете? Ну, ладно, мы в чем-то оказались не правы, не додумали, не заметили... Нет, нужно и здесь обязательно выиграть!» Бонгарда это очень задело, и, как Саша потом говорил, именно этот разговор все определил. Этого принципа, из-за которого они разошлись с Бонгардом, Саша придерживался всю свою жизнь.

*- Да, действительно, он этого принципа придерживался всю свою жизнь, но, возможно, именно история с Бонгардом научила его действовать не столь прямолинейно. Он даже стал признанным виртуозом в общении с начальством: умело обходил острые углы, не загоняя оппонентов в угол, но и не роняя себя.*

*Один пример: когда мы были в Корее, выяснилось, что принимающая сторона, воспользовавшись незнанием Саши, не прописала в контракте с ним какие-то вещи, которые ему были положены, - кажется, не предоставила ему отпуска.*

*Он не стал возмущаться, обличать виновных, а просто сказал: «Это или ошибка, и тогда исправьте ее, или это сознательный обман, и в этом случае я буду вынужден прекратить работу с вами, потому что не хочу иметь ничего общего с обманщиками». Конечно, корейцы воспользовались предоставленной лазейкой и признали происшедшее своей ошибкой. А потом даже выразили ему благодарность за корректное разрешение недоразумения.*

*Игорь, я хочу тебя спросить - может, это даст дополнительный оттенок тому, что ты сейчас говорил. На основании рассказов Саши у меня сложилось свое представление об этом конфликте. Он как-то мне говорил (может, даже об этом самом семинаре), что Бонгард, делая сообщение о Сашиной работе, запутался, попытался выкрутиться, на ходу придумав что-то, и пришлось Саше вмешаться и объяснить, в чем дело. И Бонгард не простил ему этой неловкости: оказывается, он не понял, не вник в ту работу, которую он представлял как руководитель!*

*- Да, Фая, это вполне могло быть так. Кстати, нередко было нелегко понять смысл того, что говорил Саша, и, как правило, потом оказывалось, что он прав.*

*- Я знала эту его особенность очень хорошо: он часто говорил, пропуская какие-то звенья рассуждения. Когда Саша что-то для себя открывал, ему это начинало казаться настолько тривиальным, что он думал, что все вместе с ним перескочат через такие очевидные этапы. Но людям, не прошедшим с ним весь путь, трудно было принять готовые выводы, и отсюда порой возникало недопонимание.*

*Что касается отношений с Бонгардом, то, как мне кажется, тут два момента: с одной стороны, вы не поддавались*

*интеллектуальному давлению Бонгарда, а с другой - у него, может, возник страх: как бы то, что он делал с другими (размазывание по стене), вы не сделали с ним, специально этим не занимаясь, а просто потому, что оказались интеллектуально сильнее его?*

- Ну, у нас не было такого свойства. Но то, что мы могли независимо от него обсуждать вопросы, которые его тоже интересовали, и могли иметь свое собственное обоснованное мнение, которое не совпадало с его, он чувствовал...

Я сначала работал у Бызова, потом у Бонгарда стал заниматься распознаванием образов. А Саша сразу пришел на распознавание, он этим увлекся и очень скоро получил значимые результаты. И Мика (Бонгард - ФП) это очень оценил. Саша быстро сделал диплом. Все шло хорошо. Сейчас я понимаю, что он им всем очень помог: до Саши они шли от одного красного, порой эффектного, заблуждения к другому. А Саша, поскольку не увлекался внешними эффектами, а интересовался существом дела, сразу эту проблему раскусил и написал статью, которая все поставила на своё место. Если бы он дальше стал одним этим заниматься, то результаты были бы еще более значимы.

Но сейчас я думаю, что мир к нам расположен всегда дружелюбно, все происходит для нашего блага. Случай с Сашей - подтверждение. Бонгард решил его не брать, и Саша какое-то время оказался не у дел и в некоторой растерянности. Потом он устроился и многого добился на новом месте...

Но еще какое-то время - года три, наверное, - это была для него психологическая драма. Именно тогда мой оптимизм помогал справляться.

*- Конечно, то, что ты, единственный в ИППИ, поддержал его, и не только душевно, но и делом, продолжая с ним сотрудничать, то есть он не остался в пустоте, было очень важно для него. Я думаю, ему помогла и моя поддержка, вера в него, и его любовь к семье, к маленькой дочери. Если бы не все это, он бы просто свихнулся, потому что у него была очень ранимая психика.*

- Да, это так. У него действительно начинался психоз, который мог привести к серьезным психическим нарушениям. И я совершенно сознательно занимался тем, что выводил его из этого состояния. Встречаемся - он в совершенно разбитом состоянии, может говорить только об этом: «А вот Бонгард...» И требовалось часа два, чтобы привести его в равновесие. И так изо дня в день, изо дня в день... Бызов говорил мне: «Ты давай подбадривай его, подбадривай!» Бызов тоже переживал эту ситуацию, хотя не знаю, понимал ли он, что произошло.

- Дима Вайнцвайг (сотрудник лаборатории – ФП) сказал, что Саша как бы нарушил гармонию.

- Может, ее и сначала не было, нечего было нарушать. И Саша другой бы стиль ввел, если бы остался у Бонгарда. Этого захватывающего, впечатляющего театрального действия не было бы. Это был бы строго честный стиль. Я вспоминаю наши встречи с Вадимом Давыдовичем Глезером - он был физиологом, многого в физике и математике не понимал, хотел, чтобы мы ему помогли. Мы над ним подтрунивали. Как-то обсуждали вопрос: «Как надо писать статьи?» Его сотрудник говорит: «В статье всегда надо писать только научную истину». Это нас очень рассмешило: «При чем тут истина? Кто знает ее? В статье мы можем писать только свои предположения. И об этом надо писать честно, то есть писать то, что ты считаешь правильным в этот момент. Ты можешь заблуждаться, конечно».

- А вот была ситуация с Иваном Пигаревым (сотрудник лаборатории – ФП)... Саша мне рассказывал, что Иван проводил экспериментальную работу, основываясь на теории, которую разработали вы с Сашей. Потом Саша от этой идеи отказался, а Иван уже сделал свою работу, и ему очень не хотелось от нее отказываться, хотя результаты были неопределенные, не четкие.

- Да, был такой момент: Саша отказался, а я нет. А Иван действительно был спровоцирован нами и что-то нашел. Но это уже другая тема. Можно написать второй том о том, какие разногласия у нас возникали и как занимательно мы их разрешали. Разрешить можно было только экспериментально, но не было такой возможности. Те эксперименты, которые мы могли проводить, не давали однозначного ответа.

Постепенно у нас начались теоретические разногласия, но в результате все-таки мы достигали определенных результатов. Например, торсионные движения глаз. Это наше открытие. Проверить идею, которая вписывалась в нашу же концепцию принципов движения глаз, предложил Саша, быстро додумались до того, как это проверить. Рассказали об этом Ярбусу (сотрудник лаборатории – ФП), который воспринял идею довольно скептически. Провели первый пробный эксперимент. Полностью все подтвердилось. Это было опубликовано и у нас, и за рубежом, и вошло в учебники. Наш аспирант, Варлам Галоян, через несколько лет защитил на этом диссертацию.

Второе открытие связано со «зрительным последовательным образом» (ЗПО). Оно звучит так: «Стабильность «богатого» ЗПО в отличие от бедного образа». Этот «богатый» образ возникает, если сидишь в темноте, затем очень короткая яркая вспышка света (например, от лампы-вспышки фотоаппарата),

и при этом освещается вся обстановка, затем снова темнота, и человек через 3-4 секунды начинает видеть эту обстановку, как реальную. Причем картинка стереоскопическая и настолько живая, что человек не подозревает, что сидит в полной темноте. Всем испытуемым казалось, что лампа гаснет постепенно и продолжает все освещать. Вот такая феноменология.

Оказалось, что эта яркая вспышка ослепляет рецепторы, рецепторы запасают световую энергию. Когда через 3-4 секунды ослепление проходит, эти рецепторы начинают выдавать нормальный электрический сигнал, и этот сигнал интерпретируется мозгом. Получается, что это как бы «замороженное» на сетчатке истинное изображение обстановки. Зрительная система синтезирует из остаточных сигналов фоторецепторов образ – трехмерный и совершенно реальный, живой. И парадокс состоит в том, что, если во время наблюдения обстановки испытуемый переводит взгляд с одной точки фиксации (слабая реально светящаяся точка от микролампочки) на другую, то богатый ЗПО остается неподвижным, а реальные точки фиксации совершают в пространстве нереальное перемещение, и человек теряет ориентацию направления. Бедный ЗПО в этих условиях перемещается вместе со сменой точки фиксации.

Так для нас стала высвечиваться проблема непредметных механизмов инвариантности (НМИ), обеспечивающих стабильность зрительного поля при постоянно происходящих в обычных условиях скачках глаз.

Дальше следовала проблема механизмов константности. Именно эксперименты с ЗПО и НПИ позволили многие детали этих механизмов прояснить. Мы начали писать книгу об этом, но не завершили работу.

Третье фундаментальное теоретическое открытие основано на интерпретации феномена «подводной иллюзии» - видимое увеличение размеров объектов в воде при подводном плавании с маской. После долгих и тщательных экспериментов Саша в своих теоретических исследованиях нашел решение подводной иллюзии. Он вывел формулы, мы их проверили в экспериментах количественно, и практически все совпало с теорией. Это окончательно сформировало нашу концептуальную модель работы зрительной системы человека, которая и была основной целью всех наших многолетних исследований.

*- Забавно, что впервые эту идею Саши, который очень увлекался подводной охотой, высказал на берегу моря: «Почему рыба под водой кажется огромной, а на берегу оказывается жалкой рыбешкой?» Нашей дочери Ирине в то время было лет 12. Она организовала «Петровскую Академию Наук» и журнал*

*«Домнов», предложив нам писать туда статьи. Саша написал о подводной иллюзии. Так что все началось с игры.*

- Ну а в Москве это вылилось в то, что мы с Сашей, каждый у себя дома, наливали полную ванну, надевали маски и смотрели, что и как. Однажды, случайно закрыв один глаз, я обнаружил, что иллюзия пропадает. Тут же позвонил Саше и уже через несколько дней в лаборатории появился большой аквариум, поскольку стало ясно, что этот эффект бинокулярного происхождения. Через какое-то время Саша мне показал свои формулы, и стало ясно, как это работает. Это было здорово, красиво. Изучение этого эффекта привело к пониманию тончайшего эффекта, который рождается на границе раздела двух сред – воздуха и воды. Его можно было только теоретически рассчитать. Саша это сделал. Были известны приблизительные коэффициенты. Стали проверять. Было полное совпадение: когда увеличивается, когда уменьшается, когда меняет свой знак.

И вот тогда мы с Сашей пришли к выводу, что работа зрительной системы - это сугубо вычислительная процедура, совершенно необозримой для нас мощности, которая прекрасно синтезирует из очень противоречивых сигналов зрительных рецепторов модель мира, которая по качеству приближается к реальной.

Занимаясь зрительными образами, мы поняли, что у зрительной системы имеется как бы экран, в котором в связи со скачками глаз возникают перемещения одних проекций относительно других. И этого достаточно, чтобы как бы скомпенсировать. Ведь почему, когда глаз скачет, мы не видим, что скачет обстановка? Потому что вместе со скачками глаз происходит скачок координат, то есть во время скачка происходит смена координат, а во время фиксации все остается стабильным. Так возникла теория скачков и фиксаций. Очень простая модель механизмов стабилизации зрительного поля.

Иван Пигарев стал искать константный зрительный экран (КЗЭ) у кошек. Казалось, что что-то он там нашел. Но после осознания механизма подводной иллюзии возникли новые теоретические сомнения в таком прямолинейном подходе к поиску КЗЭ, хотя окончательно от него отказаться не удавалось.

Стало ясно, что зрительная система фактически реализует потрясающей глубины и тонкости вычислительную процедуру с входным потоком сигналов, который кажется необозримым, если учесть, что у нас в каждом глазу по сто тридцать миллионов фоторецепторов. И эти сто тридцать миллионов каналов обрабатываются параллельно в реальном времени! Если бы люди это знали, они, может быть, больше стали себя уважать, потому что



для обслуживания этих ста с лишним миллионов рецепторов у человека в зрительной системе только в первичных ее отделах имеется несколько миллиардов нейронов, при том, что каждый нейрон не просто вычислительная машина, а целый вычислительный комплекс. Это сотни тысяч контактов, тысячи разветвлений у каждого нейрона. Вся эта невообразимая по сложности система занята только одним - интерпретацией очень противоречивых входных сигналов: глаза совершают два-три скачка каждую секунду, изображение на сетчатках постоянно скачет, свет меняется, предметы двигаются, размеры меняются, выражение лиц меняется, и это все надо непрерывно обрабатывать и передавать в высшие отделы в свою уже законченную зрительную модель мира.

Никого не интересует, что происходит с глазами, всем интересно, что в мире происходит. И это стало потом мировой проблемой - так называемый «анализ сцен». Саша этим тоже занимался.

И тогда мы попытались вычислить, какой должен быть компьютер: мы как бы хотели узнать, сколько стоит наша зрительная система технологически. И мы подсчитали, что, поскольку самая крошечная часть нашего зрительного поля, так называемая фовеола, которая имеет размер примерно 100 на 100 рецепторов, по своей мощности превосходит самый мощный тогда в Советском Союзе компьютер - БЭСМ-6, то даже эта только система должна была бы стоить миллион. Сейчас компьютеры подешевели, мощность их возросла, казалось бы, невероятно, но ясно, что до сих пор это невозможно сделать.

И дело не только в вычислительных мощностях, но и в алгоритмах, т.е. в программах, которые должны этот процесс обслуживать.

*- 31 декабря 1991 года Саша выступал на Международной конференции в Израиле, в Тель-Авиве. Владимир Нечитайло, муж моей бывшей сотрудницы, специально приехал из Иерусалима, чтобы послушать Сашин доклад. Когда мы с ним возвращались после конференции (Саша задержался, чтобы поговорить с коллегами), Володя сказал мне: «Я в этом кое-что понимаю (он бывший физтех, оптик, доктор наук), и я просто потрясен услышанным. Я не мог предположить, что Человек может поставить такую задачу перед собой, а тем более - ее решить». Саша говорил в своем докладе о том, как устроено человеческое зрение. Вы ведь именно этой проблемой в широком смысле этого слова занимались с Сашей, если я правильно понимаю?*

- Да, именно этим. Наш выигрыш был в том, что мы действительно занимались коренной проблемой зрительного

восприятия, поэтому нас все интересовало. Прошло время, и Саша занялся цветным зрением. Он занимался и восприятием движения. Мы очень много занимались объектным зрительным восприятием, и здесь тоже было не столько открытие, сколько изобретение: мы придумали алгоритм и внедрили его, и компьютеры, обладающие этим алгоритмом, получили преимущество. Это тоже был значимый результат.

Саша всегда брал проблему по существу, не увлекаясь сиюминутными, может, очень выигрышными эффектами. Мы мало что опубликовали. Там была не одна докторская диссертация. Мы могли защищаться хоть по техническим, хоть по психофизиологическим, хоть по биологическим или математическим наук. Если бы мы были больше привержены не науке, а научному социуму, то, конечно, продвинулись бы больше в этом направлении. В нашем содружестве в этом плане я играл не очень положительную роль, потому что я еще меньше, чем Саша, был привязан к социальным сторонам науки. Он же, став начальником лаборатории, руководителем людей, вынужден был отвечать перед начальством за выполнение работ, в основном, прикладного характера по тематике Курчатовского института, должен был служить интересам этого института.

Я-то остался более свободным, так как отвечал только за себя, но ни он, ни я ничего не поимели, кроме как по одной кандидатской диссертации.

*- Когда я однажды заикнулась о докторской (а меня многие просили повлиять на него - и Тихонов, тогда заместитель директора Института прикладной математики АН СССР, оппонировавшей организации на защите Сашиной диссертации, и Бызов, и Александровы - Анатолий Петрович и Петр Анатольевич, непосредственный Сашин начальник в последние годы его работы в Курчатовском институте), Саша мне ответил: «Ты знаешь какие-либо другие формы научных работ, кроме диссертаций? Вот я всеми ими и занимаюсь!»*

*Больше мы эту проблему с ним не обсуждали.*

- В йоге есть понятие карма-йоги - действие без привязанности к результатам. Это наиболе быстрое средство к высоким состояниям сознания. Если посмотреть на всю жизнь Саши, то мы увидим: все новые и новые достижения и открытия. Это можно понять, просто перечисляя все пласты, которые он поднимал. Он открывал пласт за пластом, вскрывал их и - вперед. А что будет дальше - пусть решает небо. Если кого-то заинтересует, то, пожалуйста, работайте! Это феномен какой-то - сколько всего Саша наработал! Он создал целое направление в науке - компьютерная психофизика зрения.

- И не было людей, которые бы все это двигали дальше.

- Нас очень многие не понимали. Мы были все-таки в этой области основательно продвинуты, но очень мало предпринимали усилий, чтобы что-то из этого донести другим.

- Я думаю, что тогда еще не пришла пора для этих идей. Уже позже Анатолий Петрович Александров, в то время Президент Академии наук СССР и директор Курчатовского института, пытался помочь Саше развить это направление, было выездное заседание Совета Министров в Курчатовском институте, где это обсуждалось, и выяснилось, что всех мощностей страны недостаточно, чтобы обеспечить работы по этой проблеме в промышленном масштабе. А еще позже, по моему, это было в 1995 году, крупнейшая американская компьютерная фирма Хьюлетт Паккард заинтересовалась Сашиными идеями, мы приезжали на переговоры, но, как объяснил нам с сыном уже после смерти мужа Джон МакКанн, крупный специалист по цветному зрению, работавший в этой фирме консультантом, у них в это время были финансовые проблемы, и они тоже не отважились на те вложения, которые требовались.

Между прочим, на международной конференции в Америке, одним из главных организаторов которой как раз был МакКанн, мы с Сашей жили в снятом Джоном двухэтажном номере (он на первом, а мы на втором этаже). Заседания оргкомитета конференции обычно проходили в этом номере, и я лично слышала, как МакКанн сказал: «Удивительно, у нас такие возможности, а человек номер один в мире в нашем деле оказался русский Саша Петров!»

Я еще вот, о чем подумала: мы с тобой, похоже, одинаково реагировали на такое качество Саши: он, бывало, бросит походя какую-то идейку, а что касается решения, то ему это скучно, требует времени и энергии, которые он предпочитал тратить на другое. А мы с тобой подхватывали, развивали, доводили до конца. Помню, он как-то говорит: «Хорошо бы поехать в Прибалтику, отдохнуть с детьми, но денег нет, ничего не получится». А я начинаю думать: «А сколько надо денег? Может, я поработаю в детском санатории смену (1,5 месяца) и сможем поехать?» И все это делается. У тебя, я знаю, схожая ситуация была с яхтой.

- Да, это было. Я помню, мы сидели на Новой площади около здания ЦК КПСС в сквере на лавочке, тепло, солнце светит, и Саша мне говорит: «Я в «Комсомолке» прочел про Чичестера: он в одиночку вокруг света плывет».

И мы потом неоднократно об этом говорили, и в какой-то момент возникла идея строить яхту по технологии, которую

разработали в Киеве. И мы за семь лет ее действительно построили на даче у Пигаревых и плавали на ней.

- Я знаю, что Саша иной раз подкидывал людям идеи, которые становились делом их жизни. Так было, например, с покойным Борей Мазо (директором фирмы «Округс», созданной Петровым, Зенкиным и Мазо, которая занималась распознаванием образов, в частности, текстов, в том числе и рукописных - ФП).

- Это было и в науке. Иной раз, бывало, он действительно что-то скажет, а заняться этим некогда, спустя какое-то время вспомним, друг друга заведем и начинается... Это было связано с тем, что он живо был увлечен всеми жизненными процессами, и при этом у него совершенно не было привязанности к получению каких-либо социальных благ.

Эта наша общая тесная научная жизнь была очень и очень счастливой.

А какой он был за столом! Веселый, остроумный! Помню, как он, поднимая рюмку, говорил: «Душа, отойди в сторонку!»

- Там еще продолжение было. У него это звучало так: «Душа, отойди в сторонку, а то оболью!»

Когда Саша страдал из-за расхождений с Бонгардом, я тоже страдал. Бывало, мы встречаемся, и кто-то из нас говорит: «Душа болит!» и указывает на поддых. Это длилось очень долго... Душа действительно болела.

Восточные врачи считают, что это энергетический центр. Все восточные единоборства основаны на развитии, активизации этого энергетического центра. Бонгард нас тогда так задел, что почти вся наша энергия оказалась на какое-то время израсходованной.

- Я тоже помню это его выражение. Он его употреблял и много позже тех событий, о которых ты вспоминаешь: например, тогда, когда его что-то сильно задевало в общественной или политической жизни.

И все-таки наша жизнь была такой увлекательной, насыщенной! Саша скажет что-то - ух, ты, дух захватывает! И все: завелись, начинаем думать над этим. Мы не часто вербализовали наш психоанализ: «А я вот подумал...» Есть люди – один раз подумают, а потом десять раз напоминают об этом. Мы же в этом потоке находились постоянно: думали, думали, поняли, сказали, пошли дальше...

Действительно, все наше многолетнее сотрудничество было как одно увлекательное интеллектуальное приключение!

А были и другие, уже чисто туристические приключения. Например, наш поход на тростниковом плоту по Амударье. Или

плавание на построенной нами яхте. Но это уже другой разговор...



**Фаина Петрова, Людмила  
Лебедева, Елизавета Бонч-  
Осмоловская, Лариса Зеневич**

## **Воспоминания о Саше Петрове**

**Фаина Петрова**



*1996 году фирма «Самсунг» пригласила Сашу работать в Южной Корее. Вернее, к этому времени они уже несколько лет уговаривали его приехать к ним. Чтобы отделаться от докучливых купцов, Саша запросил зарплату, сопоставимую с зарплатами американских университетских профессоров.*

*Ему ответили, что русским столько не платят.*

*Он написал, что в таком случае предпочитает помогать алеутам, а не корейцам.*

*«Почему именно алеутам?» - спросила я.*

*«Первое, что пришло в голову, чтобы дать им почувствовать идиотизм их заявления», - засмеялся он.*

*Пришлось корейцам изыскать способ удовлетворить его требования. Они придумали для него специальную должность, которая называлась «Советник по науке Дирекции «Самсунга». После этого отказываться было неловко, к тому же появлялась возможность помочь лаборатории и нашим детям. И мы полетели в Сеул представительским классом корейской компании.*

*Наверное, внешне мы так не соответствовали этому статусу, что в Шереметьево к нам подошла служащая аэропорта и шепнула, что очередь в экономкласс рядом, и, не поверив моим словам, что нам нужно именно сюда, следила за нами, пока мы не прошли контроль.*

*По его должности Саше полагалась страховка в кругленькую сумму - полмиллиона долларов. Поэтому сразу же по приезде его тщательно обследовали и поблагодарили за прекрасное здоровье.*

*Через год мы вернулись в Москву, или переговоры о трех крупных проектах для трех разных лабораторий, которые*

*должны были финансово поддержать научных работников в то трудное время: шел 1997 год, приближался дефолт.*

*На следующий день после одного из совещаний, на котором Саша был с еще двумя людьми, никто из троих не вышел на работу. Но те двое поболели и выздоровели, а Саши через 5 дней не стало...*

*Диагноз так и не был поставлен. Даже вскрытие не внесло ясность. Предположили, что Сашу убил неизвестный вирус.*

*Это преждевременная смерть потрясла всех, кто знал моего мужа, тем более что практически все, кто с ним сталкивался, любили и ценили его. Может, поэтому многие люди откликнулись на идею написать свои воспоминания о Саше Петрове.*

*Уже на поминках Люда Лебедева, математик из Сашиной лаборатории, с семьей которой мы были близки долгие годы, зачитала свой текст:*

### **Людмила Лебедева**

#### **Слово о Саше.**

Есть люди, их крайне мало, но они, Слава Богу, все-таки есть, подобные теплomu течению Гольфстрим. Они смягчают человеческой климат, становятся источником тепла, согревают души и делают возможной саму жизнь. Таким человеком был Саша.

С его уходом жизнь стала суровой и бесприютнее.

Нам повезло, и почти тридцать лет (срок марафонский) наши жизни были тесно переплетены с Сашиной. Вернее сказать, во многом наши судьбы были определены встречей с ним.

Саша не просто возглавил лабораторию и взял на себя ответственность за многих людей. Он создал целый мир - своего рода ковчег - неподвластный законам внешнего мира с его крепчайшим маразмом.

Сашин ковчег был настоящим государством в государстве, заповедником, оазисом, чем-то вроде Окуджавского синего троллейбуса. Там мы обосновались вместе с нашими семьями, детьми, друзьями и друзьями друзей. Сашиного терпения, доброты и милосердия хватило на всех.

Остается только поражаться, как этому хрупкому человеку удавалось вновь и вновь побеждать советского Голиафа, но, благодаря Саше, мы были надежно защищены от многих советских мерзостей и напастей.

Это мог сделать только человек исключительной духовной мощи, бесстрашия и доброты. В Сашином мире, где все управлялось любовью и совестью, легко и естественно было сохранять целостность и чувство собственного достоинства. Мы были избавлены от двоемыслия и фарисейства - от той дани, которую вынуждены были выплачивать почти все наши соотечественники.

В ту пору мы много говорили друг с другом и никак не могли наговориться. Сашино участие в этих разговорах превращало их в интеллектуальный праздник.

Саша был не просто замечательный собеседник, он был оригинальный, тонкий и необыкновенно гостеприимный мыслитель. Он щедро делился своими мыслями, наблюдениями, выводами.

Самые близкие Саше люди, жена и сын, рассказали мне о замечательном тосте, который он недавно произнес на свадебном торжестве. Саша рассказал, что в Израиле, по совету друзей, он пошел к западной стене и оставил записку Богу. О чем он просил Бога, Саша говорить не стал, сославшись на то, что это тайна между ним и Богом, но некоторыми выводами Саша поделился: «Идите и просите. Это срабатывает», «Бог существует».

**И самый главный вывод: «ЛЮБОВЬ СУЩЕСТВУЕТ!»**

Это вывод счастливо и мудро прожившего жизнь человека и Сашино духовное завещание.

*Часть людей написали свои воспоминания сами, некоторых попросила это сделать я.*

*Одной из первых передала мне свой текст жена Сашиного сотрудника, доктор биологических наук Елизавета Бонч-Осмоловская:*

### **Елизавета Бонч-Осмоловская**

**Он был сделан из особого теста.**

Саша Петров - очень необычный человек. Может, самый необычный из всех, кого я встретила в жизни.

Как-то мой муж сказал, что Петров был сделан из другого теста, чем остальные советские начальники. Я считаю, что он вообще был сделан из особого теста. Он был человек редкий. Для меня загадка: был ли он от природы таким или это результат работы над собой? И мое ощущение, что второе, но вот каким образом он сам создал себя, вот что интересно было бы понять!

**В чем абсолютная особенность? В чем это выразалось?**



Первое, что приходит в голову, что я за Сашей никогда не замечала (надо сказать, что у меня с ним были только эпизодические встречи, хотя он и оставил сильный след в моей жизни) мелких человеческих слабостей, всем свойственных: тщеславие, мелкое самоутверждение за счет окружающих и стремление к успеху. У Саши этого не было совсем. Он жил в каком-то другом измерении, где этим чувствам просто не было места. Успех ему не только был не важен, он как-то даже устранился от успеха. Формальный успех не вписывался в гармонию его жизни.

Обратная сторона такого отношения - он не создал научной школы... Живя на Западе, он вписался бы в какую-то стандартную схему. Там нельзя не писать статьи, не проходить какие-то градации, не иметь учеников. А у нас нужна была мотивация. А какая может быть мотивация? Человек должен любить успех. Хотя немного больше, чем покой. Я не думаю, что Саша любил покой, но он любил какую-то свою чистоту и гармонию, и этим он руководствовался подсознательно: каждый его шаг, каждое его слово было в соответствии с ними.

Мне очень понравились слова Сергея Аверинцева об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Я полагаю, что они очень хорошо применимы к Саше. Аверинцев сказал, что нравственные категории Сахарова были столь же незыблемы, как положение звезд на небе. Это, как мне кажется, хорошо описывает Сашу, и это означает, что для него компромиссы не были возможны ни в чем - даже в малом.

Если у человека есть абсолютное ощущение, что должно быть, а что не должно, - это и есть нравственное чувство, которое не приемлет компромиссы. И политические разногласия Саши со многими друзьями (когда Саша голосовал «против всех», а не за Ельцина, как большинство из его окружения, - Ф.П.) этим объясняются, потому что политика - это сплошной компромисс.

Таких людей очень мало, единицы, и Саша был одним из них. Наверное, это своего рода современное дворянство - сословие, живущее по своему кодексу нравственности. Успех этих людей связан с их необыкновенными интеллектуальными способностями, а не с их стремлением к успеху, потому что успех в их глазах не имеет никакого значения.

Саше удалось установить свои правила - его любили все, он каким-то образом на своем уровне в институте мог чего-то добиваться, не роняя себя. Но, видимо, он понимал, что дальше это не пройдет: чуть выше, и он должен будет пойти на какие-то уступки. Я сомневаюсь, чтобы он так определенно

думал, но, похоже, у него было четкое ощущение, что ему туда не надо, иначе ему придется чем-то поступиться.

Другое очень важное качество, которое меня поражало в Саше, - его нетривиальность.

Я не могу себе представить, чтобы Саша говорил какую-нибудь банальность, какое-то общее место. Мне кажется, он постоянно воспринимал и осмысливал окружающий мир. Его мозг, личность были в постоянной работе - он все пропускал через себя. Для него совершенно были неприемлемы стандарты, штампы. Каждый раз это было уникальное отражение уникального мира.

Саше было свойственно экзистенциальное восприятие момента. И это восприятие было преимущественно трагическим. Для него всегда существовал мир крайностей...

При прекрасном чувстве юмора, языка, Сашу нельзя было назвать веселым человеком, в нем всегда была какая-то печаль.

Сашино чувство правильной дистанции определяло структуру нашей компании. Внутри был Саша - начальник. При этом все чувствовали себя удивительно комфортно.

Вообще-то внеслужебные отношения с подчиненными - дело исключительно тонкое: они могут в любую сторону перекинуться, так что какие-то станут невозможными - служебные или неслужебные. Благодаря тому, что Саша эту дистанцию идеально, с каким-то абсолютным слухом поддерживал, наше общение оказалось возможным в течение очень долгих лет. Конечно, он был центром этой компании - вокруг него все крутилось.

Саше принадлежала идея «Рождественских семинаров», которые проводились в течение 9 лет в канун Рождества. Обязательным требованием была мистическая компонента. Первый доклад - «Жизнь после смерти» сделал сам Саша, и своей личностью сразу задал тон этих семинаров, их высокий уровень.

У Саши не было ровного, любовного, христианского отношения к людям. Он ко всем относился индивидуально. Я знаю, что Саша ко мне хорошо относился, и я отвечала ему тем же. И это было ужасно приятно. Я думаю, за это его любили: каждый чувствовал к себе какое-то индивидуальное отношение.

Я никак не могу его отождествить с каким-то гуру или пастырем. Этого не было. Такой человек не был бы привлекательным для столь разнообразных и самодостаточных его сотрудников, как, например, Миша Шматиков, Саша Бонч,

Люда Лебедева и другие.

Просто проповедник не привлёк бы всех этих людей с их независимыми характерами и весьма оригинальным мышлением.

В завершение хочу сказать, что почти зрительно вижу источник света, который был в Саше. И что это такое? Божественное ли это начало или какое-то особое свойство его психики, но, безусловно, что вокруг него создавался как бы освещённый круг, и люди, которые туда попадали, чувствовали себя более умными, более свободными, реализовывали свой потенциал. Не хочу впасть в эзотерику, но какая-то, безусловно, сила - сочетание его мощного интеллекта, нравственного стержня и расположение к людям - создавала эту удивительную среду, в которой прошли лучшие годы нашей жизни.

*Третий текст, с которым я хочу познакомить читателей, принадлежит замечательной художнице Ларисе Зеневич, подруге всемирно известного художника, одного из создателей и активного участника Лионовской группы Льва Кропивницкого:*

### Лариса Зеневич

Одного человека не стало, и стало одиноко.

Помню первое появление Саши в мастерской. Его привёл Лев, не предупредив, не объяснив ситуацию.

Лев только сказал, что человек должен понравиться.

Так и оказалось, что бывает крайне-крайне редко. Вошёл не просто человек, вошла какая-то пространственная форма, очень близкая, адекватная, хоть и незнакомая.

Что-то в этом человеке всегда было именно таковым: в нём была какая-то архитектурная конструкция чего-то светлого. Это трудное, необъяснимое, не до конца понятное явление.

Пришёл друг, пришёл понимающий человек. У нас состоялся разговор. Саша был необычайно внимателен в этот день. И мне это показалось странным – так не может быть, так не бывает: незнакомый человек, а тут же создается и доверие, и радость, и ощущение гармонии. Такие дни и встречи запоминаются на всю жизнь, потому что они редки.

И такими были почти все встречи с Сашей.

Я ещё не была знакома в то время с Фаей, потому что оказалось, что она уехала в Тбилиси. Но я уже слышала о ней. И чем больше слышала, тем больше мне хотелось увидеть её. Я не ожидала увидеть её мужа...

Потом мы познакомились и больше общались с Фаей. Она мне тоже понравилась и тоже вопреки моей настороженности. Она оказалась человеком для меня очень приятным и привлекательным, очень разумным. Что-то необъяснимое мне нравилось в ней. Я часто говорила об этом и Льву.

Это общение длилось долгие годы – то более близкое, то более далёкое, но всегда исключительно приятное.

Когда появлялся Саша, он привносил в наш круг какую-то восторженность. Я не знаю, как ему это удавалось. При этом он мог быть и простым, и шутливым, и очень серьезным.

Я помню, как он говорил о моих работах. Хотя я не люблю, когда смотрят мои работы и что-то говорят о них, но мне почему-то показалось, что ему это понятно, что он что-то там увидел, может, даже больше, чем я сама вижу. Конечно, это не может не быть приятным. Когда я много лет спустя узнала, кем был Саша в той области науки, которой он занимался, я поняла, что знала его очень недостаточно и что общение могло быть каким-то другим, более глубоким.

Пара слов о семье Петровых. Они были для меня всегда очень крепкой, очень надёжной семьёй – звеном в цепи надёжности, связывающей нас в этом мире. Я бы сказала, что это была одна из самых сильных семей в Москве, - из тех, кого я знала. Отношения между Сашей и Фаей, как я их видела, были не просто прекрасными, я бы сказала, выдающимися. Это был какой-то редчайший, сказочный случай.

Исключительными были и отношения между родителями и двумя прекрасными детьми, которых я полюбила с первого раза.

Помню, как однажды Саша целый вечер шутил, рассказывал какие-то истории, что-то выдумывал, веселил компанию. Помню смех Фаи, какие-то фразы гостей. При этом присутствует Ирина...

Всё было настолько гармонично и интересно, настолько замечательно, что запомнился и полюбился сам момент «бывания» с ними.

Продление выдилось в общении с Ирой. Вспоминаю Сашу и Иру на выставке Льва на Крымском валу. Фаия где-то мелькает – она одна из организаторов выставки. Отец и дочь. Одинаковая улыбка. Оба необычайно приятны для меня.

Время шло. Казалось, что впереди будут ещё какие-то возможности. Хотелось продолжения этих встреч, может, более тесных. Но времени не оказалось. Осталась какая-то светлая

жалость, что не удалось ещё пообщаться.

Когда Фая позвонила и очень просто сказала, что Саша умер, я не поверила. Но когда Фая спустя некоторое время подтвердила сказанное, пришлось признать очевидность невозможного, невероятного.

Сколько близких людей умирало – и мама, и папа, и много других, но я не помню ничего подобного... В то, что Саши нет, не верится. Он как будто присутствует. Для меня он остался живым. Я не знаю, каким образом идёт связь с тем миром, но я чувствую, что что-то связывает и моего Сашу с ним. Не только имя, они совпадают и в другом, главном для меня, – умении создать настоящий дом. Кроме их профессиональных достоинств, которые очевидны, может быть, больше их коллегам, у них было очень важное для жизни качество – надёжность. Фая посчастливилось дольше прожить с таким человеком, мне меньше, но я могу сказать, что жить с надёжным человеком – огромное счастье.

Все знают, что такие люди редки. Странно, что они вообще есть в наше время. Но в них единственная надежда на выживание человечества.

*Эти воспоминания трех разных женщин, как мне кажется, вносят дополнительные оттенки в образ, созданный Виктором Жуком в «Заметках»*

*(<http://7iskusstv.com/2011/Nomer8/Zhuk1.php>).*



## Зинаида Палванова

# Размышление о временах

### Стихи

#### САМАЯ ПРАВДИВАЯ ПРАВДА



Когда вру я кому-нибудь про себя,  
что несчастна и одинока,  
у меня получается здорово,  
потому что правду я говорю.

Когда вру я кому-нибудь про себя,  
что любима и счастлива,  
у меня получается здорово,  
потому что правду я говорю.

Где же правда правдивая самая?  
Вот она – когда вырвется строчка,  
как нарыв прорывается или почка,  
и я как дура всплакну.

Ну и ну! – не верю себе. – Ну и ну!

\*\*\*

Где-то бушует лесной пожар,  
чьи-то дома накрывает волной,  
а в нашем небе – воздушный шар,  
на нем нарисован шар земной.

То вниз он пошел, то вверх он взмыл...  
Глухого грома аккомпанемент...  
Надолго ли хватит витающих сил?  
Он лопнуть может в любой момент.

Темнеет небо. Все ближе гроза.  
Горит из-под тучи закатная медь.

Как мечется он! Отвести глаза.  
На шарик земной не смотреть.

### **РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВРЕМЕНАХ**

В семнадцатом страна перевернулась.  
Я родилась в сорок четвертом.  
Прошло всего лишь только двадцать семь  
зим, весен, лет и осеней российских.

В две тысячи седьмом моем теперешнем  
я двадцать семь от жизни отниму  
и окажусь в родном восьмидесятом,  
который был со мной почти вчера!

Его я помню слишком хорошо,  
поскольку жизнь моя перевернулась:  
узнала я, что есть любовь на свете,  
что есть любовь, да только слишком горькая.

В тридцать седьмом страна от страха сжалась.  
Я родилась в сорок четвертом.  
Прошло всего лишь семь российских лет,  
зим, весен, лет и осеней российских.

В две тысячи седьмом моем теперешнем  
я семь от жизни быстрой отниму  
и окажусь в двухтысячном, рубежном –  
в пространстве нероссийском, зарубежном...

Все чаще размышляя над судьбой,  
дивлюсь себе, отчаянному детству:  
семнадцатый, тридцать седьмой,  
оказывается, были по соседству!

Тревожным сердцем время измеряю –  
и получается все слишком близко.  
По нашим судьбам скачут революции,  
несутся воронки под крик ворон.

Да, лишь теперь становится мне ясно,  
в какой стране жила я год за годом...  
На подступах – надеюсь, дальних – к смерти  
своею жизнью время измеряю.

## **ЗАКАТ НАД МОРЕМ**

Закат над морем – это спектакль, торжество.  
Закаты над морем бывают разные.  
Над Средиземным чаще всего  
они большие, спелые, красные.

Вчерашний закат поразил меня.  
Вчерашнее солнце сдалось без боя.  
Быстро, легко, без тоски, без огня  
оно погрузилось в марево гробовое.

Солнце, что это было вчера с тобой?  
Где неизбывное долгое зарево?  
Боязно сердцу: всей жизнью, судьбой  
не угодить бы в такое марево...

Хочу побороться, хочу за черту  
на миг заглянуть, оставаясь живою, –  
и в красоте утонуть, в красоту  
уйти с головою...

## **ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ**

Питер, Петербург и Ленинград –  
всё под небом нынешним смешалось!

Духовой оркестр монетке рад,  
дует в трубы, вызывая жалость.  
Пожилые музыканты, их наград  
яркая осенняя усталость.

А вокруг безудержный народ  
из метро течет, в метро втекает.

Дует пожилой оркестр, не врёт,  
время фронтовое извлекает.  
Как меня та музыка берёт  
за душу! И нет, не отпускает...

Ярче всех горит одна медаль.  
В ней всего-всего сошлось так много!

И рванул оркестр, тая печаль,  
лихо, оглушительно, убого:  
«Впереди у жизни только даль,



полная надежд людских дорога»...

### **9 МАЯ В ГЕРМАНИИ**

Германия дразнит Россией,  
сиренью, черемухой дразнит.  
Германия – чище, красивой.  
В тоске мое сердце вязнет.

Вот поле – не поле брани,  
и все-таки – некуда деться –  
оно меня ранит, ранит  
войной, безотцовщиной, детством.

Я выросла, я поседела...  
Зачем эти черные сны,  
в которых я то и дело –  
еврейка среди войны?

Под старость со мной случилось –  
в Германию ездить стала.  
Прощать почти научилась,  
от распрей людских устала...

Цвети же, фашистка бывшая,  
под вешним дождем промокшая,  
страна, себя победившая,  
беду свою превозмогшая!

Девятое мая. Германия.  
Небедная нынче страна.  
Девятое мая. Германия.  
Победная нынче страна.

### **У РЫНКА**

Почему подают ей охотней, чаще?  
Где живет она? Какой питается пищей?  
Посреди суеты летящей  
подала и я...  
И теперь я знаю,  
что за тихую грустную улыбку этой нищей  
шекель – цена смешная.

\*\*\*

Еще не закончен путь,

Ох, сладок остаток дня!  
Господь не даёт мне уснуть,  
Господь тормозит меня.

Слова забываю, как роль,  
и не на заре встаю.  
Внезапно вторгается боль  
в нестрогую жизнь мою.

Сжимаюсь невольно сперва.  
Не хочется боли мне.  
Но слышу, слышу слова  
в открывшейся тишине...

И я вспоминаю роль,  
и я на заре встаю,  
и тает божественно боль,  
когда её не таю.

Ещё не закончен путь.  
Ох, сладок остаток дня!..  
Господь, не давай мне уснуть,  
Господь, тормози меня.

\*\*\*

Я проснулась, еще не зная,  
что уже розовеет восток,  
и почувствовала внезапно,  
как в меня поступает энергия...

Так вода поступает в трубы,  
в провода – электрический ток.

Стало вдруг щекотно, упруго,  
мощно, весело стало.  
Шли круги, толкая друг друга,  
в самом-самом начале дня.

Кто-то жизнью снабжает меня.  
Я его за работой застала...

### **ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ**

#### **1**

Показали дитя. А наутро  
по дороге на кухню я ощутила:

жизнь моя изменилась круто,  
грусть-тоска моя дух испустила!

Вот она, перемена, крупней не сыщешь –  
это крошечное тельце,  
эти влажные глазки-глазищи,  
наш пришелец, наша пришелица!

Вроде та же я, но совсем другая!  
Нежных чувств молодой приборой...  
А дорогу перебегая,  
нарушая правила малость,  
я заметила за собой,  
что по-новому испугалась!

Осторожной быть я должна.  
Я нужна, я нужна, я нужна!

## 2

Я стала бабушкой, и взрыв адреналина  
накрыл меня спасительной волной.  
Неделя показалась слишком длинной –  
давно такого не было со мной!

Я снова жду свиданья с нетерпением.  
Вечерний воздух юн и розоват.  
Мгновение прекрасно не теперь ли?  
А что закат – никто не виноват.

Какое счастье – под одну гребенку  
не стричь безостановочные дни!  
Замедлить время удалось ребенку.  
Разнежить воздух удалось любви.

## 3

Я робко внучку на руках держала.  
Немного весят полторы недели.  
Головка на плече моём лежала,  
за окнами в деревьях птицы пели.

Уснувшее ко мне прижато тельце.  
Ликует бережно моя ключица.  
И вдруг я слышу: прямо в моё сердце  
сердечко новое – тук-тук – стучится!

Совпали мы! Я сладко замерла.  
Темноволосое целую темя.  
Входи, входи! Да ты уже вошла  
на всё мое оставшееся время.

\*\*\*

*Оре*

«Когда умирает старушка –  
всё равно что проект закрывают  
и отпускают работников», –  
так сказала одна моя знакомая,  
израильская метапелет\*,  
программистка ещё совсем недавно...  
Закрывают проект за проектом,  
навсегда закрывают,  
закрывают и зарывают.  
Я однажды своими глазами видела,  
как закрыли глаза умершему человеку...

Но проект под названием «Белый свет»,  
слава Богу, открыт миллионы лет.  
И глаза младенческие открываются,  
и сердца от нежности разрываются  
на крутом и розовом склоне дня  
у живых незакрытых бабушек вроде меня,  
у живых незарытых бабушек вроде меня...

### **СВИДАНИЕ В ЛОНДОНЕ**

*Борису Штейну*

Моря достались Альбиону...

*А. С. Пушкин*

Моря достались Альбиону,  
а мне достался Альбион.  
Гляжу вокруг себя влюблённо –  
не Лондон ли со всех сторон?!

Мой пушкинист опять со мною,  
и перед нами – Трафальгар,  
и я, как школьница весною,  
сердечный унимаю жар.

Шатается мой бедный разум.

---

\* Работница по уходу за пожилыми людьми (*иврит*).

Ах, неприступный Альбион!  
Не увидав его ни разу,  
наш Пушкин был в него влюблѐн!

Мне в эти дни нужна лишь малость,  
чтоб горький испытать восторг.  
Европа милому досталась,  
достался Ближний мне Восток.

Мне близко – я сюда подъеду,  
я подскочу, я прилечу!  
Пока еще все наши беды  
мне по плечу, мне по плечу.

Пускай свиданья стали кратки,  
горит в Гайд-парке старый клѐн,  
и всё еще почти в порядке –  
на месте мир и Альбион.

Я – завтрашней себя моложе,  
и солнечно, и ты со мной.  
Ах, жизнь – шагреновая кожа!  
Сжимается мой шар земной...

Струну отзывчивую трону.  
Тень Пушкина со всех сторон.  
Моря достались Альбиону,  
а мне достался Альбион.



# Леонид Буланов

## Леонидовы флюиды

как сублимация ассоциаций

ТИЦИАН  
Кающаяся Мария Магдалина



*Нездешних слёз глаза ея полны,  
дыханье мироносицы срывается,  
Мария Магдалина кается...  
И значит, нет на ней вины.*

Не всем часы геройства суждены,  
как и не все Мадоннами рождаются,  
Мария Магдалина кается...  
И значит, нет на ней вины.

А может это были только сны,  
которые грехами не считаются,  
Мария Магдалина кается...  
И значит, нет на ней вины.

Покайтесь! И тогда вы спасены,  
и Небом прегрешенья отпускаются,  
как это просто – вовремя покаяться  
И значит, не иметь вины?

Мария Магдалина кается...

## МИКЕЛЬАНДЖЕЛО

### Давид

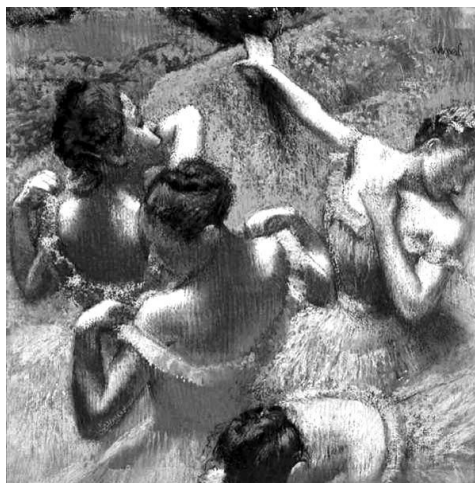


**Боюсь**, что героизм - агитка,  
как сон, ласкающая глаз,  
а так как мрамора - в избытке,  
то с детства окружают нас  
героев кесаревы лица.

Однако гимн поют певцы  
еврею с улицы Уффици,  
тому, кто гол и без щипит,  
но словно по лекалу тело,  
но прямо с Б-гом диалог,  
то, что его потомок - Шейлок,  
венетианцам - невдомёк.  
*(несоответствие заметно  
когда конкретен антипод,  
поскольку каждая конкретность  
абстракцию в себе несёт).*

А посему стоит устало  
ещё не Царь,  
ещё - драчун,  
приговорённый к пьедесталу  
еврей,  
терзающий прашу.

**ДЕГА**  
**Голубые балерины**



Голубые балерины Дега,  
поднимите голубые глаза,  
ждут вас рампа и зрительный зал,  
голубые балерины Дега.  
Элегичен ваш цвет и могуч,  
значит точно художник знал –  
настоящая голубизна  
там, где солнце, где нету туч.  
А в Париже - дожди и снега,  
серой дымкой одеты дома,  
лишь просвечивают сквозь туман  
голубые балерины Дега.  
Серость там, где не надо уметь,  
серость – это не для столиц,  
и балетный наряд танцовщиц  
так стремится поголубеть.  
Голубые горят фонари,  
стал Булонский лес голубым,  
и тяжёлый фабричный дым  
полыхает духами *Asprey*.  
Превращеньями мир богат,  
стал Париж голубым, как лёд,  
потому что балет – полёт  
голубых балерин у Дега.



## КАЗИМИР МАЛЕВИЧ

### Чёрный квадрат

Этим чёрным пятном эталон запредельного слома,  
как в Эдеме Адамом, который сначала был наг,  
эта чёрная плоскость – первичная доля объема  
бесконечно размерного, вне цифровых передряг.  
Бесконечность – ни веса, ни времени и не пространства,  
бесконечность того, что прибавилось поле нуля,  
этот чёрный квадрат – рядовой половник для школаста,  
бесконечно разомкнут для мысли, для духа и для  
применения явного, словно наркоз эскулапом,  
отклоненья от логики, как кривизны от луча,  
этот чёрный квадрат, толщины не имеющий клапан,  
есть всего лишь начало условного ряда начал.  
Материал целины социальных сетей – рикошетом,  
оттолкнувшись от Чёрного К., заполняет эфир,  
этот чёрный квадрат, Стивом Джобсом рождённый планшетник,  
как соавтор того, что когда-то создал Казимир.

## МОДИЛЬЯНИ

### Портрет Леонии Чеховской



Флёр Афродиты бродит,  
Пракситель – как клише,  
и не было до Моды

Ш  
О  
К  
И  
Р  
У  
Ю  
Щ  
И  
Х

шей.

Как в тексте запятая -  
для продолженья зов,  
так в шеях прорастает  
среди линий и мазков  
видЕные чудотворца,  
у Б-га напрокат,  
отсутствие пропорций  
задерживает взгляд  
на трепетной гортани –  
длиннотой во плоти,  
ах, шеи Модильяни

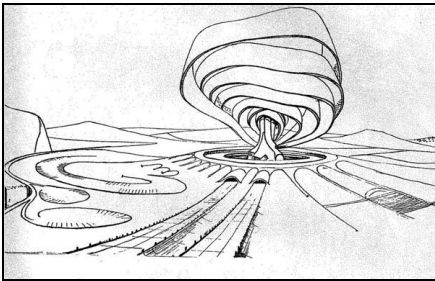
У  
С  
Л  
А  
А  
А  
Д  
А

ГИЛЬОТИ

Н.

## ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ

Древо жизни – семь спиралей Мёбиуса



(проект)

Себя за ухо потяни,

своё увидев отраженье,  
спиралевидное движенье -  
самопознанию сродни.  
Скользя по Мёбиусу вдоль,  
поди пойми ты “В”, иль “ВНЕ” ты,  
такие странные тенета  
натягиваются исподволь,  
как у Шекспира - связь времён.  
До Эрнста аж от Пифагора,  
Давид в ти-шорте от Диора  
пращу несёт на стадион,  
а Че Гевара чистит трон,  
Фаддей сотрудничает в ЛЕФе,  
одной фигурой на рельефе -  
Харон, Нерон и фараон,  
глотаёт толенол Пилат,  
ответа ищут в Эльсиноре,  
а в коммунальном коридоре  
корыта на гвоздях висят.  
Скользя по Мёбиусу, где  
нет расчлененья на этапы, -  
скрипят серпы, остряты сатрапы,  
и эскулапы - в декольте.  
Перемешались чернь и знать,  
кому известно, что первично -  
желание Завет познать  
илИ Добро поймать с поличным,  
от обозренья оборзев,  
илИ приватно, без регалий,  
пройти все эти семь спиралей,  
как экскурсант на суарэ,  
где в черепах у черепах,  
которых кто-то камнем лупит,  
вопрос о неизбежном супе  
не пересиливает страх.  
Спирален Мёбиуса путь,  
ведущий в Мир из Мира-анти,  
в незавершённом Зиккурате  
он не кончается, отнюдь,  
но в бесконечное несёт,  
как в незаконченное Слово.  
Вот так надумаешься вдоволь,  
скользя по Мёбиусу.  
Всё.

**ТАМАРА ДЕ ЛЕМПИЦКАЯ.  
Автопортрет в зелёном Бугатти.**



*Всего перечислять не хватит  
того, что не создал Создатель,  
что не вошло в Библейский Код,  
виньеткой в антиквариате -  
полёт зелёного Бугатти,  
а.к.а. иконы арт-деко.*

*Прикрывшись виртуальным ником,  
сама Tamara de Lempicka  
тонка и грациозна хоть,  
её модели - разнолики,  
в туниках или без туники,  
но в каждой торжествует плоть*

*контрастна “Черному Квадрату”,  
мешающая целибату  
размером рубенсовых дам,  
склоняющихся к постулату  
первичности матриархата,  
в пределах их картинных рам.*

*Арендою от раритета  
её Бугатти, как комета,  
сквозь диксиленд и чарльстон,  
читатель, на меня не сетуй,  
я сам был ошарашен Этой,  
взошед на арт-деко престол.*

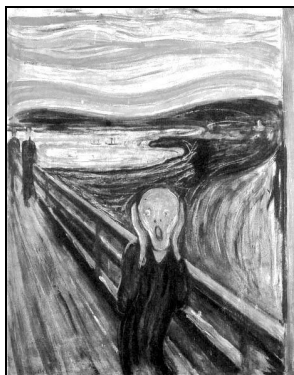
*Всего один лишь штрих некстати -*

у бабы не было Бугатти,  
прошу прощенья за жаргон.  
Теперь Мадонна деньги тратит  
на этих ню и на Бугатти,  
танцую в клипах арт-деко,

которые - не для схоласта,  
как ню - не для иконостаса,  
хотя и украшают быт.  
Политкорректности гримаса -  
подспудное значенья красок  
зелёных или голубых.

### ЭДВАРД МУНК

#### Крик



*“Я кричал человечеству – отзовись,  
Но услышал в ответ молчание...”*

С. Шебалин

Есть крик и “КРИК”, поскольку в мизансцене -  
апофеоз, нанесенный на холст,  
есть рОт, как эпицентр землетрясения,  
как атомный реактор, что в разнос.  
В распаде полном иль полураспаде,  
орально процветающими днесь,  
есть крик и “КРИК”, который был украден,  
какой-то смысл в этой краже есть.  
Отныне склонен я точить балясы,  
что истина – в лежанье на печи.  
Тревожить человечество опасно.  
Спокойнее, когда оно молчит.  
*Картина была украдена из галереи.*

**В. СУРИКОВ**

**Боярыня Морозова**

*П. Лебедеву и М. Ходорковскому*



Зачем толпа на площадь созвана –  
ответ столетья донесут,  
везут Боярыню Морозову,  
на старых розвальнях везут.

Гудит и стонет многоликая,  
о, сколько разных на Руси,  
“Я против, против, против Никона,  
и хоть куда меня вези”.

Так, в ту толпу свинцово-серую,  
(другие краски уберу),  
несётся истовое - ВЕРУЮ  
и застывает на ветру.

Мы вместе все, и в одиночестве,  
стена из сплетен сплетена,  
но подают на снег пророчества  
и прорастают семена.

Кому подобный вывод выгоден,  
чьих размышлений это труд,  
что не реален вечный двигатель,  
что вечный двигатель – абсурд.

Веками сонны, на полатах как,  
где все качанья – нипочём,  
но появляются фанатики  
и... вечный двигатель - включён.

Везут Боярыню Морозову,  
раздолие колоколам,  
толпу, как нож, вспороли розвальни  
и распластали пополам.

### САЛЬВАТОР ДАЛИ Безвремяе



**Безвремяе** - как время,  
свалывшееся в ком.  
Есть в каждой теореме  
ядро из аксиом,  
вокруг которых фронда,  
пейзаны и король,  
слагаясь *про* и *контра*,  
дают в итоге ноль,  
провиснувший, как бремя,  
в которое впрягли.  
Безвремяе - есть время  
в картине у Дали,  
где стрелки, как живые  
свидетели интриг,  
провиснувших на выях  
безвременнЫх вериг,  
манящих, как в Каноссу  
искомый компромисс.  
Уж лучше б в руки посох,  
да лёгкий в спину бриз,  
да камень на распутье,  
да стрелки у столба,  
да тряпочки лоскутик  
для утиранья лба.

**РЕМБРАНДТ**  
**Ночной дозор**

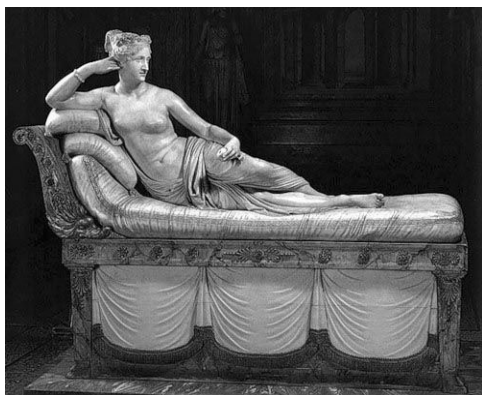


*Ночной Дозор* - хор мудрецов,  
спецов, слепцов, глупцов, дельцов,  
истцов, что скажется в итоге,  
поскольку каждое Лицо,  
запечатлённое, - в тревоге  
за место в будущем. Мотив  
вполне резонный. Заплатив,  
быть хочет каждый - Капитаном.  
Понятно. Капитан - солист!  
И вот под грохот барабана  
в их Амстердамской полуночи  
(мгновение, остановись,  
прекрасно ты или не очень),  
позирует Ночной Дозор.  
Помощник в чине лейтенанта,  
не то - партнёр, не то - фланёр,  
но для Рембрандта - доминанта,  
обласкан световым лучом  
он, ибо знает, что - почём,  
он явно не библиофил,  
он просто больше заплатил.  
Животрепещущий сюжет -  
дозор по вечной стойке вольно  
да резонёром я, в толпе  
глазеющих запойно.  
Свой расширяя кругозор  
среди завязтых ротозеев,



я опоздал попасть в дозор  
по Амстердамскому музею.  
Пусть я до Саский - не горазд,  
но, выбирая путь окольный  
(о, если б от банкротства спас  
Рембрандта взнос мой добровольный),  
потенциальный доброхот  
я, просто заплатил за вход.

**АНТОНИО КАНОВА**  
**Паолина Боргезе – Бонапарт**



*Случались собаки на Вилле Боргезе,  
Случались в том смысле что обитали.*

Давид Шраер-Петров. “Вилла Боргезе”.

**В**дыхал Менелай в древнегреческих сферах,  
каррарского мрамора воздух, как новый  
задумчивый образ телесной Венеры  
с Парисовым яблоком, данным Кановой.

И Аллену Вуди не сделать кино вам  
по фабуле, той, что случилась бы из-за  
того, что на Вилле случился Канова,  
тот самый, Антонио, из классицизма.

Мария Паола, Мария Паола –  
почти Казанова, но женского пола.

Секунда – делам, а любовникам - время,  
её возносившее прямо к Астарте,  
так било ключом Бонапартово семя,

как, впрочем, и у самого Бонапарте.

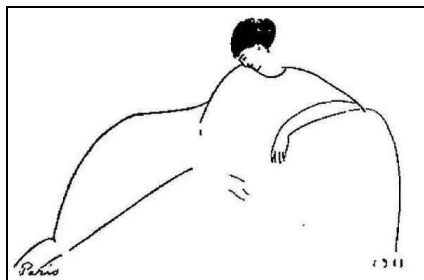
Париж и сегодня звучит куртуазно,  
опала Паолы - глоток ритуала,  
на Вилле Боргезе - богиня оргазма  
случалась. И в смысле, что обитала.

Паоле - фанерой кифара Орфея,  
она Эвридике - сама антитеза,  
от века дано возлежать на софе ей,  
уже экспонатом, на Вилле Боргезе.

Другие эпохи с тех пор накатили,  
распутав случившийся пир гениталий,  
теперь и собаки случались на Вилле,  
случались..., а всё остальное - детали.

### **АМАДЕО МОДИЛЬЯНИ**

**Анна Ахматова**



Анкета - Царское Село,  
и неременная Одесса,  
и Петербург. За слоем слой -  
расписанная небом пьеса,  
в которой гениальность - крест  
и чьей-то воли воплощенье.  
Так Кесарь, царствуя окрест,  
уподобляется мишени.  
И то сказать, что каждый пласт -  
лист в поэтической тетради,  
будь то "Ротонда" (Монпарнас),  
будь "Дом Фонтанный" в Ленинграде,  
будь комаровской "будки" сень,  
своих - чужих пристанищ сумма,

своих - чужих имён - досель  
звучат - от Моды до Акумы.  
Лишь только лампочку вверни,  
раздвинув временн**Ы**е плиты,  
там том растрёпанный Парни,  
там Лувр (ещё без пирамиды ),  
там та фатальная софа  
в следах шампанского и кофе,  
на коей в дар фрондёр-сефард  
ЕЯ увековечил профиль.

**ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ**  
**Расколотый лик Раскольникова**



**В** пространстве, скрученном в кольцо,  
меня преследует лицо,  
предсказанное, как комета,  
ещё летающая где-то,  
лицо того, чья песня – спета,  
анахорета и аскета,  
проигранное, как пари,  
а кон – внутри,  
и сон – внутри.  
Лицо разбито, как окно,  
и сколами рассечено  
на составляющие части,  
в которой место – страсти, власти,  
какой-то истовой напасти,  
застрявшей в обгоревшей пасти,

готовой наиграться всласть,  
вчера - не в масть,  
сегодня - в масть.

И в каждом сколе - скорбный крик,  
старухи убиенный лик,  
скользя в извилинах ублюдка,  
сквозь скол просвечивает жутко,  
но просветление рассудка,  
когда духовник - проститутка,  
фиксирует апофеоз

С  
А  
М  
О  
САМОДОНОС  
О  
Н  
О  
С

### ДЖОРДЖОНЕ Юдифь



*Без тела Олоферну как-то странно,*

обидно, что не смог себя сберечь,  
спешил в постель, считал, что ждёт нирвана,  
поторопился и попал под меч.  
Попасть под меч, затем возникнуть в мифе,  
и быть запечатлённым на века,  
под пятою божественной Юдифи,  
перехитрившей ночью мужика.

Ну а душе его неймётся снова,  
опять его душою правит страсть,  
ждёт Олоферна тело Казановы,  
готовое в историю попасть.

Быть сексуальным! Что же в том плохого?  
Да и у дам похоже был размах,  
и Казанова царствовал в альковах,  
знать не было Юдифи в тех краях.

Отнаслаждалось временное тело,  
и как-то раз не выпало в экстаз,  
душа опять на небо отлетела,  
готовая для будущих проказ.

Не материален дух и в этом – сила,  
не надо ни двора и ни кола,  
душа немного отдыха вкусила  
и тело для себя подобрала.

Помилуйте, но это же Каренин,  
жена его имела ореол,  
как Цезаря жена, вне подозрений.  
Дух Олоферна перепутал пол,

в досье достойных сверхурочно роясь,  
для нас канва такая не нова,  
“вне подозрений” бросилась под поезд,  
так снова откатилась голова.

Идя по кругу, кто собою властен,  
кого не посещали, хоть на миг,  
типичные Лимоновские страсти,  
те, из которых “Эдичка” возник.

Что до Юдифи, то она наверно,  
используя постель, как эшафот,

ценою расчлененья Олоферна,  
спасла от истребленья свой народ.

Вот тут бы сфантазировать конец а,  
причинность связей мне не по уму,  
пытался к Олоферну присмотреться...  
Смеётся он,  
Казалось бы, чему?

## ТИЦИАН

### Даная



*Неясное* стучалось в рёбра,  
и возникал, как фаллос, образ.  
Зачем он возникал - не знаю,  
быть может Зевс искал Даная.  
Пробрался он в её темницу,  
чтоб золотым дождём пролиться  
на это лакомое лоно,  
затем Персей убьёт Горгону,  
затем... А впрочем, вам видней,  
что стало в плоть до наших дней.  
Чем живы мы - не знаем сами -  
дарующими жизнь дождями,  
периодической таблицей  
иль тем, что в рёбра нам стучится.

**АГЕСАНДР АНТИОХИЙСКИЙ**

(вероятный автор)

**Венера Милосская**



*Прогуливаясь на пленэре*  
на днях, представлен был Венере,  
той самой с острова Милос.  
Как я читал неоднократно,  
тогда она была - *руката*.  
Не веришь – посмотри на холст

Пуссена, или же Тьеполо.  
Как хороша! ... Для волейбола.  
Лишь только трусики надень,  
прикинь кипридово бикини,  
которых не было в помине  
в тот пасторально – людный день.

Взирая в Лувре на Венеру  
безмолвно, взором костюмера,  
я зафиксировал конфуз –  
что будет, если *обикинив*

симфонию фривольный линий,  
мы просто потеряем вкус?

Промолвит эрудит: “иди ты,  
Венера, в прошлом - Афродита,  
она из – пенного суфле,  
неприменимого к рутине”.  
Укутав телеса в бикини,  
поскольку несколько – теплей,

мы возвращаемся к пленэру,  
туда, где встретил я Венеру  
четверостишия тому,  
как сочинитель и ценитель,  
там Агесандр, как Пракситель,  
и уступаю я ему.

### **МИКЕЛЬАНДЖЕЛО БУНАРРОТИ** **Моисей**



(скульптура в гробнице Папы Юлия II)  
“Что ты Гекубе? Что тебе Гекуба?”  
“Гамлет”. Шекспир.

**Но** лишь в него вдохнул Создатель Эго,  
дабы вручить Заветы, как подряд,



был визави, один из человеков

в укромных Синайских анфилад  
с Невидимым, с которым - плоть от плоти,  
А что Моше ошибочно - рогат,

то это просто ляп Буонарроти.  
От времени и мрамора он сер,  
гробницей Папы ограничен, хоть и

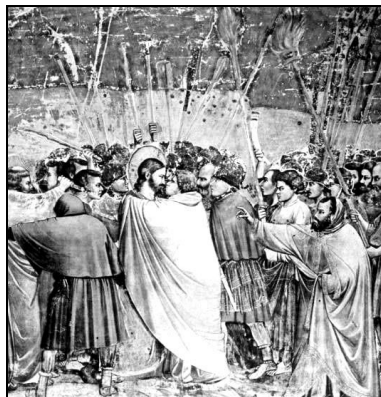
на сорок лет, как на века, присел,  
и с Юлием пытался уютиться,  
Создатель, начертав своё эссе,

дал Моисею десять дефиниций.  
Зачем ты для гробницы, Моисей?  
Кто ты гробнице? Что тебе гробница?

### **ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ**

#### **Поцелуй Иуды**

(фреска в капелле Скровеньи в Падуе)



Триптих

1.

*Ненужным* может быть вопрос  
или наивным, будто чудо, -  
куда же смотришь ты, Христос,  
в твоих объятиях - Иуда?  
Бесстрастен кроткий лик Христа,  
ему - что прибыль и что - убыль,  
А тот другой, к его устам

Свои в ы т я г и в а е т губы.  
Библейский поцелуй!  
И знак!  
Подумай, кто к тебе – с губами.  
Уже не друг,  
ещё не враг,  
всего лишь - ПОЦЕЛУЙ,  
и - Амен.  
Водораздел!  
Добро и Зло!  
Предельно чёткая граница.  
Но как бывает тяжело  
на линии остановиться.  
Проверил римлян Рубикон,  
а у Христа - свои премьеры,  
всего лишь - поцелуй, но ОН  
сигнал к отсчёту Новой Эры.  
Поцеловать.  
Перешагнуть.  
Быть вместе ДО и ПОСЛЕ гроба,  
Отправиться в нетленный путь,  
которому причастны оба.  
Библейский поцелуй - дебют,  
а на потомков смотрит косо,  
вне смысла,  
ибо на иуд  
возможно ль  
напасть Христосов?

**2**

Еще не ведали про стансы,  
в иконах - *цирлих и манирлих*,  
но - ПОЦЕЛУЙ,  
и плоский мир их -  
уже перетекал в пространство.  
Не сиганув с моста Риальто,  
на зной беззлобно негодуя,  
в преддверье Падуи паду я  
в бассейн с водою минеральной,  
неподалёку от Скровеньи,  
где диссидент, владелец нимба, -  
целуем обессмертно, ибо  
укоренится в ойкумене  
отныне триединый вектор.

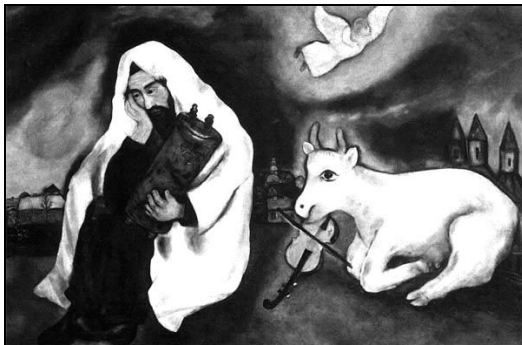
Пусть в Гефсимане - многолюдно,  
но действует – один, ИУДА.  
Один из приобщённых. Тех, кто  
вкушали хлеб и пили воду  
из рук того, кого считали  
вершиной некой вертикали,  
земным. Земным - не с небосвода.  
*Иисус Иуде - “Что делаешь, делай скорее”.*  
(Иоанн 13: 27)

С тех дней Иуда - в ореоле  
предателя Искарриота.  
Но оба в мизансцене Джотто  
свои разыгрывают роли.

**3.**

Погрызла в спорах диагностов  
теологическая рать,  
зачем двенадцатый апостол  
означен был поцеловать?  
Навряд ли доведут до истин  
Евангелистов пара строк,  
и этот поцелуй, как выстрел,  
но что нажало сей курок?  
P.S. Случилось это в эмпиреях  
где, кроме римлян, все - евреи.

**МЕНЕ – ТАКЕЛ – ФАРЕС  
(ТРИПТИХ)  
МАРК ШАГАЛ  
Одиночество**

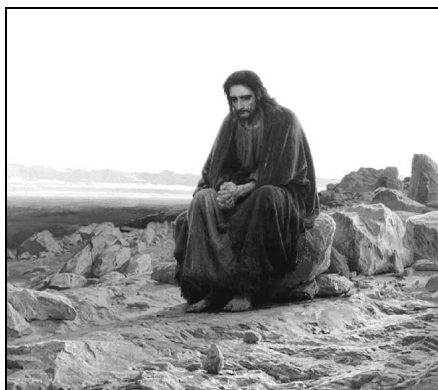


*Так сидеть в позиции изгоя,  
видеть всё - исток и эпилог.*

### **ИЗБРАННОСТЬ!**

А это что такое?  
Для чего придумал это Б-г?  
ОН решил пожать, что раньше сеял,  
избранность - награда или груз?  
ОН вручил Скрижали Моисею,  
дав Завет и заключив Союз.  
Избранность хранящего Заветы  
что даёт, что требует взамен?  
Тем, кто не был избран - эполеты,  
тем, кто избран - Вавилонский плен.  
Вечного рассеяния данность,  
Холокоста пепельная пасть,  
протоколы с примесью циана -  
это тоже избранности часть.  
Вечность - без суда и приговора,  
вместо них - с нагайкою казак.  
РАВ застыл,  
к груди прижата Тора.  
И такая **ИЗБРАННОСТЬ** - в глазах.

### **И.Н. КРАМСКОЙ** **Христос в пустыне**



*“...Я ловлю в далёком отголоске,  
Что случится на моём веку”.*

Борис Пастернак

**“Всё смешалось опять, словно в доме Облонских”**,  
ОН, уйдя в свои мысли, услышать готов  
здесь в пустыне - грядущих боёв отголоски,

возвращённое временем эхо боёв.

Всё сместилось с осей, с однозначных позиций,  
оказалось песком то, что мнилось скалой,  
смазан заданный фон, и не в фокусе лица,  
и на истинных красках - не истинный слой.

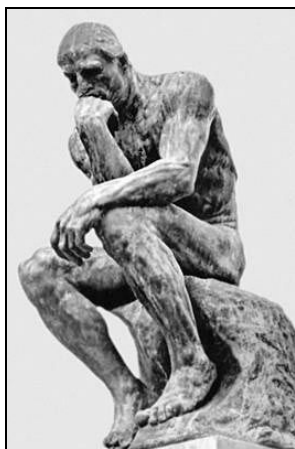
Мир, как прото - комок, нет ни фронта, ни тыла,  
на какую спираль нас весло занесло,  
Ариаднина нить изумлённо застыла б,  
завязав на себе паутину узлов.

Если воздух - и тот, как на шее вериги,  
если даже палач ныне не аноним,  
то возможно, что только в глубинах религий  
всё логично, всё ясно, одно - за другим.

Вот пустыня вокруг, вот трёхмерность пространства,  
одари его духом и дай ему суть,  
может этот момент - есть исток христианства,  
как казалось ЕМУ - есть единственный путь.

Но смешалось всё снова...

## **ОГЮСТ РОДЕН** **Мыслитель на Вратах Ада**



**Какие мысли навещают  
твою склонённую голову,  
какие жернова вращают,**

какую темень освещают,  
с чем умирают, с чем живут?

Не обязательно - философ,  
но обязательно - живой,  
поставит прямо или косо,  
как догмы, словеса вопросов  
перед собой, перед тобой.

И в битве будней бесконечных  
необходимо разрубать  
то осторожно, то калеча  
узлы и зло противоречий,  
чтоб синтезировать опять

происходящее. На Вратах  
всё зарифмовано уже,  
разрушен Храм, распят Орагор,  
и каждый новый круг, как кратер,  
и прист с равнином - в блиндаже.

Неистребимая триада:  
ответ - сомнение - вопрос,  
судьба - триумф, как буффонада,  
ужели только Врата Ада  
ведущий в будущее мост?



## Андрей Чередник

### Три километра лжи, или "Этюды весны"



- ладик, привет. Есть работа. Для обоих.  
- Ким, ты? Если это шутка, то поверь мне...  
- Нет, не шутка. Будем снимать.  
- Снимать?! Боже милостивый, я уже и отвык от этого слова! Ну-ка повтори еще раз. А теперь погоди, я должен переварить. Перезвони мне. Нет, стой! Не вешай трубку. Черт возьми, голова кругом... что я хотел спросить?.. вспомнил. Аванс будет?

- Почти в кармане! Только контракт подписать.  
- Так за чем дело?! Тебе нечем подписать? Может быть, подвезти ручку?

- Влад, есть одно "но". Это игровое кино, а, если ты помнишь...

- Послушай, Ким, - запыхтел в трубку Влад, - ты в своем уме? Мы уже год нормально не жрамши. Или у тебя масса вариантов? Может быть, ты нашел скатерть-самобранку или лампу Аладдина? Живо подписывай, пока эти чудаки не передумали.

- Понято.

Ким вернулся и подписал, моля бога, чтобы в последнюю минуту Влада не заменили кем-нибудь другим.

Бог услышал.

Они нашли друг друга еще в училище. Ким учился на режиссерском факультете, Влад - на операторском. И стали неразлучны. Ничто не объединяет людей так мгновенно, как общая ненависть к чему-то третьему. Для них этим третьим было игровое кино. Эту ненависть они пронесли через всю учебу, как полковое знамя, и после училища устроились на одну юную студию, которая открыла цикл передач про зверей. Но не про любых - про любых бюджет не позволял, - а про обиженных человеком. Назывался цикл "У кошки четыре ноги". Любители черного юмора шутили, что своим названием передача дипломатично напоминает будущим

и нынешним мучителям животных, что у кошки должно быть не менее четырех ног, а хвост непременно длинный. Недвусмысленный намек сохранить животное в первозданном виде. Цикл был перспективным и с подачи вегетарианцев грозил перерасти в более широкую кампанию, охватив милосердием не только мелкую, но и парнокопытную фауну, которую безжалостно рубили на отбивные.

Однако из-за нехватки денег студия лопнула. Заинтересованных спонсоров не нашлось, в том числе среди вегетарианцев. В итоге Ким с Владом тихо уселись на мель и стали голодать. От полного истощения спасали только случайные деньги, которые Ким получал за редактирование сценариев. Еще в училище он открыл в себе талант диалогописца. Диалоги у него получались легкие, воздушные. Этот дар знакомые сценаристы оценили и изредка подбрасывали ему сценарии с просьбой "подправить разговор". Ким не редактировал. Он переписывал заново, и те не возражали.

Влад ничего своего в их скудную копилку не вкладывал и страшно мучился от осознания своей полнейшей ненужности.

- Надо было на режиссерский идти, - мрачно шутил он, - безработный режиссер может идею-другую продать, а я только свою камеру, да и то лишь один раз. Но без камеры я уже как бы не человек. Если бы не ты, Ким, был бы я клошаром. Ночью спал бы на скамейке, а днем ждал чуда.

Однако последнее время клошарство грозило обоим. Кино задышалось в безденежье, и этот источник почти иссяк. Ким растягивал скудные деньги как мог, но, хотя и делал хорошую мину, внутри сидел страх, от которого противно тянуло в области живота.

И вдруг предложение! Как лотерейный билет на крупную сумму. Как кошелек на улице, набитый конвертируемой валютой. И, набирая номер Влада, Ким думал: "Интересно, кто их навел на нас?" Возможно, кто-то из друзей, приславших сценарии на редактирование. Но уж никак не фанаты покойной передачи про "четыре ноги". Потому как, по мнению Кима, они не могли не понимать, что снимать людей и снимать животных - вещи несовместимые.

Он вышел из студии с контрактом. На углу его уже ждал Влад. Он уже почти успокоился, только ноздри подрагивали.

- Влад, ты хоть представляешь себе, как снимать игровое кино? Лично я - нет. Со зверем как-то понятнее, хотя и бегать приходится, выжидать, затаиваться.

- Ким, насобачимся и с людьми. Куда деваться? К тому же, если подумать, с ними проще. Человек не вспорхнет, не убежит, не набросится на тебя. И мигрировать за ним не надо, отслеживая



места кормежки и размножения. А выждать и вовсе не нужно.

Влад обладал удивительной способностью рассеять шуткой любые страхи. С ним можно было безбоязненно идти даже на расстрел.

- Все ты хорошо сказал, только насчет выжидания не соглашусь. Если снимать людей в естественных условиях, а не на студии, некоторых поступков можно вообще не дожидаться. Подумай, сколько времени тебе нужно будет просидеть в кустах, чтобы отснять, скажем, бескорыстие или хотя бы одно проявление порядочности или великодушия? Молчишь? То-то. Но это, если кино честное. А в игровом варианте можно прикинуться кем угодно. Нет, все-таки я не представляю себе, как мы будем крутиться. Ладно, об этом после. А сейчас давай куда-нибудь рухнем и отметим событие.

- Будущий фильм?

- Нет, Влад. Не люблю обмыывать неясную перспективу. Давай лучше выпьем за то, что ближе и понятнее.

- Тогда за аванс!

Они зашли в бар, где основательно согрелись. После чего Ким разложил на столе сценарий. Тот самый, который за три месяца должен заговорить человеческим голосом, ожить, наполниться людьми и действием. Открыл и стал читать.

Он читал, а лицо темнело. С сюжетом явно торопились. Невнятно, обрывочно. Отдельные куски, как ледяные глыбы сталкивались друг с другом, наползая на общий фон. Иногда нить вообще прерывалась, и автор погружался в бессвязные беседы под шашлычок с выпивкой. Потом, словно опомнившись, быстро рисовал страстную любовь друг к другу, потом - не друг к другу, чередуя страсть с выяснением отношений на фоне города и деревни. Фон, очевидно, предназначался для того, чтобы дать зрителю подумать над смыслом жизни. А в самом конце герои куда-то провалились, и остался просто фон. Короче, думайте сами, гадайте сами. Классическая концовка, когда сказать нечего.

- Что, не нравится? - Влад все это время внимательно наблюдал за мимикой друга.

- Конечно, нет. Высосано из пустоты. Хрестоматийный вариант убогого сценария, сработанного на кассу. И название - лучше не придумашь. "Перипетии любви".

- Стало быть, любовь-морковь?

- А что же иначе? У них либо блокбастер, либо любовь. Третьего не дано. Здесь все по схеме. Острые чувства в начале, потом вниз, по наклонной до полной скуки. И диалоги пошловатые...

- погоди, дай взглянуть. Тут что-то не так. На спуске кассу

не сделаешь. Только на подъеме. Иначе мертвяк будет.

- А то они не понимают! Слава богу, не дети писали. На старом месте новые страсти, разжигаемые разлучницей по линии папы и разлучником по линии мамы. Все как положено. Так что зритель должен быть счастлив. Разумеется, настолько, чтобы окупилась расходи на фильм, ну и сверх чтоб накапало за труды и фантазию, - он ехидно усмехнулся. - Но вообще... по такой размытой канве не проедешь. Каждый бессвязный кусок нужно мотивировать. Иначе полный сюр. Иначе сны Тарковского. Но ему можно, а нам с тобой нельзя. Нас освищут. Эх... почему не выпускают любовных блокбастеров? На высоких скоростях ничего не надо разжевывать. Любую бессмыслицу можно в кадр затолкать без всякого объяснения. За быстрой сменой картинок зритель не успевает ничего разглядеть. Блокбастеры - изобретение мудрых халтурщиков.

Он еще раз уткнулся в текст, силясь разглядеть на воображаемом экране хоть что-нибудь. Хорошо, когда Влад рядом. Веселый, стойкий. Его юмор вселял уверенность и на время успокаивал. Нет, как ни крути, а придется поступиться принципами и преодолеть брезгливость к этому жанру. Более того, надо постараться. Не постараться - ты труп. Слово о неудачнике разносится молнией. Потом сколько хочешь можно топтать коридоры, посылать свое резюме, а в ответ: "Мы будем иметь в виду, вы у нас в базе данных..." Это приговор. Хотя и вежливый. Вежливость - единственное, что осталось от цивилизованности в этих джунглях.

Ким оторвался от бумаг и задумался. Все-таки хорошо писателю. Источает фантазию в любом количестве. Его кино читатель может прокручивать в голове сколько угодно раз и в любом направлении. А ты опутан по рукам и ногам. Над писателем муза и небо, а над тобой время, бюджет и продюсер с хлыстом. Малейший перерасход - и он монстр.

Влад прочитал все его мысли:

- Да ладно, Ким, не морщи лоб. Готовых болванок масса. Сколько у нас времени на фильм? Час сорок? Главное определиться с пропорциями. Сколько минута-метров пленки на нежность, сколько на развитие конфликта, на разрыв, на новую любовь. Остаток добираем пейзажными сценами. А, если выйдем за лимит, в монтажке переполовиним страсти-мордасти, вырежем статистов, вырежем массовки, еще что-нибудь.

- А под конец вырежут нас с тобой, да?

- Не драматизируй. Тоже не трагедия. Ты вернешься к диалогам, а я сяду на канализационной решетке в позе клошара, буду смотреть на облака и ждать чуда. Или показывать свою

кинокамеру за деньги, как Ходжа Насреддин демонстрировал кота, пока его чуть не отлупили.

- И будем жить счастливо и почти безбедно, да? - Ким повеселел. - Ладно, разбегаемся, а завтра посмотрим, что из изобразительного материала нам дали.

Изобразительным материалом они называли актеров.

Актеры оказались людьми робкими и смиренными. Увидев Кима с Владом, они интеллигентно загасили папиросы и зачем-то выстроились в ряд.

- Добрый день. Как я понял, именно вы будете играть. Хорошо. Сценарий вы, разумеется, читали. Представляете себе, что нужно делать?

Актеры неуверенно зашевелились:

- Ну, в общих чертах...

- Ну и хорошо, что в общих. А вот я даже в общих не представляю себе. Да, извините, не представился. Я Ким, режиссер. А со мной Влад. Так вот, вы будете смеяться, но я, режиссер будущего фильма, даже в общих чертах не представляю себе, что мне с вами делать. Никогда не снимал ничего подобного. Как-то все больше со зверьми приходилось, в документальном жанре. И вдруг такое на мою голову. Да еще с людьми...

В строю послышался ропот, потом один из актеров выступил вперед:

- Простите, вы не тот самый Ким, из передачи "У кошки четыре ноги"?

- Точнее, из бывшей передачи. Да, он самый.

- Черт возьми! Неужели это вы? Никогда бы не подумал, что вот так, запросто, увижу вас. Молодцы! Я ведь с женой ни одной передачи не пропускал... Огромное вам спасибо!!! А насчет фильма не сомневайтесь. Что-нибудь совместными усилиями срубим. Правда, ребята? Поможем?

- Поможем, - нестройным хором подхватили актеры.

- Спасибо, братцы. Да не стойте вы, как на плацу. Вольно. Выкладывайте лучше идеи. Я слушаю.

Своих актерских идей у них не было, как и энтузиазма. "Что ж, и понятно, - думал Ким, - сценарий не вдохновил, а кушать тоже хочется". Его все еще не покидало брезгливое ощущение, что все они (и он с Владом) продались за понюшку табаку и участвуют в недостойном фарсе.

Так или иначе, но фильм сдвинулся. И потянулись длинные, как полярный день, съемочные часы. Видно было, что актеры отбывали срок. А если и старались, то не из любви к фильму, а, скорее, из уважения к Киму и его почившей передаче. "Второсортный спектакль", - уныло констатировал Ким. А Влад с

таким же печальным лицом фиксировал действие на пленку. Художники делали бесконечные раскадровки и подсовывали Киму. В рисунки он не вникал, ограничиваясь усталым: "Запускай, как нарисовали". Тасовал их, как колоду карт, и про себя ухмылялся: "Справа ОН, слева ОНА, а между ними скамейка и сзади куст сирени. Мелко и неубедительно. А этот чем отличается? Ах да, тут скамейка сзади. Он движется норд-вест, а с тыла к нему перспективная ОНА, которая должна занять место прежней. А почему не с фланга? Не жизнь, а шахматная доска. Господи, когда же это закончится?"

Иногда он подправлял диалоги, да и то - самые плоские. Или менял какую-то мелочь в антураже. Но не потому, что хотел именно так, а чтобы отделаться от испепеляющего взгляда продюсера. Живее всех живых на площадке был именно он. Забравшись на постамент, выкрикивал инструкции, что-то толковывал, размахивал руками. Словом, всем своим видом давал другим понять, что они не выкладываются так, как он.

А вечером Ким с Владом возвращались домой. Шли молча, в ногу, размешивая ботинками городскую слякоть, и думали одни и те же думы.

- Ким, каждый день такое ощущение, будто лягушку съел. У тебя тоже? Знаешь, с каким бы удовольствием я снял фильм... да хотя бы про эту слякоть. Не надо ничего выдумывать, не надо гнать эту синтетику, эти построенные на вакууме мизансцены. Идешь себе по слякоти и снимаешь ноги. А потом озвучиваешь чавканье ботинок. Чем не фильм? Ну, скажи, разве я не прав?

- Прав... - и Ким тяжело вздыхал.

Дома Ким ложился в кровать и в темноте напрягал воображение, пытаясь представить себе, с чем выйдет завтра на съемочную площадку.

Через тонкие стены слышались соседи. Сверху скрипела кровать, чьи-то стоны. Вот где страсть! Настоящая, без жеманства. Прямо сейчас клади на пленку. Сбоку храпит кто-то. Его отнять, наутро можно вручать приз за лучшее исполнение роли спящего. Потому что он действительно спал. Так и подмывает прокрасться в чужую квартиру и, рискуя получить по лицу, запустить ленту. Конечно, можно и попросить: "Дядя Ваня, можно я сниму тебя за ужином, в постели с женой, в ванной? Да ты не обращай на нас с Владом внимания. Веди себя естественно". Нет, так не пойдет. Даже если и согласится, реальной картинки не получишь. Пока на тебя смотрит камера, ты не способен быть самим собой. Единственное, где мы расслаблены перед глазом фото или видеокамеры, - это магазин, лифт, снабженные системой слежки. И еще глаз радара на автотрассе, мимо которого проносимся, как ни в

чем не бывало, ничуть не напрягаясь и даже не поправив прическу.

Отбросить бы эти мысли и настроиться на завтрашний день. Но мысли не отпускали. Непонятно, зачем вообще изображать, если и так получается. Зачем выдавливать суррогат. Снимали бы художественные фильмы скрытой камерой. А потом, как со зверьми, подгоняли бы под снятый сюжет сценарий. Но зрителю это неинтересно. Нужна сказка, с развитием по классической схеме, да еще и натурально. Ну, почти натурально. Подлог, но хорошо упрятанный с помощью технических наворотов. Зритель кричит: "Я знаю, что это обман, но спрячьте его подальше, чтобы я как бы его не заметил. Чтобы это было как бы по-настоящему, ну, почти как в жизни и чтобы я почти как бы переживал!"

Именно за это он так не любил кино. Утонченная ложь. Театр - честнее. Там актер, декорация - все кричит: "Да, мы играем! Мы делаем грубый слепок!" И это видно во всем. И зритель согласен, он тоже в ИГРЕ. Надо быть сумасшедшим, чтобы хоть на миг принять театральную постановку за реальность.

Полфильма настроение у всех было подавленное. Но, когда съемка перевалила за половину, стало легче. Во-первых, забрезжил конец. А во-вторых, действие из павильонов было перенесено на натуру. Выход в лес, да еще весной, был в радость. Особенно оживились Ким и Влад, почувствовав себя в своей стихии. Окрестность просыпалась после зимней спячки, и весна подсовывала соблазнительные сюжеты. Первое время Ким и Влад держались, но потом сломались. К тому же продюсер уже не так зорко наблюдал за ними со своего постамент. Как тут было не воспользоваться случаем? И они пользовались. Как только соглядатай исчезал, втискивали между кадрами разную милую отсебятинку, снимая окрестных голубей, воробьев и прочую живность, которая летала и ползала в пределах съемочной площадки. Каждая украденная у фильма минута, каждый уворованный метр пленки, выхвативший кусок живой природы, доставлял им невероятное удовольствие. Они чувствовали себя, как школьник, который выкурил тайком от учителя сигарету или ловко исправил двойку в дневнике.

Скоро и актеры обратили внимание, что все чаще камера повернута в сторону. Это забавляло группу, и они невольно сами подключились к поискам сюжетов. Шарили по лесу, выискивая признаки весны и, улучив момент, подталкивали Влада:

- Не хочешь вот этого жучка отснять?

- Это не по сценарию, - с деланным равнодушием произносил Влад, но жучка снимал.

Камера крутилась, все чаще фиксируя левые кадры.

Происходило что-то странное. У пленки появилось второе дно, куда ложился параллельный фильм, незапланированный и никем не санкционированный, но от этого сладкий, как всякий запретный плод. Это ощущение сладкого и запретного передалось актерам. Они даже заиграли лучше.

Время потекло быстрее и незаметнее.

И вот, наконец, последний день. По сценарию он должен был быть солнечным. Правда, с утра моросил дождик. Но к обеду должно было распогодиться, и съемку решили не переносить. В финале значилось выяснение отношений между экс-любовниками, и после громкой ссоры герой несется вдоль старого, покосившегося забора к новой любви и страсти. И еще будет массовая сцена, для которой уже расставлено несколько камер. Они будут простреливать толпу с разных сторон. Старый операторский трюк, чтобы непрофессионалы из массовки не вертели головами в сторону одной камеры, а вели себя естественно. А в самом конце - удаляющиеся к новому счастью фигуры и небо, куда позже выползут буквы "Роли исполняли" и "Конец"...

Утром вся группа была на месте. Все еще моросило, и народец, поеживаясь, сидел под навесом и пил кофе, ожидая, когда облака рассеются. А чуть поодаль под зонтиками прогуливалась толпа, нервно поглядывая на часы и на небо. Как вдруг...

- Смотрите, лиса!

Все замерли и устремили глаза на съёмочную площадку. Рядом с мокрым от дождя брезентом, под которым лежал реквизит, крутился лисенок. Он с интересом обнюхивал площадку, то и дело совал свой остренький носик под брезент. А над ним кружила обеспокоенная ворона.

И тут случилось! Ким бросил взгляд на лису, весь напряжился, подполз к Владу и глухо скомандовал:

- Снимай!

Но Влад уже и без того налаживал камеру. Наконец-то. Вот оно! Настоящее! Плевать на все. Такое нельзя было пропустить ни за что на свете.

- Подходи сбоку, против ветра, чтобы не унюхала, - шептал Ким.

- Обижает, Ким. Не первый раз... - И он на полусогнутых, то и дело припадая к земле, двинулся на лису.

- Ворону не забудь хорошенько... Лучше короткофокусной... Ладно, сам знаешь. Не спугни.

- Да не спугнем, не бойся.

- Что вы делаете?! Немедленно прекратите снимать! - заревел над ними продюсер.

- Да тихо ты! Заткнись. Спугнешь! Влад, снимай.

- Что-о-о?! Да вы соображаете...

Ким схватил в охапку продюсера и, зажав ему рот, затащил под навес.

- Подашь голос - убью, так и знай. Влад, давай! Я сейчас, я следом.

Описав вокруг брезента пару кругов, лисенок заметил ворону, которая уселась на соседней ветке и, взъерошив перья на голове, возбужденно закаркала. Он завертелся у дерева, потом поднял вверх мордочку и мелко затыкал в ее сторону. Та в ответ каркала и потряхивала растопыренными крыльями. Очевидно, поблизости было гнездо.

- Влад, ты посмотри, Крылова, собака, декламирует: "Какие перышки, какой носок"... - шептал Ким. - Все! Стоп. Это была сказка! Как вам, братцы? - он повернулся к застывшим актерам.

Вместо ответа послышались аплодисменты.

- Я на вас подам в суд, - снова прорезался продюсер, - выгоню всех к чертовой матери! Немедленно начинаем съемку, а то я... - Он схватился за камеру, но получил сильный пинок и свалился в траву.

И тут Кима прорвало. Ружье, висевшее три месяца, наконец, выстрелило:

- Сам убирайся отсюда. Здесь я хозяин. Все мы! Отснимем финал, потом можешь валить в монтажную и резать все, что угодно. А сейчас прочь с площадки! Я кому сказал, прочь! - Ким наступал на него, бурля от ярости.

- Я на вас... Мы еще посмотрим, - огрызнулся продюсер, но тон поубавил и ретировался в кусты.

- Ким, ты слышишь? Ки-и-им, что дальше делать будем? Остынь. Его уже нет. Что дальше-то?

- Что дальше? Дальше... Ах да. Дальше вот что делаем. Я знаю. Владик, ох как я знаю, что мы будем делать. Зови всех на площадку! - он захопал в ладоши. - Будем делать финал. Наш финал. Собственный! Друзья, все, все, все на площадку. Вся съемочная группа, первые, вторые, статисты! Все в камеру, кучкуемся. Вот так...

- Готовь первый дубль... Все вышли. Влад, снимай. Широким планом. Нет, погоди, сначала я скажу... - Он встал на ящик, дрожа всем телом от нахлынувшего возбуждения. Он почувствовал, что сейчас должен сказать что-то очень важное. - Друзья, сегодня последний день съемки. Мы три месяца терпели друг друга, терпели сценарий и в итоге накрутили три километра пленки. И что там? Ничего. Там трехкилометровый фарс, надувательство. Подлог. Три месяца мы снимали этот обман, три

месяца вы произносили не свои слова, совершали не свои поступки. Сами-то хоть на секунду верили в то, что делали?

Актеры испуганно молчали.

А Ким все больше возбуждался. У него кружилась голова, к горлу подкатывала тошнота, но он продолжал:

- Сегодня, сейчас я хочу, чтобы наш бедный, обманутый зритель увидел то, что желает. Правду. Но не витринную, не показную, а ту, что всегда за кадром. Я хочу, я требую, чтобы в кадре он увидел вас на самом деле. Будьте собой!

Толпа не шевелилась.

- Что, вы не готовы? Вам нужна репетиция? Думаете, экспромтом не получится, выйдет неестественно? - он перешел на крик. - Но ведь получается же у вас, черт возьми, в жизни! Когда вечером кушаете, спите с женами, кормите рыбок, ведь получается же!!! Почему же сейчас не получится? Кого мы водим за нос? Зрителя? Чтобы он поверил? Он же все равно не поверит! Подожди, Влад, я сейчас. Дай договорить, а потом будешь снимать.

- Вы скажете, зритель сам хотел этого. Что ж, вполне возможно. Нынешний хочет. И вы для этого и обучались, чтобы удовлетворять его сегодняшние капризы. Не терзайтесь, вы не зря потратили эти годы. Вас для этого и готовили, чтобы инсценировать жизнь. Не жить ею, а инсценировать. Клиент заказывал муляж, он его и получал. Сполна. Но сейчас... возможно, вы меня не поймете, возможно, мои слова вызовут недоумение, даже протест, но давайте на секунду, всего лишь на секунду подумаем не о тех, кто делает сиюминутный заказ, а о тех, кто будет смотреть этот фильм лет через двадцать, пятьдесят, сто. Вспомните, какими глазами вы смотрите старые киноленты? Очень вас интересует игра, сюжет? Я отвечаю за вас. Нет и еще раз нет! Вы разглядываете, вы ищете в кадрах не театр, не ужимки перед камерой, а следы того времени. Вы ищете в окружении, в лицах правду о прошлом. А здесь ее нет. Ни капли. Этот фильм просмотрят, а потом он уйдет в песок и исчезнет. А с ним исчезнем мы все. Бесследно. Подойдите ближе, смотрите в этот глазок и думайте только о том, что сейчас камера втянет в себя, вас. Не бутафорских, не дутых, а настоящих. Вместе с вашими мыслями и душой. Так вложите же в этот взгляд самих себя. Пусть эти последние метры пленки будут финальным аккордом, который перебросит нас в завтра, как всё, что мы снимали между строчками сценария. Владик, запускай мотор и пройдишь крупным планом по каждому лицу. Не надо слов, не надо этих наструганных диалогов. Вы их уже произнесли. Теперь только смотрите и чувствуйте. Можете любить, можете ненавидеть, как вам угодно. Но пусть это будет ваше!.. - Он осекся и тяжело опустил на ящик. - Влад,



давай дубль. Нет, не надо. Дублей не будет. Они не нужны... это уже не игра...

- Что с ним... дайте воды... расступитесь, расстегните ему рубашку... У него обморок. Воздух!

Ким приоткрыл глаза. Он лежал на кровати. Расплывшаяся картина собиралась в фокус. Потолок, стены... небо, где он?

- Где я?

- Все в порядке. Переволновался, нервы. Сказали, гипертонический криз. Уже миновал. Сделали укол. Лежи спокойно.

- Странно... со мной никогда не было ничего подобного. Сам не пойму, что на меня нашло. Влад, это твой голос. Подойди поближе. Что с фильмом?

- Ким, все отсняли. Похоже, ты перепахал за три месяца. Отлежишься, и вернемся к нашим баранам.

- Вернемся... - машинально повторил Ким и закрыл глаза. Влад тихо поднялся и собрался было уходить. - Нет, погоди, Влад. Ты знаешь, жалко последних кадров. Самое оно. Неужели вырежут? Ты проследи, если я тут зазимую. Я к монтажерам не сунусь. Пусть с продюсером кромсают, как хотят. Я устал... Постарайся только достать эти обрезки. Чтобы не выбрасывали. Они пригодятся. А на просмотр я не пойду. Не хочу. Я прекрасно знаю, что они все кастрируют. Получим расчет и будем опять с тобой экономить. А сейчас я устал и хочу спать. - И он отвернулся к стене.

- Конечно, вырежут.. и кузнечиков, и лису, и наших воробьев. А уж про финал - само собой, - тихо произнес Влад. - Ладно, я знаю, что мне делать. А ты отсыпайся.

Утром к воротам больницы быстрым шагом приблизился человек. За плечами у него болтался рюкзак. Он зашел внутрь двора, осмотрелся и устремился к скамейке.

- Владик! Как я рад. Почему-то я тебя именно сегодня ждал! Как там, на воле?

- Выпишут послезавтра, сам увидишь. Ну что, помучить тебя или сразу выложить? Ладно, коли ты практически здоров, вот, читай этот заголовок. - Он протянул газету.

"Просмотр фильма "Этюды весны" превзошел все ожидания. По решению отборочной комиссии, фильм номинирован на фестиваль в Каннах".

- Влад, ты о чем? Что за "Этюды весны"?

- А о том, - Влад аккуратно сложил газету, - что сие - наш с тобой продукт. Результат трехмесячных родов с осложнениями.

- Но почему "Этюды"?

- Переименовали. И правильно сделали. Хочешь

послушать отзыв в прессе?

"На фоне буйства красок и сцен живой природы, талантливо выхваченных и мастерски вплетенных в сюжетную канву, кинолента убедительно показала вялость и натянутость чувств и эмоций героев, фальшивость их поступков, нежизненность ситуаций... Такой неординарный подход еще раз высвечивает..."

- Черт возьми... слушаю и не верю. Дай-ка мне газету. Мда... если бы не критики, кто бы объяснил художнику, что у него получилось. Хотя... если подумать, в эти кадры как раз наше вдохновение и ушло. Так что справедливо. Постой, а разве фильм не порезали?

- Еще как порезали. Ни одного муравья не оставили. Вот, посмотри, что осталось от трех километров. - Он вынул из сумки бобину с пленкой.

- Не понял!!!

- А что тут понимать? Перед ожидаемой кастрацией я успел сделать копию с нашего с тобой монтажа, которую и подсунил на просмотр. Нет, скандала не будет. Уже поздно. Каждому скандалу свое время. А вот теперь самое главное. Теперь тебе плясать. Что ты скажешь на это? - он протянул ему раскрытый конверт.

- Что там, Влад? Я без очков

- Ни много ни мало приглашение снимать цикл "Жизнь на планете" для программы Би-би-си. Тебя - режиссером, меня - оператором. Не веришь? Вот приглашение.

С минуту Ким приходил в себя. Он растерянно шарил по карманам, пытаясь отыскать очки, потом провел рукой по лицу, словно хотел стряхнуть с себя сон, потом еще раз, сильнее.

- Влад, дай я тебя ущипну. Что-то не доверяю своим ощущениям. Вдруг все равно сон. Слушай, это невероятно. Стало быть, кому-то еще это нужно...

Минуту-другую он молчал и глубоко дышал, как йог.

- Может быть, тебе воды принести?

- Не надо. Уфф! Все, я в порядке. Сядь-ка рядом. Знаешь, что пришло в голову? Может быть, это случайность, может быть, закономерность. Может быть, зря я все это наговорил. Но ведь кто-то понял! Кто-то услышал! И кто-то прислал этот конверт! Значит, неспроста все это.

- Ким, не будем гадать, что случайно, что закономерно. Знаешь, что я вспомнил? Тот фильм, где два разорившихся магната сидят на куче мусора. Мимо них проходит сердобольный африканский престолонаследник и кидает им в шляпу полмиллиона долларов. Мы его вместе смотрели. Помнишь, что

один из них сказал другому?

- Ну?

- "We are back!!!" Мы снова в деле.



# Нина Горланова

## Уксус, сын вина

### Ранние рассказы

#### Теща



справду, что ли, говорю: лежишь и лежишь уже сколько времени, чего лежать, на подушек бы Аннушку вынесла, нетрудно прогулять в коляске дите, а то в такой духоте, и когда только зять добьется квартиры! Сколько я себя помню, а я давно себя помню, всегда мужчины добивались квартир, я, Лида, скоро на стеночку полезу от вашего житья, а гощу всего неделю, вон у Люськи квартира - стометровку бежать можно, а она хуже училась, мать ее в родительском комитете была, вот и дали ей медаль, а то... и воды у вас нет, и удобства на улице.

- Мама, но ты прекрасно знаешь...

- Я ему говорила: зять, у тебя шаг - пятак, а он молчит, по-своему делает. Лениво это раньше называли, а вы по-научному все: флегматик, флегматик! И что его наука нам: подумаешь! Открыл, что в грибах нету белка, сплошная клетка...

- Не клетка, а клетчатка.

- Вот ваша наука-то - нет, чтобы открыть хорошее, а то только и слышишь: того нет, другого нет. Мяса и так нет, да если еще и белка не будет, нет, лучше бы ты взяла не из науки, а с производства... Что, Соня, трясешь сапожки, гулять хочешь? Лида, встань. Соню прогулять надо, два года девочке и видит какой пример: мать лежит на диване. Я стираю с утра, варю - до белого каленьца меня доведете, а что - неправда, что ли? Не сию ни минуты, просила зятя купить мясо, даром, что от мясокомбината за две остановки, я бы пельменей настряпала, а то рыба, рыба. Нет, надо было с производства брать мужа... все дети в зятя пошли, в его породу, а как Вадик за тобой ухаживал!.. Он на заводе теперь. А я посылаю тебе деньги, деньги, а приехала: ты опять в старом костюме, десять лет тебя в нем вижу!

- Восемь.

- Чем праздновать десятилетие свадьбы, отпраздновали бы лучше десятилетие твоего единственного костюма, а что - неправда, что ли? Брюки-то у зятя, шесть лет назад я была, купила, хорошие были брюки, ничего не скажешь, но сейчас они совсем редкие, все сквозь них сверкает, ну Плюшкин и Плюшкин - прореха на дыре человечества, а вы думаете, что это нормально, мол, так и нужно жить, на доньшко на самое опустили уже, а все нормально. А цветы на 8 Марта купил на рынке за пять рублей штука! Я прямо обомлела! Пусть бы купил за десять дней да подешевле, и экономия, и факт цветов был бы, хоть бы ты ему сказала, запретила, и в кого ты у нас такая размазня, отец твой всю жизнь бригадирил, а как крикнет на собрании - у всех кормящих женщин молоко присыхало, да, тогда ведь в декретах по полтора года не ходили, как нынче, у меня тоже четверо было, а я не сживала...

- Бабушка сидела так.

- А все говорили: у нас самое чистое белье в поселке, когда сушить вывешивали, а у вас грязь - лень-то выжигать надо калененьким железом, а ты говоришь, Лида, - бабушка! Эту бабушку твою, свекровку свою, я кормила-поила, она ни копейки пенсии не получала. Ей бы образование, она была бы сейчас вторая Тетчер - волонтаристка была, сколько я себя помню, а я давно себя помню...

- Мама, тебе всего пятьдесят шесть лет!

- И чего гордится тем, что не пьет? Ишь, с пьяницами себя сравнивает, если уж на то пошло, то пьяница в сравнении с уголовником тоже хороший человек, Лида, где у тебя это - брызгать от ожога, я руку сожгла с этой вашей плитой, скользит, не моете, видно, садись чай пить... А я попью, рыбы этой наелась у вас, сыр-то где, который я привезла? Съели, ну и ну, ведь сыр - не еда, а лакомство, за Вадика бы если вышла, сыр-то ела бы вволю, как уж он за тобой ухаживал, а Люська не работает по своей работе, устроилась в "Тканях" заводделом, говорит: с каждого куска себе на юбку имею. Вадик сам - семьянин, одуванчики на балконе выращивает, ноготки, ромашки садовые, делает из них салаты лечебные, а зять что?! Иде-то шляется, вечер уже...

- Сказал, что уйдет.

- Уйдет, ну, пусть идет, кушать захочет - придет. Я вон рыбу пожарю. Ишь, не понравилось ему, что теща замечания делает, самолюб. А что - неправду, что ли, говорю... Причинку просто ищет, теща, теща, а сам давно уж нашел себе, конечно, нашел, прихвостень, прихвостень. Хорошим-то бабам такой не нужен будет, кому он нужен: четверо детей, что в нем хорошего, глаза, как у свежемороженого окуня, рыба-то пригорела у меня,

Лида, ой-ой, пригорела... и росточком не очень! Когда вы в первый раз к нам приехали, подруга моя Ася, помнишь ее, пришла утром, потом все говорила: "Це тако махонькое, легло на раскладушку, тут, у головы, место осталось, с другой стороны - тоже место осталось". Нет, Лида, на него и с большой голодухи никто не бросится - в постели потеряешь, пусть даже и поздоровел за десять лет, покрупнел, такое мордоротное стало лицо, в него ты вложила сколько добра, Лида, уж и держала б покрепче, что ли, их ведь, мужиков, пугать надо иногда, чтобы ревновали... все же непьющий, гимнастику делал, пусть бы дети видели его в гимнастике. Что, Машенька, уснула, спи, маленькая, умница моя, и дети от него неплохие, учатся на одни пятерки, комнату достал он для семьи - не под открытым небушкой жили, факт цветов был, Лид, а Лид... А что там богатство Люськино - только и жди, дрожи, как поймают. А что я там повыговаривала немно-го, так чего он слушает!.. Не идет ведь паразит, а Лид?! Небось и на раздел имущества подаст, а мы ему вот что, мы ему квитанции - я сохранила все квитанции.

- Зачем?

- Он у нас ничего не получит! Как-то бог привел, меня соседка одна научила: "Ты сохраняй квитанции, вдруг они потом откажутся, что ты им помогала". Вот я и сохранила. Не такие уж мы без защиты, будет знать, как бегать, а что - неправду, что ли, я говорю?..

- Мама, это его шаги, открой, пожалуйста.

- Открою, открою... Вот и зять - явился, не запылится... Ой, Лид, он стоит в коридоре и не проходит: вещи велит собрать!

- Придется встать мне, вот рубашка...

- ЛИДА, ЧЕГО ТЫ ЗА МОЮ РУБАШКУ СХВАТИЛАСЬ - ЛУЧШЕ МАТЕРИ СВОЕЙ ПОМОГИ. Я КУПИЛ ЕЙ БИЛЕТ В МЯГКИЙ ВАГОН. ТАКСИ ЖДЕТ, Я ПОЕДУ - ПРОВОЖУ...

### Талька

Мать не может выговорить имя дочери, хотя оно совсем простое: Наташа.

- Н-н... талька-а! - кричит она на весь двор. - Т-талька-а! Д-мой!

Понять крайне трудно, но Талька понимает, упрямо гудит:

- Не пойду!

- Дрянь! - неожиданно четко выплескивает мать.

Впрочем, ругается она всегда членораздельно.

- А ты потаскушка и перетаскушка! - вмешивается какая-нибудь соседка, защищая девочку.

Жалеть-то ее все жалеют, иногда подкармливают. Но не

любят, нет. Лину, когда она приехала в этот дом, сразу предупредили:

– К себе Наталью не води, она ведь долгорукая! И не заметишь, как стащит чего.

Лина не водила. Конечно, не потому, что боялась «долгорукости» Талькиной, а просто из брезгливости, из боязни за Настеньку: не подхватила бы какую болезнь. Уж очень страшное впечатление от Талькиной одежды. Поэтому Лина ограничивалась тем, что изредка выносила на улицу стряпню да как-то подарила Тальке детскую книжку. А что еще она могла сделать? Сама только-только вырвалась из тисков бюллетеней, устроила Настю в ясли и нашла хорошую работу...

Судя по Талькиной беззубости, ей лет семь. Оставшиеся зубы у нее все время болят. Лина несколько раз заставала девочку в такой позе: сожмется в комочек, бьет себя по щекам и тихонько, в нос выпевает нечто баюкающее: у-у-у, у-у-у!

– Опять зубы? Ну что это: почему так часто!

– От конфет.

– Разве ты ешь много конфет? – удивилась Лина.

– А то ж! Мужики маме приносят, а она все мне, чтобы не мешала.

Однажды Лина не выдержала и повела Тальку к зубному.

– А меня не положат в больницу?

– С зубами – нет. А ты что, лежала?

– А то ж! С почками. Мама долго меня не забирала – знаешь, как скучно там было.

– А потом забрала все-таки?

– Даже через милицию! – с гордостью объяснила девочка.

Бормашину она перенесла вполне спокойно.

– Ты молодец! Больно было? – спросила Лина по дороге.

– Можно терпеть. С почками не сравнить. – И мечтательно добавила: – Поспать бы сейчас, пока ничего не болит. Хоть бы мамы дома не было!

– Пойдем, у нас поспишь, – решила вдруг Лина.

– У вас? Но ведь у меня полная голова... – Она тут же пожалела о сказанном, потому что увидела колебание на Ленином лице, торопливо предложила: – А если я голову платком? Ведь можно?

– Пошли!

Когда девочка выпалась и поела, Лина дала ей поиграть живую черепаху, которую недавно купила Настеньке, а сама принялась готовить ужин. Она и оглянуться не успела, как подарила эту черепаху Тальке – выпрашивать та умела. Но и радоваться тоже, спрятала ее под платком на груди, заглядывала

туда через вырез и приговаривала:

– Толстенякая моя, все понимает, полосатенькая!

– Смотри: корми ее одуванчиками!

– А то ж!

Лина сходила в ясли за дочерью и, уже подходя к дому, услышала: кто-то скулит в ящиках за обувным магазином. Заглянула:

– Талька!

Та продолжала скулить.

– Что случилось? Опять зубы?

– Дядя Сережа... ых... ых... продал Жанну на вино!

– Какой Сережа? Какую Жанну? – опешила Лина.

– Ну, черепаху, я ее Жанной назвала. На вино! Я не успела ей даже тапочки сшить. Только один успела.

– А кто этот Сережа – я знаю его?

– Сама в первый раз вижу-у...

Лина предчувствовала, что Настенька из солидарности тоже вот-вот заплачет, поэтому предложила:

– Не плачь! Мы тебе другую купим.

– Зачем? Все равно пропьют, – здраво рассудила Талька, вдруг вскочила и убежала куда-то.

После этого случая дня четыре Лина ее не встречала. На пятый день девочка пришла сама. Потопталась.

– Теть Лин, можно у вас... – И быстро-быстро заговорила:

– Можно у вас попочевать? А потом мама вернется и сто рублей заплатит.

– Какие сто рублей? Что случилось?

– Самое грустное, – ответила Талька, задирая кверху подбородок, чтобы хоть как-то сохранить гордый вид.

– Боже мой, ну что? Таля?

– Самое-самое грустное.

– Да ты можешь сказать, что именно?

—Я на ухо вам. – И она, косясь на Настю, подтянулась на цыпочках к самому уху и едва слышно выдохнула: – Маму посадили!

– Это правда? На сколько? За что? – Лина задавала эти вопросы бессознательно, как бессознательно стала тут же готовить ванну, чтобы мыть Тальку. – Сейчас я тебя вымою с ног до головы!

– А ты не отдашь меня в детдом?

– Куда?

– Ну, все говорят -, детдом, детдом! Вымоют, мол, в детдом отведут. А я там помру.

– Что?

– А то ж! Ведь почки-то у меня...



– Кто тебе это сказал?

– Соседки: тетя Валя и тетя Тося. Еще говорят: какой-то боушко есть, на небе, что ли, он маму накажет. Какой это боушко?

– А ты соседей не слушай! – сказала Лина, чтобы хоть что-нибудь сказать.

– Не слушай! – повторила Настя.

Она была в восторге от появления Тальки и все время суетилась возле нее, стараясь чем-нибудь угодить.

Пока Талька плескалась в воде, Лина поставила чайник и принялась искать одежду. Нашла те самые платья, которые когда-то в счастливом бреду купила для Насти-школьницы. Пока они велики даже Тальке. Одно подшила – пожалуй, подойдет.

Девочка недоверчиво принохалась к обновке:

– Теть Лин, чем это пахнет? Больницей?

– Ничем не пахнет, по-моему.

– Ага, так в больнице-то тоже ничем!

Лина, заваривая чай, тут же попыталась осмыслить Талькину систему запахов. Видимо, все чистое она воспринимает как пахнущее больницей. Почему? «Непросто все это», – сказала она себе, разливая чай.

– А чай сладкий?

Лина повернулась к Тальке и теперь впервые ясно увидела ее лицо, точнее – ее вымытое лицо. Когда грязь сошла с него, проступила такая бледность, такая прозрачность, такая истощенность, что никакое гордое выражение глаз не могло это прикрыть. Лина испугалась:

– Тебе плохо? Голова не кружится?

– Не кружится? – вторила заботливо Настя.

– Нет. Чаю я хочу.

– Вот твой стакан, пожалуйста.

– А можно... сладкий? – робко спросила Талька.

Лина спросила в ответ:

– Какой же еще может быть чай?

– Как это какой?! Сладкий, немножко сладкий и несладкий.

Я больше всего люблю сладкий.

У Лины появилось какое-то странное ощущение, что она не знает жизни, хотя в последние два года она только тем себя и утешала: «Ничего! Зато теперь я знаю жизнь».

Талька следила за Лининым лицом. Увидела на нем тоскливое выражение, осторожно спросила:

– Ты от меня устала?

– Что ты! Суббота – много было домашней работы. Но я вам почитаю сейчас.

– Про Буратино! – потребовала Настя.

И Лина принялась читать про Буратино:

– ...по дороге кот и лиса незаметно переоделись разбойниками и напали на него!

– Как это так? Шли вместе... Он что, дурак, не понимает как будто, что это не разбойники?! – удивилась Талька.

Лина растерялась:

– Понимаешь... Буратино был очень доверчивый.

– А то ж! Жизни-то не знает.

Не задумываясь, почти бессознательно, Лина в следующие дни занималась устройством Тальки в садик, оформлением документов на опеку и перешиванием платьев. Она и сама не могла вразумительно объяснить, почему взяла девочку. Из жалости? Потому что в детдом нельзя? Да просто взяла, и всё!

– Если бы к тебе девочка сама пришла, ты бы ее выгнала, что ли? – объясняла она соседке.

– Ну это как сказать! На ловца и зверь бежит! Почему-то ко мне не приходят девочки и не просятся. Именно к тебе вот.

«На ловца» – это про удачу. Но ведь в самом деле удача! Всегда мечтала иметь много детей, а тут счастье в руки: девочка славная, самостоятельная. Соседка не унималась:

– Всем ведь не поможешь.

– Я и не всем. Но одному-то человеку можно помочь.

– Угу, во вред себе. Уж теперь ведь никогда замуж не выйдешь. Не помогут и глаза твои... фиолетовые.

– Не в муже счастье.

А в чем?

– Наверное, в нас самих.

Не объяснять же ей, что чем труднее Лине стало вести хозяйство, стирать, готовить, тем больше радости от успехов девочек, от их любви!

В этот же день произошел еще один разговор на тему «ловца» и помощи. Неожиданно прикатила известная всему городу журналистка, прославившаяся статьями на темы морали. Лина испугалась: придется давать интервью! Но вместо этого журналистка робко попросила:

– Знаете, можно мне сшить пальто для вашей девочки?

– Что? Нет-нет.

– Я хорошо шью, спросите хоть у кого.

– Не в этом дело... Ну ладно, но... – растерялась Лина.

Та вдруг взяла Лину за руку и сентиментально сказала:

– Спасибо! А то я пишу статьи, а какое право имею писать их, если сама-то никогда ничего... для таких вот детей!

Она принялась измерять Тальку, а через неделю действительно привезла какое-то невероятное пальто: все

простроченное, с изящным вензелем, с вязаным капюшоном. Талька, однако, не очень радостно благодарила: за последнее время вся цивилизованная одежда свалилась на нее почти враз и она была слегка оглушена этим.

Зато во дворе пальто наделало много шума, в нем увидели почему-то вызов:

– Ты и мать родную забудешь в новой одежде!

– Небось всю работу домашнюю на тебя свалила, вот и прикрывается пальтами-то!

Девочка прибежала домой в слезах, и Лина долго успокаивала ее, а вечером вышла вместе с нею и Настей. Соседки внимательно следили за ними: шу шу-шу! Потом одна подошла и сообщила, что в магазине есть сгущенка. Другая подошла и елеинно спросила:

– Теперь нянька-то своя? – и с жалостью поглядела на Тальку.

Лина спокойно ответила:

– Вам за закуской некого стало посылать? Понимаю.

Чувство своей правоты, которое пришло к Лине сразу после рождения Насти, сейчас еще прочнее утвердилось в ее душе.

Тем более что Талька жадно тянется к знаниям, особенно книжным:

– А как правильно: сервиз или сюрприз? Особенно ее интересуют стихи, их секрет волнует.

– А почему у Насти все так получается?.. Имеется в виду – когда Настя читает наизусть.

Лина объясняет:

– Это рифмы: похожие слова. Муха-муха-цокотуха...  
Поняла?

– Да-а, – тянет она и вдруг увереннее добавляет: – Кто там? Сто грамм!

Лина в нерешительности молчит. Талька конфузится, открещивается:

– Нет, это не то...

Однажды девочки смотрели какой-то альбом по живописи. Скоро к Лине на кухню донесся Настенькин голос:

– Это тетя в темноте... Это мадонна...

Лина не сразу догадывается, кто такая тетя в темноте – наверное, женский портрет на темном фоне. Тальке непонятно другое:

– Кто? Ма... мадонна?

– Мадонна – это Богоматерь, – резво поясняет Настя, подражая интонациям мамы.

Талька испуганно смотрит на нее, потом кричит:

– Ты чего! Теть Лин, а Настя матерится!

Лина радуется этому возмущенному тону. Девочка выскользнула из своей прежней жизни, как мячик из воды, и не хочет никаких напоминаний. Иногда кажется, что она в самом деле все забыла.

На днях в садике сказали, что Талькин рисунок отобрали на городскую выставку. Лина захотела посмотреть его и увидела... черепаху! Большая черепаха и два черепашонка неуклюже, именно по-че-репашьи, вытянув шеи, медленно ползут по пустыне. Лина даже поискала: за счет чего же получилась эта замедленность? За счет больших ног? Или – из-за пустынности пейзажа? Непонятно. Она спросила:

– Это черепаха Жанна?

– Какая Жанна? Это же Тортилла из «Буратино»! Какая-то Жанна...

Лина, конечно, не стала напоминать. Они шли втроем домой и разговаривали о том, что нужно купить хорошие краски и бумагу, что Талька станет учить рисовать Настю, что приятно будет сходить на эту выставку детского рисунка, что... Вдруг какая-то фигура, знакомая Лине, но не узнанная сразу, появилась на противоположной стороне улицы. Талька бросилась туда и дико, пронзительно закричала:

– Ма-ма-а! Мамочка-а!!!

Но это был мужчина. Он ошарашено поглядел на девочку и почему-то повернул в обратную сторону. Лина растерянно стояла и молчала, а Настенька стала звать:

– Таля! Таля, иди сюда!

Талька вернулась. Она плакала навзрыд, а Лина не знала, что сказать.

Так они шли по улице, но никто ничего не замечал, никто не обращал на них внимания. Да и было уже темно.

1979 г.

## О Железном Кумире

Младшая дочь Агния (ей пять лет) не может понять, что такое «железный занавес» и произносит:

- Железные занавески!

Дети где-то слышали, что без этого – железного занавеса – можно было бы уехать жить в другую страну, а там все продается: куры, масло, гречка...

А я между тем вошла в гастроном и вступила там в добровольное общество желающих приобрести кур. Вокруг тоже все были лица со следами борьбы за выживание: словно всех

потоптали, помяли и бросили, а – бросив – поваляли.

Я до этого гастронома была в парикмахерской, где вступила в неформальное объединение желающих постричься – за тромбом из женщин. И там говорили, что в Швейцарии встают в очередь, чтобы сделать добро, поухаживать за больными – нужно записаться заранее, так как больных меньше, чем желающих сделать добро.

- Так пусть едут в СССР – будет очередь из желающих на них посмотреть!

Я вернулась домой с фиолетовой куриной тушкой. У соседей по кухне лилось раздольное:

- Над Россией – небо синее...

- А в России – куры синие, - запела моя средняя дочь Даша (ей семь).

Она же через час вернулась в дом с крысом – кто-то выбросил, потому что он изгрыз «весь песок».

- Сахарный, небось, а он нынче по талонам, - захромал лицом мой муж и одним движением бровей спросил: чем же мы будем этого крыса кормить... - Еще и деньгопровод засорился у нас.

- Наверное, слишком большой кусок попал, - догадался гость (туши слов лениво переползали через его нижнюю губу).

Муж заметил: когда он начинает конфликт с детьми, то чувствует себя Гаврилой-Принципом, который развязал первую мировую. И дети поняли, что вопрос решился в пользу крыса.

- Курица готова, - пригласила я всех обедать.

Дети принялись ее штурмовать. Они обломали об нее два зуба, три ногтя, одну вилку и множество зубочисток.

- Я ему покажу! – крикнула я и стала обуваться.

- Кому? – удивился муж.

- Ему! Пусть сам ест эту железную курицу!

Он стоял в центре театрального сквера, который раньше назывался торговой площадью. Железный кумир, Великий утопник социализма (мои дети младшие не выговаривали слово «утопист» и говорили «утопник»).

Взгляд утопника летел к горизонту. Сжимая в руке кепку, кумир лично встречал бесчисленных внуков, которые волнами к подножию его и оставляли груды бумажных цветов. В ярком свете солнца еще два прожектора выдавливали болезненное электричество на всю конструкцию Вождя.

Со своего высока он сразу заметил меня и то, что я сжимала в руке...

Утопник вспомнил, что вчера только тощий старичок метнул в него мешок с пустыми бутылками, а позавчера другой

орошал кислотой бронзу его ног.

«Но все же эта несет курицу, судя по запаху, наверное, это – жертвоприношение!»

Он думал: предки в Древнем Египте – великие фараоны – а еще ранее великие кельтские кромлехи – также получали свою идеологическую долю продукта!

Выбив ногой из кустов пустой ящик, я поднялась на него:

- Приходи и сам жри своих каменных кур! – и я помазала жирной тушкой по крепким щекам железного кумира, перепутав все ритуалы мира (потом муж говорил, что это тунгусы мажут жиром щеки своих идолов).

Каменный вождь кивал и кивал в знак согласия прийти и откусать курицы. А кооператоры уже вытаскивали ящик из-под меня – им срочно нужно было развернуть торговлю, а то сейчас люди пойдут с работы – так пусть купят все, что увидят...

- Раньше надо было морду-то ему бить! – сказал гость. – Если б году так в двадцать первом кто-то додумался дать ему курицей по бесстыжим шарам... может, история бы в другую сторону пошла...

Железный вождь стоял-стоял на своем постаменте и вдруг с легким звоном соскочил с пьедестала. С лоснящимися щеками шел он по улице Карла Маркса, с опаской поглядывая на ближневосточные очертания женских лиц. О, Фани, Фани... Он уже слышал, что «Мемориал» заложит ей памятник в сквере имени жертв утопников социализма. И вот ведь – точно – она! Стоит в толпе, а через репродукторы усиливаются крики:

- Дай стрельнуть, дай стрельнуть!

Таков замысел молодого скульптора. И бронзовая лента, на которой выбиты слова на иврите: «Женщина с яйцом» - значит, с качествами мужественности...

А с другой стороны улицы виден монумент немолодого скульптора Почвенного «Народ, выражающий единомышленный плюрализм». Мимо прошли два студента, один из них сплюнул:

- У-у, шупальце обкома!

Осенняя природа из последних сил показывала, что она еще надеется красотой спасти мир, но однопартийная система ежеминутно отвечала, что идейность дороже чистого воздуха. Трубы исторгали дым от производства оружия для поддержки социалистических революций в мире...

А в то время наши гости вместе с нами отмечали день рождения Даши. Пили самогон. Ни у кого уже не было сил выстоять восьмичасовую очередь за вином или водкой. Пить самогон – ну, виданное ли дело, скажем, при Некрасове!

- Что-то гремит, - сказал муж.

- Это гремит железный занавес, - сказал гость-художник.

Он думал, что это хорошая шутка. А между тем дребезжание нарастало и вдруг стихло у нашей двери. Раздался звонок.

- Это Петя, сейчас его штрафанем!

Муж пошел открывать, посмотрел на утопника, пощелкал по нему ногтем и сделал жест наотмашь:

- Ну, заходи!.. Так, ребята, нам повезло, штрафную отделять не надо.

- Что? Что этому здесь нужно?! – раздались крики возмущения.

- Нужна смычка с массами, - бухнул Памятник и добавил: - Да еще революционная беспощадность.

Мне стало стыдно перед гостями. Муж повернулся и сказал:

- Понятно! Как всегда! Зовешь кого ни попадя...

- Ну и что... Ну и позвала!

- Зачем?

- Ну что, ты меня, что ли, не знаешь?

- Не знал я тебя такую, - взяв театральный бинокль, муж стал внимательно изучать меня.

Гость художник предложил:

- Не знаком с нею? Давай я вас познакомлю!

- Ну уж нет, в моем возрасте – новые знакомства – это чересчур.

Даже над утопником социализма довлело прошлое – он был выходцем из буржуазной среды и не мог сразу сказать, что пришел за курицей. Лишь увидев детей, Владимир Ильич нашелся: он пришел за курицей, чтоб передать ее в детский дом.

- Что? Детям – этот продукт социализма! Они уже обломали об него все, что можно! Сам жри! – И гости стали руками совать в железный рот каменные части курицы.

Хруст титанового зуба на время заглушил оживление.

Тут еще появилась одна старушка, похожая на хорошенькую лягушку. Она достала топор, то есть вопрос: здесь ли живет Поварницын. Я посмотрела на адрес в руке старушки – там была другая квартира.

- Но в той квартире мне не открыли, - начала старушка и собралась подробно рассказать, зачем ей Поварницын.

При этом она заинтересованно поглядывала на стол. Улыбка ее отражала все, что у нее было: и доброту, и злость. Как у Моны Лизы.

Но я не поддаюсь здесь соблазну далее описывать жизнь с ее вечными пробуксовками и старушками. Довольно уже в русской

литературе старушек, баста!

И тут Даша наша вынесла своего крыса. Она хотела просто его показать, но тот кинулся к памятнику, и тот спешно отступил, оказавшись на узвимоом месте пола – на выбитой половице. Вмиг железо кумира исчезло в дыре.

Ужасные термоядерные слова ударили снизу. Ну, Нинка, та-та-та-та, если ты не будешь своих хахалей держать как следует, то все мужу расскажем...

Никто из трех, живущих внизу, бичей не узнал в лицо утопника социализма, хотя они знали его с детства. И никто не прошелся кулаком по металлической роже. Добрый русский народ!

Правда, темечко его само помялось во время падения, но это не помешало ему сообразить, где выход.

На улице тяжелым бегом он припустил к театральному скверу. Но место оказалось занято! На его «пустоменте» уже расположился кооператив СОНИ (Сном одаривающее научное изобретение). Кооператив бойко торговал морскими раковинами=поделками. Внутри каждой – электронное устройство, которое моделировало плеск морской волны, усыпляло вмиг.

Россия спала, гроздьями разбросав тела по скамейкам сквера. Не прочтя как следует инструкции, гроздья и купы тел вольготно полегли тут и там, и меня взволновало: не умрут ли так люди с голоду. Потом выяснилось, что батарейки рассчитаны на пять часов... лишь асоциальные элементы почему-то знали про эти пять часов и спешили очистить карманы спящих.

Россия спала, гроздьями и купами раскидав тела свои, но бодрствовал рядом – в сквере же – скульптор Почвенаго, сооружая памятник неизвестному алконавту, то есть эпохе застоя.

Это была двуфигурная композиция. Женская фигура в виде Ваньки-встаньки все время шаталась, а у мужчины был открыт рот, в который из поднесенной бутылки все время лилась амброзия. Откуда же у Почвенаго бушевание сил? Да из единственного вечного веселия Руси – из пития.

Кооператоры между тем бойко нахваливали свой товар, не забывая совать по розовой раковине в руки мильтонам, то и дело подходившим справиться о законности предприятия. Сердобольность кооператоров к мильтонам уже вошла в поговорку. Так и говорили: сердоболен, как кооператор к мильтону.

И вот уже члены КПСС начали вставать в очередь за раковинами, чтобы спать на партсобраниях. Говорят, недавно кто-то поднес такую раковину к микрофону на партконференции обкома, и зал мирно захрапел. Спят усталые марксисты. Но заслужили ли они покой?

10 окт. 1989 г.



## Спонтанность

Внутренне беспорядочно корячился, вспотел... но сдвинуть с места хоть один член тела? Бесполезно... Палец ноги вдруг зашевелился, потом другой...

Василий очнулся. В своем методкабинете. Это училище. Он лежит на полу, спеленатый тканью горчичного цвета. Значит, портьера. Он уже отчалил от берега беспамятства, но к берегу сознания еще не причалил. Захотелось поскорее определиться: туда или сюда.

Первая мысль: кабинет не опечатан, значит, патруль видел и доложил дежурному по училищу. Вторая проблема: заперта дверь хотя бы изнутри? Третий вроде бы вопрос: были «подвиги» или нет? Если да, то его могли видеть все, от генерала до последнего курсантика...

Методкабинет мог опечатать курсант Леонидзе, если Василий ему это успел поручить. Но тут кто-то стал отпирать дверь – вошел курсант Евстигнеев и нежно склонился над портьерой:

- Может, вы пойдете, дома поработаете?

- Я... работаю... над собой.

Он начал распеленываться, катаясь по полу. И тут пришло решение: вены вскрыть. Но сил пока не было на исполнение. Решил смотать портьеру. Спихватился: зачем? Теперь это их проблемы. Включил телевизор, неожиданно стыд отступил.

Тут пришло и рассуждение: «Как я отнесусь к этому через десять лет? Вспомню со стыдом? Через десять-то лет! Значит, и сейчас не надо расстраиваться. Ну, в милиции, подумаешь... Побили, бывает».

Кажется, он тогда сказал начальнику учебной части, что уезжает оформлять методические пособия, а сам – к Леонидзе домой. А, значит, Леонидзе не мог запереть за ним кабинетную дверь, он же на больничном. Третьим зачислили соседа по кухне, Василий его хорошо знал, потому что сосед был один и тот же, только разного возраста. То ему сорок лет, то все восемьдесят – все зависело от количества выпитого прошедшим днем... На этот раз старец весь ушел в нос, который превратил его в Чуковского. Но в другого дедушку Корнея, судьба которого сложилась в направлении питья (известно, что так она не сложилась).

Старик хотел занюхать хлебной крошкой, но чересчур резко потянул ноздрей и таким образом заглотил.

- Ты что, есть сюда пришел? – рассердился Василий.

- А ты падал в пропасть? – отбил старик, синяя носом.

Леонидзе что-то бормотал о фантастике. Василий изрек:

- Брось, Леонидзе! Нет разницы между фантастикой и не!

Чем отличается «Улитка на склоне» от «Дома на набережной»? Одна и та же проблематика. Ну, есть у Стругачей придуманные герои – не в этом же дело...

- Нет, ты скажи, падал в пропасть? – Старик дергал Василия за рукав и пугал носом.

- В финансовую – падал.

Вдруг Леонидзе оказался рассказывающим, как он приехал в Пермь: бросил жребий и приехал.

- Спонтанно?! (Это была высшая похвала в устах Василия).

Леонидзе запел: гапхринда, мерцхало... Вылети, ласточка, Галка скоро придет, время-то как пролетело... Конечно, для грузин время летит, им кажется, что двенадцатый век был вчера. Повезло им: национальный язык медленно меняется, «Витязя в тигровой шкуре» читают без перевода, а наши «Слово о полку Игореве» не понимают без долгих-долгих комментариев.

Вдруг Леонидзе упал головой на стол так, что банка отодвинулась, чтобы не стать разбитой. А Василий в это время говорил:

- Я хочу вам почитать свой роман... Нашел его возле своей машинки, не помню, как написал, спонтанно так... - Он в самом деле стал читать двум спящим существам. – По общим принципам можно лишь функционировать, но ЖИТЬ можно лишь в противоречии с ними...

Пришла Галка, жена Леонидзе, значит, наступил вечер. Леонидзе протрезвел на глазах и начал заискивающе взывать к жене:

- Как Василий читает! Послушай...

- Я его навидалась, еще и слушать!

- Ты бы увидела пьяного Есенина, он бы тебе еще больше не понравился, - парировал Леонидзе.

Василий добавил: Есенин покончил с собой в результате того, что старался и не смог попасть в колею. Маяковский, наоборот, попал в колею и не мог из нее выбраться. Но он уже не выговаривал половины согласных, поэтому вскоре можно было слышать только: «Пасранак...»

- Кто?

- Пасранак...

- Такие тексты, что ты пишешь, - Галка листала его рукопись, - поведением нужно подтверждать. Учишь нас жить? А сам – жену предал, дочь. Корчак бы детей бросил у газовых камер, как фашисты и предлагали, - стали бы мы читать его трактаты?

- А Руссо сдал своих детей в приют, - начал трезветь Василий.

- В те времена незаконнорожденные не считались детьми, -

брызгала на всех водой (мыла посуду) и кричала Галка. – Убери свои бумаги, я вытру на столе...

Леонидзе трезво заволновался: мол, заметят на проходной, что выпил. Василий обещал проглотить по дороге бутылек корвалолу и протрезветь – у него была вечная вера в то, что он сейчас чего-нибудь примет и протрезвеет.

- Идеимояипапка? – Василий пытался достать язык в ботинке, но язык не слушался. Как и во рту. – Чего она тут в грязи вля...ется!

- Мы ее специально бросили в грязь! – вылетела в прихожую Галка.

- Ты... ведь... моешь... па... па... суду.

- Да! Я мою посуду, я не так спонтанна, как ты. Все еще мою!

Леонидзе проводил друга до аптеки. Он боялся, что тот попросит его купить корвалол, и из-за этого Леонидзе в другой раз не дадут лекарство для детей – слишком напоминающая у него внешность. Он вскоре обернулся, но друга не увидел: столь плотно того обступили такие же любители корвалола, и он уже начал им что-то вещать, только сигарета была видна в уголке рта – она белела, как мертвая кость. «Попадет в вытрезвитель, как в прошлый раз», - горько итожил Леонидзе.

На прошлой неделе это было: Леонидзе ездил к однокурснику со связями, спас Василия, и бумага не пришла в училище. Но ведь второй раз уже никто не спасет...

В вытрезвители-то Василий вспомнил, как его спасал Леонидзе, и стал утверждать, что нигде не работает. Молоденький лейтенант спросил:

- Небось, высшее образование? Нужно работать. Работу Энгельса о происхождении человека знаете?

- Да-да, там еще труд делает лошадь человеком, - закивал, получил в ухо, упал, встал, стараясь становиться поближе... чтобы удары – с меньшей дистанции...

Будут еще? (И были еще). Много. Раз двенадцать, наверное. И кровь. Потом вопросы задавали, и он отвечал по-английски, чем вывел окончательно... Отстали, когда сказал, что папа – директор завода. Документов-то нет, а вдруг в самом деле – директор...

- У меня страшный удар правой, никакой корвалол ее не берет, мою десницу, - говорил потом он кому-то рядом, на нарах. – Мне его поставил Порозов, вот настоящий друг, правда, мы поссорились: он не смог дотащить меня до своей квартиры и позвонил моей жене... Разве так друзья поступают!

\*\*\*

Это все случилось до перестройки. Сначала Василий работал в большом вузе, потом – в маленьком, наконец – в училище. Но и оттуда попросили. Он говорил: в эпоху глубокого удовлетворения наверх всплыли серые, убогие, и там они развернулись во всю ширь своей серости и убогости. А теперь, во время очищения, перемещение слоев пойдет наоборот.

Стал он заместителем редактора в новой газете, писал сначала большие фельетоны, потом – мелочи, наконец его уволили за пьянки. В этот день он пришел к Леонидзе трезвым. Подавленный, он стряхивал пепел на пол, и Галка попросила:

- В пепельницу, пожалуйста! Пол моют дети, это их труд...

- Вливается в труд моей республики? – выделил он немного желчи.

Куря, он ходил из комнаты в кухню и обратно, становясь с каждой минутой все оживленнее, даже впечатление побритости появилось – ведь от него запахло одеколоном (он его потихоньку посасывал, когда оказывался вне всяких глаз). Продал Леонидзе Рассела, который «Пифагора зачем-то высмеял».

- Ведь это рост организма философии шел. Вундеркинд двух лет не только слова говорит, но может и штанишки намочить. Так и Пифагор. А Рассел ругает бедного ребенка за неожиданность и думает так: на месте Пифагора он был бы умнее, не делал бы в штанишки.

Пили грузинский чай, очень плохой – щепки всплывали, как останки Ноева ковчега, который, помнится, где-то в Армении причалил к Арарату, а от Арарата до Грузии один птичий перелет!

- Грузины скорее жизнелюбы, чем чаеведы, - оправдывался Леонидзе, бережно отбирая и складывая щепки.

Василий вскипятил чефир и продолжал о себе, любимом: в женщине он ценит не промежность, а душу – духовную промежность...

Леонидзе готов был тело отбросить и даже на нем сплясать! Но рядом сидела жена, которая с ним не договаривалась не ценить тело. А Василий уже сел на своего любимого послечефирного конька: вот откроют границы, китайцы хлынут, и скоро все на свете будут китайцы.

Леонидзе с почтением возражал: главное ведь не война сперматозоидов, а соревнование культур. Древние греки были страшно малочисленны, границ тогда вообще не было, но китайцы их что-то не затерли.

Василию не нравилось, что кто-то осмеливается подавать голос из бездонной пропасти, и он заспешил как бы к матери, имея в виду, что аптека вот-вот закроется. И хотя корвалол уже исчез из

аптечной разнообразной ранее торговли, были другие средства: циклодол там, солутан. Леонидзе не отпускал его, чтобы друг лишней раз не наглотался чего-нибудь, но Василий ушел и, видимо, успел купить и проглотить чего-то.

Потом он вернулся:

- Раз ты меня так задерживал, я тебя поражаю возвращением. – И насмешливо: - А вы все еще за ужином?

- Извини, - пробурчал Леонидзе (он уже собрался полежать, полистать газеты). – Но я не настолько спонтанен.

- Я вам не рассказывал, как меня избили в милиции?

Этот случай он отшлифовал в полноценный подвиг:

- «Вы и статейки пописываете? – Да, если вы регулярно читаете журнал «Высшая школа», то можете встретить меня, но имейте в виду, что я сейчас прохожу медосмотр, там написано: здоров. Если что со мной случится, вам бу-у-удет! – «Что еще?» - Ничего. – «Становись». И опять меня сбивает с ног... И так раз двадцать.

\*\*\*

Василий ушел от Леонидзе утром. Мучила жажда. Кругом такая сушь, а он хотел приникнуть к вечному, огромному. Поэтому почуял магазин «Хозтовары». Точно: через пять минут и полквартила оказался возле этого магазина. Стало интересно: есть ли там стеклоочиститель. Он был! Но было и объявление: «Отпуск моющих стекла средств – после 15.00. Решение горисполкома от...» А, все равно и денег нет. Вдруг он увидел «Хвоинку». Но денег нет...

И вдруг навстречу ТОТ, лейтенантик. Несет стеклянную бутылку «Белизны». «Если дать этой бутылкой по морде, то выжжет все – хлорка».

И тот почувствовал это ВСЕ – профессионал, опасность чует. Совершенно спонтанно Василий подошел к нему вплотную:

- Дай денег... не хватает.

В руке почувствовал что-то монетообразное. Деньги, точно. А лейтенант, отдав деньги, опять почувствовал себя уверенно, быстро вышел из магазина с непроницаемым лицом.

1989?

### **Смертью друг друга они живут**

- Смотри, - дочь любитесь фруктовым, по-китайски капризно изогнутым червяком в яблоке. – Нарисую. Картины на свете появились оттого, что в три года ребенку нечего делать, и он рисует.

- Дзинь, - раздалось в коридоре.

От испуга я съела остаток яблока вместе с червяком.

- Ничего, это белок, - говорит муж.

Но это пришла не Леона, которая приходит каждый день, а долгожданная Эра Викторовна. Она приехала из Норвегии и привезла в подарок гравюру Мунка.

- Эра Викторовна, мало того, что Вы Эра, так еще Победителевна, - я в это время уронила вилку и начала черенком ее стучать по полу, шепча: «Сиди дома, сиди дома!».

- Дзинь! – выкрикивает муж.

- Почему невозможно все «дзинь» регулировать, - начинаю стонать я, умещая в морозильник принесенное гостьей шампанское.

- Нина хотела бы все «дзинь» регулировать – особенно «дзинь» критиков, - не останавливается муж.

Наша кошка села на гравюру Мунка. Выражение у нее такое: я понимаю – вы все для меня делаете, но мне нужна рыбка, а не эта гравюра!

Эра Победителевна в Норвегии отвыкла от кошек:

- Там почему-то имела дело только с собаками – даже на лекции в первый день обомлела: в аудитории сидят три огромных пса, и такие умные морды, так слушают!

- Дзинь, - раздалось в коридоре.

- Познакомьтесь, это моя подруга Леона Одиноких, - представила я гостью Эре Викторовне.

Леона улыбнулась своей негреющей улыбкой. Ее красивое узкое лицо, подобное шпаге, нельзя оценивать в таких категориях, как женственность или обаятельность. Нужны категории другие: сталь высокопрочная или другая, еще более крепкая.

- Очень приятно!.. И что оказалось! Да, Леоночка, я тут про Норвегию рассказываю. Оказалось, что трем старушкам, которые учат русский язык, не с кем оставить своих псов.

Леона ставит на стол букетик икебаны (она их делает), и наша кошка начинает его грызть, как бы укоряя: «Рыбки хочу, а не этих сухих веточек». Но тут под взглядом Леоны кошка уходит под кровать. Леона объясняет:

- Все мое детство прошло с котами-личностями, интеллектуалами, я терпеть не могу таких вот драных кошек.

Муж решительно ушел на кухню печь блины.

Леона набросилась на меня: неужели я хочу повесить ЭТУ ГРАВЮРУ!

- А что такое? – удивилась Эра Викторовна.

- А то, что эту вещь может повесить в своем доме очень красивая женщина! Нина же будет проигрывать на этом фоне.

Эра Викторовна перевела разговор: она – оказывается – еще не все подарки достала из своего сине-фиолетового пакета. Из

него вдруг выпрыгнула сказочная куртка для моей младшей дочери. Я знала, что Леона не позволит мне принять такой дорогой подарок. И вот она уже качает головой, осуждая меня. Я сдаюсь:

- Спасибо, но я не могу принять такую дорогую вещь.

- Ниночка, эта вещь стоит двадцать эре, то есть пять копеек по-нашему. Я купила на распродаже. Это же Норвегия! А какой там университет!

Она показала фотографию – универ такой красивый, так и кажется, что там гномики учатся...

Леона в это время берет двумя пальцами мои домашние брюки, выпачканные в муке, и говорит им:

- Не узнаю вас в гриме.

- Просто я блины разводила.

- А как норвежцы относятся к нам? – спрашивает Леона у Эры Викторовны.

- Ну, ко мне неизменно было ровное и доброе отношение.

Леона, конечно, уже решила, что Эру завербовали, я хорошо знаю все это. Но тут приходят с прогулки старшие дети, получают свои норвежские подарки и атакуют гостью в ответ своими творениями. Сын начинает читать словарь «детско-русского» языка, который он составляет по речи младшей сестры:

- Авва – в первом значении – собака.

- А я сказку сочинила, - перебивает его средняя дочь. –

Папа рассказал, что в Перми хотели построить дома в виде букв, чтобы получилось имя Сталина. И я думаю, что месяц похож на букву С, потому что люди захотели выложить на небе имя Сталина в виде разных светил, но узнали правду про этого злодея и раздумали... и даже дом только один построили – в виде буквы С...

- Авва – во втором значении – волосы подмышкой.

Леона не выдерживает:

- До чего вы дошли! У Павловых Денис уже гениально рисует! Он так рисует, словно у него под бумагой контур проложен, и видны линии... он может с ноги начать, с уха...

- Леоночка, - недоумевает Эра Викторовна, - а разве одно другому противоречит? Денис рисует, а Нинины дети сочиняют...

- Разве вы не поняли, что эти дети заранее настроены на мрачное видение мира! Все плохое они уже знают. Зачем им так рано знать о том, что Сталин – плохой?

- А может, о своей родине лучше знать всю правду?

Тут муж принес блины. Я боялась, что Леона начнет корить нас за то, что полнеем от них, но блины оказались так злодейски вкусны, что она пустилась во все гастрономические тяжкие. Но вдруг посмотрела вверх и взяла реванш на нашей треснувшей люстре:

- Дом, где трескаются люстры.

Мне хотелось крикнуть: «Леона, из-за тебя наш дом похож на дом, где разбиваются не только люстры!» Но муж разлил шампанское.

- Жди отстоя пены и требуй долива, - вдруг бухнул он.

- Здесь не пивной ларек, - и Леона красноречиво посмотрела на нас: «опустились вы, опустились».

В представлении Леоны все шутки должны быть на пять с плюсом, ну в крайнем случае – на четыре с плюсом.

- Не читай за столом, - сказала я сыну.

- А что ты читаешь? – спросила его Эра Викторовна. – «Три мушкетера»?

- Нет. Я считаю, что «Старик и море» интереснее, чем Дюма.

Муж вдруг толкнул речь, сравнивая двух авторов: мол, «Старик и море» - те же скачки, только не на коне, а на рыбе...

Леона закричала:

- Вы с ума сошли! Хэм в Испании воевал, а вы его с Дюма сравниваете! Кого вырастите вы из этих детей? Боже мой... Боже!

К счастью, драгоценная Эра Викторовна тут спросила:

- Как поживают Серебрянниковы? Говорят, немного зазнались?

- Ну, пока мы не прошли испытание успехом, не будем никого осуждать...

Леона даже вскочила из-за стола:

- Это что получается: пока я не убил, не буду осуждать убийцу?! – после этого она ушла, хлопнув дверью.

Вот так всегда она уходит – непременно хлопнув дверью. Наша кошка сразу выползает из-под кровати и садится на колени к Эре.

- А почему она такая – Леона? – спросила Эра Викторовна.

Муж начал с Гераклита:

- Есть такие люди – смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают...

Тут я все же решила заступиться за подругу: мол, она меня на самом деле любит. Иногда платье сошьет.

- И мне один раз сшила рубашку, но я бы без нее согласен обойтись, - сказал муж.

- Какие вы – мужчины – жестокие! – начала нанизывать упреки. – Леона совсем одна. У меня есть «дзинь» гостей, «дзинь» мужа и критиков, а у нее ничего. Она делит комнату в аспирантском общежитии с какой-то математичкой. А та вся в науке.

- Так кто же на ней женится – она же съест того! – муж



махнул рукой и ушел мыть посуду, скороговоркой бросив: - Скоро у нее будет диссертация, квартиры, студенты, а нас пусть не будет в ее жизни.

Через два дня раздается очередное «дзинь» критиков – второе за один месяц. На этот раз «Комсомолка» напечатала разгромную статью о моей подборке рассказов в журнале, обвиняя мою особу в самых разнообразных грехах.

И тут прибегают Леона, начинает меня утешать. Тоже своеобразно, конечно:

- Зачем ты не вышла за Олега! При нем бы ты не писала эту чернуху...

- Да ты что! Он оборачивался на каждую юбку: «Ха-чу».

Оказывается, Олег дал ей телеграмму, что прилетает. Я думала – утешать меня. А он – на конференцию.

- Конференция по общению! – удивлялась Леона. – Странные люди – о чем тут говорить. Есть люди, обладающие даром общения, и с ними интересно, хочется общаться... и есть наоборот...

Я думала: а ведь она уверена, что является человеком с даром общения, в то время как она – спазм мирового общения.

На другой день я вдруг увидела, что спазм мирового общения чудесно общается с Олегом, не делая ему ни одного замечания. Значит, без нас не пропадет, подумала я.

На следующий день был мой день рождения, и я позвонила Леоне утром:

- Привет! Чем занимаешься?

- Как чем? К вам собираюсь – помочь тебе салаты делать.

- Но... если ты, дорогая, в хорошем настроении, то мы будем рады тебя видеть. Но если ты в плохом... мы устали от замечаний. Конечно, мы не учимся в аспирантуре, но мы тоже живем нелегкой жизнью... и...

Она бросила трубку.

Больше она к нам никогда не пришла.

И я сильно пожалела об этом.

Потому что следующая моя подруга слишком понравилась моему мужу. Ее тоже пришлось мне отвадить от нашего дома.

О, Леона! О, жизнь!

1986 год

### Укус, сын вина

У него было был рот-клюв, и еще нутро выпирало в виде взгляда, снимающего с Ирины платье. Она не считала себя постницей какой-нибудь, в молодости часов не считала – сколько их оставила в травах страстных, в результате чего и сына родила,

не выходя замуж. Но вот Валентин Иванович намекнул, что каталог отпечатать для ее выставки – это проблема, а ему не с кем жить, и это не меньшая проблема... тут Ирина схватила себя спереди за горло и стала почти душить, как бывало всегда в минуты смятения.

Ах, он тут же спохватился: ведь она пишет сюр и может изобразить его с выпученными глазами, а вместо ресниц – руки, цепляющие женщин. Ирине было тридцать девять, а ему далеко за шестьдесят, но у него лишь недавно умерла бабушка, так что с такой наследственностью – конечно – он весь в проблемах после смерти третьей жены. Секретарша его – восемнадцатилетняя – уволилась недавно после того, как он объяснял ей правописание слова «коммунисты»:

- С двумя М – запомни! Раз и раз! – он схватил секретаршу за одну грудь и за другую.

- Мне нужен глаз, глаз! – говорил он, зазывая Ирину в мастерскую якобы для оценки его нового триптиха.

Глаз, глаз, восклицал он, а ей это напомнило фильм о Персее, где старые Грайи имели один глаз на троих, причем он был отдельно – сам по себе.

Она пообещала прийти, но очень приблизительно: мол, еще позвонит и уточнит, подтвердит, а была уверена, что не подтвердит. Весной, в разгар предвыборной кампании, она сама видела на портретах Валентина Ивановича харчок, а сын говорил, что видел непристойную надпись...

Пошла посоветоваться с подругой. Та говорила: сама решай.

- Но вспомни, как Дом пионеров хотел у тебя купить портрет сына в маскарадном костюме, однако в последний момент купил у Валентина Ивановича пионеров, собирающих макулатуру.

Сдаться Валентину Ивановичу, у которого не реализм даже, а какое-то пережевывание действительности? Сама Ирина давно, еще в юности, высмотрела в лупу на одной из репродукций Дали «кисточку» из поролоновой ткани и сделала себе такую. Вырвала лист поролона из альбома для значков, прикрутила к карандашу проволокой. Тогда Драхлин, отец ее сына, как раз уезжал в Израиль, пришел к ней с тюльпанами, снял с каждого цветка по резиночке, и лепестки уронили себя. Она написала этой новой поролоновой «кисточкой» тюльпаны-ирисы. Прошло с тех пор не так много времени, но уже сын учит иврит – устал от ее неуспеха, мечтает уехать. Либо сейчас она добьется выставки, каталога, признания, либо...

И она позвонила Валентину Ивановичу. Вот она уже в мастерской, проводит пальчиком по пыльной серии книг «Пламенные революционеры».

- Они не только пламенные, но и племенные – такое племя дали стране, - говорит хозяин, вертя в руках дезодорант.

- Венгры такой дизайн дают? – Ирина показала на дезодорант, оформленный как фаллос – символ всех размножающихся устремлений.

Он был растоплен ее раскованностью, а она вдруг начала прощаться. Как, разве не сегодня нахлынет на него эта радость? А сегодня у нее как раз это... Ну, с природными явлениями не поспоришь, не спорим же мы с извержением вулкана. Однако, как же глаз? ГЛАЗ! Она должна посмотреть – оценить «Портрет отца».

Отец был изображен, как котлета в шляпе. Котлета коричневая, шляпа серая.

- У папы мозговые явления, восемьдесят четыре ему, но еще кричит соседке: «Нюра! Пойдем со мной в малинник!»

- Укус, сын укуса, - вспомнила она вслух еврейскую поговорку (яблоко от яблоньки).

- Я устрою вам заказ на оформление книжки «етые Пушкиным» (имелось в виду «Воспетые Пушкиным»). А еще у меня коллекция частушек, на магнитофоне, под них хорошо работается...

В общем, он много говорил: завтра будет писать с утра автопортрет, а потом – рисовать совсем другие вещи на бесконечном поле чувственности. А перед этим сходит с Ириной в ресторан «Орбита». И он целовал ей долго руку, склонив свою крашеную голову с переливами шоколадного и розового цветов.

- В общем, портрет отца можно сделать раблезианским, - сквозь зубы бормотала она.

- У него мозговые явления, но еще зовет соседку в малинник, представляете!

Кажется, у Валентина Ивановича тоже мозговые явления – второй раз про малинник. Рановато – по сравнению с отцом. Но есть другая еврейская поговорка: укус – сын вина (в семье не без урода)...

На другой день в ресторане «Орбита» она умирала от жары. Там было уютно, современно, вкусно и душно, закуполено, тесно. За соседним столиком праздновали чей-то день рождения, и пахло флоксами – огромным букетом.

- Мне предложили Негоду в «Плейбое» - за пятьдесят, - донеслось оттуда.

- За эту цену живую можно, - не удержался Валентин Иванович.

Ирина готовит свое лицо к улыбке: «Лицо, ты ведь мое – должно меня слушать». Но оно – ноль внимания. Тогда она механически подергивает мышцами, боясь, что получится

ухмылка. А уже танцевали ламбаду, выпаривая таким образом водку, а Ирине танцевать Валентин Иванович не советовал? В прошлом месяца его бухгалтерша чуть не вывихнула бедро во время этого танца.

- Да, ламбада – зловещая рука африканского заговора, - сказала Ирина, отвлекая спутника от бежавшего про проходу кооператора с порнографическими открытками.

- Люблю провинциальное порно – все делают один к одному, никакой слащавости, - завел глаза кверху Валентин Иванович.

Но ничего не купил. А если б купил? Уйти пришлось бы.

Когда они вышли из ресторана и остались вдвоем, ее неприязнь к начальнику, освобожденная от ресторанного шума, проявилась с особой чистотой. Она вдруг заявила, что сегодня еще не все закончилось в том природном процессе, о котором она говорила вчера. И буквально сбежала домой.

На другой день в подъезде покрасили стены, и она покрылась сыпью. Звонил Валентуля, сын Ирины отвечал: мамуля вся скисла, пузырями пошла. Потом сама она подошла к телефону и обещала, что завтра...

На другой день была такая духота, что Ирина в мастерской начальника сразу включила вентилятор. А был там еще и фонтанчик небольшой в центре зала. Не мастерская, а дворец. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на потолке – лепнина (переплетение из серпов, молотов и яиц). Прошли те времена, когда он писал в полуподвале, там же выпивал после работы и занюхивал геранью, которая отворачивалась от его выхлопа. Буквально подхватывала все листья и отводила их в другую сторону. Этот цирковой номер он показывал одной обкомовской даме, когда захотел получить светлую мастерскую. Работы у него тогда были другие: реализм, но с настроением, все в серебристых и фиолетовых тонах. Портрет Николая Островского – как видение – все шарахались. От портрета Фадеева карамазовщиной несло. Это были шестидесятые годы – его вещи те Ирина знала, потому что они вошли во все альбомы. Бог весть, что потом с ним случилось – с тем Валентином. Почему появились эти грязно-коричневые полотна...

- Не ходите, девки, в лес, - грянуло из магнитофона, - там землетрясение...

Она упала в кресло. Да, этот мужчина ей нужен, то есть выставка нужна, точнее – каталог. Но... На журнальном столике лежала газета с брачными объявлениями. «Импотентов просят не беспокоиться» - прочла она в конце одного. Вон – значит – какие роковые есть женщины в городе Перми! В это время Валентуля

наклонился над креслом и начал вырывать ее оттуда – что-то треснуло то ли в платье, то ли в кресле. Вдруг откуда-то из нее хлынули таблетки и покатались по полу. Лактат кальция – купила для борьбы с аллергией. Они оба присели и стали собирать лекарство, причем хозяин не столько собирал, сколько под этим предлогом то тут, то там проходил по касательной к ее ноге. Какой он усидчивый в сексуальном отношении, казенно написано где-то у нее внутри.

- Совсем забыл – ягоды! – вскрикнул Валентуля и принес на подносе клубнику.

Белой пластмассовой вилкой он брал в рот то одну, то другую малинку, приговаривая: такое испытание - ягоды, имеющие цвет соска, тяготеющие к формам... И вдруг с видом священного ужаса он стал класть ей угощение в рот. После того, как он увидел, с каким трудом она раздавливает ягоды и, не жуя, с таким же трудом глотает раздавленное, Валентуля понял что-то свое. Он расстегнул ей замок на груди и стал снимать бюки. Призрак малинника немного очеловечивал эту композицию из двух тел. Она пыталась еще за что-то зацепиться, чтобы проникнуться... Если б его звали Николаем Степановичем, тогда можно закрыть глаза и вообразить, что это сам Гумилев, который был влюбчив, царство ему небесное... Но она никого не знала из прекрасных мужчин с именем Валентин Иванович. Возможно, они были, но она их не знала.

Ирина взвешивала: выставка, каталог – с одной стороны, и этот тяжкий труд – с другой. А она уже лежала на диване, и шторы задвинуты, и свет погашен. Оказывается, она свернулась клубком. Холодные и костлявые руки коснулись ее спины.

- Ты оставляешь меня в страдательном наклонении, - услышала она пошлость начальника. – Ничего, можешь обойтись только рукою... своею собственной рукою, как поется в гимне.

Она тупо перебирала: в какой это гимне - Интернационале, а может – в Варшавянке? И вдруг ее осенило: Бог ее наказывает за пижонские фразочки в юности: «Ах, автопортрет Винчи, я вышла бы за такого замуж! О, автопортрет Босха в старости – ощущение такой силы!»

В это время она переживала вес костлявого чужого тела и нечаянно коленом поняла, что ничего-таки сегодня не получится. Нечем было получиться. Спокойно лежала и ждала, когда он скажет: вставай и иди.

- Кому-то сегодня ничего не нужно, - сказал Валентуля, пыхтя вставая.

Потом он надел плавки и, оттянув резинку, обратился к своему меньшему брату:

- Зря мы сегодня с тобой надеялись, да? Думали: молодая кровь нас расшевелит...

Ирина стала одеваться. Упал вентилятор. Она поставила его и заметила: у советского вентилятора чисто мужской недостаток – падает он.

Она подумала: выставку можно устроить в Израиле. Если сын отслужит в израильской армии, мать – русскую – разрешают привезти.

\*\*\*

Давно это было, когда Валентин еще носил ботинки, как у Ван Гога, точнее – с завистью на ту картину смотрел, потому что ботинки были в более приличном состоянии, чем у Валентина. И ему намекнули, что нужно провести ночь (хотя бы одну) с одной обкомовской дамочкой, и тогда будет мастерская, будет все. И он рискнул. Дама была старше его лет на двадцать пять и с такими морщинами на лбу, словно кто-то его – лоб – перепыхал. Но из обкома. Так что он улыбался, а она назначила встречу у него в подвале якобы для разговора. И они, что называется, сползлись. Сразу было видно, что она любила это дело, до такой степени, что могла бы написать на одном своем месте лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь здесь!» Но тогда у Валентина ничего не вышло со своей высокопоставленной дамой. И не получил он хорошей мастерской. Но потом его все равно вынесло наверх, началась оттепель, прошла выставка, появились натурщицы... И только сейчас, после ухода Ирины, он вспомнил ту историю, но лица дамы уже вспомнить не мог, лишь морщины, морщины...

\*\*\*

Ирина эмигрировала в Израиль к сыну.



# Моисей Борода

## Гранада моя

**Рассказ Ивана Никаноровича Антонова о том, как он ездил в Испанию и что из этого вышло**



у вот, опять, значит, двадцать пять! Опять пристают как с ножом к горлу: расскажи, Иван Никанорович, да расскажи, как это ты в Испанию ездил. Так ведь рассказывал уже! Ан нет: опять просят. Ну, прошлое же дело, давно прошло и травой поросло – а... Ну, да ладно! Человек я, сами знаете, не гордый, могу и рассказать. Да... Только одно: не перебивать! С вопросами не лезть, поперёк речи не толкаться. Перебьёшь – сам себя и вини. Так-то вот!

Ну, ладно, дело так было.

Вызывает меня, значит, партком наш, Сергей Александрович... Хороший был человек, царствие ему небесное, душа был, и людей-то как знал! Как рентген их видел, насквозь, кто они такие есть. Не человек – скала! Где теперь таких найдёшь!

...А ты не лыбься, Серёгин, не лыбься, чё лыбишься-то? Што строгача тебе тогда вlepили – так сам же и виноват. Не лезь поперёд батьки в пекло! На кого руку поднял – на парьтию! Это ведь подумать только! Перестройки тебе захотелось, демакра-а-атии? Ну и как оно сейчас-то? Не жмут ботиночки? Хорошо, небось, в капитализме, а? В слугах у блядей у западных! Ну, добро бы жид ты был или черножопый, а то ведь свой же, русский человек! Ну, да чего там – я на тебя, Серёгин, зла не держу, шут с тобой. А што вкатили мы тебе тогда строгача, дак спасибо скажи Сергей Александрычу покойнику, что убергли тебя, дурака, от хужего. А то ведь закатали бы тебя, бедолагу, а то и в лагерь бы послали. Да-а-а – а ты-то как думал? Но – вступились мы за тебя, жалко стало. Как-никак, двадцать лет вместе проработали. Ну да ладно, чё это я в сторону-то заехал, так и до утра не кончим.

Ну вот, вызывает меня, значит, Сергей Александрович и говорит: А у меня к тебе, товарищ Антонов, дело. Да ... серьёзное,

дело, у меня к тебе, Иван Никанорович. Партийное поручение.

Ну как он это, значит, сказал, так я сразу по фронтовой привычке вытянулся и говорю: „Что мне партия поручит, выполню с честью“. Только он говорит: „Погоди ты, Иван Никанорович, не суетись. Знаем тебя и доверяем, не зря мы тебя в партком выбирали. Ты выслушай сперва. Да садись ты, разговор у нас не короткий будет“.

Ну, сел я и вот, значит, сижу. А он вдруг улыбается, да не во весь рот, а так, с хитрецей. И говорит: А поручение к тебе вот какое будет. У нас тут вот группа собирается в Испанию. Да нет, чего там говорить: люди всё надёжные – из рабочих кто, из инженерного из персонала. Ну, у кого и жена едет. Ну вот.

...Люди-то они надёжные, оно так, а всё же – глаз нужен за ними да глаз. Неровен час – и сорваться могут. Велик соблазн-то, ох велик! А потом, сам знаешь, каково нам сейчас: жмут враги со всех сторон. И войны вроде никакой нету – а жмут. Дождались перестройки нашей, до-о-олго воронам ждать пришлось! А дождались, што сами отдаём, за што кровь проливали, што Иосиф Виссарионович по крохам собирал.

Ну, да ладно, не о том речь. Группа-то наша приглашённая – от испанских коммунистов, от рабочих Гранады – город такой есть в Испании. Слышал, может?

– Как же, – говорю, – слышал. На седьмое ноября вечер у нас в городском театре был торжественный, Вы тогда болели ещё. Так мы с женой с моей, с Марией, значит, Николавной, на том вечере приглашённые были. И там артист один – из самой Москвы между прочим – стихи говорил – ну чьи, не буду врать, не помню, а хорошие такие стихи, душевные. Так там и сказано было: Гранадская волость, значит, в Испании есть, и та Гранада – моя. Наша то есть.

Ну а Сергей Александрович на меня этак вот посмотрел и говорит: Ну, та эта Гранада или не та – это для нас с тобой сейчас без разницы. Тут о другом речь. Посылаем мы к испанским товарищам группу, и решили мы, что быть тебе в этой группе руководителем! Представлять нас там будешь.

Сказал он это, а я вот себе сижу, значит, и соображаю. Да-а-а, вот так-то оно так, дорогой товарищ Антонов, вот и выпало тебе поручение! Хорошее, вроде, дело в Испанию съездить, кто ж говорит. Ан неровен час, чего выйдет, тогда как? Ведь отвечать-то ТЕБЕ придётся.

Да, думаю я себе так и сижу, а Сергей Александрович и говорит: Ну, какое же твоё мнение будет, товарищ Антонов? – Да какое моё мнение: ясное дело. Только вот... – Ну, ну – говорит, а



сам опять улыбается.

– Да чего там, – говорю, – мне от Вас таить нечего. В Испанию, конечно, съездить бы хорошо, да где ж у меня деньги-то на это, Сергей Александрович? Сами знаете: сын мой женился, детей уж завел двоих, а заработок у него – смех один! Вот и приходится мне, значит, заботиться. А то бы – слова бы не сказал, поехал бы.

А он – улыбается, молчит. А потом и говорит: Ну, о деньгах тебе беспокоиться не придётся. Партия своих не покидает. Дадим тебе премию в пять окладов, чего не хватит, добавим. В общем, собирайся, Иван Никанорович, в дорогу. В конце сентября. Времени у тебя достаточно: три месяца. Собирай документы, в первом отделе тебе скажут, какие. Своей Марии Николавне рассказать можешь. А другим пока никому ни слова.

Ну, вышел я от него и думаю: это вот, да! Расскажи кому – не поверят. И тут меня как по лбу хлопнуло: Ты што, это, – думаю, – товарищ Антонов? Совсем ума, решился. Это ж сказали тебе: ни – ко – му!!

Вот в таком вот разе.

Ну, первым делом пошёл я в первый отдел, узнал, чего для Испании для этой надо, какие документы. А потом – домой. Рассказал я своей Марии Николавне, а она вдруг заплакала – бабы они все такие, слабые они на глаза, бабы-то – и говорит: Вот всю жизнь как живу, так за тебя мечтала, что поедешь ты за границу, и вот сбылась, значит, моя мечта.

– Да ты чего, говорю, што за мечта за такая – за граница! Стыдно тебе такое говорить, небось двадцать пять лет вместе прожили.

И вдруг она мне и говорит: Э-э-х, Иван ты мой Антонович, и умён ты, и хорош, а не знаешь ты ещё жизни-то настоящей, это вот как пить дать – не знаешь. Это мы живём, как в ж... гниём, а они-то живут-у-т, ох живут же они и живут, и горя не знают!

Тут мне обидно так стало, и я ей и говорю – но этак спокойно: А ты-то, ты-то, Марья Николавна, ты-то откуда знаешь? Радио, может, ихнее слушала или...

А она вот тоже так спокойно и отвечает: Э-э-х, Ваня, слепой ты у меня, слепой, вот те крест, слепой... А может, это и хорошо, слепым-то быть в жизни в нашей... Поезжай, Ваня, поезжай. Счастье тебе привалило, не пропусти его, – и сама опять плачет.

Ну, ладно. Оформили мне документы, группе моей тоже – всё честь по чести. Инструктаж в райкоме партии провели, ситуацию объяснили, как на вопросы отвечать, если чево спросят, и как на провокации не поддаваться. Ну, и в таком, значит, роде. Оно,

конешно, к своим же, вроде, едем, но – ухо остро держать надо и в оба глядеть. Коммунист коммунисту розь – это все знают.

Ну, долго ли, коротко ли – приехали мы в эту самую Испанию. До Мадрида – это столица ихняя – самолётом летели, а оттуда прямо поездом до Гранады. Быстро! И поезда получше наших будут. Не едут – летят!

А с другой стороны, как посмотреть: быстро-то быстро, а чего там ехать-то – не Россия небось! Земли-то там в этой самой Испании – смех один: в один день всё и объездишь.

Ну, встретили нас в этой самой Гранаде честь по чести, хорошо встретили товарищи испанские. И меня, значит, всё с почётом, как положено – как-никак, руководитель всё ж. Да...

Все одеты культурно, в галстуках, а которые и с женой пришли. И переводчик с ними. По-русски говорит – залюбуешься. Чешет без запинки, ну как из России бы был. Ну, и, само собой, по ихнему, значит, по-испански. Я уж думал – из этих он, из... ну, сами знаете, которые заместо того, шток в Израиль в ихний ехать, куда в другое место отправляются. Ан нет, испанец оказался. Жил в Москве долго и учился там в институте. Да... Ну, отлегло у меня – а то влипли бы в историю, как пить дать бы влипли.

...Ну, вот, встретили, значит, нас, с программой ознакомили. Встречи там разные, музеи, и даже в собор в ихний по программе полагается. Ну, по собору нам специально инструктаж давали – самим не ходить, а будет по программе – ну, будет так и будет, противиться не надо. Пойти посмотреть, чево покажут, похвалить из вежливости – это можно. Но шток, значит, свечку поставить или креститься – ни-ни! Тут – политика! Креститься тебе захотелось – так дома и крестись! И то правильно.

Ну, про то, как нас там принимали, про то рассказывать не буду – это к делу не особо относится. Были мы, конешно, на заводе ихнем и на фабрике, да и в других городах в соседних с этой Гранадой побывали.

Чего долго говорить – везде порядок. И вкальвает там наш брат – ну, вкальвает! От смены до смены! А перекуры там всякие или шток козла забивать в рабочее время – мол, это не подвезли или деталей каких нету, или машина сломалась, а когда починят, то неизвестно – нет, тут врать не буду, этого не видел. Или шток на работе бутылку раздавить или на троих сообразить – и думать не моги! Враз по начальству доложат – и коленом тебе под зад, на улицу. Так-то вот! Ну, оно, конешно, и оплата у них другая, а шток зарплату задержали – нет, тоже не делают.

А с другой-то стороны, как посмотреть – в страхе живут, и работают в страхе. Чуть чего – вон! Там на улице эвон сколько стоят, просятя. Да-а-а. Но специалистов – кадровых, значит,

рабочих – тех уважают. И они себя держат – ого! – уважительно держат, так што к иному и на стриженной козе не подъедешь, петухом гордым ходит.

Ну, меня это не касается было. Мне везде, куда ни придём: „Камерад Антонов“ да „Камерад Антонов“ – камерад это по ихнему товарищ – „а может, Вы, дорогой товарищ Антонов, того желаете или этого?“ Другого обращения и не слышал. И то правильно. Я ведь чего? Я страну нашу представляю – наш, значит, Советский Союз. Не то, что Испания ихняя – вся, небось, с наш Краснодарский край, а то и того меньше!

Ну, повозили нас, попринимали, а в конце – за два дня до отъезда нашего – встречу нам с журналистами устроили, на вопросы на ихние отвечать. А встреча – на заводе. Рабочие, значит, сидят, ну, и из начальства кто, а я на сцене за столом, скатертью красной покрытым, сижу. А журналисты эти – внизу, среди рабочих...

– Чего, Серёгин? Чего это я один на сцене сижу? А того, Серёгин, что – руководитель я. Полагается. Завидно тебе? – Нет? Ну, и сиди себе там, где сидишь. – Не пустили тебя в Испанию? Так правильно и сделали.

Ну, вот, значит, встреча эта. Я чего – инструктаж, што нам на этот счёт в райкоме давали, помню: как, мол, вести себя и штоб на провокации не поддаваться, и спокойствие как сохранять, а кулаком штоб по столу или матом крыть – ни-ни! Оно и понятно: тут политика, дело тонкое. Да... Ну, и товарищ от органов к нашей делегации приставленный – Скворцов Евгений Павлович – не дурак был: побеседовали с ним накануне, провёл он инструктаж и сказал напоследок: Не бойтесь, мол, Иван Никанорович, если чего – поддержку. Да чево мне бояться? А всё ж беспокойно было – а ну как случится што? Отвечать-то – мне! В таком вот разе.

Ну, чего там долго говорить – хорошо прошла встреча. И вопросы товарищи ставили дельные, и отвечать мне легко было, а когда про жизнь про нашу рассказывал – тихо сидели, слушали.

Но – в семье не без уroda. Под самый што ни на есть конец поднимается один – худющий такой, лицо злобное – аж зелёный весь от злобы, а сам в очках и при галстукe. Я как глянул на него – сразу понял: Вот она, провокация, тут она как тут! Всё как в райкоме говорили! Ну, я себе и говорю: „Спокойно, Иван Никанорович, держись!“ А Евгений Павлович, значит, вроде как на меня и не смотрит, а чувствую – тоже напрягся весь.

А очкастый этот встал, гад, и, значит, спокойненько так говорит, сладким голосом, но с подковырочкой – по-русски, гад, говорит: „А вот, дорогой товарищ Антонов, у меня к Вам вопрос такой небольшой, значит, будет. Вот Вы рассказали, как у Вас там

жизнь устроена – и про сады про детские, и про лечение бесплатное, и про всё такое прочее – очень даже хорошо рассказали. А вот как у вас, значит, с правами человека? Вроде, говорят, сидят у вас люди за политику – по тюрьмам сидят, по лагерям. Так может, Вы и про то нам расскажете, товарищ Антонов?“ И сладко так говорит, спокойненько.

Ну, я тоже не промах – так же ему спокойненько отвечаю: Это какого же человека какие права? Ежели работающего человека – так ему все права у нас дадены, и дорога ему, и почёт. А захребетнику, кто, значит, работать не хочет, а на чужой каравай рот разевает – так тому на этот рот укорот находят, воспитывают. А которая птица в гнездо своё гадит – дак ту птицу и задавить не грех. Так-то вот, дорогой товарищ.

А переводчик и переводит. Ну, кончил он переводить, тут все в ладоши и захопало – правильно, значит, момент поняли. Срезал я очкастого этого под самый под корень! Сел он, злобой весь пышет, аж задыхается, а ответить нечем – слабо! Так-то вот.

А кончилась встреча – руку мне все пожимают.

А товарищ к нам от органов приставленный меня в сторону отозвал и говорит: „Молодец, товарищ Антонов, не подвёл, оправдал доверие“. Ну, а я што? Рад, говорю, был оправдать. А сам думаю: Ну всё, кончилось, значит, испытание моё, послезавтра уж домой. Чево теперь приключиться может?

Ан нет. Не кончилось!

Наутро – и проснуться не успел: телефон звонит.

...– Где звонит-то? Как это где? – В номере в моём, Серёгин, звонит. ...Чево? Опять ты, Серёгин, с вопросами со своими лезешь! Говорил я ж вначале: Не перебивать! Так нет! Мало тебе, видать, тогда по шапке дали – гнать тебя надо было из партии железной метлой! ...Ну, да ладно, о чем бишь я?

Да-а – значит вот просыпаюсь я утром – звонок. Я и глаза продрать не успел! Ну, думаю, если кто из нашей делегации, из заводских то есть – ну, устрою я вам баню! Это што ж такое – и поспать человеку не дают! Ну, ладно. Беру трубку.

– Алё, – говорю, – это кто ж будет?

А он и говорит: „Это, Иван Никанорович, Скворцов вас беспокоит. Хорошо бы нам до завтрака встретиться, кой-што обсудить. Сможете?“ Ну а я што – „Отчего не смочь? – смогу“, говорю. – „Через десять минут у Вас и буду“. А сам думаю – с чего бы это? Но – виду не подаю.

Постучался я к нему, открывает он, а сам улыбается. А у меня от сердца и отлегло.

– А я ведь, Иван Никанорович, – это он, значит, говорит –

про Вас сегодня с посольством с нашим говорил, с консулом с нашим.

А я его и спрашиваю: А это с чего это мне честь такая выпала, вроде не сделал я ничего такого и на провокацию какую не поддался. А он опять улыбается и говорит: „И решили мы Вас, товарищ Антонов, за то, что не уронили вчера чести и доверие оправдали, денежным подарком наградить“. Ну, и конверт мне даёт. „Это“, говорит, „товарищ Антонов, Вам от нас подарок денежный – ну, как премия за работу за хорошую, чтобы купили Вы себе чего надо, и на деньги бы не скупились“.

Ну я ему и говорю, спасибо, мол, Вам от меня и благодарность, значит. А он мне: „Это Вам спасибо, Иван Никанорович, как Вы есть поддержка и опора. И если б все такие были, так была бы у нас не жизнь, а малина, и никто б не вякал, а работали б не за страх а за совесть“. Ну мне, понятное дело, такое слышать приятно.

А Евгений Павлович и говорит: И вот подумали мы и решили: Чтобы Вы товарищей Ваших не стеснялись, с покупками так сделаем. Завтра у нас по программе с утра до двух свободное время – чтоб, значит, кто хочет, подарков домой купил. А потом повезут нас в Альхамбру – это крепость такая старинная: и сады там, и пруды, и виды разные, и всё такое прочее. Да... Вам, Иван Никанорович, переводчика дадим, и Вы с ним отдельно по магазинам пойдёте, он знает куда, опытный уже. А с товарищами Вашими по делегации я пойду.

Ну, я ему и говорю: „Уж и не знаю, как Вас и благодарить. И то правда: и жене нужно чего привести, и сыну, да и внучкам моим, значит, тоже. А как же – эти ж первые и спросят: „Ну как, дедуля, чего ты нам из этой самой Испании твоей привёз?“. А когда все глазают, мне тогда в барахле несподручно рыться, честь свою ронять. Я ж не сам по себе, я страну нашу представляю“.

Ну, на том и порешили.

Вышел я от него, конверт в руках, не шёл – летел к себе в номер. Хорошо – не видел никто из наших из заводских, а то б непременно спросили бы, што это за конверт за такой и откуда. Да-а, зависть людская – она, сколько ты ни крути, а есть она, куда ж денешься? Она, зависть-то, и до коммунизма, видать, дотянет! А ты не завидууй, ты заработай сперва, оправдай доверие.

Ну, в номере у себя достал я из конверта, што там было, пересчитал – да-а! Это ж на всё хватит, да ещё и с гаком!

...– А ты, Серёгин, опять, значит, лыбишься! Чево лыбишься? Што пересчитал я? А то как же? Деньги только у дурака счёт не любят. ...Чево? Ты б не считал? Ну, тебе-то и считать нечего. Всё, Серёгин, в жизни по справедливости – так вот. А што

зависть тебя гложет – дак я для зависти для твоей не врач. Ладно, шут с тобой!

Ну, за завтраком, когда все собрались, Евгений Павлович и объявил: так мол и так, после завтрака время у всех будет свободное, штоб, значит, купили чево – сувениров каких или там чево ещё, а то, мол, завтра уже в обратный путь. А в два, мол, сбор, и в Альхамбру в эту поедем. А как мы одна, значит, делегация, то и предложение такое, мол, будет, группой покупать идти – так и не пропадёт никто, да и, может, из цены чего скинут. А, мол, пойду с вами я – он то есть, Евгений, значит, Павлович – как у Ивана Никаноровича особое поручение будет.

А я сижу, слушаю. Чево там врать: приятно. Уважение делают! Но – виду не подаю, как бы не про меня речь.

Ну, отзавтракались мы, подходит ко мне этот, которого ко мне переводить назначили – и говорит: „Так, мол, и так, Иван Никанорович, поступаю в полное Ваше распоряжение. Поедем с Вами в торговый центр. Сбор-то в Альхамбру всё равно оттуда. Там со всеми в два часа и встретимся. А штобы по-быстрому было, на машине поедем“.

Ну я чево – я человек не гордый, могу и пешком. Но как на машине сподручнее – можно и на машине. В таком, значит, разе.

Ну, чего там долго тянуть – приехали мы с ним в центр этот торговый. А там – мать честная! – магазин на магазине стоит! А народу, народу-то! – тьма тьмушая, не протолкнёшься. Ну он, попутчик мой, дело своё знает, повёл меня к главному магазину – ну, как универмаг наш, только в шесть этажей. Это ж надо, думаю: шесть этажей, и всё товаром занято. Ну, снаружи не очень-то и красиво, а внутри как вошли – да-а, обставлено будь здоров! А с этажа на этаж штоб пешком топать – нет, не делают. Эскалаторы везде, лестницы движущие. Станешь на лестницу на эту и едешь себе – хоть вверх едешь, хоть вниз. Культурно! А товару-то – ах ты, господи! И люди, испанцы эти, степенно так ходят, прицениваются, а кто просто так смотрит, гуляет.

Ну, мы так с моим попутчиком с моим потолкались немного, а потом я ему и говорю: „А Вы меня извините, не знаю, как Вас по имени по отчеству зовут“. А он и говорит: „Сергей Владимирович. Но можете меня просто по имени называть“. Ну, ладно, по имени так по имени. И говорю ему: А видишь, Сергей Владимирович, тебя ко мне для перевода определили, и я, конечно, за то благодарный. А всё же не обидься ты на меня, мил человек – мне при тебе для моих домашних чево выбирать, в барахлишке при тебе копать – это мне несподручно. Потому будь другом, ты меня у выхода подожди, а как я управлюсь, так к тебе и приду. Не бойсь – не пропаду. Што выберу – то и выберу. А заплатить... –

заплатить, оно, сам понимаешь, нетрудно. Деньги – они, брат, языка не знают и перевода не требуют!

Ну, он было заупрямился, мол, как это да почему, да поручили ж ему мне в помощь быть, и всё такое. Ну, да я ему тут так сказал: мол, я оно, конечно, всё понимаю, но как я делегации руководитель, то и волю мою, значит, уважить надо. Он и подчинился – куда ж денешься? Ладно, говорит, буду Вас у входа дожидаться. Договорились, што через час встретимся, и ушёл он, остался я один.

Ну, походил, я, побродил по магазину этому, с этажа на этаж по лестнице по движущей проехался. Товара там всякого, особо из одёжи – ну, завались, пальцем ткнуть некуда! И которые вещи чинно развешаны – к тем, вроде, мало подходят. Дорого, видать, не подберёшься. А есть и которые в куче лежат. И кому ни лень, подходит, смотрит. Посмотрел – и обратно кладёт: не нравится, мол. А товар хороший. Зажрались, видно.

Ну, да ладно. Выбрал я барахлишко какое – и для жены, и для сына с невесткой, и для внучонков моих. А чево – и они пусть радуются. Дед, мол, их и в Испании не забыл, вспомнил, мол.

Заплатил я, значит, чин по чину и думаю уже к выходу идти, а то напарник мой ждёт уж, небось, беспокоится, как бы не случилось чего со мной. А чево, думаю, мил человек, со мной случиться-то может? Всё уж – завтра домой.

И думаю так я себе, а сам к лестнице этой движущей иду, штоб уж к выходу добраться. И вдруг вижу – женщина стоит, а около неё столик такой высокий, а на столике на этом бутылка и стаканчики махонькие – ну, с напёрсток будут. И который народ мимо проходит, тому эта, значит, тётя и попробовать предлагает – ну, мол, чего там, может, понравится и купят. А рядом такая ж бутылка висит и стакан большой к ней привороченный, всё аккуратно в целлофан завернуто. И цена.

Ну, мне-то оно ни к чему, да и денег не густо осталось. А на столике, кроме бутылки, ещё хлеб на кусочки нарезанный лежит, а кусочки тоже крохотные и сверху вроде маслом намазаны. Штоб, значит, выпил человек, а потом закусил, хлебчиком-то этим. Смехота!

Я уж мимо пройти хотел – мол, такое для нас без интересу – ан нет: тётка эта говорит мне чево-то и почитай за рукав тянет: подойдите, мол, уважаемый товарищ, поближе. Ну, подошёл я, а она мне и наливает – да не в стаканчишко это крохотный, а в настоящий стакан, как вот у бутылки той висящей, да, и полный налила. Чево там такое – не разобрал, а по запаху вроде водка. И подаёт мне. „Русо“, говорит, „Русо карашо“. Узнала, значит, брата нашево!

Ну я и думаю: чево делать-то? Оно, конечно, отказаться можно – мол, не надо нам водки твоей бесплатной, обойдёмся. Но тётка эта – молодая на вид, из себя ладная – ну, в глаза прямо смотрит, мол, как же это так, дорогой товарищ, неужто ж от моего угощения откажетесь? Ну, ладно, думаю, шут с тобой. Выпил я, значит – и взаправду водка была, и крепкая, чёрт, все сорок градусов, а всё ж не то, што наша. А она, тётка-то, мне хлебчик этот крохотный подаёт: Закусите, мол. Ну, я хлебчик из вежливости тоже съел и говорю: Благодарствую, мол, гражданочка, а мне домой пора. До свиданьица, мол. Ну, а она тоже говорит чево-то, ну и опять „Русо карашо“. Ну хорошо, так хорошо. И пошёл я к выходу.

Да-а, к выходу... Пошёл-то я пошёл, а куда идти – не знаю. То ли с устатку, то ли от тепла – а развезло меня, ох развезло! А может, водка та с примесью какой была – чёрт их там разберёт... К выходу-то хорошо, а к какому только? Там этих выходов – видимо-невидимо, почитай штук двадцать будет.

Спустился вниз на этаж на первый – ничего не узнаю. Вроде здесь был, а вроде и не был. Вроде и мужик здесь который был, пальтишко ещё примерял – тот же самый, а вроде и другой. Мать честная – ну хоть завой! А ни у кого не спросишь – без языка я. И чёрт меня дёрнул толмача моего отпустить – уж с ним-то не пропал бы. Но – делать нечего, выбираться-то как-то надо.

Ну, наконец, нашёл я всё ж тот выход, с которого мы с напарником моим, с толмачом, значит, входили – и на улицу!

Да-а-а... На улицу – да не на ту, видать! И улица вроде не та, и напарника моего нет. „Всё“, думаю „влип ты, Иван Никанорович, как пить дать влип“. А на улице вроде – ну, ни души.

Вдруг вижу – стоят вдалеке двое и балакают. Один вроде чево-то другому рассказывает, а другой слушает и руками разводит. Ну, я к ним.

Подхожу – а они стоят, беседуют, меня как и не замечают. Один толстый – ну, чистый боров, брюхо толстое, аж штаны на нём лопаются, а другой – как жердь тощий – пожрать, что ли, толком не дают? Ну, да мне без разницы. Я вот к тому толстому и обращаюсь культурно: „А не подскажите ли, уважаемый товарищ, где мол эта Альхамбра ваша находится? Моя делегация, вишь, уехала вроде, так я и не знаю куда идти-ехать, в каком таком направлении. Ежели недалеко, то я, может, и пешком дойду“.

А боров этот поглядел на меня, как вот на муху глядят, которая мешает, и говорит „Альхамбра?“ и рукой в сторону показывает – там, мол, Альхамбра твоя находится. И – снова тощему рассказывать продолжает.

Поглядел я туда, куда он показал – да там и дороги никакой нет, одни дома сплошной стеной стоят. Ну, стало мне тут обидно. Я



тут приглашённый от испанских товарищей, я страну свою тут представляю, Союз наш Советский – не то што твоя Испания сраная, с наш Краснодарский край – а ты мне вон как, значит. Но говорю себе: „Не горячись, Иван Никанорович. Как вот в райкоме тебе говорили: Если провокация или нервишки сдадут – до десяти посчитай, а там, глядишь, и успокоился“.

Ну, я борову этому, значит, опять этак вежливо говорю: „А как ты мне туда показал, мил человек, дак ведь там и дороги-то нету. Ты надо мной не насмехайся – небось, когда ты к нам приедешь, так тебе полное уважение сделают. А скажи толком, где же она есть, Альхамбра-то твоя“.

Ну, тут этот боров от своего рассказа оторвался, посмотрел на меня искоса и говорит: „А, Русо! Альхамбра“ – и опять рукой туда же кажет и говорит чево-то.

А я ему тут: Ну, товарищ, это как тебя звать-то, не ведаю, ну пойми ж ты: не знаю я языка вашего, некогда мне было учить его, вкалывал я в то самое время, когда вы тут как сыр в масле катались. Чево ж ты так-то со мной, а?

А знаешь ли, друг дорогой, што твоя Гранада-то: моя! И стихи, значит, такие есть про гранадскую волость в Испании вашей – гранадская, мол, волость в Испании есть. Так-то вот! И ещё посмотрим, чья будет Гранада твоя с Альхамброй этой! Перепашем вас всех к чёртовой матери, а то на Колыму пошлём уголёк рубать. Там уж съесты вашей вам не будет, штоб полдня дрыхать. Узнаете, почём фунт изюму, так што и небо вам с гулькин нос покажется!

Ничего мой испанец не отвечает. Смеётся. А вокруг уж толпа собирается. Известное дело – поглазеть-то хочется. Тут тебе и в театр ходить не надо. И которые его, борова этого то-есть, подзуживают, а которые и меня. „Русо, Русо!“, орут, „Атака-а-ар!“ – в атаку, мол, иди, Иван Никанорович. Да-а.

Чувствую: закипает во мне, так что уж еле держусь, а всё ж говорю ему спокойно: „Эх“, говорю, „камерад“ – это, значит, товарищ по ихнему – „и чево же ты как сволочь последняя надо мной изгаляешься? Мы ж детей твоих сопливых в тридцать седьмом у нас приютили, в нашей, значит, стране в советской. Жизнь им, можно сказать, дали, последним поделились. А хто Гитлера для вас разбил, а хто с Франкой с вашим боролся и того Франку победил. Мы! А ты вот значит заместо благодарности...“

Ну, как я про Франку сказал, так мой испанец и встрепенулся. „Франко“, говорит, „О, Франко карашо! Гут!“

И тут уж не выдержал я, прорвало меня как плотину. „Ах“, говорю, „вот ты как, значит. Не товарищ ты, не камерад нам, а сука ты фашистская, Франка, значит, тебе ‚гут‘. Ах ты, так твою, мол, и разтак...“ И пустил его по Волге-матушке на лёгком катере, всех

его родственников помянул.

Нда-а. Сказать-то я, конечно, сказал, а чувствую – не то сказал.

Побагровел испанец мой, весь кровью налился – и прёт на меня, за грудки меня, значит, братъ собирается. Ну я ему и говорю: „Ты гляди, браток, на кого идёшь, на кого руку свою подымаешь. Я ж ведь не то што инженеришка сраный, у меня, брат, молотобойца удар, так што кому и с первого разу башку проломить могу“. А он прёт – не понял, видно.

Ну я уж его собрался по-нашему, по-рабочему, уму-разуму поучить в зубы, как в это время кто-то из толпы орёт: „Полисия! Полисия“ – это, значит, полицию зовёт, штоб приехали.

„Ну“, думаю, „всё. Пропал ты, Иван Никанорович, дурья твоя башка. Говорили ж тебе – в провокации не ввязываться. А штоб до мордобоя дело доводить – боже упаси! Скандал! Государственное дело! Да-а... А боле всего обидно мне, што жена моя Мария Николавна скажет: „Эх“, мол, „дуболом ты, Ваня! Молотом махать – это ты можешь. И што на доске почёта висишь – это кто ж тут чего скажет. А вот до политики – нет, до политики расти тебе ещё и расти“.

Ну, там видно будет, а пока чево делать-то – не пойму, хоть плачь. И вдруг чувствую: кто-то за рукав меня берёт и говорит – да не на ихнем, на испанском языке, а на нашем, на русском: Иван, мол, Никанорович, успокойтесь сей же час, а то как пить дать в историю влипнете, и тогда уж Вам, мол, сам чёрт не поможет. А сам – мозгляк, с полменя ростом.

Я уж было собрался его проучить – мол, молод ты ещё, нос не дорос советы мне давать да приказывать, откуда ты такой взялся, из молодых да ранний. Да чувствую: прав мой советчик.

А он тем временем к борову тому толстому подошёл – и ну по-испански чесать! Как из пулемёта – чешет себе и чешет, и сплюнуть не даст. Ну, боров тот сперва и слушать не хотел, а потом махнул рукой и отошёл – проваливай, мол, с товарищем со своим.

А этот-то, значит, спаситель мой, меня за рукав тянет и говорит: „Тут, Иван Никанорович, у меня невдалеке машина, пойдёмте побыстрее, а то ведь, неровен час, и полиция приехать может. Здесь это быстро делается“. Ну, я за ним и пошёл.

Сели мы в машину его, и он уж заводит, штоб, значит, ехать. И тут меня как по лбу хлопнуло: А откуда ж он имя моё знает и отчество? Мать честная – а ну как и это провокация? И повезёт он меня сейчас в ихнюю полицию, а то и в госпезопасность.

А он как будто мысли мои угадал, и говорит так спокойно, а сам улыбается: „Да не волнуйтесь Вы, Иван Никанорович, я ведь

на том заводе, на котором Вы вчера выступали, инженером работаю. И поедем мы с Вами сперва ко мне домой, пообедаем, чем бог послал, а я тем временем позвоню в Альхамбру, и мы всё уладим. А понадобится – и отвезти Вас туда отвезу“. В таком вот разе.

Ну, отлегло у меня от сердца, и поехали мы. Отлегло-то отлегло, а всё ж мыслишка одна осталась, и спросить его хочу: „А кто ж ты такой, мил человек, и чево в этой самой Гранаде делаешь?“. Да спросить-то оно, конечно, можно, а совестно сразу допрос ему устроить: как-никак вызволил меня человек, да и сейчас старается.

Подъехали мы к дому его, заходим в подъезд, и тут уж я не выдержал, и его так вот спрашиваю, но без подковырочки: „А Вы извините, и не спросил, как зовут Вас и какая будет Ваша фамилия“. А он и говорит: „А зовут меня Марк Александрович, и фамилия моя будет Коган“.

Да, сказал он так, а меня как кипятком ошпарило. Это, значит, из тех, которые в их Израиль собирались и куда в другое место поехали, где потеплей, значит!

Да-а-а, Иван Никанорович, вот и добрался ты до точки: врагу доверился, в машину с ним сел и домой к нему поехал. Во, значит, какие дела. Но – виду не подаю.

Поднялись мы с ним чин чинарём к этой квартире его, и тут я, вроде, замешкался. Неудобно, говорю, я ж Вас, товарищ, не знаю и в первый раз, значит, вижу. А он опять улыбается и говорит: Да не волнуйтесь Вы, Иван Никанорович, здесь Вас никто не съест. Всё будет как я сказал, так что и довольны останетесь.

Ну, чего там долго рассказывать: зашли мы. А жена у него – испанка. Ничего, приветливая. И дети двое малые – одному, видать, шесть, а другой постарше будет.

А хозяин, Марк Александрович, значит, шкапчик открывает и оттуда два бокала и бутылку достаёт. А в бутылке вино. Наливает он, значит, мне и себе по полбокала и говорит: „Ну, Иван Никанорович, за наше знакомство. Мне“, говорит, „Ваше выступление понравилось“.

Вот оно как – помнит, значит!

А он и продолжает: А как Вы про птицу сказали, которая в гнездо в своё гадит, и что её, мол, и задавить не грех... – а только не жалко ли ту птицу: может она правду говорит?

– Нет, говорю, – чего её жалеть? Оно конечно: мы нашу жисть не устроили ещё, как хотим. А – устроим, как пить дать устроим! Ещё и ездить к нам будут, в ножки кланяться. Как вот Ёсь Сарioniчу полмира кланялись, так и нам будут. Ещё посмотрим, кто кого осилит, увидим ещё, чья возьмёт. Кто нас без хрена жрать

собирается, тот, неровен час, и подавиться может.

Ну сидим мы в таком вот роде, беседуем, а в это время жена его заходит и говорит ему чего-то, а чего – то я, конечно, не разобрал. Сказала – и вышла. А он, Марк то есть Александрович, мне и переводит, што ж, мол, пообедаем, а потом я, мол, Вас в Альхамбру в эту отъезду, там Ваши товарищи дожидаются. Моя супруга, говорит, как раз туда и звонила.

Вот оно што, – думаю, – и позвонить уже успели. Шустрые! А чего им там сказали – про то не спрашиваю.

Ну, посидели мы пообедали, поговорили. А за обедом я его и спрашиваю: „Вы, извините, в каком городе раньше жили?“ А он и говорит: „В Ленинграде“. А я ему: „И здесь как оказались?“ А он на меня так спокойно посмотрел и говорит: „Да Вы не волнуйтесь, Иван Никанорович, Вас за то, что у меня были – Вас за это не накажут. А оказался я здесь просто – женился в Ленинграде на испанке и сюда переехал“.

Да, – думаю, – сколько волка ни корми, а он всё в лес смотрит. И так меня и тянет у него спросить, а чего он в Израиль свой не подался. Да неловко как-то: всё ж спас он меня, как там ни крути.

А всё ж спросил я его – это когда мороженое ели: А по Родине не скучаете? Всё ж много лет там прожили. А он мне и говорит, конечно, мол, скучаю и уж раз в год туда езжу. В таком вот роде.

Ну, отобедались мы, я и говорю хозяйке: Благодарствую, мол, за приём, за ласку, за угощение Ваше. А будете у нас – милости просим в гости. На том и распрощались.

Как мы в Альхамбру в эту добрались, чево я там видел – про то не буду. Да и смотреть-то там не особо чево было – сады да пруды. Знал бы, так, может, и вовсе бы туда не поехал.

А от Евгения Павловича, который от органов к нам, значит, приставленный был, мне выговор был за самовольство – это когда я толмача моего отослал. Ну, это так. А вот толмачу тому по шапке как следует дали, как он меня, значит, в беде покинул и не искал, как должно.

А как приехали мы, отчитался я на партбюро на нашем как полагается: всё рассказал по совести. Ну, Сергей Александрович покойный так сказал, что, мол, как я в целом доверие оправдал, то и выговора мне не будет, а за то, как я гада того журналиста срезал – за то даже поощрение.

Так вот я в Испанию эту, в Гранаду то есть, и съездил. И людей повидал, и себя показал, и даже в историю чуть не попал, в провокацию то есть. Чево вам напоследок скажу? А што тут

сказать: Может, была когда эта Гранада наша, может не была – кто его там знает? Да только это без разницы: была или не была, а всё равно нашей будет! Нашей!



**Елена Минкина**

## **«Эффект Ребиндера»**

**Главы из нового романа**

**Не всякого полюбит счастье**



ет, сама Дуся Булыгина никогда и не мечтала на учительницу выучиться, она семилетку-то с трудом дотянула, Варвара Васильевна из жалости по математике тройку поставила. Ничего Дусе не давалось – ни дроби, ни прочие формулы, даже таблицы умножения только на пять хорошо помнила – пять на пять – двадцать пять, а на семь и на восемь – ни в какую!

– Нарожают детей от алкоголиков, а ты потом мучайся, долби им теоремы – это Варвара Васильевна учительнице русского языка жаловалась, она не думала, конечно, что Дуся слышит.

Права она была, Варвара Васильевна, что тут говорить! Хотя все мужики в деревне пили, но все-таки не до угару и смертного бою, как ее родитель, все-таки дверей в хате не ломали и по морозу жену да детей не гоняли. Сестренка младшая, та еще хуже училась, она и читать не могла, буквы у нее в глазах путались. А может, подросла бы и поумнела, кто знает, не пришлось ей подрасти. Главное, не понять, что его так злило – хоть трезвого, хоть пьяного, все на маму орал – то щи пустые сварила, а где ж ей мясо было взять, то на рыбалку не собрала. А какая у них в Кылтово рыбалка! Бедность одна, даль несусветная. До Княжпогоста, ближайшей станции, шестьдесят километров ходу. Правда, места их были знамениты когда-то монастырем, говорят, чудесный крест там хранился и людей исцелял, да монастырь закрыли еще до Дусинога рождения, сразу после революции. Монахинь разослали по тюрьмам, в домах и церквях детская колония стала жить, назвали детским городком, это Дуся уже сама помнила, но в тридцатом году и городок закрыли, переделали в лагерную зону, Севжеллаг. Ходили слухи, что свезли туда много заключенных, что есть среди них люди безвинные и образованные, никто этого понять не мог и не пытался даже. Одно ясно, не будь

этого лагеря и лазарета при нем, не жить Дусе на белом свете.

Самого пожару Дуся не помнила, родитель в тот свой последний раз так напился, что до дому не дошел, чуть у крыльца не замерз, да мама подобрала на свою беду и в хату затащила. Они с сестренкой сразу спать легли, подальше от греха, а отец видно согреться никак не мог вот и стал среди ночи угли разгребать. Дуся проснулась от страшного жару и боли в голове, огонь по волосам полыхнул. Как была, вылетела на мороз, лицом в снег, и вдруг поняла, что сестренка в доме осталась. Вроде, назад побежала, или только хотела побежать? Крыша уже провалилась, огонь всюю полыхал, ни мамы, ни сестренки...

Добрые люди в лагерный лазарет ее отнесли, прямо в руки к Станиславу Гавриловичу. Он поляк был, сам из заключенных, но освободился и работал главврачом в лазарете. Хоть других врачей там и не было, только две сестры да аптекарша, но он во всех бумагах про себя писал – главврач Северного Железнодорожного Лагеря, может для солидности. Один бог знает, как он Дусю выхаживал, чем мазал сгоревшие руки и лицо, но выжила она. Только волосы совсем не росли, пучки какие-то на голове, и руки страшные, пальцы плохо распрямлялись, но все ж живая! Станислав Гаврилыч ее при лазарете и оставил, санитаркой. А звал он Дусю Погореловной, вроде для смеху, но получалось ласково. Что говорить, святой был человек, жалел как родную, полы мыть не велел вовсе, – не с твоими руками ведра таскать, – а нашел ей работу чистую и душевную, за малыши детками ходить, лучше не пожелаешь!

Дуся хорошо помнила, как Кира появилась, Станислав Гаврилович сам и привел ее прямо к Дусе в подсобку. Сразу было видно, что из образованных. И красавица, глаз не оторвать, хоть маленького росточку и стриженная, как все заключенные.

– Вот, – говорит, – Погореловна, принимай помощницу, это Кира Дмитриевна Катенина, дочь прекрасного врача и большого ученого. Случилось мне с ее отцом работать в Средней Азии, и погиб этот замечательный врач ради жизни других людей. А благодарные люди в ответ дочку его красавицу арестовали – да в тюрьму!

– Не нужно, дорогой, не говорите так. Папа работал для людей, это правда, а тут нелюди вмешались...

Удивительно, что она зла в душе не хранила! И другие такие же встречались, благородные. Но жизнь их все равно не щадила, уж Дуся насмотрелась.

Кира Дмитриевна была на сносях, сразу заметно, ничего удивительного, случилось и раньше, что в их лазарете женщины заключенные рожали. Станислав Гаврилович даже маленький

детдом организовал для таких младенцев, как раз Дуся там и смотрела за малышами, а матери к ним прибегали после работы.

Катерину Дмитриевну главврач определил Дусе в помощницы, выхлопотал ей до родов такое разрешение. Какое хорошее выпало время! На пару они быстро управлялись, укладывали деток, а потом сидели у огонька, пили кипяток, Кира Дмитриевна истории разные рассказывала, все больше из книжек. Но иногда вдруг принималась вспоминать про родителей и сестренку, про сказочный французский город Париж, где вместо домов – прекрасные дворцы, а на самой большой площади построена огромная башня из железа. Говорила она чудно, как будто не по-русски, слова переиначивала, сразу и не разберешь, но Дуся быстро привыкла. И песни пела непонятные, французские, даже пыталась Дусю учить, но куда Дусе слова эти иностранные запомнить! Сколько в школе учила иностранный язык, немецкий, ничего в голове не осталось. Да и не хотела она на фашистском языке разговаривать, еще чего! Да, война с немцами уже началась тогда, но в лагерной жизни мало что менялось, только все голоднее становилось.

Разрешилась Кира Дмитриевна в апреле, долго промучилась, но девочку родила хорошую, здоровенькую и спокойную. Только назвала странно – Валерия. Никак Дуся привыкнуть не могла, у них в поселке еще до войны механизатор был, из городских, Валерка Зотов. Разве можно девочку мужским именем называть? Но спросить постеснялась, конечно, а девочку про себя звала Вале́й – так красивее получалось и ласковее. Киру Дмитриевну вскоре после родов опять в зону отправили, на лесоповал, она только к ночи к девочке выбиралась, чуть живая, но даже Станислав Гаврилович ничем не мог помочь. А потом и вовсе беда случилась. Как-то вечером пришел Станислав Гаврилович весь белый, плотно закрыл дверь в детскую:

– Перемены у нас, Погореловна! Лазарет расширяют, а детский дом переводят. Решили объединенный детдом в другом лагере открыть, там народу больше. И наших младенцев к ним повезут.

У Дуси аж сердце зашло.

– А как же матери? Кто их пустит в другой лагерь? Они что, вовсе детей своих не увидят?

– Что ты мне душу рвешь?! – так страшно закричал, Дуся, было, окончательно сомлела, но Станислав Гаврилыч тут же обнял ее, как маленькую, к груди прижал.

– Ты, вот что, Погореловна, голубушка. Ты спокойно меня послушай. Давай сделаем доброе дело хотя бы для одной матери. Ты Киру девочку к себе забери. Вроде как твоя дочка, никто не



хватится! А сама в санитарках останешься, в лазарете работы много. И комната за тобой, никто не тронет! Прошу тебя...

Он ее просил! Да она только и мечтала хоть как-то Кире Дмитриевне помочь! Да разве ей трудно девочку взять, да еще ее любимую голубушку Валечку. В тот же день перетасили вещишки какие-никакие, кровать сложили из ящиков. Кира вся тряслась, но не плакала, только все Дусю обнимала да руки ей норовила целовать. Ее-то руки погорелые!

А детдом вскоре перевели. Все правдой оказалось. Но самое страшное, что и Станислава Гавриловича перевели. Куда, почему – так Дуся и не узнала. Приехал другой врач, грузин, Арсен Иванович. Может и неплохой человек, но для Дуси совсем чужой, ничего тут не поделаешь.

Девочка росла чудесная! Такая умница и болтушка, пером не описать! Главное, Кира Дмитриевна с ней на своем французском языке говорила. Непонятно, но так красиво, как птички чирикали вдвоем, Дуся слушала и любовалась. И как такая маленькая девочка все запоминала? А с Дусей девочка на нормальном русском языке разговаривала, никогда не путалась, вот что удивительно! И звала она их обеих мамами, вот смеху-то – мама Кира и мама Дуся!

К этому времени война закончилась, строгостей стало меньше, Кира Дмитриевна почти каждый вечер забегала – сидела в обнимку со своей доченькой, слова ей разные шептала, песенки свои французские пела. Для Дуси она сплела из ниток сказочной красоты скатерть, все норовила по хозяйству помогать, то Дусины рабочие халаты постирать, то картошку почистить. Только морока одна и неудобство получалось – Дуся давно научилась своими горелыми руками любую работу выполнять, хоть стирку, хоть шитье, это вам не математику учить! Кира Дмитриевна все мечтала, как освободится, и поедут они втроем к Кириной маме, станут жить в большом красивом доме. Может, и сестренка уцелела, вот обрадуется! Была у нее фотография – две похожие девочки сидят в обнимку, на них чудные платья, шляпки, светлые длинные шарфы. Дуся таких нарядов и не видала никогда. На обратной стороне было что-то написано по-иностранному и стояли цифры – 1932. Кира Дмитриевна эту карточку просила хранить среди самых важных документов. Да Дуся и сама понимала, что это ей единственная память из прошлой жизни.

Нет, не мучилась она, даже не успела понять. Так люди рассказывали. Все бревна сразу рухнули, вроде, крепление оказалось слабое. Дуся смотреть не пошла, не от страха, покойников она навидалась. Но такая тоска напала – ни закричать, ни дыхнуть. Не хотела она Киру Дмитриевну изуродованную и раздавленную в памяти хранить.

Валечка ничего, конечно, не понимала, ей пятый годок шел. Играла в свои камушки. И вдруг напал на Дусю ужасный ужас – вдруг хватятся, вдруг узнают да заберут девочку!! Сама не помнила, как собрала вещи самые главные, карточку Кирину, книжки, что от Станислава Гавриловича остались, одежонку. Девочку закутала в Кирину скатерть. Господь пожалел, к ночи уже добрались до станции, мужик один подвез с полдороги. В Княжпогосте и осели.

От греха Дуся решила никому не открываться. Одна старуха им угол сдала, почти без денег, хорошая попалась старуха. Дуся устроилась убирать в местную школу, документы новые оформила, вроде как погорельцы они с дочкой. И притворяться особенно не пришлось, только глянули в сельсовете на руки ее да голову облезлую, ничего больше не спросили. Девочку Дуся записала Валентиной Петровной Булыгиной, чтобы не путаться, она ж сама была Евдокия Петровна. Так и выжили.

Главное, Валечка ее первой отличницей стала, первой на всю школу! Ну, просто все учителя хвалили – и по математике, и по русскому, и по немецкому и даже по рисованию. И как хорошо, что Дуся тогда именно в школу убираться пошла, весь день девочка на глазах, не голодная и не обидит никто.

А недавно сам директор вызвал Дусю к себе в кабинет и стал говорить на «Вы», хотя сроду ее никто так не называл.

– Евдокия Петровна, вы же знаете, что у нас только восьмилетка. А Валя заканчивает отличницей по всем предметам, ей нужно учиться дальше. Что вы думаете, например, по поводу педагогического училища? Есть хорошее училище в Архангельске, студентам полагается общежитие. Мы можем хлопотать о стипендии.

Сердце забилось от радости, аж из груди выпрыгивает, но Дуся собралась с силами и ответила достойно:

– А что ж! Можно и в учительницы. Такую девочку в любом городе возьмут. Еще спасибо скажут!

Вот так и выучилась ее девочка, стала учительницей младших классов, самой главной, с нее у деток вся жизнь начинается! Даже песня такая есть, «учительница первая моя», Дуся, сколько ни слушает, каждый раз плачет почему-то.

### **Печаль минувших дней**

Я ждала тебя, мальчик! Я была уверена, что ты придешь. Хотя еще в пятнадцатом году я поклялась твоей бабушке, поклялась своим и ее здоровьем, что никогда никому не расскажу эту давнишнюю историю. Но ты же понимаешь, чего стоит сегодня

мое здоровье, в девяносто один год, хе-хе! Да и раньше я не очень задумывалась, признаться. Тем более, твоя бабушка этими клятвами хотела сберечь покой маленькой Раечки, твоей мамы, а о тебе вовсе не было речи и не могло быть, так что за мое здоровье можно не волноваться!

Кстати, ты знаешь, почему Шула назвала дочку Раечкой? – В память о моей маме! Правда, ее звали Рахель, но мы ведь знаем, что память остается даже в одной букве. И даже без буквы, только в сердце. Потому что одна моя мама жалела и оправдывала Шулу в то страшное лето, и она даже настаивала, чтобы мы поддержали ее и поехали во Францию.

Считалось, что мы – закадычные подруги, Шула, Нюля и я, но я скажу тебе, мальчик, это звучит слишком красиво для нас с Нюлей. Потому что твоя бабушка была потрясающей девочкой – высокая, решительная, отчаянная, она не боялась даже учителя математики! Она запросто могла переплыть речку или прошагать пешком десять километров! Поэтому именно она дружила с кем-то или не дружила, а мы с Нюлей как две козы ходили следом в немом обожании и только и могли, что повторять ее слова и соглашаться с ее решениями. Шула нас тоже любила, конечно, но больше всего она любила Лию, свою старшую сестру. Красавицу и прекрасную пианистку Лию, которой восторгались все взрослые и которая на самом деле была ничуть не лучше и не краше самой Шулы. По крайней мере, мы с Нюлей были в этом уверены.

Так вот, моя мама поддержала нашу идею о поездке во Францию. А через две недели она умерла от горячки, в три дня, никто не успел ничего понять. Поэтому ее слова прозвучали как завещание для моего отца, и он согласился меня отпустить. А с Нюлей было еще проще, такая тихоня ни в ком не вызывала беспокойства, тем более, она уже считалась невестой Наума Козна, одного из самых уважаемых и богатых женихов нашего города.

Да, мы все были из обеспеченных семей. Благополучные хорошо воспитанные еврейские девочки, достойные дети своих уважаемых родителей. Такие прекрасные подружки! Мы даже фотографировались всегда вместе – твоя бабушка в центре, а мы с Нюлей по бокам.

Откуда такое имя? Ты прав, это вовсе не имя, это ласковое прозвище для маленькой тихой девочки. Хана - Ханеле или просто Нюля. Она, действительно, была порядочной плаксой. Думаю, со временем ее переименовали в Анну, но этого нам не пришлось узнать. Нет, никто не думал обижать или насмехаться. Смешно даже подумать, ее все обожали! Потому что Нюля была похожа на ангела. Маленького тихого ангела с огромными серыми глазами в золотую крапинку. И такие же крапинки виднелись на носу и

щеках, по-русски их называли веснушками. Думаю, каждому мужчине хотелось взять ее на ручки и покачать как ребенка. Или хотя бы крепко взять за руку и увести за собой как можно дальше.

Ты знаешь, мальчик, почему моя судьба сложилась именно так? Почему я осталась жить в нашем городке, в маленьком домике покойной тетки, и никогда не завела своей семьи? Люди думали, что не повезло, тем более, родители рано умерли, и новая власть отобрала наш красивый большой дом. Или не хватило решимости. Или не попался порядочный мужчина. И никто не знал, что я не искала ни мужчин, ни любви с ними. Я исчерпала всю свою любовь еще в детстве и юности. Потому что любить больше, чем я любила Шулу и Ньюлю просто невозможно.

Так вот, когда начались все несчастья – сначала смерть Лии, потом переезд Шулы в Сорбонну и, наконец, это ужасное известие про ее крещение, Цирельсоны просто с ума посходили. Они устроили Шиву по живой дочери! Хотя не думаю, что ее мама всерьез готова была похоронить Шулу, пусть бы она хоть крестилась, хоть постриглась в монахини, тут больше сказался авторитет дяди, великого ребе Цирельсона. Наверняка хотели оправдаться перед родственниками и заодно призвать дочь к смирению. Стоило ей только вернуться и покаяться, и все похороны отменялись! Но нужно было знать Шулу! Больше никогда, ты слышишь, никогда в жизни она не общалась с родными. Правда, почти все они потом погибли при фашистах, но это уже другая история.

Я не помню, кто первый решил, что мы должны поехать и поддержать Шулу, но в глубине души мы обе надеялись вернуть ее домой. Конечно, ни от меня, ни тем более от Ньюли не ожидалось такой храбрости, но мы все-таки поехали и даже ни разу не заблудились и не отстали от поезда, хотя без Шулиного руководства и опеки это было почти невозможно. Нас грела мысль, что мы должны лишь доехать до нужной станции, а уж там попадем в надежные Шулины руки, и все опасности закончатся.

Все так и получилась. Шула встречала нас на вокзале, огромном роскошном вокзале огромного прекрасного города, но мы так волновались, что ничего не замечали, тем более она приехала вместе со своим женихом Дмитрием Ивановичем Катениным. Они стояли прямо напротив вагона, помню, я все боялась растерять чемоданы и коробки со шляпами и поэтому послала Ньюлю вперед, а сама осталась ждать носильщика, хотя умирала от любопытства взглянуть на Шулиного избранника. По молодости и глупости я представляла серьезного солидного профессора, обязательно высокого красавца и почему-то с пышными усами, а перед нами оказался худенький молодой

человек, почти мальчик, ростом не выше Шулы, в аккуратной студенческой курточке и галстучке бантом. Когда я подошла, он стоял у самого перрона и смотрел на Нюлю! Кажется, он вовсе меня не заметил, только молча растерянно смотрел на Нюлю, только на Нюлю, и мне вдруг стало страшно и захотелось убежать. Самое ужасное, что и Шула заметила его застывший взгляд, и сама Нюля вспыхнула и чуть не расплакалась, но тут, наконец, подошел носильщик, мы все засуетились, начались объятия и восклицания.

К нашему с Нюлей молчаливому ужасу оказалось, что Шула уже живет со своим Дмитрием в одной квартире, живет как с мужем, что при нашем воспитании просто в голове не укладывалось, но мы дружно сделали вид, что ничего другого не ожидали. Для нас она сняла милую чистенькую меблированную комнатку по соседству, чтобы мы все могли почаще видиться, вместе завтракать и ужинать, и гулять по бульвару. И вот так мы каждый день завтракали, и ужинали, и гуляли, и это было настоящей пыткой, потому что только слепой мог не заметить, как немеет и бледнеет Дмитрий при одном только взгляде на Нюлю и как Нюля трепещет и буквально умирает от этого взгляда. Нет, мы старательно болтали, старательно любовались на здания и скульптуры, все эти площади и арки, но, поверь, мальчик, ни одна из нас ничего не видела и не воспринимала. Вечером мы с Нюлей молча ложились каждая в свою кровать, делали вид, что спим, но сердце мое разрывалось от ее беззвучных рыданий. Никто не знал, что творилось на душе у Шулы, она как ни в чем не бывало продолжала ходить на занятия и в библиотеку, за ужином обсуждала с нами парижские фасоны и выставки, и нужно было дружить с детства, вместе расти, играть, плакать и радоваться, чтобы заметить полное окончательное отчаяние в ее незамутненном взоре.

Однажды, это был уже пятый или шестой день нашего визита, Шула не пришла на ужин, сказавшись занятой в лаборатории. Дмитрий, как и в прежние дни, ждал на бульваре, мы выбрали миленькую кондитерскую, заказали пирожные и горячий шоколад, стоял прекрасный теплый вечер, ветер шевелил листья платанов, и мне хотелось умереть, немедленно умереть, прямо в эту минуту, только бы не видеть их растерянных и прекрасных лиц, их муки и счастья. Даже если бы они лежали нагими в постели, не могло быть большей близости, чем в том кафе за столиком в присутствии десятков чужих людей. Мне даже не пришлось притворяться и врать про головную боль, потому что голова моя буквально раскалывалась, я только пробормотала какие-то извинения и почти бегом умчалась в нашу нарядную ненавистную комнату. Нюля вернулась через пару часов, почти не дыша

постелила постель, но она зря так боялась, у меня не было сил ее судить. У меня вообще ни на что не было сил, хотя я прекрасно понимала, что нужно сейчас же встать, взять ее за руку и увезти. Увезти навсегда из этого города, из этой чужой жизни и чужой любви, которую она так неожиданно для всех растоптала своей прекрасной тоненькой ножкой. Но я не смогла, понимаешь, мальчик, я не смогла. Потому что любила их обеих. И не в силах была предать ни одну, ни другую.

На следующее утро Шула уехала. Очень рано, ни с кем не простившись. Потом, месяца через два, она написала мне длинное ласковое письмо, утешала и уверяла, что прекрасно справляется, рада вернуться на Родину и уже нашла хорошую и уважаемую работу в аптеке. А еще через полгода родилась Раечка, твоя мама. Конечно, к тому времени я уже давно вернулась домой, в наш теплый родной город. Лучше не рассказывать про встречу с родителями Ньюли, но меня больше ничто не могло огорчить или напугать. Ее близких утешало только, что она не крестилась, и не нужно устраивать очередную Шиву. Ньюля тоже писала мне из Парижа, они оформили гражданский брак, Дмитрий Катенин успешно защитил докторскую и остался преподавать в Сорбонне, у них родилась дочка. Они еще дали ей какое-то громкое красивое имя – Клара или Вера. Кира? Может быть и Кира, к сожалению, те письма не сохранились. Про Раечку они ничего не знали, Шула под страхом смерти запретила мне даже упоминать о ее существовании. Уже шла война, вскоре началась революция, и след их затерялся навсегда.

А помнишь, как вы приезжали с бабушкой ко мне на лето? Вот были счастливые дни! Ты обожал клубнику и музыку. Такой маленький мальчик, и так слушал музыку! Только клубника и могла тебя отвлечь. Мы с Шулой по очереди ее собирали, в четыре руки кормили тебя и все время хохотали! И никогда не вспоминали прошлого, никогда!

Не плачь, мальчик, твоя бабушка была самой прекрасной мужественной и великодушной женщиной на всем белом свете. И она обожала тебя! Именно ты стал ее самой большой надеждой и любовью. Честно говоря, она немного огорчилась из-за Раечки, была разочарована ее ранним браком и нежеланием учиться. Хотя твоя мама росла хорошей доброй девочкой. Но Шула всегда слишком высоко ставила планку, сказывался характер Цирельсонов.

Удивительно, как ты похож на всех сразу! Но больше всех, конечно, на мою любимую Шулу – и рост, и волосы и даже этот прекрасный породистый еврейский нос! Только глаза от Катенина. У него был такой же мягкий и пронзительный взгляд.

Боже, как хорошо, что ты приехал, наконец! Наверное, я и живу так долго, потому что невозможно молча унести в могилу эту невыносимую историю.



## Борис Кушнер

# «Поскольку жизнь склоняется к зиме»

Заметки о книге:

**ВИКТОР КАГАН - ПЕТЛИ ВРЕМЕНИ. СТИХИ 2008-2011<sup>1</sup>**

Со стихами Виктора Кагана я впервые встретился много лет назад на страницах портала «Заметки по еврейской истории» <http://berkovich-zametki.com/>. Впечатление было сильным и своеобразным: что-то вроде притяжения-отталкивания. При родстве многих составляющих нашего литературного мироощущения, мы часто сочиняли практически на 180 градусов по-разному. И такое напряжение представлялось мне волнующе интересным. Видимо, сходно думал и Виктор Ефимович, поскольку он вскоре предложил мне необычный проект совместной стихотворной публикации-переключки. По правде сказать, я несколько мизантроп, соавторство – не моя стезя. За десятки лет работы в математике, если не считать некрологов, я имел всего трёх эпизодических соавторов. Но устоять перед присланной Каганом небольшой подборкой моих стихов с его «ответами», было невозможно. В тот же вечер сочинились «Три вариации на тему Виктора Кагана». Так появилась наша совместная публикация «Разговор», которой я и сегодня рад и за которую благодарен Виктору.

<http://berkovich-zametki.com/2006/Zametki/Nomer7/Kagan1.htm>

Говорю это, чтобы предупредить читателя, что эссе, которое сейчас начинаю писать, будет скорее продолжением нашего с Каганом литературного диалога, нежели рецензией в привычном смысле слова. Не будучи критиком и не имея никакого расположения к такого рода деятельности, не берусь классифицировать, раздавать регалии, выискивать недостатки, сравнивать, искать место Виктора Кагана в текущем литературном

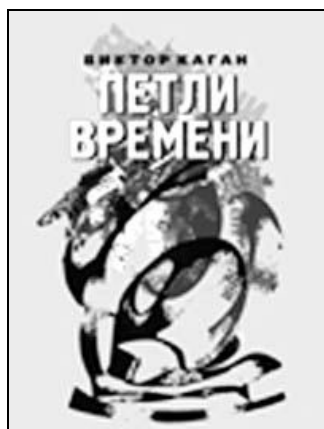
---

<sup>1</sup> <http://vodoleybooks.ru/home/item/978-5-91763-100-4.html> – четвёртая книга стихов Виктора Кагана. Предыдущие книги: «Долгий миг» (Санкт-Петербург: Гармония, 1993), «Молитвы безбожника» (Рязань: Поверенный, 2006, 2007), «Превращение слова» (Москва: Водолей, 2009). Все упоминаемые сайты посещались в феврале-марте 2012 г.



процессе, тем более в литературе как таковой. Занятие, кстати сказать, небезопасное. Не зря критики, если и остаются в истории, то, обычно, благодаря какому-нибудь оглушительному вздору, ими опубликованному. В книге ученика Сибелиуса, прочитанной мною когда-то, был выразительный эпизод. Ученик спросил Мастера, что тот думает об упомянутой выше художественной профессии. «А ты видел когда-нибудь памятник критику?» – вопросом на вопрос ответил композитор.

Попробую просто поделиться читательскими впечатлениями, окрашенными, естественно, собственным сочинительским инстинктом и опытом.



Первое, что немедленно привлекает внимание, когда открываешь «Петли времени», это искусная, оригинальная композиция книги. Организовать такое огромное печатное пространство в случае материи столь чувствительной, как поэзия, совсем нелегко. Каган расположил стихи в семантически-хронологическом порядке: блоки годов, внутри каждого года стихи расположены по их поэтическому «созвучию» (так, как понимает его сам автор). Классического склада метрические, рифмованные стихи чередуются с верлибрами; интересны многочастные стихи, сочетающие традиционную форму с верлибром. Читатель, несомненно, отметит разнообразие метрики, строфики. Лаконичные, короткострочные афористические стихи соседствуют с распространённой сегодня «повествовательной» поэзией с её длинными строками, переносами, почти прозаическим развитием художественного материала. Язык поэта охватывает огромное словарное пространство – высокая лексика, архаизмы соседствуют, порою смешиваются с коллоквиальностью. Вместе с тем автор

нигде не впадает в модные непечатные эксцессы. Всем этим немалым «хозяйством» Виктор Каган владеет с завидной свободой. Своеобразная мелодика некоторых его стихов просто ищет своего барда. И находит – Михаил Кукулевич сочинил цикл песен на стихи Кагана, эти песни можно послушать в Интернете<sup>2</sup>.

Книга открывается стихотворением автоэпиграфом и в таком же духе завершается стихотворением автоэпилогом. На мой взгляд, это придаёт книге какое-то смутное сходство с гигантским английским сонетом, который обычно открывается зачином первых строк и закрывается подводящим итог поэтическому посланию двустрочием.

Воспроизведу эпиграф целиком.

Петли времени на спице,  
зайчик солнечный в руке,  
вечность молча серебрится  
в ненаписанной строке.

Зим хрустящие пробелы,  
улетевших лет просвет.  
Семь цветов в осколке мела,  
оставляющего след

дня на чёрном своде ночи,  
ночи – в шарике росы.  
Жизнь заботливо хлопочет,  
смерти заводя часы.

Половицы скрип... не спится...  
выпадают из руки  
петли времени на спице  
недописанной строки.

Это стихотворение-эпиграф, как увертюра в опере, настраивает читателя на интонацию и мотивы книги. Здесь в сжатом пространстве четырёх классических катренов заключены приметы образного и философского строя поэзии Виктора Кагана. Вечное и земное в их единстве-столкновении, яркие метафоры-сопоставления – неуловимый солнечный зайчик в руке, мирная домашняя вещь спица и... петли времени на ней. Как страшно почувствовать петлю времени на собственной шее! Такая пряжа. Здесь и Маргарита за прялкой, и роковые греческие Мойры –

---

<sup>2</sup> <http://vekagan.livejournal.com/590689.html>.

Атропос, Клото, Лахесис... И жизнь, как ожидание смерти: *«Жизнь заботливо хлопочет, / смерти заводя часы»*. Пожалуй, *credo* поэзии Виктора Кагана.

Кажется, Гейне когда-то сказал, что всё содержание поэзии сводится к тому, получит ли Ганс свою Гретхен. В этой парадоксальной максиме есть своя доля истины, но к поэтическому миру Кагана такая идея никак не применима. В драме его книги лишь изредка в глубине сцены, по угасающим краскам заката проходит тень Лауры...

\*\*\*

И чем-то ранний вечер мил  
и осень поздняя прекрасна.  
Не разлюбил, но отлюбил  
своё. А не своё – напрасно.  
И у камина vis-à-vis  
с собой самим и старой трубкой  
я не печалюсь о любви –  
обманной, нежной, глупой, хрупкой,  
но отпускаю тень её  
по строчкам, словно хлеб по водам.  
И всё со мною, что моё –  
остаток дней, покой, свобода.

\*\*\*

*И страшно ... и хорошо...*  
Из письма  
просто подставь ладони под эту тьму  
что стекает светом с чёрной ночной свечи  
с моих губ слова слетают по одному  
растворяясь белыми птицами в непроглядно-белой  
ночи  
и поминай как звали да были ли имена  
я окликаю нас в ответ молчанье небес  
господи боже мой ты допустил на хренá  
чтобы я вдруг ни с того ни с сего взял да воскрес  
чтоб на глаза мои снова легла роса  
чтобы слеза прочертила солью путь по щеке  
страшно же господи времени час или полчаса  
выдержит ли не разорвавшись жилка любви в виске  
жил бы себе как прежде дуть забывая в ус  
и запивая водкой от всех забот порошок  
а вот воскрес и снова жизнь потерять боюсь  
страшно господи страшно

страшно и хорошо

\*\*\*

Три к носу и не порти борозды,  
не бойся, верь, и постучатся в двери  
три женщины – три боли, три беды,  
три счастья, три любви и три потери.  
Они тебя проводят к той реке,  
в которой сны о вечности струятся,  
и в ней – рука в руке, щека к щеке  
с тобой в её течение растворяется.  
Три женщины, три жизни, три вины  
тебя простят. Но сам себя простишь ли?  
И двери скрипнут – не затворены,  
как будто возвратятся те, что вышли.

Здесь, как бы само собою шепчется шекспировское:

Во мне Ты видишь тот последний пыл,  
Когда огонь сверкнёт из пепла вдруг,  
Но то, что прежде он сжигать любил,  
Теперь само сжимает смертный круг<sup>3</sup>.

Благородная суровая мужественность, под оболочкой которой кроется необычайная чуткость, отзывчивость, ранимость – так определил бы я основную интонацию книги. А если искать музыкальных сравнений, то слышится, пожалуй, *Dies Irae c-moll'*-го Реквиема Луиджи Керубини...

Вот чрезвычайный пример такой отзывчивости – стихотворение-отклик на катастрофу под Смоленском самолёта Президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года.

## **Катынь-2**

### **1**

нависстал весну сурок  
то да сё весёлый гам  
вам пирог и нам пирог  
на добавку по рогам

кому бог кому порог  
вечно целовать пробой  
и ложатся семь дорог

---

<sup>3</sup> Из Сонета 73 Шекспира, перевод – мой – Б.К.

разойдѣшься сам с собой

хвост обрублен но трубой  
тень слепая по пятам  
сам с собой наперебой  
платишь по судьбы счетам

ищешь здесь находишь там  
смех сквозь слѣзы дурь ума  
дань бесчисленным тщетам  
злобы дневи кутерьма

не сума и не тюрьма  
среди лета стынъ-постынъ  
вспыхнет взгляд из-под бельма  
встанет во весь рост Катынъ

зеркалам снега простынъ  
горечь с болью пополам  
семь дорог как семь пустынь  
камни острые ногам

2

Упал самолѣт.

Около ста человек даже не умерли,  
а мгновенно стали кровавым крошевом  
под вопли эфирных подонков:  
«Так им и надо, собакам собачья смерть!»  
Из этого крошева руки в хирургических перчатках  
будут выбирать ошмѣтки  
для генетической экспертизы,  
чтобы сравнить списки вылетевших из Варшавы  
и поглощённых Катынью-2.

Их души ещё не отправились к Богу.

Онеметь?

Молиться?

Рыдать?

Нет, мы не той закваски,  
не из того теста.

Их уже нет,

их души доберутся до Бога без нашей помощи,  
а мы жители двадцать первого всё-таки века,  
третьего как-никак тысячелетия –  
умные,

озабоченные судьбами человечества,  
подкованные политически,  
поставим вопрос ребром –  
Qui prodest?  
Кто виноват –  
этот... тот... или бери выше?  
Делайте ваши ставки, господа!  
Не медлите, господа, и не смущайтесь –  
думать некогда!  
Делайте ставки,  
пока не закрыт кровавый тотализатор,  
делайте ваши ставки –  
кто больше?!

...

а из начала прошлого века  
из-под Феодосии  
на всё это глядит сквозь слёзы волошинская старушка:  
*«Разве я плачу о тех, кто умер?  
Плачу о тех, кому долгая жизнь».*  
*Qui prodest?* – Кому выгодно? Вопрос этот открывает рану, к  
которой я не рискую прикасаться<sup>4</sup>.

Мне близок этот Реквием по погибшим. Надеюсь, Виктор Ефимович не обидится, если я приведу, не корысти ради, но в обоснование тезиса о нашей переключке, собственный отклик на эту трагедию:

**КАТЫНЬ. 10 АПРЕЛЯ 2010 г.**

*Памяти погибших при катастрофе самолёта Ту-154  
Президента Польши Леха Качиньского*

Переплетение судеб,  
Расстрельных рвов, кровавых неб. –  
Мгновения бесповоротье  
Уже ничем не побороть, –  
Металла острые лохмотья  
Терзают плоть.  
Пусть Ангел над горящей птицей  
Раскинет скорбные крыла... –  
Ужели дань свою сторицей

---

<sup>4</sup> Официальный отчёт польской правительственной комиссии о катастрофе: <http://mswia.datacenter-poland.pl/FinalReportTu-154MRussian.pdf>.

Здесь смерть давно не собрала?  
Но свежий шрам земному шару  
Наносит утренняя стынь, –  
Здесь вечно полыхать пожару,  
И эху разносить: «Катынь»...  
Молчанье. Ведь никто не в силах  
Очнуться от *такого* сна...  
Теперь вы вместе – пусть в могилах,  
И общий ваш венок – весна.

10 апреля 2010 г., Pittsburgh

Технически, «Катынь-2» иллюстрирует характерное для Виктора Кагана сочетание в многочастном стихотворении традиционного стихосложения и верлибра. Не является ли Каган первооткрывателем этой интересной идеи?

Верлибр (свободный стих) в последние годы был предметом многочисленных обсуждений и дискуссий. Я высказал свои мысли на сей счёт в большом эссе 2004 года «Доктора поэзии»<sup>5</sup>. Там, в частности, верлибр квалифицировался мною, как

---

<sup>5</sup> <http://berkovich-zametki.com/Nomer48/Kushner1.htm>. Описание одного из визитов американских профессоров-поэтов (эссе «Доктора поэзии») оказалось полностью применимым к дальнейшим публичным чтениям:

«Но, вот, наконец! Свершилось! Первое слово даме. Стройная, в строгом брючном костюме она энергично взлетела на эстраду, слегка споткнувшись на первой ступеньке. Плохой этот знак её не смутил, и выступление началось немедленно с благодарностей меценату, президенту, профессору, всем нам. А мне пришли в голову строки незабвенного Игоря Северянина: «Выскочив из ландолета, девушками окружённый,/ Я стремился на эстраду, но меня остановив,/ Предложила мне программу, и, тобой заморожённый,/ На мгновенье задержался, созерцая Твой извив». Конечно, не было ни девушек на орбитах нашего поэта, ни извивов (как великолепно у Северянина это «остановив» – сам стих здесь внезапно, энергично останавливается вместе с действием, в нём происходящим), но настроение было именно северянинское. На эстраду, завоёвывать публику!

Стихи читались легко, с интонацией, скорее весёлой, в некоторых местах искусно делались паузы, чтобы аудитория могла рассмеяться... Несколько раз, очевидно, самые волнующие места – подчёркивались хрипом-восклицанием, чем-то, вроде «ххе». Как в известной истории (возможно апокрифической) о Черчилле. Якобы

чума американской поэзии. С тех пор мне приводилось наблюдать дальнейшие визиты в мой Кампус докторов поэзии. Мнение моё не изменилось.

Я употреблял тогда и употребляю сейчас слово «стихи» по отношению к произведениям приезжавших к нам авторов, преодолевая внутреннее сопротивление. Прочитанные вещи представляются мне скорее миниатюрными лирическими новеллами.

Безусловно, верлибр, как одна из литературных форм, достойна *a priori* всяческого уважения. Беда в том, что в США она практически полностью вытеснила традиционные виды поэзии. Представить публике что-то рифмованное и метрическое, кажется, всё равно, что явиться на званый ужин в костюме 17-го века... Связано это с особой университетской формой организации литературы, когда поэты и писатели занимают кафедры, профессорско-преподавательские должности в бесчисленных учебных заведениях. Положительная сторона здесь очевидна: творчество не зависит более от произвола издателей и тем более государства, писатели имеют твёрдый источник существования. Но есть и другая сторона медали. Как водится, постепенно образуется самоорганизующаяся и самоё себя поддерживающая система. На кафедры принимаются родственно ориентированные существующему составу претенденты. Прочие отсеиваются. Так сказать, естественный отбор. Почему этот отбор стабилизировался в области поэзии именно на верлибре и, соответственно, верлибристах, видимо, вопрос из категории «что было раньше – яйцо или курица». Подобное же явление с несравнимо более серьёзными последствиями произошло и в американских общественных науках, где выявилось преобладающее преимущество левых и даже левацких идей.

Особенность «университетской» поэзии состоит в том, что она имеет широкий доступ к студентам, внушая, до какой-то степени даже вбивая оценками свои ценности молодому поколению. Читая студенческие сборники стихов, я приходил к печальному заключению, что под стихами эти симпатичные юноши/девушки понимают невразумительные тексты, более-менее произвольно разбитые на строки. Чем невразумительней, тем лучше, поэтичнее. Ну, и, конечно, никаких знаков препинания! Это

---

во время войны британский премьер готовился к важному публичному выступлению в Америке. Перед ним лежал заготовленный текст речи. В некоторых местах на полях он сделал пометки: «Аргументация слаба, повисить голос».



так *cool* (клёво) избавиться от всех штук, которыми терзают в классах английской композиции! Верлибр – настоящий рай для графомана. Не зря Фрост сравнивал сочинение верлибров с игрою в теннис без сетки. В самом деле, классическое стихосложение предполагает определённую пусть даже внешнюю дисциплину – метр, рифма. Явное неумение держаться в рамках этой дисциплины немедленно отсеивает первый эшелон некомпетентных сочинителей. Тех, кто, играя в теннис, не в состоянии перебросить мяч через сетку. В общем, «Поэт, не вышедший калибром/Твори верлибром»! Хотя, разумеется, нет недостатка в дальнейших эшелонах энтузиастов. Плотина рифмы-метра удерживает только самых безнадёжных. Но их немало.

В целом же, не разделяю распространённого презрительного отношения к графоманам – природа их творческого импульса та же, что и у самых великих. Разница только в результатах. Впрочем, и здесь не всё так просто. Открываешь, например, наугад том и читаешь

Молодёжь по записке  
Добывает билет  
И великой артистке  
Шлёт горячий привет.

Ну, всё ясно. Штампы: «великая артистка», «горячий привет» (на место последнего, вдобавок, можно поставить такой же штампованный «огромный букет», или ещё что-нибудь в том же роде). Тривиальность сказанного – и по форме и по содержанию – наводит на грустные мысли. Однако начнёшь всё-таки читать послание автора целиком и увидишь, что «сам дурак». Стихотворение Бориса Пастернака «Вакханалия» завораживает своей вакхической энергией, неотразимым потоком воплощённой Мастером в слово жизни.

Написал я о знаках препинания, и подумал, что внимательный читатель, конечно, заметит отсутствие таковых в ряде стихов Кагана. Что же, *Quod licet Jovi, non licet bovi* – что дозволено Юпитеру, не позволено быку. Мастер имеет суверенное право устанавливать законы создаваемого им художественного мира. Вот яркий пример. Ученик Бетховена Фердинанд Рис вспоминает<sup>6</sup>:

«Однажды на прогулке я заговорил с Бетховеном о двух

---

<sup>6</sup> «Вспоминая Бетховена. Биографические заметки Франца Вегелера и Фердинанда Риса», пер. с немецкого, стр. 99, Классика XXI, Москва 2007. Упомянутый в цитировании квартет имеет в настоящее время нумерацию оп. 18 №4.

параллельных квинтах, которые так отчётливо и красиво звучат в его Первом струнном квартете *c-moll*. Он о них понятия не имел и ручался, будто нет там никаких квинт. Поскольку он по привычке всегда носил с собой нотную бумагу, я потребовал её и выписал ему то место со всеми четырьмя голосами. Когда он увидел, что я прав, то сказал: «*Подумаешь! И кто же это запрещает?*». Поскольку я не знал, как реагировать на его вопрос, Бетховен несколько раз повторил его, пока я в полном изумлении не ответил: «Да это же элементарные правила». Вопрос прозвучал ещё раз, и тогда я сказал: «Марпург, Кирнбергер, Фукс и прочие – все теоретики!» – «Так вот, я их разрешаю!» – последовал его ответ».

В моей собственной практике я неоднократно ощущал несовершенство пунктуационной системы языка, особенно ярко проявляющееся в поэтических текстах. Ну, не укладываются они в строгие грамматические нормы, да и всё! Точка слишком равнодушна – обозначит границу законченной мысли-предложения, и нет ей дела, что там, слева от неё осталось. Запятая – незначительна, не зря столько бывает сомнений – ставить, не ставить её. Треточие – сентиментально, точка с запятой и вовсе бюрократична. Остаётся тире, мой любимый знак, напоминающий по функции лигу в музыке. Жаль, кстати, что в записи стихов не привились музыкальные обозначения – темпов, динамических оттенков и т.д.

Несовершенство формальных правил пунктуации при организации поэтической речи особенно заметно в верлибрах. Здесь сама разбивка текста на строки уже является пунктуацией. Что же касается верлибра как такового, то – в отличие от американской ситуации – я не вижу проблемы с ним в литературе на русском языке, где эта форма художественной речи вполне уживается с традиционным силлабо-тоническим стихосложением. Иное дело трудности самого жанра – в верлибре автор оказывается лицом к лицу именно с содержанием своего произведения, без всякой опоры на могучие художественные средства «обыкновенного стиха». И «соревноваться» приходится с вдохновенными поэтами Танаха. Виктор Каган среди очень немногих, выдерживающих такое суровое испытание. Вот просто очаровательный «верлибр о верлибре» Виктора Ефимовича:

\*\*\*

*От жажды умираю над ручьём*

Франсуа Вийон

верлибр говорят это просто проза  
неровно нарезанная на ломтики строк  
неловкий изыск не умеющих рифмовать

и паковать слова в пакетики метрик и ритмов  
так что каждый журден  
лишь вчера открывший что он говорит прозой  
и наугад тычущий в клавишу Enter  
начинает казаться себе поэтом  
ладно  
я же не спорю  
я открываю библию  
где воля рифмуется с жизнью  
молитва с дыханьем  
дыхание с пульсом мысли  
где волны смиренной страсти  
стремятся к берегу гнева  
и лижут песок золотой прощенья  
ласковыми языками  
где песнь возникает из песни  
где чистота стиха  
белее любой белизны  
которая не разлагается на семь цветов радуги  
где птица скользит по тайне  
между крылом и каплей земного шара  
в усталой ладони бога  
в начале была не словесность  
а слово  
рождённое из  
косноязычных вибраций верлибра  
между створками связок  
как жемчуг между невзрачных створок моллюска  
как дух между сложенных вместе ладоней  
а вы говорите проза  
ну что ж говорите  
рифмуйте под стук метронома  
кайфуйте в дыму филологий  
но не пропустите  
не прозевайте  
не упустите  
свободы  
мающейся в клетках классификаций  
как муза на ложе прокруста  
уста не сводимы к губам  
потрескавшимся от жажды  
над родником верлибра  
а вы говорите проза

Не знаю, согласится ли со мною Виктор Каган, но он представляется мне пишущим на русском языке *еврейским* поэтом. И дело не только в прямой еврейской тематике, но, пожалуй, ещё более в интенсивности разговора поэта с Б-гом, в характерной трагической доминанте кагановского художественного мировоззрения.

Этот разговор, порою спор-упрёк (вечная проблема теодицеи) с Всевышним завязывается в первом же стихотворении, по существу, указывающем и другие основные (для меня, по крайней мере) линии книги. Я вернусь к ним позже.

\*\*\*

*История не в том, что мы носили,  
А в том, как нас пускали нагишом.*

Борис Пастернак

В сетчатке памяти двоятся и троятся  
названья улиц, лица, имена,  
тарелка радио, базарные паяцы,  
земшар в цепях, Кремлёвская стена,  
страшилки детские, таинственность развалин,  
и слёзы мамы, когда умер Сталин,  
и вечное *Ах, только б не война,*  
бесслёзье в ожидании напрасном,  
пустых надежд густая пелена,  
и ржавый бронепоезд на запасном  
пути, где торжествует белена,  
и вера в чёрт-те что, и дух бравады,  
и на костях торжественны парады,  
и молодость, сама собой пьяна.

.....  
Шагал в строю и, сквозь него шагая,  
на нечет ставил, выбирая чёт,  
и, вот, пришёл... Душа стоит нагая  
и Бога ждёт. А он всё не идёт.

Надо сказать, что упрёк, которым заканчивается это глубокое многоплановое стихотворение, характерен для еврейской традиции, включающей даже богоборчество. Достаточно вспомнить при каких обстоятельствах Иаков стал Израилем. Вот моё греховное стихотворение, восходящее к этой традиции:

#### **ВАРИАЦИЯ 6-11**

Бессвязных образов клубок,  
И Хаос в Хоре. –

Сегодня мне приснился Б-г,  
Я был с ним в ссоре.  
Зачем добро со злом смешал,  
Не дав границы,  
И закружил наш жалкий шар  
Волчком на спице?  
Зачем смущаешь новизной,  
Оставь, не надо!  
Зачем блаженною весной  
Послал торнадо?  
Зачем цунами и самум,  
И гибель злаков?  
Зачем приходит мне на ум  
Хитрец Иаков?  
Зачем безумием пера  
Я был отмечен?  
Зачем мне уходить пора –  
Обрывом речи?

.....  
Я наседаю. Я был на Ты,  
Презрев все громы. –  
Да не дожидаться хромоты,  
Коль мысли хромы.

14 мая 2008 г., Pittsburgh

Объяснение с Б-гом продолжается в серии стихотворений книги, написанных по мотивам Псалмов. Здесь сливается вдохновение сладостного певца Израилева и нашего современника. Каган называет цикл «Псалмы Давида: на полях» и открывает его вступлением:

– О чём мы, Господи, о чём?  
Куда идём, не зная брода,  
и в ступе болтовни толчём  
досужих размышлений воду?

– Я показал бы тебе брод,  
довёл бы за руку до рая,  
но я лишь Бог – не кукловод.  
Я не даю – благословляю.

– Зачем же, Господи, тогда  
Тебя молю? В Твоей ведь власти,  
чтоб минула меня беда

и стороной прошли напасти.

– Приму молитву – не мольбу.  
Оступишься – пошлю прощенье.  
Благословляю на судьбу –  
в тебе самом твоё спасенье.

– Но, Господи, я мал и слаб,  
растерян, мне мой путь неведом.  
Я – тварь Твоя, Твой верный раб.  
Я – тень Твоя, шагаю следом.

– Но ты несёшь в себе меня  
и не бросаешь эту ношу.  
Не загаси в душе огня.  
Иди. И я тебя не брошу.

Прекрасная парафраза краеугольного камня еврейского вероучения – по Образу и Подобию сотворён человек. Отсюда и наше творчество и наша возможность выбора. Б-г не оставит того, кто несёт в себе Его Образ. Нелёгкий выбор, нелёгкий путь. Но единственно достойный.

К сожалению, нет никакой возможности рассказать обо всех «давидовских» стихах Кагана. Приведу только одно из них, особенно во мне отозвавшееся:

### 69

Орёл повис над пропастью времён.  
Застыло время на пределе страсти.  
Моей молитвой воздух напоён,  
но множатся несчастья и напасти.

Не медли, поспеши ко мне, Господь!  
Не принимай за дурня иль кликушу!  
Я не о том, что изнывает плоть –  
спаси от поношений мою душу.

Вспять обрати желающих мне зла,  
останови их низкие деянья.  
Дай, Боже, сил, чтобы душа могла  
дожить до их стыда и осмеянья,

чтоб вместе с теми, кто идёт к Тебе,  
Тебя воспеть и петь Твоё спасенье

не в жалкой и униженной мольбе,  
а в радости одной – Тебе служенья.

Так поспеши, Господь, на помощь мне –  
я нищ и беден без Твоей заботы.  
Ты жизни свет, мерцающий в окне  
души, когда за ней идёт охота.

Не медли, поспеши, Тебя прошу!  
Ты знаешь – я прошу не слишком много.  
Три тыщи лет молитву возношу.  
Три тыщи лет ... Мгновение для Бога.

«Орёл повис над пропастью времён» – могучий, грандиозный образ! А заключительная строка? Сказано ведь: «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний» (псалом 89). И услышал Каган<sup>7</sup>.

Сгоревшим в Холокосте посвящено в книге стихотворение, трагическим размахом своих графических образов заставляющее вспомнить фрески Микеланджело. Сурово звучание этих строк Виктора Кагана, погребальной молитвы XXI века. Стихотворение-Кадиш:

\*\*\*

задача была столь грандиозна  
что решить её по одному  
не хватило бы жизни  
поэтому  
нас пулями сталкивали во рвы  
сжигали в домах и печях  
или просто закапывали живьём  
педантично ведя бухгалтерию  
окончательного решения  
бухгалтерия так бухгалтерия  
если бы все убитые  
встали друг другу на плечи  
то голова последнего  
торчала бы на этом колу  
выше спутников  
а если бы их тела сложить в ряд

---

<sup>7</sup> Интересно заметить «на полях», что вдохновенный танаховский верлибр отозвался у мастера жанра шекспировским пятистопным ямбом. Начало парафразы-стихотворения звучит, как английский сонет.

ноги к голове  
получилось бы четыре раза  
лондон москва туда и обратно  
или немного больше чем москва вашингтон  
или немного меньше чем рио де жанейро москва  
тридцать миллионов литров крови  
железнодорожный состав длиной  
в четыре с лишним сотни цистерн  
  
не получилось

сегодня  
мечтающие повторить этот опыт  
но уже довести его до конца  
говорят что этого не было  
что всё это козни мирового кагала  
который должен быть уничтожен  
включая половинок четвертушек восьмушек  
продавшихся примкнувших  
и просто сомнительных и похожих  
на всякий случай с запасом  
великой идеи ради и надёжности для  
чтобы взметнувшись ввысь  
стрела из тел дотянулась до бога  
и крови хватило на тысячи лет  
красить закаты побелевшего от ужаса неба

а над хрупкими крышами этого мира  
с его стальными и атомными потрохами  
взявшись за руки и не отрывая глаз друг от друга  
летят ева с адамом  
суламифь с соломоном  
мойша с хавой  
и в плацентарных водах любви  
под плач зачарованной скрипки  
плещется новая жизнь  
маленькая и неистребимая  
еврейская жизнь

Моя душа отзывается взрывом образов. Перед глазами эхо Холокоста – безлюдные еврейские кладбища в Варшаве и Кракове (привёз оттуда листья и храню их), осиротевшие могилы, ибо не осталось живых, чтобы навестить мёртвых. Старинная варшавская синагога без постоянного раввина, в которой было нелегко собрать



миньян. И памятник Героям Гетто с Вечным огнём, и старая полька, принесшая к Вечному огню свой огонь – хрупкий и, как наша жизнь, не вечный...

Вот отрывок из моего давнего эссе «Свеча в стакане»<sup>8</sup>:

«Ноябрьский день клонился к концу... За короткими сумерками сразу стало темно, накрапывал холодный дождь, в котором расплывались пятна тусклых уличных фонарей. Я сидел на скамейке у Памятника героям гетто, неподалёку от еврейского кладбища... Ступени вели к стене, сложенной из каменных блоков (в своё время заготовленных нацистами для их победного монумента), по краям две меноры, в центре – скульптурная группа восставших, вдохновляемая Мордехаем Анилевицем (его имя носит улица неподалёку), надписи по-польски, на идиш, на иврите. На моём веку это был первый памятник еврейским героям, первый публичный знак скорби и уважения еврейской доблести. И я был благодарен польскому народу. Не знаю, насколько трудно было добиться разрешения Москвы, да ещё в сталинские времена на всё это. Памятник был возведён по проекту Натана Рапппорта и открыт 19 апреля 1948 г., в пятую годовщину начала восстания в гетто... За монументом стоял пятиэтажный панельный дом, почти хрущёвского типа, сквозь занавески тепло светились абажуры... Жизнь, слава Б-гу, продолжалась... Люди собирались в этот вечер Дня всех святых у очагов, вспоминали своих умерших... В сквере и на улицах вокруг – ни души, изредка прошумит машина, прозвенит трамвай вдалеке... Пора и мне уходить... Уже поднявшись, заметил вдали фигуру... Женщина в длинном чёрном, выдавшем виды пальто медленно, хромая и опираясь на палку, приближалась. В руке у неё была небольшая свечка в чашечке. Она поставила знич<sup>9</sup> у подножия скульптуры, пошарила по карманам и повернулась ко мне. Я подошёл и протянул спички... «Сколько людей убили...» только и сказала она и наклонилась к свече, заслоняя её собою от ветра... После нескольких попыток робкий язычок пламени задрожал, закачался... Женщина удовлетворённо кивнула, постояла мгновение, перекрестила мокрые фигуры и медленно, так же тяжело хромая, пошла назад, по той же улице... Я долго смотрел вслед, пока чёрная фигура не слилась с темнотою... Знички стояли недёшево в тот день, кто знает, не отдала ли она свой ужин за эту свечу...

---

<sup>8</sup> <http://www.vestnik.com/issues/2004/0526/win/kushner.htm>.

<sup>9</sup> Знич – лампада. В День всех святых такие лампадки продавались в Варшаве на каждом углу. Вечером над кладбищами дрожало сияние от бесчисленных лампад, оставленных на могилах.

Где-то в Талмуде сказано, что спасший одну жизнь спасает целый мир. Человек, зажжённый такую свечу, освещает целый мир. Мне она светит всегда. И в этом свете сквозь ужасы и мрак различаешь, наконец, любовь и милосердие, произносимые Имена Б-жьи, на которых зиждется мир».

Увы, хорошо, если найдётся десять праведников в большом городе... И спасут ли они его? Переключкой с Каганом звучит одно из моих стихотворений о Катастрофе:

### ПАМЯТИ...

Как это было в том апреле? –  
Трава, нарциссов огоньки?  
И звёзды первые горели  
С Луною наперегонки? –  
Судьба была слепа и люта,  
Тянулась щупальцами спрута,  
И танками терзала плоть,  
И Чуда не явил Г-дь,  
Могучей не простёр Десницы,  
Не оградил, не охранил,  
И фараона колесницы  
Текли, как в половодье Нил.  
Качанья касок, марши пугал,  
И лязгом гусеничным бес, –  
Свинцовый дождь в еврейский угол,  
Не манна, пепел пал с небес.  
В Варшаве светлый праздник Пасхи,  
Костёлы и колокола, –  
Что из того, что смерть без маски  
Простёрла чёрные крыла?  
К чему считать чужие раны –  
Блаженна мраморная стынь... –  
О, как торжественны органы,  
О, как божественна латынь!  
А смерть? Не здесь пока что, где-то. –  
Там, за стеной. На то и гетто.  
Молись и вытри пот со лба –  
Не по тебе пока стрельба.  
И всё ж, *temento, ax temento...*  
Горит огонь у монумента,  
Где вы легли – к плечу плечом.  
Судьба была слепа и люта –  
Молчанье? Что ж, одна минута,

И снова жизнь кипит ключом.  
Но если б Б-жьим Чудом встали,  
Благословили бы апрель –  
Ручьи, улыбки, звоны стали,  
Органы, скрипки и свирель.

25 апреля 2006 г., Johnstown

Горькая, жуткая ирония заключена в «Бабьем Яре» Кагана. Воистину страшное дело – насилие над памятью. Огромной трагедией обернулось оно 13 марта 1961 года<sup>10</sup>...

### **Бабий Яр**

*В середине 1950-х Бабий Яр был  
частично засыпан и на этом  
месте построены жилмассив,  
спорткомплекс, гаражи  
разбиты скверы.*

Багровый лист на мокрой мостовой.  
Антоновка желтеет кисло-сладко.  
Пустующая детская площадка.  
Фонарь искрится в дымке дождевой.  
Спортивный комплекс. Гаражи и сквер.  
В окне незанавешенном торшер.  
Гул подземельный сквозь асфальт невнятен.  
И дым отечества нам сладок и приятен.

К тому же движению души относятся стихи о ГУЛАГе. Теодицея теодицеей, но как примириться с чудовищем в человеке? Виктор Каган, в отличие от многих авторов, не разряжает напряжение вспышкой гнева, но находит слова нежности и печали:

### **Колыбельная ГУЛАГа**

В поисках рифмы к грядущей беде,  
в гонке за ритмом охрипшего мира  
плавает небо в слоистой воде

---

<sup>10</sup> В этот день прорвало земляную дамбу, перегородившую Бабий Яр, куда с 1950 г. сливали жидкие отходы кирпичных заводов. Огромной силы сель обрушился на жилые кварталы. Погибло множество людей... См., [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B9\\_%D0%AF%D1%80](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80).

под неусыпным зрачком конвоира.

Чёрной дырою зияет зрачок,  
стынет на мушке чудной светлячок.  
Спи, моя радость, ложись на бочок.  
Лучшая песня в мире – молчок.

Сеткой дождей огороженный рай.  
Кладкой кирпичной – умные книжки.  
Стрелкой по кругу часов – вертухай  
на циферблате повешенной вышки.

Крутится шарик – конвойный волчок,  
ковшик небесный похож на крючок.  
Спи, моя радость, ложись на бочок.  
Лучшая песня в мире – молчок.

Спи, моя радость, да будет покой  
в снах твоих тёпл, словно слёзная влага,  
словно тебя я касаюсь рукой  
сквозь государственный гимн ГУЛАГа.

\*\*\*

Скульптурен маршал. Нервный конь  
дрожит ноздрей, как зэк на вохру.  
В сухую катится ладонь  
страна, как день в заката охру.  
А две берёзы над рекой  
глядят, укрывшись чёрной шалью,  
с такой библейскою тоской,  
с такой отчаянной печалью

А если говорить о гневе, то поэт оставляет таковой Б-гу,  
говоря от Его Имени в своём парафразе 81-го Псалма:

**81**

Доколе суд неправедный продлится?  
Я спрашиваю вас – в ответ ни слова.  
Повисла тишина. Гляжу Я в ваши лица,  
понять пытаюсь лжи первооснову.

Перебираю ваши приговоры:  
безвинные гниют в грязи острогов,  
зато в чести разбойники и воры  
и нечестивость правит на дорогах

судимой вами жизни. И не святы  
ни бедности голодные мученья,  
ни ангелы, забритые в солдаты,  
ни честность у бесчестья в услуженьи.

Потомки ваши выстроят гулаги  
и возведут освенцимские печи,  
набьют телами детскими овраги ...  
Вы ни при чём?!  
Нет, вам ответить нечем.

Меня не чтущих возвели в пророки.  
Моим законом вертите, как дышлом.  
Вас много. Но вы страшно одиноки  
Передо Мной – единственно Всевышним.

Отбросьте словоблудий украшенья.  
Судите так, чтоб обогреть сиротство,  
чтоб диктовали каждое решенье  
Мои законы, а не блажь и скотство.

Но бродите во тьме, Меня не зная  
И Слова Моего не разумея,  
и корчится от боли твердь земная,  
за вас, стыда не знающих, краснея.

Сыны Всевышнего, вершители и боги  
вы верите – Я защищу навеки.  
Отвергнутые Мной, вы будете убоги  
и смертны, как простые человеки.

Но вас принять земля не распахнётся,  
и ворон чёрный спустится на рану,  
и канет взгляд в слепую сушь колодца,  
когда восстану.  
А когда восстану?

Здесь характерно сближение Освенцима с ГУЛАГом.  
«...Честность у бесчестья в услуженьи» – одно из многих  
проявлений интертекстуальности в стихах Кагана<sup>11</sup>. В данном

---

<sup>11</sup> В цитированных стихах уже был и бронепоезд на запасном пути,  
и дым отечества – разумеется, в своеобразном преломлении.  
Интересно, что идиома «дым отечества» появляется в книге, по  
меньшей мере, дважды. Один раз в своём обычном контексте «И

случае трудно не услышать – возможно, бессознательную – аллюзию на другой знаменитый гневный монолог, брошенный в лицо миру. Я имею в виду 66-й Сонет Шекспира.

Ещё два диалога поэта с Б-гом:

\*\*\*

мы сидели на патриарших прудах  
да да именно там  
говорили о всякой всячине  
и вдруг он сказал  
я слышал что  
если я говорю с богом это молитва  
а если бог говорит со мной это шизофрения  
ты это к чему спросил я его  
да так ответил он и замолчал  
я раскурил трубку  
он катал в пальцах потухшую сигарету  
губы его беззвучно шевелились  
выговаривая тишину  
вместе с ним замолчал мир  
и превратился в немое кино  
как будто кто-то выключил звук  
и включил вместо него ощущения  
трубочный дым обернулся запахом дикой вишни  
трепет крыльев бабочки пробежал по щеке  
движение влаги в дереве отзывалось в крови  
солнечный свет прижимал веки к глазам  
невидимый переводчик переводил  
с языков шести чувств  
на язык седьмого  
и несказанная тайна мира  
отражалась в зеркале жизни  
чётко светло и чисто  
а он всё катал в пальцах сигаретку  
его молчанье было музыкой музык  
устремлявшейся в небо вопросом  
ты слышишь меня боже  
боже ты слышишь меня  
ты слышишь  
слышу

---

дым отечества нам сладок и приятен», второй раз в его противоположности, открывая стихотворение: «Дым отечества горек и едок».

раздался голос

**Между нами**

«Господи, – говорю, – Господи,  
иже еси Ты там на небеси,  
что Ты думаешь,  
глядя на нас?  
Как по-твоему,  
мы посходили с ума  
или ещё не дошли до него?»

Он чешет бороду и говорит:  
«А какая, собственно, разница?  
Разве не ты сказал,  
что, когда ты говоришь со мной,  
это молитва,  
а когда я говорю с тобой,  
это шизофрения?  
Ладно –  
не верь в меня,  
меня от этого не убудет,  
не бойся меня...

Но хватит канючить!

Можешь ты просто поговорить со мной,  
просто поговорить?»

Страшно звучит проведённый в обоих стихотворениях мотив:  
если я говорю с богом это молитва  
а если бог говорит со мной это шизофрения

особенно, если принять во внимание мирскую профессию автора. Человек разумный, *самосознающий* по самому звучанию последнего эпитета существо опасно автореферентное. Сознание, погружающееся в самоё себя. Автореферентность является источником парадоксов в логике и в основаниях математики. Не вносит ли она вклад в душевные расстройства<sup>12</sup>?

Любая человеческая жизнь – диалог с Б-гом. Но немногим

---

<sup>12</sup> Автореферентность особенно опасна в случае психиатров, поскольку разрушительная мощь самоанализа усиливается специальными знаниями. Психиатрия – профессия отважных. В сущности, психиатром должен быть кто-то вне вида *homo sapiens*, что – увы – невозможно. Разве лишь компьютер будущего, уже не программируемый непосредственно человеком? Это, однако, ведёт к самым мрачным размышлениям, щедро разработанным фантастами-писателями и кинематографистами.

дано это осознать, и совсем немногим, избранным удаётся это выразить в слове. Виктор Каган, несомненно, принадлежит к «совсем немногим». Вот ещё два таких «диалогных» лирических стихотворения.

\*\*\*

отопьём отпоём отгуляем  
отшумим посошок разольём  
не мани меня господи раем  
посидим и покурим вдвоём  
ты один я один одиноко  
стынет в пламени вечная стынъ  
и глядит твоё господи око  
как мы курим сухую полынъ  
нет ни рая ни ада чинарик  
я тебе передам а ты мне  
чтобы жизни шуршащий фонарик  
не сгорел в твоём вечном огне  
чтобы господи пелось и пилося  
и грешилось за боль и за страх  
и твоя бесконечная милость  
прах светло возвращала во прах

\*\*\*

Напишешь так или напишешь этак –  
небесному плевать истопнику.  
Снег с шелестом спадает с мёрзлых веток  
на птичьих иероглифов строку.

*Снег с шелестом* я написал, а что там  
в конце строки мелькнуло – чьё лицо –  
и скрылось за тропинки поворотом,  
где побледнело красное словцо?

Снег с шелестом летит сквозь четверть века,  
зовёт с собой в забытое число,  
а шаг шагнёшь – дремучая засёка,  
одним былём другое поросло.

И в снега шелесте угадываешь звуки,  
а гóлоса уже не узнаёшь,  
кричишь во сне, протягиваешь руки,  
поставленный на памяти правёж.

И что перед нарушенным обетом



пустые неуклюжие слова?  
И что с того, как написать об этом?  
Была вода живая, да мертва.

Снег растопить в руках и пить, как плакать –  
взахлёб, до смертной ломоты в зубах.  
Снег с шелестом ложится в злую слякоть  
и хохлятся вороны на дубах.

Б-г – небесный Истопник. Именование Б-га по одной из бесчисленных его ипостасей, в данном случае слегка ироническое, особенно близко мне, поскольку и сам я грешил этим в ряде стихов. Вот одно из моих стихотворений такого рода:

\*\*\*

До излёта взора  
Чайки над водой,  
Солнце ре-мажора,  
Моцарт молодой.  
Над волненьем рощи  
Пенные поля –  
В небесах Настройщик  
Тихо тронул «ля»...

19 июня 2006 г., Pittsburgh

Ещё одна, глубоко меня волнующая линия в книге Кагана – стихи о родителях. В сущности, эта тема близка к размышлениям о Б-ге, диалогам с Ним. Ибо из окружающего нас земного мать и отец ближе всего к Нему. Зачатие и рождение ребёнка сами по себе воспроизводят важнейший акт Творения, его Таинство. Родители – наши заступники перед Б-гом, ходатаи за нас. И, даже уйдя в установленном вечном порядке вещей, они остаются островом, оазисом света в памяти. Но как редко щедро одарённые Словом находили слова для этой любви, для этой бесценной, мистической и вместе с тем земной, тёплой связи!

Я составил небольшую подборку из стихов Кагана, где сама душа поэта шепчет единственные возможные строки... И неизбежно в них переплетаются жизнь, смерть, Б-г, ускользающее время и ледяной простор Вечности.

### **6 декабря**

Тени снимают нагар со свечи.  
Мечется пламя печальное встречи.  
Не говори – посиди , помолчи.

Глупости все поминальные речи.  
Стопка под хлебом. Шуршащая тишь.  
Как ни забрасывай памяти сети  
в прошлое, прошлого не возвратишь,  
если на этом ты всё ещё свете.  
Ну, а догонишь на свете на том:  
«Батя, привет!»,  
«Застегнул бы рубашку», –  
он проворчит, помолчит, а потом:  
«Не молодеешь. Хочешь рюмашку?»  
«Что ж не хотеть? – ты ответишь, – Давай».  
Он захлопочет, на стол собирая.  
А где-то внизу простирается рай.  
Да не сбежишь из небесного рая.

\*\*\*

Сухая ветка тычется в лицо,  
как пёс, истосковавшийся по ласке.  
Дорожка упирается в крыльцо,  
а дверь забита. Окна без замазки

рассохлись. Нос к стеклу, ладонь ко лбу.  
Вглядишься и услышишь – кто-то дышит.  
Прислушайся – увидишь свет в гробу:  
шаловного светлячка не съели мыши

летучие. От страха не дрожи  
и всуе не шепчи: «О, Боже, Боже!».  
Смотри, как нарезают виражи  
ежи по дому, на богов похожи.

Ползёт по стенам плесенная сыпь.  
Чахоточная ночь в крови заката.  
«А ну-ка, мать, нам щец ещё подсыпь» –  
чей голос через время глуховато

доносится? Ничей. Здесь нет живых –  
их только память в полубреде нежит,  
а здесь минувшей жизни жухлый жмых  
забвения дожёвывает нежить.

Но снова голос: «Уходи. Скорей.  
Иди. Не стой. Да что ж это такое?!».  
И ты шагнёшь, проснувшись, от дверей.  
И мать с отцом с крыльца махнут рукою.

\*\*\*

Слушая дождь, талдычащий о любви ошалевшей  
крыше,  
глядя на вымокшую белку, спешащую через  
дорогу,  
думаешь, что никогда не услышишь  
вранья над своей могилой, голоса Бога,  
дрожания капель в радуге, пения Синей Птицы,  
мамино: «Сынок, не кури так много»,  
глухого стука упавшей наземь ресницы,  
стона, когда о него споткнёшься, порога.  
Тебе подарят слуховой аппарат, какой и во сне не  
приснится,  
на глазные яблоки наклепят линзы, каких никогда  
не бывало,  
но не услышишь скрипа осей перуновой  
колесницы,  
да и саму колесницу будто корова слизала.  
Заваришь чаю покрепче, чтобы тоска замолчала,  
закуришь... тем временем голос дождя становится  
тише  
и замолкает. От солнечного причала  
отправляется первый луч... кошка дремлет на  
крыше...

\*\*\*

Всё проходит и это пройдёт.  
Что останется? Ведомо Богу.  
Тень Луны прислонилась к порогу  
и уснула. Не скоро восход.

И такая беззвёздная тишь  
омывает натруженность слуха,  
что откроется в небе проруха  
и в неё от Земли полетишь.

Птицы будут внизу хлопотать,  
а на небе седьмом, как когда-то,  
позовёт тебя к завтраку мать ...  
и отца: «Чай остынет», и брата ...

Позовёт и растает в тиши.  
В семь сторон убегает дорога.  
И летишь. И вокруг ни души,

ни руки, ни крыла и ни Бога.

И снова вспоминается своё, собственные «родительские» стихи... Одно из них:

\*\*\*

Собака снова снилась... –  
«Гулять? – Пальто надень!»  
И вот растёт, как милость,  
На стёклах серый день.  
И, как простая гамма  
Порой бросает в дрожь:  
Дружили пёс и Мама,  
Водой не разольёшь...

26 августа 1999 г., Pittsburgh

Давиду Самойлову принадлежат строки, которые я отношу к вершинам поэзии: «Но в памяти такая скрыта мощь,/Что возвращает образы и множит.../ Шумит, не умолкая, память дождь,/И память-снег летит и пасть не может». Как будто про Кагана сказано! Приведу лишь одно стихотворение, на мой взгляд, огромной выразительной силы, поражающее сочетанием самого конкретного, казалось бы преходящего, и самого вечного. Стихотворение, в котором как будто переплелись все линии книги.

### **Подстаканник**

Дед,  
которого я никогда не видел живым –  
рассказывала бабушка –  
любил чай,  
налитый из кипящего чайника  
по самый край стакана чуть не с мениском.  
В детстве я представлял этот кипяток с мениском  
и мне казалось, что у меня с языка слезает шкура.  
Но дед так любил...  
Его мельхиоровый подстаканник  
стоит у меня на письменном столе ёжиком  
с карандашами и ручками вместо иголок,  
а деда забрали в день парижской коммуны  
в тридцать восьмом  
и шлёпнули как врага народа шестого ноября  
в жертву усатому молоху великой революции,  
которому от этого  
жить стало лучше и веселее.

В дедовском деле зла в записях нет –  
выморочный язык массового делопроизводства  
и только однажды  
в синих чернилах проступило что-то человеческое,  
когда следователь написал  
старый и больной человек.  
Старый и больной?  
Ему шёл пятьдесят второй,  
этому старому и больному.  
Великий менеджер с отеческим взглядом  
глыбится камнем у кремлёвской стены.  
В московском метро снова красуется  
нас вырастил сталин на верность народу  
на труд и на подвиги нас вдохновил,  
а у деда ни могилы, ни памятника –  
только слегка помятый мельхиоровый подстаканник  
с овальным клеймом на доньшке  
SCHIFFERS & Co. GALW WARSZAWA  
да несколько фотографий,  
да копия дела...  
Вот и всё, что осталось от деда,  
которого я никогда не видел.  
Я счастливый.  
У других и этого не осталось.

Читаю, и, кажется, про моего деда пишет Каган. И я деда не видел, и так же исчез он в ГУЛАГе, и так же мне про него рассказывала бабушка. Спасибо, Виктор Ефимович.

Замечательна конкретика многих строк «Петель времени», в том числе цитированных в этом эссе, воскрешающая врезавшиеся в память подробности давно минувшего быта. Абсолютная точность памяти поэта очевидна и в его философски-пейзажной лирике:

\*\*\*

*Куда меня ветром времён и за  
что занесло.*

Евгений Витковский

Облаков шальные кони  
топчут синие луга.  
У июня на ладони  
тополиные снега.

Время терпко словно слово  
и влажны от слов глаза.

В зонтиках болиголова  
заплутала стрекоза.

Семя тыквы. Чай зелёный.  
Книжный рай до потолка.  
День томительно продлённый.  
Не окончена строка.

Многоточья наважденье.  
Шепоток календаря.  
Сень раздумья. День рожденья.  
Вопреки? Благодаря?

Тёплый рай земного ада.  
Новая зовёт тетрадь.  
И отрава, и отрада –  
смысл по слову собирать.

Это сладостное бремя –  
ставить жизнь свою на кон.  
И в судьбу глядится время,  
как в росиночку дракон.

«Облаков шальные кони/топчут синие луга»! Просто волшебный образ. Да всё стихотворение – поток завораживающих образов, метафор, многослойных ассоциаций. И как естественно, как непринуждённо сочетаются «синие луга» с «книжным раем»! Книги, книги – до самого потолка. Творчество поэта, как проявление Творчества Всесущего – в его физической и духовной беспредельности.

Возвращаясь к моей с Виктором перекличке, отмечаю, что в воскрешении конкретики прошлого у Кагана преобладают зрительные восприятия, у меня – акустические. Я, например, не один раз просыпался в своём фанерном пенсильванском дворце от звука открывавшихся двадцать лет назад дверей лифта в моём московском подъезде. Точность воспроизведения всей гаммы стуков, скрипов, лязгов казалась мистической, становилось страшно... Два моих стихотворения-воспоминания, выбранные почти наугад из многих:

#### **DEJA ENTENDU**

Утрата давних адресов,  
Подъездов, лестниц, телефонов,  
Лесов янтарных и зелёных,

Дверей, закрытых на засов,  
Барометров столетий оных,  
И нескончаемых бесед,  
Горячих споров без предмета –  
И где-то ты теперь, сосед,  
С какой подругой делишь лета?  
Прости, не гневайся, мой друг,  
Мне Новый Свет, как в море круг,  
Я здесь пою почти, как Дворжак, –  
И наваждение милых ножек,  
И тот заледенелый клён...  
И глиною, прошедшей обжиг,  
Я на столетья закалён.

Здесь всё при мне – от ласк до дряг,  
От липы и до эвкалипта.  
Так что ж вокруг горла вдруг удав,  
Как Гамлет, Призрак увидав,  
Я вздрогну: «Б-же, ржавый лязг  
Всё той же старой двери лифта...»

3 ноября 2002 г., Pittsburgh

\*\*\*

Старая пластинка,  
Шорох, треск, щелчки...  
Стол и кресла спинка.  
Бабушка. Очки.  
Бурно звуки лились  
В переулках хмель. –  
Гилельс, Гилельс, Гилельс!  
Где-то Ты теперь?  
И в закатном блеске  
Жести и стекол  
Дмитрий Кабалевский,  
Лёгкий, как Эол...  
Из окон напротив  
Гимн для синьорит –  
Песнь о Дон Кихоте,  
Романсьеро ритм.  
Трёх пластинок сшибка:  
Резко, как шрапнель,  
«Мишкина ошибка»  
Рвётся на панель.

Радости и вздохи,  
Дворник и метла... –  
Сладкий дым эпохи,  
Что навек ушла.

27 февраля 1999 г., Pittsburgh

«Где-то ты теперь?» – тревожный вопрос, неотвратимо возникающий, когда память воскрешает прошлое. Друг-сосед с тех пор – увы – пересёк Ахерон... Мир Тебе, Сашенька...

Конечно, любые стихи, особенно такие талантливые как у Кагана, говорят многое об их авторе. Читателя растревожат настойчивые упоминания наркоза, которые увенчиваются прямым обращением к этой невесёлой стороне жизни:

### **Из наркоза**

возвращаясь из небытия в бытие  
повисаешь как бабочка на острие  
почему-то игла на запястье  
называется это так нежно ай-ви  
и молекулы бродят в остывшей крови  
сикось-накось качаясь от счастья

в голове ещё бредит наркозная пьянь  
матеря поминутно то инь а то ян  
что пройти не дают так надрались  
и сестрица бедром задевает рыжа  
и в гортани взбухает шершавая ржа  
словно слова кипящая завязь

и ледышку катая во рту языком  
понимаешь что ты не хароном влеком  
не шаром в занебесную лузу  
а туда где у капли янтарно брюшко  
как верблюд пролезает сквозь жизни ушко  
и мурашки танцуют по пузу

просыпаешься так никуда не спеша  
что и доли мгновенья смакует душа  
даже боль только лишь подтвержденье  
что минувшее в будущем отражено  
и в тебя ещё толком не превращено  
чуть смущённо глядит отраженье

Если любой сон своего рода репетиция смерти, то общий



наркоз – репетиция генеральная. Вещь мне хорошо знакомая: в 2007 году с интервалом в неделю дважды «отдохнул под наркозом» (как выразился незабываемый Савва Игнатъич из «Покровских ворот»). Анестезиолог назвал себя мастером снов, и я заказал ему моё исполнение, помнится, соль-минорного концерта Сен-Санса с хорошим симфоническим оркестром (по его выбору) в Большом зале Консерватории. Врач обещал. И, конечно, никого концерта не состоялось. Я просто провалился в небытие. Зато вполне удался, думаю, редкий эксперимент – в каталке по дороге в операционную (ох, и длинны же были коридоры госпиталя!) сочинил стихотворение – хотел проверить, вспомню ли, вернувшись (если вернусь), в этот мир. Вспомнил! Для любознательного читателя вот моё «наркотное стихотворение»:

\*\*\*

Кислород, огни, каталка,  
Бесконечный коридор... –  
Не ромашка, не фиалка –  
Лишь на крыльях катафалка  
Мне отсюда на простор...  
А пока – тюрьма кровати,  
Санитары, доктора... –  
Тень с косою и в халате,  
Мира чёрная дыра...

6 июля 2007 г., Shadyside Hospital, Pittsburgh

Хочу пожелать Виктору Ефимовичу здоровья, здоровья и здоровья, чтобы не писать ему более «наркотных» стихов.

Если первая часть строки Окуджавы: «Давайте восклицать, друг другом восхищаться!» явно не о Кагане – он не из восклицателей, то умением восхищаться собратями по высокой болезни сочинительства поэт щедро одарён. При всём своём трагическом, грозном колорите книга Кагана оставляет впечатление открытости автора к тому, что волнует его в искусстве, в литературе особенно. А волнует многое. Это видно из уже упоминавшейся интертекстуальности – не удивляюсь, встречая, скажем, такую строку: «Мир спасает, да всё не спасёт красота», а также из ряда эпиграфов и посвящений. Некоторые стихи Кагана достигают изобразительной силы работ выдающихся художников:

\*\*\*

На фоне облаков косяк.  
В руке продрогшая синица.

Прямая наперекосяк.  
Кривая за угол стремится.

Окно – Малевича квадрат.  
Луны овал в углу квадрата  
дрожит, как бомж у божьих врат –  
светло, блаженно, виновато.

Слова – ни сердцу, ни уму  
в немотстве светопреставленья.  
И жизнь, что катится во тьму,  
несёт с собою просветленье.

Иногда мне слышатся невольные или сознательные  
отзвуки любимых поэтов нашего с Виктором поколения. Не  
парафраза ли Окуджавы вот эти строки:

\*\*\*

шарик вертится негромко  
шарфик выгнулся дугой  
и потрескивает кромка  
льда под хрупкою ногой  
и смыкается со всхлипом  
синева над головой  
глобус вертится со скрипом  
в небе шарфик голубой

Или такие отзвуки:

\*\*\*

сума сумой суме  
тюрьме тюрьмой тюрьма  
ты сам себе  
карман и грош в кармане  
труба трубой трубе  
судьба судьбе судьбой  
и рана раной застарелой ране  
и что ни день  
то снова бой с собой  
и тень отца  
быть или не быть подскажет  
бой бою преподаст последний бой  
и карту будней  
час последний смажет  
и кровь расплатой

за свободу слов  
где бог умрёт с тобой  
и рядом тихо ляжет

Грамматические и семантические конструкции первых строк<sup>13</sup> заставляют меня снова вспомнить об Окуджаве, об его дивной песне «Заезжий музыкант целуется с трубой»:

.....  
Ты слушаешь его задумчиво и кротко,  
как пенье соловья, как дождь и как прибой.  
Его большой трубы простуженная глотка  
Отчаянно хрипит. (Труба, трубы, трубой...)  
.....  
Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью:  
Заезжий музыкант играет на трубе!  
Что мир весь рядом с ним, с его горячей медью?..  
Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе...

С другой стороны кагановские строки «и карту будней/час последний смажет» не от Маяковского ли? Не от его ли знаменитого

Я сразу смазал карту будня,  
плеснувши краску из стакана;  
я показал на блюде студня  
косые скулы океана.  
На чешуе жестяной рыбы  
прочел я зовы новых губ.  
А вы  
ноктюрн сыграть  
могли бы  
на флейте водосточных труб?

Каган сможет!

Из посвящений я, конечно, отметил для себя три стихотворения, адресованные нашему общему с Каганом старшему другу Иону Дегену. Одно из них:

\*\*\*

*...праздную я не день рождения, а 21 января (1945) –*

---

<sup>13</sup> Сходная конструкция встречается ещё в одном стихотворении: «занебесного ветра порывы/чёрт-те что происходит со мной/льнёт к щеке засыпая счастливо/тишина к тишине тишиной».

*день моего последнего ранения, когда я был убит. Вот  
это день моего рождения.*

Ион Деген

Солнце тлело вполнакала.  
Смерть шептала: «Не дыши!».  
Жизнь по капле вытекала  
из простреленной души.

Без конца минута длилась.  
Жизни бился бледный блик.  
Бог войны дарил, как милость,  
прерывающийся миг.

Вдоху не хватало тела,  
выдох воздух ртом хватал.  
Долго звёздочка летела  
на алеющий протал.

Облака тянулись к раю.  
Адом чёрный снег пропах.  
Проступала соль земная  
на искусанных губах.

Отражались в роговице  
пух земли и неба твердь.  
Умирал, чтобы родиться,  
в жизнь переплавляя смерть.

И душа, изнемогая,  
отлигнула календарь.  
Начиналась жизнь другая.  
Двадцать первое. Январь.

Скорбными знаками проходят по книге прощальные, поминальные стихи. Среди них особенная моя боль. 11 июля 2011 года мы потеряли Марка Азова, мудреца, пророка, еврейского Йорика, писателя, поэта безграничного дарования<sup>14</sup>. Памяти Марка Яковлевича Каган посвятил шестичастное стихотворение, заканчивающееся баховским просветлением:

---

<sup>14</sup> Моё прощальное слово:  
<http://7iskusstv.com/2011/Nomer7/Kushner1.php>.

### Памяти Марка Азова

1.

Вот и время итогов и точки,  
деревянной обложки тоска.  
Были ягодки – стали цветочки,  
было дерево – стала доска.

Смех до слёз, смех сквозь слёзы – утеха  
испытания жизнью навзрыд.  
Белый ангел снежнейшего смеха  
в изголовье у смерти сидит.

2.

И дерево в июле облетело.  
Ушла с него растерянная мысль.  
Стал неземным. Земле оставив тело,  
летит душа в заоблачную высь.

Летит душа ... Вернётся, не вернётся –  
ни ей, ни нам предвидеть не дано.  
И там на дне небесного колодца –  
свободной птицей в вечности окно.

От дня рожденья и до дня ухода  
на девять дней глухое забытьё.  
И неземная терпкая свобода  
земное окликает бытиё.

3.

От мира до войны лишь миг  
и вечность от войны до мира.  
Июльский птичий переклик,  
постели тесная квартира.

Жизнь внутривенна и горька,  
и смерть уже целует в губы,  
и ночь, как богова рука –  
на хрупкость крыш, печные трубы.

4.

Оставив земле обветшалое тело,  
журавликом в небо душа улетела  
и там ей спокойно, легко и счастливо ...  
А стих кровото́чит на месте обрыва.

А крыши ... а крыши, как раньше черны.  
А небо ... а небо, как прежде, лилово.  
А он – где ни мира уже, ни войны  
и слово беззвучно вливается в Слово.

5.

Листает память книгу лет  
в нездешней тишине,  
ступая бережно след в след  
то миру, то войне.

А на душе уже покой  
и свет впадает в тень,  
и недописанной строкой  
последний тает день.

6.

Столько раз шёл по самому краю,  
где земля разверзалась у ног ...

А теперь время вышло проститься.  
Хлеб на стопке. Погасла звезда  
и души невесомая птица  
улетела неслышно туда,

где всевидящий Бог Адонаи  
говорит: «Будь со мною, сынок».

Ушли родители, уходят старшие поколения, один за другим уходят ровесники... Мы – на переднем крае, «теперь по нам прямой наводкой/ведут огонь», как я сказал когда-то в старом стихотворении...

Книга «Петли времени» Виктора Кагана – несомненное событие в литературе. Читатель, открывший её, будет к ней возвращаться. Чтение это – надолго, такие стихи не глотаются подряд, залпом, к ним возвращаются, над ними задумываются, над ними вздыхают, вспоминая своё... Ибо настоящая поэзия адресована многим и каждому отдельно.

Автор завершает книгу итоговым стихотворением-эпилогом. Закончу им и я эти заметки.

### ФИНАЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

*Я кончил книгу и поставил точку ...*

Арсений Тарковский

Поскольку жизнь склоняется к зиме,  
глагол спрягается решительней, но тише,  
и снегопад в шуршащей кутерьме  
черновиков забеливает крыши.

Я кончил книгу. Точка – как печать  
сургучная, чтоб не начать сначала,  
чтобы с начала снова не начать  
строку, что полстолетья отзвучала

тому назад. Себя не повторить.  
А если б мог, то что за смысл в повторе?  
Нажать на сохранить и на закрыть  
и чистый лист открыть на мониторе.

И клавиши не трогая пока,  
пьянея непривычной белизною,  
ждать, что с небес опустится строка  
натянутой на немоту струною,

или поднимется волной со дна души,  
ещё сама себя не понимая.  
Тогда не упускай судьбу, пиши –  
и ты другой, и музыка иная.



# Илья Корман

## Стрелы мифов

### Опыт мифопоэтического прочтения романа У.Фолкнера «Когда я умирала»



«Когда я умирала» (1930) нет трагедии поколения, вернувшегося с войны – как в «Сарторисе»; нет расовой проблемы – как, например, в «Свете в августе», «Авессаломе...» и «Осквернителе праха»; нет ползучей экспансии бездушных дельцов-Сноупсов – как в трилогии «Деревушка», «Город», «Особняк». А что же есть? На чём этот роман держится?

Не претендуя на полноту ответа, попробуем раскрыть роль скрытого мифологического слоя романа.

**Структура и некоторые особенности романа.** Роман состоит из 59 главок-монологов, произносимых мысленно пятнадцатью персонажами. Причём Адди Бандрен свой монолог произносит посмертно. Больше всего монологов (19) принадлежит Дарлу, его первый монолог и открывает роман. На втором месте – Вардаман, младший брат Дарла (10 главок). Таким образом, слово чаще всего предоставляется «сумасшедшему» и ребёнку. Причём ребёнку, который на какое-то время и сам становится «сумасшедшим» («Он ума лишился от горя», – говорит Кора Талл мужу).

Так продолжается традиция, начатая в «Шуме и ярости», где первая часть романа даётся от лица и в восприятии идиота – Бенджи.

Сумасшествие Дарла – особого рода: оно делает его прозорливцем. Так, в 12-й главке Дарл описывает последние минуты Адди Бандрен, описывает очень точно, зримо, хотя сам в это время отсутствует: «Она ложится и поворачивает голову, не взглянув на папу. Смотрит на Вардамана; жизнь хлынула из глаз, два пламени сильно вспыхнули на мгновение. И гаснут, словно кто-то наклонился к ним и задул.

– Мама, говорит Дюи Дэлл. – Мама!».

Только Дарл понял, что Дюи Дэлл беременна. Как раньше



понял, что отец Джула – не Анс (о последствиях этого понимания мы скажем ниже).

У Дарла «глаза полны земли». Той земли, которая «почва и судьба». Слишком много понимает Дарл. Понимает за других, а вот своей судьбы не предвидит. «Этот мир – не его мир; эта жизнь – не его жизнь», – так говорит о нём Кеш.

**Немного топографии.** Дом Бандренев стоит на горе. Больше того: «Какого черта твоя жена придумала, – я говорю, – заболеть на вершине горы?».

«Дом на горе.//Не выше ли?//Дом на верху горы.» (М.Цветаева). Итак, дом не просто на горе, но на верху горы. Это – первая особенность топографии.

Вторая особенность: дорога проходит не просто рядом с домом, но *вплотную к дому*. Выйдя из дома через парадный вход, человек сразу оказывается на дороге.

Третья особенность: дом наклонён к дороге. «У меня к тебе наклон лба» – М.Цветаева. «Дом наш немного наклонился под гору, и сквозняк в прихожей дует всегда с подъемом. Бросишь перо у входа, его подхватит, вынесет к потолку, отгонит к черной двери ... то же самое – с голосами. Войдешь в прихожую, и они будто над головой у тебя, в воздухе говорят». С одной стороны, дом наклонён к дороге и как бы вглядывается в неё; а с другой – он как бы хочет взлететь. Словом, обитателям дома не уйти от дороги: они обречены отправиться в путешествие.

**Табу и письмо.** В прозе Фолкнера оживают архаичные атрибуты человеческого общежития. Один из таких атрибутов – *табу*.

Пример табуированного слова в КЯУ – *гроб*. Его могут заменить эвфемизмом (*чертов ящик*) либо просто выбросить из текста. Вот отрывок из речи Джула, где оба эти способа присутствуют: «Все потому, что он (Кеш – *И.К.*) торчит под самым окном, пилит, колотит по чертову ящику. У нее на глазах. И каждый вздох ее полон этого стука и ширканья, и все у нее на глазах, а он долбит ей: Видишь? Видишь, какой хороший тебе строю?».

«Какой хороший тебе строю» – существительное пропущено, ибо табуировано. Пустое место, оставшееся от слова, скрыто графическим сдвигом оставшихся слов. Приведем еще пример с Джулом: «– Все потому, что лежит и смотрит, как Кеш стругает чертов ... – говорит Джул. Говорит грубо, со злостью, но самого слова не произносит. Так мальчишка буянит в темноте, распаляет в себе храбрость, и вдруг затих, своего же шума испугался».

То же и с Вардаманом: «Когда они сколотят его, они положат ее туда; я долго не мог сказать слово». Не мог нарушить

табу.

Но, изгоняемое в дверь, табуированное слово влетает в окно. «Они уложили ее вверх ногами. Кеш сделал его наподобие часов (напольных – *И.К.*), вот такой (следует рисунок – *И.К.*), все швы и стыки – на скос и выровнены рубанком». Табуированное слово заменено рисунком. В тексте 20-го века обнаруживается вдруг иероглиф-рисунок, как бы пришедший из древних времён.

Однажды возникнув, это явление не хочет умирать. Вот оно повторяется в монологе Адди: «Я думала: форма моего тела там, где я была девушкой, – это форма <пропуск>, и я не могла подумать *Анс*, не могла вспомнить *Анс*».

Здесь нет рисунка, он табуирован, цензурован, но место, на котором он бы располагался, если б не был цензурован, оставлено пустым.

Сходная ситуация возникает в речи Вардамана (вернее, в письменной фиксации речи): «Давно слышу корову, стучит копытами <пропуск> по улице. Потом выходит на площадь. Голову опустила <пропуск> стучит копытами <пропуск>. Мычит». Пропуск каждый раз соседствует с выражением «стучит копытами». Здесь не совсем ясно, что он означает, символизирует. Стук копыт? Прислушивание Вардамана? Ход времени? А может, пропуском заменено изображение коровы? Так или не так, но ясно одно: из-за табу, благодаря табу – в прозе Фолкнера воскресают древние, архаичные формы письма.

**Тотемы Адди Бандрен.** Можно было бы ждать, что большая рыба, пойманная Вардаманом под мостом, будет нести большую символическую нагрузку. Что в ней, например, обнаружится перстень. Или бутылка с запиской.

Да и мост должен бы что-нибудь да значить.

Но ничего этого вроде бы нет (кое-что есть, если сделать одно, вполне естественное, допущение – см. раздел «**Церковь и мост**»).

И всё же поимка рыбы не напрасна: она инициирует поиски тотемов для Адди Бандрен. Дарл и Вардаман – «сумасшедший» и ребёнок – занялись поисками. Результаты таковы: мама Вардамана – рыба; мама Джула – лошадь; у Дарла матери вообще нет.

Мама Вардамана – рыба, и при переправе через реку она попыталась уйти в воду, «чем и объясняется катастрофа с повозкой».

Мама Джула – лошадь. Поэтому, во-первых, у Джула есть конь-любимец. Поэтому, во-вторых, священник Уитфилд (фактический – т.е. биологический – отец Джула) прибыл из-за реки верхом на лошади.

Но почему Дарл считает, что у него нет матери? Псевдофилософские построения Дарла – вроде, например, такого: «– Дарл, а твоя мама кто? – спросил я (Вардаман – *И.К.*).

– У меня ее нет, – сказал Дарл. – Потому что, если у меня была, то она *была*. А если *была*, значит, ее нет» – ничего, конечно, не объясняют. Тем не менее вывод Дарла об отсутствии у него матери нельзя считать случайным.

Прежде всего, конечно, Дарл не может простить ни матери, ни Джулу «главного факта» – рождения Джула от внебрачной связи.

«– Джул, – говорю я, – ты чей сын? <...>

– Твоя мать была лошадь, Джул, а кто был твой отец?».

Кроме того, дело ещё и в особых отношениях между Адди и Джулом – отношениях, которые чуткий ревнивый Дарл улавливает, как сейсмическая станция улавливает отдалённые подземные толчки.

На первый взгляд может показаться, что Джул – бессердечный молодой человек, и совсем не любит Адди. Кора Талл, например, так и считает: «А всего-то грехов у нее – что больше любила Джула, и это же было ей наказанием, потому что Джул ее никогда не любил <...> Так и сидела, заблудшая в тщеславии и гордыне, затворивши сердце от Господа, а на место Его поставивши смертного себялюбивого мальчишку».

Но этот «мальчишка» по-своему любит мать: «... моя бы воля, не было бы такого, чтобы каждая сволочь в округе приходила поглазеть на нее ... Были бы я и она, двое, на горе, и я бы камни катил им в морду, подбирали и бросал с горы...». Были бы они одни на горе... Любовь Джула ревнива и жестока. Он «монополизировал» любовь к матери, тем самым «обездолив» Дарла. С другой стороны, и мать любит Джула больше всех остальных детей, потому что Джул – не от нелюбимого Анса, а от Уитфилда. Вот и получается, что у Дарла «нет матери».

**Тотем Дюи Дэлл или Странная троица.** Речь идёт о следующей троице: Дюи Дэлл, Вардаман, корова. Связь между Вардаманом и коровой устанавливается в 13-й главке: «Корова стоит в дверях конюшни, жуёт. Увидела меня на дворе и замычала; шлепает зеленью во рту, шлепает языком.

– Не буду тебя доить. Ничего для них делать не буду.

Прохожу мимо и слышу, что она повернулась. Я обернулся: дышит на меня сзади душисто, жарко, сильно.

– Сказал тебе, не буду.

Она тычется в меня, сопит. Мычит из нутра, с закрытым ртом».

Связь между Вардаманом и Дюи Дэлл, а также между Дюи

Дэлл и коровой устанавливается в следующей, 14-й главке.

Дюи Дэлл заходит в хлев, чтобы подоить корову. Кроме того, она хочет найти Вардамана.

« – Вардаман. Эй, Вардаман!

Он выходит из стойла.

– Ах ты, шпион проклятый. Шпион проклятый. <...>

Мои руки трясут его с силой. Наверно, я не смогу их остановить. Я не знала, что они могут так сильно трясти. Нас обоих трясут, и меня и его».

(Эта сцена перешла в «Свет в августе», приняв вид сцены с диетсестрой и маленьким Кристмасом: «Когда занавеска отлетела в сторону, он не поднял головы ... «У-у, гаденыш! – шипел тонкий злобный голос, – у-у, гаденыш! Шпионить за мной!»)

И далее: «Корова тычет меня носом, мычит.

– Придется тебе подождать. То, что в тебе есть, против того, что во мне, – ерунда, хотя ты тоже женщина».

«То, что во мне» – иными словами, Дюи Дэлл беременна.

Итак, Дюи Дэлл, Вардаман и корова – вот такая странная троица. И вот одна из последних главок – пятьдесят шестая: Дюи Дэлл и Вардаман идут по вечернему Джефферсону. Они подходят к аптеке. Дюи Дэлл заходит внутрь, а Вардаман остаётся ждать снаружи. В подвале аптеки Дюи Дэлл проходит специфическое «женское лечение» с молодым Макгауэном. Поскольку «лечение – женское», а корова – «тоже женщина», то вот и появляется корова: «Давно слышу корову, стучит копытами <пропуск> по улице ...» (Эту цитату мы уже приводили в «**Табу и письмо**»).

Корова как бы приходит выразить сочувствие Дюи Дэлл, ведь «они обе – женщины». Короче говоря, корова есть тотем Дюи Дэлл, но ощущает это только чуткий Вардаман.

**Первое положение во гроб.** Для чего кладут мёртвое тело в гроб? Ну, очевидно, чтобы гроб с телом похоронить, предать земле. Но в семье Бандренов всё не так: тело Адди Бандрен кладут в гроб, а гроб заколачивают – чтобы уберечь её от выходов Вардамана: «она лежала на кровати, опять у открытого окна, и ее обдавало дождем. Два раза он открывал окно».

Открывал окно, чтобы его мама, кем бы она ни была – рыбой или не-рыбой, могла вернуться туда, где была до того, как её подменили: «Это не она была. Я там был, смотрел. Я видел. Я думал, это она, а это была не она. Не мама. Она отошла, когда другая легла на ее кровать и закрылась одеялом». Ну, а раз теперь мёртвое тело положили в гроб, а крышку прибили гвоздями, то остаётся только буравить крышку, чтобы всё же дать матери возможность дышать и перемещаться: «крышка гроба вся как есть просверлена, и в последней дырке – новенький бурав Кеша,

сломанный. Крышку сняли – оказывается, он и лицо ей два раза пробуравил».

«Вся как есть просверлена» – иными словами, отверстий было много, и они размещались по всей площади крышки. Но: ни шея, ни туловище, ни руки-ноги покойницы не пострадали. Пострадало только лицо: оно пробуравлено *дважды*. Почему так?

А потому, что есть обычай класть монеты покойнику на глаза (плата за перевозку – через водную преграду, через реку – в страну мёртвых).

Но это в нормальных семьях. А в нелепой семье Бандренов этот обычай принял форму *сверления двух дополнительных глаз*.

**Второе положение во гроб.** Кеш сделал хороший гроб. Его форма и размеры соотнесены с весом и размерами покойницы. Но в дело вмешиваются женщины. Они обряжают Адди в подвенечное платье, платье колоколом – то есть, расширяющееся книзу. Гроб же, наоборот, сужается книзу. Поэтому, чтобы не помялось платье, покойницу кладут «вверх ногами». А в таком положении у тела нет равновесия с гробом.

Отметим ещё, что, обряжая покойницу в подвенечное платье, женщины совмещают венчальный обряд с погребальным, «любовь – со смертью».

Как хорошо вносили гроб, когда он был пустой: «вчетвером – Кеш с папой и Вернон с Пибоди – поднимают гроб на плечи и направляются к дому. Он легок, но шагают медленно; пуст, но несут осторожно; неодушевлен, но переговариваются шепотом, остерегая друг друга, словно, законченный, он стал живым и только дремлет чутко, а они ждут, когда он сам проснется».

И как плохо несут, когда он с телом: « – Поднимай! – говорит он (Джул – *И.К.*).

– Поднимай, бестолочь, душу твою дьявол.

Натужился и вдруг вскидывает свой конец; мы едва успеваем за его рывком – подхватываем гроб, чтобы не перевернулся...

– Все-таки подождите, – говорит Кеш. – Говорю, равновесия нет. На холме понадобится еще один человек.

– Ну и отпусти, – говорит Джул. Он не останавливается».

Неправильное, «обратное» положение тела в гробу – мстит за себя.

**Подводный Христос.** «Христианство в произведениях Фолкнера», или шире: «Христианство и язычество у Фолкнера» – темы обширные и интересные. В этом разделе и в следующем («**Посвящённый Богу**») мы лишь слегка коснёмся первой из них. Сперва – по поводу эпизода с бревном (при переправе через реку).

Бревно сравнивается с Христом: «*Оно вынырнуло и на миг*

*стало стоямя над вздыбленными водами, как Христос»* (курсив Фолкнера). И дальше: «Бревно вдруг выскакивает между двух волн, словно выстрелило со дна реки. На конце его, как стариковская или козлиная борода, – длинный клочок пены». И именно это бревно, бревно-Христос, «тяжелым броском вдвигается между нами, наплывает на мулов ... бревно ударяет в повозку и накреняет ее, задирает ей передок». И ещё раз: «бородатая голова бревна снова ударяет в повозку». Немало брёвен проплывало по реке, но чтобы совершилась катастрофа с повозкой, понадобилось бревно-Христос.

Тема подводного Христа (но на сей раз спасающего, а не губящего) ещё раз возникнет в «Особняке», в рассказе проповедника Гудихэя.

**Посвящённый Богу.** Кеш – первенец, а «первенцев следует посвящать Богу». Вот почему он становится плотником, подобно Иосифу-Обручнику и Иисусу. И вот почему он кроет крышу *церкви*.

А его падение с крыши можно соотнести с искушением Иисуса на крыле храма.

Последняя, завершающая роман глава даётся от лица Кеша, причём конец предпоследнего абзаца написан как бы из будущего времени. А в 53-й главе Кеш даёт обстоятельную моральную оценку поступку Дарла (поджогу сарая) – оценку, с которой, видимо, согласен и сам Фолкнер.

Отметим, что Кеш никогда не говорит о своих личных проблемах – например, о сломанной ноге и, как следствие, хромоте до конца жизни. Его мысли всегда – о других.

К концу романа речи Кеша начинают напоминать речи морального (христианского) проповедника. Посвящение Богу – состоялось.

Первая глава романа дана от Дарла, но Дарл доказал свою несостоятельность, и последняя глава даётся от Кеша, ставшего моральным проповедником. Причём возможность подобного перерождения можно распознать и раньше – например, в 46-й главе: «Он лежит на спине, *его острый профиль, аскетический и значительный, обращен к небу*».

**Герои: зооморфные черты.** Герой КЯУ, говоря о другом герое, может сравнить того с животным или птицей. Например, Талл отмечает, что Вардаман похож на щенка и на сову: «Он был похож на уопшего щенка ... А он смотрит на меня, глаза круглые, зрачки черные, как у совы, когда ей в морду посветишь». Если взять какого-либо героя и посмотреть, часто ли он уподобляется (другими героями) животному или птице, то окажется, что – нет, не часто: хорошо, если раза три-четыре за весь роман. Для Талла,

например, такое уподобление всего одно, его делает Дюи Дэлл: «И входит старый ворон Талл поглядеть, как она умирает». Есть герои, которых вообще ни с кем не сравнивают.

Но безусловным и недостижимым чемпионом по части зооморфных сравнений (мы их насчитали восемь) оказывается самый, казалось бы, тусклый персонаж – Анс Бандрен. Причём и сами эти сравнения зачастую оказываются более подробными и наглядно-убедительными. Приведём некоторые. «Папа нагибается над кроватью; в его сгорбленном силуэте – что-то от совы: взъерошенное возмущение, под которым прячется мудрость настолько глубокая или косная, что даже не родит мысли».

«Папа возвращается по берегу. Останавливается и смотрит на нас, сутулый, печальный, как отставной бык или старая высокая птица».

«Анс стоит, словно пугало, словно бык по колени в пруду, – и кто-то подошел, пруд стоймя поставил, а он и не заметил, что воды-то нет».

«Я заметила, что он уже горбится, – высокий мужчина и молодой, на козлах он напоминал голенастую озябшую птицу».

А вот, помимо упомянутых восьми, описание, где прямого зооморфизма нет, но он как бы подразумевается: «У папы ноги растоптанные, пальцы кривые, корявые, гнутые, а мизинцы совсем без ногтей». То есть: ноги как лапы.

И ещё не забудем, что у Анса на спине – горб.

Особого внимания заслуживают рассуждения Анса о дороге и движении – оригинальные и даже, может быть, глубокие: «...Господь сделал дороги для передвижения, почему и положил их лежа на землю. Что двигаться должно, то он сделал вдлинь – ту же дорогу, или телегу, или лошадь, а что на месте быть должно, то он сделал торчмя – к примеру, дерево или человека ... Если бы Он хотел, чтоб человек всегда передвигался и кочевал, разве не положил бы его вдлинь, на брюхо, как змею? Надо думать, положил бы».

Так могла бы рассуждать рептилия – например, крокодил.

Что же означают эти зооморфные и околозооморфные описания, эти любопытные рассуждения а la крокодил? Это означает, по нашему мнению, что на самом деле Анс не человек, а оборотень. Точнее говоря, Анс – дракон, принявший облик человека. Когда дракон был молод, он взял в жёны девушку из долины, сироту, и унёс её за реку, на вершину горы.

Прошли годы. Дракон постарел, у него выпали зубы. Жена умерла, и дракон вознамерился, под видом похорон жены, спуститься в долину, вставить зубы (зубы дракона!) и взять себе другую жену. Что и было сделано.

А эпизод, в котором доктор Пибоди карабкается по верёвке на гору, чтобы лечить Адди, можно истолковать так: рыцарь взобрался на гору и вступил в бой с драконом, чтобы освободить похищенную девушку.

**Раздвоение страны мёртвых.** Если бы в КЯУ мифологические представления работали в полную силу, то река, через которую с таким трудом переправляются Бандрены, отделяла бы страну живых от страны мёртвых. Но у Фолкнера мифы хотя и различимы и отчасти работают, но они уже изрядно потускнели, побиты и покорёжены. Так, по «эту» сторону реки обитают как живые, так и мёртвые (кладбище у церкви Новой Надежды). Точно так же и по «ту» сторону реки обитают и живые, и мёртвые (кладбище в Джефферсоне). Причём на первом кладбище похоронена родня Анса, а на втором – родня Адди. Таким образом, река скорее разделяет два анклава страны мёртвых, чем отделяет мёртвых от живых. Но уж зато разделяет – в полную силу.

**Точка поворота.** Анс, уже перебравшийся на другой берег, комментирует действия Кеша и Дарла, ищущих брод: « – Возвращаются, – говорит он. – Плохая примета – возвращаться». Да, есть такая примета. Только вспомнить о ней Ансу следовало бы раньше: когда, переночевав в сарае у Самсона, Бандрены поехали назад к Таллову мосту.

Усадьба Самсона – крайняя точка пути по ложному направлению, избранному Бандренами. Точка поворота и возврата. И ещё – место многозначительных (символических) событий:

а) Сидение вокруг гроба. В сарае Бандрены проводят ночь, сидя *кругом* (вокруг гроба). Круг означает поворот, возврат: завтра Бандрены развернут повозку и поедут обратно, к Новой Надежде. Круг в КЯУ встречается в разных формах: это и бурав Кеша (сверление крышки гроба), и колёса повозки (одно из них ломается), и фонари уличного освещения в Джефферсоне («Мы идем, а огни поворачиваются вокруг, уселись на деревьях. Со всех сторон одинаково. Они идут вокруг суда...»), и бегущий по кругу игрушечный поезд, который Дюи Дэлл обещала показать Вардаману...

(Кстати, откуда взялась эта игрушечная *круговая железная дорога*? Каковы, если можно так выразиться, психологические корни этого образа? И каковы – исторические, если таковые имеются?)

Это становится ясным в более позднем произведении Фолкнера – повести «Непобеждённые» (1938), где действие происходит, по большей части, во время Гражданской войны. В новелле «Рейд» (повесть состоит из новелл), рассказывается, как солдаты-северяне разрушили железную дорогу. С рельсами они



поступили так: «янки отнесли их в лес; должно быть, человек четверо-пятеро брали там каждый рельс и гнули вокруг дерева, как зеленый кукурузный стебель вяжут на тележный стоячок».)

б) Гриф впервые спускается на землю. Душа человека часто представляется в виде птицы. Гриф – это душа Адди. В ходе поездки грифы сопровождают повозку – это душа Адди не может расстаться с телом.

**Церковь и мост.** С крыши какой церкви упал Кеш?

Всего в романе упоминаются две церкви: Новой Надежды и та, заречная, где священником Уитфилд, биологический отец Джула. Есть, вероятно, в округе и другие, не упомянутые в романе церкви. Но похоже, что церковь Новой Надежды – ближайшая к дому Бандренов.

Естественно, в таком случае, предположить, что её-то крышу и крыл Кеш, с неё и упал.

Но тогда получается, что к этой церкви относится дурная примета о возвращении, упомянутая Ансом. В самом деле: ведь мимо церкви Новой Надежды семья Бандренов проезжает дважды: сначала «туда», а потом, наутро, «обратно» – причём той же дорогой.

Теперь поговорим о мосте. Под каким мостом поймал рыбу Вардаман?

Ситуация с мостами точно такая же, как с церквями. Явным образом упоминаются *два* моста: Таллов и Самсонов. Но есть, видимо, и другие мосты. А ближе всего к дому Бандренов – Таллов мост. И к нему стягиваются события.

1. Похоже, что именно под ним Вардаман поймал рыбу, ставшую тотемом (одним из тотемов; а именно: с точки зрения Вардамана) Адди Бандрен.

2. К нему убежали – от Вардамана – лошади Пибоди.

3. К нему от Самсонов возвращаются, несмотря на дурную примету, Бандрены.

4. Переправа через мост заканчивается катастрофой (*вызванной появлением Христа «в образе бревна»*).

**Новый обсерг.** Джул – человек прямолинейный. Если Дарл «сворачивает перед сараем и огибает его по тропинке», то Джул, не сворачивая, входит в окно, проходит сарай насквозь и выходит через другое окно. Кроме того, «мама Джула – лошадь». Если «вся семья» отправляется хоронить Адди *на повозке*, то Джул сопровождает повозку *на коне*.

Можно сказать, что Джул символизирует человечество в том его периоде, когда оно уже одомашнило лошадь, но ещё не знает колеса, не знает вращательного движения. И с этой точки зрения весь роман КЯУ есть история примирения Джула с идеей

колеса, идеей вращения. Первая попытка такого примирения – совместная поездка Дарла и Джула с целью продажи лесоматериала. Попытка оказывается неудачной, причём в ходе поездки ломается именно *колесо* (а дома Вардаман ломает *бурав* Кеша. Поэтому среди инструментов Кеша, выловленных из реки, не оказывается ни одного, чья работа основывалась бы на *вращательном* движении).

Вторая, более удачная попытка – возвращение Джула после продажи его коня Ансом: «Потом мы все оборачиваемся на повозку и смотрим на него. Он подходит по дороге сзади – спина деревянная, лицо деревянное, движутся только ноги. Подходит без единого слова, – светлые глаза тверды, длинное лицо угрюмо, – и лезет в повозку». И, наконец, самая знаменательная попытка – после стычки с белым прохожим: « – Залезай, Джул, – говорю я. – Давай. Поехали отсюда.

Но он не лезет. Он ставит ногу на *вращающуюся* ступицу заднего колеса и, держась одной рукой за стойку, заносит в повозку другую ногу; ступица плавно *вращается* у него под подошвой, а он садится на корточки и смотрит прямо вперед, неподвижный, сухой, с деревянной спиной, словно вырезанный целиком из сухого дерева» (курсив наш – *И.К.*).

Ну, если уж Джул не возражает, чтобы прямо под его подошвой что-то вращалось, то не удивительно, что он не возражает и против граммофона, против вращающейся пластинки. И тут надо отметить, что происходит замена одного ящика другим: гроба – граммофоном. Если на многотрудном пути в Джефферсон вся семья концентрировалась вокруг гроба – например, сидела вокруг него всю ночь в Самсоновом сарае, то на обратном пути она будет концентрироваться вокруг граммофона, и он будет её оберегом.

И ещё надо отметить, что всё это очень напоминает миф об Орфее и Эвридике, но только какой-то покалеченный, обрубленный. В самом деле: ведь могила есть спуск в потусторонний мир. И вот туда опускают Эвридику-Адди. А музыка граммофона есть музыка Орфея.

**Минидетектив.** Главка (50-я по счёту), в которой Дарл описывает пожар в сарае, отличается повышенной литературностью и особым «культурным лексиконом»: «...как *кубистический жук*, сидит угловатый гроб на низких козлах, выступил *рельефно*».

«Как две фигуры на *греческом фризе* – красным цветом выхвачены из действительности...

Через тающий *просцениум двери* мы наблюдаем, как Джул подбегает к дальнему концу гроба ... я вижу по его губам, что он

зовет меня».

Зовёт Дарла, чтобы тот помог. Но Дарл не идёт помогать: он созерцает пожар.

Взгляд Дарла на пожар – эстетический. Взгляд Нерона на пожар Рима.

А в 53-й главке Кеш прямым текстом сообщает, что Дарл поджёт сарай. Вернувшись к главкам 50-51, мы действительно обнаруживаем там указания и намёки, подтверждающие ошеломляющее сообщение Кеша.

В 1926 году вышел в свет роман Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда». В романе содержалось новшество: преступником оказывался рассказчик, то есть персонаж, от лица которого роман написан! Новшество было настолько ошеломляюще-шокирующим, что Агату Кристи собрались исключить (и, кажется, исключили) из клуба детективных писателей.

Мы не знаем, был ли Фолкнер знаком с «Убийством ...». Был или не был, но в КЯУ (1930) он применяет приём, характерный для самых последних открытий в детективном жанре: Дарл поджёт сарай, и Дарл же описывает пожар, как независимый наблюдатель.

### **Литература**

Библиотека литературы США. УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР. КОГДА Я УМИРАЛА. СВЕТ В АВГУСТЕ. Романы. Перевод В.Гольшвева. Москва, «Тerra», 1999.



## Григорий Рыскин

### Папа Карло идет по следу

“No Island Is an Island” - серия из четырех эссе, прочитанных в виде лекций Карло Гинзбургом - профессором Итальянской Академии - в Колумбийском Университете, выпущенных затем отдельной книгой. (Carlo Ginzburg. “No Island Is an Island”. Columbia University Press. New York).

Смысл заглавия - “a noninsular vision of English literature” - неостровное видение английской литературы.

Если говорить о фирменном знаке Карло Гинзбурга, это «жест охотника, присевшего на корточки и высматривающего следы будущей добычи». Так очертил «лого» итальянского ученого В. Живов. («Морфология микроистории: Карло Гинзбург: «НЛО» 2004. №65). С этим нельзя не согласиться.

«Двадцать лет назад в эссе “Clues” (ключи, улики, ход мыслей), - подтверждает Карло, - я выдвинул гипотезу, по которой выходило, что сама идея narrative (повествования) возникла во времена, когда основным занятием человека была охота. Необходимо было по следам и приметам уведомить себя и других, что кто-то здесь прошел».

Потому-то так интересно читать Гинзбурга, что он посвящает нас в тайны своего поиска.

Итак, эти четыре эссе соединены общей темой: остров (Англия), реальный и воображаемый.

Но единство книги не только в ее тематической последовательности.

В этих «детективных» эссе--парадигма находки.

Карло Гинзбург предлагает нам приключенческое эссе. Мысль автора делает увлекательные ходы:

«Обычно все начинается случайно, непредсказуемо... Но вдруг предчувствие сенсации, догадка... Так, переводя Лукиана с греческого на латынь, Томас Мор и его друг Эразм Роттердамский не могли не проникнуться иронией первого».

И вот, движимый интуицией, Карло Гинзбург помещает Томаса Мора в лукиановский контекст, и на «Утопии» заиграли отзвуки «Сатурналий» греческого сатирика. Тут принцип голографической открытки. Смена угла зрения придает изображению объем.

Так было и с «Тристрамом Шенди» Лоренса Стерна:

«Сначала острое осознание неведения... И вдруг «ощущение морфологического родства» между «Тристрамом Шенди» и “Dictionnaire” Бейли, которого Стерн читал и перечитывал».

Да и сама этимология слова essay (от латинского exagium - баланс) ассоциирует этот жанр с необходимостью представить идеи на проверку... присмотреться...

Essay - по-английски - очерк, этюд, набросок, попытка, проба, подвергнуть испытанию, то есть взглянуть под непривычным углом. И еще...

To essay a hard task - брать на себя неблагодарный труд.

Казалось бы, тут призыв отнестись к делу несерьезно. Гинзбург поступает наоборот.

В его четырех эссе - научная обоснованность.

«Эрудиция доминирует здесь над беспечностью тона, - предупреждает автор.- Надеюсь, читатель не будет смущен моими многочисленными сносками».

### **СОБЛАЗН УТОПИИ СТАРЫЙ СВЕТ И НОВЫЙ ВЗГЛЯД ИЗ НИОТКУДА**

*Поди туда, не знаю куда.*

*Принеси то, не знаю что.*

(Русская народная сказка).

Saturnalia у древних римлян - праздник в честь бога Сатурна. В течение семи дней рабы пировали за одним столом с рабовладельцами, последние им даже прислуживали... Дети ходили на головах... Преступников не наказывали. Все предавались игре в кости, чревоугодию, пьянству.

Самое язвительное сочинение Лукиана (Вольтера античного мира) - «Saturnalia».

Карло Гинзбург считает: ритуалы Saturnalia, в основе которых инверсия, помогли Томасу Морю вообразить себе fictitious society (вымышленное общество), в котором золото и серебро шли на изготовление ночных горшков, а ели из глиняных чашек, зарубежных послов принимали за рабов, была отменена частная собственность, но не отменено рабство.

Всеобщее благоденствие достигается в Утопии не благоразумным накоплением, а неблагоразумной отменой частной собственности, то есть кровного, личного интереса.

Но ведь ...«все на свете на личном интересе основано», - это понимал даже Лужин у Достоевского.

Отмените частную собственность, и жизнь, утратив центр тяжести, превратится в Saturnalia, станет «перевертышем», встанет с ног на голову.

Томас Мор был достаточно проницателен, чтобы понимать

это. Но мог ли автор предположить, что «проект» примут слишком всерьез и реки крови прольются во имя воплощения Утопии?

Читая эссе Карло Гинзбурга, осознаешь, как актуален Мор сегодня, когда произошла утрата вдохновляющего утопического порыва. В XX веке коллективистские утопии показали свое подлинное лицо-тоталитаризм. В XXI – утопия либеральной демократии, в сочетании со стихией свободного рынка, привела к глобальному и, видимо, необратимому кризису.

Об этом предупреждал Н. Бердяев: «Только потому, что человек отчужден от самого себя и выброшен вовне, может явиться претензия победить трагизм человеческого существования внешней социальной организацией жизни. Более справедливый и более усовершенствованный социальный строй сделает человеческую жизнь более трагичной. Не внешне. Внутренне трагичной...

*Совершенным и гармоническим может быть лишь Царство Божие».*

(Н. Бердяев. «Царство духа и царство кесаря»).

Трудно поверить, что автор «Утопии» об этом не догадывался?

В начале эссе итальянский профессор обращается к статье Квентина Скиннера (Cambridge, 1987). Последний причисляет «Утопию» к жанру политической философии, традиции Цицерона и Платона:

«Отзвуки Цицерона и Платона в «Утопии» нельзя отрицать, - соглашается Гинзбург, - но основной аргумент Скиннера кажется неубедительным. Скиннер начинает свою концептуальную стратегию с заголовка «Утопии», но почему-то приводит его странно неполно. В первом издании книги Мора (Louvain, Dierk Martens, 1516) ее название звучит по-английски так: “A truly golden handbook, no less beneficial than entertaining, on the best state of a commonwealth and the new island of Utopia!”. Но почему Скиннер отсекает - no less beneficial than entertaining (не менее полезная, чем занимательная)»?

Карло Гинзбург пристальный исследователь. Но это не занудство книжного червя, а основательность эрудита. Он говорит:

«Английское слово entertaining означает на латинском - festivus, то есть игривый, шаловливый, шуточный, забавный, развлекательный. Но это никак не вяжется со строгими традициям политической философии. Книга, как я буду доказывать, древо другого леса».

И тут эссеист сообщает изумленному читателю, что Гитлодей - Nythlodaeus, от которого Мор будто бы получил все сведения об «острове всеобщего благоденствия», в переводе с

греческого означает - EXPERT IN NONSENSE - специалист по вздору, чепухе, бессмыслице, абсурду, сумасбродству, ерунде и т.д. То есть попросту - НАВЕШИВАТЕЛЬ ЛАПШИ НА УШИ(!)...

Спор Гинзбурга со Скиннером - шахматный матч, в котором преимущество «итальянца» очевидно:

«В первом издании книги, говоря о Сенате утопийцев, - продолжает Карло,- Мор употребляет словосочетание «senatu Mentirano», умышленно вставляя латинский корень mentiri - to lie - лгать, обманывать, изворачиваться»...

Кстати, именно так характеризуют американцы своих политиканов, которые преимущественно адвокаты - LAWERS. Стоит изменить одну фонему - получится LIERS - лгуны... Как будто банда лжецов перебралась с Утопийского острова на Капитолийский холм...

Итак, Карло Гинзбург ведет родословную «Утопии» от литературной традиции древнегреческого сатирика Лукиана (120-180 г. н.э.).

Новым Лукианом называли Эразма Роттердамского - друга и единомышленника Томаса Мора: автор «Похвалы Глупости» издавал и переводил «Вольтера античности».

«Признание лукиановского» характера “Praise of Folly” (Похвалы Глупости), посвященной Мору,- продолжает Гинзбург,- так же как «Утопии» Мора, публикацией которой Эразм занимался, - общее место.

Среди более поздних изданий, одно, выпущенное во Флоренции в 1519-м, особенно относится к делу: помимо сочинений Лукиана, под заголовком “Saturnalia”, оно включают «Утопию» Мора на латинском».

Воспринимая Мора в лукиановском контексте, автор не открывает ничего нового. Заслуга Гинзбурга в другом: он четко очерчивает вопрос, который никто до него не ставил: **МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ВСЕРЬЕЗ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ, ИЗЛОЖЕНИЕ КОТОРОЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ИРОНИЕЙ, ПЕРЕХОДЯЩЕЙ В НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ХОХОТ?**

**ДА ПРИНИМАЛ ЛИ «УТОПИЮ» ВСЕРЬЕЗ САМ МОР?**

Карло Гинзбург подозревает: у автора книги, вдохновившей поколения реформаторов и революционеров, особых иллюзий относительно общества всеобщего благоденствия не было. Изображая свою Утопию, Томас Мор ломает дурака. Совсем в духе Лукиана...

Ирония античного грека обращена против социального неравенства...

«- Почему ты так пал духом, Кроносолон? - вопрошает Кронус священнослужителя.

- А разве у меня нет причин для этого, господин? - отвечает священнослужитель. - Когда я вижу невероятно богатого, отвратительного и развращенного негодяя-мошенника, живущего в довольстве и роскоши, в то время как я и другие, образованные и достойные люди, прозябают в бедности и безысходности?

- Это мое правило, - объясняет Кронус, - не простирается дальше игры в кости, хлопанья в ладоши, пения и пьянства. И то только в течение семи дней (имеется в виду праздник «Сатурналий»). Что же касается более важных вопросов - упразднения неравенства и совместной жизни бедных и богатых - ЭТИМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ЗЕВС».

Римляне называли Зевса Юпитером...

Его задачу берет на себя Мор...

Но почему ЮПИТЕР СМЕЕТСЯ?

«Ничего нет забавнее, чем трактовать чушь таким образом, чтобы она отнюдь не казалась чушью», - пишет Эразм в «Похвале Глупости».

Именно таким забавам и предается Мор.

Карло Гинзбург всю демонстрирует это читателю:

«Позвольте начать с первого издания «Утопии», книги небольшого формата, опубликованной в 1516-м году. На обратной стороне титульной страницы мы видим приблизительную карту острова - Utopiae Insulae Figura...

На следующей - утопийский алфавит. Далее следует поэма на утопийском языке.

И хотя она написана «поэтом-лауреатом Анемолиусом», получается, будто бы Утопия, впадая в самохвалство, создает гимн себе.

Древние называли меня Утопия, или Nowhere (Нигде)

По причине моей изолированности.

В данный момент, тем не менее, я соперница Республики Платона,

Возможно, даже победительница Ее.

По той причине, что она очерчена только на словах,

Я же показана через людей, способы их времяпрепровождения

И законы исключительного превосходства».

Чтение сочинений «папы Карло» пробуждает и у читателя охотничий инстинкт. Обратим внимание на имя поэта-лауреата... Anemolius... Тут явный намек на animal - скотина... Выходит, главный утопийский «гимнюк» - Скотиниус.

Но где же он, таинственный остров?

Казалось бы, все свидетельства: карта... алфавит... гимн. Ну а географические широта-долгота? На каком расстоянии от



полюса?

Но вместо ответа Мор приводит письмо Питера Джила, главного секретаря города Антверпена, - ректору церкви Джерому Буслейдену.

Джил, сведущий в греческом и латыни, превозносит книгу Мора, как законченный пример *ekphrasis* (греч) - искусства живописать словами:

«Когда я созерцаю картину, изображенную кистью Мора, я бываю так потрясен, как будто сам жил в Утопии».

Ну а остров-то, где же он, наконец?

«Что же касается неопределенности Мора о географическом положении острова,- продолжает Джил,- кто-то из нашей компании, схватив простуду на корабле, закашлялся так громко, что я не расслышал. Но я не успокоюсь, пока не получу полную информацию по этому вопросу».

Тут и самому Томасу становится неловко, и он пытается заверить читателя:

«Я приложу все старания к тому, чтобы в моей книге не было никакого обмана, но, с другой стороны, в сомнительных случаях я скорее скажу невольную ложь, чем допущу ее по своей воле».

Это реминисценция из Лукиана.

Дело в том, что свои «Правдивые истории» лукавый грек начинает с признания, что он лжец, «но один из тех, чье вранье в сто крат честнее, чем чудеса и небылицы поэтов, историков и философов. Потому что, хотя я не говорю правды, но, в отличие от них, я правдив хотя бы в том, что признаюсь, что я лжец».

Тут поэтика розыгрыша.

«Хитрая игра Мора и его друзей,- пишет Гинзбург,- имеет двойной умысел. С одной стороны, они разбрасывают по всему тексту живые детали, каждая из которых - как бы удостоверение правдивости, с другой, они намекают: вся повесть-вымысел».

Игра была для Мора и его друзей - забавой... Но иные простаки попадались на лукавую уду гуманиста. Было немало читателей, поверивших в Утопию, в Гитлодея, в то, что Мор и в самом деле записал его рассказ.

Да и как тут не поверить:

«Насколько я припоминаю, - пишет Мор, - Гитлодей рассказывал, что Амауротский мост, который перекинут через реку Анидр, имеет в длину пятьсот шагов, а мой Иоанн говорит, что надо убавить двести... Ширина реки, по его словам, не превышает трехсот шагов... Конечно, я приложу все старания к тому, чтобы в моей книге не было никакого обмана».

Пользуясь невежеством простоллюдинов, автор намекает

интеллектуальной элите на вымышленный характер своей повести. Но ирония понятна лишь избранным. Многие же воспринимали сочинение Мора как *Blueprint for the reforms* - проект реформ... На эту наживку и по сей день попадают не только простолюдины.

Вот как одному из них возражает Гинзбург:

«Современный исследователь Г.М. Логан отрицает влияние Лукиана- сатирика на Мора, как несовместимое с рассудительным, спокойным и трезвым течением мысли автора «Утопии». Несмотря на остроумие и уклончивость манер, это серьезное произведение политической философия, - утверждает он.

Но можно ли противопоставлять серьезное и комическое? Связь смешного и серьезного была упущена, если я не ошибаюсь, большинством»...

Карло Гинзбург настаивает: «Утопию» следует отнести не к жанру политической философии, а поставить в один ряд с «Похвалой Глупости», поэмой «Корабль Дураков», романом Рабле, сатирами Лукиана. То есть отнести к жанру «дурашливой (дурачающейся) литературы».

Ренессансный город воспринимался гуманистами как «карнавальное шествие дураков». Но не является ли таковым и человеческая история? То есть – САТУРНАЛИЯМИ. Ведь именно ими оборачиваются все и всяческие утопии.

Кухарки станут управлять государством, ученые собирать картофель в колхозной борозде, жестокие невежды загонять в шарашки «Платонов и быстрых разумом Невтонов» и даже воевать с собственным народом.

Ну а если взглянуть на нынешние глобальные *Satunalia*.

Бывшие колонии колонизуют колонизаторов. В «вэлфэрных демократиях» лодыри оседлали трудяг. Священники венчают однополых. Скрипит на ухабах воз Евросоюза, влекомый в разные стороны - понурым британским Львом, взъерошенным тевтонским Орлом, облезлой сворой прочих герольдических тварей...

А что же «Американская Мечта»? Обернулись затяжной безработицей, крушением среднего класса, пропастью между бедными и богатыми.

А семимиллиардное человечество, катастрофически размножаясь, вот-вот будет стоять на шарике как ворсины ковра...

Почительна не только книга Мора, но и его судьба.

Вот он на портрете Ханса Гольбейна. Златая цепь на бархате мантии. Суровое аскетическое лицо. До самой смерти, говорят, придерживался монашеского образа жизни, с молитвами и постам. Что никак не вяжется с его веселым нравом, остроумием, тремя женитьбами. Во второй раз – на богатой вдове, в третий - на

совсем молоденькой девушке, по имени Алиса. «Он Человек был в полном смысле слова».

Но при этом оставался правоверным католиком. Полемизировал с Лютером, стоял за Папу горой. Приближенный к королю Генриху Восьмому, был посвящен в рыцари.

Но когда Парламент провозгласил монарха главой англиканской церкви, Мор отказался принести присягу королю. Настолько был возмущен его «изменой истинной вере»... За что был заключен в Тауэр, подвергнут пыткам, обезглавлен.

Англия, в которой жил Мор, была одержима религиозной страстью...

Поднимаясь на эшафот, измученный истязаниями, попросил палача:

- Пожалуйста, помогите мне взойти, а сойти вниз я постараюсь как-нибудь сам...

Из всего выше изложенного следует:

Даже в смертную минуту Томас Мор остается верен лукиановской иронии.

И еще...

Непоколебимый католик, сложивший за свои убеждения голову на плахе, слишком верил в воздаяние на небесах, чтобы всерьез уповать на земную Утопию, хотя и представил миру ее проект.

### **ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАК НЕПОХОЖЕСТЬ**

*И мысли в голове волнуются в отваге,*

*И рифмы легкие навстречу им бегут.*

(А.С. Пушкин)

В 1954-м в России вымерли еще не все университетские профессора, владевшие греческим и латынью...

Взлетев по-юношески на кафедру, наш «дед», обвив себя руками и закинув голову, начинал петь:

- MENIN AEIDE, THEA, PELEIADEO ACHILEOS - Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...

Игра дактилей и спондеев, - вещал он, слегка грассируя, - придает греческому гекзаметру гибкость и богатство ритмических вариаций. Рифмы гомеровский стих не знал.

Глаза «рапсода» горели неземным огнем. Череп напоминал облетевший одуванчик.

Вспомнил нашего «деда», читая Роджера Ашама. С него начинается свое второе эссе Карло Гинзбург...

Ашам был домашним учителем английской королевы Елизаветы, убежденным протестантом, человеком строгой морали, сторонником классического образования. Он умер в 1570, опубликовав незадолго до смерти книгу под многословным

заголовком: «Наставник, или простой и совершенный способ обучения детей понимать латынь и говорить на ней и т.д.»

Гинзбург много цитирует Ашама ... Сварливый старик был помешан на античности: «Грубая, нудная рифмовка,- гневался он,- была введена в Италии готами и гуннами, которые уничтожили подлинную поэзию, а потом занесли свою рифмованную мерзость во Францию, Германию, Англию».

Ашам рассматривает rhyme как признак варварства и противопоставляет рифме благородство «quantitative poetry» греков и римлян:

«Следовать рифмовке, отвергая при этом подлинную греческую версификацию, все равно, что жрать желуди вместе со свиньями, в то время как мы можем вкушать пшеничный хлеб среди цивилизованных людей».

Страсти-то какие... Неужто, из-за какой-то там рифмы?

«Не только, - объясняет Карло Гинзбург.- За нападками Ашама на «beggarly barbarous rhyming «(ничтожную, варварскую рифмовку) скрывается его стремление сделать Англию преемницей греко-латинского культурного наследия. Рифма только предлог».

Обнаружив в письме Цицерона к Аттикусу навет на британцев, неистовый Ашам вступает за поруганное отечество:

«Там нет ни единой крупицы серебра, на всем острове, и ни единого образованного человека»,- пишет Цицерон Аттикусу...

Ашам бурно возражает римскому Златоусту:

«Но сейчас, господин Цицерон, благословен будь Бог и Его сын Иисус Христос, которого вы никогда не знали, серебра только в одном городе Англии больше, чем в четырех городах Италии вместе взятых, в том числе Риме. Что же касается образования, то, помимо знания иностранных языков, ваши книги, Цицерон, широко читаются на латыни и ваше блестящее красноречие высоко оценено в Англии не меньшим количеством читателей, чем в Италии».

Пылкие аргументы Ашама против рифмы, в пользу античного стихосложения, породили бурные дебаты - в которых зарождалось « британское островное самосознание» - SELFIDENTIFICATION...

На наш современный взгляд, громкий скандал по поводу рифмы удивляет.

Только что девятисотстраничный(!) фолиант “Anthology of Rap” (Yale, 2010) улегся на стелды самого уважаемого нью-йоркского книжного магазина Barnes&Noble, и это, несмотря на то, что белый средний класс улепетывает во все лопатки в пригород от воплей черного репа...

Йельский профессор Адам Брэдли ставит самых

талантливых рэперов, этих little barbarians, вровень с Джоном Донном, кумиром Иосифа Бродского.

Простроченные насквозь рифмами и ассонансами, эти «маленькие шедевры» вливают молодую дикую кровь в современную американскую поэзию...

И тут уместно вспомнить трактат «The Art of English Poesie» (London, 1589), приписываемый Георгу Путтенхейму... Карло Гинзбург его много цитирует:

«Главный аргумент против иерархического взгляда на поэзию,- утверждает Путтенхейм, - СРОДСТВО ПРИРОДЫ И ИСКУССТВА. Поэзия- это “NATURA HERSELF” – сама природа... Поэт - этимологически - А MAKER - создатель, творец, Бог... Поэта можно сравнить с плотником, живописцем, гравером, резчиком, садовником... Но только до определенной степени... Он, в отличие от них, вызывает большее восхищение, когда менее artificial и более NATURAL, когда опирается на яркую фантазию и воображение, когда движим, без всяких правил, собственным, особенным, эксцентричным, природным чутьем и интуицией»

Но ведь это о наших черных «рапсодах”. И хотя нередко они не могут четко сформулировать мысль, их ведет РИФМА... Заметим, «рапсод», по древнегреческому толкованию, «сшиватель песен»... Рэпер “сшивает” свои песни рифмой и ассонансом...

Какой антитезис Роджеру Ашаму, механически разделившему поэзию на классическую (греко-латинскую) и варварскую.

Особенно раздражает Путтенхейма понятие «barbarians”:

«Оно явилось как следствие этнической гордыни, когда греки и римляне доминировали в мире. Последние считали: ни один язык не звучит так благозвучно, как их собственный, а все другие народы грубы и невежественны... Они говорили: таковы же их «barbarous and very ancient songs» (варварские и очень древние песни), которые способствовали «the corruption of the Poesie metricall of the Grecians and Latines» - разложению поэтической метрики греков и римлян... Подобно тому, как, ворвавшись в Рим, варвары стали уродовать копьями мрамор классических колонн, они изуродовали нашу поэзию».

На самом же деле, те, кого называли «варвары», не «разложили», а обогатили классическую традицию.

Именно об этом говорит Фрэнсис Баудуин, профессор права Хейденбергского университета, отрывок из книги которого “De Institutione” (1561 год) Карло Гинзбург приводит: «И теперь, чтобы понять себя, мы должны сохранить память о тех, на которых обычно наклеивали жупел «варвары».

Разве мы, французы, британцы, немцы, испанцы,

итальянцы, можем игнорировать историю и поэзию франков, англов, саксов, готов, ламбардов?»

Фрэнсис Баудуин меняет узкий национальный подход на широкую космополитическую перспективу, включающую в себя «варваров», ставя под сомнение иерархическую роль классической традиции. "Barbarous" для него - позитивным слово, знак гордости.

Итак, скандал начался с дискуссии о рифме... Он был столь громким потому, что подразумевалось нечто большее... Эта дискуссия - часть общей духовной эволюции...

Осью полилога была идея - SELFHOOD AS OTHERNESS - индивидуальность как непохожесть: раздел между Англией и континентальной Европой.

Неприятие стихосложения, основанного на греко-латинской модели, вело к интеллектуальной независимости от Континента.

«Англия становилась Островом, - заключает Карло Гинзбург, - "the insularization of England" (островизация Англии) была длительным процессом, который проходил на многих уровнях. Защита рифмы сыграла второстепенную, но особую и характерную роль».

Спор обретает такую остроту, дополню я, еще и потому, что из островного конгломерата племен рождался единый народ, который вот-вот заговорит голосом Шекспира, который станет в один ряд с Гомером и Данте...

И заговорит в рифму:

Нет повести печальнее на свете,

Чем повесть о Ромео и Джульетте.

### **ПОИСК ИСТОЧНИКОВ:**

#### **ПЕРЕЧИТЫВАЯ «ТРИСТРАМА ШЕНДИ»**

Но, в третьей части, «Остров» вдруг погружается в воду, как Атлантида, и всплывает лишь в четвертом эссе ...

Охотничий инстинкт «папы Карло» так увлек его по извилистой сюжетной тропе исследуемого романа, что эссеист забыл о собственном «островном» сюжете...

Первые шесть томов, «The Life and Opinions of Tristram Shandy», Лоренса Стерна появились стремительно, один за другим в течение года (1760-61). Книга имела успех ... Но в конце шестого тома (глава 40-я) автор решил взглянуть ретроспективно на громоздкое сочинение...

Каждый, читавший Стерна, хорошо знает этот пассаж:

«Теперь я начинаю входить по-настоящему в мою работу и не сомневаюсь, что при помощи растительной пищи и воздержания от горячих блюд мне удастся продолжить историю дяди Тоби и мою собственную по сносной прямой линии. До сих пор же...»

И тут, в конце страницы, являются четыре отвратительных, длиннющих, глистоподобных червя(?!), призванные символизировать сюжет необычного романа... Автор предлагает внимательно рассмотреть ползучих тварей: «Таковы были четыре линии, по которым я двигался в первом, втором, третьем и четвертом томе. В пятом я держался молодцом, точная линия, по которой я следовал, была такова»...

Следующую страницу венчает пятый червь, к которому Стерн относится с большим уважением, чем к другим. Он тщательно обозначает латиницей каждый его извив:

«Отсюда явствует, что, исключая кривую, обозначенную буквой А, когда я совершал путешествие в Наварру, и зубчатую кривую В, обозначающую мою коротенькую прогулку там с дамой де Боссьер и ее пажом, - я не позволил себе ни малейшего отклонения в сторону, пока черти Джованни делла Коса не завертели меня по кругу, который, как видите, обозначен буквой Д...»

Вне всякого сомнения, человек, читавший этот пассаж в 1761 году, столкнулся с непривычным феноменом. Что за странный роман?..

Карло Гинзбург ищет ответ у русских «формалистов»... Недоумение разрешается в заголовке эссе Виктора Шкловского: “The Novel as a Parody: Sterne’s Tristram Shandy” - роман как пародия...

«В 1917 году, - пишет Гинзбург, - Виктор Шкловский, самая выдающаяся фигура русского формализма, ответил на этот вопрос так: «Тристрам Шэнди» - наиболее типичный пародийный роман в мировой литературе...»

Карло, как и водится в подобных случаях, обращается к «русскому»:

«Значительно большее количество людей готовы идентифицировать “self-reflexivity” (саморефлексию) как trademark (фирменный знак) новеллистики. В этом смысле «Дон Кихот»-первый «новый роман»... В романе Стерна слышны отголоски Рабле: пародийное использование эрудиции, а также отзвуки Сервантеса: назойливое присутствие повествовательного авторского голоса»...

«Рабле и Сервантес, - продолжает Гинзбург, - были бы непостижимы без открытия Эразмом и Мором - Лукиана из Самосаты в 16-м столетии».

Лоренс Стерн и сам знает свою родословную... Говоря о ней прозой, переходящей в стихотворение в прозе, присягает своим литературным кумирам: “by the tombstone of Lucian, by his ashes, by the ashes of my dear Rabelais, dearer Cervantes”... на надгробном

камне Лукиана, на его прахе, как и на прахе моих дорогих Рабле и Сервантеса».

Это и есть self-reflexivity, интроспекция: когда автор одновременно писатель и литературный критик... Ну сами посудите: роман, подобно компьютеру, вычерчивает свою фабулу и причисляет себя к определенной литературной традиции. Что же касается сюжета, его нет...Дедрамматизация. ...Да и какой может быть сюжет, ежели - фабула-червь - змеевик.

Стерн убежден: красота это разнообразие, природа питает отвращение к прямой линии.

Motto седьмого тома, взятое из Плиния Младшего, приложимо к «Тристраму Шенди» в целом: Non enim excursus hic eius, sed opus ipsum est - это не отклонение от основного труда, но сам труд.

Но что сделало многотомный подвиг возможным? Что подвигнуло на него Лоренса Стерна?

Карло Гинзбург пытается подвести под роман - философское обоснование:

«Сочинение Локка «Essay Concerning Human Understanding», - выдвигает теорию последовательности идей, повлиявшую на Стерна».

И в самом деле, Стерн, изучая Локка, проникся его материалистическим учением об ощущениях... Но почему он глумится над философом?

«Разум и рассудительность в этом мире, - звучит язвительный голос Йорика (alter ego) Стерна, - никогда не идут рука об руку, ввиду того что они так же далеки друг от друга, как восток и запад, или, как утверждает Локк, farting (громкое испускание газов) и hiccup (икота)»...

Говоря о Локке, Стерн впадает в непристойности... В начале романа автор сравнивает заводку старинных часов - с половым сношением, «в котором наш пронизательный Локк разбирается больше, чем кто бы то ни было ». Но ведь за такое и на дуэль вызвать могут...

И дело вовсе не в том, что Стерн питает личную неприязнь к почтенному философу... Просто, писатель восходит к литературной традиции Лукиана, большого насмешника над всякими умниками.

Последний признается, что он лжец, но из тех, «чье вранье честнее, чем чудеса и небывлицы... философов».

«Строгие, рассудительные люди, большие парики, важные физиономии, длинные бороды, - я пишу не для них», - вторит ему Стерн...

Итак, ставить рядом Локка и Стерна все равно, что



водворять в одну клетку «Цаплю и Сокола»\*.

Карло Гинзбург предлагает оставить философа в покое и вести поиск в другом направлении:

«Мой ответ таков: «Тристам Шенди» - это художественная реакция на идеи, выдвигаемые Dictionnaire historique et critique – Словарем истории и критики Пьера Бэйли.

Английский перевод громоздкого словаря Стерн взял под залог в 1752-м из Министерской библиотеки и продержал у себя целых десять месяцев. Меня не интересует в данном случае содержание романа... Мне интересна формальная структура текста как результат знакомства Стерна со словарем Пьера Бейли».

То есть Гинзбург выдвигает интересную идею морфологического сродства «Тристрама Шенди» и словаря Бейли, художественного и нехудожественно текстов.

Он предлагает остановиться на двух аспектах этой темы: отступлении и непристойности... Хотя, на самом деле, их больше.

Склонность Бейли к отступлениям хорошо известна... Гинзбург цитирует его исповедь:

«Я и сам не знаю, что значит мыслить по прямой. Я всегда готов в поисках истины уйти с проторенной дорожки, чтобы временно оставить в стороне предмет размышлений... Истине это только на пользу. Я захожу на нее со всех сторон. Доктор, любящий порядок и систему, легко потеряет во мне пациента».

Соединив это свойство своего интеллекта с феноменальной работоспособностью, Бейли создал словарь размером с надгробную плиту - Dictionnaire historique et critique, в котором исправляет множество фактических ошибок, допущенных в более ранних энциклопедиях. В фолианте, изданном в Базеле 1741 году, - 3269 страниц, отпечатанных мельчайшим шрифтом. Каждая запись (entry) сопровождается таким количеством отступлений: комментариев, сносок, ремарок,- что уже не знаешь, что важнее - словарная статья или отступления...

У Бейли ОТСТУПЛЕНИЕ НА ОТСТУПЛЕНИИ СИДИТ И ОТСТУПЛЕНИЕМ ПОГОНЯЕТ. Текст каждой статьи окружен трехъярусной системой подстрочных примечаний и сносок: нижний ярус a, b, c, верхний A,B,C... Иногда, во имя еще большей ясности, добавляются особые типографические знаки, звездочки и крестики... и прочая дребедень...

Теперь о ненормативной лексике, к которой нередко прибегает автор причудливого романа.

---

\* Гамлет: «При южном ветре я еще могу отличить цаплю от сокола»...

Стерн, - как сообщает Гинзбург,- получал громадное удовольствие, читая непристойные отрывки из словаря, чтобы затем украсить ими свой текст.

Похоже, именно у Стерна училась русская литература всяческим причудам. Пушкин с его лирическими отступлениями. Толстой, сравнивший Москву двенадцатого года с покинутым пчелами ульем, а затем пустившийся в пространные рассуждения о роевом начале человеческой истории...

В повесть «Казачьи» Лев Николаевич вставляет вдруг большой этнический очерк о генетическом родстве гребенских казаков и чеченцев.

А в поэму Гоголя о проходимце Чичикове неожиданно-негаданно влетает Русь- Тройка и на вопрос: куда несешься, Русь, дай ответ, - не дает ответа...

Стерн и на Гинзбурга повлиял. Ведь вдумчивая Муза эссеиста, надыхавшись архивной пылью, позабыла вывести нас на обещанный «Остров», заблудившись в отступлении, каковым и является все третье эссе...

### **Послесловие**

А что если нашего «бедного Йорика» не сковывать одной цепью с Локком и Бейли. Не лучше ли просто отпустить его на волю-вольную... Как говорят в таком случае: Leave him alone...

«Остроумие, - говорит Зигмунд Фрейд, - это переодетый священник, который венчает каждую пару. Он охотнее всего венчает ту пару, к соединению которой родители относятся нетерпимо»...

То есть Остроумие – это Свобода, которая ведет себя вопреки правилам, как ей вздумается... И таким образом создает юмористический эффект... Остроумие-это сатурналии. Не случайно Стерн клянется на прахе Лукиана.

Похоже, Фрейд имел в виду нашего йоркширского священника Лоренса Стерна... Ведь попик Йорик из его причудливого романа - это alter ego писателя...

Восставший из праха, шекспировский «бедный Йорик», тот самый, который катал на спине маленького датского принца.

Набросив на плечи церковное одеяние, Йорик забыл сбросить с черепа шутовской колпак с колокольцами. И позванивает ими... Вот уже которое столетие...

### **TUSITALA И ЕГО ПОЛЬСКИЙ ЧИТАТЕЛЬ**

Да, да... Этот тот самый Роберт Луис Стивенсон, книгой которого «Остров сокровищ» мы зачитывались в детстве... Но самое интересное, что автор невысоко ценил свой увлекательный роман...

Его псевдоним TUSITALA, на языке туземцев тихоокеанских островов Самоа, на одном из которых он жил, имеет пучок значений: рассказчик, сказитель, а также выдумщик и лгун. Именно под этим псевдонимом его короткий рассказ «The Bottle Imp» – (чертенок в бутылке или сатанинская бутылка) впервые вышел в воскресном номере «New York Herald» в 1891-м. Затем он был переведен на язык Самоа и опубликован в миссионерском журнале O LE SULU SAMOA - “Факел Самоа”... Первый пример печатного текста на языке туземцев. Стивенсон работал над переводом вместе с другим миссионером.

В декабре 1892-го в письме к издателю он писал: «Чертенок в бутылке» должен рассматриваться как главная вещь моего сборника «Island Nights Entertainments». Не могу понять, почему я особенно люблю его, мое лучшее произведение, едва ли равное другим».

«Чтобы установить причины такой высокой оценки «Сатанинской бутылки»,- говорит Карло Гинзбург,- нужно вписать этот маленький текст в больший контекст».

Несмотря на то, что рассказ широко известен, есть смысл начать с сюжета.

Молодой человек с Гавайских островов, по имени Кеаве, прогуливаясь по Сан-Франциско, видит красивый домик и неожиданно-негаданно желает приобрести такой же. Странноватый грустный человек, хозяин дома, сообщает Кеаве, что желание его может исполнено при условии, если он купит у него чудесную бутылку. Внутри, он сказал, сидит чертенок, способный исполнить любое требование, за исключением долголетия ...И еще, и это главное, бутылку можно продать только себе в убыток, иначе она будет возвращена тому, кто нарушит правило. Если же человек умрет раньше, чем продаст ее, то будет вечно гореть в адском огне.

Молодой и неопытный, Кеаве попадает на сатанинскую уду... И вот, как это бывает не только на далеких островах, внезапно, с помощью сатанинской бутылки, он становится нуворишем, богачом-высочкой и встречает красавицу, по имени Кокуа. Они полюбили друга, намерены жениться, но вдруг обнаруживается: жених заразился Iergosy- проказой... И тут он вспомнил о давно проданной волшебной бутылке: только она и поможет... Но за многие годы, переходя из рук в руки, сатанинская бутылка, создав целую популяцию нуворишей, настолько подешевела, что цена теперь ей всего два сантима.

Под занавес друг является в стельку пьяный боцман, будто со страниц романа «Остров сокровищ»:

«Сатанинская эта бутылка была спрятана у него под бушлатом. А в руке была другая бутылка, и он отхлебывал из нее.

- Я вижу, - сказал Кеаве, - ты ее получил.

- Руки прочь... подойдешь ближе - зубы вышибу. Эта бутылка досталась мне всего за два сантима, и она мне очень нравится. И, будь спокоен, за один сантим ты ее не получишь.

- Ты что, не хочешь мне ее продать?- пролепетал Кеаве...

- Нет, сэр, но глотком рома я тебя угощу...

-Но, говорю же тебе, владелец этой бутылки попадет в ад...

- Я и так туда попаду... А для путешествия в пекло лучшего спутника, чем эта бутылка, я не встречал. Нет, сэр, это теперь моя бутылка, а ты ступай прочь.

- Заклинаю тебя, ради твоего же спасения, продай ее мне...

- Плевать мне на твои басни. Не хочешь хлебнуть рома - сам выпью. За твоё здоровье, приятель, и прощай...

А Кеаве, словно на крыльях, полетел к своей любимой Кокуа. И великой радостью для них была исполнена эта ночь и с великим благоденствием протекали с тех пор их дни в «Сияющем Доме».

Пьяница, не подозревал, что он сотворил для влюбленных... Сняв с них сатанинское проклятье, он возложил его на себя. Святой-Забулдыга сгорит в аду, зато парочка будет счастлива.

«Тут широко распространенная история, вращающаяся вокруг magical helper - Магического Помощника, - комментирует Гинзбург. - Тут транскультурный мотив, с которым мы знакомы благодаря В. Я. Проппу, автору великой книги «Morphology of the Folk Tale».

Незатейливое произведение Стивенсона иногда ставят в один ряд с «Шагреновой кожей» Бальзака... Сравнение проливает интересный свет на короткий рассказ.

И там и здесь destiny's bizarre vicissitudes - причудливые превратности судьбы.

Чтобы адекватно описать иррациональные силы, действующие в современном мире, необходимы средства (ресурсы) «Арабских сказок», мифов, таких как сокращающаяся шкура дикого осла (шагреновая кожа) или «сатанинская бутылка».

Но пора, наконец, обратиться к теме Острова и островов... Памятуя об этом, Гинзбург спускает с поводка своего «охотничьего сеттера», и он ведет нас от «Сатанинской бутылки» Стивенсона к «Аргонавтам Западного Тихого Океана», книге антрополога Бронислава Малиновского... Карло обнаруживает между этими текстами... CORRELATION (взаимосвязь).

«Сатанинская бутылка» Стивенсона была опубликована в 1891-м. Двадцать пять лет спустя Бронислав Малиновский, английский антрополог польского происхождения, начал свою

исследовательскую работу на Тробрианских островах... Здесь-то он и обнаружил это непостижимое явление - КУЛА... О нем он говорит в своем капитальном труде "Argonauts of the Western Pacific":

«Кула - большой и сложный institution (закон, обычай, система) как по своей географической протяженности, так и по многообразию компонентов.

Даже самый умный туземец не может внятно сказать о Куле и ее функциях, он поведает лишь о своем личном опыте... Задача этнографа - сконструировать полную картину».

Не буду утомлять читателя... Кула - это система безденежного обмена, основанная на циркуляции (обращении) высоко ценимых туземцами предметов: браслетов из ракушек, ожерелий и т. д. - на ряде тихоокеанских островов, образующих KULA RING...

Гинзбург предполагает: Малиновский развил свою «теорию Кулы» по модели рассказа Стивенсона «Сатанинская бутылка», освежая и вспоминая его фабулу... При этом никаких свидетельств знакомства Малиновского с этим текстом у него нет:

«Короткий рассказ Стивенсона дал возможность Малиновскому увидеть всю систему КУЛА через leap of imagination - порыв, прыжок воображения, то есть представить as a Gestalt - как целое, отличающееся от суммы его составляющих».

Но на этот раз «охотничий инстинкт» уводит Гинзбурга явно не в ту степь... Что подтверждает американский профессор истории Дэвид Сакс в статье, опубликованной в научном журнале "H-NET Reviews" (август, 2002):

«Кула Малиновского - это не antiprofit, как утверждает Гинзбург, а proprofit система обмена, существовавшая у американских индейцев и ничего общего не имеющая с системой «продажи в убыток», изображенной в рассказе Стивенсона.

Сравнение Малиновское и Стивенсона весьма проблематично....

Чтобы аргумент Гинзбурга работал, the leap of imagination (прыжок воображения) Малиновского должен был бы преодолеть непреодолимую пропасть не только между «фикшен» и «нонфикшен», но также между двумя социальными мирами, организованными на совершенно разных принципах, действующих в разных направлениях. Как бы ни привлекательна была гипотеза Гинзбурга, аргументы в ее пользу остаются чрезвычайно неубедительными и ничем не подтверждаются»...

С этим нельзя не согласиться.

Из куста, перед которым делает стойку «охотничий сеттер», не всегда вылетает птица.

Но «папа Карло» идет по своей запутанной тропе с таким вдохновением и упорством, будто по следу любимого Пиноккио, сбежавшего от него в поисках приключений...

### **Послесловие**

Фабула «сатанинского рассказа» Стивенсона напоминает скорее ситуацию на нынешнем американском рынке недвижимости, нежели мистическую «Кулу» островных папуасов...

Миллионы американских трудяг – потерявших работу – пытаются, «себе в убыток», продать катастрофически упавшие в цене дома, только чтобы не попасть в медленное адское пламя тридцатилетних выплат по «моргиджу» (удушающему ипотечному займу)...

Вот тут-то, и в самом деле, «совпадение сюжетов»... С точностью до микрона...

Нью-Йорк



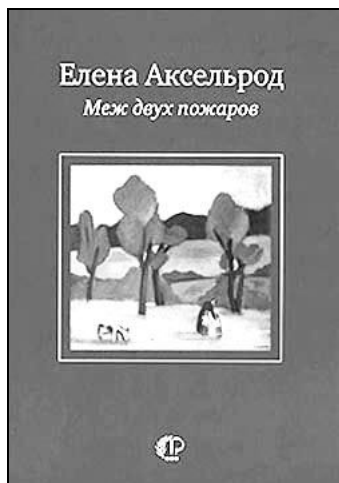
**Ефим Левертов**

## **Местожителство поэтов**

**О сборнике стихов Елены Аксельрод**



о легенде боги и поэты живут на небесах. Соответственно, им не нужны жилища, еда и даже зонтики над головой от дождя или солнца. Книга, которая лежит передо мной, называется «Меж двух пожаров». Если мы скажем: «Между двумя пожарами», то значит, мы говорим о времени. Но в данном случае сказано: «Меж двух пожаров», то есть это о пространстве. Один пожар это наша Россия, второй пожар, тоже наш, – Израиль.



И в центре этой глобальной географии – большой поэт Елена Аксельрод. Таким образом, рассматриваемая нами книга о вполне определенной «подвешенности» человека в сегодняшнем глобальном мире, о трудности выбора, о метаниях человека и его раздумьях, о пути, пройденном им, и о предстоящей дороге.

Дочь художника Меера Аксельрода и писательницы Ривки Рубиной в юности преодолевала искушения балетом и изобразительным искусством, но остановилась на литературе, точнее на поэзии. В начале пятидесятых годов Елена Аксельрод поступает на литературный факультет МГПИ и, когда на первом курсе пришла сдавать зачет по творчеству Пушкина самому Бонди, Сергею Михайловичу Бонди, тот ласково спросил, глядя на ее «типичное» лицо: «Как вы сюда попали?». История часто догоняла Елену, не давая забыть о корнях. В январе 1953 года она столкнулась с антиеврейской кампанией государства, занявшегося разоблачением «убийц в белых халатах». В 1956 году Елена Аксельрод учится и работает в «Семинаре молодых переводчиков», где знакомится с преподавателями С. Шервинским, В. Левиком, Д. Самойловым, М. Петровых, студентами А. Ревичем, Е. Солонвичем, А. Эппелем, Н. Воронель, П. Грушко, В. Микушевичем, А. Сергеевым, Е. Аронович.



Не имея возможности печатать свои оригинальные «взрослые» стихи, Елена, как и другие поэты ее времени, находила отдушину в переводах и детских стихотворениях. К середине восьмидесятых годов у Аксельрод уже было напечатано десять детских книжек. В 1976 году у Елены Аксельрод была издана первая взрослая книга стихотворений «Окно на север», а затем, с разрывом аж в целых 10 лет, в 1986, – вторая, «Лодка на снегу».



Причинами такой задержки были тематика стихотворений, в которой вполне определенно была заявлена еврейская проблематика, существовавшая в стране цензура, довольно грубо размахивавшая своей «дубиной», были и другие «крамольные» проблемы, «непроходные» по тем временам, из-за которых стихи поэта иногда изымались, например, при обысках ее друзей. В 1991 году Елена Аксельрод переезжает жить в Израиль. Вскоре выходят книги «Стихи» (Иерусалим-СПб, 1992), «В другом окне» (Иерусалим, 1994), «Лирика» (Иерусалим, 1997), «Стена в пустыне», (Е. Аксельрод, стихи, М. Яхилевич, живопись) (Иерусалим, 2000), «Избранное» (СПб, 2002), «Общая тетрадь» (М., 2006).

Сейчас перед нами лежит последняя книга стихотворений Елены Аксельрод «Меж двух пожаров», книга имеет подзаголовок «Стихи разных лет». Книга состоит из семи главных частей, которые представлены нам, в основном, в хронологическом построении. Давайте же пролистаем эту книгу в той же последовательности хотя бы быстро, «по диагонали»!

### **Рассвет был медленным, 1963-1968**

Название части дано по первой строке стихотворения, написанного в 1965 году в поселке Тойла (Эстония):

Рассвет был медленным,  
Дождями отягченным.  
К поселку неохотно снисходил.  
Прихрамывая на асфальте черном,  
Он облаками дымными кадил.  
Плечом к закрытым окнам припадая,  
Дурачил, убаюкивал меня.  
А сам-то знал он, сила в нем какая.  
Он знал, что в нем  
Неотвратимость дня.

Мы видим здесь неотвратимость хода жизни, упорядоченность ее бытия: чему быть, тому не миновать. Об этом же и другое стихотворение «Старухи»:

По вечерам заливался звонок,  
Сходились старухи, тянули чаек.  
.....  
Им ночи бессонные не скоротать,  
Им ночью не цифры, а годы считать

Однако время уже не совсем то. Возвращаются из тюрем и ссылки бывшие безвинно заключенные. Одни возвращаются, а другие садятся. Начинаются известные процессы: Бродский, Синявский, Даниэль, ...:

Моя страна моих друзей крадет.  
И что ей за корысть в моем сиротстве?  
Того она согнет, того сошлет,  
Тому отвалит от своих щедрот –  
Пусть бьется в верноподданном юродстве.  
Ограбила меня моя страна.  
Чем больше я могу, тем меньше смею.  
Как в юности душа обнажена.  
Как в старости душа обожжена.  
Кричать бы впору, а я немею.

### Первое прощание, 1969-1974

В начале этой части книги показано зарождение любви, ее трагический конец, гибель возлюбленного, тревога и предчувствие этого конца. Личные переживания поэта сочетаются с пристальным взглядом на окружающий мир и окружающих людей. Он видит женщину, ежедневно проходящую на вокзал с двумя гвоздиками в руке, и вот результат: стихотворение о трагедии матери – стихотворение большой трагической силы.

Женщина ездила на электричке,  
Отогревалась в вагонах пустых.  
В снег подмосковный роняла спички.  
Стоя курила. Погост был тих.  
.....  
Не замечая пути, возвращалась  
К письмам, портретам, к звенящей тоске.  
Ночь проворочавшись, с домом прощалась,  
И на вокзал – две гвоздики в руке.  
.....

Часть заканчивается некоторым стихотворным обещанием, заветом:

Гасить суесловье в потоках дождя,  
Хранить молчаливый мой дом,  
Чтоб вспыхнуть однажды, с земли уходя,  
Всю жизнь озарившим огнем.

### Мой малый мир, 1975-1979

В начале этого блока стихотворений поэт пытается жить в своем локальном мире семьи, дома (московской коммуналки), родных:

Хоть мир широк, строка моя узка,  
Мой малый мир едва в нее вместится.  
В нее стучатся страны и века,  
Но строго обозначена граница.

.....  
Пусть, точно комната, тесна строка,  
Но в ней, как в комнате, три поколения,  
Лишь названы – не узнаны пока...  
Не сдать бы и не предаться лени!

.....

Поэтесса пишет стихи, посвященные мужу, сыну, идущему по стопам деда – художника, часто обращается к образам природы:

Когда оно свершилось – это чудо?  
Еще в прихожей громоздятся лыжи,  
И вдруг – трава! Да ей грозит простуда,  
Нагой, простоволосой, с прядью рыжей...

.....

но все чаще и чаще задумывается о жизни в ее экзистенциальном значении:

Все ближе подступает, все быстрее  
Безмерность, где меня с тобой не будет...

или в другом стихотворении:

Повторятся не раз и торжественный снег,  
И на ветках весенних мальчишеский пух,  
Легкий бег безнадзорных уклончивых рек,  
Смех детей, и тяжелые слезы старух.  
Сыновей наших этот забывчивый век  
Вряд ли будет щадить. Лишь бы свет не потух  
В окнах тех, кто им дорог. Пусть хватит огня.  
Только это уже без меня.

И в этом раздумье Елена Аксельрод готова идти до конца:

Я иудейка из рода Авраама,  
Лицом бела и помыслом чиста.  
Я содомитка, я горю от срама,  
Я виленских местечек нищета,  
Где ласковые свечи над субботою,  
Где мать худа и слишком толст Талмуд,  
Я та, на чьих лохмотьях звезды желтые  
Взойдут однажды и меня сожгут.

### Небо расчерчено наискосок, 1980-1986

Начало этой части вновь возвращает нас к московскому дому, московской коммунальной квартире, московскому дворику:

Через белую скакалку  
Я скачу, скачу, скачу.  
Новых тапочек не жалко,  
Скину их и улечу.

Но лирическая героиня поэта стала старше, ей есть о ком и о чем заботиться, и даже, если это «кто и что» не связано с ней непосредственно, в окружающем мире она находит то, что требует ее заботы или внимания:

Ветка качалась, качалась, качалась  
И от соседок своих отличалась  
Тем, что качалась вместе с гнездом,  
Тем, что заботиться было о ком  
И не к себе ее мучила жалость...  
Страхом она и отвагой держалась,  
Так как страшилась не за себя.,  
.....

Однако, как часто отмечалось критиками, Елена Аксельрод – поэт не бытовой, а драматический.

Именно в это время лирическая героиня встречается со свободной представительницей западного мира и может сравнивать.

Американка, юная кудрявая,  
Сестра по крови – но американка.  
Ей не видна тропа моя корявая,  
Ей зримо явное. А мне – изнанка.  
Застенчивая, точно красна девица,  
Старается, язык мой изучая,

И Заболоцкого постичь надеется,  
Из самовара нацедивши чая.  
Любовь последняя, куст можжевельный –  
Конец ей виден и столбцы начал.  
А я ищу, ищу в строках пробелы  
И вижу то, о чем он умолчал.

Но нет в мире «чистой» поэзии в башне «из слоновой кости», очень часто Елене Аксельрод напоминают кто она, откуда вышла, кто ее родители, из какого племени:

Чужих не принимает стая,  
И если не подрежут крылья,  
Взовьешься, стать своим мечтая,  
И сверзишься, изнемогая  
От униженья и бессилья...

Как настоящий поэт Елена Аксельрод, понимая взаимосвязь исторических событий, сплетает их в некий географический и поэтический венок, названный ею «Сонетом о географии»:

От Черной речки в двух шагах Машук,  
Елабуга видна с его высот.  
Размашистую сеть свою плетет  
Российской географии паук.  
.....  
Палач закатывает рукава.  
Ты дома, это значит – ты в петле.  
Впадает в Каму вольная Нева.  
.....

И в этих условиях поэт с одной стороны видит свою силу

Как много мне дано,  
Как мало мною взято,  
Бьет свет в мое окно  
С рассвета до заката...

Однако, с другой стороны, на мой взгляд, – и свои объективно ограниченные возможности

Не написать «Божественной комедии».  
«Потерянного рая» не создать,  
Не выбьют наших профилей на меди,

Потомок наш не будет рассуждать  
О смысле наших дел, пророчеств наших,  
Нам не жалея почестей монарших.

### Вечер памяти, 1987-1990

Часть начинается лирическими стихотворениями,  
посвященными матери, писательнице Ривке Рубиной

Даже песен твоих я забыла начала  
И забыла концы – лишь обрывки звучат.  
Смолкнув, слово родное ты мне завещала  
В час, когда угасал твой невидящий взгляд.

.....  
Слово предков моих иссыхает, забито  
Мощной осыпью речи, звучащей вокруг.  
Только душу щемит тот напев позабытый,  
Тот возлюбленный твой, тот задушенный звук.

Поэтесса вновь погружается в раздумья о себе –  
горожанке, интеллигентке, еврейке в неблагополучной стране, где  
женщины укладывают шпалы, мужчины пьют, и очень многие  
люди проводят долгие часы в очередях «в ожиданье свеклы бурой».

Я избалована судьбою.  
Жизнь пощадила плоть мою.  
Что ж с деревенской бабой вою,  
С ней рождена в одном краю?  
Интеллигентка, инородка,  
Я соплеменница беды.  
Меня хлестала та же плетка,  
И тот же снег мешал следы  
Мои и горожанки хмурой,  
Косящейся на профиль мой  
И в ожиданье свеклы бурой  
Стоящей за моей спиной.

Это стихотворение мне представляется одним из  
сильнейших в творческом пространстве Елены Аксельрод. Поэт  
здесь связывает свою судьбу и с «деревенской бабой», и с  
«горожанкой хмурой», ее хлещет «та же плетка», и, несмотря на  
все это, она называет себя «соплеменницей беды».

Часто, очень часто Елена Аксельрод вспоминает войну,  
эвакуацию, коптилку в комнате, шепот старушки, спящих на  
глиняном полу каторжных поляков, плач ребенка. Но в этих

воспоминаниях уже пророчески предсказывается будущая судьба беглянки:

*О чем, захлебываясь, плачет  
Горчайшими слезами детства?  
Ужель и перед ней маячит  
Неистребимый призрак бегства?*

Поэт обращается к образам своего народа: Авраам, Исаак, Юдифь, Олоферн, царь Ирод, часто думает о своем времени, о времени вообще как философском понятии, связанном с пространством: «*Частит будильник – времени в обреш*», «*Поезд спешит в никуда ниоткуда*», «*Мой выигрыш – мой мир, удел как бы ничейный*». Все чаще встают образы дороги, отъезда:

Все слышней нетерпеливый окрик: «Трогай!»,  
Но топчусь, как валаамова ослица,  
Хоть пологая легко бежит дорога,  
Только даль неразличимая пылится.  
Позади меня поруганное поле,  
Впереди благоухает виноградник.  
Барабан стучит. Шофар дудит: «Доколе?»  
Тянет руку горемыка-христарадник,  
Я молчу, чтоб невзначай не выдать боли...

И вот наступает день отъезда, поэт прощается с Москвой в стихотворении «Прощание с Москвой».

Дом кувырком. Тает снег.  
Обнажается суть.  
Пушкина, Пушкина сунуть в баул не забудь!  
Полки зияют, как жизнь, опустевшая вмиг,  
Белая ветка в окне – одиночества крик.  
Я остаюсь! Я сажусь на диван в уголок,  
Мятые хлопья бумаги. Молчит потолок.  
Небо молчит. Я не слышу подсказки его.  
Вот и все кончено. Вот и совсем ничего.

### **Там, где сгорел Содом, 1991-2001**

Содом это, по Торе, – в Ханаане, то есть в сегодняшнем Израиле. Сюда, в Израиль, и приехала жить Елена Аксельрод. Приехала жить и писать стихи. Переехавших на новое место жительства можно назвать скитальцами, тем, кого на иврите

обозначают библейским выражением «на **ве-над**» («Вечным скитальцем будешь ты на земле», Брейшит, 4:12).

Пересоленное море,  
Пересохла гора –  
Между ними в коридоре  
Обустроиться пора,  
.....  
Ну а влажные ресницы  
Да бороздки вдоль лица –  
Это от другой водицы,  
Где Харан, где прах отца.

Таким образом, я вижу здесь и желание «обустроиться», и вместе с тем воспоминания о месте, «где Харан», откуда, мы знаем, вышел когда-то наш праотец Авраам, о Москве, «где прах отца», не отпускают поэта. Эти воспоминания очень важны для него. Елена Аксельрод держится за них, как за «леску».

Леска не рвется – связь еще длится.  
Туго нанизаны улицы, лица.  
Слово, которое вслед тебе брошено,  
Бусинка, пуговица, горошина,  
Катится, катится, не забывается,  
Воспоминаньем полночным взрывается...

Или другое стихотворение:

Свиданья помню, позабыв измены,  
Спокойный взгляд незнающих глаз.  
Родные, теплые я помню стены,  
Как будто свет в них никогда не гас.  
Я объясняюсь в нежности трамваю,  
Билет на память тороплюсь пробить.  
Что ж делать с тем, о чем не вспоминаю  
И что никак не в силах позабыть?

Однако жизнь на новом месте берет свое и требует своего. *«Все перемолото. Все отзвучало, – говорит поэтесса себе, – Брось. Позабудь. Начинаем сначала».* Но начать сначала человеку, профессия которого – «слово», я думаю, бывает очень трудно:

Была мне радость только в слове.  
Все внове. Но зачем я тут,  
Когда два камня в Вострякове



Тоскують обо мне и ждуть?

Вновь и вновь поэт вспоминает Москву. «*Жить, – говоришь, – надо проще!*», уговаривает она сама себя, вспоминая слова Анатолия Жигулина. И, мне кажется, что поэту становится легче дышать и боль воспоминаний немного отпускает: «*Море трепещет искристо,/ Весла мои веселя*». Иногда Елена Аксельрод начинает видеть свое предназначение в скромной доле домашней хозяйки, жены:

Если сгребая тарелок груды –  
Значит, еда есть, вода есть и кто-то,  
Севший за стол, и в глаза мне взглянувший,  
И улыбнувшийся запаху пищи....

Частым адресатом ее стихотворений становится муж Ф.Я.:

Снова тебя я жду –  
Только в другой стране.  
У неба всего на виду –  
Только в другом окне.

Постепенно, исподволь к поэту приходит «вторая любовь» – Израиль

Здесь песенка любая о стране –  
Как заклинанье в хрупкой тишине,  
Мольба о верности и о любви:  
Останься! Не уйди! Не уплыви!

и, в то же время, понимание важности верности себе – своему ремеслу и слову: «*Восток или Запад – лишь билось бы слово в садке*».

Поэт Елена Аксельрод уже изрядно пожила, она легко может отличить красоту картинок и фотографий от реальной жизни, которая совсем не похожа на глянцевые журнальные рисунки:

Светлы, нарядны пять последних лет,  
А снимки старые темны и лживы,  
Как будто прошлое слизнуло цвет,  
Оставив мне на память негативы.  
.....  
Учусь оттенки мрака различать  
И пятиться, собрав остатки воли,

А гладкая цветистая печать –  
Простая тайна техники всего лишь.

В этих условиях наш поэт принимает «теорию относительности» всей нашей жизни:

И что олива, что ольха,  
Что Негев, что Московия –  
Не Божий мир, а требуха,  
Затея бестолковая.  
Но ослик меж камней стоит –  
Живое изваяние,  
Неужто спит, пейзажем сыт,  
Иль знает все заранее?  
Чего он ждет, совсем один,  
Отбившись от хозяина?  
Он в центре мира, меж вершин,  
А мне – всегда окраина –  
Хоть на горе, хоть под горой,  
Среди долины ровныя...

Вот уж поистине, «нам целый мир чужбина...».

Дочь художника, мать художника Елена Аксельрод видит весь лежащий перед ней мир в цвете и в объемном измерении:

В белом платье подвенечном  
Я тебя ждала.

.....  
Платье красное надела.  
Говорили: «Слишком смело!»

.....  
В платье черном, в платье скорбном  
От тебя уйду.  
Небольшой оставлю короб  
На виду.  
Там найдешь в строке пристрастной  
Белый день, закат мой красный,  
Черную беду.

### **В ладони века, 2000-2010**

Зачем угораздило нас родиться  
в тридцатых расстрельных годах?  
Как сохранила нам жизнь столица,  
в кислые щи замешавшая страх?

Как сумели мы уцелеть,  
как довелось не попасться в сеть  
в сороковых, пятидесятых,  
и прочих задушенных, смятых, распятых  
коричнево-красных годах,  
как спохватились, как превратились  
в стареющих перелетных птах?

Зачем угодили мы в новый век,  
разом отторгнувший нас,  
наш колченогий за временем бег,  
наш глаукомный глаз,  
зачем повторяем в коротких снах  
крыльев последний взмах?

В это, по-моему, одно из самых сильных стихотворений Елены Аксельрод, по сути дела, уложились вся ее сознательная жизнь. Мы видим, что в нем представлена биография поколения, так стихотворение и названо – «Поколение», родившегося до войны, сумевшего уцелеть после нее, поздно улетевшего из страны «стареющими перелетными птахами» и «угодившего в новый век», наш сегодняшний XXI век, отторгнувший его, поколение, упрямо и настойчиво повторяющее в своих воспоминаниях «крыльев последний взмах». Эти раздумья о своем поколении и о поколениях людей вообще проходят превалирующей линией через всю поэзию Елены Аксельрод.

Все в этой жизни очень непросто ни для поэта, ни для нас с вами. Как бы мы ни пытались рассчитать свои будущие жизненные ходы, всегда есть вероятность в чем-то промахнуться, иногда в очень малом, но важном

Остаться негде, вернуться некуда.  
Не отыскать утонувшего невода,  
Заброшенного в ожиданье улова,  
Самой не ясно какого.  
Горе-рыбачка! Мерцает на скатерти  
мелочь, подобранная на паперти  
словесности русскоязычной,  
корка соленая, стопка «Столичной»,...

И вот приходит время, когда надо подвести хотя бы предварительные итоги:

Я в детстве не была ребенком,  
я в зрелости не стала взрослой,

не заливалась смехом звонким,  
страшилась лишнего вопроса,  
сама не спрашивать старалась.  
Недоумения, сомненья  
в тяжелый ком сплелись под старость,  
но не прибавилось уменя  
ни друга спрашивать, ни Бога,  
за кем бежать, играя в салки,  
как не судить о ближних строго,  
не замечать в колесах палки –  
и, не оглядываясь, мимо –  
в качалку с музыкой и книжкой,  
пока заждавшаяся мина  
не разорвется черной вспышкой.

Талантливую поэта мы иногда называем художником слова. Применительно к Елене Аксельрод эта фраза перестает быть метафорой. В творчестве поэта заметна близость к эстетической индивидуальности ее отца-художника. Еще в 20-х годах (прошлого века) Абрам Эфрос писал о рисунках Меера Аксельрода: «Эта простота вдруг начинает развертывать нашему внимательному и требовательному взгляду одну за другой черты редчайшей жизненной насыщенности того, что изображено, и совершенно свежего мастерства того, как это сделано». А теперь сравним эту запись с тем, что написал о нашей поэтессе Николай Панченко уже в 70-х годах: «Елена Аксельрод – многосторонний профессионал. Однако, читая ее книгу, меньше всего замечаешь профессиональную сторону, то, «как» она сделана, и ловишь себя все чаще – при всем нашем профессиональном пристрастии – на скромной роли читателя, сочувствателя и сопереживателя поэта». Поэтесса, дочь замечательного художника Меера Аксельрода, перенесла многие творческие подходы своего отца на поэзию. Поэтому критику иногда относительно легко написать, о чем ее стихотворение, но не всегда возможно уловить, как это сделано. Разве легко описать, как ты дышишь? Именно так пишет стихи и Елена Аксельрод: строки ее стихотворений звучат столь естественно и обманчиво просто, что совершенно не замечаешь работы поэта. Эти слова обладают магией дыхания и естественности.

В книге Елены Аксельрод около 500 страниц, мы же слегка коснулись лишь значительно менее десятой части ее стихотворений. Здесь не была рассмотрена ее любовная лирика, стихотворения о природе, пейзажные стихотворения. Отдельной большой темой могла бы быть большая музыкальность ее стихов,

прямо просящихся к музыкальному переложению. Я, человек, которому «медведь на ухо наступил», буквально пел, читая некоторые стихотворения Аксельрод. Почему же мы не поем песни на ее стихи? Возможно, это является следствием слишком большой человеческой скромности поэта. Елена Аксельрод была знакома и дружила со многими поэтами, писателями и просто талантливыми людьми. Среди них – Юлий Даниэль, Арсений Тарковский, Александр Аронов, Алла Белякова, Вера Маркова, Аркадий Белинков, Лев Копелев, Борис Чичибабин, Асар Эппель. Ни их, ни саму Елену Аксельрод невозможно перехвалить. Хорошего поэта, вообще, нельзя перехвалить, его можно только недохвалить, но этого ни в коем случае не следует делать. Недохваленность поэта по кумулятивному эффекту порождает явление «раненого зверя», в роли которого выступает уже сам недохваливший поэта читатель, а это очень опасно. «Кто в заздравном даже слове умудрялся хмурить брови – разве тот мужчина», – написал другой поэт – Расул Гамзатов. Мне не хотелось бы быть ни в роли «раненного», ни в роли «не мужчины».

Мы, читатели, в очень большом долгу перед поэтами. Мы аплодировали только тем, кто был у нас на виду. Поэты тоже в долгу перед нами – некоторые из них были очень скромны, они хотели, чтобы мы сами нашли их в запутанной паутине поэзии. В результате поэты разделились на тех, кто выступал на стадионах и поэтов – невидимок. Но и первые не всегда были счастливы, по крайней мере, они не всегда высказывались о своем счастье. Вот, к примеру, что пишет Белла Ахмадулина: «Я всегда, когда говорю о Бродском, повторяю, что у него, **к счастью**, не было мелких и пошлых искушений: огромной аудитории, стадионов. У меня все это было». У Елены Аксельрод тоже не было стадионов, но были плодотворные встречи с читателями, например, в Московском ЦДЛ, Музее Марины Цветаевой, Литературном музее в Москве. Мне представляется путь Елены Аксельрод талантливо прожитыми годами, полными самоотдачи высокой поэзии, любви к этой поэзии.



**Сабирджан Курмаев**

## **Через Мадрид и Барселону в давних поисках смыслов**



собрался в туристскую поездку по Испании, предвкушая какое раздолье фотографической натуры там откроется. Выписал необходимые аксессуары, выбрал объективы для съемок в поездке, но когда приехал в аэропорт и вытащил чемоданы из багажника, обнаружилось, что сумку с фотоаппаратом забыл дома. В поездке пришлось собирать впечатления визуально без помощи техники, но поскольку фотоаппарат не отвлекал, можно было погрузиться в прошлое. Во времена Советов мы уже путешествовали по Испании в своих мыслях и собирали визуальные впечатления из книг. Но рассматривали мы не архитектуру, что очень популярно сейчас, когда люди пересылают друг-другу имейлами виды катарских гостиниц и китайских мостов. Было, правда, исключение. Предполагаемые «отъезжанты» собирали открытки Иерусалима, переснимали их на обратимую ГДРовскую пленку и показывали слайд-шоу в узком кругу. Но такое занятие имело место не только по художественным причинам, а еще некоторый практический смысл.

Узкую «прослойку интеллигенции» все больше занимало изобразительное искусство, и испанское в том числе. Веласкеса можно было увидеть в Эрмитаже, Гойя волновал одетой и обнаженной махами, на страницах романа Фейхтвангера. Веласкеса и Гойю можно было рассматривать и на советских репродукциях. Был еще таинственный Эль Греко. Но по-настоящему интересовали Дали и Пикассо, а также менее известный Хоан Миро. Особенно ценились альбомы издательства SKIRA. Более доступными были выпуски «Малой энциклопедии искусства» в мягких переплетах французского издательства Fernand Hazan. Некоторые книжки из этой серии были даже переизданы в Польше. В шестидесятые годы прошлого века выпуски этой «энциклопедии» размером в четверть листа почтовой бумаги были очень популярны, но сейчас это библиографическая редкость, возможно, потому что проект не

имел коммерческой направленности. В интернете с большим трудом удалось найти изображение нескольких книжек, давно потерявших свою былую белизну.



Пожелтевший от времени выпуск «Малой энциклопедии искусств»

Авангардное искусство было необычным, и нам очень хотелось «раскрыть содержание» загадочных изображений. С социалистическим реализмом было все ясно: классы, борьба, пролетариат. А что означают странные знаки на картинах Миро? Ведь художник их изобразил не просто так. С Дали было как-то понятнее: растекшиеся часы, пылающий жираф, но ведь часы и жираф, а не неизвестно что.

В туре по Испании было на что посмотреть, а, в особенности, на синтез исламской и христианской архитектуры, то, что называют стилем мудехар. Но в моем советском прошлом не было никакого мудехара. Зато были Веласкес, Эль Греко и Гойя. Они все были модернистами своего времени. И все они были представлены в музее Прадо. Экскурсовод в Прадо удивил своим заявлением, что три наиболее важные художественные музеи мира – Эрмитаж, Прадо и Чикагский институт искусств. Я переспросил его насчет Лувра. В свое время при аналогичной ситуации француженка в Лувре не была столь щедрой. По ее мнению самый главный и настоящий музей – именно Лувр, а все остальные – более или менее удачные подражания. Как бы там ни было, Прадо хорош уже тем, что там можно увидеть, как один шедевр повлиял на создание другого.

Создавая «Менины» – «завершающее произведение мира искусства», как когда-то гласила надпись под картиной, Веласкес показал и себя. «Менины» открывают раздолье интерпретаций. Реалист найдет в этой картине неприкрытое изображение

окружающей действительности. Критик, при внимательном рассмотрении, обнаружит новые подробности, не замеченные ранее. Философ обнаружит бесконечное число смысловых уровней. Марксист отметит отлично подмеченный контраст между богатыми и бедными. Феминистка будет восхвалять картину за показ внутренней женской силы в инфанте.



«Менины» Веласкеса. Художник стоит за мольбертом

Вслед за Веласкесом Гойя создал портрет другой королевской семьи. Изобразив семейство Карла IV, художник также показал и себя. Гойя, второй слева, несколько в тени.

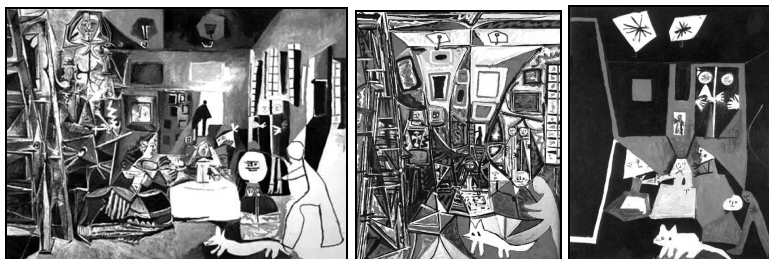


Надменность, физическое и духовное убожество королевской семьи на картине Гойи «Семья Карла IV»

В Музее Пикассо в Барселоне я познакомился с его

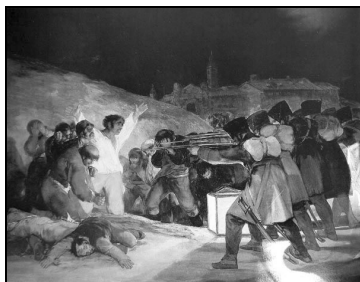


версией «Менин» – серией из 58 картин. Пикассо впервые увидел картину Веласкеса четырнадцать лет от роду, а свой цикл создал шестьдесят лет спустя. Вот три из них.



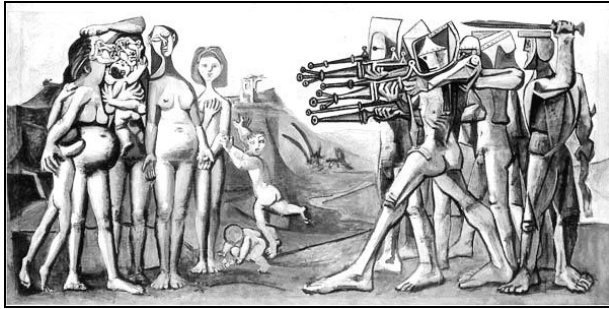
На них все еще можно разглядеть и саму инфанту, и короля с королевой в зеркале, и Веласкеса, и раздраженную собаку. Остальной антураж постепенно теряется. Пикассо понадобилось много попыток, чтобы дойти до полного понимания веласкесовских «Менин». В Барселоне попытались раскрыть поиски Пикассо с помощью техники: в затененной комнате высвечиваются оригинальные «Менины», затем на экране вокруг одного из персонажей очерчиваются пикассовские линии, после чего показывается уже сама картина Пикассо. Подумалось: если бы нам в шестидесятые годы было бы доступно вот такая технология раскрытия образа!

Но вернемся к Гойе. В Прадо находятся его «мрачные картины», (в дословном переводе с испанского «черные картины»). Гойя расписал мрачными фресками свой дом. Он сделал это для себя. Его не заботила тщательность техники. Фрески были написаны широкими мазками, можно сказать, что своей экспрессионистичностью они предваряют искусство нового времени. Там же экспонируется картина «Третье мая 1808 года в Мадриде».



Гойя: «Третье мая 1808 года в Мадриде»

На картине показан расстрел испанских повстанцев наполеоновскими солдатами. Свет на картине идет от одного большого фонаря и выделяет центральный персонаж – расстреливаемого в белой рубашке. Его лицо выражает отчаяние, поза выразительна и контрастирует со слаженностью расстрельной команды. Есть предположение, что эту картину видел Эдуард Мане, когда побывал в Мадриде. Так или иначе, композиция картины Мане «Расстрел императора Максимилиана» перекликается с «Третьим мая». Но и Пикассо дал свою интерпретацию в «Резне в Корее».



Пикассо: «Резня в Корее»

И снова справа четко действующая машина человекоубийства, а слева людское отчаяние, но средствами Пикассо. Эта картина находится в музее Пикассо в Париже.

Другой значительный, но менее известный мадридский музей – Центр искусств королевы Софии.



Центр искусств королевы Софии

Здание бывшей больницы оборудовали центральным компьютером, следящим за температурой, влажностью, и регулирующим освещённость залов, а в случае необходимости, приводящим в действие систему безопасности, установили лифты: в трёх стеклянных башнях с наружной стороны фасада и открыли музей в 1992 году. В музее размещены произведения Миро, Пикассо, Дали и не только. В одном из залов демонстрируется фильм «Андалузский пес» Луиса Бюнюэля. Выставлены издания, выпущенные сюрреалистами. Интересно было видеть обширное собрание работ Гриси и раннего кубистического Дали, еще не нащупавшего свою золотую коммерческую жилу. Однако, музей в первую очередь известен тем, что он – место постоянной прописки «Герники» Пикассо.

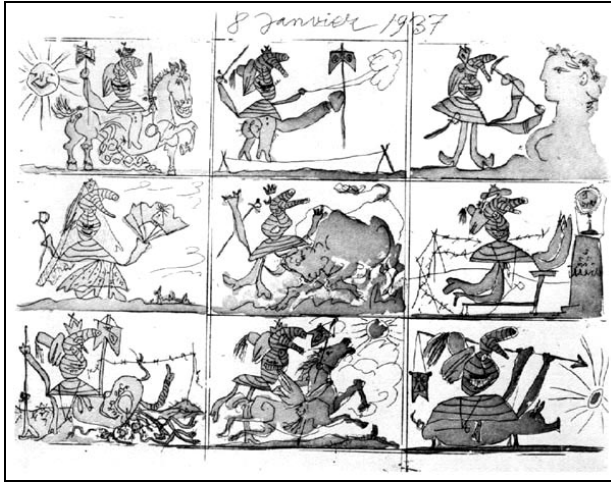


Пикассо: «Герника»

Тема «Герники» также восходит к «Третьему мая» Гойи. Попытки расшифровать заложенный в картине смысл противоречивы. Много было сказано о быке и лошади, попавших в дом. Предполагалось, что эти два животных играют особую роль в испанской культуре, но сам Пикассо, когда к нему очень пристали с этим вопросом, сказал: «... бык – это бык, а лошадь – это лошадь... Если вы придаете значения некоторым вещам на моих картинах, то это может быть весьма верно, но не я выбирал эти значения. Я пришел к тем же идеям и значениям, которыми вы располагаете, но инстинктивно, подсознательно. Я занимаюсь живописью ради живописи. Я изображаю предметы ради того, чем они являются».

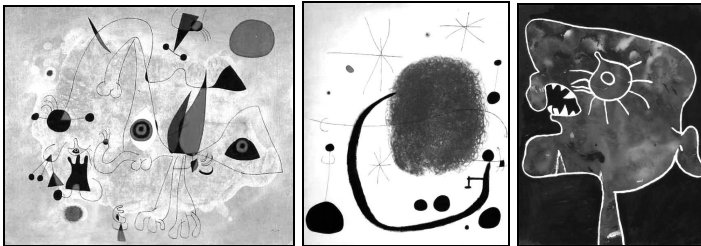
Открытие было не только в том, чтобы увидеть саму «Гернику». Оказалось, что художник очень тщательно изучал свои предметы. В музее оказалось множество подготовительных этюдов к картине: и человеческих фигур, и лошади, и быка; а, кроме того, серия из восемнадцати акватинт под общим названием «Мечты и

ложь Франко», допуская вполне однозначные интерпретации. Гравюры этой серии предназначались для распространения в виде открыток.



Оттиск первого из двух клише с девятью гравюрами серии «Мечты и ложь Франко»

В Барселоне кроме музея Пикассо есть музей Хоана Миро. Туристы из группы, в которой я путешествовал, побывали в нем. Они проштудировали все залы с аудиогuidaми, после чего один из них дал следующий комментарий: «Интересно, хотя и не то, что я думал», а другая еще откровеннее спросила: «Ну что, это не то искусство, которое вам нравится?»



Действительно, трудно сразу окунуться в мир Миро. Художник экспериментировал с биоморфичными элементами, геометрическими формами и вообще неузнаваемыми объектами. У него насыщенные цвета, он создал свое пространство, в котором действуют объекты-символы: звезда, полумесяц, лестница, пес,

женщина. Под всем этим чувствуется скрытая энергия. Вот, несколько картин Миро.

Турист в Барселоне не может не отдать должное архитектору Гауди. Три места наиболее посещаемых туристами в Барселоне: Дом Мила («Каменоломня»), Парк Гуэля и собор Святого Семейства. Восхищаясь техническим совершенством его работ и любясь многочисленными арками, невозможно отогнать мысль, что все это как-то слишком красивенько. Два дома, которые он построил в Парке Гуэля, сравнивают с имбирными пряниками.



Верхние части двух домов-«имбирных пряников», на переднем плане фрагмент декоративной скамейки

Гауди был набожным человеком и, пока его не переехал трамвай, многие годы строил свой собор. Последователей у Гауди не было. «Пряничный» стиль не вписался в бурные двадцатые и тридцатые, когда людей волновали такие мирские дела как становление фашизма.



Открытка, выпущенная к Всемирной выставке 1937 года в Париже

Пикассо и Миро сопротивлялись фашизму. В 1937 году в

Париже прошла Всемирная выставка. На открытке того времени видно два главных павильона: немецкий с орлом и советский с «Рабочим и колхозницей» Мухиной. Устроители выставки отвели им места друг перед другом. Эти два павильона оказались единственными, законченными в срок перед открытием выставки.

Такое расположение символизировало состязание двух идеологических соперников. А между ними находился предмет соперничества – неприметный испанский павильон.



Павильон Испании на Всемирной выставке 1937 года в Париже

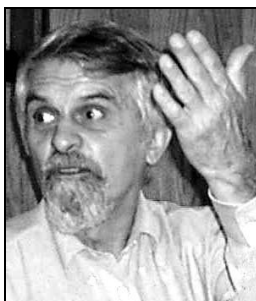
Внутри павильона была роспись по стене Хоана Миро и «Герника» Пабло Пикассо. В Испании шла гражданская война и оба художника считали своим долгом своими средствами послать сообщение миру. Судьба произведений сложилась по-разному. Роспись Миро погибла при разборке павильона, а картина Пикассо скиталась по миру и долгое время экспонировалась в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Франко хотел забрать «Гернику» в Испанию, но Пикассо сказал, что картину вернется на родину, когда там установится республика. Впоследствии он добавил еще два условия: восстановление общественных свобод и демократических институтов. Музей современного искусства все-таки отдал картину Испании после смерти Франко и Пикассо, но с большой неохотой, долгое время ссылаясь на то, что Испания не республика, а монархия.

\*\*\*

Написанное выше не претендует на глубокий анализ. Это отрывочные бессистемные заметки человека, наконец-то прикоснувшегося к тому, что его давно волновало. Но время прошло. Модернизм уже не современное искусство, а историческое прошлое.



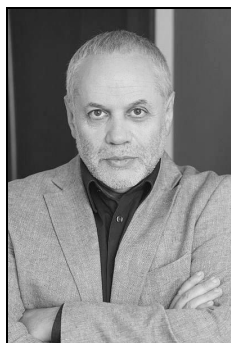
## Об авторах



**Владимир Тихомиров** – российский математик, писатель и педагог, профессор МГУ, член Московского математического общества.



**Василий Демидович** – российский математик, доцент механико-математического факультета МГУ.



**Евгений Бунимович** – поэт, педагог, публицист, общественный деятель.





**Борис Горобец** – доктор геолого-минералогических наук, кандидат физико-математических наук.



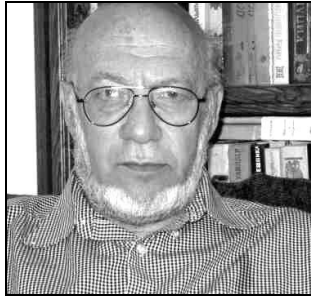
**Цвелик** - физик-теоретик, сотрудник Брукхэйвенской национальной лаборатории США.



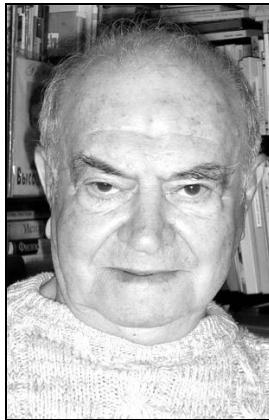
**Татьяна Щербина** – российский поэт, прозаик, эссеист, переводчик.



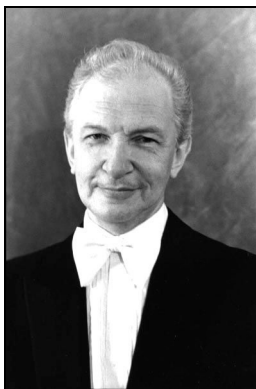
**Пётр Ильинский** – ученый-биолог, историк, литератор.



**Александр Лейзерович** – доктор техн. наук. Переводчик стихов и прозы, печатается в периодических изданиях.



**Леонид Столович** – профессор Тартуского университета.



**Артур Штильман** – скрипач, автор книг о музыкантах.



**Борис Тененбаум** – автор исторических очерков и книг.



**Лилия Торопова** – автор статей по культурологии, истории, искусства и моды.



**Михаил Юдсон** – литератор.



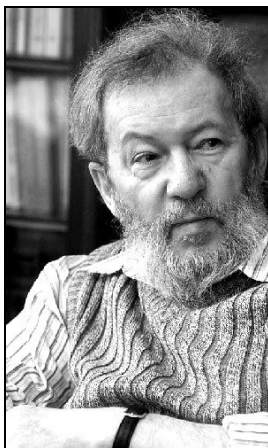
**Виктор Гопман** – переводчик



**Эдуард Бормашенко** – публицист, физик. Живет в Ариэле,  
Израиль



**Лорина Дымова** – поэт, прозаик, переводчица.



**Игорь Ефимов** – писатель, философ, издатель.



**Фаина Петрова** – педагог, литератор



**Людмила Лебедева** – специалист по вычислительной математике.



**Елизавета Александровна Бонч-Осмоловская** – доктор биологических наук, заместитель директора Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН.



**Лариса Ивановна Зеневич** – художник, мультипликатор, член Союза художников и Союза кинематографистов



**Зинаида Палванова** – поэт и издатель.



**Буланов Леонид Хаимович** – поэт.



**Андрей Чередник** – дипломат, литератор.



**Нина Горланова** – писатель.

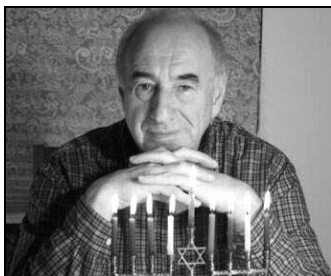


**Моисей Борода** – композитор, писатель, поэт.

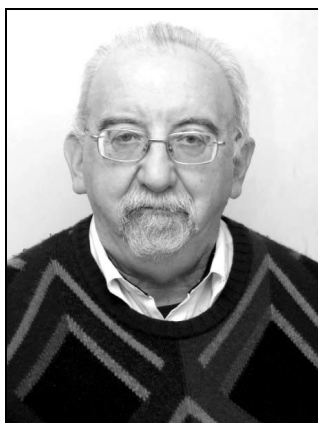


**Елена Минкина** – врач-терапевт, член Союза писателей  
Израиля.





**Борис Кушнер** – профессор математики Питтсбургского университета, поэт, публицист.



**Илья Корман** – поэт, литератор.



**Григорий Рыскин** – писатель, публицист, почетный член Союза писателей России.



**Ефим Левертов** – инженер и историк, преподаватель  
Открытого Университета Израиля.



**Сабирджан Курмаев** – участник советского джазового  
движения.



Журнал «Семь искусств», март 2012  
ред.-сост. Евгений Беркович  
изд-во «Общества любителей еврейской старины»  
Ганновер 2012, 602 стр. 25,3 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)  
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое редактирование  
Изабеллы Побединой

Ганновер  
Общество любителей еврейской старины